



Журнал

Редактор Евгений Беркович

**СЕМЬ
ИСКУССТВ**

Наука

Культура

Словесность

4 / 2014

Журнал

«Семь искусств»

Апрель 2014

Главный редактор
Евгений Беркович

Редакционная коллегия:
Лев Бердников, Борис Болотовский, Эдуард Бормашенко,
Юлий Брук, Элла Грайфер, Лорина Дымова, Борис Дынин,
Игорь Ефимов, Александр Журбин, Виктор Каган,
Борис Кушнер, Александр Ласкин, Мина Полянская
Борис Тененбаум, Артур Штильман

Ответственный секретарь Изабелла Победина

ISBN 978-1-291-86410-6

Семь искусств
Ганновер 2014

Журнал

«Семь искусств»

Апрель 2014

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

Компьютерная вёрстка и техническое
редактирование Изабеллы Побединой

Семь искусств
Ганновер 2014

Содержание

Мир науки

Валерий Ожогин	
Кикоин как множество.....	5
Илья Гинзбург	
Воспоминания.....	32

Культура

Наталья Казакова	
«Ты победил меня, ужасный хохол!».....	76
Елена Матусевич	
Молчание как выбор культуры.....	82

История и современность

Лев Бердников	
Шуты императрицы.....	108
Борис Тененбаум	
Муссолини.....	132

Музыка

Борис Сохрин	
Записки о музыке.....	143
Владимир Нестьев	
Вспоминая былое.....	158

Галерея

Лазарь Фрейдгейм	
Памятники архитектуры и жизнь в среде памятников.....	171

Мемуары

Виктор Гопман	
А нам всегда чего-то не хватает.....	183
Людмила Штерн	
Возвращение.....	193
Павел Полян	
CON AMORE.....	210
Дмитрий Бобышев	
Я в сетях человекотекст, книга 3.....	226

Люди

Мина Полянская	
Ефим Эткинд.....	263
Евгений Майбурд	
Третий Смит.....	280

Андрей Алексеев	
А.А.Ухтомский, В.Н.Муравьев и другие.....	291
Семен Резник	
Против течения	340

Поэзия

Алексей Цветков	
«смерть дидоны».....	370
Рудольф Фурман	
Несовпадение	376
Наум Сагаловский	
«Давай мы уедем...».....	381
Александр Танков	
Игра в войну	395

Проза

Леонид Гиршович	
Дом с примечаниями	398
Моисей Борода	
Успение вождя	417
Ася Лapidус	
Случай в троллейбусе.....	425
Наташа Северин	
Каприсы	438
Юлий Герцман	
Сахарница	451

Переводы

Гарольд Пинтер	
Стихи великого драматурга. Перевел с английского	
Ян Пробштейн	473

Театр и кино

Александр Ласкин	
Два эссе о Сергее Дягилеве.....	483

Читальный зал

Михаил Юдсон	
Надежда на дождь	500

Страны и народы

Виктор Захаров	
Пиво и "господы" в чешской жизни, истории и литературе	
.....	503
Об авторах.....	518

Валерий Ожогин

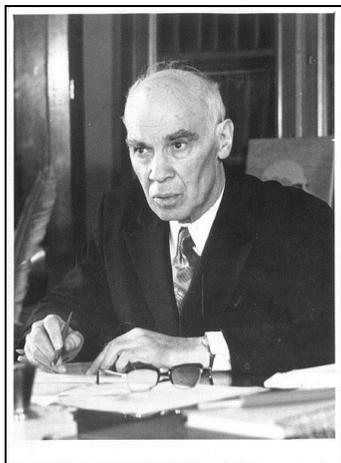
Кикоин как множество...

И.К. КИКОИН И НАУЧНАЯ СМЕНА



Исаак Константинович Кикоин был велик и многолик.

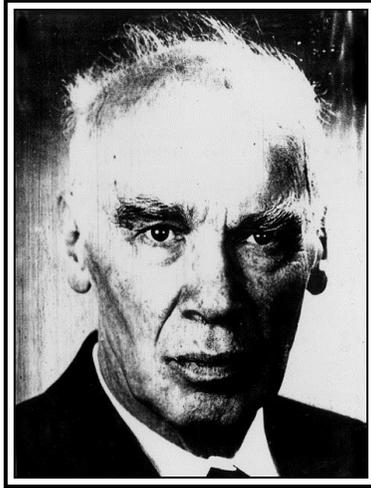
Он был искусен в экспериментальной физике; успешен в прикладной; удачлив, когда рисковал как организатор производства... Да и повезло ему – он был участником решения одной из величайших (хотя, быть может, и не гуманнейших) задач, которые когда-либо возникали перед Человечеством.



Вместе с тем И.К. Кикоин, как мало кто другой, понимал, что древо науки, как и древо жизни, может быть вечно живым, только если имеется механизм воспроизводства этого древа – его корней, ствола, ветвей и листьев, если обеспечена преемственность научных поколений. Только тогда биологическая система (а наука является таковой) имеет шанс жить вечно.

К сожалению, искусство воспроизводства научных кадров, на мой взгляд, постепенно утрачивается – по крайней мере на постбеловежском геополитическом пространстве. Думаю, Исаак

Константинович был последним из могокан, кто глубоко понимал, как важно вкладывать свою энергию, свой интеллект, свою жизнь в то, чтобы воспроизводить в науке себе подобных. Секретами этого воспроизводства он владел в совершенстве, хотя делился ими не часто. Наш долг – воспользоваться ими и передать следующим поколениям.



Чем бы ни занимался Кикоин, прежде всего он – автор. Автор не только научных статей, докладов, лекций, но и интервью, выступлений и, конечно, учебников, без которых процесс упомянутого воспроизводства немислим. Незаурядность его как лектора в немалой степени обусловлена тем, что родился он в семье учителя и потому имел особый вкус, особое уважение к труду преподавателя и педагога, которые воспитывались у него с детства, с младых ногтей. В возрасте 23 лет он уже читал лекции студентам в Ленинграде с благословения А.Ф.Иоффе.

И.К.Кикоин – ментор, наставник молодых ученых. И в этой ипостаси проявил себя в высшей степени плодотворно. Он – куратор, т.е. попечитель многих начинаний своих молодых последователей. Реализация этих начинаний была бы невозможной без той помощи, которую оказывал Кикоин, волею судеб (или случайностей) он был наделен достаточной властью и использовал ее во благо науки ее и воспроизводства.

И.К.Кикоин – редактор уникального издания: физико-математического журнала для юношества, который был и сложен и доступен одновременно. Даже шутку породил: «"Квант"»

предназначен не столько для сильных школьников, сколько для средних академиков».

Исаак Константинович как организатор самого процесса воспроизводства научных кадров курировал аспирантуру ИАЭ, был бессменным председателем жюри молодежных научных конкурсов, возглавлял Специализированный совет по защите диссертаций, который действует при Институте молекулярной физики до сих пор. Заметную роль в становлении и развитии в ИАЭ исследований по физике твердого тела сыграл созывавшийся им каждый второй вторник кикоинский семинар. Его хобби была история естествознания, он вел семинар и по этому направлению.

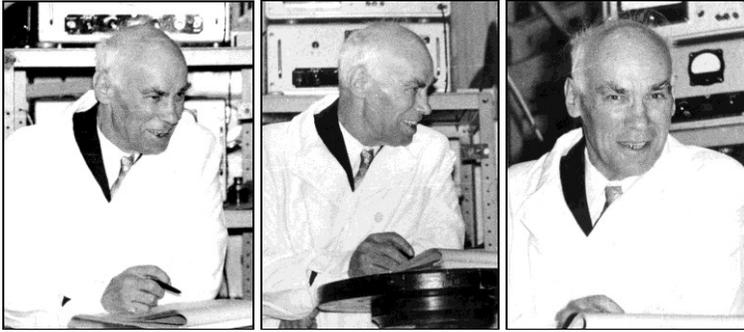
И.К.Кикоин всегда старался сопровождать свои лекции интересными демонстрациями. Это была его страсть – она, мне кажется, была передана следующему поколению (по крайней мере, в моем лице), и наш долг – понимать, насколько важно "визуализировать" физику, самую прекрасную из наук, которую Природа-Бог нам подарила.

Вкладывая свои силы, свою жизнь в молодежь, он, конечно, понимал, что будущий молодой специалист являет собой "особость" и в физическом, и в интеллектуальном, и в психологическом смысле, что отношение к этой частице будущей науки, еще не оформившейся полностью, должно быть очень аккуратным, иногда даже нежным. В частности, Кикоин считал необходимым почаще следовать известной фразе Козьмы Пруткова: "Похвала так же нужна поэту, как канифоль смычку виртуоза". И он никогда не упускал случая ободрить молодого специалиста, помогал ему пройти через совершенно неизбежные в начале пути неудачи и обязательно подводил его к первой самостоятельной публикации. Он понимал, как психологически важно молодому ученому увидеть свое имя напечатанным в научном журнале.

В выступлениях перед молодыми учеными, студентами, школьниками И.К.Кикоин извлекал из памяти (а память у него была уникальная) поучительные физико-исторические факты, которые высказываемую им мысль делали более выпуклой и запоминающейся. Убеждая студентов в необходимости начинать работу в науке в возможно более раннем возрасте, он приводил перечень крупных научных достижений, сделанных их авторами "смолоду".

В 1973г. Кикоин основал при Отделении молекулярной физики Специализированный совет по защите диссертаций. Он был его председателем (я – ученым секретарем). Вся деятельность Кикоина в этом совете проходила на моих глазах. Всего за первые

20 лет работы совета было защищено 105 кандидатских и 63 докторские диссертации. Их распределение по годам показывает, что с 1987 г. наметилась тенденция к уменьшению числа защит. Это, полагаю, тревожный сигнал для нас, для отечественной науки.



Через совет прошло много специалистов – кандидатов и докторов наук. Мой опыт взаимодействия с ними показал впоследствии: те, кто проходил защиту на этом совете, сохранили к его председателю своего рода сыновьи чувства. Когда через 5-10 лет председателю нужно было обратиться к бывшему подзащитному с каким-то деловым вопросом, отношение к этой просьбе всегда было не только подчеркнуто уважительным, но и стремительным (по исполнению). Отбор претендентов на защиту был очень серьезным. Среди диссертаций были экспериментальные, теоретические, смешанные. На самой защите Кикоин всегда находил слова, которые подводили итог дискуссии, обобщали то, что сказано оппонентами и выступавшими. Практически всегда он выступал последним. Но были и исключения. Когда представлялась чересчур затеоретизированная диссертация, он доверял заключительное слово специалистам, хотя, казалось бы, "свадебно-генеральское" положение обязывало его самому подводить итог. Это – тоже хороший урок. Иногда, присутствуя на заседаниях, я вижу, как тот или иной начальствующий товарищ обязательно стремится выступить. Даже тогда, когда ему нечего сказать. В этом случае я вспоминаю фразу из "Листьев травы" Уолта Уитмена: "И почему человек, которому нечего сказать, не молчит?" Кикоин говорил только тогда, когда ему было что сказать. А эрудиция позволяла ему делать самые глубокие обобщения.

В конце 1960-х годов была популярна книга Рольфа Лэппа "Атомы и люди". Вот цитата из нее: "Яркая вспышка гениальной мысли имеет большее значение, чем равномерный накал тысячи

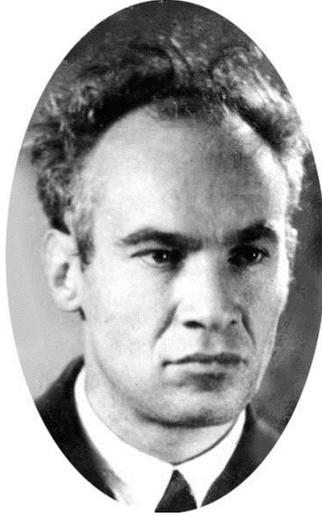
рядовых умов". Так и тянет использовать эту фразу как эпитафию. Я же хочу возразить Лэппу. Все-таки вспышка – это производная от средней энергии молекул. А чем выше средняя энергия молекул, тем выше вероятность гениальной флуктуации. И поэтому разделять, как это сделал Лэпп, что важнее, я бы не стал. Это все равно, что пытаться ответить на вопрос, кто важнее для воспроизводства следующего поколения – папа или мама. Я бы отнес этот вопрос к категории некорректных. Поэтому нужна высокая температура, высокая энергия, высокий интеллектуальный накал в научном коллективе, чтобы вероятность гениальной вспышки увеличилась. По-моему, Кикоин это отлично понимал. Он понимал, что запрограммировать рождение гения или таланта невозможно, можно лишь быть готовым поддержать его, когда он уже появился. Но что действительно можно делать – и что действительно Кикоин делал – это создавать вокруг себя (как принято говорить в физике твердого тела – в "ближайших соседях" и в "соседях, следующих за ближайшими") высокую среднюю энергию научного движения и общего интеллекта.

Интерес Кикоина к проблеме интеллектуального и физического воспроизводства науки не случаен. Он произошел из семьи учителя. Закончил в 15 лет 1-ю Псковскую школу им. Л.М.Поземского. У этой школы были богатые традиции. (Ей более 200 лет, а на 180-летию И.К.Кикоин присутствовал лично.) В интеллектуальной работе нужна критическая масса. Когда набирается интеллектуальная критическая масса, увеличивается вероятность рождения гениальной вспышки. Из школы им. Л.М.Поземского вышли: замечательный медик Обух (одна из улиц в центре Москвы названа его именем), Бладис (всем известны таблицы Бладиса), Тынянов, Каверин. Это не случайно! Читатель, уверен, согласится с тезисом: "Традиции – не пепел, а огонь". И это согласие означает, что долг наш – вкладывать свои усилия в том направлении, в котором столь усердно и плодотворно поработал Кикоин, лелея живое древо науки.

Первые свои лекции Кикоин начал читать в 23 года; после некоторого перерыва он вернулся к лекционной практике уже в Уральском политехническом, и весь УПИ гордился, что им читает лекции доктор наук (их тогда было немного, все наперечет).

Как только родилось наше ведомство (с задачей решить атомную проблему), сразу встал вопрос о подготовке будущих кадров. В 1946 г. был создан Московский механический институт (ныне МИФИ), который поначалу разместился в здании мasonicкой ложи, напротив Почтамта. Кикоин читал там курс общей физики.

Среди лекторов были Арцимович, Обреимов, Хайкин, Гуревич... Там тоже была интеллектуальная критическая масса, что очень важно и для студентов, и для лекторов, которые, зажигаясь друг от друга, автоматически повышали уровень лекций, экзаменов и тем самым способствовали повышению уровня будущей науки.



Когда в 1953 г. возникла необходимость повысить уровень преподавания физики в МГУ, И.К.Кикоин переходит туда и снова оказывается в весьма сильном окружении. В своих выступлениях он отмечает, что сам процесс чтения лекций ему очень нравится. Как рассказывали мои коллеги, которым выпало счастье слушать Кикоина, после каждой лекции его окружали студенты, засыпая вопросами. Он никогда не торопился, как бы ни был занят. В работе со студентами был благожелателен, прост и, как подчеркивали слушатели, старался приподнять "самоуверенность" студента. Если бы в те годы было принято, он обращался бы к ним так: "господа студенты".

И.К.Кикоин свои отношения со студентами и, скажем, с административным персоналом кафедры определял в пользу первых. Каким образом он это делал – загадка. Но всегда давал почувствовать студентам, что у них особая миссия, особое жизненное назначение, и надо быть достойным этого назначения. "Вкладывайте всю вашу жизнь в то, чем вы сейчас занимаетесь", – призывал он.

К вопросам, запискам студентов И.К.Кикоин относился с большим пиететом, подчеркивая, что "записки для лектора – это

как аплодисменты для актера". Ему нравилось читать лекции еще и потому, что он видел быструю отдачу: человек приходит на курс, ничего не зная, а уже через полгода, сдав экзамен, он практически поднимается для старта на плечи гиганта-лектора. Это – совершенно необходимое условие для воспроизводства научных кадров: старт должен быть именно с плеч предыдущего поколения, его самых сильных представителей.

Регулярное чтение лекций подвигнуло И.К.Кикоина к написанию учебника. В 1963г. появился его труд "Молекулярная физика", написанный в соавторстве с младшим братом Абрамом Константиновичем. Этот учебник выдержал два издания (второе – в 1974г.). Во многих отношениях учебник был интереснее, сильнее, богаче, чем пособия, которыми пользовались в других вузах.

Одновременно с этой работой в 1955г., буквально на следующий год после прихода в МГУ, Кикоин создал физический кружок. Он был убежден, что студент должен начинать заниматься научной работой очень рано и уже в молодости пройти через ошибки, трудности и старания научного поиска, чтобы потом постепенно выйти на уровень серьезных научных исследований. Поначалу в физический кружок пришло много второкурсников – около 50 чел. Никаких приемных испытаний не было. Но не все выдержали. Остались только те, кто смог преодолеть трудности экспериментальной работы. Среди них: С.Лазарев, Ю.Муромкин, Н.Бабушкина, Т.Игошева, С.Наурзаков, В.Преображенский, С.Якимов, ставшие докторами и кандидатами наук. Это были будущие сотрудники ОПТК – Отдела приборов теплового контроля (или, как шутили: "Отдела Подготовки Талантливых Кадров").

Вспоминаю одну ситуацию, которая коснулась меня лично. В 1974 г. я защитил докторскую диссертацию, и, естественно, встал вопрос, где можно подработать в свободное время. И тут очень кстати позвонили из Института научной и технической информации (ВИНИТИ) и пригласили совместителем на весьма высокую, но относительно спокойную должность (почти синекуру). Вопрос чисто формальный – спросить руководителя. Я был абсолютно уверен, что согласие получу. Я никогда не слышал от Кикоина отказа ни в одном моем начинании. Прихожу к Кикоину и говорю, что мне предложили вот такую работу.

Нет, я не подпишу.

Почему? Ведь это не будет мешать основной работе.

Нет, информацией пусть занимаются другие. Вот преподавать – идите. Если будете преподавать, во-первых, ваши знания останутся в учениках. Во-вторых, вы сами, готовясь к

лекциям, будете искать различные формы преподнесения материала и тем самым поддерживать свое развитие, свой научный тонус на определенном уровне. Поэтому я не разрешаю Вам совмещать в ВИНТИ. Пожалуйста, совмещайте как лектор.

Я последовал его совету и теперь понимаю, как он был прав. Это помогает мне на семинарах, заседаниях Научных советов. Исходя из научного опыта, я иногда оперирую изначальными знаниями, аргументами и логикой, которая, как правило, весьма сильна.

И.К.Кикоину было присуще высокое чувство долга, ответственности перед человеческой популяцией. В какой-то момент он понял, что интерес к физике стал падать. Проанализировав ситуацию, Исаак Константинович увидел, что причина – в недостатках школьного образования. И тогда он задался целью помочь школе. Сначала ему поручили возглавить предметную комиссию, он организовал ее работу. Затем получил приглашение стать редактором переиздания известного учебника физики А.В.Перышкина. Он прошел и через это. Но тут у него возникло желание самому сотворить учебник, и в соавторстве с братом И.К.Кикоин написал учебник "Физика-8" (для восьмиклассников).

Отношение к этой работе было серьезным. Исаак Константинович говорил: "Допустить ошибку в школьном учебнике гораздо опаснее, чем в учебнике для вуза. Профессор поправит ошибку автора, а учитель, где-нибудь в глубинке, этого может и не сделать. Размножение такой ошибки в пяти миллионах экземплярах может иметь серьезные отрицательные последствия". И добавлял: "Надо написать так, чтобы не было пяти миллионов ошибок". Учебник Кикоиных прошел много апробаций, комиссий. Пробный тираж составил 35 тыс. экз. А в 1975 г. учебник вышел пятимиллионным тиражом. Через некоторое время учебник был переведен на венгерский, испанский, английский, французский языки. В 1979г. Кикоины в содружестве с другими авторами написали пробный учебник "Физика-9".

В 1984г. в журнале "Коммунист" (№ 4) появилась маленькая заметка, обвиняющая учебник "Физика-8" в махизме. Действительно, Мах написал в 1909 г. классический учебник для западной школы. Кикоин хорошо знал ситуацию, знал ленинские негативные реплики на работу Маха и тем не менее считал своим долгом использовать удачные находки предыдущего поколения, рассматривая механику как самую наглядную науку. Без этого специалист – не специалист!

Но некто решил за это немножко покритиковать авторов учебника. И пошло-поехало... Маха самого кто читал? А журнал "Коммунист", заслуживал он того или нет, знали все, в том числе и в глубинке, в школах. Кикоин понял опасность ситуации и принял единственно правильную тактику: не отвечать конкретно на эти обвинения, а опубликовать в том же журнале статью, посвященную отношению Ленина к физике. И это сразу все поставило на место. Учебник жил, живет и будет жить.

Летом 1962г. МФТИ десантировал своих аспирантов и студентов в различные части страны для проведения физико-математических олимпиад. Потом под эгидой ЦК ВЛКСМ была организована всесоюзная олимпиада, в заключительном туре которой участвовали около 600 чел. На одном из заседаний оргкомитета, председателем которого с 1965 по 1984 г. был И.К.Кикоин, родилась идея создать специальный физико-математический журнал для школьников. И такой журнал – "Квант" – был создан. Первый номер вышел в 1970г. Статья, открывающая журнал, была написана сотрудником нашего "Отдела Подготовки Талантливых Кадров" – Я.А.Смородинским. Называлась она «Что такое "Квант"?» В первые годы журнал выходил тиражом 200 тыс. экз. Через 7 лет он достиг 300 тыс.

С 1980г. издается «Библиотечка "Квант"» – увидело свет уже 130 книжек. Это же целая залежь высокопрофессиональной научной литературы! Для ее разработки в 1991 г. создано малое предприятие "Бюро Квантум", другой задачей которого являлась поддержка физико-математических олимпиад, тоже детища Кикоина.

Видимо, удалось-таки Кикоину переселить свою душу в свои научные детища. Большинство их здравствует поныне, материализуя собой память о замечательном профессионале и человеке, безмерно любившем физику: "...за долгую жизнь я не успел насладиться любимой своей физикой, не хватило мне времени, ясно вижу теперь – не хватило. А ведь не было ни одного дня в жизни, ни выходного, ни праздника, ни отпуска, когда бы я ею не занимался. Часто и сны вижу о физике".

КИКОИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

«Традиции – не пепел, а огонь»

Нет, не о лекторском мастерстве И.К.Кикоина пойдет речь ниже (этот мотив заслуживает отдельного эссе).

Речь пойдет о ежегодных научных Чтениях, названных его именем и родившихся ровно через 3 месяца после печального 28 декабря 1984 г. Сразу после прощания стало ясно, что

очередной Научный совет ИМФ (увы, впервые за 40 лет без его Председателя) будет проведен в ближайший день его рождения (28 марта), и это стало днем научных и человеческих, бесконечно искренних, а значит, душевных и духовных воспоминаний. Точнее – днем передачи эстафеты от поколения к поколению.

«Но все проходит...» А что на следующий год? Тоже воспоминания? И родилось предложение в духе принятых в научном мире традиций – ЧТЕНИЯ. Не все члены оргкомитета (а среди них были и харизматики) приняли, что это – не ежегодные воспоминания, а продолжение научной жизни Кикоина, и прежде всего – в течении русла вечно живой науки, т. е. его «**ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ**».



Кикоинским Чтениям в 100-летний юбилей И.К. (28 марта 2008 г.) исполнилось 24 года. В этом-2014 году уже будут 30-ые Кикоинские чтения. Неужто пора подводить итоги? И рано, и нет... Что за спиной? Огромный интерес огромной аудитории, пресса ... Но важно, что эти Чтения органически вписались в замечательную традицию Чтений Курчатовского центра (РНЦ КИ):

12 января (день рождения И.В. Курчатова) – Курчатовские чтения.

13 февраля (день рождения А.П. Александрова) – Александровские чтения.

28 марта (день рождения И.К. Кикоина) – Кикоинские чтения.

Для РНЦ КИ этот сгусток научных событий в начале года – не случайный «парад планет». Эти три имени – Курчатов, Александров, Кикоин – конечно, случайно сошлись на «ядерном» небосклоне во времени и в пространстве (хотя для астрологов, всегда ко всему готовых, – конечно же, не случайно). Просто Папа

Иоффе вовремя поработал! О, Бог-Природа, природы побольше Иоффе!

Авторитет Кикоина как физика в 40-х годах («прошлого века») был так велик, что когда родилась идея сконструировать «симметричный» ответ «Миссии АЛСОС» (ее руководитель – английский физик Голдсмит) сразу возникла фамилия Кикоина. Цель обеих миссий – изъять из обеих тогдашних Германий, Западной и Восточной, все, имеющее отношение к урановой проблеме (включая специалистов). Обе миссии с задачей справились. Кикоина для этого одели временно в полковничью шинель с соответствующими регалиями, и он во второй и предпоследний раз в жизни поехал за границу. Но это – отдельная (и крайне интересная и познавательная) история на следующий том воспоминаний.

А потом Кикоина «закрыли». И выезд, и имя. Делать для отчизны ядерную взрывчатку в открытую ни одна отчизна не позволила бы. А я, молодой пацан-аспирант, еду в 1966г. в Западную Германию на твердотельную конференцию, готовлюсь, как любой трудолюбивый пацан, – тщательнее некуда. Узнаю, что там с 1955 г. по программе репараций работает немецкий радиохимик Риль (Николай Васильевич!). (Это я потом узнал, что он сын немецкого посланника в Питере 40-х годов). И конструирую свой маршрут Штуттгарт-Кельн-Мюнхен так, чтобы провести один день в его институте. Приезжаю, обсуждаем, беседуем. Вдруг вопрос: «Славского знаете? Завенягина? Кикоина?» Я (опешив): «Первых двух заочно, Исаака Константиновича – лично, общаюсь ежедвудневно, я – его аспирант». Встречное удивление.

Оказалось, что Н.В.Риль как немецкий химик по урану, вывезенный в результате «Миссии Кикоина» в 1945 году в СССР, отработал у нас по профессии (!) 10 лет, получил за свои профессиональные достижения Сталинскую премию (а значит, дачу, ЗИМ и пр.), а затем, после репатриации в 1955 г., местом своего дальнейшего пребывания выбрал Западную Германию – «чтобы возрождать физику на своей исторической Родине». Все перипетии этой необычной судьбы описаны в его книге «10 лет в золотой клетке».

Живой ум академика требовал от аспиранта отчета о его живых заграничных впечатлениях. Среди них: «Боинг-707: гигант 100 м×100 м×20 м! Да еще и взлетает!» И.К.: «Это-то понятно! Птицы ведь летают. Вот почему радио работает?!» Меня до сих пор восхищает его восхищение перед тайнами Природы. И вот это восхищение восхищением и послужило побудительным мотивом

для группы коллег и учеников И.К. взяться за многотрудье организации ежегодных Кикоинских чтений. Ну, а что получилось?

Во-первых – фейерверк имен. Но более существенно – благоуханный букет тем!

Сразу был утвержден «принцип»: первый из двух докладчиков – «из-за забора» Курчатовского института, но второй – из Института молекулярной физики (позже этот момент пришлось несколько смягчить), чтобы ИМФ не превратился в общество только внимающих.

Второе, что поневоле обращает на себя внимание: среди 23 «первых» докладчиков – 4 Нобелевских лауреата: Абрикосов, Алферов, Прохоров и Гинзбург, 12 академиков и т.п. («тем подобных»). Причем на день выступления только Александр Михайлович Прохоров был награжден Нобелем. Сей факт «породил мнение»: для того чтобы стать Нобелевским лауреатом, необходимо (но не достаточно же!) сделать доклад на Кикоинских чтениях. А если изучить список выступавших – таки есть еще перспективы! (Каган, Летохов, Пономарев, Андреев, Гуляев, С.Капица, Легасов....).



Что интересно, само приглашение докладчика на Чтения – процесс отнюдь не простой. Во-первых, точная привязка ко времени (15⁰⁰ 28 марта). Во-вторых, согласие надо получить к 1 декабря, ибо при отказе надо же следующему кандидату дать запас времени! Пока все получалось. Причина – имя И.К. (скажи «пароль» – и проходи!). Упомяну несколько фамилий и эпизодов.

Александр Михайлович Прохоров (1999г.). Мой звонок ему с напоминанием об эпизоде 1964 г. ИК звонил А.М. с моим предложением использовать рубиновый лазер, только что сделанный в ФИАНе, для изучения Кикоинского фотомагнитного эффекта. Нужны два стержня диаметром 10 мм длиной 150 мм (каждый стоил как автомашина «Волга»). Ответ: «Конечно, присылай своего аспиранта». Результат: поездка, знакомство,

образцы (без единой бумажки!). Через 2 месяца – физический результат! И ответ Александра Михайловича на нашу просьбу сделать доклад на Чтениях был столь же молниеносен!



Алексей Алексеевич Абрикосов (1991г.). В то время он был в тисках достаточно сложного треугольника Москва-Вашингтон-Ханой. Но встреча на склонах Курчатовского горнолыжного центра в Яхроме дала результат: доклад будет! И таки был – с фурором! А потом – Нобелевская премия (потом – не значит, конечно, вследствие).

Жорес Иванович Алферов (1995 г.). Стэнфорд, лето 1989г., жара, конференция по ВТСП (высокотемпературной сверхпроводимости). Ясное дело, раз Ожогин – от Курчатовского института, значит – изотопический (от Кикоина) эффект для ВТСП. В 1995 г. доклад Ж.И. собрал полный зал в ИМФ со всей Москвы на тему, близкую по духу к интересам Кикоина. Дальнейшее известно.

Виталий Лазаревич Гинзбург (2001 г.). С него-то рассказ о Кикоинских чтениях начинать надо было бы. Как сказал он однажды, чтобы получить Нобелевскую, надо жить долго (это условие – «почти необходимое») (новое понятие математической логики). И когда он вошел в конференц-зал ИМФ, стало ясно, что зал надо перестраивать – в сторону удвоения числа мест (с 300 до 600). По крайней мере, соответствующая докладная в Дирекцию ИАЭ была направлена.

Комментировать Кикоинские чтения можно бесконечно!

Академик *И.Фридляндер* (1994г.), ближайший друг И.К., создатель главного алюминиевого сплава для всей авиации и космики страны Советов, а попутно (или исходно) – для центрифуг Кикоина.

Академик *В. Фортв* (1995 г.), устремившийся, как П. Капица (с которым Кикоин соревновался в конце 1930-х на ниве сверхпроводимости), в экстремальные условия для вещества.

Это только с первого взгляда кажется, что человечество есть непрерывное множество (т.е. множество бесконечно малых). Правда, так и хочется продолжить: «хотя на самом деле так оно и есть». Ан нет! Множество это – дискретное, «счетное», хотя и «большой мощности» (если использовать математические термины).

Но в множество это вставлены монументы. Кикоин – один из них. Да, Кербель сработал «оч. хор.». Для живущих же – он (И.К.) живой. В памяти, публикациях, беседах (научных, но иногда почти интимных).

Были ли у него «недостатки»? С моей «кочки» зрения – да, слишком «коммунистические». А у кого их не было (от Нечаева, Маркса, Бакунина, Ленина до Горбачева)? Но ведь нашел же И.К. в себе и духовные силы и время дать ответ журналу «Коммунист», напавшему на него (И.К.) (в №4, 1984 г., с.85), за упоминание им вполне уважаемого и безобидного физика, австрийца Э. Маха, в учебнике И.К. «Физика-8» (изд. 1961г.). Причина гонения? Ленин, следуя своей необъяснимой манере травить непотребными словами своих «идейных супостатов», обозвал Э.Маха (ученого) «махистом».



Кикоин, следуя (это моя версия) известному им и мною любимому анекдоту про доски пола при строительстве бани [«доски строгать, но струганным класть вниз»], выбрал вариант ответа «Коммунисту»: «Ленин прав, но...!» [«Коммунист» 1984. №9.]. Ой, не прост был Исаак Константинович!

Память человеческая организована отнюдь не только хронологически. Поэтому вернусь на минуту к 1964 г., когда аспирант возвратился из Америки и рассказывал И.К. о своих впечатлениях. В Бостоне я забрел в магазин «Чудеса и магия». Среди прочего наткнулся на неглубокую коробку, полную кофейных зерен (под названием «мексиканские»). Уже проскочил

было мимо, как вдруг периферийное (чувствительное к движению) зрение остановило: то одно, то другое зерно время от времени поворачивалось на 30-90 градусов! Конечно, приобрел 20 штук (за 5 «тутриков»). Вернувшись в Москву, не мог заснуть (это после 14 дней с 9- часовым сдвигом), пока не поставил опыт, положив зерна на теплое чайное блюдце, после чего «зерна» к утру разбрелись по всему столу.



Явившись к И.К. «под отчет», поначалу рассыпал перед ним «зерна», и, шаг за шагом увлекаясь, начал рассказывать про рекордные магнитные поля в МТИ, твердотельные рекорды Белл-лаб. и пр. И вдруг вижу – адресат меня не слушает – весь в слезении за жизнью «зерен»!

Наутро незабвенная его секретарь Прасковья Александровна Малышева: «Ожогин! Срочно к академику!» Его откровение: «Ночь не спал, старался понять. Не вытерпел – одно «зерно» разрезал, там черный червяк! А другой причины и быть не могло – *vita vitalis!*».

Стоп! Какое отношение сие воспоминание имеет к Кикоинским чтениям? Да оно удивительную многогранность И.К. оттеняет. Конечно, физика, техника, философия, история естествознания, история религии. Но и литература, театр (в том числе кукольный), живопись-скульптура, сатира и юмор (это еще с уральской молодости) и пр. Все это многообразие интересов было характерно в 1960-70-х годах для «думающей» части общества – так называемых шестидесАНТНИков (термин Евг. Евтушенко). Но ведь И.К. был на 25 лет их старше!

Вместе с тем он простирает свой интерес и к таким проявлениям человеческой любознательности, как тихо-психо-

пара-явления, НЛО, телекинез, кожное зрение и прочие подобные «модные» тогда штуковины, которыми шестидесятники, вообще-то говоря брезговали. Однако подоплекой этого интереса И.К. как убежденного естествоиспытателя был призыв опустить моду до уровня знания – через эксперимент.

Той же позиции придерживался и директор Института радиотехники и электроники (мой однокашник по МФТИ) академик Юрий Гуляев, который уже многие годы часть временного ресурса уникальных установок своего института направлял на изучение реальных физических полей человека. 28 марта 2002 года зал был полон. И, что удивительно, ни одного провокационного, «журналистски-обывательского» вопроса – только по физической сути! А все ответы – экспериментально аргументированные.

Нельзя не вспомнить академика Андрея Станиславовича Боровика-Романова. Я – его ученик по диплому МФТИ (1960 г.), содержание этого диплома потом вошло не только в ЖЭТФ-60, но и в «библию» Ландау-Лифшица 1982 г. издания. И.К. был официальным оппонентом А.С. по его докторской диссертации (1960г.). А.С. был уникален на уровне И.К., прежде всего как экспериментатор. Нет, с П.Л. Капицей он не соревновался. Но по предложенной П.Л. идее сделал пресс, подвесил его на нить (все в жидком гелии!) и наблюдал пьезомагнитный эффект (1963 г.), предсказанный для CoF_2 Игорем Дзялошинским (Игоря, любя, А.С. называл «Лошадиным»). Теоретик, когда меняет тематику, делает это легко – как перчатки. У экспериментатора дело сложнее – методика виснет над ним, сами знаете, где. А.С. на это решился – и вот вам доклад в 2002 г. на Чтениях. Да и погиб он как в бою. Да, воевал. Да, был пленен (со всеми НКВД последствиями). Но – МГУ, обе диссертации, Институт Физпроблем (А.С. стал его директором после П.Л.)... А умер (погиб!) как герой: в 1997-м, в возрасте 77 лет, идучи в Австралии на свой доклад на конференции, присел на скамейку и ... не встал.

Нельзя не сказать про Юлию Данилова (1987 г.). Его, математика, И.К. многожды пытался подключить к центрифуге. Юлий не сопротивлялся, нет. Но попытки были тщетны. И тогда И.К. пустил его в свободное плавание. Результат до сих пор сияет в истории науки и в математической литературе.

Игорь Григорьев (1997 г.) и Александр Карчевский (1999 г.) – две конгениальные находки И.К., и обе – по разделению изотопов. Откуда в них столько энтузиазма и энергии одновременно? Это только кажется, что одно от другого неотделимо. Но в этих двух имяреках они соединились! И до сих

пор, несмотря на «смутные» времена, созданные ими лаборатории суть самые живые в ИМФ – пульсируют.

Вся бесконечная Россия (в лице ее разделительного сообщества) не могла не принять участия в Кикоинских чтениях. Это И.Израилевич (1996 г.), А.Кнутарев (1998г.), Г.Соловьев (2001г.), А.Шубин и Г.Скорынин (2005 г.), т.е. почти все разделительные комбинаты внесли свою лепту в Чтения. Будут охвачены и остальные.



Но, что может быть и более важно, молодежь комбинатов включена в Чтения как полноправный участник – в Кикоинском конкурсе Чтений (спонсор – Кикоинский фонд во главе с его председателем В.Н. Прусаковым, постоянный председатель жюри – С.С. Якимов). Вряд ли нужно лишний раз подчеркивать престиж Кикоинского диплома для них.

Конечно, Кикоинские чтения не могли избежать международных контактов (и они умножатся, уверен). Это, во-первых, А.Абрикосов (1991г.), Аргоннская лаборатория, США. Во-вторых, племянник И.К., известный теоретик, ученик Ю.Кагана, Костя Кикоин (2000г.), БГУ – многие дешифровали эту аббревиатуру как Белорусский Государственный университет. Ан нет – Бен-Гурион Университет (Израиль).

Чтения 2006 г. опять-таки собрали полный зал. На них РНЦ КИ получил возможность познакомиться именно как с учеными с двумя своими «свежими» научными руководителями – вице-президентом РНЦ академиком Владимиром Борисовичем Бетелиным и первым зам. директора РНЦ профессором Виктором Лазаревичем Аксеновым. Это надо было слышать и видеть, сколько было вопросов после каждого из докладов! Кстати, тогда на входе в конференц-зал ИМФ было вывешено объявление в духе Исаака Константиновича: «Москва. В связи с 22-мя Кикоинскими

чтениями 29 марта с.г. произойдет солнечное затмение: начало – 17:11, максимум – 18:15, конец – 19:19, покрытие – 57.2%».

О каждом из Чтений можно рассказывать бесконечно. В 2007 г. выступили академик Владимир Георгиевич Кадышевский с заинтриговавшим всех докладом «Масса и геометрия», и профессор Юрий Васильевич Сивинцев, аксакал Курчатовского центра, с суперактуальной темой «Ядерная экология».

И вот мы подошли уже к 30-м Кикоинским чтениям. Стилистика Чтений обязывала Оргкомитет «проводить с докладчиками работу» – объяснять, что перед ними будут 300 человек не специалистов, а «пешеходов с верхним образованием». И упоминать уникальную фразу Л. Ландау: «Я – гениальный тривиализатор». И знаете? Действовало безотказно! Может, в этом часть успеха Чтений?

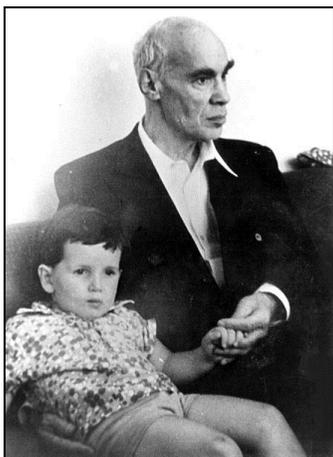


Рассказы И.К.Кикоина

Род человеческий, существуя в пространстве и развиваясь во времени, представляет собой сверхорганизм, называемый "Человечество". В каких формах реализует себя его "сверхмозг?" Конечно, в форме системы образования, библиотечных накоплений, в форме, наконец, всегда дефицитного исторического опыта и пр. Но и в форме поговорок, народных преданий (до эры всеобщей грамотности), в форме афоризмов, притчей, анекдотов (даже в эру всеобщей графомании!).

У Кикоина одной из форм воздействия на внутренний мир "соплеменников" были его бесчисленные, но всегда безумно

интересные рассказы "из жизни науки". Я не знаю, ощущал ли себя Исаак Константинович как эффективное, не только творческое, но и передаточное звено между поколениями. Я даже не думаю, что он когда-нибудь озадачивал себя целью превратить "соплеменников" в "сомышленников" – никогда за время моего 20-летнего, почти ежедневного общения с ним разговор в столь обобщенной плоскости не шел. Но объективно (мое объективное восприятие тому опора) его экскурсы в научное прошлое приводили собеседников, по прошествии достаточно длительного времени, к великому ощущению причастности к глобальному процессу познания, зачаткам историзма мышления и, наконец, к осознанию себя как составляющей "сверхмозга" Человечества.



Свои заметки я завершу простым пересказом так называемых рассказов Кикоина, сделанных по живым записям на четвертушках бумаги. Но сначала поведаю о том, как они, эти рассказы, возникали. Осенью 1960 г. я стал аспирантом незабвенного Давида Альбертовича Франк-Каменецкого и впервые появился в ИАЭ. Вскоре я наткнулся на объявление о "твердотельном" семинаре академика И.К.Кикоина. Посетив семинар несколько раз, проникшись пиететом к размерам кабинета, где семинар проходил по вторникам в 17 ч, я осмелился предложить себя в качестве докладчика. Процесс знакомства завершился полной изменой Давиду Альбертовичу, что, однако, было оформлено в лучших традициях интеллигентных семей, поскольку в основе измены лежала страсть аспиранта к той науке, которая более вписывалась в "твердотельное" хобби И.К.Кикоина,

чем во временное биофизическое увлечение Д.А.Франк-Каменецкого.

Я получил угол (просторный), средства для сооружения установки и возможность вместе с другими аспирантами Кикоина роптать на то, что он "мало нами руководит". Мне хватало ума этой возможностью не пользоваться. Более того, под влиянием атмосферы вокруг И.К.Кикоина я ощутил в себе позыв к самостоятельной разработке темы с активным информирующим выходом на руководителя, а позже понял, что именно такая форма общения с молодым аспирантом была жизненно необходима не только мне, и сознательно стал информатором (научным, конечно) академика, обремененного не только "твердотельными" заботами.

Со своими аспирантами и сотрудниками-"твердотельцами" Исаак Константинович общался в основном вечерами, посещая их рабочие места в неспешных обходах где-то после 19 ч. В 1960-х годах частота этих обходов была 2-3 раза в неделю, затем чуть реже. Обсуждение конкретных научных и организационных проблем, как правило, переходило в беседу на общие (но почти всегда касающиеся науки) темы, и как иллюстрации к тому или иному положению возникали два-три рассказа Кикоина.

Они были к месту, поучительны или просто интересны, мы их пересказывали потом друзьям. Последние несколько лет, осознав, что самая плохая запись лучше самой хорошей памяти, я незаметно (почти) от рассказчика записывал тезисно содержание рассказов на любом подвернувшемся клочке бумаги, который затем без обработки присоединял к предыдущим в нижнем ящике стола. Таких рассказов у меня накопилось сорок, а могло быть и более. Я привожу их практически без редактирования. Те из читателей, кто общался с Исааком Константиновичем, многие из этих маленьких новелл (среди них есть и пересказы известных фактов, но акценты кикоинские) воспримут как нечто очень близкое, почти родное.

1

Суворов терпеть не мог "немогузнаек".

Один солдат стоял на часах. Суворов спросил его: "Сколько звезд на небе?" Тот знал про "не могу знать" и ответил: "5834!" Суворов усомнился. "Проверьте, Ваше сиятельство!" – ответил молодец.

А однажды новый офицер прибыл к Суворову представиться, и был встречен вопросом: "Что такое ретирада?" Офицер: "Не могу знать!" Суворов возмутился, но получил ответ:

"Этого слова нет для суворовской армии!" (Ретирада – отступление.)

2

В 1929г. И.К.Кикоин учился на 3-м курсе института, математику читал Гаврилов. Исаак Константинович его лекции посещать не мог, так как занимался подработками. Перед экзаменами он взял месячный отпуск и выучил все по курсу Бибербаха "Аналитические функции" (три тома на немецком) – в три раза больше нужного; и все сдал.

Бибербах в 1934 г. опубликовал статью "Об арийской математике" в "Докладах прусской Академии наук".

Англичанин Харди написал тому открытое письмо: "Поначалу я думал, что Вас принудили написать это, но когда я прочитал второй раз, я понял, что Вы так думаете".



3

Австралийцы Брэгги (отец и сын), известные каждому "твердотельцу", первую и сразу выдающуюся работу сделали, когда отцу было 50 лет, причем начали ее потому, что надо было насытить каким-нибудь новым содержанием доклад на заседании Королевского общества, которое планировалось в Мельбурне, а доклад по традиции должен делать представитель местной науки.

4

Англичанин Астон, задумав сделать масс-спектрометр, исходил из идеи фокусировки ионов с помощью электрического и магнитного полей. Пошел к Томсону – тот не понял (но и Астон не мог толком объяснить). Пошел к Резерфорду – тот тоже не понял,

но посоветовал сделать. Получилось, но объяснения не было. Пошел к теоретику Дарвину, который все объяснил. Работу опубликовали вместе. Астон больше в жизни ничего не сделал. Нобелевский лауреат.

5

Римский сенат постановил: каждый римлянин должен забыть имя Герострата Безумного, который сжег храм Артемиды, чтобы прославиться. Ликторы ходили по улицам и спрашивали прохожих, кого они должны забыть.

6

В одном РОНО при проверке сочинений претендентов на золотую медаль обнаружили, что один из них написал "гитлер" с маленькой буквы. Вызвали автора, но тот сказал: "Можете ставить два, но по-другому писать не буду!"

7

Эдисон изобрел прибор для регистрации биржевых курсов. Запатентовал. Показал. Через день зашел получать гонорар, но колебался, какую цену назвать – 400 или 4000 долларов. Поэтому на первый вопрос: "Сколько?" – ответил: "Сколько дадите!", а на второй вопрос: "40 тысяч устроит?" – сказал: "Да!", взял деньги, принес домой, положил под подушку и заснул.

8

Максвелл во время экзамена дал студенту Стоксу задачу: вычислить силу сопротивления шара в вязкой жидкости. Тот и вывел "формулу Стокса": $F/V = \sigma \rho R \eta$. Похожий случай был с Рэлеем. Все это описано у Л.И. Мандельштама.

9

Л.И. Мандельштам любил экзаменовать молодых физиков. Как-то он спросил Кикоина: "Почему нельзя получить большое магнитное поле H , медленно меняя большое электрическое E , – ведь будет очень длинная электромагнитная волна, а в ней $H = E!$ "

Ответ: $H = H_{\text{макс}}$, там, где $E = 0$, т.е. на расстоянии $\lambda/4$ от точки, где $E = E_{\text{макс}}$. Да и конденсаторов не напасешься, так как для синусоидальной волны их надо много и на расстоянии $\lambda/2$ друг от друга.

10

Аксель Берг в 1918 г. командовал подлодкой и торпедировал английский крейсер на подступах к Кронштадту. В 30-х годах на одном конгрессе один англичанин рассказал ему о том, что еле остался жив, будучи на том подстреленном крейсере.

11

Американка, биолог Карлсон, написала книгу "Безмолвная весна", после чего конгресс запретил порошок ДДТ.

Это разорило химическую промышленность. Автору потом подстроили автокатастрофу.

12

Профессор Варшавского университета по фамилии Цвет изобрел хроматографию еще до войны (1914 г.), но был не понят и забыт.

13

На заседании Академии наук представляли одного кандидата в члены-корреспонденты: "Это человек большой страсти!" Зал грохнул – кандидат был семь раз женат.

14

Николай I поручил тогдашнему президенту Академии наук Исакову провести Аракчеева в академики. Исаков поговорил со всеми голосующими, заручился поддержкой каждого, но, видимо, каждый представил себе, какой позор будет лично для него, если Аракчеева изберут единогласно, и каждый (т.е. все!) бросил черный шар. Исакова потом сняли.

15

В 1951г. И.К.Кикоин жил на Урале. В одной из поездок в Москву его встретил В.А.Фок: «Я последнюю неделю не сплю. Мне прислали из редакции "Правды" статью Максимова против специальной теории относительности (СТО) на рецензию. Я ответил, что статья столь же развязна, сколь и невежественна». Через несколько недель Исаак Константинович получил пакет с вырезкой той статьи Л. Максимова в газете "Красный Флот" (статья называлась "Фальшивая наука", громила СТО и требовала запретить ее преподавание в университетах). Кикоин был возмущен. Он вспомнил, что Л. Максимов писал хвалебное предисловие к книге Ланжевена, в которой был раздел и о СТО. И.К.Кикоин написал гневное письмо в "Красный Флот". То же сделали Фок и Тамм. В Москве встретились и объединили свои письма. Там рассказывалось и о том, как в 1922 г. в журнале "Под знаменем марксизма" появилась статья физика А.К.Тимирязева против СТО. Ее послали на отзыв Ленину, который назвал Эйнштейна великим преобразователем естествознания. Статью Фока, Тамма и Кикоина дали Курчатову, тот направил в ЦК КПСС, чтобы опубликовать в "Правде", но совет был – дать только под фамилией Фока, так как Тамм и Кикоин – "закрытые". Эту историю Кикоин рассказывал на 60-летию "Правды": мол, хвалить газету можно не только за то, что публиковали, но и за то, что сумели не опубликовать статью Максимова, члена-корреспондента АН СССР по философии.

16

В Мюнхене в 1912 г. физики собирались по средам после обеда в ресторанчике и обсуждали физические проблемы, а по субботам – на семинаре с доской и мелом. В одну из сред Макс фон Лауэ предложил проверить электромагнитную природу рентгеновских лучей пропусканием их через кристалл. В тот же вечер Фридрих и Книппинг сделали это. Лауэ построил теорию (докторская диссертация) и получил Нобелевскую премию.



17

Фредерикс особенно хорошо читал теорию относительности, так как с Фридманом готовил четырехтомник по этой науке. Издали только тензорный анализ, потом Фридман умер. Фридман первым написал теорию сжимаемой жидкости. После восстановления международных контактов в 1923 г. на первом же конгрессе механиков в Стокгольме его избрали вице-президентом. Там он встретился с Прандтлем. У того была лаборатория в Геттингене, которую русская авиация бомбила в первую мировую войну. Фридман, о том узнав, спросил, в какой день была бомбежка и про себя отметил, что в тот день он был в этом полете. Он сохранил интерес к проблемам бомбометания как к физическому явлению. В 1925 г. договорился с летчиком об эксперименте, за три дня до него заболел брюшным тифом, но тем не менее полетел и через три дня умер (в 36 лет).

18

Софья Ковалевская пошла к чиновнику Минпроса. Тот не давал ей профессорство в Петербургском университете (хотя она уже была профессором Стокгольмского) по причине, что "женщин-профессоров не было, и я не вижу оснований вводить

новшество". Ее комментарий: "Пифагор, открыв теорему, принес в жертву богам 100 быков. С тех пор скоты не любят новшеств".

19

В Ленинграде в 1920 г. шла кампания переименования улиц. Владимирский проспект переименовали в проспект Нахимсона (революционер и политический деятель, расстрелянный в Ярославле во время эсеровского мятежа). Владимирский проспект заканчивался Владимирским собором, по имени которого назван проспект. Раньше кондуктор трамвая объявлял: «Остановка – "Владимирский проспект", следующая остановка – "Владимирский собор"». После переименования проспекта: «Остановка – "проспект Нахимсона", следующая остановка – "собор Нахимсона"».

20

В Англии считается неприличным разговаривать с дамой о Байроне, так как тот написал сестре стихотворение, которое "можно написать только любовнице". К.А. Тимирязев, гуляя по Лондону, не нашел ни одного памятника Байрону. Спросил у дамы. Та отвернулась и молча ушла. Тимирязев только позже узнал, почему.

21

И.К.Кикоин когда-то читал либретто кинофильма Чаплина "Двойник Наполеона". Наполеон после "100 дней" снова в тюрьме, но партия бонапартистов сильна. Среди них появился молодой человек, который внешне похож на Наполеона. Предложил подменить. Переделался, загримировался, проник в тюрьму, убедил Наполеона, поменялись, позвали адъютанта – даже тот не заметил подмены. Все удалось, и Наполеон начал готовить восстание. Накануне решающего дня обходил тайно казармы, окликнул дежурного, который читал газету и не прореагировал. Тогда Наполеон назвал себя, а дежурный сказал не оборачиваясь: "Наполеон умер в тюрьме". Конец фильма. Чаплин уничтожил уже снятый фильм, так как за неделю до уже спланированного его выхода на экран вышел фильм Д.Фербэнкса "Двойник Дон Жуана" с аналогичным сюжетом.

22

Как-то И.К.Кикоин звонит высокому чину и говорит: "Направляю Вам специалиста, который проконсультирует Вас по интересующему Вас вопросу. Закажите ему пропуск, пожалуйста!"

Чин: "Как Ф.И.О.?" Кикоин (диктует размеренно, так как знает, что дикция у него хромает): "Наурызакв Салим-Герий Пшемахович" Чин: "Как, как?" Кикоин повторяет. Чин: "Все равно не понимаю. А Вы не можете прислать кого-нибудь другого?"

23

Когда И.К.Кикоин работал в УФТИ в Свердловске, там же действовал Уральский филиал АН СССР (председатель – Бардин, он проживал в Москве, заместитель его – Деменев, остальные – совместители). Деменев подал Бардину идею ввести УФТИ в УФАИ. Бардин поддержал, но потом сдался. УФТИ с Деменевым поссорился. К 1 мая подготовили "капустник" (втайне от руководства) "Под крышами УФАИ". Репетировали тайком у И.К. Кикоина дома. 30 апреля Исаак Константинович зашел в облрепертком. Там читали и смеялись. Поставили печать "Разрешается ставить в течение года". На афише – авторы (Пушкин, Гоголь, Маяковский... Кикоин). Зал полон. После доклада – пьеса. После первой картины весь 1-й ряд (руководство) покинул зал. Через три дня И.К.Кикоин получил выговор за неотчет по драгметаллам, а в течение года – еще три выговора.

24

В XIX в. в Индии нашли металлическую колонну давностью в несколько тысяч лет. "Армстронг Компани" сделала анализ. Оказалось из чистого железа, и компания стала выпускать магнитный материал, названный "армко". Технология: губчатое железо в огне древесного угля.

25

И.К. Кикоин сделал для всемирно известного врача Филатова постоянные магниты из FeNiAl (вместо соленоида), чтобы удалять магнитные соринки из глаза. Филатов был очень изобретателен. Он вылечил двух женщин, у которых была закупорка слезных желез; провел протоки от слюнных желез к глазам, и они плакали перед едой. Филатов был очень религиозен, но никто, даже ученики, об этом не знали. Он умер в 83 года после перелома ноги. Госкомиссия по похоронам в его доме встретилась с митрополитом Одессы, который предъявил завещание: похоронить по-церковному и передать большие средства русской церкви. Филатов был богат, так как имел частную практику. Прославился пересадкой рога (от трупа, охлажденного до +5°C).

26

И.К.Кикоин в молодости одно время работал землемером. Как-то приехал в деревню для раздела земли. Накрыли стол, но Кикоин вина не пил. Тогда наутро ему в помощники дали только девок. Он задал им такой темп, что они употели и убежали. Кикоин измерил все очень точно, и мужики, все проверив, его зауважали. Девки же, посмотрев в теодолит и увидев все перевернутым, стали по полю ходить, поджимая юбки.

27

Физика Хвольсона, автора самого известного в начале века учебника по физике, пригласили на собрание Академии наук в Ленинграде и избрали почетным академиком. В ответном слове тот сказал, что прекрасно понимает разницу между академиком и почетным академиком – она такая же, как между "государь" и "милостивый государь".

28

Город Осло раньше был г. Христиания. Узнав об этом, академик Христианович задумался, не следует ли ему в этой связи изменить фамилию. Но варианта не нашел и идею забросил.

29

Французский математик Кобе был учеником Вейерштрасса, женился на дочери другого математика, Якоби. В гостях представлял жену и добавлял: "К сожалению, у Вейерштрасса дочерей не было".

30

У Якова Ильича Френкеля семья была большая, поэтому он много работал по совместительству. Его любили, уважали и потому приглашали. Он часто брался за курсы, которые до того не знал, а заканчивал написанием монографии. Так, в Германии он написал "Электродинамику", а после курса во Всесоюзном институте экспериментальной метеорологии – книгу "Атмосферное электричество" (1936 г.), вошедшую в список классических. Как-то он начал в ЛФТИ читать какой-то курс, но на четвертой лекции сказал: "Мне неинтересно. Прочтите все в учебнике".

31

Эйнштейн говорил: "Я идеи не записываю – хорошие так редки, что запомнить очень просто".



Илья Гинзбург

Воспоминания

(окончание. Начало в №2/2014)

IV. 1963г. и далее

Физфак, кафедра общей физики



Пытаясь понять происхождение некоторых дыр в образовании студентов, я с 1962 г. начал ходить на экзамены по механике и общей физике. Помню, трудным для студентов был вопрос: «Почему спутник не падает на Землю?» Это свидетельствовало о недочётах в методике обучения. Мы обсуждали эти вопросы с Б.В. Чириковым, и в 1963 г. он пригласил меня вести семинары по общему курсу физики, а я с радостью согласился - это было мне интереснее, чем квантовая механика. На этой кафедре в штате НГУ работали тогда очень своеобразные физики Витя Ораевский (позднее директор ИЗМИРАН) и Жора Заславский, включившиеся в круг интересов Р.З. Сагдеева. К ним присоединился только что приехавший после аспирантуры МГУ без защиты диссертации Генрий Викторович (Гена) Меледин. Скоро мы предложили распространить систему заданий и на первые курсы, и несколько позднее ввели в систему письменные экзамены.

Работая с физическим кружком МГУ мы с Игорем Бекаревичем собрали большой набор задач по элементарной физике (начало которому положили наши учителя М. Бонгард и М. Смирнов). Записи выглядели как небольшие картинки – штук по 30-40 на тетрадной странице. В 1964г. я собрал большую группу преподавателей, и взяв эти задач за основу, мы составили первый задачник по физике для поступающих в Новосибирский университет. В последующие годы я привлёк Г.В. Меледина к созданию отдельных таких задачников по механике, по молекулярной физике, по электричеству. В дальнейшем я отошел от этой работы, и её продолжил один Г.В. Меледин.

Фактическое начало моей работы на кафедре пришлось на лето 1963 г. Мы сформировали две группы из победителей олимпиад, и я работал с одной из них. Это была замечательная группа. Здесь учились Толя Дроздов, Валерий Соколов, Борис Каргин, Леня Табаровский, Юра Ровин, Витя Плюснин, Серёжа

Волков, Володя Пинус, Лёша Харьков. Наиболее мощное впечатление производил Аркадий Сливков. Я до сих пор уверен, что не встречал более сильного студента. К сожалению, как он признался мне через много лет, он потерял интерес к физике на 4 курсе. Даже и в этом состоянии он сделал замечательную дипломную работу. Я предлагал ему сделать что-то; через неделю он приходил и говорил примерно так: *«Ну, эту ерунду я делать не стал, а сделал вот что...»* В течение нескольких лет на регулярных научных сессиях Отделения Ядерной Физики АН я слушал доклады известного физика К.А. Тер – Мартиросяна (ИТЭФ), и комментировал их в своём кругу: *«Ну вот, Карен додумался до следующего куска сливковского диплома»*. (Разумеется, студент Сливков не владел массой современного экспериментального материала так, как К.А.. Поэтому результаты Сливкова носили более схематичный характер, а я сам в это время разрабатывал два очень интересных для меня и действительно важных направления, и у меня просто не хватило сил и времени заставить Аркадия довести его результаты до публикации). Насколько я могу судить, всё сделанное им в любой области носило черты оригинальности и таланта. На втором курсе в группу пришел ещё один очень сильный студент Володя Балакин. Член-корр. РАН Балакин возглавлял программу линейных коллаидеров в СССР. Беседы с ним всегда интересны и полезны для меня.



Прием НГУ1963 А. Сливков, А.Дроздов, В.Балакин

Работать с этими ребятами было очень интересно. Я просматривал свежие выпуски ведущих физических журналов, отыскивая работы, доступные этим студентам, и предлагал делать по ним доклады. До сих пор помню работу М.И. Подгорецкого о возможности измерения собственной ширины линии при

комнатной температуре и работу Овчинникова-Зельдовича о замедлении скорости приближения результатов химической реакции к равновесию из-за объёмных флуктуаций состава.

Используя свою «эксафедральность», для основной части группы, которая специализировалась в ИЯФ, я провёл семинары на 3-4 курсах по механике и по квантовой механике. Тут жизнь наглядно продемонстрировала мне, как работает эффект мультипликатора. На 1-2 курсах Юра Ровин принадлежал к числу лидеров группы, но он выбрал другую специальность, и я увидел его вновь только через полгода на экзамене по аналитической механике. Я стал экзаменовывать его, предвкушая хороший ответ – это всегда приятно. Он отвечал на твёрдую 3. В слабом окружении сильный студент стал слабым.

В 1963-64 учебном году чтение курса физики на физфаке начиналось со второго семестра. В первом семестре шло «выравнивающее» изучение математики и решение задач по «школьной» физике. Здесь мне очень пригодился опыт работы в школьном кружке в МГУ. Он позволил чётко выделить ключевые вопросы для такого этапа обучения. Первой своей целью я полагал отучить студентов от всяких искусственных приёмов типа «действующая сила», «скатывающая сила», «центробежная сила»,... с тем, чтобы они использовали только силы, обусловленные реальными взаимодействиями. Я давал им задачи, и после того как они предъявляли решения, усложнял их до тех пор, пока использование искусственных «сил» оказывалось слишком сложным или приводило к очевидной ошибке. Постепенно я перевёл всех в эту «веру». Но Сливкова победить я не смог. Дело кончилось тем, что мы заключили соглашение: *работать по-моему*.

Наше тогдашнее преподавание отличалось от преподавания в МГУ в одном важном пункте. Там слабые зачастую преподаватели работали по отлаженным методикам. В итоге, сильные студенты учились почти сами по себе, но выучивались почти все (я думаю, до 70 %). Наше обучение было адресовано сильным студентам. Большая часть преподавателей общих курсов – хорошие физики. Сильные студенты получали очень хорошую школу. Но, наверное, 60 % оставались плохо обученными потому, что мы не имели отработанных методик. С тех пор методики значительно улучшились (в этом несомненная заслуга Г.В. Меледина, Г.Л. Коткина, В.Г. Сербо, Ю.И. Эйдельмана, В.С. Черкаского). Я думаю, что к концу 80-х годов число малообразованных выпускников не превышало 30 %. Ныне с резко ухудшившимся качеством приёма доля

малообразованных выпускников опять выросла. Свою отрицательную роль ныне играет и старение преподавателей, и потеря многими из них интереса к преподаванию (эффект рутины).

Высокая интенсивность нашего обучения имеет и свою теневую сторону. Студентам остаётся слишком мало времени для самостоятельных внепрограммных поисков. В итоге убывает важнейший элемент образования – взаимообучение. (В моей биографии это было существенной компонентой.)

Курс электромагнетизма, читавшийся Чириковым, произвёл на меня очень сильное впечатление. Я немедленно принял концепцию этого курса, и перенёс её в ФМШ. В то время в НГУ ещё читался курс теории поля. На одной из встреч с Ширковым и Беляевым, который начал включаться в жизнь университета с 1963г., я предложил исключить из программы курс теории поля, введя минимальные дополнения в курс электродинамики. С тех пор курса теории поля у нас нет.

ФМШ. Продолжение

В 1964-66г. я прочёл ещё один курс лекций по физике в ФМШ. Сначала здесь было два параллельных потока. На одном из них курс читал Ю.И. Соколовский, а на другом я. После первого года Ю.И. вынужден был уехать в Харьков, и я объединил оба потока. Здесь наилучшие воспоминания о себе оставили нынешние кандидаты и доктора наук Саша Игнатенко, Гена Сухинин, Володя Пай, Коля Шохирев.

В это время Институты СО АН создавали в ФМШ демонстрационный кабинет и практикумы, дополняющие НГУ. Одновременно в ФМШ в дополнение к «полноразмерному» двухгодичному потоку организовался одногодичный поток для школьников, которым после летней школы оставалось учиться в обычной школе только один год. Разумеется, с ними не удавалось пройти полную программу, но это решение работало на основную задачу – увеличить поток молодёжи в науку.

Тем временем я осознал существование двух проблем на стыке ФМШ и НГУ.

Во-первых, в ФМШ мы учим людей достаточно долго, и узнаём им цену. Мы же учим их и в НГУ. Бессмысленно подвергать их риску полных вступительных экзаменов, где возможны случайные провалы. С другой стороны, даже слабые ученики получают в ФМШ хорошую подготовку. Поэтому они легко могут получить на приёмном экзамене высокую оценку только потому, что запомнили ответы на прошедших занятиях. Но если выбирать из двух троечников, то с фымышонком мы уже

возились, и знаем, что рассчитывать здесь не на что, а новый человек может ещё вырасти. Прямой зачёт выпускных экзаменов ФМШ как приёмных был невозможен по правилам Министерства просвещения. Мы понимали, что изменение формальных правил – трудно осуществимая задача, да и некоторые учёные проявляли себя здесь формалистами.

В 1966г. я предложил решение, которое сейчас имеет только исторический интерес. Мы ввели правило, что выпускные экзамены по физике в ФМШ принимаются по программам ФМШ только членами экзаменационной комиссии НГУ. Полученные здесь оценки (из суммы 10 баллов) переносятся в ведомость приёмных экзаменов после лёгкого собеседования с учётом результатов письменного экзамена. Для этого все выпускники ФМШ сдают приёмные экзамены в компактных группах.

И тут же мы столкнулись с трудностью. Один из выпускников одногодичного потока Плетнёв, имевший 10 баллов по физике, получил двойку на вступительном экзамене по математике. Конфликт начался с подсказки, сделанной Плетнёвым на письменном экзамене. Сомнений в его владении математикой не было, и после словесной пикировки экзаменатор Л.А. Бокуть «пошел на принцип» против абитуриента. Не зная предыстории, мы с ректором Беляевым обращались к Л.А. с просьбой о разрешении на пересдачу, но тот был непреклонен – принцип важнее. Плетнёв поступил в НЭТИ, ему был обещан перевод в НГУ после первого семестра. Он ходил на занятия в НГУ, и в конце семестра был отчислен из НЭТИ за непосещение занятий, переводить стало неоткуда. На следующий год он сдал вступительные экзамены и сразу был зачислен на второй курс. В его дипломной работе, выполненной в 1973г. по данной мною теме, был получен результат, который примерно тогда же получили в США Гросс и Вильчек, они опубликовали его во время службы Плетнёва в армии (он кончил вечернее отделение). Увидев эту публикацию, мы не стали посылать в печать работу Плетнёва¹.

¹ Здесь уместно сделать примечание. Речь шла об обнаружении явления, получившего позднее название «асимптотической свободы» в неабелевых калибровочных теориях. На это обратил наше внимание рецензент работы А.И. Вайнштейн. Я был готов к такому чтению результата по опыту своей дипломной работы, но в то время я ещё не осознавал, что калибровочные теории – не просто одна из возможных теоретических схем, но они описывают наш мир. Поэтому я воспринимал полученное, как ещё один любопытный частный результат. Видимо, сходными были и точки зрения И.Б. Хрипловича (ИЯФ СО) и Ваняшина (Днепропетровск) с М. Терентьевым (ИТЭФ), которые получали несколькими годами ранее

За этот результат Гросс и Вильчек получили Нобелевскую премию в 2004г.

Вторая проблема значительно труднее. Её решение не найдено до сих пор, хотя сейчас она уже не столь остра. Выпускники ФМШ получили значительно более высокое образование, чем обычные школьники. Поэтому первое время в НГУ нагрузка на них значительно ниже, чем на остальных. В результате они получают хорошие отметки почти без усилий.

Так, прочитав курс лекций в ФМШ в 1964-66гг., я стал вести семинары на первом курсе для группы физфака, набранной из этих выпускников, считая своей главной задачей решение проблемы шивки ФМШ-НГУ. Для этого мы свели всех фымышат в отдельные группы. Я вёл занятия в одной из них, и пригласил И.Н. Мешкова вести занятия в другой. Всё шло хорошо до первого экзамена, где студенты увидели, что то, чем мы их мучили, не нужно для получения пятёрки. К тому моменту, когда надо включаться в интенсивную работу, сильные студенты оказались развращены ничегонеделаньем, иные спились. Так теряются сильные студенты. Как быть с этим?

Не найдя отклика в решении этой задачи у руководства физфака, в 1966г. я отказался от чтения лекций в ФМШ, оставаясь впрочем членом её Учёного совета до 1969г. и продолжая преподавать на физфаке НГУ.

В 1976-78гг. я снова прочёл курс физики в ФМШ. Общее впечатление было довольно печальным. Среди моих слушателей выделялся Дима Бикташев (из Казахстана), который не потерялся бы и среди лидеров первого приёма (ныне он занимается биофизикой в Англии). Хорошее впечатление производил Сергей Бабин (ИАЭ, ныне член-корр. РАН), недавняя работа которого по лазерам с распределёнными параметрами производит очень сильное впечатление. Почти каждый из остальных мог учиться и в первом приёме. Но раньше таких фымышат было 4-5 на класс («хвост распределения»), а теперь они составляли основную массу. Стало ясно, что интеллектуальный уровень ФМШ за эти годы значительно снизился. Это понизило и уровень взаимообучения фымышат и их общекультурный уровень.

эквивалентные этому результату формулы, но оставили их без развития и широкого применения. Д.Гросс полностью осознал значение полученного результата.

Руководство ФМШ и кадры

Трудности с директорами ФМШ продолжалось до 1965г., пока Лаврентьев не направил на пост директора Е.И. Биченкова, который пробыл директором 2 или 3 года, а потом стал проректором НГУ, сохраняя полный контроль над ФМШ. Мы приветствовали приход квалифицированного научного сотрудника на это место. Он читал хорошие общие курсы в ФМШ. Ученики с интересом слушали его, многие из них стали хорошими физиками. Он привлёк к чтению лекций по физике замечательных лекторов П. Зубкова, А.Ершова, Е. Пальчикова, В. Харитонова, И. Воробьёва.

Я не могу одобрить некоторые другие пополнения педагогического коллектива ФМШ, сделанные Биченковым. Особенно спорным для меня выглядит привлечение к чтению лекций О.Я. Савченко – человека, который при обсуждении любой школьной задачи считал предпочтительным самое сложное решение. Впрочем, Савченко сделал очень важную работу, собрав в один сборник задачи, решавшиеся в ФМШ (не утруждая себя упоминанием источников). Предметно я ещё раз познакомился с его подходом к преподаванию, случайно получив на рецензию задания и решения заочной ФМШ (ЗФМШ) в середине 80-х годов. На мой взгляд, эти тексты были абсолютно неприемлемы (как я узнал позднее, в этих текстах «улучшались» первоначальные разработки первых преподавателей ЗФМШ).

В других отношениях я оцениваю роль Биченкова резко отрицательно. Он провёл в школе ряд преобразований, некоторые из которых привели к снижению уровня обучающихся фымышат (значительная часть этих преобразований была сделана уже после моего ухода из ФМШ, со многими членами коллектива которой я сохраняю близкие отношения до сих пор). С наибольшей ясностью это проявилось в его решении отстранить от работы всех педагогов – «подписантов» известного «письма 46», большинство которых были любимы фымышатами. Учёный Совет ФМШ под председательством Д.В. Ширкова, поначалу не дал сделать этого по отношению к преподавателям физики и математики. В частности, Совет решил сохранить в ФМШ Б.Ю. Найдорфа². Биченков нашёл пути обхода, и уволил всех. Помимо прочего, это резко снизило уровень гуманитарного образования в ФМШ. Такое изгнание не прошло в полном объёме в большинстве институтов СО АН.

² В дальнейшем КГБ перекрыл Найдорфу возможности преподавательской работы, к которой у него было несомненное призвание. Он умер в Израиле в 1999г.

В конце 60-х годов Е.И. Биченков удалил из ФМШ С.И. Литерата «для повышения уровня преподавания в школах Академгородка». Фымышата пытались протестовать, но безуспешно. Затем Литерат долго преподавал в 130 школе, где также заслужил всеобщее уважение и любовь. В конце 80-х годов он эмигрировал в Израиль, и начал свою жизнь там с создания аналога нашей ФМШ. Он умер в 2001г.

Е.И. Биченков решил использовать ФМШ для решения несвойственной ей задачи – «улучшения» социального состава студентов НГУ. Для этого в ФМШ были организованы «сельские» классы, набранные из школьников сёл нашей области. Конечно, организация любого нового канала набора детей в школу была правильной идеей. Но вот более или менее массовый набор детей по ослабленным критериям я считаю неверным. В массе такие дети не могли учиться по программе победителей олимпиад. Вместе с фактическим изменением системы олимпиадного набора это привело к «забыванию» основных целей создания ФМШ. В школе резко увеличилась прослойка детей, приехавших *«подвергаться обучению»*, а не учиться. Эффект взаимообучения сильных учеников, умножающего их результаты, – *мультипликатор взаимообучения* – ослаб.

Олимпиады, продолжение

ФМШ и олимпиада входили в регулярный режим. В названии олимпиады к словам «физико – математическая» добавилось определение «и химическая», секции оргкомитета по разным наукам расширились и стали работать почти независимо, объединяясь при формировании команд для поездок на областные туры. Выполнив свою работу, Г.И. Будкер ушел от олимпиады, и началась ежегодная ротация председателей оргкомитета. Стил, заданный Будкером, мало изменился во времена второго и третьего председателей оргкомитета П.Я. Кочиной и Ю.И. Журавлёва. Исчезло «только» фонтанирование идей лидером комитета.

К середине шестидесятых годов наша олимпиада состояла из трёх этапов. Осенью проходил заочный тур, задачей которого был первоначальный отбор школьников. В мартовские школьные каникулы проходили основные для нас областные туры, где происходил отбор ребят в летнюю ФМШ (ЛФМШ) и выдача рекомендаций в НГУ (фактически - приглашение). Летом работала летняя физматшкола, из которой производился набор в регулярную ФМШ и в НГУ. Похожие схемы реализовали в

Москве (МФТИ и МГУ) и в Ленинграде – в ЛГУ – (у них ЛФМШ появились на полгода позднее).

Тем временем в Москве большую силу набрала олимпиада МФТИ, «окучивавшая» города европейской части страны. Мы имели дружеские связи с её ведущими организаторами, с математиком Толей Савиным (с которым мы посещали математические кружки, обучаясь в школе) и со студентами-физиками Осей Слободецким и Юликом Бруком. Московская и Ленинградская городские олимпиады, проводимые МГУ и ЛГУ, постепенно стали охватывать близлежащие области.

Олимпиада Министерства просвещения РСФСР до 1963г. прозябала без физиков и математиков достаточно высокого уровня. Она была направлена на определение абсолютных победителей. Сначала проходили школьные олимпиады. Затем победители собирались на районные олимпиады. Их победители собирались на областные олимпиады. Затем следовали республиканская и Всесоюзная олимпиады, а в последующем и международная. Качество отбора на олимпиаду министерства просвещения демонстрирует такой факт. В 1962г, когда я ездил на эту олимпиаду в Барнаул, в двух разных классах одной школы села Родино Алтайского края учились В.Е. Балакин и В.В. Пархомчук. Через два-три года они оказались среди сильнейших студентов своих курсов на физфаке НГУ. Сейчас оба они – члены-корреспонденты РАН по ядерной физике. На министерскую олимпиаду в Барнауле они не попали. Не попал на эту олимпиаду и житель одного из городков Алтайского края В. Дмитриев, ставший позднее одним из ведущих теоретиков ИЯФ. Мы узнали о них по нашей заочной олимпиаде через пару месяцев.

Бюрократическая система требовала абсолютного «равенства» на всех этапах – на каждом этапе выделялся только один «победитель». Никого не волновало, что в одной школе (например, в пос. Верхне-Вилуйск в Якутии) есть несколько сильных учеников, выбор между которыми почти случаен, а в соседней школе или районе сильных учеников нет (или подготовка школьников недопустимо плоха). Много сильных учеников просто выпадали из поля зрения. В итоге даже областные команды оказывались слабее, чем могли бы быть. (Большинство сильных участников такого областного тура попадало и в наши списки через заочную олимпиаду.)

Объединение усилий нашей олимпиады с олимпиадами МФТИ, МГУ, ЛГУ привело к созданию единой Всесоюзной олимпиады с разными зонами ответственности у разных ВУЗов, с единым Всесоюзным олимпиадным комитетом, в котором активно

участвовали и наши представители; мы поставляли существенную часть задач для олимпиад и могли отстаивать свои позиции. Я с удовольствием вспоминаю споры и совместную работу с Ю. Бруком, О. Слободецким, А. Савиным и другими. Министерство просвещения получило в своё распоряжение мощную научную силу и поддержку АН и ведущих ВУЗов страны. Мы получили техническую помощь органов образования и дополнительный (хотя и небольшой) канал попадания хороших школьников на областной тур. Мы не вмешивались в олимпиады более низкого уровня, довольствуясь своим заочным каналом, областными турами и летней школой.

С самого начала у нас возникли некоторые трения со Всесоюзной олимпиадой. Нас интересовали будущие абитуриенты нашего университета, т. е. для нас фактически дело кончалось в летней школе. Их интересовало абсолютное первенство и (в последующем) формирование команд на международные олимпиады. Наконец, они «простоудушно» полагали, что наши школьники являются их «законной добычей» для поступления в МФТИ и МГУ. Здесь им помогало то, что именно у них было «последнее слово» в олимпиадном цикле.

Вскоре стало ясно, что сбор представителей всех областей в одном месте – технически очень сложная задача. Поэтому были введены промежуточные, зональные олимпиады. Министерство просвещения предлагало использовать для этого мартовские каникулы, перенеся областные туры на январские школьные каникулы. Это имело смысл, если рассматривать олимпиады как спортивное мероприятие, но противоречило нашим целям отбора людей в ФМШ и НГУ. Во-первых, в январе восьмиклассники ещё слишком мало знают физику, чтобы проводить с ними разумное собеседование. Во-вторых, при этом из олимпиады исключаются студенты, которые не могут выезжать на областной тур в разгар экзаменационной сессии; при этом разрушается наша система преемственности поколений. Для москвичей и ленинградцев, «окучивавших» густо населённые и более развитые области Европейской части, с их небольшими расстояниями до областных центров, потеря некоторой части потенциальных учеников и студентов была вполне допустима. Для нас такие потери были недопустимы. Поэтому Сибирский оргкомитет не соглашался на перенос сроков, и долгое время у нас хватало сил на защиту этой позиции.

В первые годы ядро олимпиадного комитета сохранялось почти без изменения. В физической части традиции сохранялись довольно долго. Мне пришлось взять на себя организацию

составления задач для заочного и областного туров и нашего вклада во Всесоюзную олимпиаду (в этой работе важную роль стал играть Г.Л. Коткин), организацию проверки решений заочного тура и формирование физической части команд для проведения областных туров. Поездки в некоторые города, такие, как Магадан, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск Камчатский,...считались очень интересными, и набор людей для проведения в них олимпиады был фактически конкурсным. Найти людей для проведения олимпиады в некоторые другие города было не очень просто. В первые годы мы – организаторы - считали недопустимым для себя отправляться в интересные поездки. Я позволил себе такие поездки только на третий-четвёртый годы олимпиадной работы.

Для качественного проведения олимпиады нужно ежегодно выполнять целый ряд работ. Нужно придумывать новые задачи, существенно отличающиеся от старых новыми идеями, а не усложняющейся громоздкостью. Необходимо проверять работы заочного тура (пока он существовал) и проводить квалифицированные собеседования со школьниками на областном туре, позднее сюда добавилась и работа в заочной ФМШ. Это – творческая работа, и дело может успешно продолжаться, только если его участники кровно заинтересованы в нём. Поначалу с этим справлялись энтузиасты – научные сотрудники. Но со временем олимпиадная работа стала приедаться многим первоначальным участникам. Если людей для этой работы назначать, то интереса не будет возникать, качество работы будет падать. Поэтому члены первого оргкомитета организовали систему преемственности в проведении олимпиад. Понимая, что самые заинтересованные люди – те, кто пришёл в НГУ через ФМШ и олимпиады (и помня свой опыт), мы с самого начала многое доверяли студентам. Нередко в бригаде, выезжавшей в областной центр в составе 4-5 человек, среди которых были кандидаты наук и научные сотрудники, старшим назначался студент. Подготовку задач и проверку работ вели студенческие оргкомитеты, на физфаке их возглавляли в разное время Витя Буднев, Ефим Глушкин, Толя Дроздов. К концу 60-х годов вся основная методическая работа по олимпиаде по физике и математике была доверена студентам. Наша роль состояла в поддержании тонуса и в «прикрытии» студентов от возможных начальственных ограничений.

В этой системе было важно, что областной тур проводился в мартовские школьные каникулы, и туда свободно могли выезжать студенты. Им было очень лестно приехать в

родной город с делегацией СО АН, и конкурс на поездки был достаточно высок и квалифицирован.

Эта система преемственности не только гарантировала непрерывность и развитие олимпиадной работы, но и воспитывала в людях общественную активность, направленную на реально полезное дело. Активность студентов, не знавших чиновничества, нередко бывала неудобна или неприятна руководству. Я помню, как студент Аркадий Сливков, проводивший олимпиаду в Новосибирске, попросил уйти из зала, где школьники писали работу, видного преподавателя физфака, заведующего лабораторией института СО (в конце концов тот признал правоту Сливкова, но долго удивлялся его смелости).

Постепенно олимпиадный комитет пополнялся людьми скорее административного склада. Его роль становилась всё более формальной. Основные методические вопросы решались на секциях по отдельным наукам, возглавляемых работающими членами оргкомитета, и здесь роль студентов была очень велика. Для решения организационных, но не методических вопросов, было создано оргбюро, в которое входили только активно работающие студенты и молодые сотрудники СО (в частности, А.А. Берс).

В 1968-9 г. Е.И. Биченков стал проректором НГУ и вскоре принял на себя ответственность за работу со школьниками. Недовольный своеволием общественности, которой трудно было управлять административными методами, он стал вводить дополнительную бумажную отчетность команд, выезжавших на областной тур. В конце 60-х годов у меня пошло одновременно два очень интересных направления научной работы, и времени на олимпиадную работу у меня оставалось всё меньше и меньше, некоторые решения стали проходить мимо меня. До 1970 г. мы – как вполне равноправная сила в организации олимпиад – отстаивали проведение областного тура в мартовские школьные каникулы. В начале 1971 г. я узнал, что Биченков согласился с предложением Министерства просвещения проводить областной тур в зимние школьные каникулы. Не знаю – чего здесь было больше – непонимания проблемы, нежелания портить отношения с министерством или сознательного желания отсечь плохо управляемую общественность, и особенно студентов. Это, на первый взгляд техническое, решение оказалось чрезвычайно разрушительным. Оно отсекло от олимпиады студентов, преемственность прервалась. Для студентов, как и для молодых выпускников НГУ, места в олимпиадном комитете уже не находилось. Здесь должны были заседать «заслуженные» люди. В

итоге олимпиадный комитет стал всё более бюрократической организацией, а олимпиады превратились в многоступенчатые спортивные состязания по формированию команд на международные олимпиады (эти участники почти никогда не возвращались на учёбу в НГУ). Ритуал победил дело. Состав участников областного тура – основного для нас при отборе в ФМШ – резко сузился, и набор в ФМШ стал ослабляться. Бюрократический идеал *казармы*³ вступил в противоречие с основными целями олимпиад и победил.

Существовавшая до этого организация открывала простор для реализации и широкого распространения действительно новых идей и подходов в пополнении НГУ и подготовке новых школьников.

К примеру, в 1965г. выпускник ФМШ, тогда студент 2 курса мехмата Гена Фридман придумал заочную школу, ЗФМШ. Она работала так эффективно, что в эти годы мне не приходилось всерьёз принимать участие в её делах – студенты обходились без нас, и весьма квалифицированно, мы обеспечивали им моральную поддержку. Описываю её историю по воспоминаниям Фридмана (с добавлениями от Миши Перельройзена и небольшой редакционной правкой).

Текст Фридмана: [В начале августа 1965 мы с Володей Харитоновым возвращались из пионерлагеря Орленок и на день остановились в Москве. Володя куда-то делся с физиками, а меня Марик Дубсон повел в МГУ, а там как раз раскладывали первые задания Гельфандовской ЗМШ. Я восхитился идеей и тут же заявил, что мы тоже сделаем Заочную школу, но физико-математическую. Через несколько дней, оказавшись в Академгородке, где шла ЛФМШ, я объявил преподавателям - студентам, что мы создаем ЗФМШ. В конце Летней школы мы у всех ребят, не оставшихся в ФМШ, собрали заявления в ЗФМШ. Первые задания по математике создавали Юра Михеев, Сережа Тресков и я. Со стороны физиков я привлёк Оксану Кашубу а она - Сеню Эйдельмана и Мишу Перельройзена - они и обеспечивали физическую часть. Первые задания с чьей-то помощью напечатали в Институте гидродинамики, вторые в ИЯФ, третьи - в ИМ.]

Уже в октябре 1965, всего на месяц позже Гельфандовской ЗМШ, наши первые задания (математика+физика) ушли ученикам.

³ Именно так описывал идеал бюрократа Салтыков-Щедрин в *«Истории одного города»*.

Но задания надо было проверять, писать рецензии и отправлять. Мы с Сережей и Юрой формально были на втором курсе, Оксана на третьем, а Сеня с Мишей на первом. Из математиков я привлек лучших первокурсников, выпускников ФМШ, Володю Голубятникова, Юру Кукина, Аркашу Черевикина и еще кого-то в качестве бригадиров, а уже они взяли своих товарищей в работники. У физиков важную роль играли Толя Дроздов, Фима Глускин (3 курс), Саша Рубенчик, Женя Кузнецов (2 курс), Витя Краснов, Додик Шуряк, Ваня Воробьев (1 курс).

Такая подпольная деятельность не могла продолжаться долго, ведь у нас даже не было денег на конверты, хотя первые задания мы как-то отправили через НГУ. И вот как-то иду я из НГУ в ИМ. И встречает меня небольшой пухленький молодой человек и говорит:

-Здравствуйте, Вы Гена Фридман?"

- Я.

- А я Саша Рубинов. Вы делаете Заочную школу?

- Я.

- А давайте я буду помогать.

И он замечательно включился в работу. Связался с Городской заочной школой, убедил их, что мы - это почти что они. Стал директором ЗФМШ (всё-таки научный сотрудник, а не студент) как филиала Городской ЗШ, получил ставку методиста и кое-какие деньги на приобретение методической литературы, а в ФМШ нам выделили комнату. Название было ЗФМШ при НГУ, но формально она была Гороновской. Процесс получил фундамент.

Позже Саша передал директорство своему защитившемуся аспиранту Шапиеву, который был фигурой номинальной. ЗФМШ в целом и ее математической частью продолжал руководить я, физической - Оксана, методикой - упомянутые физики и Юра Михеев. Но я же руководил еще и математической частью летних ФМШ. А доброты-учёные из преподавателей давно пропали. Вот и была организована в математической части эшелонированная система. Лучшие выпускники ФМШ – математики, становились проверяющими в ЗФМШ, через год – другой они уже допускались до преподавания в ЛФМШ. С тех пор дефицита преподавателей в ЛФМШ не было.]

Текст Перельройзена: [Подбирать пакеты «заданий» было довольно увлекательно, а с привлечением «учителей», проверяющих и состоящих в переписке с учениками тоже не было проблем. Практически все основные энтузиасты принимали активное участие в проведении выездных «мартовских» (областных) олимпиад и ЛФМШ. Это было крайне полезно, так

как выездные команды были переменного состава, все быстро знакомились и учились друг у друга. Обсуждали вместе красивые задачи и у математиков, и у физиков, и у химиков. Ходили друг к другу учиться проводить собеседование.]

Текст Фридмана: [В конце 1968 слушали на Президиуме СО АН отчёт Комитета по проведению олимпиад, а я был членом Оргбюро и потому присутствовал. И вдруг встает ректор НГУ академик С.Т.Беляев и говорит, что олимпиады, ЛФМШ и ФМШ конечно же хорошо, но они не доходят до самой глубинки. А вот мы создали в университете ЗФМШ, она позволяет доходить до самой глубинки. Он был прав. Мы давно принимали в ЗФМШ не только из ЛШ, но и по результатам решения заочных вступительных заданий. Лучшие ученики ЗФМШ приглашались в ЛФМШ, а там и в ФМШ. Но дело в том, что за месяц или два до описываемого события проректор НГУ по научной работе запретил печатать задания ЗФМШ, скорее всего, из «любви» к моему учителю (А.А. Ляпунову). Так вот, после речи академика Беляева встает студент Фридман и говорит, что полностью согласен с ректором, но вот проректор запретил печатать задания, и ЗФМШ фактически второй месяц не работает. Академики хохотали, багровый С.Т. велел мне назавтра быть у него в 9-00 с заданиями, а я уж расстарался поставить тираж на три года. Больше дефицита заданий не было.]

Текст Перельройзена: [Году в 69 ситуация начала несколько напрягаться, когда не только руководство НГУ начало "гордиться" ЗФМШ (мы все любили универ и никогда не думали о дележе славы). Неприятные изменения пошли с Т.И.Зеленяка, Е.И.Биченкова. Их знамя подхватил Коля Соловых, который был в то время партийным функционером, типа секретаря комсомольской организации НГУ. Они решили, что у нас слишком много свободы и взялись рихтовать демографический столб. "Вертикаль" получилась, но работать перестала].

Текст Фридмана: [В 1972 или 1971 новый декан матфака издал приказ: за развал работы ЗФМШ уволить К. Шапиева, Г. Фридмана и С. Трескова. С тех пор стало неизвестно, кто создал ЗФМШ. А вот насчет тех, кто развалил, есть приказ. Поставил декан какого-то своего аспиранта руководить, а всю нашу команду выгнали, дело и стало разваливаться. Поэтому через год все-таки призвали Юру Кукина, Юру Михеева и старый актив, а вот ляпуновичей (Фридман, Тресков, Карев) уже не звали. И Шура Медных, который был директором ЗФМШ в 1977 году, говорил, что видел подписи Фридмана на некоторых заданиях, но никогда не слышал об участии одного в создании ЗФМШ.]

В 1984г. совершенно случайно мне дали на рецензию несколько заданий ЗФМШ по физике. Я пришёл в ужас, насколько неаккуратно и во многом малограмотно были составлены эти задания (общий руководитель О.Я. Савченко). Я потребовал полностью удалить составителей предъявленных текстов от участия в этом деле. Я попытался создать группы авторов из молодых сотрудников и современных студентов и сам составил несколько новых текстов. Но в это время я не работал в НГУ и ФМШ и уже не участвовал в организационной работе, а только передал сделанное тогдашнему директору ФМШ. Качество организации этой ЗФМШ было столь «замечательным», что в этом году ученики получили новые тексты заданий (наши) и старые тексты решений (Савченко) с многочисленными ошибками и опечатками. Студенты – проверяльщики только вопили о безобразиях (в газете «Университетская жизнь»). В первоначальной системе, убитой Биченковым и др., они просто самостоятельно переделали бы тексты.

На моих глазах промелькнуло два явления, которые могли бы составить основу новых направлений работы хорошего инициативного олимпиадного комитета с участием студентов.

С конца 60-х годов некоторые из сильных выпускников физфака и мехмата стали уходить вместо науки в школу. Первые из них – Харитонов, Михеев, Воробьёв стали преподавателями ФМШ. Но остальные уходили в обычные школы! Использование их коллективных методических разработок могло бы дать совершенно новые пути развития подготовки к науке и способов привлечения кадров в широком масштабе.

Важный вариант сказанного предъявил выпускник физфака В.И. Шелест, преподававший долгое время в 130 школе. Он придумал и проводил несколько новых видов конкурсов для школьников, ориентированных на прямое исследование природы. Один из конкурсов выглядел приблизительно так: Участники из разных школ получали задание – исследовать какое-нибудь явление (например, полёт листа бумаги, сброшенного со стола). Исследование предполагало и экспериментальную работу и, если возможно, чтение литературы. Затем проводились собственно конкурсы, где представители команд рассказывали свои результаты и где оценивались и качество доклада и качество вопросов. Это было очень важное направление. Если бы удалось развить его достаточно широко, мы получили бы новый канал подготовки *естествоиспытателей*, в дополнение к обучаемым у нас узким специалистам. (Его конкурсы идейно напоминали то, что делал в Москве по математике Коля Константинов). Недавно я

узнал, что подобные конкурсы продолжаются, но как их тиражировать?! и использовать?!

В Сибирском отделении и НГУ не нашлось людей, достаточно заинтересованных в образовании и новых идеях, чтобы использовать эти и возможные другие ростки.

Тем временем интерес к науке в стране падал. Одновременно во многих больших городах появились физматшколы для их жителей, и интерес детей к Новосибирскому центру уменьшился. В результате, почти в каждом наборе сильные студенты и фымышата стали теряться в массе людей невысокого уровня. Соответственно упал уровень взаимообучения. Многие современные сильные студенты НГУ даже не подозревают о потенциале серьёзного взаимообучения.

В середине 80-х годов, ознакомившись с современным тогда состоянием дела, я обратился к тогдашнему ректору НГУ с предложением (бесполезность *моего* обращения к председателю олимпиадного комитета – алгебраисту – мне была очевидна заранее). *В процессе проведения областных туров объявить по городам через телевидение, радио и т.п., что на олимпиаду, помимо победителей районных туров, приглашаются все желающие. Они не могут быть объявлены победителями областного тура (т.к. это нарушит бюрократическое «равноправие»), но могут быть приглашены в летнюю школу и поступить в ФМШ.* Цель этого предложения была очень проста – без дополнительных расходов мы получаем ещё один канал пополнения ФМШ. Через несколько месяцев я получил ответ: *Реализацию предложения нецелесообразно.*

История – иллюстрация

Обстановку того времени хорошо иллюстрирует история, начавшаяся для меня почти комически.

Однажды поздно вечером в январе 1968г. ко мне пришел приятель и сообщил, что Вацлав Войтишек ушел на лыжах и пропал. Надо организовывать поиски. Это было дело для меня, как одного из туристских лидеров Академгородка. Мы имели печальный опыт. Года за 3-4 до этого так потерялся и погиб сын одного из наших товарищей. Мне сказали, что организовывать самостоятельные спасательные группы сейчас, в темноте, не стоит. К делу уже привлечены курсанты Военно-политического училища, А вот утром надо будет организовывать широкий общественный поиск. Пока делом занимается милиция, и держать связь надо с ней.

С 6 часов утра я стал ежечасно звонить в милицию.

– Говорит Гинзбург, как дела с поисками.

– Ищем, предпринимать ничего не надо.

Часов в 10, когда следовало бы уже всюю разворачивать поисковые работы, я узнал, что Вацлав нашелся, и прекратил звонки.

Часов в 12 ко мне зашли два моих студента-второкурсника и стали задавать мне какие-то необязательные вопросы о специализации (в разгар сессии!).

И только ещё позже я узнал, что истекшей ночью стены некоторых зданий Академгородка были расписаны лозунгами «Свободу Гинзбургу и Галанскову», вызванные неправомерным приговором по делу диссидентов в Москве, о котором люди узнали из «Голосов». И визит студентов был – удостовериться, что со мной ничего не произошло. А тут мои звонки.

КГБ быстро нашёл студентов-«писателей», и они были изгнаны из НГУ.

Один из них Саша Горбань рассказывал в середине 90-х:

«Я не был обижен на изгнание из НГУ. Таковы были правила игры. Но прошло 2 года, я поработал на заводе – искупил трудом, и решил вернуться в НГУ. Беляев подписал приказ о зачислении, и куда-то уехал.

Но тут меня вызвал Биченков, и предложил стучать. Когда я отказался, он сказал, что – следовательно – учиться в НГУ я не буду. Так и получилось. Приказ о зачислении был отменён». При недавнем визите в Академгородок Беляев рассказал, что после возвращения из поездки его призвали в обком КПСС и указали на недопустимость возвращения в НГУ идейно незрелого студента, после чего и был подписан новый приказ, отменяющий восстановление Горбаня.

А. Горбань всё же получил ВУЗовский диплом. Это сильный математик и естествоиспытатель мирового уровня. Ныне он работает в Англии в университете г. Лестер и в Институте Вычислительного моделирования СО РАН (Красноярск). Он создал научные школы в нескольких областях науки, среди его учеников немало докторов наук по математике, физике, медицине.

V. НГУ, приёмные экзамены

Физфак и мехмат в 60-е годы

Внутренняя жизнь образовательных структур в Академгородке всегда определялась соответствующими институтами СО.

В обучении физиков эту ведущую роль долго играл ИЯФ с его разумной в целом позицией. Лекторы абсолютно доверяли

преподавателям, вне зависимости от их добросовестности и владения общими, а не только специальными вопросами. К сожалению, из-за этого иногда студенты просто не получали знаний.

В обучении математиков ведущую роль играли Институт математики и Институт гидродинамики, с доминированием ИМ. Поначалу и здесь всё шло разумно. Со временем всё большую роль стали играть А.И. Мальцев и его сотрудники. Они объединились в одну большую команду с Т. Зеленьком из ИМ, Монаховым и Биченковым из Ин-та гидродинамики. И в университете, и в ФМШ, и в олимпиадном комитете, и в заочной ФМШ основные задачи этих организаций уходили фактически на третий план. Фактически оказывалось, что первыми по порядку были – «нормализация» национального состава (изгнание или выдавливание евреев) и устранение «неправильных учёных», в частности, А.А. Ляпунова и его учеников⁴. Соблюдение созданных ранее подходов в организации олимпиад всё более превращалось из органического согласия членов комитета с целями программы в ритуал. Поначалу многие из нас не замечали этого так же, как и руководители Сибирского отделения и НГУ. Ну а потом – *поезд ушел*.

С.Л. Соболев был выдающимся математиком, но чрезмерно доверчивым и не очень сильным администратором. Он строил институт, объединяющий абстрактную математику, вычислительный центр и центр по созданию новой вычислительной техники. Первоначально вычислительный центр возглавлял Ю.Г. Косырев. Большое подразделение по созданию новой вычислительной техники возглавил Э.В. Евреинов, который начал с интересных и действительно новых предложений по организации параллельных вычислений на компьютерах, но в конце концов, как мне представляется, превратился просто в жулика. Когда Институт готовил свои обязательства по семилетнему плану развития СССР, Э.В. вписал в предложения СО обещание создать через несколько лет компьютер с быстродействием 10^{11} операций в секунду. М.А. Лаврентьев вычеркнул из этого проекта три нуля, от этого обязательство не стало более реалистичным. Году в 1963-64 сотрудники Евреинова, работавшие над созданием элементной базы для компьютеров, получили новые интересные результаты, для обсуждения которых в их коллективе не хватало научной подготовки в области физики твёрдого тела. Сотрудники

⁴ И.А. Полетаев говорил: *У нас ЭТО называется – алгебра.*

обратились ко мне и В.В. Серебрякову с просьбой организовать семинар с привлечением квалифицированных теоретиков для обсуждения их результатов. Мы договорились с С.Т. Беляевым, В.М. Галицким, В.Л. Покровским о проведении этого семинара, и тут, за пару дней до назначенной даты, Евреинов организовал засекречивание этих работ. Ныне Евреинов возглавляет «Международную академию информатизации» с центром в Бельгии, торгующую дипломами. «Лингвист-кибернетик» В.А. Устинов вместе с Э.В. Евреиновым и Ю.Г. Косыревым (в газетных публикациях к ним присоединился и С.Л. Соболев) рапортовал о машинной расшифровке письменности майя, но скоро выяснилось, что результата не было. Как я недавно узнал, после этого Лаврентьев потребовал изгнать Евреинова и Устинова из ИМ, передать в другие институты СО АН исследования по элементной базе компьютеров. Тогда же было решено выделить из ИМ отдельный институт – Вычислительный центр, и взамен Ю.Г. Косырева поставить во главе ВЦ нового человека – Г.И. Марчука.

Помимо прочего, это заставило С.Л. Соболева увеличить в Учёном Совете представительство «солидных» математиков - алгебраистов во главе с А.И. Мальцевым. Получившаяся команда нередко выступала против С.Л. Соболева и побеждала его в голосованиях на Совете института.

Первыми, неочевидными для многих, признаками такой ситуации стали удары, наносимые по нашему отделу теоретической физики и «постановка на место» Д.В. Ширкова. Сначала это был отказ в организации лаборатории для Ю.Б. Румера - недавнего директора ИРЭ. Тонкими аппаратными ходами Мальцев не допустил создания Института теоретической физики (наподобие Institute of Advanced Studies в США) во главе с Д.В. Ширковым, ему удалось торпедировать уже принятое решение Политбюро ЦК КПСС (посредством простого изменения названия нового института, что не допускалось для уже принятых решений Политбюро). После отъезда Ширкова в Москву и в Швецию (в 1970г.) его бывшему аспиранту В.Л. Черняку в начале лета было обещано место в нашем отделе, но уже осенью этого места почему-то не нашлось. Черняк вынужден был уехать в Иркутск, откуда через несколько лет Хрипович перетащил его в ИЯФ.

Дошла очередь и до А.А. Ляпунова. Его ученики Карев, Тресков и Фридман в июне 1969, окончив НГУ, стали стажерами в ИМ. У них уже было по несколько опубликованных работ, и А.А. выбил в Президиуме СО АН для них ставки м.н.с. Ставки пришли

через несколько месяцев, но под водительством зам. директора ИМ А.И. Ширшова на эти ставки избрали алгебраистов, хотя ставки были именными. Случилось это во время командировки А.А. Он страшно возмутился, и решил с лабораторией теоретической кибернетики уйти в ВЦ, но Г.И.Марчук, хоть и не возражал, но тянул. Наверное, побаивался портить отношения с командой алгебраистов. Тогда А.А. ушел с лабораторией в Институт Гидродинамики к М.А. Лаврентьеву с 01.01.1970 (что и было нужно «команде» в ИМ), в октябре того же года ребят все-таки избрали энээсами, но уже Института Гидродинамики. После смерти Ляпунова в 1973г. Тресков и Карев вернулись в ИМ (в лабораторию И.А. Полетаева), а Фридман сначала перешел в Институт экономики, а затем уехал в Омск.

Подобным образом, не нашлось места в ИМ после защиты диссертации ученику амого С.Л. Соболева выдающемуся математику В. Иврию (ныне профессор университета в Торонто, член Королевского общества Канады).

В ФМШ команда поначалу действовала не очень резко. Сначала в Совет ФМШ ввели далёкого от работы со школьниками Д.М. Смирнова. Затем примерно в 1968г. из состава преподавателей ушли участники её организации Э.О. Рапорт и Р.О. Кричевский.

Далее – *рассказ Г.Ш. Фридмана*. [В начале 1972г. в преподавательской ФМШ я увидел на стене список нового Ученого совета и не обнаружил в нем Ляпунова. А буквально на следующий день А.А. в разговоре с нами сказал, что у него новые идеи насчет ФМШ и он собирается на этот предмет выступить на ближайшем Ученом совете. Мне и пришлось ему сообщить, что в вывешенном списке его нет. А.А. очень разволновался, тут же позвонил С.Т.Беляеву. Тот сказал, что разберется и перезвонит. И ведь перезвонил через час. Сказал, что во всем разобрался, никто ничего против А.А. не имеет, просто его решили поберечь, следовательно, решение остаётся в силе. А.А. тяжело это переживал, стал преподавать в 130-й школе, в КЮТе. К сентябрю 1972 г. всех «ляпуновичей», т.е. Трескова, Карева и Фридмана из ФМШ выперли. А в июне 1973 А.А. умер.]

Приёмные экзамены

С 1963г. я включился в приёмные экзамены по физике. Вскоре меня сделали заместителем председателя экзаменационной комиссии по физике.

В тот момент приём на физфак определялся по результатам трёх экзаменов: математика (письменно и устно) и

физика (устно). В итоге при приёме по баллам основную роль играли математики с их недружественным отношением к абитуриентам и зачастую чуждыми интересам физиков критериями отбора. Чтобы исправить положение, я предложил ввести дополнительно письменный экзамен по физике. С дополнениями, введёнными Мешковым в 70-х годах, он стал нашим главным экзаменом.

Я наблюдал существенное различие в отношении математиков и физиков к абитуриентам. Наши математики относились к ним, в общем, недоброжелательно, считая своей задачей поиск прорех в подготовке абитуриента. Поэтому в их письменном экзамене «пятёрку» получал лишь тот, кто решит ВСЕ задачи. (Похожим являлся подход на вступительных экзаменах в МФТИ, где требуется знание многих, зачастую, второстепенных цифр и умение делать громоздкие вычисления.) На наших экзаменах по физике отношение к абитуриенту было доброжелательным. Здесь искали, в чём он может продемонстрировать свои способности к обучению. Поэтому, в частности, для получения «пятёрки» на письменном экзамене не обязательно было решить все задачи. Возникавшие иногда проявления недружественности беспощадно пресекались. Однажды на апелляции абитуриент пожаловался на то, что ему понизили оценку за незнание слова «нуклон». Выяснив, что это действительно имело место, мы пересмотрели результат экзамена, и на будущее отстранили экзаменатора от приёмных экзаменов.

В то время в стране довольно серьёзно цвёл государственный антисемитизм, проявлявшийся, в частности, при приёме в престижные ВУЗы, к числу которых относился и наш университет. В первые годы НГУ этого явления, по-видимому, не было. При приёме на мехмат такие препятствия возникли довольно скоро, это было связано с более или менее антисемитской позицией многих наших математиков, о которой я писал выше. Вскоре эту деятельность возглавили ставший проректором НГУ Т.И. Зеленьяк и декан мехмата Монахов.

На физфаке ничего подобного не было до 1971г. В состав экзаменационной комиссии входили только работающие сотрудники СО и преподаватели, лично известные и всем руководителям комиссии и руководству факультета. В основе нашей системы было абсолютное доверие к членам этой комиссии. Попытки «общественных» организаций вмешаться в процесс резко пресекались.

Структура нашего приёма была примерно такой. Проходной балл определялся по сумме четырёх экзаменов (2

математики, 2 физики). Если мы видели, что проходят все абитуриенты с 17 баллами, мы объявляли абсолютный проходной балл 18, и приглашали на собеседование всех, кто получил 17 и 16 баллов и даже некоторых людей с 15 баллами (например, с 9 баллами по физике). По результатам собеседования происходил окончательный отбор. При прочих равных наличие преимущественных начальных условий (родители – преподаватели ВУЗа, обучение в известной элитной школе и т.п.) работали ПРОТИВ абитуриента, лучше попробовать с тем, кто ранее не имел преимуществ. Разумеется, у нас не было национального барьера. Довольно скоро это стало известно в стране, и к нам приезжали ребята с Украины, из Белоруссии, из Москвы, из Риги. Некоторые из них стали ныне хорошо известными учёными – сотрудниками СО. Помимо этого, существовал ещё один канал. Некоторые победители Всесоюзной олимпиады пытались поступать в МФТИ и после успешной сдачи экзаменов «сыпались» на тамошнем собеседовании по упоминавшемуся «еврейскому барьеру». Наши друзья из олимпиадного комитета МФТИ направляли их к нам, по решению ректора мы после короткого собеседования просто засчитывали результаты их экзаменов в МФТИ и принимали в НГУ. Некоторые такие ребята переводились к нам из других ВУЗов уже на второй курс. Все они оказывались потом сильными студентами. Нельзя переоценить их роль в создании высокой творческой атмосферы в среде студентов физфака.

В 1969 г. Е.И. Биченков стал проректором НГУ. В 1971г. ничто не предвещало изменений. Мы, как обычно, подготовили задачи письменного экзамена и собрали кандидатов в экзаменационную комиссию (прошлогодние члены комиссии и несколько новичков). На собрание пришел Биченков и сообщил, что – оказывается – состав экзаменационной комиссии уже утверждён, и не может изменяться. Большинство приглашённых могут быть свободны, почему-то в состав этой комиссии по случайной причине «забыли» включить почти всех лидеров комиссий предшествующих лет и включили ряд людей, ранее от приёмных дел далёких. (Впрочем, письменный экзамен проводился по задачам, в составлении которых участвовали не вошедшие в утверждённую приёмную комиссию люди).

А.И. Веренков рассказал мне через несколько лет. *«Биченков собрал экзаменационную комиссию и произнёс речь. Он говорил, что мы слишком много принимаем евреев на физфак, и фактически готовим кадры для Израиля. К нам съезжаются евреи со всего Союза. Это надо прекратить, надо готовить*

национальные кадры. Мы с Сергеем Хлевным пытались задавать какие-то вопросы, и не получили приемлемого ответа. После этого мы пришли к Беляеву, повторили услышанную инструкцию и спросили – Как это? – Не ваше дело, - ответил Беляев. Мы пошли, и написались.» В итоге – в соответствии с неофициальными установками КПСС и некоторых руководителей СО АН – резко сократился приём евреев на физфак. Концентрация возможных сильных студентов упала.

Из некоторых рассказов моих коллег следует, что Биченков хорошо понимал неприглядность своего поведения. Он делал достаточно определённые высказывания, и тут же сообщал: *А если ты будешь цитировать эти мои слова, я отпущу, скажу, что этого не было.*

Когда система наладилась, М.А. Лаврентьев удалил Биченкова из НГУ. Такого явного фильтра уже не стало, но потоки иссякли, а в дальнейшем поменялась и ситуация в стране.

VI. 1971-2013

Физфак

Первые деканы физфака были никакими администраторами. Первым «правильным» деканом стал В.И. Титов. Он навёл на факультете порядок. Среди проблем, которые ему удалось решить, была проблема обучения английскому языку. В то время кафедра иностранных языков НГУ, возглавлявшаяся супругой член-корр. А.В. Бицадзе, ввела систему обучения, при которой люди, уже знавшие язык, совершенствовались в нём, а остальные (большинство) тратили уйму времени без какого-либо положительного выхода. Для них это было чистым издевательством. Факультет соответствующим образом относился к этому, но поделать ничего не мог. Все обращения в Учёный совет НГУ кончались истерическим выходками А.В. Бицадзе, срывавшего заседания. (Ему многое прощалось, поскольку считали, что это – следствие болезни. Впрочем, он ни разу не устроил истерику при М.А. Лаврентьеве.) В итоге, например, Виктор Буднев, получивший зачёт по языку с 27 захода, без колебаний назначался Советом факультета на Ленинскую стипендию. В.И. Титов «победил» эту систему, доказав, что её жертвами оказываются в первую очередь студенты из крестьянских и рабочих семей, что противоречило провозглашавшимся КПСС принципам.

Мой уход с факультета

Мне было трудно существовать в сложившейся атмосфере. Меня возмущало разрушение олимпиадной преемственности (с фактическим изгнанием студентов), изгнание из экзаменационной комиссии с разрушением сделанного мною и то, как это было сделано. Всё довершил мини-скандал в начале осени 1971 г.

В наборе 1966 г. у меня был студент Э. Хейфец. Во время учёбы он проявлял себя блестяще, демонстрируя великолепное физическое чутьё и умение вычислять. За все экзаменационные контрольные он получал право иметь пятёрку без сдачи устного экзамена, и я с удовольствием ставил эти отметки ему в зачётку (вообще, я никогда не принимал экзамен у студентов из своей группы). Он поступал ко мне в аспирантуру. Но он фактически обманул меня, не сказав, что за полгода до окончания решил заниматься аксиоматикой квантовой теории поля. С этим он исключил из своего мышления все качественные соображения и оценки. На вступительном экзамене в аспирантуру я с ужасом и недоумением наблюдал, как он не отвечает на простые вопросы, которые он прекрасно разобрал студентом. Тройка была заслуженной оценкой. Знай я о его переходе в аксиоматическую «веру», я по крайней мере мог бы объяснить на приёмной комиссии, в чём дело. А так декан с подачи Биченкова обвинил меня в том, что я плохо учу студентов, ставлю отметки по (еврейскому) благу. В ответ на эти обвинения я ушел с работы в НГУ на 15 лет.



В.В.Серебряков

Через 10 лет В.В. Серебряков принял Э. Хейфеца (Осипова) на работу в нашу лабораторию. Здесь он защитил кандидатскую и докторскую диссертации, став серьёзным

специалистом в аксиоматической квантовой теории поля (области, всегда мало интересовавшей меня). Он умер от опухоли мозга в конце 90-х.

1972-1987

Я не терял связи с НГУ. Моим другом и ближайшим сотрудником оставался В.Г. Сербо. С.Т. Беляев попросил меня «защитить» Г.В. Меледина, который уже был одним из ведущих преподавателей факультета. Мы привлекли его к работе нашей группы, и в 1972г. он защитил кандидатскую диссертацию под моим руководством.

Выдающийся по научной силе и глубине мышления Г.Л. Коткин всегда недооценивал полученные им результаты. Только после того, как мы привлекли его к нашим исследованиям, где он уже не мог «вешать нам лапшу на уши», заявляя, что результат асс естественный, мы вынудили его защитить кандидатскую диссертацию под моим руководством в 1979 г.; нам не удалось выжать из него докторский труд – здесь он твёрд, как скала. В 1980 г. по нашей совместной тематике защитил докторскую диссертацию В.М. Буднев, а в 1983 г. – В.Г. Сербо.

Все эти годы мы с Коткиным и Сербо постоянно обсуждали вопросы преподавания в НГУ. Неофициально я читал спецкурсы. Ко мне приходили работать студенты, среди них я особенно ценю работавшего впоследствии в нашем отделе к.ф.-м.н. Семёна Панфиля, глубокого физика и просто хорошего человека. К сожалению, нам, в ИМ, трудно было принимать новых студентов, поскольку – в противоположность ИЯФ – мы обладали ничтожными возможностями в трудоустройстве.

При чтении спецкурсов в те времена и ныне, я ясно вижу падение среднего уровня студентов. Большинству из них некогда думать о различных задачах физики, они еле успевают заниматься своими задачами, кругозор их неширок. В шестидесятые годы на первые лекции моих курсов более или менее общего характера приходило 30-40 студентов. Теперь на подобные курсы приходят меньше 10 студентов. Конечно, лидеры не слабее прежних, но их стало меньше, и качество дискуссий снизилось.

Я высоко оцениваю некоторые перемены, происшедшие за эти годы на физфаке. Создание кафедры математики для физиков (в бытность деканом Диканского) решило сразу же две проблемы. Физики перестали получать для преподавания математиков, не пригодившихся на мехмате. Возглавивший создание кафедры В. Иванов решительно осовременил программы. Студенты – физики получают теперь достойное математическое

образование. Передача физикам курса математической физики привела этот курс в соответствие с запросами физики. Компьютерный практикум по моделированию на первом курсе, предложенный Л.М. Альтшулем и разработанный им совместно с другими преподавателями при решающей поддержке С.Т. Беляева, расширяет физический кругозор студентов. Этот практикум естественным образом и наглядно знакомит студентов с понятиями, которые раньше возникали только на абстрактном уровне или не рассматривались вовсе. Компьютерный практикум по квантовой механике (3 курс), концепция которого создана Г.Л. Коткиным и разработана О.А. и В.А. Ткаченко, резко расширил набор возможных ситуаций, с которыми знакомятся студенты, без увеличения нагрузки, связанной с вычислениями. Интуитивное видение у многих студентов улучшилось.

Девяностые годы – XXI век

В конце восьмидесятых годов на физфаке организовалась группа «ранней специализации» на кафедре АФТИ, возглавлявшейся С.Л. Мушером. Поначалу студенты изучали общие курсы вместе со всеми студентами физфака. Осенью 1987 г. у этой группы не сложились отношения с очень хорошим физиком – преподавателем по электродинамике. В итоге группа закончила семестр, не сдавая зачёт и экзамен по электродинамике. Ко мне обратились зав. кафедрой С. Мушер и А. Игнатенко, опекавший эту группу, с предложением сделать с ними за весенний семестр 1988г. весь курс электродинамики.

Я с интересом взялся за эту задачу. Я имел для этого 6 часов в неделю на курс, в котором лекции свободно перемежались семинарами. Я хотел сохранить основное физическое содержание курса, не поступаясь глубиной изложения. Думаю, что решил эту задачу, и мои выпускники кое-что помнят об электродинамике.

Далее С.Л. Мушер предложил мне прочесть для этих студентов (позднее – для отделения информатики) в качестве лектора новые курсы квантовой механики и статистической физики с учётом специфики специальности. Это показалось мне интересной задачей.

На мой взгляд, такой курс должен удовлетворять нескольким условиям. Выпускники физфака должны знать основы квантовой механики и статистической физики независимо от специальности. В то же время специалистам по информатике не нужны многие обычно обсуждаемые приложения этих дисциплин. Кроме того, необходимо сэкономить время по сравнению с основным потоком.

Мне удалось интенсифицировать основной курс. Прежде всего, я решительно отказался от доказательства существования волновой картины материи, поскольку студенты знают об этом «из газет». Взамен этого я начал курс с обсуждения вопроса, что значит – работать с волновой функцией, выделил вычислительные вопросы, доступные «арифметически» в начале курса и включил их в состав набора обязательных упражнений по технике вычислений в начале курса. Это позволило упростить и ускорить изложение соответствующих разделов. Наконец, я включил отдельные вопросы, рассматриваемые обычно в курсе физики твёрдого тела. Такое решение позволило отказаться от отдельного курса физики твёрдого тела.



CERN 1999

В первые годы мы проводили экзамен совместно с основным потоком, причём ни я, ни мои ассистенты не принимали экзамен у информатиков. Разумеется, остальным преподавателям мы сообщали об отсутствии некоторых разделов в программах. Оценки наших студентов были не хуже, чем у основного потока. После такого тестирования мы с чистой совестью стали проводить отдельные экзамены.

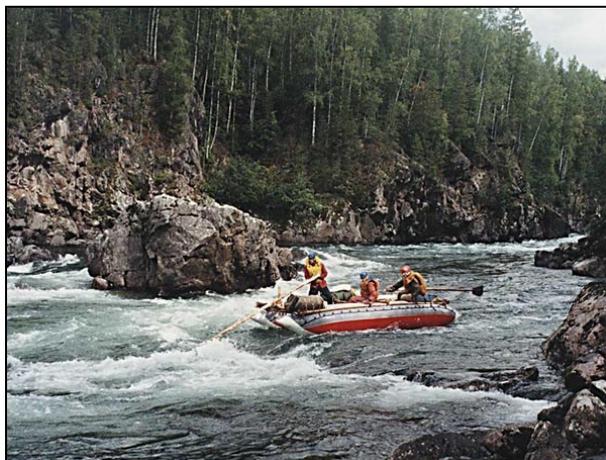
В процессе работы я видоизменил курс статистической физики, добавив сюда не рассматриваемые обычно вопросы о стохастичности и структурах в нелинейных и нестационарных задачах и обсуждение физики протекания и фракталов так, чтобы студенты хотя бы узнали о существовании таких явлений.

Мне кажется, курс получился неплохим. Одним из частных результатов было то, что в разные годы три сильных студента этой специальности (компьютерные науки) перешли ко мне заниматься физикой элементарных частиц, и получали там

вполне интересные результаты. Теперь этот единый курс называется: «Введение в физику твёрдого тела».

Я трижды издавал пособия по этому курсу. Последнее издано в издательстве «Лань».

В 2005г. меня пригласили прочесть вторую часть курса электродинамики, и я передал курс «Введение в физику твёрдого тела» А.А. Кожевникову.

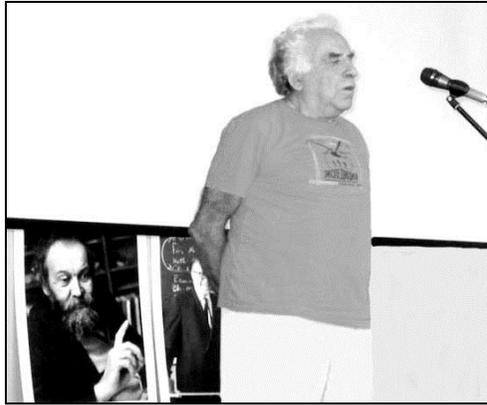


На плоту. Ока Саянская 2006

Я прочитал вторую часть курса электродинамики дважды, и совместно с А.Г. Погосовым подготовил учебник по этому курсу. Наряду с обычными темами таких учебников здесь обсуждаются вопросы, обычно не входящие в курсы – *что такое радуга? Как получается длина когерентности? Как получается, что скорость света в среде меньше c , хотя большую часть пути свет идёт в вакууме? Как устроен фотонный кристалл? Как получается момент импульса электромагнитной волны? И т.д.*

С 2007 г. я веду занятия по квантовой механике и читаю спецкурс «*Дополнительные главы электродинамики и квантовой механики*». Здесь я также издал учебник по квантовой механике, включив в него, помимо привычных вопросов, темы, обычно не входящие в курсы. Это – *доказательство невозможности построения квантовой механики, как теории со скрытыми параметрами; обсуждение вопроса о критериях перехода от описания движения в магнитном поле как свободного (уровни Ландау) к описанию движения магнитного момента в этом поле; пример многократного изменения симметрии системы при*

изменении величины магнитного поля, действующего на плоский осциллятор; вопрос о том, как при увеличении числа ячеек набор уровней уединённой ямы превращается в энергетические зоны кристаллической решетки и т.д. Я дорабатываю этот учебник далее, и набрёл здесь на некоторые задачи, легко формулируемые для студентов и в то же время ведущие к постановке некоторых фундаментальных задач квантовой теории, до сих пор не обсуждавшихся.



50 лет ФМШ

VII. Приложение. Образование в СССР и в России

Здесь я хочу высказать своё суждение об образовании в СССР. По моему мнению, *естественнонаучное образование в СССР было худшим в мире и лучшим в мире одновременно*. Некоторые могут опровергать эти утверждения примерами американских Урюпинсков, но меня интересует качество нашего образования само по себе.

Худшее в мире

Важнейшей чертой нашей общеобразовательной и высшей школы была и остаётся тотальная малограмотность преподавателей базовых естественнонаучных дисциплин в большинстве школ и поощрение сохранения этого низкого уровня знаний. Пр продемонструю это на примерах, связанных с преподаванием физики.

1) В мою бытность школьником в Москве я и мои коллеги замечали, что в физических и математических олимпиадах участвуют ученики из очень малой части московских школ, а успехов добиваются ученики из ещё меньшего списка. Во время

работы в олимпиадном комитете в Новосибирске мы знали очень ограниченный список школ Сибири, поставляющих нам участников, с которыми имело смысл разговаривать – школа с. Верхне-Вилуйск в Якутии, школа №10 Ангарска и т.д. В беседах с учениками и учителями других школ мы видели непонимание постановки основных вопросов и смысла обсуждаемых терминов.

2) И С.И. Литерат и Б.Ю. Найдорф, ставшие квалифицированными преподавателями ФМШ, после нескольких лет работы в обычной школе демонстрировали поначалу практически полное незнание основ физики. Работа в обычной школе убила их первоначальную квалификацию, лично они в благоприятной обстановке оказались способны к быстрому осознанию своих недочётов и самообучению.

3) При чтении лекций учителям на проводимых местными органами образования курсах повышения квалификации и т.п., мы обнаруживали ту же неграмотность. В рассказах можно было цитировать, например, законы Ньютона, но для использования простейших выводов из них надо было очень много говорить, и почиталось очень хорошим, если в результате 10-20% действительно понимали вывод, а не просто записывали результат в некую копилку разрозненных фактов.

4) Как я уже писал, ни один человек с образованием пединститута не выдержал вступительного собеседования в ФМШ, проводившегося по облегчённым вариантам вопросов, которые задавались детям при приёме в ФМШ. При проведении областных туров олимпиад невозможно было поручать местным работникам образования излагать решения задач очного тура (даже после изложения этих решений приехавшим представителем СО). За редкими исключениями, не было сомнений, что – даже если решение по-видимому понято, ответить на возникающие вопросы школьников эти люди не смогут.

5) В 1967-68гг. в НГУ работал факультет повышения квалификации преподавателей ВУЗов по физике. Я читал там курс общей физики – очень облегчённую версию курса, читавшегося в ФМШ, с единственным дополнительным пожеланием – слушатели не должны бояться *знаков* интегрирования и дифференцирования (не делать вычисления, а просто понимать, что это – сокращённая запись некоторых школьных утверждений). Г.В. Меледин вёл семинары, другие физики вели спецкурсы. Слушателями были около 30 преподавателей от Уссурийска до Бийска. Нас поразила их низкая квалификация. Некоторые пытались преодолеть свою безграмотность, но многие были воинствующими невеждами. Один из них говорил, в частности: *Смотрите, все члены партии*

на заключительном экзамене получили только тройки. Готовность к пониманию простых понятий и выводов проявили 3 дамы из НЭТИ (ныне НГТУ) и один человек из Бийска. Мы быстро поняли, что выпускной экзамен следует заменить зачётом, но и после этого очень многим смогли выдать лишь справку о прослушанном курсе. Помимо указанных 4 человек, ни один не сдал бы вступительный экзамен в ФМШ на удовлетворительную оценку. Получив от этих слушателей политический донос, С.Т. Беляев решил больше не проводить занятий на физическом отделении.

6) Один из моих товарищей после окончания физфака МГУ некоторое время преподавал в МВТУ (ныне МГТУ им. Баумана). Лектор не допускал своих ассистентов на свои лекции и на экзамены.

7) В 1977-1983гг. я читал лекции по физике студентам Новосибирского Института связи (ныне СибГУТИ).

Мне было запрещено ставить двойки на экзамене и указана верхняя граница числа «троек». Я добился только разрешения выполнять эти требования на переэкзаменовке. Коллеги по кафедре рассказывали, что в других ВУЗах города дела обстоят не лучше. А кроме того, среди студентов было развито и поощрялось доносительство! Пытаясь рассказать коллегам (не самой низкой квалификации) о современном состоянии некоторых областей физики, я наткнулся на неготовность выходить за рамки известного им учебника (не лучшего качества).

Увидев однажды у студентов учебник Электронные приборы, я попросил у них книгу, открыл её на разделе *Туннельный диод* и прочел: *туннельный диод работает со скоростью света*. Любой грамотный физик должен понимать, что это – враньё. Единственное рациональное объяснение – невежество автора. Подобные ошибки – не редкость в учебниках для ВТУЗов и пединститутов (ныне – педуниверситетов).

8) Несколько лет назад я знакомился с современным учебником по физике Пёрышкина и Гутника (механика). Я не обнаружил в тексте прямых ошибок, но увидел дикую концепцию – *физика – это коллекция законов, а не наука об устройстве и познании природы*.

Подобные примеры приводят и многие мои коллеги.

Результат – почти полная неграмотность населения в физике и решения столь же неграмотных чиновников образования сократить до минимума изучение этой непонятной и мало пригодной дисциплины. Причины такого положения нетрудно объяснить, но масштаб его слишком велик, чтобы здесь были возможны простые решения.

Вот цитата из недавнего письма выпускницы физфака 1988г., готовившейся к поступлению в НГУ по заданиям заочной ФМШ. [Учителя в нашей школе были неплохие, базовые знания они давали хорошо, но рассчитывать узнать что-то чуть-чуть шире или глубже школьной программы не приходилось. Пару раз я попыталась безуспешно обратиться к ним с вопросами по методичкам ЗФМШ и больше не приставала уже.] (Напомню, что уровень ЗФМШ немного ниже нормального уровня ФМШ и олимпиад). Похоже, что школа, где училась моя корреспондентка, – одна из немногих школ с *удовлетворительным* преподаванием физики (как моя собственная) – материал учителем выучен, но он им не владеет. Выпускник этой школы имел шанс поступить в НГУ, но (без ЗФМШ) учиться там ему было очень трудно. В большинстве школ не обеспечивался и такой уровень.

Равнение по последнему

Ещё одна фундаментальная деструктивная черта существующей у нас системы образования и – более общо – всей бюрократической системы – стремлению к равенству в его бюрократическом понимании. Я впервые понял страшный потенциал этого источника в 1962г во время неоднократных посещений министерства просвещения РСФСР при подготовке первой Всесибирской олимпиады.

В те годы проводилась очередная реформа начального школьного образования. Мои друзья по МГУ работали в Институте психологии АПН в группе Давыдова и Эльконина (первый был членом АПН). Они рассказывали мне об их варианте программы начальной школы, в которой эта программа изучалась за 3 года вместо 4 и с лучшим качеством. Программа была успешно проверена (имелись методики) в школах Москвы, Смоленска, какого-то маленького города и нескольких сёл. Однажды я узнал, что принята альтернативная программа, сохраняющая все недостатки существующей системы. Я спрашиваю у чиновника министерства просвещения России

– А почему не программа Давыдова и Эльконина? Она же лучше.

– Верно, но эта программа не подходит (на самом деле – просто не опробована) для однокомплектных школ, а их у нас 30%!

Однокомплектная школа – это такая школа, где из-за малости числа учеников все дети с 1 по 4 класс учатся в одной комнате (т.е. в сумме здесь, наверно, не более 3-5% школьников страны). Я понял тогда важный принцип бюрократической «демократии».

Все должны быть равны. Равнение по последнему!

Этот принцип ясно виден в современном ЕГЭ и многих других современных бюрократических новациях, не только в образовании. (Можно говорить о том, что ЕГЭ имеет некоторые смыслы, но в современной реализации он приводит к тому, что детей натаскивают для ответа на ограниченное число формализованных вопросов, далеко уходя от изучения естественных наук как наук о Природе. Все должны уравниваться по ответам на формальные вопросы, безотносительно к уровню познания Природы.)

В последние годы к этому добавилась реализация тотального недоверия высшего педагогического руководства к ученикам и учителям, результатом которого стало введение ЕГЭ, убивающего почти все ростки творчества.

Лучшее в мире

Всего лишь небольшая часть школьных учителей была способна квалифицированно учить физике (несколько больше – математике). Однако именно эти учителя создавали основной поток молодежи, способной к науке и инновациям. Даже у удовлетворительно подготовленных учителей при приличных учебниках и большом массиве хорошей популярной литературы отдельные дети выбивались к серьёзным знаниям.

В СССР практика применения школьных программ позволяла хорошим преподавателям по-настоящему хорошо учить детей. (На пользу работал известный тезис П.А. Вяземского *«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения»*.) Замечательные учителя приходили из ведущих университетов или постигали науку самообразованием. ВУЗов высокого уровня было немного, они были хорошо известны, и конкурс хорошо подготовленных детей в эти ВУЗы был высок. В свою очередь в ВУЗах программы, задаваемые чиновниками, оказывались фактически не слишком жёсткими, позволяя делать индивидуальные программы высокого уровня. Хорошо известный пример являет МФТИ, в НГУ составленная по идеям Будкера программа общего физического образования обеспечила может быть самый высокий в мире уровень базового физического образования. В МГУ, ЛГУ (СПбГУ), ХГУ высокий уровень обучения поддерживался традицией школ Лебедева, Мандельштама и Иоффе. Кое-где поддерживались традиции дореволюционных ВУЗов (Иваново – из Дерптского университета, Киев, Казань, Воронеж и др.). Во многих местах достойный уровень держался фактически репрессиями – многие хорошие

специалисты не могли найти себе места нигде, кроме школы или провинциального ВУЗа, после выхода из заключения или из-за национальных ограничений (как мой школьный учитель математики А.М. Бабад). Недаром многие хорошие абитуриенты появились из района 101-го км от крупных центров (где было позволено селиться многим ссыльным). Разумеется, время от времени «из сора» прорастали совершенно самостоятельные очаги образования и отдельные дети-самородки. Престиж настоящих центров образования был достаточно высок, чтобы эти самородки шли обучаться именно туда.

Большая концентрация сильных и хорошо мотивированных учеников в условиях российской традиции взаимопомощи усиливала их подготовку в основных центрах эффектом мультипликатора – взаимообучения.

Отсутствие других морально приемлемых социальных лифтов, помимо науки, дополняло группу хорошо подготовленных к обучению наукам школьников за счёт репетиторства. В таких ВУЗах, как НГУ или МФТИ, где репетиторство по физике и математике несомненно не было связано с коррупцией, оно приводило только к улучшению подготовки абитуриентов.

Мы всегда понимали, что мимо нас проходит большая часть людей, потенциально способных на самые высокие результаты. Однако преобразование всей системы обучения в стране не представляло для нас сколько-нибудь разрешимую задачу, и мы считали необходимым *только* собирать и готовить максимум того, что можем собрать. Современная система чиновничьего равенства (ЕГЭ и т.п.) увеличивает рассеяние сильных выпускников школ по посредственным ВУЗам, которые не способны дать им хороший импульс к творческой работе и приличную подготовку (только диплом важен), и снижает эффективность действительно ведущих ВУЗов как за счёт уменьшения числа людей высокого уровня, попадающих в эти ВУЗы, так и за счёт уменьшения фактора взаимообучения – мультипликатора способностей.

Хотя написанное непосредственно относится к физике, думаю, что подобная ситуация имеет место и для математики, и для химии, и для биологии.

Что дальше (НГУ)

Новосибирский университет был основан как кузница кадров для Сибирского отделения. Подготовка кадров для промышленности и образования была попутной задачей. В нынешних условиях наша задача – обеспечить непрерывный поток

студентов, идущих в науку. Ничего плохого нет, если некоторые уедут за рубеж. Пока этот поток сохраняется, новые сильные студенты приходят и в отечественную науку. По мнению многих наших выпускников, пока наша научная атмосфера лучше, чем во многих хороших университетах Европы и США. Система преподавания тоже кажется заметно более интересной.

Однако уровень преподавания снижается, в первую очередь за счёт понижения качества приёма. Самое главное, что происходит сейчас – снижение общего уровня амбициозности студентов, о которой я говорил, рассказывая о своём собственном образовании. Это во многом – следствие ЕГЭ.

Некоторые шаги по улучшению ситуации следует предпринимать уже сейчас. Важнейший из них – повышение качества приёма в НГУ и ФМШ. Здесь полезно было бы создание подлинно общественного совета по образованию, составленного из студентов и недавних выпускников, с целью поиска новых форм работы со школьниками. Руководство СО и НГУ должно поддерживать этот совет, осуществлять методическую помощь, но не руководить им. Статьи в газетах и журналах об успехах и признании выпускников физфака в науке и в бизнесе в стране и за рубежом должны стать составным элементом агитации за поступление в НГУ.

Желательны и изменения системы обучения на физфаке.

Из-за высокой интенсивности нашего обучения студентам остаётся слишком мало времени для самостоятельных внепрограммных поисков. В итоге убывают важнейшие элементы образования – воспитание способности к самостоятельной и критической творческой работе и взаимообучение. Первое, что необходимо, по-моему, это – снижение интенсивности обязательного обучения на 1 – 3 курсах. При нынешней интенсивности обучения потенциально сильный студент, имеющий плохую подготовку, почти фатально обречён на отставание и «вылет» из науки. Одно из возможных решений состоит в резком сокращении содержания существующих основных курсов и одновременном чтении курсов типа «Дополнительные главы» с обязательным требованием при поступлении в магистратуру иметь, например, не менее 3 таких курсов – по выбору кафедры. Состав фундаментального теоретико-физического образования, определённый Л.Д. Ландау 60 лет назад, нуждается в дополнениях и сокращениях. Эта деликатная работа должна растянуться на многие годы.

Должны быть разработаны специальные адаптивные программы для привлечения в магистратуру и аспирантуру

студентов других ВУЗов и иностранных студентов. Здесь необходимы специальные государственные решения, позволяющие продлить срок обучения для этих студентов.

Что делается с образованием в России

Мне представляется, что в новых законах об образовании и о науке (о РАН) соединились мечты чиновничества о всеобщей унификации, воинствующее невежество многих депутатов, коррупционные мотивы, тотальное недоверие к людям, открывающее широкие ворота для коррупции всякой мелкоты, и глубоко ошибочные представления многих ведущих экономистов о том, что есть наука и образование. Детального обсуждения заслуживает здесь последняя группа мотивов.

Многие ведущие экономисты видят, что их экономическая наука содержит отдельные разделы несомненно научного характера – оптимальное планирование, статистика и т.п. Но вот обобщающей экономической науки просто не существует. Когда-то в СССР на роль такой науки претендовал марксизм, но он оказался непригодным для описания реальности. Глобальные обобщения (по крайней мере у нас в стране) суть *мнения* отдельных групп экономистов, и – в частности – концепции людей, влияющих на экономику и государственные решения отличаются от принимаемой экономистами РАН. На основе своих концепций экономическое отделение РАН активно выступает против направления реализующихся преобразований. Отсюда государственные экономисты делают вывод – роль экономической части РАН должна быть минимизирована. Более того, эти люди полагают, что все науки устроены по тому же образу, и серьёзной науки в России вообще нет или почти нет. Для доказательства этого положения используются «глобальные» методы оценки. Основное здесь – обобщение оценок «на всю науку» - определение средней температуры по больнице. С этой точки зрения слияние старой РАН с сельскохозяйственной и медицинской академиями выглядит совершенно естественно, ещё более размывая объект обсуждения. То же относится и к нашему образованию.

На мой взгляд, современные и предшествующие реформы образования обладают общим недостатком – стремлением к единообразию, да ещё – в его наихудшем издании – к единообразию по чиновничьи, и тотальным недоверием к исполнителям.

Поиск универсального решения кажется мне принципиально вредным. Здесь вспоминается высказывание Будкера. *«Представим себе, что обнаружен способ наилучшего*

обучения и воспитания детей, и общество собирает их всех в единообразные школы, дающие это обучение. Но вдруг выясняется какая-то ошибка в основах, и всё оказывается браком. Нет уж, пусть каждая мама воспитывает по-своему!».

Три ограничения наиболее существенны.

Во-первых, дети – разные, и одни и те же приёмы не годятся для разных детей. Здесь вступают в игру разные способности и разные интересы детей. В одной и той же семье растут дети со склонностями к естественным наукам, к конструированию и к гуманитарным наукам. А ещё – кто-то быстро соображает, а кто-то медленно (медленно думал великий математик Гильберт), некоторым научная логика просто недоступна, зато они хорошо всё воспринимают через наблюдения (эксперимент), есть люди, которые просто принимают точку зрения большинства (начальства),...

Во-вторых, обществу нужны люди, исполняющие разные предназначения, в необходимых пропорциях. Если из всех делать инженеров (а это была важная идея советского высшего образования), будут получаться в среднем плохие инженеры, совершенно не заинтересованные в своей работе.

В-третьих, школьное преподавание – массовая профессия, которая долго ещё не будет пользоваться высоким престижем в обществе. Поэтому ожидать массового прихода в эту область преподавателей высокого класса не приходится. Учителям должны быть СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ для творческой работы в избранном каждым из них направлении при выполнении некоторых минимальных программных требований. Тогда *некоторые* педагоги смогут работать по-настоящему хорошо. Экзамен типа ЕГЭ с совершенно другой методикой, чем ныне, должен подтверждать минимальную подготовку и – тем самым – квалификацию педагога.

Сказанное означает, что школьные программы должны содержать абсолютно минимальную часть (базу), общую для всех и ВОЗМОЖНОСТИ занятий в разных направлениях, различные для разных школ и разных учителей. Нынешняя тенденция увеличивать базу и делать платным дополнительное обучение способствует только падению интеллектуального потенциала народа. Школьники и их родители должны быть ИНФОРМИРОВАНЫ о пакете требований, необходимых для обучения разным специальностям. Сообразуясь с реальностью, полный набор возможностей развития можно предусматривать только в больших городах, где можно решить, например, что базовое обучение происходит три дня в неделю вблизи от дома, а

дополнительные курсы изучаются другие три дня в неделю, вообще говоря в других школах, далеко от дома. Это дополнительное образование должно включать для каждого и естественные и гуманитарные науки, в соответствии со склонностями каждого. Разумеется, при приёме в такие классы конкурсности избежать не удастся (при наличии средств эту конкурсность следовало бы распространить на первые годы обучения). К сожалению, в небольших городах и в сёлах полный набор дополнительного образования реализовать не удастся (квалифицированных учителей не хватит, да и интересующихся учеников тоже). Это – здоровое неравенство, и его не надо бояться. Одного не должно быть – чиновничьего *приравнивания всех к троечникам* (что фактически делает современный ЕГЭ).

Что касается базового образования, необходимо прежде всего понять его цели. Я усматриваю следующие варианты этих целей (может быть, этот список не полон):

01. Подготовка кадров для исследования Природы – для фундаментальной науки.

02. Подготовка кадров для высоких технологий

03. Подготовка кадров для успешной творческой работы в бизнесе и культуре.

04. Подготовка компетентных исполнительных чиновников и армейских офицеров.

05. Подготовка людей, (пассивно – в среднем) освоивших некоторый минимальный уровень культуры (с возможными сильно различающимися вариантами содержания этого минимума)

06. Подготовка солдат

07. Чтобы на улицах не болтались и в банды не сбивались. При этом важнейший результат – бумажка (этому отвечает продажа аттестатов и дипломов в метро).

Скорее всего, нужно реализовывать все эти цели одновременно, но система должна быть построена так, чтобы реализация одной из целей не противоречила другой.

Определение состава соответствующего минимума – трудная, но разрешимая задача. Нельзя только доверять её безграмотным троечникам – нынешним депутатам, которые думают примерно так: *«Я не понимал физику (математику, биологию) и процветаю. Ну и нынешние дети обойдутся без этого»*.

Если мы хотим готовить гражданина, нужно не только заставлять школьника учить даты и факты (коллекцию), но учить критически осмысливать явления мира и понимать, что большинство явлений хотя бы в принципе может быть понято

через фундаментальные законы Природы. Естественнонаучное и в особенности физическое образование учит докапываться до первопричин явлений, находить иерархию важности этих причин, быть готовым к изменениям в этой иерархии. Среди других естественных наук физика обеспечивает кратчайший путь до фундаментальных истин, и потому её уроки усваиваются легче. Такое образование представляет собой прекрасный базис для занятий не только наукой и инновациями, но и бизнесом и т.п. Это хорошо понимают на Западе. Немало случаев, когда после получения PhD за очень хорошие работы по физике человек уходит в банк или промышленную фирму, далёкую от его специальной подготовки. Общество, а значит и все мы, заинтересовано в том, чтобы таких цивилизованных бизнесменов и чиновников было больше. Подготовка таких людей для науки, образования, бизнеса тоже должна стать одной из осознанных целей нашего образования.

Для школ и ВУЗов, дающих естественно – научное и техническое образование, должны быть восстановлены вступительные экзамены. Формализованные системы, открывающие всем дорогу в *престижные* ВУЗы можно сохранять для гуманитарных, экономических, юридических ВУЗов.

Современные олимпиады

Чтобы говорить о современности, следует, оказывается, поговорить о целях олимпиадного движения в естественных науках⁵. Существующая система среднего образования призвана давать базовое образование, более или менее универсальное для всех. Эта система не может быть рассчитана на способности детей к отдельным наукам, существенно выходящие за рамки стандарта (по необходимости, довольно низкого). В то же время дети со способностями к наукам существуют, хотя нередко они и не подозревают об их наличии. Нужен механизм, позволяющий

⁵ По-моему, олимпиады по литературе и истории, подобные олимпиадам по физике и математике просто невозможны. В естественных науках предметом олимпиады является способность ребёнка использовать известные ему законы природы для выяснения ответов на прежде неизвестные ему вопросы с предпочтением к поиску неожиданных решений. Новое устанавливается непосредственно в процессе решения задач. В гуманитарных соревнованиях можно проверять уже готовые знания. Здесь побеждает тот, у кого лучше (ассоциативная) память. В процессе решения задач новое знание не возникает. Возможно, конкурсы должны выбирать тех, кто способен делать наиболее интересные выводы из получаемой прямо на месте новой информации.

заинтересовать детей соответствующими вопросами и дать им понять, что они обладают такими способностями. Помимо этого следует находить таких детей, чтобы направить их на занятия наукой и её приложениями. Именно эти задачи решало олимпиадное движение так, как его понимали я и мои коллеги и учителя. Введение спортивного элемента было небольшой уступкой спортивному элементу детской психологии. Именно поэтому мы никогда не стремились к выявлению абсолютных победителей, к стопроцентному решению всех олимпиадных задач и т.п.

Чиновники, оседлавшие олимпиадное движение, понимали только спорт с вертикальной иерархией. Поэтому чиновничье руководство разрушало основные цели движения. В нынешней ситуации сюда добавилось стремление к чиновничьему универсализму, тотальное недоверие к исполнителям, нелюбовь к детям, непонимание экономическими идеологами преобразований особенностей разных направлений и крохоборская забота некоторых деятелей МФТИ только о себе, любимых. Деятели образования понимают олимпиады только как еще одни ворота в ВУЗы, в дополнение к их любимому ЕГЭ, и как подготовку к международным олимпиадам, где МЫ должны побеждать.

Современная ситуация демонстрирует классическую ПОДМЕНУ ЗАДАЧИ – эффект, хорошо известный в *теории исследования операций*. Вспомогательные задачи - установление иерархии победителей, получение формальных успехов на международных олимпиадах, абсолютное недопущение отклонений от ПРИДУМАННОГО чиновниками и экономистами пути поступления в ВУЗЫ естественно-научного и высокого технического профиля – заменили исходную задачу – поиск талантов и способствование их раскрытию.

Недавно я познакомился с задачами областного тура современных всероссийских олимпиад по физике 2014г. (как мне объяснили, это продолжается уже несколько лет) В этой олимпиаде разрушены ВСЕ идеи первоначального олимпиадного движения.

Начать с того, что в желании обеспечить единство оценок по всей стране, олимпиада проводится по единственному небольшому набору задач. Опасаясь, что информация с востока страны попадет на запад и позволит некоторым школьникам заранее узнать задачи, организаторы потребовали, чтобы по всей стране олимпиады начинались одновременно. Это значит, что в Москве олимпиада начинается в 9ч., в Иркутске – в 14ч., в Благовещенске – в 16ч. К этому времени дети устают, и

формальное равенство оборачивается реальным неравенством. В нормальной системе после обеда должен был бы следовать разбор решений. На востоке страны это невозможно.

Следующее – задачи абсолютно недоступны для нормальных школьников. Для их решения нужны знания и навыки, приобретаемые на первых курсах физических ВУЗов. Я обсуждал некоторые из этих задач с профессорами НГУ – сотрудниками Сибирского отделения РАН – выпускниками нашей первой, наиболее сильной по составу, Новосибирской ФМШ. Они единодушно говорили, что в свои школьные годы (до ФМШ) эти задачи были бы им не по силам. Выясняется, что в каждом городе эти задачи решают только 2-5 человек, которые осенью ездили на какие-то курсы в МФТИ (видимо, для подготовки к международной олимпиаде). Эти действительно сильные ребята были отобраны в наиболее богатых школах города (например, школа РЖД в Иркутске) с хорошим уровнем преподавания во время визитов студентов МФТИ – выпускников этих школ. Естественно, что победители этих олимпиад прямым ходом следуют в МФТИ. На мой взгляд решения большинства этих задач невозможно объяснить ненатасканному сильному школьнику так, чтобы он понял, что может решить другую подобную задачу.

В реализующейся ныне системе есть несколько недостатков. Во-первых, набор не включает подлинно оригинальных задач, решение которых не сводится к комбинации известных (для студентов) приёмов. Поэтому действительно новые и оригинально мыслящие люди уходят от взгляда проводящих олимпиаду. Второй недостаток ещё страшнее. Человек, не получивший специальной подготовки, уходит с олимпиады, не решив ни одной задачи (они просто недоступны для него). Он делает вывод – *физика это не моё дело, я никогда не буду этим заниматься*. Результаты страшные – от науки отторгается множество потенциально способных людей, другие физические ВУЗы, помимо МФТИ, и вообще российская наука лишаются абитуриентов, в том числе потенциально сильных. Во многих случаях участники этих олимпиад являются лидерами в своих школах, и их сильный неуспех отвращает от прихода в науку других людей того же или близкого уровня (в нормальной ситуации такой человек, получив задачи олимпиады, пытается решить их и обнаруживает, *а ведь я мог бы*, в нынешней ситуации это невозможно). На этом фоне уже мелочью оказывается то, что и качество набора в МФТИ ухудшается, за счет неоявления оригинально мыслящих людей. Такой способ отбора резко уменьшает «площадь сбора».

Есть и ещё одно важное замечание. Судя по задачам, которые я видел, международные олимпиады превратились в соревнования по натаскиванию школьников к уровню банального 2 курса ВУЗа, дающего приличное образование. Конечно, на эту олимпиаду отбираются дети довольно высокого уровня, но в соревнованиях подготовленных детей побеждает более аккуратный, а не тот, кто может разглядеть действительно новое, разобраться в неожиданных явлениях природы. Вряд ли победителями этой олимпиады станут, люди, способные в будущем к настоящим открытиям. Получается, что эта олимпиада – для образовательных чиновников, а не для творческих людей, способных по-настоящему развивать науку. Поэтому не надо печалиться о недостаточно большом числе российских победителей таких олимпиад. Эти победители тоже нужны нашей науке, но важнее другие, большинство которых теряется в современной схеме.

Конечно, есть другие олимпиады, но во-первых министерство образования, «боясь коррупции», сокращает их число и во-вторых, после удара на всероссийской олимпиаде много хороших людей уже никогда не придут и на эти другие олимпиады.

Ситуация требует немедленного исправления. Немедленные поправки кажутся мне достаточно несложными в реализации. Просто нужно в российской олимпиаде наряду с отбором на международную олимпиаду открывать и другие двери, например, увеличивая число задач областного тура за счёт немалого числа оригинальных задач, не требующих предварительной внешкольной подготовки. Для получения грамот и призов не нужно требовать решения ВСЕХ или ПОЧТИ ВСЕХ задач. Выскажу крамольную мысль – если 1-2 задачи из этого набора были раньше известны (но не было известно, что именно они войдут в набор), и некоторые школьники (их не может быть много) грамотно изложат известные им решения, это значит, что они готовились, что они понимают физическую ситуацию. Конечно, это повлияет на распределение призовых мест, но не вижу ничего плохого в том, чтобы первые места и путёвки на международную олимпиаду давать только решателям ныне предлагаемых задач, зато остальные составят замечательный кадровый резерв для многих ВУЗов высокого уровня, а отличать второе место от четвёртого уместно разве что на гонках собачьих упряжек.

Но всерьез, как я писал ранее, на такую работу способны только объединённые команды студентов и преподавателей

МФТИ, МГУ, НГУ, СП-бГУ и, может быть, ещё одного-двух ВУЗов (нечто подобное было реализовано 50 лет назад, современные возможности Интернета позволяют делать это только лучше, и не надо бояться утечек – ну, ошибёмся немного в иерархии, а важна ли она для будущего нашей науки и техники?). В нынешней реализации такой «совместной работы» окончательное решение принимает небольшая группа, забывшая основные цели олимпиады и помнящая о чиновничьих ограничениях тотального недоверия.



Наталья Казакова

«Ты победил меня, ужасный хохол!»

Розанов и Гоголь



пецифичность восприятия Розановым русской литературы объясняется его экзистенциальным методом познания действительности. Все отзывы художника о творчестве русских писателей и поэтов можно рассматривать как ступень Розанова в понимании мира. Именно этим, на наш взгляд, объясняется небывалый в истории русской критической мысли бунт Розанова против Гоголя: «через всю мою литературную деятельность проходит борьба с Гоголем». (В.В.Розанов «Мимолетное». В.В.Розанов. «Когда начальство ушло...», М., 1997, «Республика».) Действительно, ни о ком с такой яростью и страстью не писал мыслитель, никого так грозно не обвинял и ни о ком не сказал он столько горьких и безотрадных слов.

Гоголь мучил Розанова всю жизнь, отношение к писателю у него принимало болезненно-агрессивный характер. Не кроется ли эта болезненность в восприятии и оценке писателя в некотором мистическом совпадении биографий (мы этого коснемся ниже) и не являлся ли Гоголь для Розанова тем кривым зеркалом, один взгляд на которое возвращал Розанову его собственный образ? К. Мочульский верно заметил: «От Гоголя все "ночное сознание" нашей словесности: нигилизм Толстого, бездны Достоевского, бунт Розанова. "День" ее - пушкинский, златотканый покров, - был сброшен; Гоголь первый "больной" нашей литературы, первый мученик ее». Впервые Розанов дает критический анализ творчества Гоголя в работе о Достоевском. Думается, такое совпадение имен неслучайно: Гоголь и Достоевский. Один из них (Гоголь) был бесом Розанова, другой – кумиром. Достоевский считал, что вся русская литература вышла из «Шинели» Гоголя, Розанов всю жизнь будет доказывать обратное, уверяя общественность в том, что русская литература существует вопреки ему. Но Достоевскому принадлежит и другое мнение: «Явилась потом смеющаяся маска Гоголя; с страшным могуществом смеха,

— с могуществом, не выразившимся так сильно еще никогда, ни в ком, ни в чьей литературе с тех пор, как создалась земля. И вот после этого смеха Гоголь умирает перед нами, уморив себя сам, в бессилии создать и в точности определить себе идеал, над которым бы он мог не смеяться». Мы полагаем, что это высказывание отчасти носит программный характер для Розанова и предвосхищает его оценки творчества и личности Гоголя. Розанов убежден, что такое отношение к действительности, как у Гоголя, не повторялось у последующих писателей, и, более того, вызвало их противодействие. «Не в нашей только, но и во всемирной литературе он стоит одиноким гением, и мир его не похож ни на какой мир». (В.В.Розанов «О Гоголе». – В кн. Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М.Достоевского. М., «Республика». С. 140.) Розанов противопоставляет ему Пушкина как символ жизни и выдвигает одно из основных своих обвинений писателю: «Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь и мертвые души только увидел он в ней» (В.В.Розанов «О Гоголе»). Именно с него и начинается то презрение к душе человеческой, которое, по мнению Розанова, будет присуще сатирическому направлению в русской литературе. И если Грибоедов в «Горе от ума» смеялся лишь над московскими обывателями, то «...Гоголь дал право каждому русскому хохотать над Россией». (В.В.Розанов «Мимолетное. 1914». в кн. Розанов В.В. Когда начальство ушло. М., «Республика». С. 456.) Большинство читателей и критиков приняло гоголевские «мертвые души» за социальное обличение пороков николаевской России, так и не поняв сути его смеха, за которым, на взгляд Розанова, скрывался ужас небытия. Розанов полагает, что искажение действительности является истинным миром творчества Гоголя и движущей силой его мастерства. Доминирующая идея писателя поражает Розанова цинизмом вывода: «...Истина, что человек может только презирать человека» (В.В.Розанов «О Гоголе», с. 141). И уж вовсе как приговор писателю звучат слова публициста о том, что, обладая фантастическим воображением, Гоголь развратил души своих читателей и разорвал привычную канву жизни. Называя его «гением разложения», Розанов стремится доказать, что Гоголь не просто ненавидел Россию, но способствовал ее гибели. «Нигилизм немислим без Гоголя и до Гоголя», - пишет Розанов, подводя своеобразный итог влиянию писателя, в одной из последних своих книг - «Мимолетное. 1915». За светлым гением Пушкина следует совсем другое направление в русской литературе. «Дьявол вдруг помешал палочкой дно, и со dna пошли токи мутных болотных пузырьков... Это пришел

Гоголь. За Гоголем все. Тоска. Недоумение. Злоба, много злобы. «Лишние люди». Тоскующие люди». (В. В. Розанов «Опавшие листья», к. 1-й.) Так Розанов характеризует появление Гоголя в литературе. В мире писателя нечем дышать — неслучайно публицист использует определение «удушливый». Гоголь у Розанова — это колдун из «Страшной мести», задушивший все живое в России и окруживший всех «мертвыми душами». Розанова ужасает тот тип русского, который вывел писатель в своих произведениях: «...низкие поползновения, подлые аппетиты его, уровень душонки человеческой. Правда, что он «клеветник», как дьявол...». (В.В.Розанов «Мимолетное. 1914». В кн. В.В.Розанов. «Когда начальство ушло...». М., «Республика», 1997. С. 220.) Творчество его — это не просто литературные произведения, это ответ на вечно мучающий всех вопрос — что есть Россия? Розанов находит этот ответ в поэме «Мертвые души», и этот ответ повергает его в отчаяние: «Какая же судьба около Чичикова?» — Гоголь создал карикатуру России, превратив в анекдот русскую действительность.

Едва ли не больше всего в Гоголе Розанова раздражает смех. Надо заметить, что Розанов своеобразно относится к этой категории. Смех для него не просто воплощение отрицания всего для него дорогого, но мистическое олицетворение другого мира. Смех — неотъемлемая часть сатанизма для Розанова. В отличие от персонажей Гоголя (колдун из «Страшной мести») и Достоевского (Ставрогин в «Бесах») мыслитель не боится смеха, он лишь отрицает его, как одну из частей Зла. «Ни разу в жизни я не смеялся. В душе», — признается сам Розанов. (В.В.Розанов «Мимолетное. 1915», с. 41, в кн. В.В.Розанов «Мимолетное», М., «Республика», 1994.). Смех для него проявление самого низменного, что есть в человеческой душе, а сатира, по его словам, «происходит из ада и преисподней, да и вообще, кто же делает из смеха содержание своей жизни?» (В.В.Розанов «Мимолетное. 1914», с. 283, в кн. В.В.Розанов «Когда начальство ушло...», М., «Республика», 1997.) Надо заметить, что отнюдь не смех был содержанием гоголевской жизни. Так же, как Розанова ужасает смех, Гоголя ужасала роль сатирика земли русской, навязанная ему революционно-демократической критикой. Писатель видел для себя иное предназначение в нравственном подвиге и молитве. Столь отрицательно относясь к смеху, Розанов видит в Гоголе воплощение ада. Он не верит писателю, считая последние его произведения очередной насмешкой. Гоголь от Сатаны, уверен Розанов. И если Мережковский в своей работе «Гоголь и Черт» доказывает, что писатель всю жизнь боролся с Чертом, то Розанов

придерживается противоположного мнения: «В нем был легион бесов», — перефразирует Розанов Евангелие от Луки (VIII, 27-36), давая определение писателю. Сомнение вызывает у мыслителя и его религиозность. Болезненно-мнительный Гоголь, испытывая страх смерти, искал успокоения в христианстве. Розанов же убежден, что причина душевных терзаний писателя в метаниях между язычеством и христианством, в страхе перед религией. Розанов верно подметил, что Гоголь шел к религии через страх, а не через любовь. Но публицист не верит в нравственное перерождение, видя в этом лицемерие Гоголя, потому что тот «...демон, хватающийся боязливо за крест» (В.В.Розанов. «Опавшие листья», к. 1-й, с. 273, в кн. В. В. Розанов. «О себе и жизни своей», М., 1990.) Где только не ищет Розанов разгадку Гоголя, обвиняя его даже, правда, гипотетически в некрофилии. Половой вопрос является одним из самых важных для мыслителя. Гоголь, не знавший плотской любви, живописует в своих произведениях молодых и хорошеньких мертвых женщин. Розанов предполагает: «...половая тайна Гоголя находилась где-то тут...» («Опавшие листья», к. 1-й). Затем он задается вопросом, чем же ему все-таки одолеть Гоголя и отвечает, шокируя читателя: «Чем же я одолел Гоголя (чувствую)? Фаллизм. Только. Ведь он совсем без фалла». (В.В.Розанов «Мимолетное. 1915», с. 119.) Розанов резко критиковал христианство за аскетизм и безбрачие. Как известно, его работы на эту тему были запрещены святейшим Синодом. Преклонение Розанова перед фаллосом – это воспевание Жизни и торжество Добра и Света. Воспринимая Гоголя, как посланника Тьмы, сеющего разложение и смерть, он попробовал противопоставить ему жизнь, ведь «...у Гоголя поразительное отсутствие родников жизни — и «все умерло» («Мимолетное. 1915»). Увы, и это было тщетно. Подобное кощунственное предположение в сексуальной патологии не остудило пыла ненависти, который охватывал Розанова при оценке Гоголя.

Попытка выявить основу гоголевского демонизма в творчестве привела мыслителя к выводу о специфике душевного состояния художника. Ссылаясь на Платона в статье «Отчего не удался памятник Гоголю?» (1909), Розанов предполагает наличие безумия у некоторых выдающихся людей, приводящего их к глубоким откровениям в жизни. Гоголь, по его мнению, обладал этим метафизическим качеством. В нем с детства «...жило, росло и развивалось это гениальное, особенное, исключительное безумие. Которое перед концом всем овладело, разлилось “вовсю”...» (В.В. Розанов «Отчего не удался памятник Гоголю?», в кн. В.В. Розанов. «Мысли о литературе», М., 1989, с. 295-6.). Это

безумие трансформировалось в его душе в метафизическую тоску, которая и определила специфические черты его творчества. Он лишил Россию всего величественного и монументального, считает Розанов, потому что все поверили в ирреальный, извращающий действительность мир Гоголя, как в единственно-верный, и никто не смог противостоять этому. «Гайна Гоголя, как-то связанная с его «безумием», заключается в совершенной неодолимости всего, что он говорил; в унижительном направлении, мнущем, раздавливающим, дробящем» (В.В. Розанов «Отчего не удался памятник Гоголю?»). Только один Розанов понял это и поднялся на борьбу с Гоголем против его наветов на Россию. Обличая Гоголя, Розанов отдает должное магическому слову писателя. Он считает, что художественное своеобразие Гоголя настолько велико и сильно, «...что невозможно забыть ничего из сказанного Гоголем, даже мелочей, даже ненужного. Такою мощью слова никто другой не обладал». (В.Розанов. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М.Достоевского. М., 1996. С. 8.) Обладая изумительной живописностью слова, писатель, по мнению Розанова, сумел исказить реальность и внушить своему читателю, что это и есть правда. Сила гоголевского текста настолько велика, что остается навсегда в памяти. Но так же, как за зловещими карикатурами Гоголя нет ничего живого, мертво и его слово, убежден Розанов: «и где бы мы ни открыли книгу, на какую бы смешную сцену ни попали, мы увидим всюду эту же мертвую ткань языка, в которую обернуты все выведенные фигуры. Как в свой общий саван» (В.В. Розанов. «О Гоголе»). У Гоголя, продолжает Розанов, слово статично так же, как и его герои, его текст не развивается, он лишь лепит форму, в которой нет ощущений жизни. Болезненное воображение писателя творит «второй мир поверх действительного и к этому второму миру силится приспособить первый». Нельзя согласиться с этим высказыванием Розанова, ибо он не просто обедняет и унижает творчество Гоголя, но и всю мировую литературу в целом. Творческий процесс неподвластен реальности, всегда иррационален и глубоко субъективен. Фантазмагории Гоголя, воплощенные в сугубо ему присущие гротескные формы, лишь подтверждают его гениальность. Однако Розанов «оставался пораженный какой-то странной эстетической слепотой по отношению к творчеству автора «Мертвых душ». Пытаясь противостоять клевете Гоголя на Россию, Розанов даже апеллирует к Л. Толстому, которого тоже не очень чтит. Он развернул русскую литературу к идеалу, пытаясь увести ее от иронии и ядовитой сатиры. Но и это не возымело должного

активного воздействия на русское общество, оно уже было безнадежно, как считал Розанов, отравлено произведениями Гоголя. После него, горько констатирует публицист, «...мы потеряли спасение России. Потеряли. И до сих пор не находим его, и найдем ли – неведомо. (В.В.Розанов. «Мимолетное». М., 1994. С. 301.) Розанов до конца дней своих считал Гоголя нигилистом и клеветником, самодовольным лжецом, обладающим дьявольской силой убеждения. Он писал чрезвычайно резко о художнике, не верил публицистике Гоголя так же, как и его нарочитой и неискренней религиозности.

Революция 1917 года привела Розанова не только к полному краху его убеждений, но, увы, не разрешила новых противоречий, возникших по отношению к писателю. С одной стороны – Гоголь способствовал, по его мнению, семнадцатому году, с другой – Розанов отчетливо осознал его правоту. С горечью он понимает всю ненужность своей «защиты» России от писателя и принимает свое поражение: «Я всю жизнь боролся и ненавидел Гоголя и в 62 года думаю: «Ты победил меня ужасный хохол!» (Из письма Розанова к П.Б.Струве, 1918 г.). Именно Гоголь первый увидел «преисподнее содержание» русской души. Революционная действительность показала Розанову всю тщетность его жизненных устремлений и разбила его уверенность не только в столпах русской государственности, но и в русском народе, истинное лицо которого он мог наблюдать в Петрограде 17-18-х годов.

Розанов, как и Гоголь, умер от голода, как и Гоголь он пытался перед смертью сжечь часть своих произведений (четыре недостойных, как считал перед кончиной Розанов, книги о евреях), и даже могилу Розанова тревожили так же, как и могилу Гоголя. Не кроется ли в цепи этих роковых совпадений указание на мистическое окончание этого великого спора Розанова с Гоголем? Для нас это лишь предположение. Несмотря на резкость Розанова, его заслуга перед Гоголем в другом – он первый, кто кардинально изменил ракурс исследований творчества этого одного из самых загадочных писателей XIX века.



Елена Матусевич

Молчание как выбор культуры: от священного безмолвия к безмолвному обществу

Жизнь в России ушла в бессловесную глубь...
Дмитрий Мережковский



Молчание русского народа, знаменитое 'народ безмолвствует'... Очевидно, что под этим 'безмолвствует' имеется в виду не просто немота, а скорее отсутствие оформленной дискурсивной речи, того, что Малявин называет «общепонятным словом логически ясной истины»¹. Разумеется, можно сказать, что простой народ всегда и везде если не нем, то косноязычен. Так, Арон Яковлевич Гуревич говорил о молчаливом большинстве в истории, о жизни которого мы можем только догадываться, так как оно не оставило о себе письменных источников. Но это не значит, что это, так называемое, молчаливое большинство не могло быть, и не было, большинством слушающим и внимающим. Именно на этом хотелось бы сосредоточить внимание в данном эссе. Слышать внятную, обращенную к себе речь есть необходимое условие для того, чтобы заговорить самому. Разве не так учится говорить ребенок? Сначала он только слышит, потом слушает, затем лопочет, позднее начинает говорить ясно, а со временем и задавать вопросы. Последовательность именно такая. Если с ребенком никто не говорит, он, как известно, никогда не заговорит сам. Он останется немым или будет издавать нечленораздельные звуки. Так, возможно, происходит и в культуре: необразованный слой населения не обретет «деловито-ровной речи 'здорового ума'»,² если не слышит такой речи обращенной к себе. Членораздельную, логическую речь вырабатывает высоколобая, как любил выражаться Гуревич, элита. Поэтому, возможно, корни

¹ В. Малявин, «Россия между Востоком и Западом: третий путь?»
<http://old.russ.ru/antolog/inoe/maljav.htm#s2>, с. 3.

² Малявин, там же.

знаменитого мистического молчания России стоит искать не только в климате, географии и истории, но и в духовной ориентации ее элиты. Поставим сейчас вопрос иначе. Откуда взялось западное немолчание, европейская разговорчивость, эта необходимость все обговорить, сформулировать, облечь в слова и определения, против которых неизбежно поднимутся армии все новых комментариев и определений? Представление, что спасение именно в словах, в силе слов? «Etre sauvé par les mots. Le formidable pouvoir des mots, la magie de la lecture, l'immense puissance des livres qui sauve», пишет Мишель Онфре (Michel Onfray) сегодня.³ То, что сейчас принято называть аргументативным дискурсом, то есть тип речи, основанный на доказываемых утверждениях, был выработан высокой культурой средневековья, создавшей интеллектуальную элиту, для которой владение словом стало профессией, а привычка слышать свой голос и делиться им — необходимостью⁴.

Средневековые богословы, монахи, и профессора строчили как сумасшедшие. Каждый средневековый школяр для того, чтобы обрести ученую степень, должен был научиться говорить профессионально, то есть обрести голос и членораздельную речь. В школе при монастыре монах формировался, то есть создавался, обретал новую сущность не только через молитву, пост и послушание, но и через обретение дара творческой речи. Конечно, речь эта имела значительные ограничения, находилась в жестких рамках традиции. Но, все равно, язык, в данном случае латинский, литература, в данном случае античная, комментарии отцов церкви и богословские трактаты, составляли интеллектуальную пищу средневековых монахов, которую те не только переваривали, усваивали, и были способны воспроизвести, но к которой они могли и хотели добавить. Именно это я называю обретением творческой речи. Такая речь нужна была в западном христианстве для трех основных целей: проповеди, являющейся творческой речью по определению, полемики в борьбе против ереси или по сложным богословским вопросам, и университетских диспутов. Эти типы

³ Michel Onfray, *L'Ordre Libertaire d'Albert Camus*, Paris: Flammarion, 2012: «Быть спасенным словами. Изумительная власть слов, магия чтения, огромная мощь книг, которая спасает». Перевод мой.

⁴ М.М. Бахтин настаивал на принципиально ином понимании молчания в античную эпоху: «Всякое бытие для грека классической эпохи было зримым и звучащим. Понятие молчаливого мышления появилось только на почве мистики», *Вопросы литературы и эстетики*, Москва: 1975, 284-285.

речи взаимопроникаемы и взаимосвязаны. Все три типа речи включают элемент импровизации, через который и выражалась творческая сторона личности автора. Именно поэтому некоторых особо одаренных проповедников ходили слушать иногда в другой город. Им подражали, за ними записывали, как, например, в случае с Иоганном Гейлером Кайзербергским (Johannes Geiler von Kaiserberg, 1445-1510), знаменитым страсбургским проповедником, чьи проповеди записали за ним друзья, и чью память и кафедру, с изображением его маленькой собачки, до сих пор хранит страсбургский кафедральный собор. Все три вышеприведенных типа речи дают выход индивидуальному слову как выражению высокой культуры данного периода. Разумеется, нельзя преувеличивать индивидуальность этого голоса. Рамки его свободы были строго ограничены, но и отрицать колоссальную важность существования такой традиции ни в коем случае нельзя. Только подумаем, что каждый кандидат в магистры или доктора теологии был обязан подготовить и провести публичный, открытый диспут на соискание своей степени. Диспуты проводились, например, в соборе Парижской Богоматери. Кто там был, знает, что это огромная аудитория. Кандидат должен был представить свой тезис, ответить на вопросы и возражения, которые часто переходили в нападки. Диспуты могли продолжаться часами. После того, как новоиспеченный богослов защищался и получал, по результатам голосования, свою степень, диспуты и словесные баталии, устные и письменные, в виде писем, обращений, памфлетов и трактатов, составляли огромную часть его деятельности. Клирик был scribe (человек пишущий), и схоластом. Хотя слово схоластика часто употребляется уничижительно, это тоже форма речи, особый язык интеллектуального меньшинства, тренировка в искусстве слова как логического аргумента, берущая свою основу у Аристотеля. Без схоластики не было бы науки. Схоластика в буквальном смысле значит ученость, схоластика и школа — однокоренные слова. Именно поэтому, сначала отвергнув средневековую схоластику, протестантские богословы были вынуждены почти сразу начать создавать свою собственную.

Вышедший из монастыря средневековый университет был крайне шумным местом. Судя по описаниям, или, скорее, жалобам современников, студенты и профессора молчали только во сне. Те же самые богословы, которые писали полемические трактаты для коллег, сочиняли и проповеди. Готовить и читать проповеди входило в круг их прямых обязанностей. При этом, как в случае с канцлером Сорбонны Жаном Жерсоном (1363-1429), проповеди

для разных аудиторий сочинялись на двух языках: на латыни для университетской публики, и на (средне)французском для остальных, включая королевский двор (именно латынь была языком международного общения, на французском говорили тогда только в Иль де Франс, а родным для Жерсона был пикардский диалект). Несмотря на вполне сознательное желание не смешивать жанры, темы в проповедях и трактатах Жерсона неизбежно перекликались и смешивались. Так, увлекшись, а он был прекрасным оратором и подражал Петрарке, канцлер не мог удержаться от упоминаний о Сократе, Зеноне или Цицероне в своих проповедях аух «*petites gens de Paris*», то есть простым парижским прихожанам. Так, в своей проповеди к празднику Троицы, *En la fête de la Sainte Trinité*, он осыпает своих слушателей в церкви Святой Женевьвы примерами из античности и именами Платона, Аристотеля, Сенеки и Бозция.⁵ Плоды его красоречия и эрудиции становятся, таким образом, достоянием публики и далеко не только парижской, так как он много ездил, много проповедовал, много встречался не только с братьями клириками, но и с обычными прихожанами и прихожанками, неграмотными '*petits gens sans lettres*'. Жерсон оставил подробные описания некоторых из этих встреч. Его 'немые' слушатели не были глухими. Самые талантливые, цепкие, энергичные из них усваивали элементы языка высокой культуры, спускавшиеся, так образом, в разные социальные слои. Под социальными слоями я имею в виду не только социальные низы, но и аристократию, изначально неграмотную, и королевский двор, и богатых горожан, и торговцев, и ремесленников, то есть всех, кроме духовных лиц, получивших формальное образование. Не был ли и сам Жерсон сыном крестьянина, усвоившим, благодаря личному таланту, работоспособности и целеустремленности, язык высокой культуры и сделавший его своим? Более того, став схоластом, советником короля и крупнейшим богословом своего времени, сыгравшим решающую роль в прекращении Великой Схизмы (1378-1417),

⁵ Jean Gerson, *Œuvres Complètes de Gerson*, под редакцией Палемона Глорье (Palémon Glorieux), Paris : Desclée & Cie, 1960-73, 10 томов, том VII, 2, 1123-1125 : « Entre toutes les matieres desquelles on puet parler ... selon ce que dit Aristote et le recite Seneque [...] » « Car comme dit Aristote, telz vivent comme bestes et sont bestiaux : primo et VII Ethicorum ... selonc ce que declaire Boece en tant qu'ilz ressemblent plus telles bestes que ilz ne font les hommes ». « Car se tousjours tu vas hors de toy et de ton ame par les cinq portes du corps pour cognoistre seulement les choses sensibles par dehors, ne cuide pas que jamais tu congnoisses bien Dieu et les choses divines, secut dicit Plato in Timeo ».

Жерсон оставил в языке свой личный лингвистический след, значение которого еще не до конца оценено. Так, он навсегда изменил высоколобый язык, введя в него примеры и метафоры из речи простолюдинов, к которым принадлежал сам. Через проповеди и публичные, открытые дебаты, оформленная речь высоколобых становилась, хотя бы отчасти, доступна остальным. Нельзя забывать, однако, что для того, чтобы это произошло, надо было, чтобы ученый дискурсивный язык, потребность в нем, место для него в культуре существовали в принципе.

Проповедь и диспуты не были единственными формами распространения аргументативного языка. Он распространялся и через уличный театр, где язык клириков пародировался в фарсах и *moralités* (коротких пьесах нравоучительного характера), и через богатую речь средневековых школяров-дебоширов (вспомним Франсуа Вийона), вливавшуюся, вместе с вином, в речь парижских улиц. Важно то, что элита в западной Европе имела определенный профессиональный навык письменной и устной дискурсивной речи, культивирующейся постоянно и сознательно, с периодическими призывами к его дальнейшему усовершенствованию как, например, в случае со Святым Бернардом (St. Bernard de Clairvaux 1090-1153), Петраркой или тем же Жерсоном). Сама власть клириков, этих средневековых интеллектуалов, как их впервые назвал Жак Ле Гофф (Jacques le Goff), власть университетов и профессоров, основывалась на владении словом. Королевская власть им так не владела, и нуждалась в красноречии элиты во внешней и внутренней политике (для важных переговоров король посылает университетскую делегацию, как в случае, например, с авиньонским папством или Констанским Собором 1414-1418 годов), образовании (принцам нужны наставники), а также для престижа, который окружал университет. Именно из соображений престижа вырастут, как грибы после дождя, многочисленные позднесредневековые университеты в германских землях, такие, как маленький виттенбергский университет в Саксонии, ставший, благодаря Лютеру, знаменитым на весь мир⁶.

Логосная власть интеллектуальной элиты пугала и раздражала. Ей могли угрожать (как в случае, например, с герцогом бургундским Жаном Бесстрашным, угрожавшим Жерсону личной расправой за осуждение политической доктрины

⁶ Heidelberg (1368), Erfurt (1389), Leipzig (1409), Rostock (1419), Greifswald (1456), Freiburg (1457), Munich (1472), Mainz (1477), Tübingen (1477), Halle-Wittenberg (1502), Marburg (1527), Jena (1558) и т.д.

герцога о тираноубийстве), ее могли ненавидеть, но с ней не могли не считаться. Король и придворные терпели ученые наставления от профессуры при дворе, а претенденты на престол и иностранные захватчики, подкупом ли, угрозами ли, искали содействия университетской братии (как в случае с осуждением Жанны д'Арк англичанами по средствам перешедшего на их сторону духовенства).

Слово, безусловно, палка о двух концах, ибо та же разговорчивая европейская культура породила чудовищную бюрократию инквизиции, и вылившуюся в кровавейшую бойню полемику Реформации. Слово стало орудием давления, пытки и убийства. Именно поэтому процесс Жанны д'Арк, только в 1920 году признанной святой, занимает четырнадцать томов. А ее терзали как раз силлогизмами, и ловили на отсутствии логики. В то же время сам процесс обвинения и защиты невольно служил, опять же, распространению аргументативного языка. Так, во время процессов инквизиции в Англии обвиняемым предоставлялась возможность ответить по всем пунктам обвинения от первого лица. Интересно, что составленные таким образом тексты оказывались написанными тем же языком что и тексты обвинения. Таким образом, высоколобый язык инквизиции присваивался обвиняемыми в ереси не для того, чтобы признать свою вину, а для того, чтобы попытаться убедить в своей правоте. С появлением книгопечатания тексты обвиняемых иногда распространялись и публично зачитывались во время процесса над ними⁷. Но, в данном случае, речь идет не о нравственной стороне дела, не о том, хорошо ли иметь язык или плохо, а о том, отчего и откуда этот язык возник. А возник он из богословской традиции, поставившей на древние искусства риторики и логики, то есть именно на умение говорить профессионально. Иными словами, именно приложение к божественным понятиям античных навыков риторики и логики и дало европейской культуре ее дискурсивный язык.

Почему же высоколобая часть русской культуры, не выработала своего собственного членораздельного логического слова? Если ответить двумя словами и намеренно упрощенно: потому что не захотела. Иначе говоря, в формирующий период своей истории русская духовная элита выбрала иной путь — путь безмолвия. Возвращаясь к приведенному в начале этого эссе

⁷ Genelle Gertz, «Heresy Inquisition and Authorship: 1400-1560», in *The Culture of Inquisition in Medieval England*, ed. Mary C. Flannery and Katie L. Walter, Cambridge: D. S. Brewer, 2013.

сравнению процесса овладения ясным языком в обществе с тем, как учится говорить маленький ребенок, уместно процитировать современного православного апологета В. А. Сенкевича, хорошо суммирующие духовный выбор России: «Развитием принципа молчания можно считать глоссологию, косноязычие, бормотание юродивого. Его слова сродни детскому языку, а детское «немствование» считалось в средние века [в России] средством общения с Богом».⁸ Даже если подробности и обстоятельства этого выбора и его последствий, может быть, самые существенные, могут противоречить выводам данного эссе в дальнейшем, я не сомневаюсь, что священное безмолвие, возобладавшее в русской ветви византийского православия, сыграло огромную роль в феномене русского молчания и в формировании русской культуры в целом.⁹ Заявленная тема не предполагает, однако, раскрытия и анализа аскетического подвига молчания, а лишь является приглашением к размышлению. Кроме того, речь здесь пойдет исключительно о его социальной роли, не касаясь особенностей его метафизической сущности.

Священное безмолвие — исихазм (от греческого — покой, безмолвие) — древняя традиция духовной практики, составляющая одну из основ христианского аскетизма. Сами православные богословы признают, что в первые века христианства подвиг молчания понимался одинаково на востоке и на западе.¹⁰ Так, в некоторых католических обителях требовалось полное молчание, вследствие чего в монастырях возник язык жестов. Вопрос, в какой момент, и при каких обстоятельствах эта ориентация западной церкви изменилась или, скорее, дополнилась (потому что обет молчания существует в католических монастырях и сейчас) другой, «деятельной» ориентацией, и насколько ее возникновение повлияло на развитие аргументативного языка, выходит за рамки данного эссе. Здесь, скорее, важно понять ту ведущую, доминирующую, фактически

⁸ В.А. Сенкевич, *Молчание и пустота в истории культуры*, Санкт-Петербург: 2008, 12.

⁹ В данном случае я согласна с Солженицыным: "Именно православность, а не имперская державность создала русский культурный тип. (А. Солженицын *Россия в обвале*. Москва: Русский путь, 1998, с. 187.

¹⁰ Г.В. Флоровский: "Необходимо понять, что в течение многих столетий существовала единая христианская цивилизация, одна и та же для Востока и для Запада, и эта цивилизация родилась и развивалась на Востоке. Специфически западная цивилизация возникла гораздо позже" (Г.В. Флоровский, *Христианство и цивилизация*, Избранные богословские статьи. Москва: 2000, с. 219).

бесконкурентную значимость, которую священное безмолвие обрело на христианском востоке, сначала в Византии, а потом в России.

Изначально исихазм — сугубо монашеская практика. Деление его на ветви: кинувийную (общежительное), ананхоретскую (пустынножительное) и скитскую (когда иноки имеют раздельное жительство, но совместное богослужение) является делением внутренним, и ничего в его монашеской сущности не меняет. Крупнейшим центром исихазма являлся Афон. В четырнадцатом веке развитие исихазма вышло на новый, теоретический уровень благодаря деятельности и трудам византийского святого Григория Паламы (1296-1359), богословски выразившем и обосновавшим исихазм как единое учение.¹¹ Учение Паламы легло в основу Исихастского Возрождения в Византии XIV века. Для Востока значение св. Григория Паламы сравнимо с Фомой Аквинским Фомы для Запада¹².

Возрождение исихазма и активное выдвижение его на центральное место в византийском богословии проходило отнюдь не без борьбы. Дело в том, что в Византии, помимо мистической христианской, была и другая традиция, та, которую о. Герхард Подскальский назвал гуманистической, понимая гуманизм в смысле гуманитарных занятий, и считая его лучшим, что было в Византии.¹³ Образование в Византии, в отличие от Запада, было светским и производило много грамотных, образованных людей среди мирян, включая женщин, не говоря уже о монахах, духовенстве и бюрократии. Вся греческая литература, художественная, и философская, дошла до нас в византийских копиях, сохраненных и переписанных в монастырских скрипториях. Кроме того, в Византии сохранялась классическая система образования для которой было нормой знание античной истории, философии, литературы и поэзии. Обязательно изучались Гомер, Гесиод, Пиндар, Геродот, Аристофан, Эсхил, Софокл, Еврипид, Фукидид, Ксенофонт, Плутарх, и, естественно, Платон и Аристотель. Кроме философии, литературы, истории и музыки

¹¹ Абсолютное большинство православных и католических богословов сходятся на несомненной законности преемства между «паламизмом» и более ранней традицией Церкви. André de Halleux (1929-1994), *Patrologie et Eucumenisme. Recueil d'études*. (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 93) Louvain: 1990.

¹² J. M. R. Tillard. Preface // Lison. *L'Esprit repandu. La pneumatologie de Grégoire Palamas*, Paris: Cerf, 1994.

¹³ Gerhard Podskalsky, *Theologie und Philosophie in Byzanz: D. Streit um d. theol. Methodik in d. spatbyzantin. Geistesgeschichte (14.-15)*, C.H.Beck: 1977.

изучалась риторика — искусство убеждать с помощью красноречия, а также навыки ведения диспута, импровизации и декламации. Патриаршая Академия, риторические школы, мусейоны являлись школами высшей ступени, где обучали платоновской и неоплатоновской философии, комментированию и критике греческих текстов, комментариям к сочинениям отцов церкви.¹⁴ Престиж византийского образования был так высок, что в XIV-XV веках в Италии считалось модным учиться в Константинополе.¹⁵ Необходимо, однако, заметить, что если в Западной Европе университеты создавались как свободные самоуправляемые корпорации профессоров и студентов, со своим привилегиями и правами, а также, как говорилось выше, со своим отдельным мнением и правом голоса, то в Константинополе высшая школа всецело оставалась в подчинении императорской власти. Это обстоятельство, которое не представляется возможным отдельно рассмотреть в данной работе, естественно не способствовало формированию независимого общественного мнения.

Выразителем византийской традиции гуманизма в эпоху исихастского возрождения стал выросший на юге Италии грек, монах Варлаам Калабрийский (в миру Бернардо Массари, итал. Bernardo Massari; ок. 1290-1348).¹⁶ Принадлежа двум культурам, восточной и западной, Варлаам в совершенстве владел латынью, и был знаком с Петраркой, которому преподавал греческий язык. Разносторонний эрудит и обаятельный человек, Варлаам был сразу назначен профессором в Константинопольскую высшую школу, где преподавал Псевдо-Дионисия Ареопагита. Решив узнать, кто такие исихасты, Варлаам лично посетил их. То, что он увидел, глубоко возмутило его гуманистический склад ума, взлелеянный эллинской философией и проникнутый духом

¹⁴ «И хотя в Византии существовали школы для неимущих, для девочек, существовали формы стипендиальной поддержки талантливых учеников, образование никогда не было массовым. По оценкам византийцев, в периоды стабильности общая численность образованных людей в империи не превышала 15 процентов населения».

http://godsby.ru/civilizations/obrazovanie_shkoly.html

¹⁵ Александр Дворкин, Фома.Ru //

<http://www.foma.ru/article/index.php?news=4823>

¹⁶ R. E. Sinkewicz. The *Solutions* Addressed to George Lapithes by Barlaam the Calabrian and their Philosophical Context // *Mediaeval Studies*. 1981. 43: 151-217.

классической культуры.¹⁷ «Варлаам был не в состоянии понять мистико-аскетической традиции Востока, и поэтому он критиковал ее», считал исследователь Григория Паламы отец Иоанн Мейендорф.¹⁸ Сугубо созерцательный тип подвижничества, который Варлаам увидел на Афоне, произвел на него неприятное и гнетущее впечатление своей полной отрешенностью от мира, неизвестной западному монашеству, живущему, по преимуществу, деятельной жизнью. Вот что он написал о своих встречах с исихастами:

Они посвятили меня в свои чудовищные и абсурдные верования, описывать которые унижительно для человека, обладающего хоть каким-то интеллектом или хоть малой каплей здравого смысла, — верования, являющиеся следствием ошибочных убеждений и пылкого воображения. Они сообщили мне об удивительном разлучении и воссоединении разума и души, о связи души с демоном, о различии между красным и белым светом, о разумных входах и выходах, производимых ноздрями при дыхании, о заслонах вокруг пупа и, наконец, о видении души нашего Господа, каковое видение осязаемым образом и во полной сердечной уверенности происходит внутри пупа¹⁹.

Хотя нам неизвестно, с кем из молчальников конкретно разговаривал Варлаам, надо думать, что его должны были смутить показанные ему, непривычные психосоматические упражнения (такие, как принятие определенных поз, регулировка дыхания и т.д.), помогающие духовной сосредоточенности.²⁰ Варлаам

¹⁷ Александр Дворкин. *Очерки по истории Вселенской Православной Церкви*. Седмица.RU_Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия»_ <http://www.sedmitza.ru/lib/text/434823/> В основе очерка лежат следующие источники: Meyendorff, *A Study of Gregory Palamas*; Meyendorff, *St. Gregory Palamas and the Orthodox Spirituality*; Papadakis; Obolensky, *The Byzantine Commonwealth*; Lossky V. *In the Image and Likeness of God*. N.Y.: 1974; Lossky V. *The Vision of God*. Bedfordshire, 1973; Лосский В.Н. *Очерк мистического богословия Восточной Церкви*. Москва: 1991.

¹⁸ http://ru.wikipedia.org/wiki/Варлаам_Каламбрийский

¹⁹ Послание 5, к Игнатию, Протоиерей Иоанн Мейендорф. *Введение в святоотеческое богословие: (Конспекты лекций)*. Вильнюс: 1992, сс. 336-337.

²⁰ Варлаам и его ученики были анафематствованы, а все их творения уничтожены, поэтому с воззрениями Варлаама мы знакомы только по цитатам, письмам и полемическим выпадам в трудах победившей стороны. Центральное место, уделяемое православными мистиками дыханию, фокусирование на центре или сердце во время молитвы, роднит эту практику с йогой и другими восточными учениями.

несколько раз встречался и лично с самим Паламой, но эти встречи только укрепили их разногласия. Возмущенный, Варлаам выступил с резкой богословской критикой исихазма и особенно световых созерцаний, достигаемых на высших этапах духовных состояний священного безмолвия. Конфликт между сторонниками и противниками исихазма разросся, и, подогретый, как всегда в таких случаях, политическими интересами, вылился в фактически гражданскую войну.

Надо заметить, что сам Палама вовсе не был невежественным человеком. Выросший при дворе императора, он до 20 лет учился светским наукам в Константинопольской высшей школе, и даже прослыл знатоком Аристотеля. Платона он изучать не захотел, посчитав его писания несовместимыми с христианской верой. Удалившись на Афон, Григорий Палама продолжил там свое не только духовное, но и интеллектуальное образование, так как в этот период своей истории Афон был не только духовным, но и культурным центром Византии. Палама впоследствии стал образцовым епископом и, несмотря на приверженность священному безмолвию, оставил простые, ясные и глубокие по содержанию проповеди: «В сане архиепископа Фессалоникийского св. Григорий Палама проявил себя как выдающийся, глубокий и общедоступный проповедник. Сборник его «Бесед» свидетельствует о широте взглядов и интересов»²¹. Но в данном случае важна не его личная образованность, а его позиция по отношению к светской образованности и античному знанию. А позиция эта, выразившая общую точку зрения монашеского направления исихастов, была негативной. По словам о. Иоанна Мейендорфа, «Григорий Палама строит всю полемику с Варлаамом Калабрийским на вопросе об „эллинской мудрости“, которую он рассматривает в качестве основного источника ошибок Варлаама».²² Современный поборник паламизма, Василий Лурье, в целом принимает критику исихазма как «элемента торможения», которому «органически свойственен дух обскурантизма и самодостаточности и, следовательно, непримиримости»,²³ поскольку «абсолютная истина не может не

²¹ http://krotov.info/library/13_m/ey/yendorf_018.htm: Иоанн Мейендорф *Православие и современный мир*, Минск: Лучи Софии, 1995.

²² Википедия «Варлаам Калабрийский», см. сноску 14.

²³ G. Podskalsky. *Theologie und Philosophie in Byzanz: Der Streit um die theologische Methodik in der spatbyzantinischen Geistgeschichte (14./15. Jh.* (Byzantinisches Archiv, 15). Munchen: 1977.

претендовать на абсолютную исключительность». ²⁴ Так, сама природа священного безмолвия делает практически невозможными любые попытки найти “точки соприкосновения” между ним и западным богословием, так как таковые вольно или невольно приводят к релятивизации и, соответственно, отрицанию реальности мистического опыта, на котором основаны догматы исихазма.

Самый важный собор, почти приравненный по своему авторитету к Вселенским, и призванный решить спор об исихазме, состоялся в июле 1351 г. Собор ознаменовался полной победой исихазма и объявил учение св. Григория Паламы своим вероучением. Победа паламизма имела значительные последствия, главными из которых стали расширение и абсолютизация его влияния как внутри византийского общества, так и вне его, как в историческом, так и в географическом планах.

В лице Паламы Византийская Церковь породила не только духовного вождя в узко монашеском смысле, но также проповедника духовного возрождения всего общества: понятно, почему ученики Паламы сыграли такую большую историческую роль и вне ограниченных пределов упадочной Византийской империи²⁵.

Его учение становится центральным фактором не только в церковной, но и в светской истории Византии.²⁶ Последнее, то есть выход в светскую жизнь, крайне важно. Принятие паламизма как основной линии Церкви значило победу монашеской партии, а поражение Варлаама — конец сильного латинского влияния XII и XIII веков. Теперь ведущим интеллектуальным фактором, определяющим направление развития византийского общества,

²⁴ Василий Лурье, «Исихазм XVII-XIX вв. и наследие св. Григория Паламы», Послесловие к изданию отца Иоанна Мейендорфа *Жизнь и труды св. Григория Паламы: Введение в изучение. Издание второе, исправленное и дополненное для русского перевода* / Перевод Г. Н. Начинкина, под редакцией И. П. Медведева и В. М. Лурье, Санкт-Петербург: Византинороссика, 1997: «Что касается обвинения исихастов в тенденции к обскурантизму, то повод к нему есть: исихазм не допускает черпать во внешних науках основу для веры и мировоззрения, во всем же остальном он не связывает. Естественно, что в условиях, когда получение образования сопряжено с большими опасностями для веры и благочестия, лучше пожертвовать образованием».

http://krotov.info/libr_min/12_l/ur/rye_13.htm#61

²⁵ http://krotov.info/library/13_m/ey/yendorf_018.htm: Иоанн Мейендорф *Православие и современный мир*, Минск: Лучи Софии, 1995.

²⁶ Хоружий С.С. *Статьи для Энциклопедии философских наук* // <http://www.synergia-isa.ru/lib/lib.htm>

стало консервативное влияние монашества, вслед за которым авторитет церковного предания будет признан как единственно надежный путь к познанию сущего. Эта победа также привела к тому, что, как выразился С.С. Хоружий, исихазм начал «продумывать и воплощать заложенные в нем универсалистские потенции», то есть прикладывать свой духовный, изначально сугубо монашеский, опыт, ко всем аспектам жизни человека и общества: «Исихастская практика выходила за пределы монашеской среды, и в исихазме обнаруживалась природа не частной монашеской методики, но общеантропологической стратегии».²⁷ Начинает происходить то, что В.А. Сенкевич удачно назвал мировоззренческой абсолютизацией молчания.²⁸ С этого момента исихастское движение начинает быстро распространяться во всех православных странах, становясь тем связующим звеном между православными монахами всего 'византийского содружества', которое определяло лицо 'православной духовности' в течение нескольких дальнейших столетий. Самым сильным и богатым по содержанию и популярности исихастское движение стало в Румынии и Бесарабии.²⁹ Через святого Евфимия, патриарха Тырновского (1375-1393), писания св. Григория Паламы начали распространяться и в славянском мире, включая, в первую очередь, Россию, где, в эпоху Московской Руси XIV-XVI веков, исихазм превратился в широкое явление, охватывающее не только духовную практику, но и культуру, социальную жизнь, и даже государственное строительство.³⁰ Сергей Радонежский, Феофан

²⁷ С.С.Хоружий, там же.

²⁸ В.А. Сенкевич, *Молчание и пустота в истории культуры*, 9: «С Византии началось многокачественное и противоречивое развитие понятие «молчания», где мы обнаружим развёртывание богатства его значений и мировоззренческую абсолютизацию».

²⁹ В Румынии традиция исихазма оставалась живой даже при Чаушеску. «Патриарх» современного православного богословия о. Думитру Станилоэ (1902-1994), репрессированный при коммунистах, написал книгу о жизни и учении св. Григория Паламы (D. Staniloae. *Viaoa oi Envaoatura sfuntlui Grigorie Palama*, Sibiu 1938) и внес очень существенный вклад в понимание самых трудных вопросов учения св. Григория. А.-Е. N. Tachiaos. *The Revival of Byzantine Mysticism among Slavs and Rumanians in the XVIIIth century*. Texts relating to the life and activity of Paisy Velichkovsky (1722-1794). Thessalonica 1966; 1986; .: P. O. Nasturel. *Le Mont Athos et les Roumains. Recherches sur leurs relations du milieu du XIVe siecle a 1654*. (Orientalia Christiana Analecta, 227), Rome: 1986.

³⁰ Хоружий С.С. Статьи для *Энциклопедии философских наук* // <http://www.synergia-isa.ru/lib/lib.htm>.

Грек, Андрей Рублев, Дионисий, преп. Нил Сорский, и преп. Максим Грек, относятся к этому движению. Здесь, однако, необходимо заметить, что ситуация в странах византийского влияния существенно отличалась от ситуации в самой Византии. Несмотря на османское иго, Греция сохранила духовную преемственность с исихазмом, но, как пишет Василий Лурье, почти утратила интеллектуальную, так как в среде греческого монашества не находилось более лиц, достаточно ученых для создания великих богословских трудов или для подготовки изданий патристики. России в этом смысле и утрачивать было особенно нечего. Из византийских мыслителей в славянском мире особым вниманием пользовался Иоанн Дамаскин, чей труд *Источник знания* вошел в орбиту славянского языка уже через его болгарский перевод царя Симеона (893 – 927), воспитанника одной из лучших византийских школ, и знатока Аристотеля. Однако, как много позже в случае с Григорием Паламой, будучи сам блестяще образованным человеком, Симеон ратовал за так называемый ‘монастырский’ тип образования, который и станет основным в славянских странах византийского культурного региона. Характерными чертами этого типа образования являлись отказ от классической образованности, индивидуальный способ передачи информации от учителя к ученику, повлекший за собой фактический отказ от ‘школьной’ традиции изучения философии и богословия, а также примат религиозной литературы над светской.³¹ Благодаря такому подходу в русскую культуру органично вошли педагогические идеи Иоанна Златоуста, Василия Кесарийского, Иоанна Лествичника, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова и др. В древнерусской культуре также укрепился интерес к сочинениям Исаака Сирина, Диалога Фотийского и Ионы Синайского.³² Классические же риторика и философия остались, в целом, за скобками культуры:

Что же касается младших православных культур, как русская культура, они в целом не унаследовали византийские навыки догматических контроверз. Таким образом, повышенный интерес к вопросам абстрактной вероучительной метафизики

³¹ Т.В. Чумакова, «Рецепции Аристотеля в древнерусской культуре», *Человек*, 2005, 2, http://drevn.narod.ru/chumakova_aristotle.htm

³² О русской иконе как визуальном «закрепленном» молчании смотри В.А. Сенкевич, *Введение в иконографию и богословие молчания, Молчание и пустота в истории культуры*.

остаётся в мире православия по большей части греческой специальностью.³³

Благодаря монастырскому типу передачи информации и воспитания, ещё глубже закрепившемуся под влиянием паламизма, собственно православной русской школы и своей интеллектуальной традиции в России не возникло, а с XVII века высшее богословское образование православные, да и то только в Малороссии, почти всегда получали непосредственно из рук католиков.³⁴ Здесь, однако, необходимо оговориться, что под влиянием исихазма имеется в виду, прежде всего, сама практика священного безмолвия, а не прямое ознакомление или официальное принятие учения Паламы Русской Православной Церковью и профессиональной богословской средой. Здесь также не ставится вопрос, на который отвечает в своей работе Василий Лурье, насколько помнили конкретно св. Григория Паламу в России или в других странах. Тема сложных и запутанных отношений Русской Православной церкви с учением Паламы далеко выходит за рамки данного эссе.³⁵ В любом случае, судить о чем-либо влиянии только по прямым цитатам, упоминаниям имени, официальным документам или количеству изданий, особенно в эпоху свободную от законов о плагиате и авторских правах, невозможно. Так, например, тот факт, что в Греции в конце XVIII века появляется движение «колливад» — как называли всех святых безмолвников того времени, свидетельствует о преемственности исихазма в большей степени, чем изданное в 1782 году в Вене трехтомное собрание творений св. Григория Паламы, единственная рукопись которого погибла из-за греческих повстанцев.

Таким образом, никакой культурной альтернативы священному безмолвию в России не выработалось. Если одной из

³³ Аверицев, *Поэтика ранневизантийской литературы*. СПб.: Азбука-классика, 2004, сс. 426-444, http://ec-dejavu.ru/o/Orthodoxy_Aver.html

³⁴ «Внутри России проекты учреждения университета и приглашения западных ученых неизменно наталкивались на сопротивление духовенства. Руководство православной церкви упорно не желало допустить в Москву иноверных ученых. По словам современников, монахи говорили, что «земля Русская велика и обширна и ныне едина в вере, в обычаях и в речи; если же появятся иные языки, кроме родного, в стране возникнут распри и раздоры» (Р.Г. Скрынников, *Третий Рим*. СПб.: 1994, с. 182)

³⁵ Наиболее полный и достаточно уравновешенный комментарий на эту тему представляет собой Послесловие Василия Лурье к изданию отца Иоанна Мейендорфа *Жизнь и труды св. Григория Паламы: Введение в изучение*.

задач высшей константинопольской школы было освоение античного наследия, вне которого всерьез говорить о высшем образовании было невозможно, то в России этого наследия по естественным причинам не было, а греки отчасти не пожелали, отчасти не сумели им поделиться. Кроме того, Россия взяла на себя роль третьего Рима как раз в тот момент, когда Византия, незадолго до своего крушения, провозгласила священное безмолвие своей программой. Останься Византия дальше, возможно, безмолвие было бы нарушено или дополнено чем-то еще.³⁶ Но она пала, и доктрина священного безмолвия стала ее последним словом, благоговейно принятым от нее в наследство Россией. Таким образом, не книжный, как выражается Василий Лурье, исихазм пришел в Россию уже и до того, и без того, не книжную. Пришедшая извне программа молчания, освященная огромным престижем Византии, слилась с родной безъязыкостью.

Возрождение русского монашества XVIII-XIX веков (например, Серафим Саровский, 1754/1759-1833, Герман Аляскинский, 1751-1836) также происходило, главным образом, вне зависимости от богословских школ, но на основе двух разных традиций, ни одна из которых, и это надо подчеркнуть, не предполагала слишком глубоких занятий изучением догматики.³⁷ Из этих традиций довольно хорошо изучена лишь одна, более

³⁶ Показательно, однако, что православные богословы верят, что незадолго до своего падения Византия близко подошла к созданию альтернативного, и несравненно лучшего, чем западный, типа культуры «направленного к синтезу человеческого и Божественного» (Александр Дворкин, «Очерки по истории Вселенской Православной Церкви», Седмица.RU Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия» *ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА*). Ту же идею высказывает и Хоружий (http://www.btrudy.ru/resources/VT33/233_Khoruzhy.pdf): «В Византии создавалась новая своеобразная модель культуры, отличная от западного Возрождения, которое в тот же период развивалось в Европе. Если европейский Ренессанс был по своим идеям, своей духовной направленности внецерковным и даже внерелигиозным, секулярным движением, то Исихастское Возрождение продвигалось к созданию модели христианской культуры. Однако крушение Византии оборвало этот процесс, когда он был еще далек от завершения. Через несколько столетий те же темы, проблемы и даже почти те же процессы появляются вновь, на этот раз в России». Остается только удивляться удивительному совпадению, что оба раза многообещающие попытки создать альтернативную христианскую культуру окончились столь катастрофично.

³⁷ Василий Лурье, «Исихазм XVII-XIX вв. и наследие св. Григория Паламы».

поздняя, — традиция преп. Паисия Величковского. Фактически, она представляла собой славяно-румынское ответвление греческого движения молчальников, с которым была связана непосредственно, но из которого преп. Паисий опять-таки последовательно исключил систематизированное изложение богословских понятий. Существовала также и собственно русская не книжная традиция, восходящая к подвижникам-одиночкам второй половины XVII века, иногда основывавшим монастыри, и предполагавшая крайне суровые формы аскезы, иногда юродство и благословения на подвиги, напоминающие подвиги пустынников Сирии IV-VI веков. Для нас здесь важно то, что слияние этих двух традиций привело к тому, что на этом этапе священное безмолвие превратилось в универсальное мерило духовности для всех случаев жизни³⁸.

Основными вехами русского исихастского возрождения являлись создание и распространение русского «Добротолюбия» (фундаментальный свод исихастских текстов, не раз пересматривавшийся, дополнявшийся и ставший базовым руководством для устройства православного сознания и жизни); создание влиятельных очагов исихазма (Оптина Пустынь, Валаам, Саров и др.); подвиг учителей русского исихазма – свв. Тихона Задонского, Серафима Саровского, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, Ксении Петербургской; а также становление новых, именно русских форм исихазма — странничества и, в особенности, старчества. Новые формы выразили особую черту русского исихазма — широкое развитие намеченной у Паламы тенденции к утверждению исихазма в качестве универсальной или, как было замечено выше, общеантропологической стратегии. Так, в отличие от древнего института старцев — наставников иноков в монастыре, в русском старчестве совершается выход исихазма в мир. К старцам массово обращаются люди из всех слоев общества и буквально по всем вопросам. Духовные врачи, старцы ‘принимают’, ‘лечат’ и ‘консультируют’ страждущих. Их престиж огромен, и их ответы не подвергаются сомнению. Само название славянофильского движения «Монастырь в миру» говорит само за себя. Если на Западе монахи шли в мир, чтобы активно участвовать в мирских делах через благотворительность: ухаживать за больными, основывать школы, сиротские дома, и так далее, то движение «Монастырь в миру» преследовало иные цели. Так же, как и во время Исихастского Возрождения в Византии,

³⁸ См.: иером. Антоний (Святогорец). *Жизнеописания афонских подвижников XIX века*. Джорданвилл 1988 [репринт: М. 1994].

«ключевым фактором в этом процессе был именно выход исихастской традиции в мир, широкое распространение и усвоение исихастской концепции обожения и исихастской практики непрестанной молитвы»³⁹.

Вероятно, есть закономерность в том, что исихастское возрождение в русском православии совпало с моментом обретения русской литературой дара речи. В силу ряда причин, из которых не последней, как мне кажется, является как раз преобладание созерцательно-мистического, обращенного скорее внутрь себя, направления христианства, русская церковь и цвет ее монашества не ставили себе задач пастырского наставления населения. Сама пастырская деятельность православных священников была крайне затруднена, ибо обращение к народу, вплоть до двадцатого века, шло на непонятном ему старославянском языке. Проповедь, этот основной, иногда единственный, канал передачи информации от духовной элиты к массам, не функционировал. Кроме того, как замечает Георгий Федотов: «Всякая постановка общественных целей для православной церкви отвергается как католический соблазн. Вопрос о правде — общественной правде — не поднимается, считается не подлежащим церковному суду».⁴⁰ Комбинация факторов: священное молчание, мистическая отрешенность, и потому невмешательство лучших, и инерция, лень и невежество худших представителей православной церкви привели к тому, что эти цели — просвещения и общественной деятельности — фактически взяла на себя, под влиянием европейского опыта, светская русская литература, ставшая, по выражению Владимира

³⁹ Хоружий, «Владимир Соловьев и мистико-аскетическая традиция православия», http://www.btrudy.ru/resources/VT33/233_Khoruzhy.pdf, 240.

⁴⁰ Федотов Г.П. *Святой Филипп, митрополит Московский*, Париж, 1928, с. 5. Полная цитата Федотова звучит так: «Всякая постановка общественных целей для православной церкви отвергается как католический соблазн, отталкиваясь от которого приходят к своеобразному аскетическому протестантизму: царство Божие и царство Кесарево остаются навеки разделенными. Эта духовная, метафизическая разделенность не мешает благословию царства кесаря, и тогда уже - именно в силу религиозной отрешенности - благословение не знает ограничений. Благословляется всякая власть, все деяния этой власти. Вопрос о правде - общественной правде - не поднимается, считается не подлежащим церковному суду». Приравнивание православной позиции к аскетическому протестантизму видится мне, однако, более чем проблематичным.

Кантора, для русского общества второй церковью.⁴¹ Но вторая, как видно, не первая. То обстоятельство, что русская литература возникла как подражание культуре европейской, что интеллектуальная элита, создавшая ее, сама была сформирована чужим, в прямом смысле иностранным, словом; то есть то, что само позднее возникновение высоколобой культуры не было освещено ни национальной, ни, что еще важнее, церковной и духовной традициями, и что эти традиции остались в целом друг другу чужими⁴², трагически лишило эту элиту необходимой легитимности в глазах так и оставшегося молчаливым огромного большинства⁴³.

Возможно, неудовлетворенность таким положением вещей и привела в конце XIX - начале XX веков к возникновению русской религиозной философии как духовной альтернативы традиционному православию с одной стороны, и светской литературе, с другой. Однако альтернатива эта, в некоторых случаях сознательно, в некоторых нет, сама была частью, ответвлением, продолжением все той же мистической традиции. Как верно подметил Аверинцев, «настоящая тема русских православных философов и представителей так называемого богословия мирян в XIX и XX веках — не столько вероучительные тезисы, сколько ‘дух православия’ или, как выразился Павел Флоренский, его вкус.⁴⁴ Тот факт, что в отличие от католического, православный выход в мир являлся, и поныне является, не просто христианским служением, а попыткой распространить и привить всепоглощающую мистическую практику христианства в миру, проблема этого выхода остается принципиально неразрешенной, и, возможно, неразрешимой. Все попытки (одной из которых была, например, попытка Владимира

⁴¹ В.К. Кантор, «Русское православие в имперском контексте: конфликты и противоречия», *Вопросы философии*, 7, 2003, сс. 3-22, <http://ec-dejavu.ru/o/Orthodoxy.html>

⁴² Недавно эту мысль высказал в своем интервью Сергей Юрский: «Из попыток соединить церковь с мыслящей прослойкой все время ничего не получалось» (цитирую по памяти С. Юрский, «Интеллигенция больше нет» Часть – 1»

<http://www.youtube.com/watch?v=vO-nKzPttV4>).

⁴³ В.В. БИБИХИН, *Другое начало*, <http://www.bibikhin.ru/articles-list/17/190/>: «В эпоху Достоевского и Соловьева перед организующей волей простиралось подвижное, волнуемое множество, поразительно лабильное, полностью готовое отдать себя в распоряжение».

⁴⁴ Аверинцев, *Поэтика ранневизантийской литературы*. СПб.: Азбука-классика, 2004, с. 426-444, http://ec-dejavu.ru/o/Orthodoxy_Aver.html

Соловьева)⁴⁵ найти равновесие между внешними и внутренними выражениями христианства до сих пор оканчивались неизбежным креном либо в сторону внешнего, деятельного, 'разговорчивого' варианта, либо в сторону пассивного, квиетистского. Мистический, даже оккультный характер русских религиозных философов, их склонность к аскезе и 'чистой духовности' уже выдает, вне зависимости от личной специфики, тот же самый крен, тот же самый выбор, ту же традицию, что и у их национальных предшественников. И хотя вдохновитель этой традиции, Владимир Соловьев, о православном мистицизме отзывался крайне отрицательно, это совсем не значит, что традиция православного аскетизма никак на него не повлияла. Как уже говорилось выше, судить о влиянии того или иного культурного феномена по прямым цитатам крайне ненадежно. Можно находиться под сильнейшим влиянием движения или авторитета, не отдавая себе в этом отчета, или даже намеренно скрывая это влияние по разным причинам. С.С. Хоружий замечает не только «сильнейшие аскетические тенденции в личности Соловьева», но и то, что его близость к аскетике далеко не ограничивается чертами личности и поведения». ⁴⁶ Известно, что одним из прототипов Алеши в *Братьях Карамазовых* у Достоевского был как раз Владимир Соловьев. ⁴⁷ В своих *Духовных Основах жизни* Соловьев делает набросок «аскетической антропологии, краткий, но включающий все основные темы: учение о молитве, систематику грехов и страстей, картин у процесса духовного восхождения к соединению с Богом. Базируясь на тех же фундаментальных концепциях покаяния и благодати, этот набросок отнюдь не расходится с классическою аскетикою, развитой отцами-пустынниками». ⁴⁸

⁴⁵ В. С. СОЛОВЬЕВ. *О христианском единстве*, Москва: Рудомино 1994, с. 195: «Религиозный идеал свели к чистому созерцанию, то есть к поглощению человеческого духа в Божестве, идеалу явно монофизитскому. Что касается нравственной жизни, то у нее отняли ее активную силу, навязав ей как верховный идеал слепую покорность власти, пассивное послушание, квиетизм, то есть отрицание человеческих воли и сил — ересь монофелитскую. Наконец, в преувеличенном аскетизме попытались упразднить телесную природу, *РАЗБИТЬ ЖИВОЙ ОБРАЗ* божественного воплощения — бессознательное, но логическое приложение ереси иконоборческой».

⁴⁶ С.С. Хоружий, «Владимир Соловьев и мистико-аскетическая традиция православия», http://www.btrudy.ru/resources/BT33/233_Khoruzhy.pdf, 234.

⁴⁷ Не забудем, что Зосима отправляет Алешу 'в мир' жить и трудиться среди людей, а не спасаться в 'пустыни'.

⁴⁸ Хоружий, «Владимир Соловьев и мистико-аскетическая традиция православия», 234.

Напоминать о центральной роли священного безмолвия для отцов-пустынников излишне.

В среде последователей Соловьева интерес к священному безмолвию и уже конкретно к Григорию Паламе затронул как софиологов С. Н. Булгакова, и А. Ф. Лосева и П. А. Флоренского, так и их противников В. Н. Лосского и о. Георгия Флоровского. И хотя взгляды этих мыслителей могли быть иногда противоположны, в одном они, как правило, совпадали: в личном и духовном предпочтении духовной аскезы, созерцания и священного безмолвия аргументативному дискурсу логической мысли. Суть, в данном случае, не в том, как русские религиозные философы понимали молчание, а в самом акценте, опять и снова, на молчании. Разница в их понимании, философски значимая, внешне выражалась, или, скорее, не выражалась, сходно. А нас интересует скорее внешний аспект, потому что речь идет о молчании как об общественном феномене, наблюдаемом на протяжении веков. Именно этот феномен восторженно описывает умерший прямо перед революцией русский философ Владимир Эрн (1882-1917):

В сердце России - вечная Фиваида. Все солнечное, все героическое, все богатырское, следуя высшим призывам, встает покорно со своих мест, оставляет отцов, матерей, весь быт и устремляется к страдальному сердцу родимой земли, обручившись с Христом, - к Фиваиде. И все, что идет по этой дороге, - по пути подвига, очищения, жертвы, - дойдя до известного предела, вдруг скрывается с горизонта, одевается молчанием и неизвестностью. Семена божественного изобилия точно землю покрываются, и растут, и приносят плоды в тайне, в тишине, в закрытости... Таинство русской жизни творится в безмолвии. И проникнуть в него можно лишь "верою", лишь любовью. Народ беспредельно верит в сердце свое и не смущается его скрытностью. Для него Фиваида, эфирный план святой Руси, —такая же безусловная и простая реальность, как для Платона идеи.⁴⁹

Молчание, неизвестность, закрытость, тишина, скрытность, тайна, безмолвие — Эрн четко уловил набор культурных качеств, воспринимаемых, в зависимости от наблюдателя и контекста, положительно или отрицательно. В богословском и духовном контексте у молчания есть очевидные преимущества. Несказанное, тайное не может обсуждаться, а где

⁴⁹ А.Н. Муравьевым в середине XIX века «Русской Фиваидой» — по аналогии с Египетской Фиваидой, в которой зародилось раннехристианское монашество, был назван обширный иноческий центр на русском Севере.

нет обсуждения, нет и несогласия, конфликта, и, следовательно, повода к обвинению в ереси и последующего аутодафе. Именно болтливость обходилась будущим жертвам религиозных преследований дороже всего⁵⁰. Мистический опыт невозможно доказать. Описывать его трудно и часто опасно. В попытках четко определить и отделить правильный мистический опыт от неправильного ломали себе перья поколения католических богословов,⁵¹ несмотря на все усилия которых облечение мистических переживаний в слова всегда чревато злоупотреблениями и манипуляциями. Именно на описании своего мистического опыта как раз и погорели, да простится мне этот жестокий каламбур, такие казненные как еретики средневековые мистики как Маргарита Порет (Marguerite Porete, сожжена в 1310) или Ян Гус (1369-1415). С трудом избежал преследований Мастер Экхарт. Исихазм эту проблему, в целом, снимает, что, вероятно, объясняет, с одной стороны, сравнительно (с католической церковью) менее кровавую историю православной церкви, и, с другой стороны, «увязание кулака авторитарной власти в вате русского быта», наблюдаемое в России.⁵² То есть активное насилие католической церкви фактически уравнивается пассивным допущением насилия исихастским православием: «Именно в силу религиозной отрешенности благословение не знает ограничений. Благословляется всякая власть, все деяния этой власти».⁵³ Прямая корреляция между культивированием мистического молчания и абсолютным приоритетом раз и навсегда установленного авторитета очевидна: «В истории культуры одновременно с развитием молчания развивалось и авторитарное слово, отсылка к которому была равнозначна к

⁵⁰ А.Я. Гуревич в одном из своих интервью (Журнал *VOX*, <http://vox-journal.org/content/vox2/vox%20-%20%20neretina.pdf>) приводит пример, описанный Карлом Гинсбургом в его книге *Сыр и черви*, процесса над мельником Минокио, который вывел свою собственную философию: «Его [Минокио] привлекли, предупредили, что если он будет также болтать, то будет ему плохо. Он немножко помолчал, но, по-видимому, натура взяла свое и он продолжил философствовать на богословские темы. Короче говоря, около 1600 пылали два костра: на одном сожгли Джордано Бруно, а на другом болтливый мельник».

⁵¹ Например, Gerson, *De distinctione verarum revelationem a falsis*, *Œuvres Complètes de Gerson*, том III.

⁵² Малявин, с. 3: «Россия между Востоком и Западом: третий путь?»: «И кулак авторитарной власти вязнет в вате неустроенного, текучего, на удивление равнодушного ко всяким внешним воздействиям русского быта».

⁵³ Г.П. Федотов, *Святой Филипп, митрополит Московский*, с. 5.

отсылке к объективной действительности». ⁵⁴ Ориентация на мистическое молчание, сама по себе морально нейтральная, ведет к усилению авторитарного, а не аргументативного слова.

Можно сказать больше. Положительная оценка приведенных Эрном качеств: молчание, неизвестность, тишина, тайна, резко меняется на отрицательную как только они употребляются не в приложении к сфере духовных ценностей или искусства, что в России понимается как одно и то же, а для характеристики общественной жизни. И хотя нам, быть может, и не хотелось бы видеть ничего общего между этими сторонами русской культуры, одной из которых мы гордимся, а на другую сетуем, они видятся мне глубоко взаимосвязанными. Трудно не увидеть корреляции между следующими, практически одновременно высказанными суждениями двух русских людей, духовного лица и философа:

Мы обманываемся, когда думаем, что общаемся друг с другом через слово.

Если между нами нет глубины молчания, слова ничего не передают — это пустой звук. Понимание происходит на том уровне, где два человека встречаются именно в молчании, за пределом всякого словесного выражения (Митрополит Антоний Сурожский)⁵⁵

Как и прежде, безмолвие плотным облаком окутывает тело России, не давая ей исторгнуть из себя общепонятное слово логически ясной истины, заглушая деловито-ровную речь "здравого ума". Русский человек инстинктивно боится простых и доступных истин, всюду ищет потаенный смысл, на пустом месте выдумывает тайну. В России нет подлинной общности, все публичное и ясное воспринимается в ней как ложь и зло. Народ, как пятьсот и тысячу лет назад, "безмолвствует". (Малявин)

Не видеть связи между этими цитатами — обманывать себя. То, что в духовном контексте первой цитаты несет глубокий смысл: «слова ничего не передают — это пустой звук», приобретает зловещий оттенок в контексте общественных отношений. Малявин, с цитаты которого началось это эссе, точно делает акцент не просто на слове, а на логическом, рациональном слове, которого одинаково боятся и избегают и власть, и народ, и, что наиболее симптоматично, даже большая часть образованной элиты. Все, от министров до актеров и рок звезд норовят, по

⁵⁴ В.А Сенкевич, *Молчание и пустота в истории культуры*, с. 42.

⁵⁵ Антоний Сурожский, митр. *Духовная Жизнь*. Клин: Изд. Христианская жизнь, 2011.

меткому наблюдению Малявина, спрятаться за недоговоренности и шутки, «заглушая деловито-ровную речь «здорового ума» фрагментарной, взрывчатой, пронзительной, всегда иносказательной речью чувства». ⁵⁶ Аргументативного слова избегают не просто так. Такое слово всегда вольно или невольно десакрализует, лишает всего, чего касается, тайны и таинственности. Именно поэтому всякое мистическое сознание справедливо страшится такого слова больше всего на свете, предпочитая ему символы, ибо символы всегда носители тайн. Символ скрывает смысл, в то время как логическое, ясное слово его вскрывает. Именно поэтому «русский человек инстинктивно боится простых и доступных истин, всюду ищет потаенный смысл, на пустом месте выдумывает тайну». 'Боится' здесь адекватно подобранное слово, ибо тайна спасительна, и даже самая страшная тайна куда предпочтительней беспощадной пустоте ее отсутствия. А молчание не пустота, или, скорее, не всегда пустота, оно — тайна, или, скорее, может ей быть или хотя бы казаться. Важно, что оно не расковыривает действительность скальпелем логики, а целомудренно покрывает ее мистической дымкой, туманом, этим визуальными эквивалентами тишины и тайны. ⁵⁷ В него можно спрятать все или ничего. ⁵⁸ На то оно и молчание, на то оно и золото.

Но нас, в данном случае, интересует не этическая и даже не эстетическая сторона богословского выбора, а его общественные, внешне наблюдаемые последствия. В иерархическом обществе высоколобая его часть вырабатывает его духовную программу, и если этой программой выбирается в течение столетий принцип молчания, а идеалом «детское 'немствование' юродивого», ⁵⁹ то логически ясной речи и общественному мнению в таком месте взяться неоткуда. **Общение и общество не даром однокоренные слова, а слово мнение, идущее от глагола 'мнить', имеет в русском языке не самую**

⁵⁶ Малявин, там же.

⁵⁷ Вспомним, например, широкое использование молчания и его визуальных эквивалентов — тумана, мглы, пара, дыма в фильмах Тарковского или в недавнем молчаливо-туманном фильме Александра Сокурова *Фауст*.

⁵⁸ Малявин, с. 3: «Россия между Востоком и Западом: третий путь?»: «Молчание предельного постижения, ставящего предел словам, вовсе не равнозначно простому отсутствию, некоей чистой небытийности. Как раз наоборот: оно возвещает о неопределимой, извечно изменчивой и потому сокровенной полноте бытийственности».

⁵⁹ В.А. Сенкевич, *Молчание и пустота в истории культуры*, с. 12.

положительную коннотацию. Нелогично, непоследовательно ожидать гражданского общества в стране, где лучшие умы видят в исихастской тайне будущее, а в безмолвии народа вызов власти: «[Русское молчание] не просто выжидательное и нерешительное, а смиренное и терпеливое молчание, родственное мудрости. Молчание там, где должно прозвучать определяющее слово — почти нечеловеческий вызов тем, в чьих руках оказывалась власть. Слово власти оказывается поэтому, как правило, оговоркой, оговором или заговариванием...»⁶⁰ Оговорки, оговоры и заговаривание в сфере власти по Бибикину, недоговоренности по Малявину, суть одно явление. У этих слов один смысловой корень, перед которым как ограда, заслон или недуг стоят непреодолимые препятствия приставок. Там, где «смиренное и терпеливое молчание, родственное мудрости», определяющее слово прозвучать не должно.

Мистическое безмолвие русского народа оказывается мистическим не в переносном, а в самом прямом, богословском смысле (от греческого *μυστικός* — «скрытый», «тайный»). А потому знаменитое тютчевское «мысль изреченная есть ложь» — поразительно исихастское высказывание, как, впрочем, и все стихотворение — является ничем иным как поэтическим выражением сегодняшнего прозаичного замечания Малявина, что «все публичное и ясное воспринимается в России как ложь».⁶¹ А как же иначе? Одно вытекает и перетекает в другое. Стихотворение Тютчева в данном, исихазском контексте, стоит привести целиком:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пусть в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь —
Взрывая, возмутишь ключи,
Питайся ими — и молчи...
Лишь жить в себе самом умей —

⁶⁰ В.В. Бибикин, *Россия как мир*, Москва: Параллели, 1991, том первый, с. 6Ц7.

⁶¹ Малявин, «Россия между Востоком и Западом: третий путь?» с. 3.

Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум —
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи —
Внимай их пенью — и молчи!



Лев Бердников

Шуты императрицы

I. Наказание за любовь Никита Волконский



В романе Валентина Пикуля “Слово и дело” есть выразительная сцена с участием шута Анны Иоанновны, князя Никиты Фёдоровича Волконского: “Стоял Волконский в стороне и горевал: умерла недавно жена, а письма, какие были при ней, ко двору забрали. Письма были любовные... И письма те при дворе открыто читали (в потеху!) и смеялись над словами нежными... Называл князь жену свою “лапушкой”, да “перстенёчком сердца моего”, да “ягодкой сладкой”... Вот хохотуто было!..” Гоготала вся шутовская кувыр-коллегия, а пуще других — самодержавная императрица, которая присвоила себе право устраивать семейную жизнь подданных, заставляя их любить друг друга не по зову души, а по её монаршему приказу. Вот и Волконскому она повелела о жене не горевать, а, не мешкая, полюбить другую, точнее, другого. Ее величество изволили разыгрывать бесконечный шутовской спектакль, будто Волконский по ошибке женился на шуте Михаиле Голицыне. Увлеченная этой “интригой”, она наказала главнокомандующему Москвы Семену Салтыкову подготовить от имени шута Никиты любовное письмо, “в котором написано, что он женился взаправду”. И позабавившись вволю, не без удовольствия заключила: “Да здесь играючи женила я Никиту Волконского на Голицыне”.

Анна Иоанновна тщила истребить в Волконском всякую память о супруге, с которой он был так счастлив.

Надо сказать, что Анне, не изведавшей радостей материнства, как будто пристала роль всероссийской крестной матери. Самой лишенной супружества, ей нравилось по своей прихоти женить своих подданных.

Особенно же усердствовала императрица, жена наиболее бесправных своих холопов – придворных шутов. В поисках забавников для двора по городам и весям России колесили специально отряженные вестовые. И от участи царского шута не был застрахован никто, даже природный аристократ.

Хотя при Анне куролесили три отпрыска знатных семейств (князя Михаил Голицын и Никита Волконский, граф Алексей Апраксин), назначение их придворными шутами ни в коей мере не было связано с их происхождением. Критерий отбора здесь был замешан на мстительном чувстве императрицы по отношению к своим «избранникам». О том, что послужило причиной сделать шутом князя Никиты Волконского, и пойдёт разговор ниже.



Князь Никита Фёдорович Волконский

Супружество самой Анны было и кратковременным, и отнюдь не по сердечной склонности. То был невиданный со времен Киевской Руси династический эксперимент, предпринятый её дядей, царем-реформатором Петром, на гребне Полтавского успеха. Защищая российские интересы на северо-западе Европы, он удумал сочетать племянницу браком с молодым Курляндским герцогом Фридрихом-Вильгельмом, заручившись на то согласием влиятельного прусского короля Фридриха I. Невесту же и жениха лишь поставили перед фактом. Так, Анна стала первой в череде московских царевен “невестой на выезд”.

Участь эта была, однако, счастливее доли её предшественниц, которые старились в своих домостроевских термах, и ни о каком замужестве не помышляли. “А государства своего за князей и за бояр замуж выдавати их не повелось, — объяснял Григорий Котошихин, — потому что князи и бояре их есть холопи. И то поставлено в вечный позор, ежели за раба выдать госпожу. А иных государств за королевичей и за князей

давати не повелось для того, что не одной веры и веры своей оставить не захотят, то ставят своей вере в поругание”. Последнее препятствие было легко устранено Петром, и в браке Анне было разрешено исповедовать православие. Но средняя дочь царя Иоанна едва ли испытывала радость от вынужденного переселения в чужую землю.

Сохранилось исполненное политеса письмо от имени Анны к жениху (писанное, понятно, не самой невестой, а грамотеями из Посольской канцелярии). В нем нет ни слова о любви, зато говорится о предстоящем браке как о “воле Всевышнего и их царских величеств”. Завершался текст характерной подписью: “Вашего высочества покорная служница”. Это очень точное слово – “служница”! Пётр вообще был склонен воспринимать связь с женщиной как именно её *службу* себе, сопоставимую с работой подданных-мужчин (в этом духе он высказался о своей мимолётной пассии, английской актрисе Летиции Кросс). И новоиспеченная герцогиня Курляндская была *служницей* не столько мужу, сколько амбициям и планам молодой северной империи.

Историки свидетельствуют: ни на невесту, ни на петербургский свет хилый и жалкий курляндец не произвёл впечатления. Свадьбу между тем закатали знатную. Празднество проходило в роскошном дворце Александра Меншикова, куда гости прибыли по Неве на 50 шлюпах по особо установленному церемониалу. Над невестой венец держал светлейший князь, а над женихом — сам царь, который исполнял роль свадебного маршала. И звенели заздравные чаши, и гремели пушки после каждого тоста, и горели над фейерверками приличные такому случаю слова, обращенные к молодым супругам: “Любовь соединяет”. Более всего поражало убранство невесты – Анна была в белой бархатной робе, с золотыми городками и длинной мантией из красного бархата, подбитой горностаями; на голове красовалась величественная царская корона. Но словно злой рок тяготел над брачующимися в тот день: совсем скоро на пути в Курляндию скончается от спиртных излиний молодой муж Анны Фридрих-Вильгельм, не успев прожить с молодой женой и медового месяца. (С тех пор Анна терпеть не могла пьяных!).

По политическим конъюнктурам Петра новоиспечённая герцогиня Анна Иоанновна должна была остаться в курляндской Митаве, куда царь направил и собственного резидента Петра Бестужева. Последний, получивший должность обер-гофмаршала, фактически управлял всеми делами герцогства. И не мудрено, что лишенная мужской ласки молодая вдова сошлась со своим первым

советчиком, хотя тот годился ей в отцы и имел троих взрослых детей (по иронии судьбы его дочь, злополучная Аграфена Петровна, будет женой князя Никиты Волконского!). Но “беззаконная” (в терминологии той эпохи) связь с престарелым царедворцем тяготила Анну, мечтавшую о благочестивой семье с супругом – ровней.

Курляндская вдова в ожидании героя будущего романа вела жизнь, небогатую внешними событиями. И только через пятнадцать лет милый её сердцу жених явился, точнее, метеором ворвался в затхлую атмосферу этого медвежьего угла Европы. Избранника Анны звали граф Мориц Саксонский. Незаконный сын короля польского Августа II (признанного сердцееда), он снискал себе славу повесы и петиметра, скитавшегося по европейским дворам в поисках любовных утех и игры в войну (он потом станет маршалом Франции). “Война и любовь сделались на всю жизнь его лозунгом, — сообщает историк, — но никогда над изучением первой не ломал он слишком головы, а вторая никогда не была для него источником мучений: то и другое делал он шутя, зато не было хорошенькой женщины, в которую бы он не влюбился мимоходом, как не раздалось в Европе выстрела, на который не счел бы он своею обязанностью прилететь”. Вволю натешившись громкими амурными победами и промотав последнее состояние в карточной игре, он вздумал, наконец, остепениться, и остановил свой выбор на дородной и малопривлекательной Анне с расчетом получить во владение Курляндию и герцогскую корону.

Не любовной интрижки с роковым красавцем желала Анна, а законного брака. “Живу я здесь с таким... намерением, — писала она 2 июня 1726 года Меншикову, — чтоб я супружество здесь могу получить”. “Принц мне не противен”, — сдержанно говорила она о Морице, хотя на самом деле испытывала к нему сильную, неукротимую страсть. Едва ли нашей герцогине не было известно, что её жених-вертопрах, даже приехав улаживать свои матримониальные дела, остался верен себе: гроза мужей-рогоносцев, он перепробовал всех мало-мальски смазливых курляндских дам. Однако герцогиню это не только не смущало, но еще более распяляло – говорят, что вдовы особенно падки на ловеласов. Она, надо полагать, не знала или не желала знать известную мудрость: “Нет ничего смешнее на свете женатого петиметра”. В её желании связать Морица брачными узами было что-то наивное; Анна заблуждалась на счёт графа и боролась за свою любовь до конца. Сколько посланий настрочила она в Петербург к императрице Екатерине Алексеевне, Меншикову,

Остерману, где настойчиво и униженно испрашивала разрешение на брак с Морицем! Мемуарист Василий Нащокин сообщает, что однажды “вдовствующая герцогиня, узнав о прибытии [Меншикова] в Ригу, отправилась из Митавы на коляске с одною только девушкою, остановилась за Двиною и, призвав к себе Меншикова, умоляла его, с великою слезною просьбою, чтобы он исходатайствовал у императрицы утверждение Морица герцогом и согласие на вступление с ним в супружество”. Но – увы! – Меншиков категорически отказал, “ибо утверждение Морица герцогом противно выгодам России, а брак ея с ним неприличен”.

Не будем описывать все перипетии борьбы за курляндскую корону (а в ней принял участие и властолюбивый Меншиков, также домогавшийся герцогства). Отметим лишь, что Морица наконец выдворили оттуда российские войска во главе с боевым генералом Петром Ласси. Граф, впрочем, сражался, как лев, и русские оставили на поле боя более 70 человек, после чего Мориц благополучно бежал. О чем же скорбел впоследствии этот несостоявшийся венценосец? Уж только не о курляндской вдовушке! Встретившийся с ним тогда испанский посол де Лириа-и-Херика говорит, что граф был обескуражен исключительно потерей... своего сокровенного дневника, куда регулярно вписывал всякие интимные подробности своих амурных дел.

А что Анна? Она длила свой давний роман с Бестужевым, пока того не отозвали в столицу, облыжно обвинив (с подачи Меншикова) в “курляндском кризисе”. Вновь оставшись одна, герцогиня отчаянно бомбардировала Петербург – сохранилось 26 жалобных писем, где она умоляла, просила, настаивала, требовала: верните Бестужева, без него все дела “встанут!”

Но письма от Анны вдруг словно оборвались в одночасье: в спальне герцогини место Петра Михайловича занял его протеже, тридцатисемилетний камер-юнкер Эрнст Иоганн Бирон. “Не шляхтич и не курляндец, — сетовал потом Бестужев, — пришёл из Москвы без кафтана и чрез мой труд принят ко двору без чина, и год от году я, его любя, по его прошению, производил и до сего градуса произвел, и, как видно, то он за мою великую милость делает мне тяжкие обиды... [он] пришёл в небытность мою [в Курляндии] в кредит”.

“Кредит” Бирона, получившего впоследствии чин обер-камергера и титул герцога, оказался исключительно высоким – он занял главное место в сердце Анны. Это стало особенно ясно, когда она стала императрицей. Её привязанность к нему была настолько глубокой и сильной, что по существу составляла весь смысл её жизни. Говорили, что государыня, образуя вместе с

Бироном и его женой Бенингной пресловутый любовный треугольник и воспитывая их, Биронов, детей, как родных, делала только то, что было угодно этому временщику. Вдова ревностно следила за любимым, не позволяя ему самовольно, без её участия, посещать пиры и увеселения. “Бирон, со своей стороны, тщательно наблюдал, дабы никто без ведома его не был допускаем к императрице, и если случалось, что по необходимой надобности герцог долженствовал отлучиться, тогда при государе неотступно находились Биронова жена и дети”. Михаил Щербатов отмечает, что Бирона и Анну связывала прочная дружба: “Она его более яко нужного друга себе имела, нежели как любовника”. Причём Бирон нравственно подчинил себе Анну и искусно пользовался этим для извлечения многообразных выгод и почестей, сделавших его одним из богатейших вельмож при Дворе. Однако, при всей гармоничности их отношений, императрица не могла не понимать, что с общепринятой точки зрения она погрязла в грехе сожительства с чужим мужем. Не удивительно, что под прицелом самодержицы оказалась мозолившая ей глаза своим семейным счастьем чета Волконских.

История их любви замечательна. А все началось с того, как записанный в Преображенский полк юный Волконский остановился в Митаве у Петра Бестужева, к которому имел рекомендательное письмо. Здесь-то и увидел он дочь обергофмаршала, Аграфену Петровну, поразившую его сразу своей раскрепощённостью и живостью: “Бестужева не только не робела перед ним, но, напротив, он чувствовал, что сам с каждым словом все больше и больше робеет пред нею и не смеет поднять свои глаза, глупо уставившиеся на маленькую, плотно обтянутую чулком, точеную ножку девушки, смело выглянувшую из-под её ловко сшитого шелкового платья... Волконский никогда еще не видал такой девушки. Тут не красота, не стройность, не густые брови и быстрые большие глаза притягивали к ней; нет, она вся дышала какою-то особенною чарующею прелестью”. Широко образованная и острая на язык, Аграфена уже в Митаве сделалась душой общества, развлекавшегося на свой лад в доме её отца. И сколь же не похожи были эти развеселые сборища на чопорные и натянутые куртаги герцогини курляндской! Там царствовала скука, здесь торжествовала непринужденность, радость общения. Не удивительно, что сама Анна нередко посещала Бестужевых, но главенствовала на сих празднествах вовсе не герцогиня, тяжеловесная и мрачноватая, а лёгкая в общении, притягательная Аграфена Петровна.

Между двумя дамами, казалось, установилось своего рода соперничество, в котором каждая из них тщила уколоть и уязвить другую. Рассказывают, что однажды Бестужева, прознав о том, что герцогиня намерена прийти на бал в ярко-жёлтом пышном платье, распорядилась обить точно такую же материей всю мебель в гостиной. Разъяренная Анна уехала с бала, не желая ни минуты больше оставаться в проклятом доме. Она была вне себя.

В день свадьбы Аграфены и Никиты бестужевский дворецкий по русскому обычаю весело грохнул об пол поднос с хрусталём. Молодые были так несхожи: основательный, спокойный и домовитый Волконский и амбициозная, стремительная, жаждавшая широкого поля деятельности Бестужева. Но их любовь была воистину огромной.

Поступив на службу к своему тестю Петру Михайловичу, Никита поначалу и обосновался в Митаве, где у них с женой родился сын Михаил. «Волконский был счастлив своею жизнью и ничего не желал больше. Он обожал Аграфену Петровну и сына, они были с ним, и весь мир, вся суть его жизни сосредоточилась в этих двух существах, и вне их ничего не существовало для Никиты Федоровича».

Однако семейная идиллия продолжалась недолго. Честолюбивой княгине было не по себе в курляндской глуши – она рвалась в столицу, думала о большом Дворе, о положении, которое могут занять со временем она и её князь. Наконец Никита уступил, и чета Волконских уехала в Петербург.

И поначалу всё как будто складывалось благополучно – Аграфену Петровну зачислили гоф-дамой в придворный штат императрицы Екатерины I. Более того, она энергично боролась за высокий чин обер-гофмейстерины при великой княжне Наталье Алексеевне. И в Северной Пальмире её прирождённая светскость оказалась крайне востребованной – вокруг обаятельной княгини объединились люди недюжинные (не случайно с её именем историки связывают появление в России первого светского салона!). Пристанищем друзей стал небольшой дом Асечки Ивановны (так они называли княгиню) на Адмиралтейском острове, в Греческой улице. Среди завсегдатаев были: фаворит Елизаветы Петровны, будущий генерал-фельдмаршал Александр Бутурлин, камергер Екатерины I Семен Маврин, дипломат Исаак Веселовский и др. Нередко в салон Волконской заглаживал знаменитый арап Петра Великого Абрам Ганнибал.

Никита Федорович не вмешивался в дела жены и собраний её друзей не посещал. Но от этого чувства Волконского

нисколько не ослабели: “Он любил жену и был влюблён в неё так же, как и на другой день их свадьбы... Ему она казалась совершенно такою, какую он увидел её в первый раз, и он всегда с одинаковою нежностью и восторгом любовался ею”.

“Как это часто бывает в молодежных компаниях, — говорит историк, — друзья создали некий собственный мир шутливых отношений, со своими обычаями, смешными церемониями, словечками и прозвищами. Они любили собраться вместе, поболтать, потанцевать, выпить вошедшего в моду “кофею”. О том, насколько изощрялись друзья в словотворчестве, свидетельствуют письма Ганнибала к “милой государыне Асечке Ивановне”, подписанные “верный слуга Абрам”: “Кокетка, плутовка, ярыжница, ...непостоянница, ветер, бешеная, колотовка, долго ли вам меня бранить, своего господина, доколе вам буду терпеть невежество..., сударыня глупенькая, шалунья...”. Впрочем, друзей объединяло ещё одно свойство – все они (каждый по своим резонам) ненавидели могущественного тогда светлейшего князя Меншикова, на чей счет постоянно чесали языки.

Болтовня-то и погубила салон Волконской. Как-то раз Асечка принесла из дворца свежую сплетню: Меншиков возжелал женить наследника престола Петра Алексеевича (будущего Петра II) на своей дочери Марии. Услышав сие, друзья, не церемонясь в выражениях, костерили светлейшего князя, узурпировавшего власть в стране. Узнав о таком злословии, Меншиков незамедлительно расправился и с Асечкой и с её неосторожными товарищами. Волконской велено было ехать в её подмосковную деревню, Ганнибала отправили в сибирскую глухомань, остальных понизили в должности.

Есть и другая версия событий, выдвинутая известным историком Николаем Костомаровым. Согласно ей, Асечка подверглась опале по настоянию давно имевшей на нее зуб Анны Иоанновны: якобы во время обыска в доме Волконских “нашли у ней письмо родителя, в котором тот жаловался, что “отменилась к нему любовь друга Анны Ивановны”, отзывался с горечью и досадой о Бироне, а сама княгиня в перехваченном письме... называла Бирона “канальею” и просила говорить о нем дурно. Бирон был чрезвычайно мстителен и, узнав, как о нем отзываются, настраивал Анну Ивановну против Бестужева и его родни”. На наш взгляд, обе версии имеют право на существование: они не исключают, а дополняют друг друга.

Казалось, после низвержения и ссылки “прегордого Голифа” Меншикова участь друзей должна была бы измениться к лучшему. Ан нет! Клеймо опалы продолжало тяготеть над ними и

при новых правителях, ибо есть в России старое правило: “Власть зря не наказывает”. Масла в огонь подлил извет на Волконскую, писанный её дворней: она-де не сидит, как велено, смирно в своей деревне, а тайно отлучается в Москву, пишет какие-то цидулки, а то и встречается с приятелями. И хотя важных улик против нее не было, Верховный тайный совет, следуя навету, 28 мая 1728 года усмотрел в действиях обвиняемой заговор и постановил: “Княгиню Волконскую за...продерзости и вины...сослать по указу в дальнюю девич монастырь, а именно Введенский, что на Тихвине, и содержать её тамо неисходну под смотрением игуменьи...А ежели она, Волконская, станет чинить еще какие дерзости, о том ей, игуменье, давать знать тихвинскому архимандриту, которому велено... писать о том в сенат немедленно”. После заточения жены в монастырь “душевное состояние князя Никиты дошло до таких пределов невыразимой, безмерной муки, что он по временам терял сознание под её безысходным гнетом”.

Вступившая в 1730 году на престол Анна Иоанновна намеревалась поквитаться с Волконской и примерно наказать прежнюю соперницу и обидчицу. Но, заточенная в монашескую келью, Аграфена Петровна оказалась недосягаемой для мстительной императрицы. Все, что могла сделать Анна – это ужесточить в монастыре режим, посадить узницу на хлеб и воду. Не выдержав унижений и тягот монашеской аскезы, княгиня в 1732 году преставилась. Тогда-то и пришла в голову Анны мысль отыграться на муже своей противницы.

Московскому главнокомандующему Семену Салтыкову монархиня наказала: “Объявляю вам, что княгиня Аграфена Волконская умерла, того ради изволь сыскать мужа ее князя Никиту Волконского и к нам его немедленно выслать в Петербург и скажи ему, что ему велено быть за милость, а не за гнев”. Похоже, она вознамерилась скрупулёзно изучить характер Волконского, чтобы уязвить его побольнее. Поразительно, но владычица огромной империи вдруг проявляет острый интерес к самым мелким ничтожным деталям жизни и быта Никиты Федоровича, словно, то дела государственной важности. 2 ноября 1732 года Анна Иоанновна приказывает Салтыкову: “Пошли кого нарочно князь Никиты Волконского в деревню его Селявино и вели расспросить людей, которые больше при нём были в бытность его тамо, как о жил и с кем соседями знался, и как их принимал, спесиво или просто, так же чем забавлялся, с собаками ль ездил, или другую какую имел забаву, и собак много ль держал, и каковы, а когда дома, то каково жил, и чисто ли в хоромах у него было, и какова была пища, и какова была пища, не едал ли

кочерыжек, и не леживал ли на печи, и о том обо всём и тех его людей распрося их подлинно, вели взять сказки и пришли к нам..., и где он сыпал, бывали ль у него тут горшки и кувшины, так же и деревянная посуда...”. В другом приказе императрица повелевает сыскать и доставить ей все письма Никиты Федоровича и прибавляет: “А нам письма Волконского надобно ради смеха”.

А вскоре в *наказание за жену* она произвела его в шуты и вменила ему в обязанность пестовать и беречь, как зеницу ока, свою любимую собачку-левретку Цытриньку. Князь Михаил Щербатов сказал о Волконском: “Се есть высший знак деспотичества, что благороднейших родов люди в толь подлую должность были определены”.

Как сложилась дальнейшая жизнь Никиты Федоровича? Известно лишь, что императрица впоследствии сменила гнев на милость, освободила его от обязанностей шута и в 1740 году пожаловала чин майора. Вскоре он умер и был похоронен в Боровском-Рождественском-Пафнутиевом монастыре, где покоились и его предки.

Сразу же после его кончины сын Волконских Михаил по милости императрицы был доставлен в Петербург и определен в привилегированный Кадетский корпус. Уж не запоздалое ли это раскаянье порфириносной самодурки?

Михаилу Никитичу Волконскому суждено было войти в русскую историю. Он получил высокий чин генерал-аншефа, был кавалером всех российских и польских орденов, главнокомандующим Москвы, сенатором, полномочным министром. Словом, ему довелось оправдать надежды своей амбициозной матери.

II. Квасник - дурак

Михаил Голицын

Имя забавника Анны Иоанновны, князя Михаила Алексеевича Голицына (1688-1778) увековечил Юрий Нагибин в своей повести “Шуты императрицы”. Писатель представил в ней яркий, выразительный, психологически мотивированный образ шута. Однако, как известно, правда художественная не всегда отвечает требованиям исторической достоверности, да, собственно, и не должна им отвечать. Очень точно сказал об этом русский драматург Александр Вампилов: “Искусство существует для того, чтобы исказить действительность”. А потому не удивительно, что свидетельства и документы той эпохи не укладываются в заданную Юрием Нагибиным схему и рисуют иной характер. Надо также иметь в виду, что сам исторический факт в сущности

бездонен и допускает множество самых различных толкований. Художник на то и художник, чтобы давать волю фантазии, чтобы у него, как поется в песне Булата Окуджавы, “были дали голубы, было вымысла в избытке”. Мы же, следуя законам жанра исторической миниатюры и строго опираясь на факты, представим свою, отличную от Ю.М. Нагибина, версию обстоятельств жизни шута императрицы Михаила Голицына и дадим его образ.

Отпрыск знатного рода, восходившего к легендарному литовскому князю Гедемину, Михаил приходился внуком известному временщику и фавориту сводной сестры Петра I царевны Софьи Алексеевны Василию Голицыну. После низвержения Софьи, в 1689 году, последнего постигла опала, и, лишенный чинов и поместий, он был сослан (вместе с сыном Алексеем) в северную глухомань – на Пинегу, в деревню Кологоры. Там-то и жил до своего совершеннолетия наш герой Михаил Голицын, воспитанием коего после скорой смерти отца Алексея Васильевича озаботился его некогда именитый дед. А Голицын-старший, как мы уже писали, был эрудитом феноменальной – владел несколькими европейскими языками, а также латынью и греческим, был тонким знатоком древней истории и западной культуры, искушен в дипломатии и политике. Его познаний с лихвой доставало на то, чтобы дать внуку самое блестящее и универсальное образование. Но едва ли учеба пошла Михаилу впрок, и причиной тому историки называют его врожденное слабоумие.

Когда Михаил повзрослел, Петр Великий вытребовал его в столицу и в числе прочих недорослей отправил учиться в чужие края. За границей Голицын тоже ничему не выучился.

Как известно, существуют мужчины недалекие от природы, но проявляющие удивительную изобретательность, находчивость и даже остроумие в дамском обществе. Наш герой принадлежал именно к таким субъектам. О том, как он обращался с прекрасным полом, сохранилось множество забавных анекдотов. Рассказывали, к примеру, что как-то раз одна пригожая девица сказала Голицыну: “Кажется, я вас где-то видала”. – “Как же, сударыня, - ответил тот, - я там весьма часто бываю”. Еще одна байка: “Вы всегда так любезны!” – обратился Голицын к молодой даме. “Мне было бы приятно сказать и вам то же самое,” – заметила она. – “Помилуйте, - парировал Голицын, - это вам ничего не стоит! Возьмите только пример с меня и солгите!”. Или вот такая сценка: одна престарелая вдова, пассия Голицына, оставила ему после смерти богатую деревню. Молодая племянница покойной начала с Голицыным тяжбу и заявила ему в

суде: “Деревня досталась вам за очень дешевую цену!”. “Сударыня, - нашелся тот, - если угодно, я уступлю вам ее за ту же самую цену”.

Михаил Алексеевич был женат четыре раза, что прямо противоречило брачным канонам православия. Так, при живой жене Марфе Максимовне Хвостовой (1694-1729), он в 1722 году сочетался браком в Ганновере с католичкой баронессой-итальянкой Марией-Франциской, за что был подвергнут Синодом пятнадцатилетней епитимией. Есть и другая версия: в поисках новых амуров Голицын устремился в Италию, где предметом вожделений князя стала хорошенькая дочь тамошнего трактирщика Лючия. Не исключено, что это одно и то же лицо. В любом случае, путь к сердцу красавицы лежал только через законный, освященный римско-католической церковью брак. И Голицын, недолго думая, принимает католичество. Комментируя эту его перемену веры, Юрий Нагибин замечает: “Ему захотелось хоть раз в жизни совершить **свой** поступок... Тут был вызов, пусть тайный, тому порядку, который угнетал его всю жизнь. Он впервые почувствовал себя человеком, способным на самостоятельный жест”. На наш взгляд, ни о чем бунтарском и революционном князь даже и не помышлял. Его одушевляла неукротимая любовная страсть. И, не отличаясь особой религиозностью, он принял католичество, безболезненно устранив мешающее ему искусственное препятствие.

О последствиях же своего отступничества он задумался позднее, в 1732 году, когда, уже в бытность Анны Иоанновны, вместе с женой-итальянкой и их кареглазой дочуркой вернулся в Россию. Как ни беспечен был князь, но о религиозной нетерпимости императрицы наслышан. За богохульство она вообще карала смертью. Это по ее монаршему повелению будут потом заживо сожжены смоленский купец Борух Лейбов и обращенный им в иудаизм капитан-лейтенант Александр Возницын. Отход от православия в пользу других христианских конфессий наказывался, конечно, не столь сурово, но также весьма чувствительно. Поэтому Голицын, тщательно скрывая от всех и жену, и перемену религии, тайно поселился в Москве, в Немецкой слободе. Поговаривали, что Лючия в целях маскировки даже носила мужское платье.

Но бдительная Анна Иоанновна через своих соглядатаев спознала о проступке князя и немедленно распорядилась препроводить его в Петербург. Голицын был взят в Тайную канцелярию и допрошен с пристрастием заплочных дел мастерами. От жестокой расправы Михаила Алексеевича спасло...крайнее

слабоумие, которым и объяснили при Дворе его вероотступничество: с дурака какой спрос! Брак с Люцией по приказу Анны был расторгнут, и итальянка вскоре сгинула (ее, скорее всего, выслали из страны). А “дурак”- князь был взят под монарший присмотр и сделан штатным придворным дураком (шутом). Для подобного унижения представителя знатного рода у императрицы были и дополнительные резоны: она ненавидела всех князей Голицыных, двое из которых, Дмитрий Михайлович и Михаил Михайлович, будучи членами Верховного тайного совета, пытались в 1730 году ограничить ее власть.

Французский писатель Анри Труайя в своем историческом романе “Этаж шутов” приводит слова, якобы говоренные Анной каждому новоиспеченному забавнику: “Изображать обезьяну, петь петухом, мякать и лаять умеют другие и делают это лучше тебя. Постарайся придумать свое!”. И вот парадокс: пресловутое слабоумие Голицына странным образом уживалось в нем с раболепием и угодничеством перед сильными мира сего, причем свойство это обнаружилось еще до его обращения в шуты: при Екатерине I он юлил перед могущественным Александром Меншиковым, а затем, при Петре II, улажал сиятельных князей Долгоруковых. Князь весьма потрафлял и своей венценосной хозяйке и делал это *по-своему*, лучше других. “Семен Андреевич! – писала императрица в 1733 году московскому градоначальнику Салтыкову. – Благодарна за присылку Голицына; он здесь всех дураков победил; ежели еще такой же в его пору сыщется, то немедленно уведошь”.

Что же входило в шутовские обязанности Михаила Алексеевича? Известно, что ему было поручено обносить императрицу и ее гостей русским квасом. Да и мать Голицына была из рода Квашниных. Именно вследствие этого к нему приросла кличка “Квасник” - под этим прозвищем он фигурировал даже в официальных документах. И придворные взяли за правило непременно обливать нашего шута опитками кваса и громко потешаться над этим. Василий Нащокин резюмировал: “Голицын тогда имел новую фамилию Квасник”.

Зная грубые вкусы императрицы, можно с уверенностью сказать, что Голицын участвовал в тешивших монархию шутовских потасовках. Его сажали голым задом в лукошко с сырыми яйцами. Но и здесь он выходил победителем. “Тут все шуты вострепнулись, - рассказывает Валентин Пикуль в своем романе “Слово и дело”, - руками стали махать. И все на разные голоса закудахтали, на яйцах поговаривая: - Куд-куды-куда! Куд-куд-куд-кудах!..Михаил Алексеевич тоже руками взмахнул,

подпрыгнул и запел курицей. *Лучше всех* запел”. Культуролог Борис Успенский отмечает, что в этом шутовском действе обыгрывались языческие по своему происхождению представления о “курином боге”: “католик кн. М.А. Голицын должен был молиться языческому идолу – католицизм пародийно обличается в данном случае как язычество”. Учёный связывает сей обряд и с традицией избрания князя-папы Всешутейшего и Всепетьнейшего собора при Петре I, где обыгрывалась эротическая символика яиц как таковых (вместо шаров для баллотировки служили яйца, которые именовались муде). Антикатолический подтекст выступал здесь со всей очевидностью.

Вместе с тем Голицына часто характеризуют как самого униженного шута Анны Иоанновны. “Он потешал государыню своей непроходимой глупостью, - отмечает французский историк А. Газо. – Все придворные как бы считали своей обязанностью смеяться над несчастным; он же не смел задевать никого, не смел даже сказать какого-либо невежливого слова тем, которые издевались над ним...”. По мнению А. Газо, отуманенный потерей своей итальянки, Голицын впал в слабоумие и вовсе не понимал, что над ним потешаются: “Он был до такой степени глуп, что часто отвечал совершенно невпопад на предлагаемые вопросы, так что возбуждал в слушателях громкий взрыв хохота; но он только глупо улыбался и блуждающим взором обводил присутствующих”. Но, как мы уже знаем, слабоумием князь отличался сызмальства, а, памятуя о его ветрености, трудно допустить, что он долго и глубоко переживал разлуку с женой-итальянкой.

Писатель Иван Лажечников в своем знаменитом “Ледяном доме”, где этот шут выведен под именем Кульковского, презрительно называет его “*ничто*” и пространно описывает пресмыкательство перед всеильным монаршим фаворитом, Курляндским герцогом Бироном: “Это *ничто* была трещотка, ветошка, плевалый ящик Бирона. Во всякое время носилось оно, вблизи и вдали, за своим владыкою. Лишь только герцог продирали глаза, вы могли видеть сие огромное *ничто* в приемной зале его светлости смиренно сидящим у дверей в прихожей на стуле; по временам, оно вставало на цыпочки, пробиралось к двери ближайшей комнаты так тихо, что можно было в это время услышать падение булавки на пол, прикладывало ухо к замочной щели и опять со страхом и трепетом возвращалось на цыпочках к своему дежурному стулу. Если герцог кашлял, то *оно* тряслось, как осиновый лист. Когда же на ночь камердинер герцога выносил из спальни его платье, *ничто* вставало со своего стула, жало руку камердинеру и осторожно...выползало и выкатывалось и нередко,

еще на улице, тосковало от сомнения: заснул ли его светлость и не потребовал бы к себе, чтоб над ним подшутить”.

Голицын получил при дворе и другое прозвище – “Хан самоедский”. Не из-за своего ли недомыслия к числу незатейливых аборигенов Севера был причислен и наш Квасник? Но причем тут “хан”- титул, свойственный не самоедам, а воинственным обитателям Крыма – давним врагам России? Необходимо помнить, что действия против Крымского хана и охрана от него пограничных территорий, завершившиеся победоносным взятием русскими Перекопа, были тогда у всех на устах. Очень вероятно, что прозвище “хан” заключало в себе насмешку над поверженным Крымским владыкой. Если же учесть, что князь Василий Голицын возглавлял Крымские походы 1687 и 1689 годов, закончившиеся полным провалом, то выбор его внука в качестве “хана” также может показаться не случайным.

Анну Иоанновну называли еще императрицей-свахой, ибо она обожала женить и выдавать замуж своих подданных, и шутов прежде всего. Чаша сия не миновала и Голицына, тем более, что на него давно уже положила глаз любимая шутиха и приживалка Анны калмычка Авдотья Ивановна. Настоящей ее фамилии никто не знал, а поскольку она страсть как любила буженину, ее стали называть Бужениновой (1710-1742). Низкорослая, колченогая и чернявая, она обладала острым языком и сметливостью, потешая свою августейшую хозяйку присказками, прибаутками, меткими народными пословицами. Государыня обряжала ее, как рождественскую елку, а та платила ей заразительной улыбкой, открывающей белейшие неровные, спереди выпирающие зубы. Желание Бужениновой обзавестись родовитым мужем было сейчас же принято к сведению, и Голицына, согласия которого никто не спрашивал, повелели готовиться к предстоящей свадьбе. Было всенародно объявлено о праздновании пышной “Дурацкой свадьбе под образом самоедского хана сына ево имянуемого Квасина, которой женитца у ханши мордовской на дочери ея дурки и блятке имянуемой Бужениновой”. Женитьба князя-отступника приобретала назидательный характер, ибо вместо итальянки-католички он вступал в брак с крещеной калмычкой. Таким образом, утверждалась незыблемость православия, на которое опиралась монархиня⁶⁷.

⁶⁷ Важно то, что и в самом свадебном действе наличествовало обличение “неправоверия”, на что указал культуролог Борис Успенский. Он обратил внимание на колонну ряженных колдунов с колтунами в бороде (заметим, что сама борода после Петра I была раздражающим символом!) – языческих жрецов, которые вели быков и баранов и несли “вид солнца,

Неизвестно, кому из царедворцев пришла мысль о сооружении на Неве дома из льда, и о свадьбе в нем шута с шутихой. Фольклористы отмечают: мотив ледяного дома с ледяными атрибутами встречается в русских заговорах на остуду (призванных охладить любовь человека, от имени которого произносится заговор, отвлечь его от предмета его вожделений). Например, заговор на остуду в записи 1734 года "...есть под севером ветром ледяная клетка. И в той ледяной клетке стоит ледяной престол. И на том ледяном престоле сидит ледяной муж, и перед ним стоят 39 слуг ледяных" и др. Как полагает профессор Борис Успенский, идея Ледяного дома для "дурацкой свадьбы" Голицына возникла под влиянием такого рода заговоров: Ледяной дом как бы был призван остудить чувство князя к жене-католичке, с которой его разлучили. "Таким образом, Ледяной дом, сооруженный для князя-шута, возможно, сочетал в себе две противоположные символические функции – символика брачного чертога могла соединяться здесь с символикой колдовской остуды".

2

Лед разрезали на большие плиты, клали их одну на другую, поливали водой, которая тотчас же замерзала, накрепко спаивая плиты. Фасад собранного здания был 16 метров в длину, 5 метров в ширину и около 5 метров в высоту. Кругом крыши тянулась галерея, украшенная ледяными столбами и статуями. Крыльцо с резным фронтоном разделяло дом на две половины – в каждой по две комнаты (свет попадал туда через окна со стеклами из тончайшего льда).

Перед зданием были выставлены шесть ледяных пушек и две мортиры, из которых не один раз стреляли. У ворот (также из льда) красовались два ледяных дельфина, выбрасывающие с помощью насосов из челюстей огонь из зажженной нефти. По правую руку стоял в натуральную величину ледяной слон с ледяным персиянином. По словам очевидца, "сей слон внутри был пуст и столь хитро сделан, что...ночью, к великому удивлению, горящую нефть выбрасывал". В покоях же Ледяного дома

которого идолопоклонники за бога почитают"; они были одеты в вывернутые наизнанку шубы и медвежьи шкуры и т.п. Здесь явно обозначены элементы масличного карнавала и народных обычаев языческого происхождения. Колдуны присутствовали "для охранения поезду по обыкновению идолопоклонническому". По мнению ученого, католицизм подвергался здесь осмеянию как языческая религия. (Успенский Б.А. Вокруг Третьяковского. Труды по истории русского языка и культуры. М., 2008, С.375-376).

находились два зеркала, туалетный стол, несколько подсвечников, двупальная кровать, табурет, камин с ледяными дровами, резной поставец, в котором стояла ледяная посуда – стаканы, рюмки, блюда. Ледяные дрова и свечи намазывались нефтью и горели. При доме была выстроена ледовая баня. Ее несколько раз топили, и охотники вполне могли в ней париться.



В.И.Якоби. «Ледяной дом», (1878) – Государственный Русский музей

Жениха и невесту посадили в железную клетку, а ее водрузили на слона (подарок персидского шаха), за которым следовал свадебный поезд из 150 пар, представляющих народы бескрайней России – черемисов, башкир, татар, самоедов, мордву, чувашей и т.д. Они были одеты в национальные костюмы, причем не в обиходные, а парадные. Ехали на санях, имевших форму экзотических зверей, рыб и птиц, управляемых оленями, свиньями, собаками, волами, козами. Каждую пару потчевали их национальной пищей, а они, в свою очередь, устраивали свои туземные пляски. Любопытно, что в сем церемониале фигурировал, между прочим, и “дурацкий герб” жениха на оловянном жетоне, висящем на медных цепочках, - явно высмеивающий княжеское достоинство Голицына. Историк Елена Погосян отмечает, что празднества в Ледяном доме напоминали шутовские свадьбы и кощунственные церемонии при Петре Великом. Тем не менее, сама идея Ледового дворца была, без сомнения, новацией аннинского времени.

Когда все разместились за праздничными столами, “карманный стихотворец” Анны Василий Тредиаковский, в маскарадном костюме и маске, огласил корявые свадебные вирши:

Здравствуйте, женившись, дурак и дура,
Еще блядочка дочка, то-та и фигура!
Теперь-то время вам повеселиться,
Теперь-то всячески поезжанам должно беситься:
Квасник дурак и Буженинова блядка
Сошлись любовью, но любовь их гадка.
.....
Плешницы, волочайки и скверные бляди!
Ах, вижу, как вы теперь ради!
Гремите, гудите, брянчите, скачите,
Шалите, кричите, плешите!..

Эти грубые, похабные, бесчестившие новобрачных стихи были встречены громким дружным гоготом. Ирония состояла в том, что Голицына и Буженинову язвил пиит, положение которого было немногим лучше судьбы безответных шутов. Достаточно сказать, что буквально накануне он был жестоко избит (причем, трижды!) устроителем праздника кабинет-министром Артемием Вольтером, приказавшим ему незамедлительно сочинить сей непристойный опус. Маска же, надетая на стихотворца, скрывала следы побоев на его лице.

А новобрачных после свадебного пира отвезли в Ледяной дом и положили на ледяную кровать, где, по замыслу устроителей праздника, им надлежало провести первую брачную ночь. Чтобы шут и шутиха не вздумали бежать из ледяного плена, к дому приставили крепкий караул. Литературное предание гласит, что Авдотья Ивановна, подкупив стражу, раздобыла овечий полушубок и тем самым спасла себя и мужа от неминуемой смерти.

О дальнейшей жизни Голицына известно немного. С Бужениновой, ставшей после замужества княгиней, они стали безбедно жить в родовом имении Голицыных – подмосковном Архангельском. До нас дошел портрет, на котором рядом с вальяжным барином сидит маленькая, широкоскулая, “беспородная” особа. С ней, улучшившей свежей азиатской кровью род Голицыных, князь прижил двух сыновей – Андрея и Алексея. В конце 1742 года, при родах Алексея, калмычка скончалась.

И уже в 1744 году Михаил Алексеевич обвенчался в четвертый раз с Аграфеной Алексеевной Хвостовой (1723-1750), бывшей моложе его на целых 45 лет! По православным канонам четвертый брак был невозможен – ясно, что с точки зрения православной церкви то был не четвертый, а третий брак (то есть брак с католичкой-итальянкой не считался законным), и в декабре

1744 года Синод дал специальное разъяснение по этому вопросу. От брака с Анной Алексеевной родились три дочери – Варвара, Анна и Елена.

Михаил Алексеевич Голицын пережил молодую жену почти на 30 лет и дожил до самой глубокой старости. Тело его погребено в селе Братовщина, по дороге от Москвы к Троице-Сергиевой Лавре. Историк-этнограф Иван Снегирев сообщал, что на церковной паперти Братовщины видел надгробный камень князя, вросший в землю и отмеченный полустертой надписью. Едва ли он сохранился до наших дней. Но своеобразным памятником этому незамысловатому потешнику императрицы стали произведения о нем писателей и историков.

III. Многоликий Педрилло Пьетро Мира

Этот пожилой синьор определился на русскую службу в День дурака, а именно - 1 апреля 1732 года. Тогда он еще не ведал, что станет впоследствии любимым дураком императрицы Анны Иоанновны. Звали его Пьетро Мира и был он скрипачом-виртуозом и актером-буфф в итальянской театральной труппе маэстро Франческо Арайя, прибывшей в Северную Пальмиру для царской забавы. В интермедиях Мира часто исполнял роль Петрилло (одна из масок итальянской комедии дель' арте), а при русском дворе его стали не вполне благозвучно называть - Адамка Педрилло.

Впрочем, то был не первый его вояж в холодную Московию. В 1700 году, будучи еще совсем молодым человеком, он уже значился придворным шутом Петра Великого. Биограф императора Иван Голиков рассказывает: “А как между тем, к удовольствию Его Величества, явились к нему прибывшие из прежде посланных в чужие края ученики, то монарх сам в успехах их свидетельствовал, и оказавшихся достойными определил по способности каждого к должности; а нашедших между ними таких, кои или от небрежения, или по тупости своей почти ничему не обучились, в досаде своей отдал во власть шуту своему Педриеллу, а сей и распоряжал ими по своему изволению, определяя их в помощь истопникам и в другия низкия должности”. Поскольку имя этого шута в документах Петровской эпохи нигде позже не упоминается, есть основания думать, что он вскоре покинул Россию. Вероятной причиной тому была прижимистость Петра, не воздавшего своему корыстолюбивому забавнику по заслугам.



В.И.Якоби. «Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны»
Государственная Третьяковская галерея, Москва

А корыстолюбие было отличительной чертой итальянца, который во второй раз “и приехал в Россию, конечно, с тою целью, чтобы заработать побольше денег и затем снова вернуться на родину”. Тем более что Анна Иоанновна, как утверждали заезжие иноземцы, была щедра до расточительности. Есть сведения, что императрица в 1733 и 1734 годах дважды пожаловала “италианскому музыканту” Пьетро Мира по 700 рублей. Вскоре же последний, однако, повздорил с капельмейстером Араия (не на денежной ли почве?) и опять подался в придворные дураки. Адамка Педрилло был шутком уникальным. Ведь другие монаршие потешники были именно *разжалованы* в шуты (князь Михаил Голицын и граф Алексей Апраксин – за отступничество от православия; князь Никита Волконский – из-за ненависти императрицы к его жене). И только Адамка стал шутком по доброй воле, так сказать, по зову своей продажной души.

Среди других забавников императрицы Педрилло выделялся своими галантными манерами, тонкими остротами и каламбурами, напоминавшими французских шутов времен блистательного Франциска I и Людовика XIII. Вскоре, однако, наш Адамка смекнул, что русскому Двору потребны дикие выходки и юмор самого грубого свойства. Педрилло быстро мимикрирует и становится заводилой тешивших монархиню шутовых потасовок. “Поднялся гам между шутами, – описывает тогдашний двор Иван Лажечников в романе “Ледяной дом”. – Надобно было всем рассеять гнев государыни. Педрилло, приняв команду над товарищами, установил их, одного за другим, около стены, как дети ставят согнутые пополам карты, так что, толкнув

одну сзади, повалишь все вдруг... Педрилло дал толчок своей команде, и все повалились один на другого”. Шуты награждали друг друга тумачами, царапались, дрались, а монархиня с челядью, глядя на них, заливалась гомерическим хохотом.

Имя “Педрилло” обычно вызывает ассоциации с человеком нетрадиционной сексуальной ориентации. Именно это и сбило с толку замечательного драматурга Григория Горина, который в своей комедии “Шут Балакирев” изобразил Педрилло насильником, стаскивающим штаны с одного из шутов. На самом же деле у итальянца никаких сексуальных отклонений не было – он был женат, правда, неудачно.

Императрица-сплетница, Анна живо интересовалась интимными делами своих подданных и бесцеремонно вмешивалась в их жизнь. В особенности же она вникала в личную жизнь шутов, двоих из которых (Голицына и Волконского) даже женила по своему произволу. Потому для нее вовсе не были секретом отношения Педрилло с его сварливой, некрасивой, да к тому же неверной женой. Об этом ходили упорные сплетни. Придворные пересказывали друг другу подробности частых ссор супругов.

Рассказывали, например, что жена Педрилло спрашивала мужа: “Кого из твоей родни посоветуешь ты мне посещать чаще?” “Кого хочешь, мой друг, – и тем чаще, тем лучше: отсутствием твоим я всегда буду доволен”, – отвечал шут.

Или другой случай: Педрилло пришел на исповедь и покаялся, что только что поколотил жену. Духовник спросил тому причину. “Дело в том, батюшка, - парировал шут, – что я забывчив и не могу припомнить всех своих грехов, а как начну бить жену, так она мне все грехи и выговорит. Ради этого я, идя к тебе, и поколошматил ее”.

А вот еще два анекдота. Педрилло, живший со своей женой очень дурно, спрашивал ее, на ком бы ему жениться, если она умрет. “На чертовой матери,” – с неудовольствием отвечала жена. “Это противно закону, - возразил шут, - ибо я женат на чертовой дочери”. Жена Педрилло, жуя своего брата за карточную игру, из-за чего тот и промотался, говорила ему: “Долго ли ты будешь транжирить денежки?” “До тех пор, пока ты будешь изменять мужу!” – отвечал брат. “О, несчастный, видно картежничать тебе по гроб свой!” – заметил шурина Педрилло.

Этот шут обладал удивительным свойством извлекать выгоды из самых, казалось бы, невыигрышных ситуаций. Кто бы мог думать, что можно обратить себе на пользу непривлекательность и бранчивость жены?! “Это правда, что ты

женат на козе?” – спросил как-то, шутя, Педрилло Курляндский герцог Бирон, знавший о его семейных неурядицах. В голове Педрилло мгновенно созрел хитроумный план. “Не только правда, – отвечал находчивый шут, – но жена моя беременна и на днях должна родить. Смею надеяться, что Ваше Высочество не откажется по русскому обычаю навестить родильницу и подарить что-нибудь на зубок младенцу”. Бирон расхохотался и обещал исполнить просьбу. Педрилло этим не ограничился и обратился к самой императрице. “Ах! Если бы Ваше Величество видел *la mia cara* [моя возлюбленная – Л.Б.]. Глазка востра, бел, как млеко, нежна голосок, как флейштока, ножка тоненька, маленька, меньше шем у княжон, проворно тансуй, прыжки таки больши делай, и така, така молоденька!” – говорил он с акцентом, коверкая русские слова, живописуя свою четвероногую прелестницу-козу. Через несколько дней шут объявил, что жена его, коза, наконец, благополучно разрешилась от бремени. Анне Иоанновне идея с родинами козы очень понравилась, и она устроила великолепный праздник, на котором повелела быть всему Двору. Вот что рассказывает об этом писатель: “Диво дивное ожидало зрителей в квартире Педрилло, превращенной на сей раз из нескольких комнат в одну обширную залу со сценою, на которую надобно было всходить по нескольким ступеням. Сцена была убрана разными атрибутами из козьих рогов, передних и задних ног, хвостов и так далее, связанных бантами из лент или веревок. В глубине сцены на пышной постели и богатой кровати, убранной малиновым штофным занавесом, лежала коза, самая хорошенькая из козьего прекрасного пола. Из-под шелкового розового одеяла, усыпанного попугаями и заморскими цветами, заметно было беспокойное движение связанных ножек. Впрочем, она глядела на посетителей довольно умильно, приподнимая по временам свою голову с подушки. Подле нее на богатой подушке лежала новорожденная козочка, повитая и спеленутая как должно”. Рядом с козочкой возлежал Педрилло и с серьезным видом принимал от гостей поздравления и бесчисленные подарки (ведь одарить счастливого “отца” должен был каждый!). В результате изобретательный шут сорвал в тот день весьма солидный куш: десять тысяч рублей!

“Педрилло был силен, ловок, великолепно владел шпагой, а еще лучше кинжалом, – сообщает писатель Юрий Нагибин, – его опасались задевать. Бирон, не разделявший пристрастия императрицы к шутам, – он сам любил только денег и лошадей, – делал исключение для Педрилло”. В большом фаворе был он и у самой Анны Иоанновны, которая наградила его (как и Яна

Лакосту) специально учрежденным шутовским орденом св. Бенедетто, напоминавшим своим видом второй по значению российский орден св. Александра Невского и носившийся в петлице на красной ленте. Хотя св. Бенедикт (Венедикт) почитается как католической, так и православной церковью, в данной ситуации он воспринимался как западный католический святой (потому сим орденом награждался иноземец и католик); да и итальянская форма имени явно предполагала католические коннотации. Напомним, что традиция шутовских орденов восходит в России к петровскому времени: так император пожаловал орден Иуды-Предателя князю Юрию Шаховскому, выступавшему во Всешутейшем и Всепетьнейшем соборе под именем “архидьякона Гедеона”.

Надо сказать, Педрилло старался всемерно потрафлять монархине, тонко чувствуя придворную конъюнктуру. Рассказывают, что он однажды весьма кстати ударил головой в живот бывшего кабинет-министра, опального Артемия Вольнского, когда тот отважился прийти во дворец. И не беда, что обреченный Вольнский в сердцах побил шута, главным для Педрилло было заслужить поощрение императрицы, которая и отблагодарила сполна своего “храброго” Адамку.

А вот характерный эпизод с влиятельным Бироном. Педрилло жаловался, что ему нечего есть, и выпросил у Курляндского герцога пенсию в 200 рублей. Спустя какое-то время он снова обратился к Бирону с просьбой о пенсии. “Как, разве тебе не назначена пенсия?” – спросил герцог. – “Назначена, ваша светлость, и благодаря ей я имею, что есть. Но теперь мне решительно нечего пить”. Герцог улыбнулся и снова наградил шута.

Но Педрилло наживал себе деньги не только шутовством. Он был многолик и, как говорят современники, “счастливым образом сочетал в себе скрипача, певца, буффона, ростовщика и трактирщика”. Адамка угождал своей венценосной благодетельнице, чем только мог и не гнушался ничем: то был озабочен наймом итальянских певцов и танцоров, то занимался покупкой для Двора драгоценных камней, материй и разных безделушек. Вдобавок ко всему он был заправским карточным шулером и нечистой игрой (а императрица часто поручала ему держать за себя банк) утроил свое состояние. Современники говорили, что монархиня часто проводит время с придворным шутом Педрилло, которого обогащает.

По заданию Анны, он, как истый комиссионер, неоднократно посылался за границу и даже вступал в переписку с

владельцами особами. Сохранилось его поразительное по нагло-издевательскому тону письмо к слабоумному итальянскому герцогу Гастону Медичи, обладателю знаменитого тосканского алмаза, весившего 139 каратов. Именно этот алмаз и желала заполучить через посредство шута русская императрица. Воспользовавшись моментом (в Тоскану тогда вторглись испанские войска), Адамка в своем послании был щедр на посулы, пообещав герцогу помощь славного российского воинства. “Однако же надлежит для содержания сих храбрых войск, - предупреждает он, - чтобы Ваше Королевское Высочество приказал приготовить довольно число самой крепкой гданской водки, такой, какую ваше королевское высочество пивал... и оною охотно напивался допьяна”. Тут же Педрилло берет быка за рога: “Ее Императорское Величество намерена тот алмаз купить и деньги за оный заплатить; но изволит, чтоб я купцом себя представил и торговал”. И далее (лихой аргумент!) он напоминает герцогу о его неизбежной кончине: “Я бы надеялся, что Ваше Королевское Высочество, не имея наследников, не пренебрежет сею оказиею и продажею сего алмаза к ненужде себя приведет, понеже великий Бог ведает, кому после преставления вашего имени ваше достанется”. И хотя старания Педрилло успехом не увенчались (алмаз в конце концов купил австрийский император), письмо это – яркий образчик ловкости и изворотливости этого шута-комиссионера.

Довольно обогатившись в России, Педрилло вернулся на родину, где сменил шутовской колпак на неброское платье неапольского трактирщика. Ведь ему, в сущности, было все равно, каким ремеслом зарабатывать себе капитал. Корысти ради он был готов и на шутовство, и на ростовщичество, и на плевки и окрики пьяных посетителей у трактирной стойки.



Борис Тененбаум Муссолини

Главы из новой книги

Продолжение. Начало в №9-10/2013 и сл.

О тонкой связи между кино и реальностью

I



В феврале 1942 года тайная полиция арестовала в Милане некоего парикмахера, по имени Леонардо Патане. Он был обвинен в злонамеренном сочинении анекдотов, а доказательством преступления послужил найденный у него список фильмов, имевшихся в итальянском прокате. Парикмахер напротив каждого названия - вроде такого, как "*Потерянный Рай*", или "*Утраченные Иллюзии*" - поставил крамольное пояснение. Например, "*Утраченные Иллюзии*" связывались с лозунгом дуче: "*Мы победим!*", а напротив комедии под названием "*Какая дурацкая шутка...*" значилась короткая пометка "...фашизм...".

Несчастный парикмахер вряд ли придумывал все это – очень похожий список был найден и у Сержио Родомонте, члена фашистской партии - но дело попало на контроль к самому дуче, и отговорки вроде "...народного творчества..." его бы не устроили – надо было найти автора.

Вот парикмахера автором и назначили, и по указанию Муссолини отправили не в ссылку, как обычно, а в тюрьму - но шутку, соединявшую в одно участие Италии в войне с фильмом под названием "*Безнадежная затея*" придумал все-таки не он.

Во-первых, в его списке ее не было, а во-вторых, жил наш парикмахер на севере, в Милане - а шуточка имела хождение на юге, и потешалась над ней вся Сицилия.

Юмор в какой-то мере служил заменой хлеба.

По официальным данным, до 40% населения Италии жили в состоянии постоянного недоедания. Карточную систему ввести - но выдавалось по карточкам все меньше, и престиж дуче от этого очень пострадал. Он, собственно, и сам понимал, что теряет популярность, и пытался вернуть ее старыми, хорошо отработанными трюками. Поскольку в свои "золотые годы" Бенито Муссолини славился способностью принимать мгновенные

важные решения, он в самом конце 1941 повторил эту практику - и вдруг назначил некоего Альдо Видускони секретарем фашистской партии Италии.

Тот был, конечно, образцовым фашистом - сражался в Эфиопии, а потом добровольцем пошел в Испанию на войну, и был там тяжело ранен - но в 1941 ему было всего лишь 27 лет, и репутация у него была как человека "...*невежественного, злобного, абсолютно ничтожного*..." - по крайней мере, так думал Витторио Муссолини, сын диктатора.

Что до Чиано, так тот просто дар речи потерял, узнав о назначении.

Он думал, что дуче тут все-таки хватил через край - но многие иерархи партии начинали думать, что "...*хватил через край*..." – это как-то слишком по-родственному мягко.

Они начинали сомневаться в том, что их вождь вообще адекватен.

Он, скажем, собирал своих министров, и держал перед ними трехчасовые речи, не позволяя ни садиться, ни даже записывать хоть что-то.

Муссолини объяснял это тем, что опасается несанкционированных утечек информации.

А в Риме тем временем придумывались новые шутки. Итальянское слово "*foro*" имеет несколько значений. Одно из них – форум, в смысле площади для массового общения - и в Риме уже существовал форум Муссолини.

Но это же слово может означать "дырку" - и поскольку с едой становилось все хуже, то последнюю дырку на затянутом ремне стали называть "...*дырочкой Муссолини*...".

После атаки японцев на Перл-Харбор фюрер решил, что такую полезную инициативу следует поддержать - и в декабре 1941, за пару месяцев до того, как тайная полиция в Милане нашла злонамеренного парикмахера, объявил Америке войну. Дуче без долгих раздумий последовал его примеру.

И как-то так незаметно оказалось, что Италия теперь, помимо СССР, воюет еще и с США.

II

Война - войной, а светская жизнь в Риме все-таки не совсем замерла. 22 июня 1942, как раз в годовщину начавшейся в 1941 войны с СССР, праздновалась свадьба одной милой девушки, начинающей актрисы кино. Замуж она выходила за маркиза, свадьба была очень пышной, среди гостей было полно генералов, адмиралов и высоких лиц из государственного аппарата – а все

потому, что девушка - ей было всего 19 - звалась Мария Петаччи, и она доводилась родной сестрой Кларе Петаччи.

К 1942 она под псевдонимом Мириам ди Сан-Серволо уже успела сняться в фильме "*Путями Сердца*", и имела успех - что было и немудрено, ибо на роль ее устраивал сам дуче, который уж заодно заказал в газетах самые лучшие рецензии.

К этому времени связь Муссолини с его подругой, Клареттой Петаччи, была "*... секретом, открытым для всех ...*" - так что младшей сестре своей подруги на свадьбу он подарил роскошный серебряный сервиз, а присутствие важных лиц на премьере фильма с ее участием стало делом как бы обязательным, примерно как на государственном приеме.

Собственно, у важных лиц имелись основания для приезда и помимо желания показаться в столь избранном обществе - через семейство Петаччи в то время делались самые различные дела, от назначения на хорошее место и до разного рода хитрых комбинаций с деньгами.

Скажем, можно было протолкнуть обмен итальянских лир на золото, которое в дальнейшем можно было переправить за рубеж посредством дипломатической почты - как правило, в Испанию. Тут мог помочь Марчелло Петаччи, старший брат Кларетты - и было известно, что даже и важным людям не следовало становиться на его пути.

Глава крупного банка - "*Banka del Lavoro*" - вылетел со своего поста за то, что посмел сунуть нос в его денежные обороты. Единственной управой на "*... клику Петаччи ...*" могла бы служить клика Ракеле Муссолини, жены дуче - но у жены вождя не всегда хватало времени и охоты входить в "*... интриги высшего общества ...*".

Она считала себя выразительницей интересов простого народа, ходила по рынкам, переодевшись поденщицей, и постоянно норовила "*... открыть дуче глаза ...*".

Ее дочь, Эдда, объясняла такое поведение менопаузой...

В марте 1942 в Венеции случились первые беспорядки, связанные с нехваткой хлеба. Алессандро Паволони - видный политик, журналист и эссеист - получил поручение от дуче: доказать, что нехватки продовольствия в Первую мировую войну были еще хуже.

Паволони был человеком блестящих дарований.

Он родился во Флоренции, в семье крупного лингвиста, специалиста в области санскрита и других индоевропейских языков - и отца он не посрамил, получив две ученых степени сразу - и в Риме, и во Флоренции.

В фашистской партии на Паволини было возложено "*...пропагандировать фашизм в культурной и аристократической среде...*" - и он действительно прекрасно в этом преуспел.

Скажем, стал устраивать костюмированные инсценировки времен Возрождения, завел оперный фестиваль во Флоренции, организовал ярмарки ремесленников на мосту Понте Веккьо - в общем, в партии на него не могли нахвалиться.

Но с поручением дуче насчет "*...нехваток в Первую мировую войну...*" он все-таки не справился - самому врать не хотелось, а среди людей с именем охотников подписаться под явной ложью он тоже не нашел. К концу лета стало известно, что на острове Сицилия для закупок зерна пришлось прибегнуть к реквизициям - крестьяне продавать хлеб за лиры уже не хотели.

На русский фронт отправлялись все новые солдаты - итальянские дивизии на Дону требовали пополнений. Бойцов альпийских полков оснащали горным снаряжением - крюками и веревками.

Предположительно, это могло понадобиться им для покорения Кавказа.

Беда была только в том, что они покидали теплую Италию в том, в чем были - а горные ботинки им не выдавали в связи с их полным отсутствием на складах. Оставалось только надеяться на лучшее - 23 июня 1942 фюрер прислал Муссолини очередное личное послание. Там говорилось, что английская 8-я армия, защищающая Египет, находится на последнем издыхании:

"...германо-итальянские войска вскоре увидят берег Нила..."

III

Мысль фюрера вызвала немедленный отклик у дуче - командирам итальянских войск в Египте было велено при достижении Суэцкого Канала немедленно послать в центр радиogramму с одним-единственным кодовым словом - "Тибр" - по названию реки, протекающей в Риме.

А 29 июня 1942 Муссолини с большой свитой вылетел в Триполи.

Для его триумфального входа в Александрию надо было сделать обширные приготовления - например, следовало решить, будет ли он там выступать с башни танка - или все-таки въезд в город на белом коне окажется более зрелищным мероприятием.

Во всяком случае, победный гимн был уже сложен, и итальянский губернатор Египта уже подобран - а пока дуче развлекался в Ливии охотой.

Считалось, что вскоре состоится прорыв германских войск за гряды Кавказа, и возможно, пойдут на соединение с японскими войсками, взявшими Сингапур. Кто знает - может быть, и для итальянцев окажется, что путь от Нила куда-нибудь в глубины Азии не так уж и далек?

И Муссолини в ожидании больших событий пробыл в Ливии до 20-го июля - но так их и не дождался. Он вернулся в Италию - где от сладости мечты пришлось перейти к суровой прозе. Положение в стране его не радовало, и здоровье начало подводить - язва очень обострилась.

А Чиано говорил всем и каждому:

“...прежде все дуче следует поправить свое здоровье...”.

В принципе это можно было понимать не столько как родственную заботу о здоровье тестя, сколько пожелание, чтобы он поменьше нагружал себя государственными делами.

Что до Джузеппе Боттаи, бывшем губернаторе Аддис-Абебы, а ныне министре образования Италии - то он неожиданно открыл, что объявление войны Америке не было законным, потому что не было одобрено Большим Фашистским Советом.

Строго говоря, война против СССР тоже не была одобрена Большим Фашистским Советом - но Боттаи этот вопрос педалировать не стал, а просто сказал Чиано, что не следует забывать, что дуче, в конце концов, всего лишь самоучка.

Слухи о таких изысканиях министра образования, несомненно, дошли до Муссолини, но он ничего предпринимать не стал. Он свое окружение от всей души презирал - все они, по его мнению, были всего лишь отражением его славы.

А в октябре 1942 в Рим с визитом приехал Генрих Гиммлер.

Интересно, что даже такой умный человек, как Чиано - и то решил, что высокий гость, непрестанно мотающийся по фронтам и концентрационным лагерям с инспекциями, в Италию приехал просто отдохнуть немного от своей трудной жизни.

Как-никак, приехал в штатском, в сопровождении одного только полковника Доллмана, и держался как-то все больше сам по себе. Ну, и Чиано велел организовать ему радушный прием, и показать Гиммлеру все, что того только заинтересует. И Гиммлер действительно немного оттаял, и встретился с многими людьми - вот только целью его была, как обычно, инспекционная проверка. Он выяснял, на кого в Италии можно будет положиться в случае, если страну придется оккупировать. Фюрер считал, что в Италии есть только один надежный друг Рейха - дуче.

Ну, а вдруг его не станет - и что тогда?

IV

24 октября 1942 года в Италии стало известно, что английские войска в Египте под командованием генерала Монтгомери перешли в наступление под Эль-Аламейном - и оно удалось.

Муссолини, который еще в июле распланировал триумфальный въезд в Александрию, как-то сразу проникся глубоким пессимизмом, и сказал Чиано:

“...Ливия теперь потеряна - это только вопрос времени...”

Впрочем, дуче видел тут и светлую сторону - потеря Ливии избавляла Италию от необходимости снабжать находившиеся там германо-итальянские войска.

Дело тут было в том, что итальянские торговые суда, нагруженные продовольствием, горючим и всем прочим, что нужно для армии, к осени 1942 топились англичанами чуть ли не с математической регулярностью. Ну, и хотелось эти потери как-то уменьшить - припасы могли пригодиться для обороны континентальной Италии.

В начале ноября 1942 стало известно, что в Марокко и в Алжире высадились англо-американские войска - колонии, на которые в свое время, летом 1940, целились и испанцы, и итальянцы, теперь стали полем боя.

Немцы двинули в Северную Африку дополнительные дивизии, правительство Виши лишилось их доверия, и теперь уже вся Франция стала оккупированной зоной. Итальянцы в этом смысле очень пригодились - они немедленно заняли большие территории на юге Франции и вошли в Ниццу.

Проблема, однако, тут была в том, что драться предстояло уже не только с англичанами, но и с американцами.

Их войска в Северной Африке оказались теперь в соприкосновении с войсками держав Оси.

В Италии понимающими людьми из этого были сделаны выводы - поездки в Швейцарию очень участились. В Женеве и в Лозанне они встречались с другими понимающими людьми - в основном из Англии, но попадались среди них и американцы.

Пирелли, видный индустриальный магнат, тоже съездил в Швейцарию, пообщался там со своими многочисленными знакомыми - и вернувшись в Италию, сразу поговорил с Чиано. Он сказал ему, что война, по всей вероятности, проиграна, и что надо принимать какие-то меры для спасения.

Чиано ответил, что можно попробовать организовать *“...лигу союзников Германии...”* в составе Италии, Венгрии и

Румынии - и надавить на фюрера с целью заключения широкого соглашения с Западом, что-нибудь в духе Мюнхена.

Почему не попробовать, так сказать, создать "Мюнхен-2"?

Странно - но осенью 1942 года Галеаццо Чиано считался в Италии реалистом...

Разгром

I

В феврале 1943 Бенито Муссолини получил от своей подруги, Кларетты Петаччи, совершенно надежный рецепт выигрыша войны: надо было убедить Китай и Турцию совместно напасть на СССР, а для того, чтобы освободить Китай от войны с Японией, следовало убедить Японию уйти из Китая, и начать осваивать Индию. Ключевым пунктом плана, впрочем, были не преобразования политики в Азии, а дела, касающиеся Европы - генерал Франко должен был внезапным ударом разгромить англичан и американцев у Гибралтара, и тогда все немедленно пойдет на лад.

А убедить его сделать это должен был Ватикан - ведь ясно, что у него есть большое влияние.

Ну, а если это окажется не совсем практичным, то всегда можно обратиться к Сталину через кого-нибудь из друзей, или к Черчиллю - и уж в этом случае понятно через кого.

Сэр Сэмюел Хоар, в конце концов, старый знакомый Бенито Муссолини, и в дружеской услуге ему не откажет, не правда ли?

В любом случае - надо что-то делать, и срочно. Потому что, по высококомпетентному мнению Кларетты Петаччи:

"...англо-американские войска в Северной Африке сильнее итальянцев в 10 раз..."

Муссолини не раз говорил, что его подруга своей детской непосредственностью помогает ему нести тяжелое бремя власти. Ну, иногда он бывал не так щедр, и говорил, что Кларетта полезна ему как рвотное - облегчает давление и снимает боль в желудке.

Трудно сказать, что он подумал, прочитав ее предложения о путях достижения победы - легкое умиление или рвотную судорогу - но в данном случае следовало признать, что дитя просто повторяло слова, услышанные от взрослых.

В конце января 1943-го года пала столица итальянской Ливии, город Триполи.

Так что про *"...соотношение сил как 10 к 1..."* в Риме говорили решительно все. А за ужином у Чиано - то есть в тесном

кругу лиц, хорошо осведомленных об истинном положении дел - Боттаи с большим сарказмом сказал:

"...в 1911-ом году Муссолини выступал в парламенте с критикой захвата Ливии - и вот теперь, 32 года спустя, он все-таки своего добился, Ливия больше Италии не принадлежит..."

Широкие массы, конечно, получали в качестве информации нечто другое - газеты выходили с аршинными заголовками: *"...еще четыре крупных корабля под флагом Великобритании пошли ко дну..."*.

Редактор одной из газет вылетел с работы за перепечатку фотографии пленных итальянцев - на картинке они широко улыбались.

Ну, фотографии пленных из газет можно убрать, но скрыть факт поражений было невозможно. Муссолини нашел выход из неудобного положения в том, чтобы сместить маршала Уго Кавальеро, начальника Генштаба, и назначить на его место генерала Амброзио.

Произошли и другие перемены.

Глава Министерства общественных Работ, Джузеппе Горла, который был в Неаполе с инспекционной поездкой, вдруг обнаружил, что его личный вагон отцепляют от поезда - вот так он и узнал о своем увольнении. А вот служащие Министерства Корпораций все никак не могли доискаться своего нового министра, Карло Тьенго. Ну, и оказалось, что он был в психиатрической клинике - куда через несколько дней и вернулся.

Но подлинной сенсацией стали вести из МИДа - Галеаццо Чиано был смещен со своего поста министра иностранных дел Италии.

Его назначили послом в Ватикане.

II

Капитуляция Паулюса под Сталинградом стала подлинной катастрофой для Рейха - но рикошетом досталось и Италии. По состоянию на сентябрь 1942 года в списках ARMIR (*Armata Italiana in Russia - Итальянская армия в России*) - значилось 230 тысяч человек.

За год военных действий - с июля 1941 и по июль 1942 - итальянцы потеряли 15 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, и это было терпимо. Но в конце 1942 они попали под удар на рубеже реки Дон - и вот тут уж им крупно не повезло.

В окружение попало около 130 000 человек - а выбралось из него меньше трети.

В результате Муссолини в феврале 1943 расформировал свою "русскую" армию, остатки ее были отведены в Италию. Солдаты прибывали домой в таком состоянии, что их держали взаперти в "карантинных зонах" казарм - обмороженные и израненные, с точки зрения пропаганды они выглядели плохо.

В мае 1943-го закончились военные действия в Тунисе - как было сказано в газетах, "...по приказу дуче сопротивление прекращено...". Оно, несомненно, прекратилось бы и без распоряжения - бежать танковой армии "Африка" было некуда, за спиной было только море.

В плен попало 250 тысяч человек, и больше 60% из них были итальянцы.

В результате таких катастроф в Италии возникали вопросы, на которые у Муссолини не было ответов. Регулярные встречи с фюрером не приносили ничего, кроме бесконечных тирад с призывами к "...фанатичному сопротивлению...".

Была сделана попытка как-то позондировать почву на предмет примирения с англосаксами - и с этой целью обратились в Испанию, к Серрано Суньеру.

В Италии он был известен как "...честный фашист...".

Но в мае 1943, он делал все возможное, чтобы убедить Англию и США в том, что испанская "фаланга" ничего общего не имеет ни с фашизмом в Италии, ни с нацизмом в Германии, а является выражением "...подлинного духа испанского народа, преданного ценностям свободы...". Можно было предположить, что с течением времени Серрано Суньер найдет, что подлинный дух испанского народа предан и ценностям демократии.

Ну, пока он не шел так далеко - но пользы Муссолини от него не было и сейчас.

Оставалось попробовать найти контакты через посредничество Церкви - и в этом свете назначение Чиано на пост посла в Ватикане начинало выглядеть в новом свете.

"Пути господни" - записал Чиано в своем дневнике - "поистине неисповедимы".

III

В марте 1943 на севере Италии прошли забастовки - цены на продовольствие взлетели так, что бутылка растительного масла на черном рынке стала стоить столько же, сколько рабочий на оборонном заводе зарабатывал за месяц.

Вопрос забастовок обсуждался - и Гиммлер посоветовал не прибегать к устройству концлагерей. Он думал, что для Италии они не подходят. Вместо этого рекомендовалось учредить специальные военные части, обучить их под руководством

германских инструкторов, снабдить хорошим оружием и положиться на их несокрушимую верность.

Иными словами, рейхсфюрер СС предлагал Муссолини создать аналог его организации.

Во время поездки дуче в Германию для встречи его сопровождал новый начальник Генштаба, генерал Амброзио - и немедленно после возвращения в Рим он поговорил с генералом Кастеллано, которому доверял.

Темой их беседы была разработка плана операции по аресту Муссолини - у генерала Амброзио осталось ощущение, что разговор фюрера с дуче очень походил на встречу двух старых и больных людей.

Один из итальянских дипломатов, тоже присутствовавший при встрече, пошел еще дальше, и прошептал на ухо соседю, что это не двое больных, а два трупа.

Весной 1943 Муссолини и правда был очень болен. Его язва обострилась так, что одно время медики вообще подозревали, что это не язва, а рак. Дуче питался в основном жидкой пищей, лицо его пожелтело, и энергии, которая когда-то была ключом, теперь не хватало ни на что.

Но встреча с Гитлером его подбодрила.

17 апреля он сместил Видуссони с поста секретаря фашистской партии Италии и назначил на его место нового человека, Карло Скорца. Он сообщил собравшимся, что тот будет управлять партией так, как ему поручено лично дуче - то есть в духе неустрасимых берсальеров.

1 мая 1943 дуче закрыл доступ в Палаццо Венеция для Клары Петаччи.

Она была обижена до глубины души и осыпала своего возлюбленного письмами и телеграммами, на которые он не отвечал - ему было не до нее, он планировал новое возрождение фашистского движения.

Через несколько дней после расставания с подружкой дуче выступил с балкона Палаццо Венеция.

Слушали его, конечно, вернейшие из верных - и он сказал им, что знает, что происходит в стране. Она поражена болезнью, ей заразились миллионы итальянцев, и имя этой болезни - *"...африканская лень и безразличие..."*. И единственным лекарством может быть только возрождение старого духа победоносного фашизма:

"Мы вернемся!".

19 июня 1943 года дуче принял для доклада графа Витторио Чини – министра коммуникаций, представлявшего в его

кабинете интересы индустриалистов. Граф выразил национальному лидеру Италии свое мнения, что дела не могут продолжаться так, как они идут сейчас, и что тонуть вместе с Германией совершенно не обязательно.

Дуче своего собеседника оборвал.

Он сказал ему, что единственная альтернатива - это Германия, и Италию ждет победа или гибель, но непременно на стороне Германии.

Министр откланялся, и чуть ли не на другой день подал в отставку.

24 июня 1943 Муссолини собрал у себя директорат фашистской партии Италии. Карло Скорца доложил ему, что в рядах состоят 4 770 770 членов партии, и к ним следует добавить 1 217 036 женщин, которые, как верные делу фашисты, несут свою службу в женских организациях, ассоциированных с партией. И еще есть 4 500 000 человек, верных делу народа, которые помогают партии на местах, после работы.

И все они скованы железной дисциплиной и верностью дуче.

Звучало это отрадно – все собравшиеся в едином порыве встали и наградили своего вождя шквалом долгих и нескончаемых аплодисментов. В этом шквале потонул один важный момент - примерно через месяц после того, как "*...по приказу дуче...*" окончилось сопротивление в Тунисе, американцы захватили островок Пантелеррия. Сам по себе этот клочок земли имел минимальное значение - его площадь не превышала 83-х квадратных километров, и он одно время служил базой итальянских торпедных катеров.

Ну, уже к середине мая 1943 никаких катеров, конечно, уже и в помине не было, и мысль германского командования устроить на Пантеллерии передовую авиабазу была оставлена - ее было бы невозможно защищать.

Так что островок, вооруженный только пушками береговой обороны, никакой угрозы союзному флоту уже не представлял - его можно было просто обойти. Но американцы люди практичные, и они рассудили, что аэродром Пантеллерии, если его хорошенько расширить, может пригодиться им самим.

Остров был удобно расположен - как раз на полпути между Тунисом и Сицилией.



Борис Сохрин

Записки о музыке

Публикация и предисловие Елены Иоффе



Записки эти возникли в 70-х годах прошлого века и обращены они были к Зинаиде Васильевне Назаровой. Зинаида Васильевна, школьная учительница Бориса, – сама по себе замечательная женщина. Учительница и ученик были связаны многолетней дружбой. З.В. в своём письме ко мне описывает, как это начиналось. "Шёл 1971 год. Мне 68. Дети обосновались с семьями. Папу я похоронила и осталась одна. И вдруг посыпалась на меня библейская "манна небесная" – явился Борис. Он предложил вместе с ним слушать музыку, а позднее посещать Филармонию. Так началось моё музыкальное образование".

Борис приносил ей пластинки из своей потрясающей коллекции. Но, кроме того, он счёл нужным написать нечто вроде путевода по любимым композиторам. Он работал тогда механиком рефрижераторных поездов. Командировки длились по полгода. Во время ночных дежурств и создавались эти записки. "Сейчас накропаю Вам нечто вроде руководства. Потому что знаю, что легче воспринимать, когда есть какие-то вехи и ориентиры для внимания".

Несколько лет назад Зинаида Васильевна переслала мне эти интереснейшие тетради. В них не только фактический материал по жизни и творчеству великих музыкантов, но мысли и чувства самого автора записок. Я обнаружила в этих тетрадях готовые очерки о Вагнере, Берлиозе, Дебюсси и Скрябине, и мне захотелось предложить их в печать. Я сообщила об этом намерении автору, и он согласился.

В первом рассказе – о Вагнере – Б.Сохрин старается не "переходить на личности", а стремится показать место и значение Вагнера в европейской музыке XIX века. Но он, конечно, не забывает, что идеологически автор "Тангейзера" был одной из предтеч нацизма и что совершенно не случайно его вещи исполняли перед газовыми камерами. Как человек Вагнер ему неприятен, но именно в этой части "Записок" он старается быть объективным. Однако, в продолжении, рассказывая о своём

любимом Гекторе Берлиозе, Сохрин уже меньше стесняется своих чувств и достаточно неприязненно отзывается о знаменитом немце, описывая его неблагородное поведение по отношению к Берлиозу.

И всё же музыка Вагнера гениальна, как ни крути, и тут приходится усомниться в очаровавшем всех постулате Пушкина: "Гений и злодейство – две вещи несовместные". Тот, Кто устроил этот мир, знает, почему бывают такие парадоксы. Хочу напомнить, что имя Вагнера в репертуаре симфонических оркестров, а также пластинки с его произведениями появились в Союзе лишь к концу 50-х годов. Знания о нём у широкой публики были неразвиты. В свете этого ещё больше восхищаешься эрудицией автора тетрадей.

Музыкальные вкусы Сохрина могут показаться несколько односторонними, да он и не претендовал на объективность. Он, например, не жаловал Чайковского и был равнодушен к Верди. Одновременно с рассуждениями о музыке он касается и литературы, и живописи и даёт сравнительную характеристику немецкому и французскому гению. Это достаточно спорно, но интересно. Замечательными, на мой взгляд, являются его рассуждения о задаче и сверхзадаче музыки (очерк о Скрябине).

В очерке о Берлиозе Борис Сохрин отозвался об этой своей работе: "Мой небрежный труд, довольно неожиданный для меня самого". А для меня, столько лет знавшей Бориса, было неожиданным и радостным знакомство с этой гранью его личности.

Елена Иоффе

О Вагнере

Начну с Вагнера. Я Вам принёс две оперы: "Лоэнгрин" (в нашем довольно жалком исполнении, другой записи нет) и "Тристан и Изольда" с гениальным Фуртвенглером. А ещё я принёс Вам почти все (кроме последней) вагнеровские увертюры к операм. Послушайте их в такой последовательности: 1) Увертюра к опере "Риенци" (она отдельно на небольшой пластинке), 2) Увертюра к "Летучему голландцу", 3) к "Тангейзеру", 4) к "Лоэнгрину", 5) к "Нюрнбергским мейстерзингерам", 6) Вступление к "Тристану и Изольде".

А века вот такая. Ведь Вагнер – композитор мощный, монументальный. Такие обычно склонны к медлительности, "неподвижности". А никто, может быть, так не изменялся, и не просто изменялся, а поступательно, как Вагнер. Можно прослушать все вступления к операм разных композиторов – Верди, Глинки, Чайковского, кого угодно, и безразлично с какой начать и кончить – с первой увертюры или с последней. А у

Вагнера каждая последующая увертюра, как и опера, – открытие нового мира, причём более современного, более утончённого.

1. Увертюра к "Риенци". Это ранняя пышная романтическая опера. В начале увертюры звучит тема, которую мог написать только Вагнер: медленная, разворачивающаяся, завораживающая. И всё-таки что-то в ней поверхностное, внешнее. И вся увертюра "одна из многих", типичная оперная романтика: даже, несмотря на все трубы и "германские" интонации чувствуется в ней явно влияние итальянской оперы. И в смысле формального мастерства она уступает последующим хотя бы потому, что чётко распадается на две половины: медленную первую, о которой я уже упомянул, и тяжеловатое бравурное "Аллегро".

2. Увертюра к "Летучему голландцу" (эта опера имеет ещё одно название "Моряк-скиталец"). Начиная с этой, все увертюры гениальны. Но эта ещё "вся в традициях".

Последующие все необычны в истории оперы и даже вообще симфонической музыки. А эта увертюра совершенна по мастерству и построению, но вся соответствует уже открытым кем-то законам, строится как многие увертюры (например, у Мендельсона есть замечательная, хотя и не оперная увертюра "Фингалова пещера", очень похожая по структуре и отчасти по "морскому" настроению).

Пронесются темы оперы: сперва раскаты моря, потом песня героини Сенты – легенда о моряке-скитальце, которую она поёт за прялкой, потом песня матросов с "Летучего голландца", и наконец, опять раскаты моря, затапливающего всю эту романтическую драму. Очень искусное переплетение выразительных красивейших тем по тому же принципу как в увертюрах других композиторов. Темы, конечно, очень вагнеровские, но принцип традиционный. Кроме того, музыка в последующих увертюрах, даже повествуя о чём-нибудь, о каких-то событиях, гораздо в большей степени отражает душевные состояния, какую-то "историю души". А эта увертюра вся явно о чём-то внешнем, как например увертюры и вообще музыка Римского-Корсакова. Очарование этой увертюры ещё и в том, что она очень "морская" (как и ещё другие немногие вещи в музыке) – прямо захлестывает тебя холодной волной и солёными брызгами.

3. Увертюра к опере "Тангейзер". Эта увертюра уже необычна. Между прочим, с неё началось моё открытие Вагнера. До этого в юности я слышал только два отрывка вагнеровской музыки. Один из них – марш из "Тангейзера" на граммофонной пластинке. Мы с Володей Черневым заиграли его до дыр; марш

мощный и служивший только подтверждением, что немцы всегда были фашистами и любили марши. Потом у одного из наших знакомых появилась увертюра к "Риенци" (кажется, на двух граммофонных пластинках, долгоиграющих тогда ещё не было). Мы восторгались этой увертюрой, она нам казалась необычной, и не знали, что это всего лишь робкое начало Вагнера. И вот незадолго перед армией я услышал по радио увертюру к "Тангейзеру". Она меня прямо ошарашила. Я считался "знатоком музыки" уже давно. Моим богом был тогда Бетховен. Я прекрасно знал много старинной музыки, Моцарта, Шопена, Шумана, Рахманинова, кое-что Скрябина (то из Скрябина, что было записано на граммофонных довоенных и послевоенных пластинках). Но увертюра к "Тангейзеру" была чем-то новым.

Спустя приблизительно год я стоял на вахте во дворе морского экипажа во Владивостоке. Было уже часов двенадцать ночи. Мороз. На улице ни души. И вот из громкоговорителя полилась эта увертюра. Мощная, тревожная и таинственная музыка. Я чуть не плакал от нагнетаемых ею чувств и мыслей. Сперва тихо, приглушённо издали раздающаяся медленная мелодия звучит всё громче и вот уже наплывает мощными волнами. Это – по опере – шествие пилигримов. Потом она медленно затихает, и начинается буйная вакханалия, в которой сплетаются и тяжело-маршевые темы и чувственные томительные. Это – по опере – "проклятое" царство языческих богов, изгнанных христианством и прячущихся в этом своём царстве, грот богини Венеры, где с нею проводит дни загубивший душу рыцарь Тангейзер. Эта вакханалия превращается в вихрь, и вот из этого вихря снова сперва отдалённо, потом всё ближе подымается таинственная, волнами наплывающая тема пилигримов. Её мощными аккордами всё и заканчивается.

Слушая, я не видел никаких пилигримов и Венер. Но тема пилигримов говорила о том, что жизнь огромна, во многом скорбна и непознаваема, темы вакханалии кричали о том, как жизнь разнообразна, сколько она обещает и сколько можно познать и пережить, и всё это, конечно, ассоциировалось с чем-то самим пережитым и с чем-то несостоявшимся, а вернувшаяся тема пилигримов снова убеждала и открывала, что мир трагичен, что всё преходяще и всё тщетно и спасение только в силе духа, неважно, что – по опере – это в боге, в христианском смирении, мелодия понимается каждым по-своему. Музыка неоднозначна, не бывает так, чтобы одна вещь всем говорила одно и то же. Каждый соотносит услышанное со своим пережитым, со своим душевным строем, но каждая великая музыкальная вещь несёт в себе какую-

то философскую и эмоциональную доминанту, открывающуюся тем, кто понял это произведение.

И всё-таки всё относительно. Если бы это была последняя оперная увертюра Вагнера, она была бы самой необычной, "революционной". Но Вагнер тем и удивителен, что каждая его новая вещь – совершенно новый этап и не только в смысле звуковых открытий – но каждый раз это ещё одно откровение. В сравнении с последующими увертюра к "Тангейзеру" кажется уже теперь тоже порядочно старомодной. В её построении, композиции ещё много общего с классическими образцами. Последующие оперные увертюры Вагнера (кроме мейстерзингерской) чаще называют вступлениями, потому что композиционно они не похожи на обычные увертюры.

4. Увертюра к опере "Лоэнгрин". Это уже почти революция. (Революцией, причём одной из самых мощных в музыке, станет в дальнейшем увертюра к "Тристану и Изольде", да и вся опера "Тристан и Изольда".) Увертюра к "Лоэнгрину" не ошеломила меня так, как предыдущая. Я только постепенно прочувствовал её великую прелесть, слушая много раз.

Увертюра небольшая, гораздо меньше тангейзеровской. Насколько я помню, в ней тем очень немного, может быть, две-три. И они настолько близки ритмически, что можно их счесть одной темой, одной мелодией. Между прочим, в этой увертюре явное приближение к той "бесконечной мелодии", которая в самом чистом виде звучит позже в "Тристане и Изольде". Вагнер ведь кроме того, что был талантливым поэтом и драматургом и сам писал все тексты своих опер, был и теоретиком, создавал и обосновывал так называемую "музыку будущего", т.е. такую, которой, как он считал, суждено будущее. (Как и все люди, Вагнер, конечно, ошибался.) И "оперу будущего", вернее "музыкальную драму будущего": "Тангейзер", например, ещё отчётливо делится на арии, ариозо, хоры и прочие традиционные оперные номера, "Лоэнгрин" уже в несколько меньшей степени, а "Кольцо Нибелунгов" и в особенности "Тристан и Изольда" – это уже сплошной поток льющейся музыки, в котором трудно, даже невозможно выделить номера. И мелодия становится "бесконечной".

Увертюра к "Лоэнгрину" – самая сентиментальная из вагнеровских увертюр. Если бы мне пришлось одним словом определять, что она такое, я бы сказал: "Это повествование". Вот как я воспринимаю её: кто-то начинает рассказывать о чём-то давнем-давнем, о судьбах каких-то необычных людей, когда-то давно живших. Это повествование, но не спокойное, бесстрастное,

а пронизанное чувством, грустью, раздумьями об этих судьбах, о том, что все эти люди уже ушли, может быть, так и не осуществив своих надежд, что всё уходит, но всё это было.

Эта музыка, по-моему, один из идеальных образцов немецкой романтики. Слушаешь медленную, завораживающую, повествующую тему, и в её фразах, в её поворотах вдруг словно видишь, различаешь какие-то далёкие картины, какие-то старинные пейзажи. Вагнер, очевидно, хотел вложить в эту увертюру мистические идеи оперы. Действие происходит в реальном мире, в графстве Брабантском, что ли. И действующие лица даже чуть ли не реальные, когда-то жившие, кроме главного лица. Но сами события – мистика. Чудесный рыцарь Лоэнгрин из мистической страны Грааля приплывает в ладье, которую везёт лебедь, чтобы повергнуть зло и несправедливость, спасти оклеветанную женщину. Он становится её мужем, но должен исчезнуть, вернуться в царство Грааля, так как она нарушила необходимое условие: не допытываться о его тайне, о том, кто он и откуда; она поддалась злым нашептываниям и наговорам – и потому сомнению. В увертюре можно услышать прозрачную идею: грусть о несовершенстве человеческом, о том, что "человек несовершенен и в добре". Но я, когда эта музыка звучит, не очень об этом задумываюсь. Я только слушаю это удивительное повествование и вместе с рассказчиком думаю, грустя, как жизнь странна, как богата и как преходяща.

Я назвал эту музыку "почти революцией" (а она и воспринималась когда-то как революция в музыке) не за содержание, а за средства выражения, за то, как это "содержание" осуществлено. Всё эмоциональное богатство увертюры достигается не резкими контрастами, не сменами красивых тем, как в сотнях оперных увертюр, и не прочими подобными эффектами. Тем немного, как я уже писал, мелодия почти не меняется, явно меняется только её окраска (тональная, тембровая). Чудо этой увертюры – её оркестровка. Где-то в середине – кульминация силы звучания, а перед этим или после этого вся мелодия передаётся скрипкам и становится такой просветлённой, такой прозрачной, что современники были поражены. Никогда до Вагнера никто не находил такого эффекта. И после увертюры к "Лоэнгрину" десятки композиторов повторяли этот приём в разных сочетаниях (и сам Вагнер отчасти повторил в своей последней увертюре к "Парсифалю").

Полжизни Вагнер создавал знаменитый цикл из четырёх опер – тетралогия "Кольцо Нибелунгов" ("Золото Рейна", "Валькирия", "Зигфрид", "Гибель богов"). Во время иногда

многолетних перерывов в этой работе он создал две оперы – "Нюрнбергские мастерзингеры" и "Тристан и Изольда". "Тристан и Изольда" была детищем любовных переживаний Вагнера. Была такая женщина – Матильда Везендонк.

Оперы тетралогии "Кольцо Нибелунгов" не имеют увертюры. Каждая начинается коротким оркестровым вступлением, не имеющим самостоятельного значения. Я слышал только одно – начало "Золота Рейна". Красочная, как всегда у Вагнера, оркестровая тема быстро нарастает, и вот уже в неё вплетаются голоса. Эта тема – игра и струение волн Рейна, а голоса – русалочки. Так что остаются ещё три увертюры.

5. Увертюра к "Нюрнбергским мастерзингерам". Опять нечто совершенно новое и необычное. Да и сама опера тоже единственная в своём роде у Вагнера: она комическая. Для её либретто взято несколько источников: новелла Гофмана "Мартинбочар и его подмастерье", жизнь средневекового поэта-ремесленника (сапожника) Ганса Сакса и ещё что-то. В общем, в этой опере быт и нравы средневековых немецких ремесленников. Единственная опера Вагнера, в которой никаких сказок и мистики. Много "шовинизма", особенно в финале.

И гениальная увертюра к опере – это, во-первых, рассказ о какой-то и весёлой, и грустной, и лирической, и сатирической средневековой истории, это суматошные картины средневекового немецкого города; и кроме того это одно из замечательных выражений национального характера: тяжеловатый немецкий юмор, какое-то простодушное лукавство, проходящий через всю увертюру замечательный народный марш, и в – промежутках – лирические сцены, летняя ночь, любовные переживания Вальтера, героя оперы.

Изо всех увертюр на свете мне только одна кажется чем-то похожей на эту – написанная Мендельсоном ко "Сну в летнюю ночь". (Хотя мендельсоновская увертюра – на фантастическую тему, о сказочном мире, но ведь и мнимо-реальный средневековый мир "Нюрнбергских мастерзингеров" – тоже что-то давнишнее, тоже уже сказка.) В обеих увертюрах какая-то красочная суматоха, какие-то очень национальные интонации. У Мендельсона всё тоньше, изящнее и... поверхностнее. Так что, кажется, нет больше в немецкой музыке ничего подобного этой увертюре Вагнера. Разве что каким-то продолжением этой традиции можно считать замечательную симфоническую поэму Рихарда Штрауса "Тиль Уленшпигель".

6. И наконец, о самом невероятном, "не имеющем прецедентов" – о вступлении к опере "Тристан и Изольда". И не только нём, а и о сюите "Вступление и смерть Изольды".

Вот уже и целая жизнь прошла, "жил, работал, стал староват", а "Тристана и Изольду" готов всегда слушать с наслаждением. В этой опере Вагнер превзошёл самого себя, в ней, конечно, тоже достаточно романтизма, но этот романтизм – дело десятое, не он главное. Эта опера, не столько романтический, сколько психологический феномен. В ней Вагнер впервые сумел выразить то, что чувствовали, о чём догадывались тысячи его современников, то психологическое состояние, которому пришла пора в конце XIX века, то видение мира, которое потом охватило всю интеллигенцию и варьировалось в тысячах произведений, в том числе – довольно жалких.

Причём Вагнер был чуть ли не самым первым; спустя какое-то время другие гениальные люди в других сферах искусства – в поэзии, например, Бодлер, Рембо, Верлен – совершали ту же революцию и также порождали сотни жалких эпигонов. Это психологическое состояние, это видение мира, эту эпоху в искусстве назвали позже декадансом. И, как Вы знаете не хуже меня, эта эпоха породила много жалкого и мимолётного, потому что мысли, страдания, озарения гениев варьировались, "мусолились" сотнями людей заурядных и, уже в качестве моды, превращались в коллективное нытьё о трагичности жизни, о бессилии человека перед лицом вечности, о смерти и т.д.

В оперном искусстве три великих гимна любви: "Кармен" Бизе, "Тристан и Изольда" Вагнера и "Пеллеас и Мелизанда" Дебюсси (в какой-то мере французский эквивалент "Тристана и Изольды"). "Кармен" – это выражение солнечности, страсти, прекрасной даже в смерти. Здесь любовь – яростный день, в операх Вагнера и Дебюсси любовь – ночь.

Наверное, почти невозможно выразить словами смысл, суть "Тристана и Изольды". Давно людям известно, что всё – всего лишь физиология: и любовь, и смерть. И давно люди не согласны с тем, что это лишь физиология. Давно для людей любовь – не только инстинкт продолжения рода, как для животных, но и преодоление отчуждения, одиночества, прорыв к соединению, к самоутверждению. И давно люди воспринимают смерть как нечто неизбежно-таинственное в круговороте вечности. И давно чувствуют во всём не подающуюся формулировкам и рассудочным объяснениям связь.

И вот в опере Вагнера любовь и смерть – почти одно и то же, две стороны медали, потому что мир таков, что за любовь

платишь смертью, что гармония мира это равновесие любви и смерти, и любовь не может перевесить, ибо сама её попытка влечёт смерть. И герои оперы Вагнера даже ненавидят день, призывают ночь, потому что ночь – подобие смерти, потому что день – лицемерный самодур – даёт власть всему, что второстепенно, что лишь суета, и оттесняет то, что единственно важно – любовь, а ночь возвращает любовь, но опутанную цепями опасений, предосторожностей, страха, и только смерть, вечная спутница любви, уничтожает все условности, всю эту противоречащую любви суету, все поводы и корысти, освобождает любовь от всех этих пут.

Это, конечно, идея мистическая. Человек без воображения скажет: "Какая чушь, ведь смерть уничтожает и любовь". Да, физиологическую. Но то великое понятие, которое рождено человеком, а не животным – оно не уничтожаемо ничем. И, не прибегая к жалкой логике, к земляной мудрости, свойственной любому, кто и думает и чувствует только плоско, разве не видишь вдруг, что всё так и есть, и в мире потому, может быть, и не бывало идеальной любви, что мир – это огромный суетящийся день, всеми своими корыстями, нуждами и условностями прогоняющий, убивающий любовь.

У Вас вся опера "Тристан и Изольда". Увертюра, как и вся опера, в замечательном исполнении. Но я как-нибудь постараюсь достать пластинку, на которой записана не только увертюра, но и музыка финала – без голосов. Дело вот в чём. Вагнер создал как бы сюиту на опере. Он создал чисто симфонический – без голоса – вариант финала. (В опере в сопровождении этой гениальной музыки поёт Изольда перед смертью). Эту сюиту, включающую вступление к опере и финал её, часто исполняют. Называется она "Вступление и смерть Изольды".

У меня есть эта сюита, но, увы, играет какой-то наш оркестр под управлением Голованова, известного дирижёра, кое-что исполнявшего очень хорошо, но "Вступление и смерть" они превратили в невнятное бормотание, это настолько жалко, что я не хочу и показывать Вам. Постараюсь достать пластинку с французским дирижёром Себастьяном – это здорово.

Хотя я советовал Вам слушать все увертюры Вагнера в точной последовательности, это, конечно, не обязательно, но что касается "Тристана и Изольды", вот уж не хотел бы, чтобы Вы начали с неё. Я почти уверен, что когда Вы прослушаете её впервые, она Вас больше чем разочарует: Вы услышите что-то длинное, медленное, скучное. Не обижайтесь, со мной было то же самое. Даже хуже. Я уже много лет любил Вагнера и не уставал

слушать "Тангейзера" и "Лоэнгрин", знал все увертюры, и только "Вступление и смерть Изольды" оставались для меня китайской грамотой. Слушал её с Головановым, прослушал в филармонии, даже, кажется, почувствовал, что "что-то здесь есть", и только когда однажды купил пластинку с Себастьяном – был потрясён, и "открылись мои глаза". С тех пор ни намёка на то, чтобы мне надоела эта музыка.

Не знаю, смогу ли описать эту музыку, как описал все другие увертюры. Сперва о формальной стороне. Здесь Вагнер осуществил то, к чему давно уже стремился – "бесконечную мелодию". Я слаб в музыкальных терминах, но думаю, смогу объяснить, в чём дело. Обычно мелодия (или музыкальная тема) состоит из нескольких музыкальных фраз: даже самая примитивная из трёх-четырёх. Положим из трёх. Первая фраза – восходящая, вторая – кульминация, третья – нисходящая. И это – необходимое условие равновесия музыкальной темы. Попробуйте напеть какой-нибудь мотив, он может быть и более сложным, состоять из четырёх, пяти фраз, но остановитесь где-то посередине, например, на второй фразе и сразу осознаёте: нет, так эта мелодия не может окончиться, чего-то не хватает для её завершения, нужна ещё фраза. Этого требует музыкальная логика. Кажется, первая фраза называется тоникой, кульминационная – не знаю как, а последняя – доминантой.

У классиков и первых романтиков это построение чаще бывало очень симметричным. Современного изошрённого слушателя это иногда раздражает, а тем более раздражало поздних композиторов. Скрябин, например, чьи поздние вещи тоже тяготеют к "бесконечной мелодии", не любил Бетховена за "примитивную, грубую симметричность тем", а тем более не прощал этого своему старшему современнику – Чайковскому. Более поздние композиторы всё чаще эту симметричность нарушают, заинтриговывают слух отдалением уравнивающей фразы и т.д., вообще рисунок темы, мелодии становится капризнее, ассиметричнее, и это придаёт музыке новое очарование, новые эмоциональные оттенки.

А Вагнер создал в увертюре к "Тристану" и дальше в "Смерти Изольды" совсем необычную музыку, в которой до самого конца нет этой завершающей, уравнивающей фразы. Послушайте любую другую увертюру или симфонию, для характеристики хотя бы Чайковского. Всё ясно: вот одна мелодия, вот звучит её заключительная фраза и вот начинается другая тема, другая мелодия, вот одна на фоне другой, вот они переплетаются, но всё равно это две разные мелодии.

А когда начинается вступление к "Тристану", мы слышим музыкальную тему, по привычке ждём её завершения и не можем дождаться. Вагнер каждый раз, когда нам кажется, что по привычной нам трафаретной музыкальной логике вот эта фраза должна, по крайней мере, может стать завершающей – каждый раз, как бы обманывая нас, не доводит, можно сказать, эту фразу до конца или точнее "поворачивает" её так, что она становится не только продолжением предыдущей, но и началом следующей. Поэтому при первом прослушивании, а то и при втором и при третьем, пока мы ещё не понимаем, что говорит эта музыка, она – гениальная и богатая ассоциациями – кажется чем-то однообразным. Это не значит, что фразы все разные, что они не повторяются, хотя что-то в них и меняется, я уж и боюсь соврать что: тембры ли, регистры, ритм, темп, громкость, тональность, но всё равно оказывается, что фразы повторяются внутри одной всё продолжающейся темы, потому что невозможно сказать в какой-нибудь момент: "Вот закончилась одна мелодия и началась другая".

Я вовсе не хочу сказать, что "бесконечная мелодия" – великое преимущество Вагнера перед другими композиторами. И не считаю, что к этому должна обязательно стремиться музыка. На деле оказалось, что "бесконечная мелодия", которую Вагнер считал будущим музыки, всего лишь эпизод в ней, это стало только одним из приёмов. Но в "Тристане и Изольде" именно "бесконечная мелодия" была той найденной Вагнером гениальной формой, которая соответствовала содержанию; посредством этого приёма Вагнер осуществил ещё небывалые до него эффекты, поразившие всех меломанов и музыкантов.

Всё вступление к "Тристану и Изольде" – это бесконечное любовное томление. И нет этой пунктуальной партикулярной завершающей фразы, и мелодия всё движется, не кончаясь – как и чувство, которое не подчиняется расписанию, которое длится от надежды к отчаянию, и опять к надежде. Между прочим, в истории музыки было предвосхищение этого томления – во второй части гениальной симфонии Берлиоза "Ромео и Джульетта". Но всё-таки это было ещё не то. Какое-то место во "Вступлении" так поразило музыкантов, что сотни раз потом композиторы этот приём (не доводить мелодию до трафаретного конца) повторяли и использовали. И конечно ничего подобного не создали, написав уйму вымученных опусов. Ещё бы! Вагнер это ни у кого не подслушал, он услышал это в себе, взял из своего сердца, потому что писал "Тристана" после разлуки с Матильдой Везендокс, которую любил. Она тоже любила Вагнера, но была женой его

друга. Как свидетельствует история, не изменила. И они разошлись.

И вот когда "Вступление" подходит к концу и звучит завершающая фраза (да и она кажется чем-то только затухающим, незавершённым), то это производит необычное впечатление. "Так падает изнемогающее сердце" – это слова самого Вагнера. И сразу вслед за этим начинается "Смерть Изольды". В опере эта музыка сопровождает слова Изольды, которые та поёт над трупом Тристана и после которых сама умирает. Это слова о том, что смерть осуществила их с Тристаном стремление, что только смерть-ночь соединяет их, устранив все эти бредовые препятствия жизни, огромного суеющегося дня. Слова довольно жалкие в смысле поэтических достоинств, как Вы сами убедитесь из либретто, которое я Вам оставил. Но дело не столько в словах, сколько в музыке. Эта музыка – "Смерть Изольды" – кульминация оперы, потому что здесь-то и объединяются два таинства – любовь и смерть. И это, конечно, тоже "бесконечная мелодия", несколько более разнообразная ритмически. Тема всё более эмоционально накаляется и перед окончательным затуханием, растворением в смерти, расходитя, разбегается широкими глубочайшими раскатами, словно мощные вдохи и выдохи. Меня это место доводит до слёз, тем более что чувство подготавливается постепенно.

Философ Ницше слышал в этой музыке "голоса вечности", слышал, как "разбегаются ручьи вечности". Я воспринимаю так же. Потому что эта музыка не только о любви Тристана и Изольды, а о любви вообще, о вечности – одной из личин смерти, в недрах которой соединяются молекулы и всё живое, а над ними – души людей.

Остаётся рассказать о последней увертюре Вагнера – к опере "Парсифаль". Но сперва ещё немного о самом Вагнере. Он был, конечно, одним из самых гениальных оперных композиторов. Немногие знают, что даже Верди (к которому я всегда был равнодушен, даже скорее не любил его, но не отнимешь, что он один из главных в истории оперы), даже Верди в конце жизни подпал под влияние Вагнера. Он пытался перенести кое-что от Вагнера на итальянскую почву (например, в "Отелло").

А Францию Вагнер вообще поработил надолго. Десятки композиторов подражали ему. Это дало Франции кое-что хорошее, но больше навредило, потому что вагнеровский германский дух противоречил духу Франции. Лучше бы французы уделили больше внимания своему соплеменнику, не менее гениальному, чем Вагнер, – Гектору Берлиозу! Правда, и вагнеромания во

Франции началась, в основном, уже после смерти Берлиоза и Вагнера, которые при жизни встречались, оценили друг друга, а разошлись недругами и недоброжелателями.

Если попадётся какая-нибудь книга о Вагнере, то Вы, наверное, убедитесь, что он был не агнцем – тяжёлым, высокомерным человеком. Впрочем, таких любят женщины. Мне во многом понятно и близко его отношение к искусству. Но в осуществление он вносил от своего немецкого склада характера, чуждого другим народам. И этому вкус противится.

Я, например, понимаю его мысли о "музыкальной драме", его отношение к опере. Вагнер считал, что раз опера – искусство условное (даже гораздо более условное, чем драма: ведь в драме говорят, а в опере поют, чего в жизни-то уж точно не делают), она и пользоваться должна условным материалом – сказкой, легендой, мистерией, символом, выражающим какие-то великие истины. Именно по причине условности этого вида искусства я никогда не был особым любителем оперы. (До Второй мировой войны это было характерно для Соединённых Штатов: там было повальное увлечение симфонической музыкой, сотни симфонических оркестров, а опера – в загоне, полное к ней равнодушие, всего один оперный театр – в Нью-Йорке.) Например, в "Евгении Онегине" Чайковского меня раздражают всякие поющие салонные фразы или излияния вроде "Любви все возрасты покорны" или жалобные стансы Ленского перед дуэлью не меньше, чем раздражала бы какая-нибудь ария колхозницы о выполнении плана по надоям молока в современной нашей опере.

И хотя я, вообще, не против реалистического сюжета, но он хорош, даже прекрасен только тогда, когда композитора "осеняет", когда он "в порыве вдохновения" находит именно тот, который органически подходит для оперы. Так было с "Кармен". Я вовсе не считаю, что эта опера потому и хороша, что реалистична, будь её сюжет и сказочным, она была бы прекрасна. Но материал оказался идеальным. И все эти солдаты, и контрабандисты, и цыгане, и работницы с табачной фабрики органически слились с музыкой, стали единым образом. И всё-таки главное достоинство "Кармен" не в них, а в том, что это единственное в своём роде солнечное воплощение страсти, гимн любви.

Поэтому я и согласен с Вагнером. Но то, как он воплощал свои мысли, своё отношение к искусству на деле, часто раздражает, и, наверное, раздражало многих, особенно не немцев. Именно потому, что он воплощал "по-немецки", проявляя и немецкий недостаток чувства меры, и склонность то к выпренности, то к гиперболлизму, то к сентиментальности, то к грубости. В его

операх люди часто неестественны, женщины – вообще какие-то огромные каменные бабы, сплошное воплощение пороков или чаще, наоборот, знаменитых немецких добродетелей. Любовные дуэты невыносимо приторны. В "Кольце Нибелунгов" полно всяких смехотворных ухищрений, вроде огромного дракона Фафнера, которого вывозят на сцену и из утробы которого поют – за него – какие-то серьёзные дяди. Но всё это дело десятое. Главное в операх Вагнера – музыка, можно и не смотреть на сцену. Эта музыка выражает гораздо больше того, что на сцене происходит.

Самая моя любимая опера "Тристан и Изольда" почти лишена этих недостатков. Несмотря на "немецкую монументальность" она почти камерна в своём роде. Потому что о самом интимном. Поэтому и действующих лиц немного. И сюжет сконцентрирован на главном.

7. Увертюра к опере "Парсифаль".

О самой опере. Вряд ли мы её когда-нибудь услышим. Она считается самой реакционной из опер Вагнера. Называется "опера-мистерия". И писал её сморчок-старичок, бывший когда-то в молодости бунтарём, даже приговорённым к смерти за участие в революции вместе со своим другом Бакуниным. Потом он стал националистом, по своим высказываниям чуть ли не духовным папашей фашистов. А ко времени написания "Парсифаля" превратился почти в христианского ханжу. И вся опера насквозь – христианская мистерия. И вместе с тем в смысле музыки "Парсифаль" так же, как "Тристан и Изольда" – замечательное произведение.

Это я заключаю из немногих вычитанных высказываний, а главное, из того, что Клод Дебюсси, который во много раз мне ближе Вагнера, воплощение ума, вкуса и чувства меры, боровшийся с его влиянием на музыку Франции, потому что вагнерианство губило, глушило всё истинно французское, и противопоставивший грому и треску Вагнера замечательных старинных французов – Рамо и Куперена, Клод Дебюсси любил только две его оперы – "Тристана" и "Парсифаля".

Я почти ничего не знаю о содержании "Парсифаля". Потому и не могу сказать точно, о чём увертюра. Она начинается с красивейшей медленной темы. Тема эта при каждом повторении становится всё прозрачнее и позже, вернувшись после среднего эпизода увертюры, достигает "неземной" прозрачности. Это очень здорово, но явное повторение приёма, найденного Вагнером когда-то в молодости во вступлении к опере "Лоэнгрин". И разница только та, что тема в "Лоэнгрине" более "земная", а в

"Парсифале" какая-то уже совсем отрешённая, мистическая. Единственное, что я знаю: это тема "царства Грааля – потустороннего христианского мира, где хранится чаша с Христовой кровью"; из этого царства когда-то в другой опере приплыл рыцарь Лоэнгрин, а в "Парсифале" это царство становится местом действия. А герой, Парсифаль, кажется, отец Лоэнгрин.

В середине увертюры, после этой красивейшей темы и перед её ещё более прекрасным повторением, раздаётся медленный марш (играют, в основном, медные инструменты). Он очень "членоразделен", фразы медленно поднимаются одна за другой, и когда он звучит, у меня впечатление, словно воздвигается христианский собор, даже не готический, а романский, такая грубая, примитивная и всё-таки величественная постройка. Эта тема по характеру напоминает тангейзеровские. Вот и всё, что я могу сказать об этой увертюре.

Покончим, наконец, с Вагнером. Я уже сообщал Вам "конфиденциально", что не Вагнер – мой любимый композитор. Любимые – Брамс, Берлиоз, Дебюсси, Скрябин.

...Ещё несколько последних слов о Вагнере. В не очень многочисленном кругу знакомых я довольно часто встречал женщин – любительниц музыки, страстных поклонниц Вагнера. И ни разу не встретил женщины, которая любила бы Брамса. Помоему, это не удивительно. В музыке Вагнера многое, наверное, импонирует женщинам. Например, одна из главных черт – её красочность. Она красочна, как, например, и музыка Римского-Корсакова.

В качестве анекдота. Ницше в своей молодости был другом не очень уже молодого Вагнера и восторгался его музыкой, а позже стал его врагом и ругал его почём зря. С пеной у рта он доказывал в своих книгах, что музыка Вагнера – женская, и что сам композитор – переодетая женщина. Последние десятилетия Ницше прожил во Франции, был одним из первых слушателей "Кармен" Бизе, одним из первых оценил, пришёл в восторг (чуть ли ни в течение полугода не пропускал ни одной постановки) и кричал, что вот это и есть музыка будущего, а не Вагнер.



Владимир Нестьев Вспоминая былое*



прошлом году журнал «Советская музыка» (ныне «Музыкальная академия») отметил 80-летний юбилей. И мне представляется своевременным вспомнить одного славного, но полузабытого сотрудника журнала – Григория Самуиловича Хаймовского.



Большинство редакционного коллектива всегда, естественно, составляли музыковеды и журналисты. Все же за восемь десятилетий было несколько композиторов (Кабалевский, Беринский, Грабовский) и, если никого не забыл, всего три исполнителя. Самым известным из них, да не обидятся на меня Виктор Аронович Юзефович и Виктор Аронович Лихт, был Хаймовский.

Он родился в 1926 году в Москве. Когда ему было три года, трагически погиб его отец, и двух детей (у Григория Самуиловича есть старшая сестра Екатерина) их мать поднимала в

* Материал впервые опубликован в журнале «Музыкальная академия», 2013, №4, с. 25-29.

одиночку. Григорий Самуилович учился в Елены Фабиановны Гнесиной и Якова Израилевича Зака и в 1950 году с блеском закончил Московскую консерваторию. Однако потом его не оставили в Москве, а распределили в Калининское педучилище, в сущности поломав его не успевшую начаться карьеру солиста. Калининские годы, правда, подарили ему дружбу с Николаем Николаевичем Сидельниковым, которого в 1951 году «сослали» на год в Калинин за «формализм», дружбу, с перерывами продолжавшуюся до конца жизни композитора. После нескольких лет прозябания в Калининне Хаймовский поступил в заочную аспирантуру Ленинградской консерватории, и в 1958 году перебрался в Горький, где стал преподавать в тамошней консерватории. Еще в Калининне началась его увлеченность французской музыкой. Позднее в студии Горьковской консерватории он записал полный цикл прелюдий Клода Дебюсси. В Горьком же он часто выступал в филармонических концертах. На одном из них побывал заезжий гость из Франции, солист Парижской оперы Жан Жиродо (у него были гастроли в СССР). Ученик Хаймовского Олег Мильман рассказал, что после концерта певец произнес нечто вроде: «Он *так* играет Дебюсси, что ему надо ехать в Париж и показывать французским пианистам, как исполнять эту музыку»...

Только в 1963 году Хаймовский вернулся в Москву, продолжая работать наездами в Горьком, где помимо преподавательской и исполнительской деятельности, вел ежемесячную программу на телевидении, посвященную современной музыке. Примерно к этому времени относится его первое знакомство с творчеством, практически никому тогда в СССР не известного французского композитора Оливье Мессиана (1908-1992). Первопроходцам всегда бывает трудно. Тем важнее помнить их имена. Знакомство с Мессианом в СССР произошло всего 50 лет назад, однако многие не помнят имя человека, который первым стал исполнять произведения композитора в филармонических залах, сделал несколько записей на пластинки, опубликовал несколько статей и даже подготовил первую монографию о композиторе – Григорий Самуилович Хаймовский. Когда в 1966 году он пришел работать заведующим отделом исполнительского искусства в журнал «Советская музыка», он уже был известным исполнителем и автором. Помню, как у меня дома особо отмечали как знаменательное событие приход нового сотрудника. К 1966 году относится и возобновление дружбы Хаймовского с Сидельниковым. В последующие годы композитором были созданы два произведения специально для

Хаймовского – «Русские сказки» (1968) и «Мятежный мир поэта» (1973). О первом сам Николай Николаевич написал в письме: «Гриня! Всегда помню (помни и ты), что ты был инициатором... этого сочинения». Второе было сочинено по заказу Хаймовского. Николай Николаевич принес ему партитуру, они обсуждали детали исполнения, в частности, партию рояля, однако принять участие в исполнении этой симфонии для баса и камерного оркестра Григорию Самуиловичу тогда не довелось. Еще раз дружба двух музыкантов возобновилась в 1989 году. И вновь Хаймовский стал продюсером на сей раз фортепианных сочинений Сидельникова – Двенадцати Этюдов-впечатлений для рояля «Америка-любовь моя» и «Симфонии-сонаты для фортепиано соло – «Лабиринты» по мотивам древнегреческих мифов о Тезее в 5-ти частях.

В конце 1960-х годов деятельность Хаймовского получила новый импульс, когда он вступил в Камерный ансамбль солистов Всесоюзного радио и телевидения под руководством А.Корнеева. С его подачи Ансамбль исполнил ряд произведений советских композиторов, в том числе Н.Сидельникова, А.Шнитке, Б.Тищенко.

Но вернемся к Мессиану. В 1965 году Хаймовский опубликовал первую в СССР статью о композиторе (в том же октябрьском номере журнала была напечатана статья о Мессиане Ю.Холопова). С 1966 по 1971 год исполнил основные его произведения, написанные на то время, – «Видения Аминя» (в дуэте с Исааком Кацем), «Нагави» (с сопрано Ниной Чередниковой), «Квартет на конец времени» (с Марком Барановым, скрипка, Виктором Симоном, виолончель, Владимиром Тупикиным, кларнет), «Экзотические птицы» (с Камерным ансамблем Всесоюзного радио и телевидения под управлением Геннадия Рождественского), «Турангалила-симфония» (с Государственным симфоническим оркестром СССР под управлением Евгения Светланова), «Три маленькие литургии» (с Камерным оркестром Литовской филармонии под управлением Саулюса Сондецкиса), «Каталог птиц», «Ритмические этюды». В 1970 году фирма «Мелодия» выпустила первую в СССР грамзапись музыки Мессиана – «Квартет на конец времени» в исполнении упомянутых музыкантов. Еще до этого, в 1968 году, издательство «Советский композитор» заказало Хаймовскому первую в СССР книгу о композиторе «Оливье Мессиан». В 1970 году 270 страниц текста были сданы в издательство, однако книга не вышла в свет по идеологическим причинам.

В начале 1972 года Г. Хаймовский получил благодарственное письмо от Мессиа́на, которое хранит как драгоценную реликвию. В нем мэтр, в частности, писал:

Париж 22 декабря 1971 года

Уважаемый господин!

Я не могу найти слов, которые могли бы выразить мою огромную благодарность Вам.

Я получил Ваше замечательное письмо, все программы и афиши, также как рецензии и статьи, большинство любезно переведенные на французский Вашей кухней. Я также получил красивую медаль, которая меня взволновала до слёз, и Вашу замечательную пластинку «Квартет на конец времен». Спасибо также за великолепные цветные репродукции фресок и икон Михайловского собора в Москве. Особое спасибо за то, что Вы преданы делу ознакомления с моими работами в России и Литве, а именно с моим Квартетом, Экзотическими птицами и Тремя маленькими литургиями, и за то, что Вы сами играли на рояле в этих произведениях. Спасибо за фортепианные концерты, где Вы познакомили с моими Прелюдиями, Этюдами ритма, Взглядами на Иисуса-ребенка и Каталогом птиц. Я также вижу, что уже давно Вы объясняете и комментируете устно и письменно мои произведения, и я узнал с радостью, что Вы подготовили книгу о моей музыке: всё это ещё удваивает мою признательность!

Ещё раз с благодарностью, великим восхищением и выражением моей преданной дружбы.

Оливье Мессиа́н

В конце 1972 года Хаймовский эмигрировал в Израиль. Редакцию же «Советской музыки» он покинул за полгода до этого, уйдя «в никуда», не желая ставить под удар коллектив и руководство журнала. В Израиле Григорий Самуилович был профессором в Академии музыки Рубина и солистом Израильского радио. Выступал с Израильским симфоническим оркестром, в частности, с израильскими премьерами Мессиа́на («Три маленькие литургии», «Экзотические птицы»). В 1977 году он переехал в США, где со временем стал профессором Нью-Йоркского университета. По просьбе руководства вуза он создал Камерное музыкальное общество, которое за 10 лет его руководства дало около 40 концертов современной музыки мира. Значительное внимание было уделено русской музыке, были исполнены произведения Ю.Свиридова, Б.Тищенко, Б.Чайковского, Н.Сидельникова, С.Слонимского, и др. В 2001 году Григорий Самуилович ушел в отставку, переключившись в основном на писательство. За прошедшие годы он выпустил

несколько книг прозы, монографию «Мессиа́н в моей жизни» и автобиографическое эссе «В поисках острова Радости». Далее следуют отрывки из этого эссе (так сам автор характеризует жанр книги, в которой 312 страниц).

В Горьком в начале 1960-х годов я начал новую огромную работу – открытие материка «Оливье Мессиа́н». Произошло это мое знакомство случайно. Еще до переезда в Москву, бывая в столице, я заглядывал в библиотеку Союза композиторов. В основном в поисках новых изданий композиторов XX века для моей горьковской телевизионной серии «Музыка мира сегодня». Библиотека получала новые издания чуть ли не всех стран. Однажды, проглядывая каталог, я натолкнулся на не известное мне имя, которое прочел как „Мессия“. Это имя, почти нелепо звучащее в советских обстоятельствах, захватило мое воображение. Я попросил показать мне имевшиеся ноты... Каково же было мое удивление, когда, только глазом скользя по партитурам, я почувствовал (не могу сказать услышал, так как гроздь мессиа́новских аккордов зависала один над другим, и ухо, не тренированное в этой системе, не брало реальное звучание), что имею дело с чем-то *необыкновенным*.

Получить на руки ноты эти я не мог... И попросил жившего в Париже мамино́го брата Яню прислать мне все издания произведений этого композитора. С оказией он прислал мне не менее десяти бандеролей — ноты, книги и пластинки Мессиа́на и Дебюсси. С того времени я начал мою длившуюся почти десять лет работу над Мессиа́ном...

Я стал разучивать одну партитуру за другой. Ох, и досталось же мне! Расплетать мессиа́новские лады, «необратимые» и «добавленные» ритмы... Но главное: красота музыки всплыла. И явила себя в той *величавой надмирности*, которой не обладала никакая другая страница музыки моего времени. Несколько озадачивали названия вещей. Весьма смущали авторские объяснения, его религиозные пассажи. Я-то ведь жил в безбожной стране...

Итак, я начал еще раз, заново учиться играть на рояле. Если общефортепианная школа, полученная мной в Московской консерватории, претерпела кардинальное переосмысление и перестановку технических и эстетических акцентов при встрече с Дебюсси, то здесь, встретив мессиа́новскую концепцию технического использования клавиатуры, регистров рояля, педали, динамики, не говоря уже о ритме, гармонии, полифонии, – здесь

мне пришлось полностью закончить курс моей собственной школы.

В России в то время не было ни одного специалиста по Мессиапу, кто бы мог мне помочь. Я буквально вонзился в мессиаповский репертуар. Мне хотелось играть все, что он написал. Музыка эта околдовала меня. В мои тридцать пять лет я казался себе сформировавшимся музыкантом. Но встреча с Мессиапом поставила многие, представлявшиеся решенными проблемы заново. И в человеческом, и в чисто музыкальном плане явление Мессиапа застигло меня врасплох...

Оглядываясь назад, без преувеличения могу сказать: Оливье Мессиап пришел ко мне, чтоб дать мне крылья для взлета, и я ими воспользовался.



Несколько позже, играя музыку Мессиапа для публики, я понял, что и она всякий раз — особенно при первом знакомстве ощущает себя застигнутой врасплох. Мои современники в советской России, принимая ли, отвергая ли, погружая ли себя в музыку или скользя по поверхности новой звуковой реальности Мессиапа, в момент исполнения ощущали себя в иных звуко-цвето-пространственно-временных измерениях.

Не могу удержаться от дилетантской метафоры: это происходило, как если бы обществу физиков и математиков, возвращенных в середине XIX века на идеях Ньютона, вдруг предложили для осмысления и практического использования знаменитую формулу Эйнштейна. Оставлю на момент чисто сонорное напряжение Мессиапа и его ритмы. Напомню его темы,

сюжеты: Бог, Вера, Природа, Космос, Ориентальная духовность, Время (как философское понятие)... Если *Бог* и *Вера*, запертые у нас на замок, еще подспудно заявляли о себе в исполнявшихся творениях европейской и русской музыки, — что было делать, не закрывать же совсем Баха, Брамса, Рахманинова, Чайковского! — если *Природа* как декорум к жизни человеческой звучала и у русских композиторов, то ни образов *Космоса* в *персонафицированном виде*, ни ориентальных древностей как заговоривших сфинксов, ни — и это важнейшее(!) — *Времени*, ставшего как бы от первого лица говорящим актером, не существовало в музыкальной культуре СССР...

...И вот одним Богом посланным мне днем я открыл «Квартет на конец времени» О. Мессиана. Дня точно не припомню, но случилось это где-то зимой 1964 года... К тому времени я уже знал из довольно, правда, скудной французской литературы о Мессиаане о его непроторенной дороге в музыке, о его пути на фронт Второй мировой войны, о его пленении немцами и о содержании в концентрационном лагере в Силезии под Герлицем... Не нужно было иметь выдающееся воображение, чтобы представить себе концлагерь с вышками, с колючей проволокой, со сторожевыми собаками, с пулями в затворах автоматов, не выпускаемых охранниками из рук... Неуютно, порой, верно, страшно. Смерть нависала над всеми пленными французами, бельгийцами, голландцами...

Уж как там доискалось немецкое начальство лагеря, что среди тысяч военнопленных находится большой композитор, но факт фактом, он получает нотную бумагу и карандаш. И *там* он пишет свой Квартет, и *там*, «в сердце несчастья и ужаса», как сам Мессиаан скажет позже о Герлице, он начинает его «Утренней литургией птиц». Какой личностью должен был быть человек, чтобы совершить подобный подвиг! Только такой, которая завершит через сорок лет свой творческий путь к Богу оперой «Святой Франциск Ассизский».

Еще больше, чем личность композитора, меня потрясла музыка — такая французская в мелодических пассажах и вненациональная, «надмирная» в своих протяженностях и временных пропорциях. «Надмирность», как бы вознесшая сочинение туда, где, казалось, никто еще не бывал, не ведал ни бедствий единичной личности, ни тысяч... А чем еще мог ответить великий художник, для которого вера в Бога и вера в силу искусства сливались воедино, на вызов низкого земного ничтожества? Вызвать его на духовный поединок? Для любого честного поединка нужен равный соперник. Гитлеризм не мог

быть равным соперником подлинному христианству, нашедшему в XX веке в Мессиае своего величайшего пророка.

В этом Квартете Мессиае не травмирует нас ужасами войны, не душит нас состраданием к жертвам, не жалеет никого, не оплакивает и не обольщает грядущим. Он обращает нас к вечному – тому, что не вмещает ни одна единичная биография, тому, что сущностнее нас всех взятых воедино – к Богу и бессмертию души, воплотившихся в его Вере. Мессиае в Квартете одинаково далек от русского художественного реализма и западного романтизма всех его разветвлений. Он как бы надэстетичен, весь – один высоко парящий дух. Кто знает? Скольким этот «лунатик», каким он мог казаться в концлагере, спас жизнь, принеся им «инопланетную» *Правду*, отвратив от земной безысходности.

Музыка Мессиае, исполненная на открытом воздухе в жуткий мороз, среди тысяч заключенных, при очевидном непонимании немцев *мессиаанства*, происходящего на их глазах, музыка, не заряженная никакой идеологией – лишь одной силой «в Бога верую!» – воспевала *Надежду для всех*, сеяла на пепелищах человеческих душ новые семена будущего цветения, чему залогом был утренний хор птиц...

Таким был Квартет Мессиае для меня, и таким я хотел донести его до первых слушателей Московской премьеры, состоявшейся в Малом зале Московской консерватории 6 мая 1968 года.

А за несколько лет до этого мне довелось написать о Мессиае...

Еще в Калининне я начал пописывать рецензионные статейки в местных газетах. Писал я очень плохо, но меня, видно, за неимением лучшего, печатали. Будучи в аспирантуре, я написал диссертационную работу о фортепианном Дебюсси (одна часть ее увидела свет и понравилась музыкантам). Короче, некоторая тяга к письменному столу во мне жила давно. Не знаю, что меня подвигло, но в одно зимнее утро в Горьком я начал писать «нечто» о «Детском уголке» Дебюсси. Кончив работу, я показал статью профессору Маранц, которая нашла ее незаурядной. Мало того, не сказав мне ни слова, Берта Соломоновна послала статейку своей бывшей ученице – тогда заместителю главного редактора московского многочитаемого журнала «Музыкальная жизнь». Катя Добрынина была моей соученицей по Московской консерватории, где она занималась музыковедением.

Я забыл о статье. Ученики, концерты, в то время я проводил ежемесячные передачи на горьковском телевидении –

время летело, закручивая меня в вихре дел. И вдруг... приходит номер журнала с моей статьей и чудной поздравительной припиской от Кати. Казалось бы, эпизод исчерпан. Но не того, видно, хотела моя судьба. В 1965 году неожиданно я получил приглашение от тогдашнего заместителя главного редактора другого московского журнала «Советская музыка» Юры Корева (тоже моего однокашника по годам учебы в консерватории) зайти к нему на улицу Огарева, где помещалась тогда редакция. Разговор вышел теплый, но прежде всего деловой: смогу ли я написать первую в советской музыкальной истории статью об Оливье Мессиаане? Я похолодел от ужаса, но не отказался. Договорились, что материал мой прибудет через два месяца. Работал я серьезно, понимая ответственность: привлечь – впервые в России! – внимание музыкантов к французскому гению и не навлечь на журнал бед за мессиаановский модернизм и еще хуже католицизм. Я ходил по болоту: везде проваливающиеся кочки, а между ними засасывающая жижа...

Статья поспела вовремя. Я отослал ее, а сам уехал отдыхать в Феодосию. Не забуду того дня, когда почтальон принес мне письмо из редакции, что статья принята и идет в печать. Не забуду и того, *как* я держал в день выхода журнала эти толстую книжку! Теперь, перечитывая статейку, я нахожу ее пустоватой. Но и сегодня сознание того, что это было *первое* развернутое слово о великом композиторе в такой музыкальной и огромной стране, как СССР, возбуждает мою гордость...

Не знаю, Дебюсси или Мессиаан помогли, а может быть, совпадение случайностей, но фортуна стала оборачиваться ко мне лицом... Раздался звонок – Корев просил меня срочно приехать к нему. Я не заставил себя ждать. Не успев закрыть дверь кабинета, Юра как-то нелюбезно, нервно мне говорит: «Готов принять работу в журнале?» Я остолбенел. Он, не давая опомниться: «Должность заведующего отделом исполнительской критики»... У меня язык отнялся. Я робко говорю: «Я же пианист, я не умею». – «Научись, – был ответ, – берись сейчас же». Потом, смягчившись, уже по-товарищески спрашивает: «Ты что сегодня вечером делаешь? Приезжай к нам, поболтаем, закусим».

Вечером дверь мне открыла Катя (Добрынина и Корев были мужем и женой, и оба в своих музыкальных журналах – самых важных в СССР – были заместителями главного редактора), потому что Юра углубленно, засучив рукава, разделявал котлеты по-киевски. Встретили они меня таким теплом, какое не забывается никогда. А ведь прошло не менее пятнадцати лет после нашего окончания Московской консерватории! И где их жизнь

пролежала – рядом с московскими элитарными музыкантами, уважаемыми членами Союза композиторов СССР – и где моя?!.. Чего только не коснулись мы в этот вечер!.. Как бы там ни было, Катюша Добрынина, именно она, вытащила меня из провинции.

Позже уж мне передали, что и инициатива приглашения в журнал «Советская музыка» исходила от нее... Милая, красивая, умная Катя! Когда я это пишу, тебя который год уж нет на свете... В свое время о тебе написали статьи-некрологи; я – нет, меня уже не было в СССР. Вот сейчас, в Америке, сидя за моим письменным столом, склоняю голову в твою память... Спасибо тебе, слышишь, Катюша?! Ты вернула меня в главное русло музыки. Понимала или нет (думаю, понимала), ты вернула мне мою Москву.



Третьей премьерой Мессиана в Москве, сыгравшей решающую роль в принятии его Россией как величайшего из титанов XX века, стало исполнение «Турангалила-Симфонии» 8 мая 1971 года.

К тому времени были уже опубликованы две мои статьи об этой музыке. И, конечно, несколько человек слышали это сочинение в записи. Но, не говоря уже о публике, большинству музыкантов Москвы это творение века оставалось совершенно неизвестным. Поэтому забавно прозвучали слова Евгения Светланова, ставившего «Турангалилу» в своем коллективе, Государственном симфоническом оркестре СССР, обращенные ко мне на первой репетиции. Переведя взгляд с музыкантов на меня,

Женя (как я знал его еще со времени Гнесинской школы) неожиданно пробасил: «Ну, а теперь мы попросим Гришу рассказать нам вкратце об этой симфонии». Я смутился на минуту, но одолел робость – шутка ли, более ста музыкантов столичных вперились в тебя – и что-то более-менее внятное изрек, втайне проклиная эту импровизацию. К счастью, музыканты в то утро оказались настроены хоть и саркастически, как и положено оркестрантам знаменитого коллектива, но дружелюбно. Я, конечно, не развеял их сомнений по поводу того, что им предстоит изобразить космическую любовь и несущееся в вечность время, отраженные в санскритском словосочетании «Туранга-лила», но, несомненно, позабыл еще одной байкой...

Но вот Светланов взмахнул палочкой и... все слова потеряли свое значение, ибо в Большой зал консерватории, где проходила репетиция, вошла Большая Музыка. Это почувствовали все. Стало как-то легко, радостно. Трудности словно бы преодолевались сами собой...

Вечер тот стал триумфом Мессиана. Я уже не помню, сколько было вызовов. Светланов, создавший в России первый образ этой эпохальной симфонии, ни разу не вышел на вызовы один... Женя, каким я его помнил с детства, остался тем же: щедрым, открытым добру... Обняв на сцене и поцеловав меня, он таким образом выразил свою благодарность мне, принесшему ему первому из всех русских дирижеров мессиановскую партитуру. В артистической же творилось нечто буйственно-несусветное. Зал-то ведь был набит музыкантами, композиторами, дирижерами! И все это стремилось выразить себя... До сегодняшнего дня чувствую боль от ноги покойного теперь Кирилла Кондрашина, который отдал мне стопу в раже прорваться к Светланову...

С «Турангалилой» Мессиаан словно бы ворвался как световая комета в суровые сумерки русской музыки середины XX века. Критик писал после премьеры: «Турангалила» имела поистине ошеломляющий успех, основной источник которого я бы определил двумя словами: “радость открытия”... Аудитория вдруг обнаружила совершенно особый, неведомый музыкальный мир, который обрушил на нее лавину непривычных образов и красок» (*Шохман Г.* Примечательное событие // Советская музыка. 1971. № 8).

Я был горд. Непредвзятого слушателя явление Мессиаана должно было, по крайней мере, озадачить, заставить задуматься, начать заново рассматривать шкалу эстетических ценностей, сравнивать, сопоставлять...

Откуда в проклятом, насквозь фашизированном XX веке мог явиться художник, все творчество которого, говоря о его главных работах – одна «Ода Радости»?! Откуда в совершенно обезверившемся времени такая Вера?! Откуда такой интерес ко всем иным детям человеческим: к японцам с их древней «Гагаку», к латиноамериканцам с их старинными песнями «Любви и Смерти» (Nagawi), к американским индейцам с бескрайним эхо их каньонов?!

Мессиан – француз – музыкой своей вышел за пределы родной почвы и даже, быть может, испугал (хотя бы поначалу!) мускулами неженственной Музы своей французскую музыкальную Традицию. Но не это главное: он сознательно, намеренно, подобно Гулливеру, взял и тряхнул как следует всю эту человечью Лилипутию с ее вечными войнами из-за тупого и острого конца куриного яйца, войнами и напыщенными притязаниями на первенство одного народа перед другим, войнами за эдакое лилипутское мессианство, ведущее глобальное «лилипутство» (читай – человечество) к страданиям, к Холокостам и прочим бедам. Он стал выше истории своего дня... Мессиан – христианин в самом точном смысле этого слова. Вся его жизнь – служение образам Иисуса и Марии, в идеале – высшей человечности. Его птицы поют осанну и дают утешение страждущим в Вере. Мессиан *родился* в Вере. Он никогда не метался в поисках ее и не менял ее... Не оплакивал никого и не восхвалял никого, кроме Бога; не ограничивая себя никакой «историей своего дня», Мессиан как музыкант-философ поднялся на высоту в XX веке, не осиленную никем...

В этот период я написал книгу о Мессиане. Готовая рукопись, отосланная в издательство, с которым я имел формальный договор на издание, получила две удивительно хвалебные рецензии от референтов. Но третья – важнейшая – была резко отрицательна и требовала идеологической переделки книги с... осуждением всего религиозного мировоззрения Мессиана (только-то!). Разумеется, я отказался переделывать книгу. Рукопись так и осталась в издательстве «Советский композитор»...

В последнем разделе неизданной книги мы читаем следующие строки:

«Мессиан отказался страдать вместе с униженными и оскорбленными. Он пошел дорогой поисков альтернативы. Ему казалось, что в окружавшем его мире, где измельчали все духовные ценности, нужно не оплакивать, не кричать и, уж конечно, не смеяться, не иронизировать: необходимо

сосредоточиться на главном, что утеряно людьми, – на проблеме *нравственного единения*. Во имя этой цели стихийно или сознательно им была столь высоко вознесена идея абсолютной (“фатальной”) любви. Художнику понадобилось в гиперболической форме, к тому же в самой фантастической экипировке представить символическую концепцию, которая даже после “Тристана” и “Пеллеаса” должна была ошеломить своей неумирающей силой сознание слушателя»...

В заключение приведем содержащиеся в воспоминаниях певца Сергея Яковенко сказанные ему слова Евгения Светланова: «Гришенька – гений; когда мы учились в Гнесинской школе, нас с Геней (Рождественским) слышно не было – все лавры ему... А как он играл со мной и Госоркестром впервые в России Мессиана в Большом зале консерватории! Ведь фактически он открыл и для меня, и для музыкантов оркестра, и вообще для российских слушателей этого композитора».

В настоящее время маэстро, которому на днях исполнилось 88 лет, живет в своем доме в Йорктауне в штате Нью-Йорк со своей женой Кирой и продолжает работать как писатель.



Лазарь Фрейдгейм

Памятники архитектуры и жизнь в среде памятников



Проблема отношения к старым сооружениям как к памятникам ушедшего времени возникает повсеместно. Реставрировать? Реконструировать? Ремонтировать? Консервировать? Перестраивать?.. – все варианты подходов перечислить невозможно. Особенно важны эти вопросы для старых мегаполисов. Эта статья - не критика, это не предложения. Это – озабоченность, боль и эмоциональные вопросы...

Памятник, как правило, понятие музейное. Требуется беречь, ухаживать, «сдувать пылинки». Можно ли обеспечить музейный режим жизни архитектурного памятника, включенного в реальную структуру современного города? Особенность архитектурных памятников – их неотделимость от среды, среды обитания, которая не может окаменеть, законсервироваться. Среда повсеместно непрерывно видоизменяется, что порождает животрепещущие проблемы жизни людей в контакте с Домом (умышленно пишу в этом контексте с большой буквы). Дому нужно выжить в постоянно изменяющемся мире, и человеку жить в нем, использовать его в повседневной жизни. А это уже не музей!

Для затравки начну не со столичных проблем, где о них обычно мало говорят вслух. Хотя для Москвы, например, это большая и больная тема. Только за последние два десятилетия в Москве были снесены сотни исторических зданий, и десятки были подменены новоделами. Начну с примера благостного небольшого почти патриархального района Лос-Анджелеса, крупнейшего мегаполиса Калифорнии. Прогуливаясь или проезжая по тихим улицам старых районов Лос-Анджелеса, например, Санта-Моники, можно периодически увидеть щиты и транспаранты: **«Историческая застройка? Голосуйте против!»**. В очередной раз власти обсуждают законодательные инициативы, запрещающие снос и перестройку старых сооружений. В ответ – демонстрации, пиаровские акции: поддержать или отклонить. Всеобщим голосованием достигается видимость решения, но

проблема не исчезает. В Лос-Анджелесе - дом 1920-х годов, построенный, например, по проекту Джона Байера, - памятник истории. Замечательное место, великолепный внутренний дворик с большим бассейном. Внутри дома - переплетение маленьких комнат с узкими проходами и низкими потолками. Владельцам не дано право что-либо перестраивать. А как жить сегодня состоятельной семье в таком многомиллионном особняке? Подобные проблемы могут возникнуть применительно к особняку Ллойда Райта, домам академика Жолтовского или жилым кварталам Корбюзье.

Тбилиси. Стою на вершине горы Мтацминда и любуюсь панорамой старого города, формировавшейся веками. Черепичные крыши и вьющиеся ленточки улиц. Вид божественно хорош. Я не удерживаюсь и начинаю эмоционально вслух восторгаться захватывающей картиной. Мой приятель, житель этих районов, нервно переминается с ноги на ногу. А потом ворчливо говорит: «Представь, как моей матери каждый день принести с базара продукты, ходить в магазин... Ты можешь на машине подъехать к дому и оставить машину у подъезда. А нам надо все тягать на руках». Хорошо – прогуливающемуся туристу, медленно перемещаясь, вживлять себя в такую красоту, хорошо ехать на неспешной арбе XVII-XVIII века, а сегодня – в начале XXI века?

Отмечу одну существенную разницу в жизненном восприятии владельцем архитектурного памятника или, например, музейного полотна. Владельцу Рембрандта не придет в голову повернуть полотно нарисовать нечто новое, современное. Даже в угоду тяжести воздействия сюжета или любви жены к постмодернизму. При несоответствии с возможностями и вкусом обладатель исторической ценности может продать ее музею, выставить на аукцион и на вырученные деньги приобрести нечто другое, соответствующее новым вкусам и желаниям. Выход приемлемый для всех: не страдает историческая ценность, удовлетворены потребности владельца. Это не безвыходная тюремная камера («золотая клетка»), а поле возможностей... А старый дом? Где тот музейный покупатель, компенсирующий историческую составляющую? Возникла старая аналогия с таможенными требованиями к советским эмигрантам: запрещался вывоз вещи под предлогом музейной ценности, но ни один музей или госхранилище не предлагали приобрести изделие. Где выход, соответствующий новым вольным желаниям и потребностям владельца?

Пространство современных городов застроено, как правило, сплошь. Застройка всегда консервативна, а жизнь и быт

изменяются во все увеличивающемся темпе. Эта разномасштабность неизбежно создает труднопреодолимые проблемы. Время превращает сооружения в памятники. Если умозрительно представить себе, что какой-нибудь городок может без перестроек просуществовать пару сотен лет, то можно без сомнений представить его как историческую ценность вне зависимости от качества построек. Изменяющиеся условия жизни превращают дома в лачуги, хоть, может быть, и большого размера. Вновь задаем вопросы: Заменять? Обновлять? Сохранять? Ответ на первый взгляд естественно прост: подходить выборочно. Но со временем накапливается все больше выборочно выделенных сооружений, которые хотелось бы сохранить, и приходится искать другие решения. С другой стороны, субъективные решения приводят к потере неординарных сооружений, которые хотелось бы сохранить. Особая опасность в том, что право выбора очень персонифицировано, а порой просто узурпируется властью имущими, решения которых исходят вовсе не из художественных и исторических требований.

На короткие мгновения присвоим себе могущество властелина времени и повернем, например, московскую жизнь вспять. Подобно архитектору-реставратору снимем наслоения веков с города. Вернемся во времена не столь древние по европейским меркам, ну хотя бы перенесемся в царствование Ивана IV, привычно обзываемого Грозным. Вертикали кремлевской колокольни и собора Покрова на рву. В верстах пяти крепостные стены Спасо-Андроникова монастыря с одноглавым Спасским собором и малозаметными кельями. Уже за городом, на юго-востоке - в Коломенском и Дьякове, новые шатровые колокольни церквей Вознесения и Иоанна Предтечи. А на остальном пространстве – не густо посеянные барские поместья да хаты холопов. Ничто не тронут временем. Только радуйся! Даже невозможно огорчиться отсутствием златоглавых куполов XVII-XVIII веков, ансамблей в стиле классицизма. Нет зданий Шехтеля, сооружений времени конструктивизма. Нечего говорить об опекушинском Пушкине или андреевском Гоголе. Всему этому как бы не было места и не пришло время в мысленно воссозданной истории Москвы, не запятнанной перестройками последних пяти веков...

Прекрасен и редок XVI век в Москве, но не менее украшают ее постройки модерна или конструктивизма. Приходится мириться с тем, что время не позволяет сохранить полностью все достижения прошлого. Можно сохранить архитектурную подлинность (в большинстве случаев тоже условно

– материалы имеют ограниченный срок службы), но невозможно сохранить окружающую среду, обстановку, этнографическую тождественность. Представьте себе даму в опере или на современной корпоративной вечеринке в наряде периода балов Екатерины II или в расшитом жемчугом чепце и сарафане. Даже в интерьере прошлых веков это будет выглядеть безвкусно. Замечательное платье невесты, - а это же платье для свадьбы дочери? Внушки? Хочется сказать - в музей! Но мы уже отметили, что реальный город это не музей.



Фиг. 1

Идеального подхода, вероятно, нет. В каждом случае приходится искать компромисс, учитывая все возможные Pro et Contra. Соответственно, каждый результат по разным оценкам оказывается со своими плюсами и минусами.

Облик города это не только здания и планировка районов и улиц, это вся совокупность жизни - с людьми, транспортом, снабжением, торговыми комплексами. В свое время восстановили уютный уголок стыка старых московских улиц Пречистенки и Остоженки с фрагментами утопающих в зелени особняков XVI-XVII веков (Фиг. 1). Приятно подойти к ним, взглянуть на входы, в значительной мере поглощенные приросшим за века культурным слоем земли, на возвышающиеся над крышей башенки изобретательно сложенных печных труб. Еще бы увидеть здесь традиционно необходимого в то время трубочиста!

Но жизнь того века другая, да и восстановленный фрагмент - по сути многоэтапный ново-стародел, так как за сотни лет руки мастеров неоднократно приспосабливали постройки под требования и нужды быстро меняющегося времени. Дело не только в сохранении старого наследия, но и в честности

реставрации. Стилизованные новые постройки «под старину» зачастую производят впечатление ряженых. Что является «настоящим», за что надо бороться? - эти вопросы постоянно инициируют споры.



Фиг. 2

Не является ли такой попыткой подмены старины – вида и быта – реконструкция, например, одной из улиц бывшей московской Рогожской ямской слободы, на которой внешне сохранен патриархальный характер улицы ямщиков XVIII-XIX веков (Фиг. 2). Только история названий этой улицы говорит уже о длинном пути. Первоначально во времена Бориса Годунова – Тележная, на плане 1739 года это Ямская-Рогожская улица, в XIX веке – 1-я Рогожская, с 1919 года – Школьная улица. История повсеместно многократно клеймила знаками времени площади, улицы, сооружения... После комплекса ремонтных работ, проведенных в 1970-80-х годах, улица стала по преимуществу пешеходной. Все комплиментарно красиво. Но стоит приоткрыть любую дверь парадного (приятно так назвать вход в старый дом), как ты попадаешь в грубо сляпанный блочный новодел. То ли «ряженые», то ли потемкинская деревня... Говорят, что это правильный контакт истории и современности. Такой подход можно воспринять как «туристическую» реставрацию, имеющую весьма отдаленное отношение и к истории, и к реставрации. При этом обращает особое внимание, что одновременно с этой «турреставрацией» аналогичная улица была полностью уничтожена при прокладке обновленной магистрали между *АНДРОНЬЕВСКОЙ ПЛОЩАДЬЮ* и Рогожской заставой.

Достоверность реставрации порой вызывает сомнения, и установить ее точность задним числом очень проблематично. Вспоминается процесс реставрации комплекса Крутицкого подворья. Изразцовая часть, Слава Богу, хорошо сохранилась. А

«реставрация» остальной части разновековых построек – фантазии на вольную тему. Несколько не связанных между собой строений после расчистки кладки стен были размечены краской в духе фрагмента прилегающего здания. Выровняли, подправили прорези оконных проемов, выложили новые наличники, оштукатурили – вот и дом XVIII века. А если озаботиться восприятием любознательного человека, не обремененного памятью о годах стилизации под старину, – только ложное представление о масштабе свидетеля многовековой истории города...

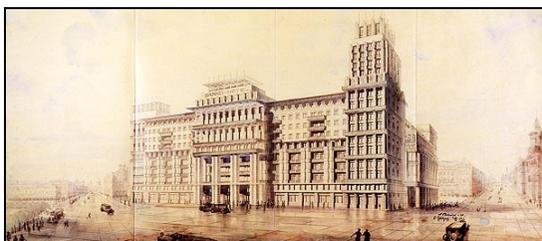


Фиг. 3

Градостроительной ошибкой сталинского правительства было решение о сносе храма Христа Спасителя. На этом месте не удалось построить помпезный и технически неосуществимый дворец Советов. Но почему при новом строительстве решили строить громаду архитектора К. Тона (Фиг. 3), а не изящный Алексеевский монастырь, стоявший на этом месте с XIV века? Хочется задать вопрос сторонникам рестроительства: что главное в таких решениях – политика политиков от архитектуры или архитектурная политика?

В самом центре Москвы заново построено здание гостиницы «Москва» в архитектурных образах 30-х годов прошлого века. Столь ли замечательно оно было, чтобы даже не объявить конкурс на новое архитектурное решение или, наконец, решение в стиле Охотного ряда XVIII-XIX веков? Ну или, как минимум, построить это здание по оригинальному проекту архитекторов Л.Савельева, О.Стапрана (Фиг. 4) без переделок, внесенных А. Щусевым по заданию политбюро ВКП(б) (боюсь, что многие молодые читатели уже не поймут весомость этой аббревиатуры)? Да еще и обогащенных гениальным первым

зодчим СССР И.В. Сталиным специфическим «выбором» вариантов одного из фасадов.



Фиг. 4

Многолетние горячие споры породил снос здания Военторга на Воздвиженке и замена его стилизованным архитектурным комплексом, фрагментарно напоминающим «Дом Экономического общества офицеров», построенный в 1916 году по проекту архитектора С.Б. Залесского в стиле позднего модерна. В контексте критики «исторического варварства разрушителей», хочу отметить, что многострадальный дом 1916 года был построен на месте усадьбы Матюшкиных-Базилевских, неоднократно перестраиваемой с середины XVIII века. А весь этот квартал на Воздвиженке в дополнение к указанному старому имению включал еще уникальное по красоте и «московскости» имение Разумовского-Шереметева, от которого сохранился до наших дней только фрагмент - «наугольный» дом. Так что если быть последовательным охранителем старины, то углубиться следовало совсем в другие архитектурные седины и отстаивать следовало бы совсем не здание Военторга...

Но такова уж разновековая Москва, что в каждый момент кажется непереносимым очередное изменение, а через полвека – век с не меньшим энтузиазмом и убежденностью случается изъясняться в любви к обруганному предыдущими поколениями сооружению.

Архитекторы без труда (а главное, без излишнего напряжения мысли) могут спроектировать что-либо в стиле былых времен, хоть римских терм или коллизеев (в зоне Средиземноморья в «Коллизеевковье» их было построено более полутора тысяч). В Америке, да и в старой Европе, таких проблем стилизации под старину, как правило, нет. Если сегодня возникает потребность в строительстве, архитектурное решение обычно воплощается в новых формах, которые будущие поколения, возможно, могут захотеть сохранить как символ времени строительства, как новое слово архитектурной мысли. Даже в такой трагической ситуации,

как разрушение нью-йоркских башен Всемирного торгового центра, было принято решение о строительстве на этом месте оригинального комплекса. Римейк не всегда удачен в сиюминутном искусстве кино, но почти никогда - в задумываемой на века архитектуре.



Фиг. 5

Музеи в неприкосновенности сохраняют свидетельства времени. С прицелом на будущее в современных американских музеях появляются экспонаты текущего времени: машины, телефонные аппараты, городские транспортные останки, картины, только что законченные художниками. Они сохранятся в неизменности, но только Богу известно, сколько других предметов, которые в дальнейшем будут признаны наиболее достойно отражающими своё время, не попадут в музейные залы при таком первичном отборе. Нельзя вместить всю жизнь в стены музеев, а со временем (всего-то немного более ста лет, а по отношению к важным событиям и того меньше) каждый фрагмент жизни и быта становится достойным музейного хранения. Когда-нибудь последние сохранившиеся с хрущёвских времен пятиэтажки станут предметом внимания и забот музейных работников. В отдельных квартирах постараются восстановить обстановку с малогабаритной мебелью, полочками, антресолями и стеллажами от пола и до потолка, заполняющими каждую свободную щель. Только безграничная изобретательность позволяла обеспечить быт многопоколенной семьи в малометражной квартире. От души всё же надеюсь, что будущие российские посетители такого городского музея будут дивиться аскетизму, а не роскоши быта лучших дней советской эпохи.

Могут ли показаться устаревшей городская старая застройка? Вопрос всегда спорный, в особенности, когда нужно принять не поддающееся потом исправлению важное решение. Полемиически, но без комментариев, привожу фотографию Васильевского спуска и, соответственно, вида на храм Василия Блаженного и Кремль со стороны Москвы-реки (Фиг. 5). Фотография сделана в 1931 году. Сегодняшний вид у каждого москвича (да и не только жителя столицы) в памяти...

Дом Пашкова, построенный в 1784 году архитектором В.И. Баженовым (Фиг. 6), – монументальный и одновременно уникально элегантный ансамбль, который порой можно воспринять как украшение сценической площадки. И еще одна проблема защиты памятников: замена окружения, поздняя застройка прилегающей территории – охранной зоны.

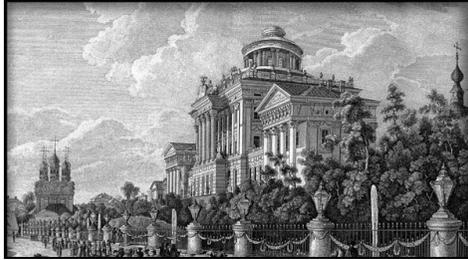
Читаем в старом путеводителе: Мы поднимаемся на бельведер дворца, расположенного на кромке одного из московских холмов. Вниз ярусами спускается регулярный парк, скрываясь нижним ярусом в пруде. Поражающий воображение архитектурно-парковый городской комплекс! Белые лебеди вальяжно проплывали вдоль неземной красоты зелени, расхаживали журавли и павлины. Толпами собирались здесь люди посмотреть на сад, на редких зверей и птиц. А там дальше – совсем не парковая красота: ансамбль московского Кремля.

Ваша память хранит адекватный этому образ ансамбля? Моя – нет! Само здание изменилось мало, но к нему добавились построенные поблизости в 1930-х годах корпуса библиотеки и хранилища. Изменились пропорции восприятия дома Пашкова. Нижние ярусы парка съедены наслоениями культурного слоя. Вода пруда ушла в грунт. Лебедей вытеснили машины... Добавились масштабные коробки прошлого века. Магия архитектурного произведения нивелировалась.

Взгляните на любой город: специально охраняемые сооружения распределены в пространстве, а между ними зияют разновременные дома, не привлекающие особого внимания. Памятник уже становится другим в новой обстановке. Для его восприятия в соответствии со временем создания нужна мысленная реставрация всех условий его возникновения. Иначе он уже будет до некоторой степени несовременен ни тому времени, когда построен, ни тому времени, когда воспринимается. Неизбежность, время...

С целью музеефикации во многих местах создаются национальные парки – резервации – куда переносятся наиболее интересные сооружения. В России заслужили славу, например,

Кижы, с десятком перенесенных туда деревянных построек старой Северной Руси. От такого решения невосполнимо страдает подлинность сооружения и окружающей естественной среды, но это спасает многое от неизбежной гибели. Истинный памятник – это совокупность собственно постройки и обстановки ее существования. Рельеф местности, виды, окружающая застройка, характер жизни владельцев – все это естественные составляющие каждого архитектурного проекта.



Фиг. 6

Когда мы пытаемся бороться за жизнь каждого старого дома, мы, естественно, признаем неизбежность смены обстановки – уходят люди, создавшие памятники, уходят люди, вдохнувшие жизнь в некогда мертвый камень, изменяется окружение и городской быт. Даже самый строгий ценитель архаики вряд ли будет требовать перемещения на тройках, воды из колодцев или водораспределительных колонок на пересечениях улиц, выгребных ям в качестве туалетов, больших многоходовых печей в качестве лежанок и для приготовления пищи. Что именно более важно исторически – черты быта или особенности сооружений – совершенно неочевидно. Сохранение же только фрагмента истории сразу делает хлипкими требования невнесения изменений.

Несколько лучше шансы на сохранение в неприкосновенности ансамблей, расположенных обособленно, например, таких, как подмосковное Архангельское или даже средневековые замки на берегах Луары. Такие ансамбли могут существовать в режиме, более близком к понятию музея. Но время и там неизбежно вторгается в те или иные детали. Чуть озорной пример.

На вершине горы замок, обнесенный рвом. Зуммер видеосканера – ближе-ближе, красота размеренного шага эркеров дополняется проникновением в их назначение. Сохранить в неприкосновенности? Все, как в давние рыцарские времена, ничто не должно быть подвержено изменениям времени? Боюсь, что

даже самый ревнивый охранитель старины невольно почешет затылок в сомнениях...

Мы часто относимся к привычным городским закоулкам как части жизни, как к живому организму. Это наш собеседник, участник размышлений и прогулок. солнце, и дождь не одинаковы для нас в разных условиях, в разной среде. Они участвуют в нашей жизни не абстрактно, они взаимодействуют со средой нашего обитания.

Попробуем продолжить цепочку сопоставления жизни человеческой и жизни камня. Человек рождается. Умиляет всех своей свежестью, необыкновенностью, как бы появляющейся из ничего. Человек развивается, порой одаривает нас открытиями своего интеллекта, изящества, красоты... Проходят годы... Естественность стареющего индивидуума перестает поражать, не появляются новые проявления откровений. Годы-годы-годы. И урна с прахом. Хорошая память, описания, воспоминания. Дети, и внуки с новым восприятием старых событий. Цикл жизни столь детерминирован, что было бы странно услышать протесты против этой неумолимости событий. Память живет, хотя уже материальной основы ее может и не проявляться...

Всякая аналогия условна... Человек живет, пока жива память о нем. Архитектура в своих лучших проявлениях может похвастаться этим же. О не вечности ее существования можно только высказывать сожаления. Мы привыкли не читать заклинания, когда видим, что человек стареет, яркий ум, красота угасают. Хотелось бы в каждом индивидууме продлить молодую подлинность, но при нашей небожественной власти над жизнью это невозможно. Может быть также нужно реальней подходить к предъявляемым жизнью требованиям изменений в тех областях, где ограниченность возможностей не столь очевидна.

Архитектура это тоже форма жизни. По принятым сейчас понятиям поколение это 20-30 лет. Стили архитектуры шагают последнее столетие примерно с той же размерностью. Да, вероятно, в этом и нет мотива для особого удивления. Архитектура рождается творцами, несущими особенности своего времени, своего поколения. Вы смотрите на сооружение, вы не знаете имени архитектора, вы даже можете не знать названия города, но вы чувствуете в каждом неординарном сооружении дух времени. На сколько лет-десятилетий вы можете ошибиться в оценке времени постройки? Вероятно, как правило, не больше продолжительности одного поколения (естественно, существует сдвиг времени в месте рождения стиля и в местах плодов творчества последователей).

Нет сомнений, что не следует без крайней нужды перестраивать или разрушать ранее созданное. Сохранение архитектурных памятников это в какой-то степени сродни работе пластического хирурга. Рука может коснуться только того, что дополнительно выявит красоту и достоинство объекта в высоком понимании его истинной природы. Аналогия может быть привлекательна еще тем, что оптимально существование земного творения без вмешательства «пластики». Ценен каждый дом. В особенности ценны – бесценны - сооружения тех периодов и стилей, от которых остались немногочисленные образцы.

Жизнь – и людей, и творений их разума и рук - не стоит на месте. Жизнь плохо поддается искусственному управлению. Судьба ансамблей, домов – памятников – тоже. Очень проблематично присваивать себе право судить предыдущие поколения и поучать последующие. Факел поджигателя и ружье защитника обычно оказываются одинаково слабыми средствами решения культурных проблем. Глобальные проблемы решает история. Поэтому, вероятно, надо спокойно относиться к тому, что в живом городе время вносит коррективы в ранее созданное. Жалко, но что поделаешь?

Хотелось бы мне отменить расставанья,
Но без расставанья ведь не было б встреч,
Ах, ведь не было б встреч никогда...

Взгляд на сохраненное историей успокаивает: есть чему радоваться и восторгаться. Нет глобально другого подхода, как поддаться течению времени со всеми плюсами и возможными минусами. Ну а обгонять время вряд ли перспективно. Нельзя лишать последующие поколения историков возможности находить жемчужины, открывать памятники архитектуры, бороться за их сохранение и реставрацию.

P.S. Справка: обожаю старину. Восторженно гляжу на старо-европейские города и российские храмы (даже на иллюстрациях). Дома – окружен старыми книгами, документами, журналами и газетами. Но понимаю сиюминутность и субъективность этого. У моего сына другое понятие и восприятие старого... Все очень лично.



Виктор Гопман

А нам всегда чего-то не хватает...



ачну с истории, относящейся к середине 70-х годов прошлого века, то есть к началу эпохи тотального дефицита. Ну, впрочем, корни этого явления, как и всего в стране Советов, можно проследить до ленинских времен, о чем свидетельствует хотя бы Бабель – возьмем, к примеру, концовку классического рассказа "Мой первый гусь":

- В газете Ленин пишет, - сказал я, вытаскивая "Правду", - Ленин пишет, что во всем у нас недостача.

И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь.

Перенесемся же теперь из Первой Конной в Первопрестольную, в год примерно семьдесят пятый. В магазинах еще есть кое-какая еда, да и ширпотребом в принципе можно разжиться, но вот чего не укупишь иначе как за двойной и более номинал – так это книги. Были, были такие времена, дорогие современники по 21 веку, когда спекулировать книгами было не менее выгодно, чем джинсами, когда грабители специализировались по домашним библиотекам, а продавщицы книжных и особенно букинистических магазинов чувствовали себя гранд-дамами, вели себя соответственно, и ни на какой козе к ним нельзя было подъехать.

И вот коллега (а у нее папа издательский начальник, а мама вообще преподает в Полиграфическом институте, так что достать любую книгу – нет проблем) рассказывает: "Дочка вчера выдала. Ее пригласила подружка детсадовская на день рождения и спрашивает: "А что ты мне подаришь?" Ну, ребенок, естественно, отвечает: "Книжку". А та вдумчиво так заявляет: "Это хорошо. Книжки сейчас такой диатез!"

К этой детской оговорке следует отнести со всей серьезностью, поскольку она лишний раз убеждает нас, что устами младенца глаголет истина – ибо диатез определяется как "аномалия конституции человека, характеризующаяся предрасположением организма к некоторым заболеваниям".

Недаром и диатез, и дефицит особенно страшно выглядят в сочетании с прилагательным "острый". Все меньше на свете людей, помнящих реальный российский кошмар самого конца восьмидесятых – начала девяностых. Когда магазины – и промтоварные, и продовольственные – были пусты. Причем что значит пусты? Это ведь не для красного словца, не фигура речи, а в самом буквальном смысле. Тотально и абсолютно голые полки. Как жили люди – понять невозможно. Не жили, собственно-то говоря, а исхитрялись. Мне, например, как человеку везучему, довелось в эти годы занимать должность заведующего международным отделом в некоем совместном предприятии. И не только в том счастье, что зарплата у меня была примерно втрое больше средней по стране – поскольку и за деньги практически ничего купить было нельзя. А в том дело, что у нас в СП были трое водителей – очень хитрованские ребята. Один работал по совместительству, не бросая (мало ли как обернутся дела) работу в цеховском гараже (сутки на черной "Волге" с индексом МОС – трое свободен). Другой пришел к нам из ОБХСС (в смысле, из ихней автоколонны), а третий – бывший таксист. У всех троих – фантастические связи по разным продовольственным базам, где они и доставали (не без переплаты, естественно) мясные и рыбные консервы ящиками. И ящиками же мы, сотрудники СП, закупали их для домашних надобностей. Кроме того, наш замдиректора по хозяйственной части (собственно говоря, завхоз) имел родственников в подмосковной деревне, и когда в округе резали корову или какую другую живность, то ему давали знать, он отправлялся в творческую командировку и привозил парное мясо на весь трудовой коллектив.

Был еще один, довольно странный и абсолютно атипичный источник продовольствия: наши приятели из Каунаса в рамках новой политической ситуации стали регулярно кататься за границу, к своим многочисленным литовским родственникам (и в Канаду, и в Германию, и попросту в Польшу, в конце-то концов). При всей общетеоретической политической свободе Литва на практике формально еще не стала независимым государством, и потому иностранные посольства по-прежнему находились в столице СССР. Значит, надо было приехать в Москву на два-три дня за визой. А потом еще и переночевать где-то накануне отлета – поскольку зарубежные рейсы выполнялись, естественно, только из Шереметьева. А семейство это было большое – папа, мама и трое сыночков, каждый выше папы ростом. То один поедет к заграничным родственникам, то другой. Стало быть, практически каждый месяц у нас дома кто-то гостил. И они привозили – для

собственного пропитания, но и нас чуток поддержать – ветчину окороками, сыр головами, и все такое. Плюс еще обожаемый мною темный литовский хлеб с тмином. Ну, слава Богу, яйца и картошка на московских рынках никогда не переводились, равно как и отдельно взятые виды овощей.



Визитная карточка покупателя

Но вообще-то советский народ был издавна приучен к постоянству временных трудностей, и потому умело изыскивал пути выхода из кризисных ситуаций, равно как и возможные варианты движения по обходным путям, дабы избежать попадания в кризис, яму, задницу и т.д. Недаром одной из любимых в народе песен была исполняемая незабвенным Роланом Быковым в "Айболите-66" – насчет того, что "нормальные герои всегда идут в обход". Именно этот, ко всему готовый народ придумал замечательное слово "авоська". Кто не помнит (Господи, неужто народилось уже счастливое поколение, которое не помнит этого!), так авоська – это такая сумка была, хозяйственная, из матерчатой сетки. В сложенном – собственно говоря, в скомканном – виде она без труда помещалась в кармане пальто и даже пиджака, не говоря уж о дамской сумочке. Идешь, стало быть, себе по улице и думаешь: "Авось набреду на что-нибудь полезное". И точно – смотришь, выносят двое магазинных грузчиков на улицу стол, и за ним утверждается продавщица. Прыг туда! Зачем выстраивается очередь, никто и не спрашивает. Потому что в дефиците все. Значит, и покупали не то, что нужно, а то, что удавалось урвать. На авось. Покупки и клались в эту самую авоську. А вообще-то хорошая авоська вмещала до пятнадцати кило картошки. Или двадцать рулонов туалетной бумаги – все равно больше "в одни руки" не давали, потому что это был один из дефицитнейших товаров.

И еще один способ борьбы с дефицитом: по месту прописки гражданам выдавались так называемые «Визитные карточки покупателя». С фотографией конкретного покупателя и соответствующей круглой печатью. Приходишь ты в магазин – а там масло сливочное на витрине! Однако маслице это – не для всех. Москвич, обладающий вышеназванной визитной карточкой, мог его купить, а вот гости столицы, которые без заверенного печатью документа, - нет.

Появление в продаже "товаров повышенного спроса" (вы будете смеяться, но действительно существовал такой официальный термин) обычно приурочивалось к общенародным праздникам, а также к концу квартала (реже – к концу месяца), когда в магазинах подводились предварительные итоги за данный конкретный временной отрезок и выяснялось, что торговый план недовыполнен. И народ топорщил ушки на макушке в ожидании чуда, в чем-то родственного чуду умножения хлебов и рыб. А начиная с двадцатых чисел декабря, народ впал в состояние повышенной боевой готовности, потому что близился к концу календарный год и возникала необходимость принимать экстренные меры по выполнению годового плана товарооборота. И меры принимались самые решительные. В открытую продажу (открытую для тех, кто имел время и силы выстаивать пятичасовые очереди) "выбрасывались" (а как вам нравится такой термин?) самые неожиданные вещи. Югославские костюмы, английская обувь, французские духи, датская вишневка. Впрочем, извините, это я хватил: вишневка (знаменитейшая "Cherry Herring") появилась на винных прилавках только в преддверии праздника воистину великого – 50-летия Великого же Октября. А в новогодней продаже бывали товары калибром поменее, но все равно очень нужные. И для дома, и для семьи, и даже для внесемейных отношений. От зеленого горошка до элегантных домашних туфель в клеточку, производства ГДР, включая "ненашу" косметику. (Да, кстати насчет ГДР – ведь есть читатели, которые и не знают такую страну. А это Германская Демократическая Республика, образованная в 1949 году по указу тов. Сталина на территории восточной Германии и прекратившая свое самостоятельное существование после объединения Германии в 1990 году. На общекошмарном экономическом фоне стран социалистического лагеря продукция производства ГДР была вполне ничего себе, и особенно товары широкого потребления.)

Вспомним и такую замечательную вещь, как спецталоны, выдававшиеся молодоженам и юбилярам, чтобы они могли

приобрести в спецмагазинах (принадлежащих к торговой сети с игривым названием "Весна") кое-что из праздничных носильных вещей и праздничных же продуктов питания. Партия и правительство все-таки понимали, что если не кинуть кость в такой торжественный день, то человек может и впрямь озвереть. Кость-то кидалась, но какая-то донельзя обглоданная. Обратимся опять-таки к личному примеру. Наша серебряная свадьба пришлось на сентябрь 1992 года, то есть на времечко куда как крутое. Ну, получили мы свои талоны и отправились в обход соответствующих торговых точек. И очень скоро убедились, что одежды и прочего ширпотреба там вообще нет. Ладно, нет – так и не надо (заметьте, что человек, прошедший в браке четверть века, приобретает в известной степени философский взгляд на многие вещи). А как насчет продтоваров? Это – пожалуйста. В единственном месте в Москве (в Столешниковом). Слава Богу, хоть по городу метаться не надо. Все, что имеется, имеется здесь и нигде кроме. Итак – два прилавка. Левый – еда, правый – питье. Справа каждому талонладельцу предоставляется право приобрести аж 25 бутылок водки. Но при этом надо принести на обмен 25 пустых бутылок. Да не шучу я! Какие шутки! Проверьте по другим каналам и источникам, коли не верите – хотя, если честно, я и сам не очень-то уже верю. Нет, все это было, было. Прав поэт Блок, провидчески писавший "И невозможное возможно..."

Что касается еды – то, слава Богу, был я тогда при деньгах, и потому, отстояв часовую очередь молодоженов и юбиляров, я не стал выбирать из предлагавшегося списка продуктов, а сказал просто: "Давайте все, что есть". Интересно, что у народа уже начались подвижки в сознании: стоявшая за прилавком девица не вызверилась на меня классово ненавидящей волчицей (ведь заказик-то тянул на сумму, эквивалентную ее месячной зарплате), а, напротив, улыбнулась и сказала: "Тут еще и развесные шоколадные конфеты имеются, по два кило на заказ – берете?" Конечно, взял.

А вот со спиртным дело дрянь. Ну, где раздобудешь 25 пустых бутылок? Напомним общую ситуацию: на данном этапе гласной перестройки уже введены талоны – на сахар, еще на что-то (правду сказать, не помню), а главное – на водку. Такое, значит, мудрое мероприятие в рамках горбачевско-лигачевского закона о трезвости и морали. Позволю себе небольшое отступление насчет этой самой ненавязчиво навязываемой морали. Трезвитесь, так сказать, бодрствуйте, ибо диавол ходит аки лев рыкающий, ища, кого поглотить [*Первое послание Петра*, 5:8]. Не будем про

общеизвестное: что американский сухой закон породил в стране, от канадской границы до мексиканской и от океана до океана, разветвленную систему продажи контрабандного (и, как правило, низкокачественного) зелья. Торговцев надо было охранять – от властей и от конкурентов. Так возникли специализированные отряды боевиков, умеющих только одно: стрелять. А когда отменили эту идиотскую Восемнадцатую поправку к Конституции США, то названные боевики, оставшись вроде бы не у дел, ухитрились стать самодостаточными формированиями, превратившись в ту самую американскую мафию, о которой создано столько фильмов и прочих художественных произведений. Естественно, что и советский сухой закон имел аналогичные последствия. С учетом российских масштабов и специфики: самогонка, наводнившая опустевший рынок, была не просто низкокачественной водярой, а откровенной отравой в буквальном смысле этого слова; что касается сопутствующих ей бандитов, то жестокостью и размахом деятельности они затмили Аль-Капоне; плюс ко всему, по инициативе государственных чиновников (то есть, самых главных и страшных бандитов) еще и вырубали виноградники, дабы вернее прикончить зеленого змея в самом его гнезде.

И еще одно последствие сухого закона: создание Общества трезвости. Начиналось все на очень высокой ноте – как гражданственной, так и административной. В смысле гражданственности тут же вылезли неизвестно откуда (а точнее говоря, очень хорошо известно, из каких именно щелей) борцы за чистоту духовного мира, первым делом разъяснившие, какая именно нация и с какой конкретно целью, да ведь причем уже который век, спаивает русский народ. А что касается административно-хозяйственных аспектов, то, воспользовавшись высочайшим покровительством, борцы за трезвость первым делом заграбастали роскошный особняк на улице Чехова в качестве штаб-квартиры, назначили себе нехилые оклады жалования и принялись спасать душаемое зеленым змием народонаселение от неминуемой гибели.

Начали они, как водится, с изучения зарубежного опыта, но, пригласив в гости первую в своей истории американскую делегацию, буквально накануне спохватились, что с иностранцами некому работать, и кинулись за помощью в ВЦСПС. Позвонили попросту, по-крестьянски (узнав телефон через справочную) в сектор США международного отдела и попросили посодествовать. И надо же так случиться, что я как раз в этот момент сидел у ребят в комнате и пил чай. (Чай, чай, в рабочее-то

время и под игом сухого закона!). Мужики мне и говорят: смотайся-ка с этими, на недельку, в Краснодар и Сочи, расслабься. Ну, я и поехал. Немало мне довелось видывать на своем переводческом веку, особенно в российской или среднеазиатской (уж и не знаю, что хуже) профсоюзной глубинке, но такого... Активисты этого самого общества были как на подбор: и по интеллектуальному уровню, и по манерам, а уж внешний вид – ваще (у трети – ссохшиеся рыльца язвенников, еще треть – недолеченные алкаши, если на непредубежденный взгляд, остальные же – просто чудачки на букву М без особых примет). Нахлебался я с ними – и сказать нельзя, во всех смыслах, кроме одного, того самого. Представьте только: ресторан пресловутой сочинской гостиницы "Жемчужина", едва ли ни самое злчное место во всей Стране Советов (по состоянию на то время), и в этом океане водки, море коньяка, винных реках и брызгах шампанского наш столик – единственный островок трезвости с тускло отсвечивающими боржомными бутылками.

Но вернемся к нашему повествованию. Ситуация, стало быть, следующая: в свободной продаже водки как таковой просто не существует. Соответственно, порвалась цепь великая: раньше, в сравнительно нормальные времена, человек покупал бутылку водки, содержимое выпивал, а с опорожнившейся бутылкой шел в магазин, и цена этой бутылки – 12 копеек – учитывалась при приобретении им следующей порции спиртного. Если же бутылок накапливалось много (собственно, так оно обычно и бывало), то человек тратил час-другой-третий, чтобы сдать опорожненную тару в специальных пунктах по приему порожней стеклотары. Но если нет в продаже водки, то нет и стимула сдавать тару. Вот и пылится весь прежний стеклозапас по балконам и чердакам, а винзаводы рыдают: разливать не во что-то! И тут торговая сеть выступает с гениальной инициативой, требуя от каждого покупателя, отоваривающего свои талоны на спиртное, приносить с собой пустую бутылочку.

Оказавшись в безвыходной ситуации, я обратился за помощью к нашим водителям, тертым ребятам, но даже они только развели руками. Выручила, как это не раз бывало на протяжении нашей четвертьвековой совместной жизни, жена: у нее на работе оказался водила пошустрее моих, и он за пять пузырей (то есть, за пятую часть от причитающегося нам по юбилейному талону в награду за многолетнюю беспорочную семейную жизнь) согласился не только достать означенные пустые бутылки, но и лично отстоять очередь и привести оставшиеся два десятка нам домой. Надо сказать, что этой водки ("Старка"

выдавалась в тот день!) нам хватило чуть ли не до отъезда в Израиль.

Кстати, пару слов о вышеупомянутых талонах. Вот он, образчик, на прилагаемой картинке. Как говорится, "у нас на случай сохранились...".



Талоны на водку

Выдавался талон ежеквартально, предоставляя право на приобретение одной бутылки в месяц. То есть, что это я: выдавался. Присмотритесь внимательнее: слева, в нижнем углу надпечатка "Цена 10 коп." То есть, за право совершения покупки по этому талону ты же еще и доплачивал гривенник сверху. С другой стороны – какие дела, в натуре! Десять поделить на три – три с третьей копейки лишних за каждую бутылку. Притом, что проезд в трамвае стоил 3 копейки (в троллейбусе – 4 копейки, в автобусе и метро – пятачок), без ограничения расстояния, хоть от конечной до конечной. Добавим, что октябрьский и ноябрьский талоны оторваны и, вероятно, использованы по назначению. А декабрьский остался нереализованным – наверное, потому, что к тому времени мы уже затоварились "Старкой" по самые уши. Ну, я его и припрятал, как памятник эпохи.

А к чему это я вообще вспомнил про дефицит? Да вот к чему. Иду я как-то по Махане Иехуда, по нашему главному иерусалимскому рынку, причем время уже к закрытию, и вижу: продавец влез на прилавок и вывинчивает из светильника лампочку. Конец, стало быть, рабочего дня. Ну, хотел я его спросить: "Неужели крадут?", и тут же осознал бессмысленность вопроса. Если хозяин выворачивает лампу вечером – значит,

опасается, что не найдет ее на месте с утра. Значит, есть такая практика и обозначилась такая тенденция.

И тут же мне пришел на память советский период черного дефицита: лампочек (как, впрочем, и всего остального) в продаже нет как класса, и народишко не просто крадет лампы в местах общественного пользования – некоторые, из числа обостренно совестливых, при этом взамен вворачивают перегоревшие, специально принесенные из дома. С той, видимо, целью, чтобы не расстраивать завхозов: ведь одно дело "украли", и совсем другое – "перегорела, бывает".

Ну, ладно, это в местах общественного пользования. А тут заходим к приятельнице-актрисе в гримерную, после спектакля, чтобы захватить ее и ехать дальше, по важным делам, связанным с загодя запланированным потреблением алкогольных напитков. Смотрим: батюшки, она выкручивает лампочку из лампы – или черт его знает, как называется этот жестяный отражатель, висящий над ее гримерным столиком, над зеркалом. "Ты что, Галка?" – обалдело спрашивает жена. – "А вот то самое! – отвечает она не без резкости, пряча лампочку в свой шкафчик и запирая дверцу на замок. – Подальше положишь – поближе возьмешь!" – "Неужели таскают?" – "Представь себе!" А надобно вам сказать, что у меня, как у мужичка хозяйственного, всегда был дома запас хозтоваров, включая и лампы. И вот в следующий приход мы принесли Галке, вместо шоколадки, лампочку на сто свечей. Надо было видеть, как она обрадовалась! И как тщательно она запрягивала ее подальше в шкафчик, впрок.

А на закуску – история абсолютно сюрреалистическая, но при этом абсолютно жизненная и писанная с натуры. Год где-то 1989 (плюс-минус один). Перестройка и сухой закон в полном разгаре, номенклатуру товаров, устойчиво пребывающих в дефиците, невозможно составить даже с помощью мощной ЭВМ, потому что дефицит, как говорится в одном из анекдотов про Леонида Ильича, на букву "у" – то есть на "усё"! И вот мы коллежанкой по имени Наташа вывозим американскую делегацию во всеоюзную здравницу Сочи. Был месяц май, купальный сезон, естественно, еще не начался, но море на мелководье уже теплое. Некоторые из американов (мужского пола) разуваяются, подсушивают брюки и бредут по щиколотку в воде, явно наслаждаясь таким, пусть суррогатным, купанием. Дамам тоже хочется, и одна из них, которая в юбке, мгновенно присаживается на корточки и безо всяких комплексов стягивает колготки. Но у остальных-то – поверх колготок джинсы, так что последовать заразительному примеру не представляется возможным. Да,

подчеркнем здесь слово "колготки", как ключевое в нашей истории. Этот предмет женского туалета занимает по тогдашним временам едва ли ни первую строчку дефицитных товаров. Так вот, одна из джинсовых, наиболее решительная, достает из сумочки швейцарский нож (тот, легендарный Swiss Army knife, с двумя десятками лезвий) и без малейших колебаний отрезает ступню (стопу?) колготок, потом другую, поддергивает джинсы и устремляется в воду. Я во время всей этой операции смотрю на свою коллежанку (вполне взрослая, абсолютно несентиментальная, в чем-то даже жестковатая, характер в высшей степени нордический – заявляю все это с полной ответственностью, потому что знаю ее, что называется, "по совместной работе", уже который год). Смотрю и вижу – у Натальи дрожат губы. Эдак небрежно расправиться с новехонькими, целехонькими колготками – ради минутной прихоти! Тут Наталья, перехватив мой взгляд, мотнула головой, будто отгоняя наваждение, морок, нечистую силу, и с трудом (с видимым трудом!) заставила себя смотреть в другую сторону.

До самого вечера она явно старалась не общаться со мной без присутствия посторонних, но за ужином села рядышком. Как водится (во время совместных вечерних трапез с иностранными делегациями), выпили, повторили, а потом еще раз повторили. И Наталья говорит: "Ты представляешь, Витюшка, у меня прямо-таки сердце оборвалось. Стыдобушка, конечно же, но – Господи – что же это они с нами сделали, если такие мысли лезут прямо из подкорки, из спинного мозга". И Наталья длинно и витиевато выругалась – чтобы не разреветься тут же, при всех. Как пела божественная Элла Фитцджеральд, "я смеюсь нарочно, крошка, чтобы не заплакать..."

Боюсь, что найдутся читатели, которые скажут: "Ну, это ты, мужик, все-таки махнул, насчет колготок. Не было такого уж дефицита..." В ответ я напомним рассказ "Виноград" Сергея Довлатова. Там, в самом конце, герой приглашает "экстравагантную замужнюю женщину Регину Бриттерман" в ресторан, на что она отвечает: "С удовольствием. Только я не могу. Я свои единственные целые колготки постирала. Лучше приходите вы ко мне..." Курсив, как говорится в таких случаях, наш.



Людмила Штерн

Возвращение

Главы из книги

(продолжение. Начало в №7/2013 и сл.)

Глава пятая

По ленинским и другим местам



а следующее утро в "люксе" состоялось совещание с участием Лили и Алеши. Обсуждался план моей жизни в Москве.

– Первым делом едем в Шереметьево выколачивать твои книжки. Только не улыбайся ты им, ради Бога, – учила меня Лили.
– Разъярись! Помни, что ты свободная гражданка свободной страны. А мы создадим вокруг тебя возмущённую толпу.

Изобразить возмущённую толпу не удалось: моих спутников не пропустили не только в таможенную канцелярию, но даже в багажный зал.

Я приказала себе не мандражить, и чеканным шагом направилась в комнату 37. Постучалась, не дождавшись ответа, открыла дверь и на мгновение испытала острый укол счастья. На двух черных дерматиновых диванах сидели пять таможенников, читали пять экземпляров моей книжки и хихикали. Одна тётка, вытирая глаза, простонала: "Ой, не могу". Усилием воли я заставила себя посуроветь...

– Вчера на таможенном досмотре незаконно конфисковали мои книги, и я требую, чтобы их немедленно мне вернули.

– Почему незаконно? И почему **конфисковали**? – мирно поинтересовался старший. – Взяли на проверку. Что можно, вернём.

– Всё, что я привезла, – можно! Согласно вашим сообщениям в печати, у вас сняты цензурные ограничения. Вы публикуете Солженицына, Оруэлла, Замятина. Месяц назад на приёме в Советском посольстве в Вашингтоне ваш посол Дубинин заявил, что в СССР гласность и перестройка. Кому верить?

– Не дёргайте глазом! Нам нужно время для ознакомления.

– У меня нервный тик от встречи с родиной. Сколько ждать?

– Погуляйте часика два.

– Я специально приехала в Москву через пятнадцать лет, чтобы второй день болтаться в аэропорту, пока вы нарушаете свои же законы.

– А это что за клеветническая писанина? – вдруг рявкнул старший, тыча пальцем в невинную статью Шермана "Бескровные пути перестройки" в журнале "Слово". Затем он помахал тем же пальцем перед моим носом.

– Приезжают тут, понимаешь, распоряжаются! Мы вам не позволим разваливать нашу советскую власть!!!

– Вы в моей помощи не нуждаетесь. Так где же прикажете два часика гулять?

– В депутатском буфете. Нина Фаддеевна, позвоните Пряхиной, чтобы их пустила.

Таможенница "ой, не могу" забормотала в трубку. Следующие два часа мы с Алешей и Лилей выпили в депутатском буфете по стакану разбавленного сока, по чашке холодного кофе, съели по бутерброду с маслом и высохшими красными икринками и купили два пакетика конфет "Мишка на севере". Депутатский воздух придал мне уверенности.

– Ну–с, всё прочли?

– Забирайте вашу макулатуру, – проворчал старший и двинул в мою сторону семь экземпляров книжки (три зажилили). Копии "Нового Русского Слова" лежали в стороне.

– А как насчёт остального?

– Получите на обратном пути.

– Я – журналист, и напишу о вашем самоуправстве в американской прессе.

– Напугала! У себя дома можете писать и болтать всё, что хотите. Собака лает – ветер носит!

(Но оказалось, что собака могла лаять не только у себя дома. Через три дня, в программе "Добрый вечер, Москва" у меня взяли 30-минутное интервью, в котором я рассказала о злключениях на таможне).

– Спасибо и на этом, – сказала я старшему таможеннику. – Нет ли у вас бумажных пакетов?

– Чего нет, того нет.

– В чём я понесу книги?

– В зубах, – любезно ответил старший.

Следующие пункты назначения – Мавзолей и Музей Ленина. Кроме почетного караула, перед Мавзолеем не было ни души, и нам пришлось ждать двадцать минут, пока соберётся группа, достаточная для запуска в святая святых. В отличие от Гроба Господня в Иерусалиме, около которого можно стоять на коленях, плакать, молиться, – в Мавзолее нельзя остановиться ни на секунду. Гуськом, затылок в затылок, мы обошли гробницу, скосив на НЕГО глаза, и через две минуты тридцать секунд нас вынесло наружу.

Это был мой второй визит к Ильичу. Впервые я была в Мавзолее в пионерском возрасте. По случаю моего 12-ого дня рождения, папа решил показать мне Москву, и его бывший студент, ставший высоким партийным чиновом, пригласил нас на Первомайский парад. На трибуне Мавзолея стоял САМ в окружении тогдашних вождей: Молотова, Берии, Микояна, Жданова и прочих. В порыве ошеломительного восторга, помутившего мой отроческий разум, я в тот же день сочинила два стихотворения, которые впоследствии были напечатаны в газете "Ленинские искры". Вот они:

1.

Гремит победный марш над Родиной моею,
Сверкают звёзды над красавицей Москвой.
Товарищ Сталин на трибуну Мавзолея
Пришёл поздравить нас, товарищ мой.

Пришёл сказать, чтоб мы за мир поднялись,
Чтоб не забыли ужасов войны.
Сказать врагам, что зря они старались,
Что дни их подлой жизни сочтены.

Запомни, друг: от края и до края
Свою страну должны мы защищать.
Чтоб Родина – великая, святая
Могла легко и радостно дышать!

2.

Любимый Сталин! Наш родной
Отец, учитель, друг и вождь!
Он на трибуне в жаркий зной
Шлёт нам привет и в снег и в дождь.

А мы его благодарим,
Спасибо хором говорим
За то, что можно нам дышать,

Рождаться, жить и умирать!

Вернёмся, однако, к Ильичу. Не поручусь за остроту детской памяти, но я запомнила основоположника, одетого в полувоенный френч, и лежащего, как в музее, под стеклом. Он был освещён то ли синей, то ли зелёной подсветкой, отчего и выглядел сине-зелёным.

Не то в 1990-ом. Ленин покоился на темном бархате. Освещение мягкое, теплое, как бы солнце на закате. Торжественное лицо. Элегантный темно-синий костюм (не от Армани ли?), галстук в белый горошек.

И посетила меня банальная, как оказалось, мысль: А что, если все несчастья этой страны, происходят оттого, что ОН по-прежнему **с нами**? С древнейших времён, у пещерных народов, выставление покойника напоказ считалось глумлением над усопшим. Так поступали с врагами и преступниками. И вот изнывающий ленинский дух кружит над страной, не выпуская народ из дьявольских объятий. И только когда бренный прах "вечно живого" будет предан земле, его дух оставит в покое многострадальную страну. У трех поколений граждан с исковерканными мозгами с глаз спадет пелена. И непуганые потомки перестанут называть мумию Ленина "сухофруктом".

Впрочем, однажды случай свел меня с живым Ильичем. Как-то, путешествуя с мужем по Европе, мы заехали в Цюрих посетить могилу Джемса Джойса. Величайший писатель двадцатого века, ирландец по происхождению, Джойс рано покинул свою родину. Он жил в Триесте, Париже и Цюрихе, в котором и умер в 1941 году. Его прах покоится на холмистом кладбище Флантерн, на окраине города. Рядом с могилой небольшая статуя писателя. Джойс сидит на скамейке, нога на ногу, с открытой книгой в правой руке и сигаретой в левой. Задумчивый взгляд устремлён на сияющие вершины Альп.

За что Джойс так полюбил этот город? Цюрих не знаменит ни архитектурными ансамблями, ни кровавой историей, ни злачными притонами. Цюрих знаменит своими банками. Денежному населению планеты он известен, как финансовая столица мира. У возвращённых в Советскую эпоху граждан, Цюрих ассоциируется с именем Ленина.

Мы, увы, относимся именно к этой группе. О том, что в Цюрихе до марта 1917 года жил в эмиграции Владимир Ильич, нам сообщили в раннем детстве. Конечно, этот факт не удержался бы в наших ветреных головах, если бы десятилетия спустя мы не прочли книжку Солженицына "Ленин в Цюрихе". Впрочем, въехав

летним днём в этот город, мы меньше всего думали об основателе первого в мире...

Сняв номер в отеле и запарковав машину, мы отправились осматривать Цюрих. С первого взгляда он показался нам скучным и провинциальным – городом, где **ничего не происходит**.

Проголодались и зашли в ресторанчик "Шале", стилизованный под тирольскую таверну. В полупустом зале было прохладно и уютно. Шторы почти скрывали резкое полуденное солнце. Мы сели за угловой столик на бархатный диван и заказали бутылку красного вина и сырное fondu: нарезанные кубиками кусочки булки, которые надлежало макать в расплавленный в глиняной посудине сыр.

В этот момент открылась дверь, и в ресторан вошел Ленин в сопровождении трех человек. Вероятно, соратников. Они уселись в противоположном углу, и к ним тотчас подскочил официант. Через минуту он вернулся с бутылкой вина, откупорил ее и протянул Ленину пробку. Тот понюхал и кивнул. Официант плеснул вина в ленинский бокал. Ильич отпил, опять кивнул и потрепал официанта по плечу. Было видно, что он тут всегда датай. Официант разлил по бокалам вино, и, наверно, пошутил, потому что все засмеялись.

По спине пробежал озноб, руки и ноги покрылись гусиной кожей.

– Витя, – пробормотала я, – у меня галлюцинация.

– Не только у тебя, – шепотом ответил мой побледневший муж. – Я тоже **это** вижу.

Меж тем, группа за столом тихо беседовала. Что они обсуждали? Взятие Зимнего? Ленин отставил назад правую ногу и, облокотившись на стол локтем левой руки, чуть подался вперед. В этой позе я видела его несчетное количество раз в спектаклях, в кино, на картинах, плакатах и открытках.

Вот он вынул пачку Кента, достал сигарету и щелкнул зажигалкой.

– Все же выясню в чем дело, – я откашлялась, встала и на ватных ногах подошла к их столику.

– Тысяча извинений, – сказала я по-русски хриплым голосом, – возможно ли, чтобы вы были Лениным?

Бредовость своего вопроса я осознала в ту же секунду.

– Pardon? – по-французски переспросил Ленин, учтиво привстав со стула.

– Excuse me, do you speak English?

Четверо мужчин подняли головы и уставились на меня.

– Just a little bit, – улыбнулся Ленин. – How can I help you?

– Вы невероятно похожи на Ленина. Слышали о таком? Он вождь мирового пролетариата и основатель Советского государства.

Do you really so?

You are his copy

Oh, great to hear that.

– But who are you?

– Well... I am Lenin indeed.

– Господи спаси, – помнится, я даже перекрестилась и опустила на свободный стул.

– Что случилось? – испугался Ленин. – Вам нехорошо?

– Я – эмигрантка из бывшего Советского Союза.

– Тогда, **пГизнаюсь**, мне это **аГхилестно**, – сказал Ильич по-русски с заметным акцентом, но зато по-ленински картавя. Он ухватился двумя пальцами за лоб и потянул его. Кожа сморщилась, полезла вверх, и через мгновение лысый скальп, как купальная шапочка, оказался у него в руках. Под скальпом обнаружился ежик каштановых волос. Бородка и усы остались на месте.

– Мы снимаем фильм, а сейчас у нас перерыв.

– И вы играете Ленина? – Наконец, дошло до меня.

– Exactly, **соверГшено веГно**. Только, к сожалению, роль у меня небольшая, всего три эпизода.

– Слушай, Бьянко, – сказал один из соратников, – немедленно требуй у Альбера увеличения гонорара за убедительность образа.

– Блестящая мысль, – засмеялся Ленин. – Мадам, не откажите в любезности, приходите на съёмочную площадку, скажите это нашему режиссеру. За это угощаю обедом.

– С удовольствием, – я, наконец, пришла в себя и залюбовалась Ильичем. – А мужа моего вы тоже угостите?

– **ВсенепГеменно**. Тащите его сюда. Пусть будет еще один свидетель.

Я позвала Витю, и мы распили вторую бутылку вина. Ленин взглянул на часы и всполошился.

– Нам пора. – Он встал из-за стола, держа в руках свой скальп, – Мы на съёмке за углом, на рю Дандон. – Приходите завтра к семи вечера, пойдем обедать!

Он "клюнул" меня в щёку, и вся группа поспешила к выходу.

На следующий день, прощаясь после обеда, Ленин подарил мне свою фотографию "в роли" с автографом: "На память от Ильича и Бьянко Скали."

А я, рыская полдня по книжным лавкам, нашла, и подарила ему "Lenin in Zurich" в переводе Н.Т. Willets с такой надписью: **"Из всех искусств для нас важнейшим является кино"**. (В.И. Ленин)

Надеюсь, он прочел эту книжку со словарем.

...Возвращаясь в Москву 1990 года.

Решив посвятить основоположнику целый день, мы из Мавзолея прямиком отправились в музей В.И. Ленина. Журнал "Traveler" снабдил меня фотографиями уже упомянутого Хелмута Ньютона, и мне надлежало дать к ним объяснения.

В частности, к пальто, простреленному Фаней Каплан. Красные вышитые звёздочки на плече этого пальто означали ранения, белые – пуля не задела, только пальто порвала. Это чёрное пальто в стеклянном боксе являлось предметом изучения октябрят, пионеров, комсомольцев, коммунистов и пенсионеров на протяжении семидесяти или более того лет.

Комментарии требовались и к картине художника Шматко, где Ленин рассказывает о плане ГОЭЛРО, и к "Роллс–Ройсу", который привёз вождю из Англии тогдашний нарком внешней торговли Леонид Красин. Машина роскошная, но как-то противоречит коммунистическим принципам. А с другой стороны, что им в нормальной жизни не противоречит?

Был у меня в этом музее и свой интерес. Мой дед Павел Романович Фридланд как бы прятельствовал с Лениным. Они познакомились в Швейцарии, оказавшись в одном пансионате. Оба любили русские романсы и музицировали в гостиной по вечерам. Кажется, пел Ленин, а дед аккомпанировал. А, может, и наоборот. Иногда они бродили по сонным швейцарским улочкам, и Ленин делился с дедом идеями о теории и практике революции. Расставшись, обменялись адресами. Уж не знаю, какой адрес дал Павлу Романовичу Владимир Ильич (может быть, шалаша), но в нашем доме хранилось несколько Ленинских писем. Они лежали в чёрной папке на верхней полке книжного шкафа, и родители несколько раз показывали их мне. Когда папу арестовали, в доме, естественно, был обыск. Письма забрали, и дальнейшая судьба их была неизвестна. И, оказавшись в музее, я подумала: а вдруг они тут? Вдруг на стенде под стеклом я увижу стремительные ленинские строчки – "Милейший Павел Романович!" А рядом – круглый дедовский почерк – "Милостивый государь, Владимир Ильич!"

Я рыскала по музею в поисках семейной переписки, увы, напрасно! А жаль. Павел Романович был искренним поклонником Ленина, его светлого ума, благородных целей и неукротимой

энергии. Но в 1918 году деду показалось, что гораздо безопаснее восхищаться другом издалека. И он, коренной петербуржец, известный в городе инженер–теплотехник, схватил в охапку жену и двоих детей и отправился в эмиграцию. Дочери его – моей будущей маме – исполнилось восемнадцать лет, сыну – моему дяде – семь. Впрочем, мама уехала недалеко. В Риге, где их поезд сутки стоял в ожидании отправки, мама сбежала от родителей и вернулась в Петроград участвовать в построении нового мира. Следующее ее свидание с семьей состоялось через пятьдесят лет.

Музей Ленина удивил меня тем, что, в отличие от других учреждений, там ни за какие услуги не брали денег. Гардеробщица приняла мою пальто и протянула номерок. А я, в ответ, протянула рубль.

– Ой, что вы! – испуганно вскрикнула она. – У нас все бесплатно.

После того, как я изучила множество Ленинских бюстов – мраморных, гипсовых, гранитных и бронзовых, полюбовалась Лениным, выполненным из цветного стекла, Лениным, вышитым крестиком на ковре, Лениным, вытканым на чём-то и из чего-то сотканным, нарисованным маслом, карандашом, гуашью и кровью, я решила, что мой долг перед американскими читателями выполнен.

В процессе изучения ленинских бюстов захотелось, извините, в туалет. Пусть читатели извинят меня за упоминание такой банальной детали, как туалетная бумага, но этой банальной детали в музейном туалете не было.

– Как быть? – спросила я дежурную, следящую за порядком в заведении.

– С утра привезли два ящика рулонов, а к обеду все уже съёрли. Теперь выдаю по листочку. – Она сунула руку в карман чёрного халата и извлекла мятый, но мягкий листочек.

– Большое спасибо, вы меня выручили, – и я протянула ей рубль.

– Что ты! – в ужасе отшатнулась она, – У нас **всё бесплатно.**

Как приятно сознавать, что в этом продажном мире нарождающегося капитализма сохранился островок коммунизма, где каждому – бесплатно, по потребностям.

Закончив с изучением Ленинского храма, я попросила Лилю и Алешу ознакомить меня с "чем-нибудь красивым и пошло-потребительским". И в Третьяковке, и в Пушкинском музее я бывала много раз в "доэмигрантской" жизни. Мои спутники

стали наперебой давать советы, и мы остановилась на выставке Фаберже в Кремле и ювелирном магазине "Жемчуг".

Глава шестая

Сфера потребления

С Фаберже не повезло. Касса была закрыта, и когда я, размахивая купюрами, приблизилась к дверям зала, контролерша сурово преградила путь.

– У нас, милая, за месяц билеты достают, а ты, ишь, прыткая: прискакала, будто тебя ждали, – сказала она.

– Да я только вчера в Москву прилетела и уезжаю через десять дней.

– Ну и уезжай на доброе здоровье, и деньги мне не сувай, тут каждый за каждым подглядывает. Я намеренно одного инвалида хотела пропустить, дак выволочку получила.

– Неужели я уеду, не увидев Фаберже?

– А чего ты, яиц не видела? И не стой в дверях, мешаешь движению.

Не насладившись яйцами Фаберже, мы отправились в ювелирную комиссионку "Жемчуг".

– Не вылезайте из машины, – сказал Алеша, когда мы подъехали к магазину. – Пропустим вперед рэкетиров.

Из затормозившей за нами "волги" выгружались наголо бритые здоровяки в чёрных кожаных куртках.

– Эти ребята, – объяснил Алеша, – посещают "Жемчуг" несколько раз в день и скупают на корню все стоящее, что народ принес на комиссию. Так что до прилавков одна дребедень доходит.

И впрямь, на прилавках мы обнаружили тусклый речной жемчуг и нитки мелких кораллов. Только вышли из магазина, как меня за рукав дернул взлохмаченный джентльмен с аурой алкоголя. Слегка покачиваясь, он сказал:

– Если нужны **вещи**, можем договориться.

– О чём?

– О встрече. В семь вечера в Желтке. До этого я смотаюсь в Оловяшку, запасусь горючим. Он приподнял кепку и заковылял прочь.

– Что сей сон значит? – спросила я Алешу

– Что-то он где-то надыбал. "Оловяшка" – гастроном на углу улицы Фрунзе и Маркса–Энгельса. Там часто выбрасывают водку. А "Желток" – наша любимая пивная на Метростроевской. Давайте пропустим это свидание.

Мы грузились в машину, когда к нам подошла пожилая тетка в поношенном пальто, с полным ртом золотых зубов.

– Вас случайно не интересуют бриллианты с бирюзой на еврейскую тематику?

– Отчего не взглянуть? – дипломатично ответил Алеша.

Она достала из кармана мятый носовой платок. Развернула. На ладони оказалась необыкновенной красоты брошь. В подкове из бирюзы сверкала Звезда Давида из мелких алмазов с довольно крупным бриллиантом посередине.

– Мне позарез нужны сегодня деньги, и поэтому я прошу недорого.

– Сколько?

– Пятнадцать тысяч. Брошка стоит вдвое дороже.

– Боюсь, что я сегодня не готова выложить такие деньги.

(Я была не готова их выложить ни в какой другой день.)

– А завтра? Но если эта вещь вам не нравится, у меня есть другие.

– Например?

– Кольца с бриллиантами за пятьдесят и пятьдесят пять тысяч. Можем подъехать вместе к любому ювелиру удостовериться, что настоящие.

В этот момент, между мной и Алешей протиснулась рука, пытаюсь взять с теткиной ладони бирюзовую брошь. Я резко обернулась – за спиной стоял парень в черной куртке.

Женщина молниеносно сунула брошку в карман и прижалась спиной к машине.

– Ты чо? – обиженно спросила куртка. – Я ж тока посмотреть хочу.

Женщина затравленно озиралась вокруг.

– Мы торопимся, – сказал Алеша и открыл дверцу машины. Женщина юркнула внутрь, мы с Лилей втиснулись за ней. Алеша рванул с места, как в лучшем голливудском блокбастере.

– Где вас высадить?

– А вы-то сами куда?

– В Интурист.

– Там и выскочу, – сказала тетка, – дай вам Бог здоровья.

Она вышла у Центрального телеграфа, помахала нам рукой и растворилась в толпе.

В моей будущей американской статье предполагалось описание "что и как едят в Москве". Для изучения вопроса я посетила "рядовой" продуктовый магазин, супермаркет американского образца и Рижский рынок. Рядовой гастроном поверг меня в уныние: преобладали пустые полки. В супермаркете

"американского образца" глаз обласкало молоко в яркой упаковке, пакетики сухих супов, мороженая свинина, синие гуси и рыбный отдел. В нем продавались: существо с испанским названием "лимонелла", водное чудовище – "сом канальный американский" и "простипома".

На мой вопрос о происхождении этих морских тварей, молодой рабочий с наружностью кандидата наук, выгружавший из ящиков консервные банки, поправил очки в золотой оправе и приятным голосом пропел: "Ласкает взор наш серебристый хек, ласкает слух красавица бельдюга".

А вот изобилие Рижского рынка поразило. Черная икра, свежее мясо, яблоки и груши разных сортов, всевозможные кавказские соленья. Но цены! Я собралась отовариться десятью килограммами картошки для приятельницы, которая после операции не могла таскать тяжести. Но авоськи у меня не было.

– В чем нести картошку?

– А это ваши проблемы!

Меня позабавило, что хамоватый этот ответ был прямой калькой с хамоватого же английского: "that's your problem."

Зато я купила несколько душистых связок сухих грибов, в которые хотелось зарыться лицом, вспоминая деревню Пленешник Череповецкого района Вологодской области, куда мы ездили в отпуск к нашей няне.

В машине Алёша, оторвавшись от "Аргументов и фактов", подозрительно оглядел грибы.

– На радиоактивность проверили?

– ???

– После Чернобыля на рынках открыты лаборатории для проверки растущей жратвы. Вы хоть спросили, откуда грибы–то?

– В голову не пришло.

Я побежала в лабораторию. На её двери висел амбарный замок.

Отступление

В Нью-Йорке, в аэропорту Кеннеди, как только вы снимаете с карусели свой багаж, таможенники выпускают из клеток невзрачных собачек. Они обнюхивают чемоданы и, если вы привезли что-нибудь "этакое", окружают вас тесным кольцом, залиvisto лая. Тут же ваши баулы раскурочивают до основания. Вероятно, дивный запах сухих грибов озадачил песиков. Они сгрудились вокруг моего чемодана, но не лаяли, как положено, а, упершись задом в пол, растерянно пожимали лохматыми плечиками и смотрели на меня с выражением печального недоумения.

– Везёте мясо? Свежие овощи? – спросил таможенник.

– Откуда мясо? Какие овощи? Я прилетела из Советского Союза.

– А почему собаки вами заинтересовались?

– Вы у них спросите.– От страха расстаться с грибами, я обнаглела, – они же не лают. Наверно, я им просто понравилась.

– О'кей! Welcome home! – равнодушно сказал он, проявляя несвойственную американцам лень.

Угощая дочь, зятя и внуков божественным грибным супом, я рассказала о Рижском рынке и смущенных таможенных собачках. Зять Миша, врач-кардиолог, насторожился и, услышав, что грибы не проверены на радиоактивность, решительно отодвинул от себя тарелку. И дочери моей, и внукам есть не позволил. А мы с друзьями целый год наслаждались грибными блюдами. И живы, и здоровы до сих пор.

Для того, чтобы узнать, чем питаются успешные бизнесмены, рэкетеры–мафиози и прочие нувориши, я отправилась обследовать кооперативные рестораны. Не попала ни в один. В "Колхиде" были объявлены санитарные дни. В ресторане "Зайди и попробуй" проводилось "частное мероприятие". "Якиманка" была заперта без объяснительных причин, "Разгуляй" не отвечал на телефонные звонки. Однако, благодаря старым связям, удалось поужинать в ресторане ЦДЛ.

А под занавес моего пребывания в Москве представился случай узнать, что "кушает" лично Михаил Сергеевич Горбачев. В Москву приехали американские проектировщики гостиницы Рэдиссон Славянская, которая была открыта год спустя, в 1991-ом. Американцы тоже остановились в Интуристе, и я столкнулась носом к носу со своим дальним родственником, мистером Хоффманом, который эту делегацию возглавлял. Не очень доверяя интуристовской сотруднице, он нанял меня на роль второго переводчика, и я после заседания попала на обед в Грановитую палату. И вот кремлёвское меню.

ОБЕД DINNER

Икра зернистая Fresh caviar

Расстегаи Rasstegais

Индейка с фруктами Turkey with fruit

Овощи Vegetables

Солянка сборная мясная Meat solyanka

Севрюга запечённая Baked sturgeon

Ростбиф с овощным гарниром Roast-beef with vegetable garnished

Мороженое клюквенное Cranberry ice-cream

Фрукты

Кофе, чай

Fresh Fruit

Coffee, tea

Очень симпатично, но по сегодняшним меркам ничего особенного. Всё это вам подадут и в Москве, и в Нью-Йорке, в любом русском ресторане.

Глава седьмая

Пастернаковские торжества

Зимой 1975-го года, перед тем, как эмигрировать в Америку, мы с моим, ныне покойным другом Геней Шмаковым приехали попрощаться с Москвой. Стоял снежный холодный февраль. Столица была охвачена эпидемией гриппа. Кому ни позвонишь – в трубке кашель, хриплый голос и жалобы, что "все тело ломит".

Мы бродили по пустынному городу – грипп унёс на бюллетени тысячи москвичей – и повторяли, как заклинание: "Запомни эту площадь, и этот собор, и эти рубиновые звёзды в туманном от мороза небе, и лозунг "СЛАВА КПСС", и плакат "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК # 7" и Крутицкое подворье, и Донской монастырь, и горделивый фасад Большого. Ты больше никогда этого не увидишь".

На следующее утро мы поймали такси и отправились в Переделкино побывать на могиле Пастернака и попрощаться со старыми друзьями Зоей Богуславской и Андреем Вознесенским. По дороге произошло вот что. На мне была мужская ушанка из волчьего меха, которую мой муж Витя Штерн привёз из Иркутска. Спасаясь от холода, я завязала "шапкины" уши под подбородком. А в такси стало жарко. Я попыталась развязать тесёмки, но бантик превратился в узел.

– Генка, попробуй ты, у меня ногти короткие, – попросила я.

Гена попытался, но у него тоже были короткие ногти. А тесёмки, меж тем, сдавливали горло.

– Запрокинь голову, я попробую зубами, – предложил Гена. Он впился зубами в узел и стал его дёргать.

– Что это он делает? – закричал шофёр, увидев нас в зеркале заднего вида. Его лицо было искажено ужасом.

– Мой друг проголодался. Он, знаете ли, Дракула и должен раз в день попить кровушки. А то у него падает гемоглобин.

Шофёр резко затормозил и пришвартовался к тротуару.

– А ну, вылезайте, я не обязан возить всякие извращения!

– Да что вы испугались? Мы...

– Вылезайте, говорю, а то повезу в участок!

– Сколько с нас?

Шофёр не ответил. Впился обеими руками в баранку – у него даже костяшки пальцев побелели – и смотрел перед собой, боясь повернуть голову. Мы, подвывая от смеха, вывалились из машины, он дал газ и исчез в морозной пыли. Пришлось ловить другое такси.

Вознесенский повёл нас на кладбище. Белое безмолвие. Ни человеческих, ни птичьих голосов. Могила Пастернака – снежный сугроб, и кусты вокруг утопают в снегу. И вдруг на одной из веток, казавшейся хрупкой и ломкой от мороза, мы увидели несколько крошечных, свежих листочков. Будь я одна, решила бы, что это галлюцинация. Разве что-нибудь живое может родиться и выжить в февральскую стужу? Но Гена и Андрей их тоже видели. У меня было искушение эти листочки сорвать и увезти на память в Америку. Но мы их не тронули.

– Может быть, это ЗНАК, – сказала я Гене. – Может быть, мы с тобой когда-нибудь вернёмся.

Гене вернуться не пришлось...

А пятнадцать лет спустя, 10 февраля 1990 года, я оказалась в Переделкине на торжествах по случаю столетия со дня рождения Бориса Пастернака. Программа праздника была обширной и помпезной. Служили молебен в храме Спаса Преображения, возлагали венки и букеты на могилу – в этот раз, несмотря на февраль, она представляла собой не сугроб, а клумбу, и, наконец, открыли в его доме музей. Митинг на крыльце длился добрых полтора часа. Среди выступавших, кроме сына поэта Евгения Борисовича и невестки Натальи Анисимовны, было много знаменитостей: Инга Фельтринелли, вдова итальянского издателя, впервые опубликовавшего "Доктора Живаго", Залыгин, напечатавший "Живаго" в Новом Мире, американский переводчик Пастернака Вильям Джей Смит, польский министр культуры, американский драматург Артур Миллер и советские поэты – Семён Липкин, Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко.

На меня произвели впечатление два персонажа – Евгений Евтушенко и Артур Миллер. Евтушенко поразил несказанной красотой своего костюма, Миллер – содержанием своей речи.

На Евтушенко был пиджак в бело-алых то ли ромбах, то ли спиралях. Шея завёрнута в пурпурный кашемировый шарф. На голове кепка с узорами калейдоскопа. Не хватало на плечах золотых эполетов, как у Майкла Джексона, или бриллиантовых камней и блёсток, как у Либерачи. Я думаю, что блистательный этот наряд был надет с целью не затеряться на грязном подтаявшем переделкинском снегу, а быть видимым, в пику

Андрею Вознесенскому, из любой точки земного шара и его окрестностей. Дело в том, что не Евтушенко, а Вознесенский был назначен главным "мастером церемонии", и ему, а не Евтушенко выпала честь представлять публике именитых гостей, разрезать ленточку на крыльце и разбивать шампанское об угол Дома.

Артур Миллер в своей речи – учитывая перевод на русский язык, она казалась бесконечной – открыл присутствующим глаза на особенности советской литературы пятидесятых годов. Оказывается (а мы-то и не подозревали. Л.Ш.), основной целью литературы было изъятие безграничной любви к руководителю государства Сталину, а также требование безоговорочной отдачи всех сил и даже жизней во имя торжества официальных идей. Дальше он рассказал, какое впечатление на него произвели первые переводы стихов Пастернака и роман "Доктор Живаго":

"Стихи Пастернака, которые долетели до Америки, отражали то, что происходило именно там, у нас. Набирал волну разгул Маккартизма. Это был один из вечных парадоксов жизни: обвиняя советскую реальность в том, что одному из величайших поэтов не давалось возможности говорить о том, что и как он думает и чувствует, американская администрация всячески преследовала свободомыслие в Америке, и наиболее прогрессивные и демократические писатели и поэты были выбраны мишенью для разгула этих сил. Когда до нас дошли новости о том, каким преследованиям подвергся Пастернак после присуждения ему Нобелевской премии, это было страшным ударом. Но в этом было и какое-то очищение..." (Интересно, какое? – Л.Ш.)

Затем мысли знаменитого драматурга потекли по другому руслу:

"...Мы приехали в Москву несколько дней назад из Берлина. Я впервые в жизни посетил ту центральную часть города, где совершались расстрелы политических противников Гитлера. Это было место расстрела *не евреев* (что, вероятно, было бы естественно и понятно. Л.Ш.), а профсоюзных деятелей, соцдемократов и коммунистов. Несколько тысяч было убито здесь. Евреев убивали в Освенциме, а здесь расстреливали политических врагов. Но именно подъём антисемитского движения в Германии в тридцатые годы сделал возможным тот ужас, который происходил в Берлине. Если бы нацисты протянули руки к тому месту, где мы все с вами сейчас находимся, нет никакого сомнения, что человек, который жил и творил в этом доме, тоже был бы мёртв. Они убили

бы его дважды. Во-первых, как русского интеллектуала и, во-вторых, как еврея, несмотря на то, что он был христианином..."

Наконец, Артур Миллер вспомнил, зачем приехал:

"...Пусть этот Дом стоит вечным памятником демократическим свободам, всем лучшим устремлениям человеческого в человеке, памятником всему тому, за что отдал свою жизнь Борис Пастернак!"

Накануне вечером, 9 февраля 1990 года, в Большом Театре состоялся литературно-музыкальный концерт, посвящённый столетию со дня рождения поэта. Вступительное слово сказал Андрей Вознесенский, и начал он его знаменитыми строками:

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела

– Сегодня мы зажигаем живую свечу Бориса Пастернака, – сказал Вознесенский. – Это свеча нашей культуры, это свеча Пушкина, Блока, от которой зажигал свою свечу поэт. Это свеча, непогасимая свеча русской интеллигенции. Это свеча грузинская, это свеча итальянская, это европейская свеча, это свеча мировой интеллигенции. Спасибо шведской интеллигенции, что она зажгла свечу в честь русского поэта, когда у нас свечи были запрещены. Сегодня, 9-го февраля, впервые за многие десятилетия, на сцене Большого театра зажигаются большие живые свечи. Свеча горит на столетии Бориса Пастернака. И я говорю: "ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙСЯ ВОКРУГ СВЕЧИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА! Это не только поминальная свеча, это свеча заздравная, это свеча победы духа над всеобщей тьмой, победы одинокой человечности над всеобщим неразумом.

Начался концерт. Каждый артист перед началом выступления зажигал свечу, и к концу вечера вся сцена Большого была заполнена горящими свечами. Как пожарное ведомство Москвы разрешило эту свечную вакханалию на сцене Большого, остается загадкой. Вознесенский даже публично поблагодарил пожарную команду Москвы за то, что впервые в истории Большого, она разрешила такое чудовищное нарушение правил пожарной безопасности.

Концерт прошел без антракта, поэтому прогуляться в фойе и поглазеть на народ не удалось. Тем не менее, я заметила знакомых славистов из американских и европейских университетов, членов Нобелевского комитета, начальника КГБ

Крючкова, премьер-министра Рыжкова, товарища Лигачёва. А вот Горбачёв с Ельциным не удостоили.

Интересно, обрадовала бы Пастернака, считавшего, что "быть знаменитым некрасиво", помпезность этого фестиваля? И если культурное наследие России будет, наконец, возвращено её народу, в каких театрах и дворцах культуры отпразднуют дни рождения Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой и Бродского?



Павел Полян CON AMORE

Главы из новой книги (окончание. Начало см. в №2/2014) МАНДЕЛЬШТАМОВСКАЯ КОМИССИЯ И МАНДЕЛЬШТАМОВСКОЕ ОБЩЕСТВО

*Памяти Роберта Рождественского,
Михаила Гаспарова и Марины Соколовой
«Наподобие Bach-Gesellschaft...»¹*



любовь — не только инициирующее начало жизни, но и организующее. Выстроить жизнь *con amore* – и есть высшее счастье.

Не счесть ее разновидностей, но по мне любовь – никак не сонное обожание, не сюсюкающие причитания и не заламывание рук, а активное и целеустремленное действие.

Перечитывая не так давно свои старые дневниковые записи, я наткнулся на одну, датированную 1 июня 1980 года:

«...Вчера меня еще посетила мысль (точнее, дрёма) о Мандельштамовском обществе – *Mandelstam-Gesellschaft* – наподобие *Bach-Gesellschaft*, которое объединяло бы всех неформально заинтересованных людей, где бы можно было собираться и делиться находками, читать доклады, обсуждать их, спорить».

И я сразу же вспомнил «источник» этой не столько мысли, сколько мечты. У Альберта Швейцера, в его книге об Иоганне-Себастьяне Бахе, я наткнулся на страницы о Баховском обществе. Ведь даже у Баха был период невостребованности и полузабвения!

Энергией сплочения такого сообщества могла быть только любовь и только такая – деятельная и активная.

С тех пор, наверное, во мне поселилась идея объединения всех «тех-кому-это-дорого» в сообщество. Сам я готовил в то время книгу критической прозы Мандельштама «Слово и культура» (на это ушло девять лет, книга вышла в 1987 году). Эта работа по-настоящему объединила вокруг себя несколько человек – но, увы, не всех, кого это напрямую касалось бы. И тогда я понял,

¹ Из дневника автора. Запись за 1 июня 1980 г.

что Mandelstam-Gesellschaft – вовсе не нечто само собой разумеющееся, что это цивилизационная высота, за которую в нашем все еще почему-то не совершенном мире придется побороться!

Определенным шагом именно на этом пути стало воссоздание в начале 1980-х годов – после смерти Константина Симонова – Комиссии по литературному наследию О.Э. Мандельштама при Союзе писателей СССР. Ее председателем стал Роберт Рождественский, я – секретарем. Мы собирались несколько раз и в более широком составе, но чаще – вдвоем с Робертом Ивановичем у него дома на улице Горького, писали письма в разные инстанции и довольно многого добились, надо сказать. Например: реабилитация Мандельштама по делу 1934 года, получение и передача в РГАЛИ в 1989 году лубянского автографа Мандельштама (стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...» из следственного дела Мандельштама 1934 года), первый вечер Мандельштама в Большом зале ЦДЛ в 1987 году, Первые Мандельштамовские чтения в Москве в 1988 году и Вторые в Москве и Ленинграде в 1991 году, наконец, все юбилейные торжества в связи со столетием Осипа Эмильевича в 1991 году, увенчавшиеся, кроме Чтений, открытиями трех мемориальных досок – в Москве, Ленинграде и Воронеже, двух юбилейных выставок – в Москве и Ленинграде, вечером памяти Мандельштама в Колонном зале, а также – основанием... Мандельштамовского общества!

Это произошло 18 января волеизъявлением около ста человек, собравшихся в актовом зале Дома Герцена (Литературный институт им. А.М. Горького). Учредители Общества – Русский советский Пен-центр и Московское общество «Мемориал». Учредительное собрание вел Евгений Сидоров, тогдашний ректор Литинститута и будущий министр культуры России.

Само учредительное собрание было довольно бурным. После того как пишущий эти строки как автор самой идеи рассказал о видении Общества и представил проект его устава, сделанный по образцу Пушкинского общества, в бой, едва дождавшись конца его слов, бросилась Виктория Швейцер, уверенно сообщившая собравшимся, что Мандельштам несомненно перевернулся бы в гробу, если бы узнал о творящемся здесь безобразии.

Вот ее речь, в записи сидевшего рядом с ней Кларенса Брауна. Мандельштамовское общество «...дурно задумано ab ovo². Оно более чем ненужно, это вульгарная ошибка, основанная на полном непонимании поэта, его произведений, его возможной аудитории, всего, чего мог бы хотеть он или Надежда Яковлевна, да и в целом – очень слабая мысль. Надо оставить эту мысль незамедлительно!»³

«Экстремизм, – среагировал тогда Браун, – но это полезно. Дает возможность понять, чего другой не выносит»⁴.

А вот последующие события в его же изложении: «Дискуссия, таким образом, оформилась. С одной стороны, предложено, что должно быть Мандельштамовское Общество, по размерам немного уступающее Министерству иностранных дел, а с другой стороны – что любое общество станет оскорблением памяти поэта. Лично я чувствую, что было бы славно, если бы было маленькое Мандельштамовское общество (и с круглой печатью)...

Вика, конечно, бросила спичку в заботливо разлитый авиационный керосин. Настоящий зубодробительный русский спор такого сорта стимулирует не хуже, чем хлестание березовыми ветками в парной бане и последующее катание по снегу. Александр Немировский, историк и литератор из Воронежа, обладающий зловещим сходством с Мандельштамом последних лет, встает, чтобы горячо ее поддержать.

Переводчик Владимир Микушевич, сидящий в президиуме, разъярен таким негативистским началом организационного собрания. Как осмеливаются эти люди говорить от имени поэта и его вдовы?

За несколько рядов передо мной поднимается большой человек с хромотой инвалида и голосом, способным обрушить стены, и говорит, что он – журналист. Тем не менее, он будет пользоваться в этом случае нецензурными словами. Он говорит, что Мандельштамовское общество, – может быть, и хорошая мысль, но только не в руках сукиных детей, которых все знают.

Все присутствующие стараются не глядеть на почетных гостей, сидящих с Павлом Марковичем в президиуме, среди которых, помимо Владимира Микушевича, и другие члены Союза писателей...

² «С самого начала» (лат.)

³ Браун К. Из «Московского дневника» // Сохрани мою речь. Вып. 4/2. М. 2008. С. 759.

⁴ Там же.

Притушив ораторские пламя высокооктановым бензином, нецензурный журналист садится под общие аплодисменты. То, что происходит дальше, можно назвать словесным эквивалентом уличных беспорядков. У меня мелькает мятежная мысль, что один экземпляр «Правил порядка Роберта»⁵, возможно, больше помог бы Советскому Союзу, чем любая иностранная помощь. Что мне действительно нравится в русских, это то, что, кажется, на самом деле никто по-настоящему не разлился. Позднее я видел, как Вика дружески разговаривала с Нерлером.

Поскольку с самого начала было очевидно, что просто комната с сотней безумных русских спорщиков не может перевесить восемь страничек глазной боли от Павла Марковича, Мандельштамовское общество, уже каким-то образом де-факто существующее, становится существующим де-юре после голосования, в котором участвовало, как мне показалось, двадцать рук»⁶.

Итак, были громкие голоса и против создания общества, и против громоздкости и излишней официальности его устава, и против тех или иных потенциальных организаций-попечителей. Выявились и разные взгляды на само общество и среди его сторонников: одни настаивали на его принципиальной элитарности, другие, напротив, были заинтересованы в массовой, популяризаторской деятельности. В конце концов сошлись на том, что и те, и другие в рамках общества могли бы мирно сосуществовать и осуществлять свои проекты и программы. Так оно потом и оказалось: в проект устава были внесены прозвучавшие уточнения, был избран Совет⁷, а на заседаниях звучали как доклады высочайшего научного уровня, так и бардовские песни.

После этого центр разного рода мандельштамовских инициатив решительно переместился из Мандельштамовской комиссии в Мандельштамовское общество. И это было здорово и важно – освободиться от пут писательского министерства, пусть уже и не слишком сковывающих, и тронуться в по-настоящему свободное плавание. Мы лишились административного ресурса и аппаратной поддержки, зато почувствовали ветер свободы и плечи десятков организаций и сотен наших членов.

⁵ «Robert's Rules of Order» – общепризнанный кодекс правил по проведению собраний и заседаний, впервые предложенный генералом Генри М. Робертом в 1915 г.

⁶ Браун, 2008. С. 759-760.

⁷ Около трети первоначального состава Совета МО, увы, уже нет в живых.

Но самое трудное в свободном плавании – не рассориться друг с другом из-за ерунды.

В полной гармонии с мейнстримом эпохи около нас несколько раз вспыхивали скандалы и скандалчики. Чаще всего это были чьи-то банальные попытки инструментализации Мандельштамовского общества в видах хорошо самим пособачиться, но удерживать дистанцию от такого времяпрепровождения все же удавалось.

За все эти годы из Мандельштамовского общества демонстративно вышел только один человек: к сожалению, им был Омри Ронен, почему-то уверовавший в то, что сие общество есть судно, коим рулит серый контр-кардинал Леонид Кацис.

Однажды дошло до болезненного самоуправства – взлома нашего электронного адреса и рассылки от имени Мандельштамовского общества ложного информационного письма. Но в этой истории – настоящей истории болезни – нет ни грана собственно мандельштамовского⁸.

А вот брызганья филологической слюной всегда было достаточно⁹. Что не мешало тем, кто ею брызгал, искренне возмущаться, если их вдруг куда-нибудь не позовут.

Без удовольствия вспоминаю и мастер-класс «профессионализма», который мне из симпатии преподнесла в 1981 году Эмма Григорьевна Герштейн. Наука ее сводилась к следующему: коллеги – это не коллеги, а конкуренты, желающие у тебя что-нибудь выманить и напечатать первыми, поэтому тот наилучший профессионал, кто делится с другими минимально, а выманивает у них максимально. Увы, публикаторский бум на стыке 1980-х и 1990-х гг. отчасти руководствовался именно этим кодексом.

И сегодня, в 2010-е годы, нет-нет да утыкаешься в застарелые советские «фишки»-замашки – намеренно приглушенные ссылки в изданиях (чтобы твой дорогой «коллега» не сразу добрался!) или толстовско-салтычихинские претензии иных архивистов на право первой ночи со «своими» документами. И когда же до них дойдет, что не читатели для архивистов, а архивисты для читателей и что автографы и черновики – все-таки не нефть и не газ?

⁸ Вживе Мандельштам и сам обожал идти на принцип и на скандалы, но по возможности на литературные, без навязывания противной стороной человеческой низости.

⁹ По большей части преостроумные снобистские эзерсисы на тему сокращений от «Мандельштамовского общества»: «мандоб», «мандобщ» и т. п.

Но нет ничего более противоположного идее Mandelstamm-Gesellschaft, чем такой «профессионализм» и такие «фишки»!

По счастью, чаще приходилось сталкиваться с противоположным. В ноябре 2008 года, вскоре после открытия памятника Мандельштаму в Москве, меня разыскал по телефону Вячеслав Сергеевич Каневский, владелец одной из московских типографий, и поблагодарил за памятник («Не думал, что доживу, и вообще – хоть что-то в Москве лучше стало»). Под конец спросил: не может ли он что-то сделать для нас? И я как-то мгновенно выпалил: а давайте сделаем календарики на следующий год!

С чего и началась наши традиционные, от типографии «Петровский парк», ежегодные «Мандельштамовские календари»!¹⁰

ОТ ЗАМЫСЛА ДО «СПЛОШНЯКА»: НА ПУТИ К МАНДЕЛЬШТАМОВСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

*Олегу Лекманову, Сергею Шиндину и Инне Ряховской
Памяти Михаила Гаспарова*

Идея создания «Мандельштамовской энциклопедии» (МЭ) родилась в середине 1990-х гг., и это несколько не удивительно. За сорок лет, протекших с 1955 года, когда в Нью-Йорке, в издательстве им. Чехова увидело свет первое посмертное книжное издание поэта, мандельштамоведение в целом – и текстологи, и биографы, и литературоведы, – проделало столь впечатляющий путь, что назрела отчетливая потребность в систематизации, структуризации и осмыслении всего ими наработанного. Именно в этом и заключались исходная задача и содержательная предпосылка идеи МЭ – зафиксировать и осмыслить накопленное, нащупать его структуру, помочь исследователям, комментаторам, издателям и читателям ориентироваться в ставшем необозримо огромном материале. Возникновение же в юбилейном для Мандельштама 1991 году Мандельштамовского общества, объединившего пусть и не всех, но многих из тех, кто мог бы всерьез поучаствовать в этом начинании, стало второй важной предпосылкой всего проекта – организационной.

Помимо формирования концепции и потребовавшихся для этого внутренних дискуссий, у авторов проекта была не менее трудная внешняя задача – найти организационные пути его

¹⁰ Впрочем, тогда же раздался и другой звонок – от одного девелопера, решившего, как вскоре выяснилось, что мы с Лужковым «вась-вась» и поможем ему заполучить от города жирный заказ.

реализации, в частности, отыскать адекватного спонсора и издателя. Начиная с 1996-1997 гг. велись переговоры с издательством «Большая Российская энциклопедия». Усилиями директора издательства Александра Горкина и главного редактора Александра Прохорова проект был включен в редакционно-издательский план, был даже выделен издательский редактор – Галина Якушева, с чьей помощью и началась работа над методическими материалами и совершенствование словника энциклопедии.

Однако со временем новое руководство старейшего энциклопедического издательства России потеряло интерес к этому проекту. Свое пристанище «Мандельштамовская энциклопедия» обрела в стенах издательства «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). Идея и концепция проекта была поддержана директором издательства Андреем Сорокиным и исполняющей обязанности главного редактора Аллой Морозовой.

Организационно энциклопедия готовится в МО и Кабинете мандельштамоведения Научной библиотеки Российского государственного гуманитарного университета, в обеспечении и подборе иллюстративного материала решающая роль отводится Государственному литературному музею с его богатейшими рукописными, книжными и графическими фондами. Информационно-библиографическую поддержку оказывает и Государственная публичная историческая библиотека.

Первые разговоры и первые наброски словника, – как, впрочем, и первые ухмылки и сомнения скептиков, – все это создавало и создало ту среду, в которой вызревали творческая и практическая стороны реализации идеи этой энциклопедии. Неизменным участником дискуссий по поводу энциклопедии и одним из главных организаторов проекта была Марина Соколова, секретарь МО и первый ученый секретарь редколлегии МЭ – один из моторов проекта, горячо болевшая за его будущее и состоятельность: именно она составила первый вариант словника и внесла решающий вклад в формирование авторского коллектива.

Не оценить и той поддержки, которую оказывали начинанию ныне покойные академики Сергей Аверинцев и Михаил Гаспаров – первые председатели Мандельштамовского общества и члены главной редакции МЭ. В планы Аверинцева входило написание вступительной статьи и десятка других ключевых текстов, а в планы Гаспарова – написание даже не десятков, а сотен статей – о каждом в отдельности стихотворении Мандельштама. Но, увы, этим планам не суждено было

осуществиться – Соколова умерла в 2002, Аверинцев – в 2004, а Гаспаров – в 2005 г.

Предполагалось, что Аверинцев, помимо нескольких словарных статей, напишет для МЭ вводную статью «Осип Манделштам и мировая культура», однако он даже не приступил к этой работе. Соответствующую вводную статью в 2004-2005 году написал Владимир Микушевич.

При обсуждении плана МЭ Гаспаров взял на себя едва ли не самое сложное во всем проекте – написание статей, посвященных разбору каждого из стихотворений Манделштама – буквально каждого (за исключением лишь шуточных и детских)! Его статьи охватывали такие аспекты анализа стихотворения, как семантика, строфика, композиция, метрика, фоника и подтексты. В зависимости от сложности и интересности описываемого стихотворения, их размеры варьировали от десятка строчек до нескольких страниц.

Планировались и краткие вводные тексты к статьям Гаспарова – преамбулы, охватывающие биографические аспекты стихотворений, вопросы их источниковой базы, историю их создания и издания и, в гораздо меньшей степени, вопросы текстологии (поскольку издание текстов не входит в задачу энциклопедии). За написание и редактирование таких преамбул брались С. Василенко и П. Нерлер.

Работая над статьями для энциклопедии, Гаспаров опирался на единственный в своем роде собственный опыт сверхсжатого комментирования стихотворений Манделштама, полученный им при единоличной подготовке «харьковского» издания «Библиотеки поэта». Здесь, как правило, он анализировал не каждое произведение по отдельности, а сразу несколько одновременно, причем комментарий почти всякий раз – на грани афоризма! Можно было бы ожидать, что такого рода наработки будут полностью использованы в энциклопедических статьях, но этого не произошло: сделать это не позволили Михаилу Леоновичу объективное расхождение задач и результатов энциклопедии и научного издания текстов.

Всего он успел подготовить около 130 статей, охватывающих многие дореволюционные стихотворения, кроме написанных в 1906-1907 гг., а также отдельные произведения из стихов 1921-1925 гг. и из «Новых стихов» (1930-е гг.).

Кураторские функции, поиск авторов и прочая оперативная деятельность в проекте поделены, в основном, между Павлом Нерлером и Олегом Лекмановым: последний, благодаря своим преподавательским контактам и контактам в блогосфере,

привел в МЭ, наверное, десятки молодых авторов, большинство из которых прекрасно проявило себя в амплуа «энциклопедистов». Немало отличных авторов привели и другие члены редколлегии – Роман Тименчик, Иоанна Делекторская, Юрий Фрейдин и Сергей Шиндин.

В итоге авторский коллектив как таковой составили около 140 человек, в основном филологи – от признанных мэтров и до талантливой аспирантской и даже студенческой молодежи.

«Мандельштамовская энциклопедия» задумана как компендиум сведений об Осипе Мандельштаме, о его жизни и творчестве. Она призвана подытожить полувековые усилия близких и друзей поэта, архивистов и текстологов, комментаторов и литературоведов, хранителей и мемуаристов по собиранию, изданию и изучению материалов о нем.

Материал энциклопедии распределен между двумя томами. В первом сосредоточены вступительные материалы (вводная заметка «От редколлегии», вступительная статья В.Б. Миклушевца «Осип Мандельштам и мировая культура», а также основной корпус словарных статей, данных в алфавитном порядке вместе с сопутствующими пристатейными иллюстрациями. Корпус словарных статей Мандельштамовской энциклопедии состоит из следующих тематических блоков: 1) произведения О.Э. Мандельштама; 2) прижизненные издания и публикации; 3) биография О.Э. Мандельштама; 4) окружение поэта; 5) географические названия; 6) поэтика; 7) общие воззрения О.Э. Мандельштама; 8) Мандельштам и мировая культура; 9) изучение творчества и биографии О.Э. Мандельштама.

Каждому разделу придается, по согласованию, группа редакторов и рецензентов. В задачу редактора входит создание методических материалов (памятки) для авторов раздела, распределение статей между авторами и последующая работа с подготовленными авторами текстами. В задачу рецензента — критическое рассмотрение представленных авторами и отредактированных редактором статей.

Во второй том войдут разнообразные приложения, в частности, сводная иконография поэта, летопись его жизни и творчества, сводная библиография публикаций О.Э. Мандельштама на русском языке, библиография переводов и исследований его творчества на иностранных языках, мандельштамовские инскрипты, сводный перечень архивов и собраний, содержащих материалы о Мандельштаме, ритмический репертуар и частотный словарь поэзии и прозы поэта, указатели: произведений, а также имен и географических названий.

Общее количество словарных статей в энциклопедии превосходит 1 500, а ее общий объем – 150 листов. Издание будет проиллюстрировано – репродукциями автографов, прижизненных публикаций и биографических документов, произведений живописи и графики, карт и планов городов — «мандельштамовских» Москвы, Петербурга и Воронежа.

Работа по созданию персональных энциклопедий, традиционно активизирует усилия научного сообщества, стимулирует новые исследования в избранном направлении. Многие статьи МЭ не имеют аналогов ни в одной из имеющихся энциклопедий, основываются на специальных разысканиях и поэтому поистине уникальны. Все статьи подчеркнута мандельштамоцентричны: то или иное лицо, та или иная организация интересуют редколлегию не сами по себе, а постольку, поскольку их творчество или деятельность пересеклись с мандельштамовскими творчеством и судьбой.

Стоит, наверное, подчеркнуть, что, после «Лермонтовской энциклопедии», этот проект являлся первой в России попыткой создать полноформатную персональную энциклопедию, посвященную великому поэту. Именно в «Лермонтовской» энциклопедии инициаторы и разработчики «Манделъштамовской» с самого начала видели свой вдохновляющий прообраз.

К сожалению, МЭ все еще не завершена. Сложность и масштабность самого проекта, некоторая эволюция его замысла и, соответственно, рост словника, смерть ключевых участников проекта задержали эту, и без того непростую, работу. Около двух десятков крупных статей, без которых МЭ непредставима, еще не написаны.

Не секрет, что многие – даже по ходу работы – не верили сначала в то, что МЭ как проект возможна, а потом в то, что она выйдет. Отсюда, отчасти, и тот энтузиазм, с которым шла работа над своеобразным препринтом МЭ – сборником ее избранных методических и словарных материалов — «О.Э. Манделъштам, его предшественники и современники. Сборник материалов к Манделъштамовской энциклопедии», выпущенным издательством РГГУ в 2007 году. В том же издательстве в 2008 года вышел и очередной, 4-й, выпуск традиционного манделъштамовского сборника «Сохрани мою речь...», большая часть материалов которого также подготовлена в рамках МЭ. Представительная подборка материалов была опубликована и 2008 году в журнале «Вопросы литературы».

Пора и на финишную прямую!..

**ГЛОБУС МАНДЕЛЬШТАМА:
МАТЕРИАЛЫ О ПОЭТЕ В АРХИВАХ МИРА
И ИХ ВСТРЕЧА В СЕТИ**

*Дженнифер Бэйнз, Владимиру Литвинову и Дону Скемеру
Памяти Артема Козьмина*

1

Судьба Осипа Мандельштама наложила свою властную печать и на судьбу его архива.

Начать с того, что поэт не собирал архив и не дорожил им. Если бы не практическая потребность издания или переиздания стихов, прозы и статей, он бы, возможно, и вовсе бы ничего не хранил: «люди сохраняют» – говорил он не без наивности. Впрочем, у себя хранить было негде: бездомность и безбытность были вечными спутниками Мандельштама. В своем первом и последнем собственном жилье – кооперативной «двушке» в Нащокинском – Мандельштам не прожил и года.

Тем не менее какие-то рукописи не выбрасывались, и архив образовывался сам собой, в частности, в Киеве в 1919 году, когда О.Э. Мандельштам познакомился со своей будущей женой, Надеждой Хазиной, у него была с собой небольшая корзинка с автографами и черновиками. И именно эти бумаги в том же году искурил в Крыму Александр Мандельштам – его любимый средний брат.

Это был первый «удар» по сохранности архива. Впрочем, первый ли? И уж точно далеко не последний и точно не самый опустошительный.

Значительная часть творческих и личных бумаг была конфискована чекистами при арестах Мандельштама в мае 1934 и в мае 1938 годов. Незадолго до первого из арестов имела место «карикатура на посмертную оценку» – фантазмагорическая история и сюрреалистическая переписка с В.Д. Бонч-Бруевичем относительно приобретения мандельштамовского архива Государственным литературным музеем. Автор бессмертного опуса «Ленин на елке в Сокольниках» не только ни в грош (буквально!) не ценил архив и все наследие бывшего акмеиста, он считал себя еще обязанным объяснить фондообразователю свои мотивы и свои критерии¹¹. Чем привел его в бешенство и принудил к отказу от продажи.

Весьма существенная часть архива была отдана в Воронеже на хранение С.Б. Рудакову, но после его смерти на

¹¹ Не настаивай Бонч-Бруевич на этом, был бы мандельштамовский фонд РГАЛИ неизмеримо богаче.

фронте не была возвращена его вдовой и при не вполне выясненных обстоятельствах канула в Лету. Среди этих утрат, по свидетельству Н.Я. Мандельштам, – и большинство автографов ранних стихов. Наконец, в 1941 году, при приближении немцев к Калинин, где в то время жила Н.Я. Мандельштам, она спешно эвакуировалась и могла взять с собою только творческую часть архива; все биографические и деловые документы (договоры и т. п.) были оставлены в сундуке в Калинин и пропали. Утраты преследовали архив и в дальнейшем.

Вместе с тем у архива были и свои «добрые гении», не только хранившие и сохранившие бумаги поэта, но и беспрекословно вернувшие их его вдове при первой же встрече (как, например, Л. Назаревская, Е.Я. Хазин или воронежские друзья Мандельштамов Н. Штемпель и М. Ярцева и др.). С учетом этих пополнений и сложилось в 1940-1950-е годы то собрание мандельштамовских документов, что в настоящее время находится в Принстоне.

Собственная жизнь Надежды Яковлевны, такая же безытная и бездомная, как и прежде, – жизнь одинокой скитальцы (в годы войны и эвакуации – в Ташкенте, а затем – во многих провинциальных городах, где она, по несколько лет в каждом, работала в вузах) – была по-прежнему малопригодной для хранения остатков архива. Поэтому он хранился сначала в Ташкенте, а потом в Москве у надежных друзей (Э.Г. Бабаева, А. Ивич-Бернштейн и др.). И только после того, как Н.Я. Мандельштам разрешили прописаться в Москве, архив снова переехал к ней (и то не сразу)¹².

С выходом в 1970 году на Западе первого тома ее «Воспоминаний», Н.Я. Мандельштам снова начала опасаться ареста и конфискации архива. Отсюда – ее решение переправить архив на Запад и оставить его там на временное хранение вплоть до либерализации советского режима. В 1973 году архив был успешно вывезен во Францию, где бережно хранился у Н.А. Струве. В июне 1976 года, по настоянию Н.Я. Мандельштам, архив был вывезен уже из Франции – в США. При посредничестве профессора Кларенса Брауна и его ученика Эллиота Моссмана (слависта и юриста одновременно), он был безвозмездно передан ею в Принстонский университет, причем не на временное хранение, а, согласно дарственной, в полную и безоговорочную собственность, включая и литературные права.

¹² С 1955 по 1965 гг. архив находился у Н.И. Харджиева.

При том что принстонское собрание – бесспорно основная, семейная часть архива, оно все-таки не единственное. Большинство остальных материалов так или иначе осело в различных государственных советских архивах или же у частных лиц.

Самые значительные коллекции отложились в московских хранилищах – РГАЛИ, ИМЛИ и ГЛМ. В каждом из этих архивов мандельштамовские материалы в какой-то момент были сведены воедино и составили именные фонды О.Э. Мандельштама (фонд 1893 в РГАЛИ¹³, фонд 241 в ГЛМ и фонд 225 в ИМЛИ).

В других архивах именных фондов нет, но по крайней мере в трех количество документов таково, что мысленно такие фонды нетрудно себе представить: это рукописный отдел РГБ и два питерских архива – ИРЛИ и РНБ. В каждом из них имеется до десятка фондов, содержащих те или иные мандельштамовские материалы. Отдельного упоминания, пожалуй, заслуживает и СПбГАЛИ, с его подборкой внутренних рецензий О. Мандельштама для Ленгиза и др. материалами. Единичные документы, преимущественно биографического характера, выявлены в рукописном отделе Русского музея, в ГАРФ и в ряде ведомственных архивов – ФСБ, МВД, Прокуратуры РФ и даже в Архиве внешней политики МИД РФ. Из региональных архивов достойны упоминания Государственный архив Воронежской области и архив Магаданского управления МВД.

Из частных собраний прежде всего следует отметить коллекции, хранившиеся у вдов братьев поэта, как в Москве, так и в Ленинграде, а также у М.С. Лесмана, В.К. Лукничкой, Э.Г. Бабаева, Б.И. Маршака, И.В. Платоновой-Лозинской и др. Большая их часть постепенно оседала на государственное хранение, но некоторые попали в частные руки, причем куда как менее дружественные к судьбе архива или хотя бы к информации о нем.

На территории бывшего Советского Союза имеется и еще несколько хранилищ, содержащих единичные документы, связанные с Мандельштамом. Например, в ряде киевских, харьковских и крымских архивов, в Музее изобразительного искусства Армении в Ереване, в Государственном литературном музее Грузии в Тбилиси. Весьма вероятно, что материалы о семье

¹³ Примечательно, что фонд О.Э. Мандельштама в РГАЛИ продолжает пополняться. Конфискованные у Ю.Л. Фрейдина материалы Н.Я. Мандельштам были обработаны и включены в состав фонда 1893 в качестве описи 3.

поэта еще могут быть выявлены в Прибалтике (в частности, в Риге, Вильнюсе или Шауляе).

К сожалению, в архивах Варшавы так и не удалось обнаружить документы о рождении поэта: совершенно очевидно, что они сгорели во время войны. Из зарубежных европейских архивов следует отметить прежде всего Национальный архив Франции и архив Гейдельбергского университета, содержащие имматрикуляционные документы Мандельштама, связанные с его обучением в университетах Парижа и Гейдельберга. Во Франции, в собрании покойного Е.Г. Эткинда, хранится и небольшая коллекция автографов ранних стихотворений Мандельштама. В свое время он подарил один из имевшихся в его распоряжении автографов профессору К. Брауну, в настоящее время проживающему в Сизгле.

Именно благодаря ему, К. Брауну, архив О.Э. Мандельштама, начиная с 1976 года, находится в Отделении рукописей Отдела редких книг и специальных коллекций Файерстоунской библиотеки Принстонского университета. Являясь, по существу, домашним, или семейным, архивом Мандельштама, эта коллекция, несмотря на все утраты и превратности, — безусловно самое полное и представительное в мире собрание подлинных материалов, характеризующих жизнь и творчество поэта.

2

Итак, основная часть мировой мандельштамианы, начиная с 1976 года, хранится в США, главным образом в Принстоне. Но не менее половины архивного наследия О.Э. Мандельштама разбросано по всему свету. Соответствующие документы можно обнаружить в десятках государственных хранилищ и частных собраний как в России, так и за ее пределами, в частности, в Армении, Франции, Германии, Израиле, США и Канаде. Из этой второй половины подавляющее большинство архивов и собраний сосредоточено в России – главным образом в Москве и Санкт-Петербурге, но также в Магадане и Воронеже.

Как бы то ни было, архивное наследие О.Э. Мандельштама феноменально расплылось, весьма значительная – к тому же центральная – часть его «глобального» архива находится вне России и весьма мало доступна российским исследователям.

Поэтому я выдвинул принципиально новую идею воссоединения архива Осипа Мандельштама – проект дигитализации всего его архивного наследия, вне зависимости от физического местонахождения самих документов, с последующей

их экспозицией и унифицированным описанием в интернете. Насколько известно, ничего подобного такому проекту в настоящее время нет.

Проект приобретет качественно иное культурное и научное значение, если он охватит материалы не только принстонской коллекции, но и всех других хранилищ мандельштамовской документации. Суммарное количество страниц, подлежащих дигитализации, можно предварительно оценить в 10-12 тысяч (следует иметь в виду, что это скорее несколько завышенная, чем заниженная оценка, к тому же основанная на том, что выявлению и дигитализации подлежат и материалы Н.Я. Мандельштам).

Технология такого проекта достаточно сложна и дорогостояща. Имеется предварительное и принципиальное согласие Принстонского университета на безвозмездное предоставление своих материалов. Думается, что реализация задуманного будет возможна только в том случае, если такую же позицию займут и остальные архиводержатели.

Неотъемлемой частью этого проекта должны стать разработка унифицированной системы описания и навигации, а также, естественно, создание соответствующей страницы в интернете, предусматривающей не только экспозицию элементов воссоединенного архива, но и комментирующие связки (links), гипертекстовый поиск и др. В частности, каждый индивидуальный исследователь получит весьма широкие возможности не только для поиска, но и для реорганизации архивных материалов в соответствии с интересующими его критериями.

Само по себе помещение этой страницы в интернет явится практическим и к тому же наиболее демократичным решением проблемы общедоступности архива для специалистов-текстологов и всех интересующихся. Кроме того, – и это весьма существенный момент, – это снизит спрос на оригинальные материалы и заметно повысит степень их физической сохранности.

3

Конечной целью интернет-проекта Оксфордского университета и Мандельштамовского общества «Воссоединенный виртуальный архив Осипа Мандельштама» является выявление, описание и размещение в интернете всех или максимально большого числа сохранившихся творческих и биографических материалов Осипа Мандельштама, где бы они ни находились физически. При этом в едином виртуальном пространстве объединяются как сами рукописи, так и метаданные, или, иными

словами, транскрипты текстов, условно-канонические тексты и комментарии к ним.

Чем интересен случай именно архива Мандельштама?

Тут два аспекта, первый связан с возможностью (точнее, невозможностью) сопоставительного анализа рукописей: они рассеяны по многим архивохранилищам, и соответственно нельзя сравнить две рукописи, находящиеся в разных архивах.

Второй аспект связан непосредственно с «творческой лабораторией» Мандельштама, с его инструментарием. По свидетельству самого поэта, обычно процесс порождения текстов происходил не на бумаге – «я один в России работаю с голоса». Тем не менее, наличие разных редакций и вариантов текста позволяет приблизиться к некоему «авантексту», предшествовавшему тексту записанному. В случае большого количества промежуточных редакций можно визуализировать некоторые стадии создания текста.

В силу этого мы можем примерно указать на целевую аудиторию проекта, которая состоит, во-первых, из текстологов, подготовляющих современные издания поэта, и, во-вторых, более широкого круга исследователей, заинтересованных в восприятии текста как совокупности вариантов и редакций и реконструкции авантекстов. Если первая часть аудитории ограничена, то размеры второй части трудноопределимы, но очевидно, что эти размеры не малы.

Такого рода глобальный проект – создание своеобразного виртуального «Глобуса» – применительно к поэту такого масштаба как Мандельштам предпринимается впервые, но упоительная поэзия является порукою тому, что выбор героя оправдан, а замысел выполним.



Дмитрий Бобышев
Я в нетях
человекотекст, книга 3
(продолжение. Начало в №12/2013 и сл.)

Всё стало вокруг голубым и зелёным



оследняя строчка в стихотворении Лэнгганда намеренно обрывалась, и приходилось лишь гадать, какую мысль она недоговаривала. Может быть, о невозможности вобрать всю полноту звука в голос одного человека, – из-за того, что каждый из нас ориентирован и предопределён – в мужскую ли, в женскую ли сторону? Сам Джо вполне очевидно являл собой двухголосую фугу; мало того, надеялся найти отзвук второго голоса и во мне. Увы, увы, Джо, так дружить – не для меня. Слишком близко.

– Too close? – переспросил он.

– Too close, – подтвердил я.

И он отстранился. У Джо были норвежские корни, но вырос он на холмах Айовы и среди озёр Миннесоты на родительской ферме. Успел повоевать с немцами. Во многом наши вкусы сходились: он любил ту же музыку, в живописи – «Зимнюю охоту» Брейгеля, восхищался неохватными сикоморами Новой Англии. Ещё он с детства обожал лошадей и написал о них поэму с немислимым для перевода на русский названием «Dream of Love»: «Сон», «Мечта», а то и «Грёзы», да ещё и «о любви». Она вышла по-английски драгоценным изданием в кожаном переплёте (надеюсь, не из лошадиной кожи). Я всё-таки решился её переложить, долго страдал над этими «грёзами», но пошёл на отсебятину: «Конь сердца», (задним числом согласовав её с автором), и всё встало на свои места. Поэму выбрал составитель Е. Витковский для монументального издания «Век перевода», в ней есть красивые и смелые образы, порой чувственные, но специфической голубизны нет никакой.

Голубого человека в самом буквальном смысле я встретил однажды, нанеся ему визит в Нью-Йорке. На нём было надето всё

в цвет: костюм, рубашка, галстук, – даже, кажется, туфли из голубой кожи. Будь это всё зелёным, я бы принял его за святого Патрика, – его день празднуют по всей Америке, и не только ирландцы: в Нью-Йорке устраиваются парады бородачей в юбках и с волынками, в Чикаго выливают в градообразующий канал Лууп бочки зелёной краски, в нашем Урбанске-Шампанске (чем не Урюпинск доктора Живаго?) студентам старше 21 года продают в этот день пиво зелёного цвета, и даже я напяливаю на себя что-нибудь в тон, напоминающий ирландцам их родину.

Но он был подчёркнуто и непререкаемо в голубом, хотя никакие другие признаки не говорили о его левой ориентации: при нём была жена, по возрасту ему вполне соответствующая, с которой у них, видимо, предшествовало раздражённое объяснение, – говорил он резко и с ней, и с нами (я был с Ольгой).

– Поэты перевелись на Руси, – заявил он, сбрасывая со счёта не только гостя, но и себя, поскольку это был поэт Глеб Глинка, «из тех самых Глинок», покинувший Советский Союз со Второй волной. Печатался ещё в 20-х, а позже был идейно разгромлен вместе с группой «Перевал». Вышел с литополчением на войну, попал в плен, считался погибшим. Но не погиб, оказался в Бельгии, женился, обзавёлся потомством, перебрался в Америку, да и затаился, гадая там о своём гипотетическом двоежёнстве.

Незадолго до моего отъезда мы с Ольгой побывали у его дочери Ирины Глебовны, московской дамы, приятной и даже прекрасной во многих отношениях. Она была тем, что можно назвать душой элитарного диссидентства, надёжной подругой и доверенной знакомой известных правозащитников, – немного скульпторшей и художницей, одновременно кулинаром и ювелиром. Лишь недавно узнала, что родитель её жив, и Ольга как американка, да и я в качестве туда отъезжающего были для неё живой связью с отцом, возникшим из небытия. Вот у неё-то я впервые почувствовал старый добрый уют московского домовья, полный самодостаточности, почвенничества, и оттого гостеприимный и благожелательный, словно щепоть прабабушкиных пачулей была рассеяна в комнатной атмосфере.

Впрочем, её сравнительно молодой муж, математик и филолог-структуралист сидел тут же с голыми ногами в кресле. «Умный, умный, а глупый», – как его потом характеризовала сама Ирина Глебовна, он внёс свою поправку в общую слишком уж чинную беседу, пошутив шикарно, с непринуждённым интеллигентским матерком. При дамах. Видимо, любил эффектно солировать, поражая москвичек стройно-волосатыми ногами в

шортах, которые он носил до холодов, а заезжих американок – вот такой языковой раскованностью.

Я (резонёрским тоном и репликой в сторону) высказал своё консервативное отношение к ненормативной лексике и её метафизической роли в судьбе кощунствующего народа. Он, заведясь, выложил крутой анекдот о поручике Ржевском, но очистительного хохота не последовало.

Ольга прервала наш поединок, вмешавшись:

– Что вам привезти в следующий раз из Америки, Юра?

– Шорты, – ответил несгибаемый структуралист.

Ирина-таки увиделась с отцом, съездив в Нью-Йорк, когда вышло послабление от властей. А со структуралистом развелась. И, прежде чем покинуть земную жизнь, издала книгу воспоминаний «Потом – молчание». Книга очень фрагментарна, как раз молчания в ней уже и так слишком много, но есть запоминающиеся наблюдения. Например, в Молдавии она видела на гладкой коре буков естественно проступавшие очертания глаз: зрачки и веки. Подобное я замечал на стволах белых американских берёз и теперь, встречая их «взгляды», вспоминаю Ирину Глебовну.

С её неуступчивым родителем, отрицающим поэтов на Руси, мы всё-таки сошлись на том, кого признали оба – на Николае Глазкове. Это был его любимый ученик, и он с удовольствием выслушал рассказ о моей единственной встрече с основателем Самиздата. Что же касается голубой одежды, то она, оказывается, приносила ему счастье в игре. Глеб Александрович знал секреты рулетки и покера, считал, что эти игры приносят гарантированный доход в семью («почти гарантированный», – суеверно поправился он), и сразу после нашей встречи собирался в казино в Атлантик-Сити.

Чего я ждал от него? Подспудно – какой-то помощи, рекомендации, совета новоприезжему, но что мог мне дать этот игрок? Если ради удачи приходилось рядиться ему в голубое, тайны трёх карт он не знал.

Кто действительно помогал мне – с первых моих дней в Америке и до последних его – это Юрий Павлович Иваск. Воздам благодарность за моё заочное, даже трансатлантическое знакомство с ним Славинскому. Вероятно, он же дал знать Иваску о моем переезде в Америку, потому что тот позвонил мне чуть ли не на следующий день по прибытии. Его хлопоты обо мне не ограничились устройством двух выступлений в Массачусетском университете в Амхерсте. Да и допрежь всего, до моего приезда скупил он какое-то количество «Зияний» и, испещрив один экземпляр карандашными пометами, остальные дарил или

посылал в библиотеки Москвы и Питера (то-то мой гэбэшник похвалялся зелёной обложкой, – видимо, из тех изъятых посылок). А в результате карандашных крестиков-плюсиков появилась статья с говорящим названием «Цветы добра Димитрия Бобышева», напечатанная в Париже – сначала в «Русской Мысли», а затем в «Вестнике РСХД». Я сиял, а Юрий Павлович переживал: почему-то с ним стал холоден и сух Бродский. Я на этот счёт помалкивал, и говорили мы о здешней флоре – лириодендронах, или тюльпанных деревьях, названных так из-за формы листьев. Строчка Вертинского о великанском голубом тюльпане оказалась не такой уж нелепой. И я вставил лириодендрон в первое стихотворение, написанное в Америке. Но Иваску посвятил другое, тоже вызванное разговорами с ним, даже его настойчивыми побуждениями. Тема – неожиданная для урождённого москвича, прожившего весь век за границей: блаженная Ксения Петербуржская. Я и сам почитал эту святую, тогда ещё не канонизированную. Неофициальность её культа только подтверждала в моих глазах подлинную святость. Незадолго до отъезда я навестил её часовню на Смоленском кладбище и, признаюсь, помолился тогда о своём. Всё и исполнилось. И я подумал: кому же ещё и написать-то о Ксенюшке, как не мне, – вот ведь даже моя кроткая бабушка носила это имя. Среди дорогих мне книг я сумел вывезти «Старинный Петербург» Н. Пыляева, содержащий жизнеописание во Христе юрודивой блаженной Ксении, и оттуда почерпнул несколько колоритных деталей. Стихи вроде бы получились, и с тех пор каждый приезд в Питер я посещаю Смоленское, хотя никого из близких у меня там нет. Вот уж куда действительно не зарастает народная тропа, это к ней, а не к честолюбивому поэту. Часовня долгое время находилась под угрозой, её окружили забором под предлогом ремонта, но ходили слухи, что начальство втихую собирается её срыть. Когда Ольга позднее по своим археологическим делам поехала в Союз, я заклинал её сходить на Смоленское, навещать Ксенью, и она это выполнила, к тому же нащёлкав своим могучим Найконом видов часовни, всё-таки подремонтированной, и – крупным планом – надписей от почитателей прямо по гладкой штукатурке. Просьбы были любовные, учебные об экзаменах, это – как всегда, а были и совсем новые, – например, вернуть живым сыночка из Афгана. Там шла война. Но угроза снести часовню всё равно витала в кладбищенском воздухе. Помимо стихов, я написал ещё и заметку о своей тревоге за городскую святыню и вместе с ольгиними фотографиями отправил в «Русскую мысль». Материал вышел острый. Конечно, не стихи и не газетная заметка, – святая сила

сама себя отстояла, часовня сохранилась, и теперь там регулярно идёт богослужение.

Юрий Павлович в долгу передо мной не остался, тоже посвятил мне стихи и тоже про блаженную Ксению. Она ему даже являлась во сне. Он пытался помочь ей поднести кирпичики, она его помощь отвергла с упрёком: «Куда тебе, квёлый...» Он недоумевал: хорошо ли это? Плохо ль? Я уверял, что хорошо. От Ксенюшки-то и упрёк получить почётно.

Иваск определённо оказывал мне покровительство и, как Шрагин пытался ввести меня в американский литературный свет, так же и он – в свой первоэмигрантский. Я оказался на приёме, где разом присутствовали три князя: двое Романовых, женатых на высоких итальянках, и Щербатов, самый из них живой и нормальный. Впрочем, ничего особенного – ни интересного, ни полезного – я для себя не почерпнул, все говорили обкатанные любезности.

Позвонил Славинский из Лондона:

– Как ты там, Деметр?

Я рассказал ему об Иваске, о нашей крепнущей дружбе. Он как-то хмыкнул, и я спросил, в чём дело.

– Ты что, не знаешь, что он голубой?

– Как?! И он!

Для себя я категорически не принимал однополый любви, особенно в её мужской разновидности. Но не для других, – это их дело. Волшебные стихи кузминской «Фореи» оказали своё действие, и я уже без отвращения воспринимал идею (только идею), что и тут может содержаться ровно такая же пропорция, – как поэзии, так и пошлости, – в полном подобии с любовью разнополой. Что же касается конкретно Иваска, его восхищения стихами, совпадений литературных вкусов с моими, многих попыток помочь, – если всё это идёт от *ухаживания*, я не могу такого принять. Я поделился сомнениями с Ольгой.

– Когда я работала в рекламе, я часто имела дело с «голубыми». Их вообще много в мире моды, как, видимо, и в поэзии. Ты знаешь, ни с кем я так хорошо не дружила. И парикмахеры они отличные, – добавила она неожиданно.

Парикмахеры меня не интересовали, но успокаивала тактичность Юрия Павловича, который был к тому же благопристойнейшим образом женат. Я ещё застал в живых Тамару Георгиевну, мы встречались с Ивасками, что называется, *домами*, вели общий разговор, хотя и нелегко было поддерживать с трепетной старушкой беседу о том, как её посещают духи любимых, но, увы, покойных кошек. Их могилки, украшенные

ленточками, виднелись у забора на Сансет Булевард в Амхерсте, напоминая языческое капище.

Я думаю, укрепило нашу дружбу с Юрием Павловичем в исском и единственно приемлемом формате то обстоятельство, что мы с Ольгой пригласили его на наше венчание в Автокефальную православную церковь на 71-й улице. И она, и я уже побывали прежде в другом браке, а затем в разводе, но венчались оба впервые. Да и для Михаила Меерсона-Аксёнова, «отца Мишки», как его называла невеста, это был первый опыт венчания. Матушка Ольга (тёзка моей) тоненько подвывала в качестве хора: «Да убоится жена мужа своего», а моя – феминистски хихикала. Венцы над нами держали уже известный читателю Билл Чалсма (он же Тьялсма) и Тони Олкотт, богатырь и весельчак, славист и писатель, с которым я подружился ещё в Питере в ту пору, когда он бурно ухаживал за Мартой, теперешней его женой. Их сменила другая пара шаферов – ольгин кузен Жорж Роснянский (остальные его титулы в Америке были отменены) и, если память мне не изменяет, сам Юрий Павлович, который был одновременно посаженным отцом. Ах, конечно же нет, отцом и устройтелем свадьбы был ольгин дядя, кадет Евгений Гирс, рыцарь бедный и герой моей будущей поэмы.

Расчувствовавшись, я подарил церкви настоящий андреевский флаг с косым голубым крестом по белому фону, чудом провезённый мною через таможенные перетряхи.

Последний мамонт

(встречи и разговоры с Игорем Чинновым)

Леверетт и Норвич. После нескольких месяцев жизни в Нью-Йорке нам с Ольгой предложили провести месяц в деревне Леверетт под Амхерстом. Там, увы, только что развалилась молодая университетская семья ольгиных друзей (между прочим, – славистка и археолог, – тревожный сигнал для имеющих уши!) и, пока участники треугольника разбирались между собой, дом стоял пустой. По моим представлениям – домище с тарельчатой антенной на крыше. Участок одной стороной упирался в лесистую гору (чью-то собственность), а другой глядел на ярко-зеленые луга и гладкую укатанную дорогу, по которой на нашем Пифе доскакать до кампуса (а также до Иваска, Чалсмы или Лэнгленда) было делом 10-ти минут. Единственные обязанности по дому заключались в ежедневном опрыскивании комнатных растений. Антенна позволяла настраивать телевизор на передачи из Бостона, а по утрам на ступеньку крыльца невидимая рука выкладывала местный листок. Раскрыв его, я сразу же наткнулся на главную сенсацию дня: корреспондент обнаружил в кусте бузины

воробьиное гнездо с одним из птенцов – чистейшим альбиносом!
Вот уж глушь, коли такие новости, вот уж дя-я-рѣвня!

Общения с Ивасками были подчеркнута нечасты, и мы с Ольгой, сдав Машу в летний лагерь в Пенсильванию, предавались занятиям, – уместным не только для молодожѣнов, а и, соответственно, для славистов и археологов. Я писал доклад. Через Юрия Павловича получил я приглашение участвовать тем летом в конференции, посвящённой столетию Блока, которая должна была состояться в Вермонте, в Норвичской русской летней школе. Юрий Павлович отправлялся туда автобусом из Массачусетса, а меня, поскольку я автомобилем возвращался в Нью-Йорк, попросил подвезти оттуда Игоря Владимировича Чиннова, который летел из Флориды до Большого Яблока, а дальше решил добираться, как Бог пошлѣт. Ну вот, Бог и послал ему наш слегка помятый бьюик. Не будучи ранее представленным, в лицо я его не знал, поэтому мы договорились по телефону, что опознаем друг друга, словно какие-нибудь конспираторы или шпионы, по какой-нибудь русской газете. Конечно, с тем же «Новым Русским Словом», что и у меня, мы его подобрали в аэропорту Ла-Гвардиа. Он оказался приземистым в массивных очках господином с забавно-старомодными манерами и обращением: «милейший», «любезнейшая» и т. д. И – чрезвычайно охотливым собеседником. Половина пути от Нью-Йорка прошла в наших диалогах о литературе, а оставшаяся половина – в его монологах.

Так мы приехали в Норвич, где в учебное время был военный колледж, а летом располагалась русская школа интенсивного обучения (студентам не разрешалось разговаривать по-английски даже между собой). Вокруг – глушь, чистота дикой природы, единственной достопримечательностью был какой-то заслуженный танк, где все фотографировались. Дни конференции летели в бурных общениях всех трёх волн эмиграции, звучали известные имена: докладчица – Татьяна Родзянко (внучка председателя Государственной Думы), директор летней школы – Николай Первушин (родственник и антагонист Ленина), примечательный ещё и тем, что переводил «выступление» Хрущёва, когда тот бесчинствовал в ООН. Были там прозаик Леонид Ржевский, уже упомянутые поэты Иваск и Чиннов, Иван Елагин, Наум (или, как его все звали – Эммочка) Коржавин.

В докладе о Блоке я взял для разбора его знаменитый, но всё ещё загадочный цикл «На поле Куликова», а конкретней – одну из самых зацитированных строчек оттуда:

И вечный бой! Покой нам только снится.

Здесь меня интересовало ключевое слово «покой», – как оно тематически связано с поэзией до Блока и как развивается после. Несомненно, оно имело истоком пушкинскую триаду:

На свете счастья нет, а есть покой и воля.

Первую компоненту триады, (противопоставленной христианской Вере, Надежде и Любви), ещё в 1834 году отрицал сам Пушкин, вторую теперь (в 1908 году, когда писался этот цикл), утратил Блок. Исторически Блок совместил эту утрату с кануном битвы за освобождение от татарского ига. Напрашивалась параллель между той, Куликовской, и этой, современной Блоку, революционной... Но ведь там и тут – два противоположных стана. Кто же был кто? На помощь я привлёк блоковскую статью «Народ и интеллигенция», и получилась картина, сопоставимая с той, какую представили авторы сборника статей «Вехи». Тогда это было пророчество, предупреждение и предсказание, которое и подтвердилось в судьбе поэта и всей страны.

Что же стало с последней компонентой триады – волей? Блок понимал её во многих значениях, как и надлежит символисту, в том числе и в значении тайной свободы, или покоя творческого, который был у него трагически отнят, – в пушкинской речи «О назначении поэта» в 1921 году он это подтвердил.

Так что же осталось от вечной темы для нас, поколений уже наступивших? Почти ничего. Вот как она отзывалась в поэзии моей современницы Натальи Горбаневской:

Есть музыка, а больше ни черта.
Ни счастья, ни покоя, и ни воли.
В сплошном окаменелом море боли
лишь музыка – спасенье, чур-чура.

Другие доклады вызывали почтительные аплодисменты, мой – смешанные реакции. Не по чину я выступил, что ли? Поднялся Иван Елагин, любимец Второй волны и поставленным не столько для кафедры, сколько для сцены голосом бросил в зал:

– Доколе мы будем винить во всех исторических грехах интеллигенцию? Ведь при Сталине вообще это слово стало чуть не ругательным. Нет, я принадлежу русской интеллигенции, разделяю её судьбу и горжусь этим!

В спор я ввязываться не желал, мало зная эту публику, ответил лишь, что так я истолковываю мысли Блока, который сам

был рыцарем, принадлежащим ордену интеллигенции. Такими же рыцарями были и авторы сборника «Вехи».

«Вот демагог, – подумал я. – Наверное, и «Вех»-то не читал». Однако, незащищённость доклада с этой стороны я почувствовал и впоследствии даже поблагодарил Елагина за критику, натолкнувшую меня на доработку. Вспомнил я и бывшие разговоры с Андреем Арьевым у меня на Петроградской, и именно о том же, прозвучавшие от него как вызов: мол, попробуй-ка разобраться в пересекающихся значениях этой темы! Что ж, теперь я попробовал, добавив к кругу рассуждений ещё одну статью Блока: «Стихия и культура». Логически всё усложнилось, зато в противостояниях проступил символический крест. Видел ли его Блок? Наверняка! Меня пробрал мороз по коже оттого, как близко я оказался к сознанию любимого поэта. Я назвал статью «Покой и воля» и отправил её в «Континент».

Самым интересным на блоковской конференции, как и на всех таких сборищах, были кулуары, которые, впрочем, имели место на открытом воздухе. Собеседники сбивались в небольшие топчущиеся кучи и циркулировали вокруг центрального луга. Я присоединился к Иваску, Чиннову и Коржавину, но встрять со своим мнением в их разговор было нелегко. Кроме того, я отвлекался, – тянуло посмотреть окрестности, которые так меня изумили при подъезде к этим местам: горы, поросшие тёмными елями, мраморные скалы и ущелья, быстрые светлые речки... Но и после долгих прогулок, когда я возвращался на кампус, те же фигуры бродили вокруг луга.

– Какая форма правления желательней всего для России?
– патетически вопрошал Юрий Павлович.

– Конечно же, просвещённая монархия, – веско отчеканивал Игорь Владимирович.

– Да, но ты этого монарха сначала поймай, а потом просвети! – горячился Эммочка в сгущающихся сумерках.

Первое, что я увидел на следующее утро, были те же спорщики.

Филадельфия и Нью-Йорк. Впоследствии я привык к такому бурному способу общения, характерному для всего русского рассеяния: собеседники стараются наговориться впрок, чуть ли не на год вперёд. Юрий Иваск вовлёк меня в Американскую ассоциацию славистов (AATSEEL), и я стал бывать на их ежегодных конференциях, устраиваемых в зимнюю каникулярную пору в разных городах Америки. Рождество по-здешнему нужно проводить с семьёй, Новый Год встречать в кругу друзей, а дни между этими праздниками больше всего

подходят для конференций, – главным образом для аспирантов и молодой профессуры, которые стремятся туда не столько ради докладов с дерзкими названиями, сколько на собеседования о работе. Их работодатели представляют из себя солидную профессуру и администраторов, так что публика в целом получится смешанная, и каждый раз происходят сюрпризы с примерно такими восклицаниями:

– Ба! Кого я вижу? Вот так встреча!

– Ты ли это? Не может быть. Какими судьбами?

И так далее. Диалоги заканчиваются в людном ресторане или в полутёмном баре, коих в роскошных отелях, где обычно происходят конференции, множество, а нередко, если встретились романтики и любовники, которых разметало по разным колледжам, то и в стандартном уединении номера. И всё – мало, всё хочется ещё чего-то увидеть, изведать, испытать в новом городе. Почему бы и не попробовать, если университеты обычно ссужают на такие поездки?

Иваск рассказывал, что однажды он превратил один из семинаров (или одну из «панелей», как там говорили) в поэтическое чтение и ввёл это в официальную программу AATSEEL'a. С тех пор и повелось.

На такой «панели» я выступил в Филадельфии (приехал пока что за свои), заодно посмотрев там надтреснутый колокол Свободы, святыню американской демократии. Привет вам от Царь-колокола, разбитого символа русской идеи! И – обратно на конференцию, – ради чего? – чтобы прочесть 2-3 стихотворения, да ощутить «нафталин» участников, которых было больше, чем слушателей? Ради того ли, чтобы впервые задохнуться разряжённым воздухом или невольно подтвердить советскую ложь про «узкий, затхлый мирок эмиграции»? Или же это говорило во мне защитное высокомерие новичка, и всё было не так?

Вот, например, Борис Нарциссов. Можно ли ожидать хороших стихов, подписанных столь безвкусно придуманным псевдонимом? Между тем, имя это принадлежало ему от рождения, и как поэт он очень даже неплох: любил безумного Эдгара, держал форму в стихах и в жизни, сам насочинял много жути и нечисти в духе Гофмана, По или нашего Ремизова, по-новому выкручивал слова, с черноватым юмором писал о конечных вопросах. Любил полуродную Эстонию. Глеб Струве элегантно отметил, что в его стихах, даже на другие темы, «проступают, как на палимпсесте, янтарноствольные сосны Прибалтики, шёлковый и мягкий, тончайший, как палевая пудра брюнеток, прибрежный песок Эстонии, светлое, не наглое, нежное небо Севера...»

Нет, такой «нафталин» был не без ярких пятен: Иваск! Чиннов, с которым мы едем в этот момент автобусом в филладельфийское Заречье. С нами – Алексис Раннит, эстонский поэт, седовласый внушительный господин и всеевропеец, которого выдвинули недавно на Нобеля (а также и Бродского, но получил тогда – Милош). Тут же Иван Елагин, и так уже яркий, маститый, а всё – уязвимый, как юноша. Университетская дама из Милуоки, вся – в эйфории от такой компании знаменитостей. И, наконец, Валентина Синкевич, всё ещё миловидная, даже красивая дама и поэтесса (и издательница альманаха «Встречи»), к которой мы едем в гости. Двухэтажный дом, по советским стандартам шикарный, по американским – скромный, но украшенный книгами с автографами, живописью и портретами хозяйки из её совсем недавно цветущего прошлого.

Раннит, по-джентльменски безупречно извинившись перед компанией, предлагает мне отстечь в сторону для отдельного разговора. Я польщён, и, хотя из-за стола доносятся вакхические возгласы, мы не торопясь обсуждаем состояние мировой поэзии. Наши вкусы и реакции очень во многом сходятся. Сухость и анемичность английских верлибров (а мой собеседник находит эти свойства и у французов) он толкует как результат противоборства двух англоязычных титанов: холодного, интеллектуального Ти Эс Элиота и влажно-страстного Эзры Паунда. Эзра, увы, сделал ошибочный политический выбор, на него накинута общественность и отвернулась критика (или наоборот, что всё равно), и его литературные редуты пали. Ти Эс получил Нобелевку, Эзру посадили в клетку. Это на десятилетия сместило ориентиры и вкусы в поэзии.

Когда мы вернулись к столу, от угощения остались рожки да ножки. С Раннитом мы ещё пересечёмся в совсем иных, торжественных обстоятельствах, что заслуживает отдельного рассказа. А когда я был выбран председателем той же самой аатсиловской «панели», я пригласил письмом выступить там Алексея Константиновича, – так звали его по-русски. Он уже болел и ответил отказом, но зато каким художественно каллиграфическим почерком (этим талантом он славился)! Я бы непременно воспроизвёл его записку в иллюстрациях к книге. Но вот её содержание:

«Дорогой собрат Дмитрий Бобышев,
спасибо за приглашение, – если смогу – приеду.
Если нет, – попрошу Вас не отказать в любезности
прочитать переводы 2 – 3 стихотворений.
С дружеским приветом Alexis Rannit,

15 – V – 1984»

Эти конференции проходили не только по стране, но и в «ближнем Зарубежье» – в Торонто. И всюду главной целью было непрерывное, почти круглосуточное общение. Как тогда в Норвиче, Чиннов был неразлучен с Иваском. Издали в гостиничных коридорах и холлах их фигуры производили немного комическое впечатление: приземистый Чиннов и длинный Иваск, – толстый и тонкий, Дон Кихот и Санчо Панса. Но разговорщики были они оба такие, что заслушаешься, притом что один великолепно дополнял другого: литературные анекдоты, оценки «по гамбургскому счёту», забавные черты характера, промашки и, наоборот, удачные остроты знаменитостей, – Бунина, Зайцева, Мережковского, Гиппиус, Цветаевой, Георгия Иванова, Адамовича... Я присоединялся к говорунам, и они охотно принимали меня в свою компанию. Мы устраивались за столиками в вестибюлях и кафе, чтобы можно было озирать публику, но при этом так, чтобы и самим быть на виду, и лишь избранных допуская к себе для беседы.

Но вот в нью-йоркском «Хилтоне» появился отец Александр Шмеман, и весь компанейский снобизм испарился мгновенно. Чиннов восторженно встретил отца, я был представлен знаменитому богослову и проповеднику как «наш юный друг и поэт» (а мы уже и так были знакомы), Иваск подтащил для него кресло от соседнего столика, и отец Александр сразу же повёл беседу, – конечно, о литературе, даже, может быть, о тех же именах, что и мы, но на высочайшем интеллектуальном уровне. Мне захотелось внести в наше общение некоторую вольность, и я предложил ему выпить со мною пива. Чиннов быстро взглянул на меня с удивлением и любопытством, а отец Александр охотно согласился, и вскоре мы с ним насладились пивом, выпив по кружке прохладного Пильзенского.

О земном. Суждения Чиннова и его устные рассказы обладали одним эпическим свойством, полезным в любом повествовании: в них важное в равных дозах перемешивалось с пустяками, а комплименты с язвительными и точными замечаниями. Однажды мы с ним давали одновременное интервью Михаилу Маргулису для его «Литературного курьера», выходившего с неопределённой периодичностью. То было время, когда репутация Бродского начала достигать культового накала, и, естественно, один из вопросов был о нём. Как, мол, вы относитесь?.. Чиннов отозвался неожиданно резко, заявив, что Бродский исписался, и ему уже нечего сказать читателю.

Я в свою очередь уклонился от прямого ответа (в двух словах все равно не расскажешь) и попытался объяснить это журналисту тем, что мы сами пишем стихи, а поэты, подобно красавицам, не любят окружать себя другими красавицами и тем более обсуждать их достоинства. Впоследствии Константин Кузьминский, составитель известной антологии самиздата, печатно недоумевал по поводу моего сравнения, как будто он сам не был такой красавицей. Чиннов, безусловно, был тоже, причём весьма ревнивой.

На одной из подобных конференций, сидя и разговаривая с Игорем Владимировичем, я был на какое-то время отвлечён в сторону молодой и привлекательной особой. Когда я вернулся к Чиннову, всё ещё сидящему в вестибюле отеля, где везд и вперёд сновали разнокалиберные слависты, я увидел его в необычной компании: с ним был прехорошенький юноша в рискованном декольте, который возбуждённо поводил накрашенными глазами. Я понял: Чиннов в этот момент «эпатирует буржуа», то есть всех присутствующих и в частности, стало быть, меня... Подумав, что этот юноша, может быть, какой-нибудь рехнувшийся аспирант, я подошёл к ним и заговорил, чтобы проверить. Нет, то был никакой не аспирант, по-русски ни бум-бум, – типичный панельный парнишка, только, конечно, чисто помытый... Да, Игорь Чиннов был беспримесно «голубым».

Его связывали совместные путешествия и десятилетия дружбы с Юрием Иваском, и, когда тот увлёкся моими стихами, Чиннов заметно взревновал. Но на их отношения покушаться я никак не мог, я просто подружился с обоими стариками, хотя из них двоих понятней и ближе для меня был Иваск. Чиннов это чувствовал, а ему нужно было отдельное внимание. После смерти Ю.П. Иваска в 1986 году нам обоим стало очень не хватать этого замечательного друга и собеседника, и мы с Игорем Владимировичем стали чаще переписываться. При всём гедонизме и привычке к комфорту, Чиннов много путешествовал, даже в поздние годы не страшась неизбежно связанных с этим тягот. И при этом не забывал послать привет с какой-нибудь красочной открыткой – то из Марокко, то с Канарских островов. Мы переписывались и на более серьёзные темы. Вскоре я напечатал в «Континенте» рецензию на его книгу стихов «Автограф».

Memento mori. При знакомстве русские эмигранты первым делом интересуются, к какой волне принадлежит их встречный. И дальнейшее отношение уже зависит от номера волны: первая презирает последующие за «советскость», вторая с пиететом смотрит на первую и с дрожью отворачивания на третью, а

третья плюёт на всех, ругает как Запад, так и Восток, и открывает кавказские рестораны на перекрёстках американских улиц.

Много между ними действительно несхожего, но, как ни странно, главнейшее различие – то, что должно было бы всех объединить: страна, откуда все родом... Потому что у каждой из волн – свой образ России, который они унесли с собой, как Роман Гуль в его «Новом Журнале». У первой – Россия буколически-усадебная, у второй – страшная сталинская, а у третьей – брежневская, скучно-постылая, как вчерашняя каша.

Какова же Россия Игоря Чиннова? Судя по его последней книге «Автограф», никакой России в его стихах вовсе нет, – есть только полное её отсутствие, громадное зияние на месте «1/6 части земной суши». Рождённый в пределах великой Российской империи, Чиннов из-за своего раннего возраста и известных исторических обстоятельств едва взглянул на «край родной долготерпенья» и, унося в памяти лишь несколько примет, оставил его навсегда, чтобы поселиться в Европе, в Америке, в Мире. Казалось, это нанесёт фатальный ущерб русскому поэту, сделает заведомо неполноценной его Музу...

Но в поэзии ведь всё возможно, ибо она – чудо (плюс египетский труд, в чём никто не признается), и вот с годами и десятилетиями, с публикациями и сборниками этот поэтический минус превратился в несомненный плюс, а Чиннов стал истинным космополитом, планетарным жителем, но с драматической подоплёкой. Его драма заключается не столько в гамлетовском вопрошании «Быть или не быть?» (Чиннов слишком хорошо знает, что, конечно, не быть), сколько в продолжении этого вопроса, в заглядывании за край небытия... Эта неравная антиномия, это колебание между несомненностью конца и сомнительностью бессмертия перешла в «Автограф» из более ранних сочинений.

Вот характерные тропы из этого сборника (отбросим кавычки, чтоб не пестрело в глазах): отплытие в небытие, в никуда, уснём не проснёмся, чаша весов, приговор, тень Евридики, мумии, посмертные маски, крематорий, Азраил, конь Блед, Смертушка, водица тусклого Стикса, Харонушка, Хронос и его главный атрибут – песочные часы. Заведомая мера убывающего времени!

Вот почему и морской песок оказывается сосчитан поэтом до единой частицы.

Кто может сосчитать морской песок? Весной
я шёл по берегу устало:
я точно сосчитал песчинки – до одной.
Но двух песчинок не хватало.
... Пусть раковиной бледной и пустой

я на песке похолодею:
но светлый Мусагет из раковины той
с улыбкой вырежет камею.

Exegi monumentum – на текучем песке времени.

А в этом пересчёте секунд – не скрупулёзность, но предельная трезвость: если бы даже невероятно увеличить жизненную клепсидру, то и тогда это было бы не избавлением от смерти, а лишь откладыванием на потом неприглядной и жуткой обязанности, навязанной каждому существу. Искусство же утешает, но не спасает.

Выручает улыбчивость Музы, её искренняя самоирония. И – что ей тоталитарные блазни нашего века, его гекатомбы и даже самоубийственные порывы целых наций! Всё это касается Чиннова постольку, поскольку его охочее до жизни «Я» в результате этих всемирных глупостей должно превратиться в ничто, аннигилировать. Даже нейтронная бомба – всего лишь апокалипсическая игрушка, и какая разница, от чего погибать?

Эгоцентризм?

Да, но зато честный. Честней, чем некрасовская скорбь за народ (а своих собственных крестьян – что? – на конюшню...) Честнее «будущих зорь человечества», против которых протестовал подпольный человек Достоевского.

Честнее уже потому, что человечеству никогда не больно, но всегда больно человеку.

Никакой пышной риторики! И это, пожалуй, то, что в поэзии Чиннова точнее всего отвечает камертону «Парижской ноты» Адамовича.

Но ведь не одни же гробовые бесспорности утверждает Чиннов, отнюдь нет! В его стихах почти всюду присутствует противовес, а предыдущий сборник так и назывался: «Антитеза». Подразумевается, что ею должна быть вера в Бога, в бессмертие души, в воскресение из мертвых. Но это не вера, это – лишь надежда. А то и скепсис, а то и отчаянное комикование. Протест. Переливы иронии от хохота до просветлённо грустной улыбки.

И если определять характернейший жанр для этой книги, то я бы выбрал не элегию или философскую жалобу, а скорее всего пейзаж. Наш земной, почти кругосветный вид, экзотический или очень обыкновенный, который пишется Чинновым в головокружительно-галактическом ракурсе. Он рискует брать ярко-светящиеся, чуть ли не райские краски, но всегда умеет спасти эпитет от красоты точным смысловым «отрезвлением»: каким-нибудь маленьким крематорием на заднем плане. Memento mori! В других стихах книги поэт помещает лишь намёк на это

латинское напоминание: червя в дозревающем персике, либо жучка, точащего лист шалфея. И этого достаточно. Всё сплавляется в гармонию, к тому же и оркестрованную фонетически как нельзя лучше:

Розовато жёлты абрикосы,
изжелта зеленоваты сливы.
Золотые пчёлы или осы
населяют сад листошумливый.

«Автограф» заканчивается сильным росчерком пера, в духе всей книги. Громоздко отсутствующая Россия неожиданно появляется (даже, скорей, разверзается) в последнем стихотворении. Но в каком свойстве? А вот в каком – в виде кладбища! Умственно возвращая свой будущий труп на историческую Родину, Чиннов примеряет его лежащим на Литераторских мостках Санкт-Петербурга (тогда ещё Ленинграда). И это у него как-то не получается. Да и пожить ещё хочется... И правильно!

Но последняя строка стихотворения, а значит и всей книги, является оптимистическим контрастом темы и одновременно контрапунктом всех тем:

А вот стихи – дойдут. Стихи – дойдут.

О божественном. Он называл себя агностиком, но как будто мечтал, чтобы кто-то убедил его в вере. Его заинтересовала теория цельного мировоззрения, до которой, как ему показалось из наших разговоров, (а мне и самому иногда так казалось) я однажды додумался. Он попросил изложить эту теорию письменно, и я, как мог, кратко обрисовал случившийся со мной опыт вещего, что ли, сновидения и сопутствующие ему переживания и мысли, рассказ о которых позднее включил во вторую книгу воспоминаний, а именно – в главу «Небесное нашествие». Но и то письмо с изложением, посланное Чиннову, должно где-то находиться в его архивах. Игоря Владимировича особенно привлекла идея о сотворении Богом Мира из отъединившейся и отпавшей от Него духовности, – то есть, по существу, из свето-мрака. В ответном письме (21 ноября 1981 года) Игорь Владимирович продемонстрировал большую философскую и даже богословскую эрудицию, но к изложенной идее отнёсся с осторожностью. Впрочем, в постскрипуме привёл сходную мысль английского средневекового богослова Роберта Грессетесте о том, что материя возникла из света! Но «убедить»

Чиннова мне не удалось, да наверное и не надо было. Чисто обрядово он чувствовал себя в православии, как дома.

Однажды в Сан-Франциско в 1987 году в воскресное утро после славянской вечеринки мы отправились в православный (причём, синодальной юрисдикции, то есть строгих традиций) храм, – знаменитое в Русской эмиграции, святое, намоленное место. К моему удивлению, Игорь Владимирович, сложив крестом руки на груди, пошёл к Евхаристии и причастился. Я его, разумеется, поздравил с принятием Святых Таин, но не мог удержаться и спросил, как же это он причастился без исповеди, покаяния и отпущения грехов. В ответ он произнёс с убеждённостью:

– В моём возрасте это допускается...

И мы отправились в русскую закусочную есть пирожки.

О литературе. Другие темы, впрочем, преобладали в нашей, не столь уж частой, переписке. Я посылал ему стихи на отзыв, а он мне, и я получал его очень дельные замечания. В частности, по поводу оды «Жизнь Урбанская», где я не удержался от полемики с третьей волной. В письме (1 октября 1986 года) Чиннов оду одобрил, но озабоченно советовал: «Нужно ли наживать врагов? О третьей волне я бы убрал. Огульно и опасно: на Вас очень окрысятся... «Рабы наоборот». Я дрогнул, прочтя это. Вот удружили Вы... Давши по морде всем оным, где же Вы собираетесь печататься? Где будут появляться отзывы о Ваших стихах?» Он, конечно, во многом был прав. Кто, как не Чиннов, знал ведьмины рецепты этой литературно-журнальной кухни, описанной им в стихотворении – памяти ещё одного нашего общего друга, имя которого я раскрою позже.

В этом доме живут долгожители,
обыватели и отравители
(а напротив живут небожители).
Вечерами весенними, летними
тридцать ведьм развлекаются сплетнями,
осуждают губами столетними.
И тринадцать вампиров морщинистых
(с париками на лысинах глинистых)
разъезжают на бесах щетинистых.
И выносят они обвинительный
приговор пришлецу из пленительной
светозарной страны, небожительной:
«Да, казнить! Он соседей сторонится,
у него от безделья бессонница,
он до нашей еды не дотронется.

Он питается ветром и грозами,
говорит он не с нами, а с розами,
облаками, туманами, звёздами».
Стал преступник скромнее, смиреннее.
Поздно! В тихое утро весеннее
приговор – приведён – в исполнение.

В моём случае приговор, к счастью, не был приведён в исполнение, хотя недоброжелателей хватало. И всё же – «Жизнь Урбанская» была напечатана в максимовском «Континенте», а отзывы о стихах стали приходить из совершенно неожиданного места – из России.

В том, что его стихи дойдут, Чиннов не сомневался, но при этом весьма скептически оценивал шансы побывать там физически, даже в виде объекта захоронения:

Нет, вряд ли. И мечтать напрасный труд,
что наши трупы въедут в Петроград.

Санкт-Петербург. Тем не менее, именно там мне довелось ещё раз встретиться с Чинновым, – и оба мы были вполне живые. Ради такого эпизода надо будет мне шибко обогнать ход повествования (что в этом тексте не впервой), – всё равно ведь время тут свободно гуляет, а при случае забегает и в будущее. Лишь иногда приходится его одёргивать:

– Книга, к ноге!

Случилось это так. В 1991 году я взял полугодовой (и неоплачиваемый) отпуск в своём университете и отправился в Петербург, тогда ещё Ленинград, преподавать курс эмигрантской поэзии в двух главных ВУЗ'х, имея от них лишь самую общую договорённость. Приехал, а там разразился августовской путч. Вместо того, чтобы тут же развернуться и уехать обратно в Америку, я остался и не прогадал. Путч, как известно, провалился, мои курсы состоялись и, судя по прессе, проходили весьма успешно. К середине октября я заканчивал читать лекции о первой волне эмиграции и как раз намеревался говорить о поэзии Иваска и Чиннова.

И тут я узнаю: Чиннов в Петербурге – по приглашению бывшей Публичной, теперь Российской национальной библиотеки. Хочу ли я с ним повидаться? Конечно, хочу! Чиннов собирается посетить Русский музей, библиотека ему отрядила автомобиль с шофёром, а вот сопровождающего у них нет. Не хотел бы я сопровождать Чиннова по музею? Разумеется, почему бы и нет, с удовольствием. Я соображаю: музей открывается с 11-ти, а в два у

меня семинар по Чиннову, ну как не воспользоваться таким фантастическим совпадением, как не затащить его прямо после музея к студентам?

Мы встречаемся у библиотеки, едем в музей. Игорь Владимирович одет в элегантный плащ, опирается на какую-то замысловатую трость, на голове – кожаная шляпа с восточным тиснением. Я вспоминаю, что Чиннов прислал мне несколько ярких открыток из своего недавнего путешествия по Северной Африке, на одной из них изображён базар в Касабланке. Шляпа, конечно, оттуда. Музейный гардеробщик с благоговением принимает её вместе с плащом, а трость всё время теперь нужна Игорю Владимировичу, ибо «немошен стал». Она снабжена раскладным сиденьем, так что можно посидеть и передохнуть, что Чиннов и демонстрирует перед картиной Поленова «Кто без греха?». Увы, обратно это сиденье не складывается и только мешает при ходьбе. Залы грязноваты, пусты, «Бурлаки» на месте, «Запорожцев» нет, «Демон» отсутствует. Музей явно переживает упадок.

Я понимаю, что сейчас самое время пригласить Чиннова куда-нибудь на ланч, но вместо этого я зову его на свой семинар в Педагогический институт (ныне университет) имени Герцена. К моей радости, он охотно соглашается, и вот мы уже на Первой линии у бывшего особняка Дашковой, где расположено Русское отделение. Последнее препятствие – невероятно крутая и неудобная лестница на второй этаж здания. Увидев эту лестницу, Чиннов со своей стуло-тростью делает движение назад, но отступать уже поздно: шофёр отпущен. В этот критический момент подоспели студенты и буквально на руках подняли Чиннова и внесли в аудиторию. Со мной был магнитофон, и ниже я привожу запись его выступления.

Выступление Игоря Чиннова перед студентами Педагогического университета им. Герцена 25 октября 1991 г.

«Господа студенты! Это, вероятно, непривычное обращение, но мне оно нравится больше предыдущего («товарищи»). Надо сказать, что я до последней минуты понятия не имел о том, что буду выступать в стенах вашего университета, так что простите за экспромт.

О Юрии Иваске я вам постараюсь кое-что рассказать. Наша дружба началась лет 50 тому назад, и даже несколько больше. Кажется, в 33-м году, живя в Риге, я неожиданно получил письмо, оно пришло на адрес газеты «Сегодня» и было передано мне Петром Моисеевичем Пильским, очень известным в своё время журналистом. И в этом письме на 4-х страницах

канцелярской бумаги Юрий Павлович писал о том, что в журнале «Числа», издававшемся в Париже, он прочитал мою несколько сумбурную статью и захотел вступить со мной в обсуждение её. Из этого письма было ясно, что это человек вдумчивый, очень интересный, действительно содержательный и интересующийся очень многим.

Довольно скоро он пригласил меня в Печоры, где он жил, и я поехал к нему. Это была расположенная около Псково-Печерского монастыря русская деревня: бревенчатые избы, белые наличники... Так вот, в этой деревне проживал тогда Юрий Павлович Иваск. По-эстонски произносится *Иваск*, с ударением на первом слоге, но он для благозвучия переименовал на *Иваск*, и хорошо сделал. Пребывал он там в роли «мытаря», как он сам писал, сборщика податей, то есть акцизного чиновника. Это была Эстония, как и теперь, с русским населением, – в частности, в Печорах.

Мы с ним погуляли, полюбовались на великолепный Псково-Печерский монастырь и на замечательный храм Николы Ратного, – вероятно, XVI века. Храм очень хорош – квадратный, большой, гармонирующий с необыкновенно красивой звонницей. Мы там посидели, повидали знакомую баронессу Будберг, она обосновалась там уже давно. На следующий день увидели, как это ни странно, её Императорское Высочество великую княгиню Марину Петровну. Она была дочь великого князя Петра Николаевича Черногорского, – очень высокая дама в коричневом костюме из какой-то приятной кожи. Говорила она с нами так, как будто мы были знакомы тысячу лет. Светское обращение – это немногим людям дано. Сразу мы почувствовали какое-то взаимное расположение. Она была художница, рисовала Богородицу, Деву Марию с очень большой свечой сбоку. Милейший человек, она была уже не «Ваше Высочество», а «Княгиня Светлейшая», жена князя Голицына.

Там были русские крестьяне и сеты. Сеты – это православные эстонцы. Всё это было очень хорошо и интересно, и вскоре Юрий Павлович показал мне письма Марины Ивановны Цветаевой. Марина Ивановна дала ему эти письма с тем, чтобы он передал их Елизавете (или Эльзе) Эдуардовне Маллер для архива Базельского университета в Швейцарии, где та работала в отделе русского фольклора, а в Эстонию приехала, чтобы записать русские «заплачки».

Письма написаны сиреневыми, скорее лиловыми чернилами, – очень отчётливый, по-своему красивый почерк, и вы видите прежде всего восклицательные знаки. Марина Ивановна

всегда говорила на диезах, всегда очень громко и всегда ставила восклицательные знаки в огромных количествах. Тогда уж скажу несколько слов о самой Марине Ивановне. Это был, конечно, замечательный, изумительный и почти гениальный человек. Склоняюсь низко перед её памятью. В своё время мы в Риге в большом нашем соборе, очень холодном, отслужили панихиду по Цветаевой. В своих стихах она пишет много совершенно замечательного, но много такого, чего я принять никак не мог. Я помню наизусть примерно 10 стихотворений её – это совершенно изумительные стихи. А всё остальное написано не то, что бы небрежно (она много работала над своими стихами), но как-то не для меня, во всяком случае. Я её очень ценю, я не сказал бы, что люблю, нет, любить Марину Ивановну было очень трудно. Её соседи, все её друзья признавались мне, что человеком она была в высшей степени трудным, и сомневаться в этом мы никак не можем.

В Париже в конце 20-х годов издавался журнал с очень странным названием «Благонамеренный». Название было выбрано потому, в Петербурге когда-то выходил журнал «Благонамеренный» с участием князя Шаховского. И вот, 100 лет спустя, его издавал тоже Шаховской, князь Димитрий Шаховской, впоследствии известный как владыка Иоанн Шаховской. Этот человек, во многом замечательный, приняв схиму, оставил себе своё светское имя наперекор всем церковным канонам. По канонам надо, если человек принял монашеское звание, отречься от всего светского, земного и в том числе от имени. Конечно, князь Шаховской – это имя, от которого мало кто отказался бы. И вот в 4-м номере этого «Благонамеренного» Марина Ивановна напечатала статью о благодарности, где она утверждает, что благодарности никакой не нужно. Благодетель совершает своё благодеяние ради себя, ради своего удовольствия, ради сознания, что вот он кому-то помог.

Я совершенно не согласен, дело абсолютно не в том, из каких побуждений исходил благодетель, а в том, что он сделал. У нас в Америке существуют прекрасные библиотеки, носящие имя того мецената, который отвалил несколько миллионов на это дело. Неужели мы были бы настолько глупы, чтоб отказаться от этих денег только потому, что благодетель имел в виду не столько пользу для студентов, сколько пользу для себя?

Марина Ивановна, повторяю, была человек и очень умный, и очень глупый. Это в ней странным образом сочеталось. В Париже русские поэты её называли «Царь-дура». На самом деле она была умна, она была добрый благородный человек, это

несомненно так, но каждый раз, когда она позировала, а она позировала почти всю жизнь, это производило неприятное и даже смешное впечатление. И вот какие-то очень незначительные люди, какие-то просто мещане, и ничего более, смеялись над таким явлением, как Марина Ивановна. Она в этом виновата сама и никто другой... *(Перерыв в записи. У меня кончилась кассета, и я вставлял новую. – Д.Б.)*

...Когда всех нас, сидевших в лагере немецком, освободили американцы, они очень скоро увезли нас из Рейнской области во Францию. Это был последний день ещё открытых границ. Увезли сперва в деревушку около Реймса, где мы некоторое время сидели на всём готовом, после чего я поехал в Париж. Там меня кое-кто из русских знал, потому что я напечатал несколько стихов и статей в журнале «Числа».

Это был совершенно замечательный журнал, который издавался на средства какой-то теософки, дай ей Бог за это Царства Небесного, и редактором был Николай Авдеевич Оцуп. Он был ученик Гумилёва, как и Георгий Викторович Адамович, впоследствии мой старший друг. В журнале «Числа» эти милые сотрудники продолжали линию журнала «Аполлон», который в 10-е годы здесь, во граде Петровом, издавался Сергеем Маковским, сыном художника Константина Маковского – «Боярская свадьба» и всё прочее...

Сергей Константинович был человек европейски образованный, прекрасно говорил по-французски и писал по-французски в престижных журналах. По-немецки он не говорил, говорил по-итальянски: он несколько лет провёл в Италии, – детство и потом какие-то годы. Автор воспоминаний «На Парнасе Серебряного века» и других весьма замечательных книг, он был человек очень высокомерный. Он был единственным тогда, знавшим таких людей, как Иннокентий Анненский, Михаил Кузмин, Николай Гумилёв и так далее...

Впрочем, не единственным. Вот что мне говорила (в большом подпитии, за водочкой с огурчиком) Ирина Густавовна Одоевцева: суровой зимой она лишилась невинности в сугробе Летнего сада «при сотрудничестве» с Николаем Степановичем Гумилёвым.

Когда я приехал в Париж, я вскоре пошёл в Дом книги. Отбираю там стихи, а владелец магазина Михаил Семёнович Каплан говорит мне:

– Вы действительно понимаете в этих стихах?

Я отвечаю:

– Почему бы мне не понимать? В этом журнале напечатаны мои стихи, вот здесь вы найдёте моё имя...

И он сделал вид, что меня помнит. Ничего он не помнил, но сказал, что дня через два будет собрание русских поэтов в таком-то зале, и я могу туда пойти.

Перед этим я нанёс визит Георгию Викторовичу Адамовичу, ученику Николая Гумилёва, автору книги «Облака». С ним была у нас такая переписка: по одному письму с каждой стороны. Я ему послал какие-то свои стихи. Он мне написал очень мило и хорошо, что стихам нужна поддержка книги, где любой намёк раскрылся бы во всей полноте, что было совершенно верно. И вот я поднимаюсь по лестнице и примерно на втором этаже вижу какого-то элегантного господина со сморщенным лицом, но очень черноволосого (существует такая краска для волос). Он был весьма интеллигентного вида, одет в синее пальто, и я его спрашиваю:

– Мсье Адамович?

И оказался это именно Адамович, и мы с ним пошли в ближайшее кафе, быстро, и поговорили. Когда я заговорил на высокие темы, о «Божественной комедии» Данте, он мне сказал, что никогда этой «Комедии» не читал и не будет. И вдруг он мне говорит при прощании:

– Вот у нас послезавтра собрание. Хотите выступить?

Я обомлел.

– Выступить? Ну, хорошо.

За одну ночь написал стихотворение, оно – в моей первой книге: «Читая Пушкина». На собрании прочёл, удостоился аплодисментов, и всё было в порядке. А собрание – это был полный зал Русской консерватории, большой стол покрыт зелёной скатертью, и в середине Иван Алексеевич Бунин, нобелевский лауреат, член Российской Академии. Великолепный! Роста вроде моего, нечем особенно гордиться, но лицо – бронзовая медаль. И на лице написано высокомерие.

А рядом какой-то карлик, ниже меня ростом, лицо совершенно аховое. Но такой душечка и такой умница – ах ты, Боже мой! Это Алексей Михайлович Ремизов. Вид вообще совершенно страшный. Но как Лев Николаевич Толстой, надевший крестьянскую блузу и отрастивший бороду лопатой, нашёл свой облик, то же самое случилось и с Ремизовым, – он отказался от всяких пиджаков, был в каком-то подряснике. Чудово какое-то, посмешище и страшилище, он стал забавным и юродивым. В его комнате была от угла к углу верёвочка, а на ней всякие скелетики: скелетик летучей мыши, обыкновенной

домашней мыши, какой-то рыбки, на бумаге изображена просто рожица – ручки, ножки, огуречик... Но надо сказать, что Алексей Михайлович был удивительным художником, его рисунки – это явление настоящего искусства. У него также была придумана знаменитая Обезьянья великая и вольная палата, и он там был Князь обезьян. Я тоже удостоился какого-то обезьяньего чина. Всё это было любопытно и смешно, и скрашивало нашу жизнь, которая была весьма безрадостна в Париже по причине очень забавной – не было денег. И откуда нам было их взять?

Я ходил, конечно, в разные учёные общества, овладев французским языком, о котором имел довольно слабое представление дома в Риге, а потом наострился и слушал. И Георгий Владимирович Иванов говорил на плохом французском языке, а Георгий Викторович Адамович на прекрасном, и Сергей Константинович Маковский тоже на прекрасном.

В этих учёных обществах выступал давний мой друг, – при разнице в тридцать лет я был другом Василиевича Вейдле, одного из тех, кто нёс гроб Блока на кладбище. Он был человеком полунемецкого происхождения, окончил Анен-Шулле и по-немецки говорил прекрасно. Помню один симпозиум в Мюнхенском университете, в главной аудитории, и вот какие люди: Мартин Бубер – знаменитый еврейский философ, Габриель Марсель – знаменитый французский философ-экзистенциалист, это столько громких имён и профессор, доктор Вейдле. Обсуждалась тема «предметное искусство», говорилось, конечно, о разных странных людях, вроде Марселя Дюшана, который взял когда-то в пивной эту штуку, на которой развешиваются для просушки стаканы, выкрасил её в белый цвет, выставил на выставке современного искусства и получил первую премию. И вот выступает после всех этих знаменитостей Владимир Васильевич. У меня просто сердце захолонуло, чем это кончится? Он говорил прекрасно. Была овация такая, какую устраивали Иосифу Виссарионовичу Сталину, недоброй памяти. Владимир Васильевич Вейдле называл меня «мой милый друг, мой милый поэт».

В ближайшей 183-й книге нью-йоркского «Нового Журнала» появятся его письма ко мне с весьма забавными эпиграммами. Этот журнал, который я вам очень советую читать, называется «Новым» уже 50 лет, – как всё-таки глупо его назвали, ежели со временем некоторая новизна его отпала. Но журнал этот прекрасный за исключением раздела стихов, – стихи, особенно в начальных номерах, были просто ужасные. Все эти эсеры, эсдеки, социал-демократы, разные общественники, организовавшие

журнал – очень милые люди, однако проспавшие матушку-Россию и потом только и говорившие, что о разгоне Учредительного собрания. Они в стихах совершенно ничего не понимали, поручили поэзию своим жёнам, а жёны печатали, конечно, самих себя. Я как-то однажды объяснил этим милым людям, точнее тем из них, которые были ещё живы, что печатать такие стихи не следовало бы.

Наконец, пришёл в редакцию «Нового Журнала» Роман Борисович Гуль, человек сложный, часто неприятный, но во-первых умница, что не так уж часто встречается, а во-вторых человек, понимавший в стихах. Прозаик, романист, который понимает в стихах – это ж самая белая ворона, которая когда-либо на свете была.

Говоря о прозаиках, только один Иван Алексеевич Бунин и понимал в стихах и сам иногда писал хорошие стихи, чаще нейтральные. А вот Борис Константинович Зайцев мне говаривал:

– Если бы я написал стихотворение, то это было бы вроде капитана Лебядкина: «Жил на свете таракан, таракан из детства, а потом попал в стакан, полный мухоедства».

Вот в таком примерно духе. Борис Константинович был человек прелестный, но он был больше всего известен до революции. Они с Бердяевым, Михаилом Осоргиным и ещё кем-то в годы революции открыли Книжную лавку писателей и вот, благодаря этому, с голоду не померли. И в Берлине, а потом в Париже Борис Константинович как-то скромненько жил, в Париже на американские посылки: какие-то милые люди, – главным образом евреи, – ему эти посылки посылали, и он таким манером существовал. Потом дочь его Наталья Борисовна вышла замуж за графа Соллогуба (через два «эль», это вам не Фёдор Кузьмич через одно «эль»), а он был коммерсант и очень состоятельный человек. У него там в Пасси, в двух шагах от авеню Мозар, на узкой улочке, очень патриархальной и милой, Борис Константинович дальше писал «Звезду над Булонью» или «Дом в Пасси», очень милые вещи. Иван Алексеевич Бунин потом его ругал якобы за глупость. Тот написал «Путешествие Глеба», а Иван Алексеевич говорил:

– Я не знаю, кто глупее: Глеб из «Путешествия Глеба» или Борис Константинович.

А теперь – об Иване Алексеевиче Бунине. Человек он был прежде всего злой, умный, но в ограниченных пределах. Символизма совершенно не понимал, даже до странности. Я не так уж стою за символизм, но он просто его не понимал. Это очень печально и обидно. Иван Алексеевич Бунин даже писал стихи, и некоторые из них удачны. Кроме удачных стихов писал он прозу,

и это удивительная, замечательная, прекрасная проза, лучшая проза, написанная по-русски. Лучше Тургенева, не говоря уж о Паустовском и разных непоименованных. Ума там мало, да и зачем, собственно говоря, нужна нам какая-то крупница ума от художественной прозы? Его описания абсолютно прекрасны, а сам он человек весьма неприятный. Вересаев пишет в своих воспоминаниях о нём: «Меня всегда удивляло сочетание совершенно паршивого человека с прекрасным, взыскательным к себе художником.» Не будем называть его «совершенно паршивым человеком», тем более, что он уже умер, но человек он был с весьма крупными недостатками.

Его, например, пригласило Русское общество Риги на чтение цикла лекций. На свои деньги сложились мы там все. В то время уже был в Латвии фашистский режим Ульманиса, на русские дела ни одной копейки правительство не ассигновало. И вот приезжает из Парижа в первом классе, разумеется, Иван Алексеевич Бунин – нобелевский лауреат. На станции делегация русских обществ, какие-то уже заранее заготовленные речи на бумажках, – ну как же, приветствуется последний большой представитель великой русской культуры. Иван Алексеевич выходит:

– Спасибо, спасибо, господа. Благодарю, очень тронут.

И ушёл, вот вам и торжественная встреча.

Когда меня вывезли это милые американцы на Запад, довольно скоро я стал профессором, и появилась возможность путешествовать, чем я и воспользовался. Я видел очень много стран, городов и разных вещей. И вот теперь я увидел Россию».

Сан-Франциско и Торонто. Мы распрощались с Чинновым, имея в виду встретиться через два месяца в Сан-Франциско, где была запланирована следующая конференция славистов. Я прилетел туда прямо из России, обогнув земной шар почти наполовину. Летел я с большими затруднениями, потому что в тот год, помимо развала Советского Союза, произошло ещё и банкротство авиакомпании ПанАм, которая должна была меня доставить.

После такого полёта я с трудом приходил в себя, и в моей памяти о той конференции совершенно отсутствует Чиннов. Повидимому, он просто туда не явился. У него началась неизлечимая болезнь – рак, которая, в силу его преклонного возраста, развивалась медленно и дала ему ещё несколько лет существования.

И всё-таки мы повидались ещё раз в 1993 году на очередном славянском сборище в Торонто. Игорь Владимирович

был уже совсем плох: передвигался и даже говорил с трудом, сидел в вестибюле отеля, не замечаемый щебечущей толпой славистов и слависток, и выглядел, как последний мамонт на Земле. Хотя и низкорослый, но мамонт.

Он им и был – последний поэт Первой волны русской эмиграции.

Эпистолярный собеседник

Из этого текста может создаться впечатление, что у меня установилось гораздо большее понимание с Первой волной эмиграции, чем со Второй и даже Третьей, к которой я, судя по датам отъезда, принадлежал и сам. Да, встречи с Иваском и Чинновым, общения с ольгиной роднёй это подтверждали. Но свидетельствовали ещё и о том, что по другим вычислениям из эмигрантских стереотипов я выламывался. А что было делать, когда ко мне тоже подходили с такими мерками?

Юрий Павлович советовал обратиться в Беркли, штат Калифорния, к Глебу Струве – за поддержкой ли, за рекомендацией или, попросту говоря, за любым видом помощи в трудоустройстве. Я же и сам не знал, на что способен, хотя порою казалось – на всё. Но Иваск убеждал: во всяком случае, я должен хотя бы представиться Струве. Это был даже не зубр, а мастодонт Первозмиграции – сын того самого «веховского» Петра Бернгардтовича, настоящий белогвардеец, участник Добровольческого движения. Словом, являл собой и «лебединый стан», и одновременно мишень самых чёрных проклятий советской публицистики. Ещё бы – он выпустил (совместно с Борисом Филипповым) на тот момент самые полные собрания Ахматовой, Клюева, Волошина и написал первую и на долгое время единственную научно-историческую книгу «Русская литература в изгнании», а ведь таковой литературы (в советских представлениях) быть никак не должно!

Я колебался, робел, не решаясь вступить с ним в переписку, а он взял, да и сам прислал мне по почте книгу, но не литературоведческую, а поэтическую – «Утлое жильё». И – ни письма, ни записки, ни даже надписи на титульном листе с его фотографией на могиле Рильке, говорящей мне больше любого текста.

Впрочем, надпись нашлась, но не в книге, а на приложенной к ней ксерокопии с давней публикации: несколько переводов из Рильке. Текст был прост:

«Дмитрию Васильевичу Бобышеву на добрую память от автора. Г. С. 8 – I – 1980».

От автора? Я даже вздрогнул. Конечно, не от самого Райнера, а от его переводчика. Мой адрес (а заодно и о моей приверженности Рильке) ему сообщил, конечно, Иваск, который тогда же писал нам и Ольгой:

«14.1.80

Дорогие Бобышевы,

с Н. Г. по ст. ст. (с Новым Годом по старому стилю – Д.Б.)

Копии стихов посылаю в Москву, Калифорнию, Бразилию и ещё куда-то. Что значит «Ангельский ли возглас «Эль»?

Ю. и Тамара Иваск»

Судя по географии, стихи мои он посылал своим тайным почитателям-москвичам, а также Глебу Струве, Игорю Чиннову, Валерию Перелешину и кому-то ещё. Думаю – в Швейцарию, Татьяне Варшавской, вдове автора «Незамеченного поколения». Она потом тепло отозвалась.

«Эль!» восклицает у меня ангел на петропавловском шпиле в прощальном стихотворении Санкт-Петербургу, а что значит этот возглас, лишь Богу известно.

Переводы из Рильке были сделаны неровно, а стихи «Утлого жилья» вызвали смутные узнавания и сочувствие. Поэтому я смог написать отзыв, – хоть и не сразу, но зато почти не кривя душой, то есть отставя критику и придав комплиентам аналитический вид. Воспроизвожу по черновику:

«16 марта 1980

Уважаемый Глеб Петрович!

Сердечно благодарю Вас за присланную книгу. Ваши стихи показались мне непредвиденным свидетельством о тех легендарных временах и людях, которым отданы и мои предпочтения.

Казалось бы, и Ходасевич, и Цветаева, и Гумилёв, и Ахматова уже окончательно создали свой мир, каждый – своим пером и своей судьбой. Казалось бы также, что пред-современная русская культура сложилась в совершенно определённую картину с такими-то и такими-то фигурами, находящимися в известном расположении, в законченных позах и отношениях. Но – нет. Оказывается, у этой картины есть ещё один очевидец, это – Вы, автор «Утлого жилья».

В посвящениях, в тематике, в манере письма то здесь, то там на пространстве книги появляются узнаваемые фигуры. Но обзор всей картины делается уже иным, всё видится под другим, индивидуальным углом зрения.

Читательски благодарен Вам также за переводы из Р. М. Рильке, включённые в книгу, – я его страстный любитель, а вот по-немецки, к сожалению, не читаю.

Итак, примите от меня поклон, а с ним и мою книгу.

Ваш Дмитрий Бобышев»

Ответ от него пришёл незамедлительно и начинался с пасхального возгласия: «Христос Воскресе!». Затем шёл такой текст:

«7-IV-1980

Дорогой Димитрий Васильевич! (Простите, если ошибаюсь в Вашем отчестве; мне казалось, что так мне написал в своё время Юрий Павлович, но письма его не могу разыскать).

Поздравляю Вас со Светлым Праздником и желаю Вам всего хорошего. Спасибо за Ваше письмо и за лестный – чрезмерно лестный – отзыв о моих стихах. Для контраста, чтобы показать, что не все так восприняли моё «Утлое жильё», посылаю Вам копию рецензии г-на Гуля, редактора самого авторитетного русского зарубежного журнала, сейчас чуть ли не единственного. Гуль, конечно, в своём праве считать, что я не поэт, что меня Муза «не поцеловала». Но есть в его отзыве две неприличные черты: 1) он подписал его не своей фамилией, а буквой Г. (мало ли какой это Г.!); 2) он обвинил меня в плагиате у Одоевцевой, хотя то моё стихотворение, о котором идёт речь, было написано (и напечатано) задолго до Одоевцевского. Много раньше, в 1956 г., Гуль напечатал такой же «уничтожающий» отзыв о моей книге о русской зарубежной литературе. Но там сыграла роль личная обида. Если хотите, могу прислать Вам копию и этого отзыва (а также моего ответа – в этом случае я счёл нужным ответить) – он был напечатан в газете «Новое Русское Слово», тогдашний редактор «Нового Журнала» отказался его поместить (а Гуль хотел и его там напечатать, но тогда он не был хозяином, хотя и был уже секретарём редакции).

Спасибо и за «Зияния». У меня уже был экземпляр этого сборника, но я сейчас не могу найти его; когда отыщу, пошлю один из них Вам назад – у Вас наверное нехватает и так авторских экземпляров. Впервые я читал Вас ещё в «Синтаксисе» – мне ещё из России прислал машинописный экземпляр этого альманаха сам Гинзбург. И об отношении Анны Андреевны к Вашим стихам я знал (я сам, между прочим, познакомился с А. А., когда она была в Лондоне в 1965 г.; был два раза у неё в гостинице: в первый раз просил об «аудиенции», а во второй раз она сама пожелала меня видеть и нанесла исправления в мой экземпляр «Реквиема»). Ваши стихи в «Зияниях» я нашёл неровными. Откровенно говоря, думаю,

что сборник выиграл бы от значительного сокращения: многописание и многословие – недостатки.

В заключение разрешите мне, на правах старшинства, преподать Вам небольшой совет: в будущем в письмах, особенно к людям «предсовременной культуры», как Вы их называете, лучше избегайте обращения «уважаемый». В то «предсовременное» время – во всяком случае, в моё время, раньше, кажется, допускалось – это считалось как бы ниже уровня. Так писали скорее неинтеллигентные, «некультурные» люди. Полагалось писать либо «многоуважаемый», либо – в случае особого уважения – «глубокоуважаемый». Надеюсь, что не обессудите на этом поучении, и на этом пожелаю Вам всего хорошего. Что Вы сейчас делаете? Как устроились?

Ваш Глеб Струве»

К этой лекции хорошего тона была ещё подстраничная сноска: «А сейчас это типично советское» – с Ятью в соответствующем месте. Как я взвился тогда от его, в сущности, полезного для будущих переписок с такими же мастодонтами замечания! Хотя слово «совок» существовало только в Эстонии, оно так и ожгло уже теперешним смыслом. А требование большего, чем тебе оказали, или даже более глубокого уважения выглядело в моих глазах чем-то жалким, смешным, упразднённым, «нафталинным».

Такой же неуместной (или неадекватной) показалась мне попытка вовлечь меня в четвертьвековой давности спор, даже склоку с Романом Гулем, заметку которого (от 1966 года!) он прислал мне «на суд». Зачем? Чтобы вместе с Гулем я мог позабавиться, как выглядит отрывок, не совсем честно выхваченный из соседних строф:

А на камине глиняный
Воркует голубок.
Сидит и улыбается
И скалит ряд зубов (?! – Р. Гуль)

Действительно, не хуже, чем у графа Хвостова, прославленного «отца зубатых голубей»!

А вот Гуль явно подтасовывает: «Есть темы, навеянные стихами Ирины Одоевцевой: у Г. Струве «Стихи, сочинённые во время бессонницы», а у Ирины Одоевцевой «Стихи, написанные во время болезни»... Неужели он не видел, что оба названия заимствованы у Пушкина? Тем хуже для Гуля! Скорее всего, это была расплата со Струве за несколько небрежную, с

политическими намёками, оценку романов Романа Гуля в «Русской литературе в изгнании».

Ну, а мою книгу Глеб Петрович сначала потерял, а потом, видимо, и недочитал, сходу назвав «многословной». И я написал ему письмо с тем же самым обращением. Для начала напомнил про чеховский шкаф из «Вишнёвого сада». А затем процитировал прелестную абракадабру Самуила Маршака насчёт вагеновожатого. По поводу Гуля вообще промолчал, не посочувствовал и не возмутился. Зато много написал о своей любви к Рильке.

Его письмо, видимо, разошлось с моим, потому что спор о степени уважительности в обращении там не продолжился. Но были некоторые пассажи, задевшие меня.

«18-IV-1980

Дорогой Дмитрий Васильевич!

...Вы написали, что страстно любите поэзию Рильке. Но ведь Вы можете судить о ней только по переводам, а их не так уж много, а хороших ещё меньше. Чьи переводы Вы особенно цените? Пастернака, который переводил Рильке скорее вольно, пастернакизируя его? Сильман? Богатырёва? (Есть ещё переводы Биска, выходявшие главным образом за рубежом, но Вы их едва ли знаете; они очень неровные*). Иногда мы с ним в выборе стихотворений совпадали. А есть одно переведённое мною стихотворение, которое я знаю в четырёх или пяти переводах).

Лично я не совсем понимаю, как можно «страстно любить» стихи иначе как в подлиннике.

Вы, вероятно, заметите, что стихотворение «Иеремия», о котором я говорил в докладе пять лет тому назад, как о «не дающимся мне», теперь вошло в новое издание «Утлого жилья»: я с тех пор перевёл его.

Всего Вам доброго. Юрий Павлович пишет мне, что старается найти Вам работу. В каком роде?

Ваш Глеб Струве.

Как раз переводы Биска я знал, но написал ему о прозе Рильке, которая переводится с гораздо меньшими потерями, чем стихи, и о его художественных идеях, оказавшихся для меня столь «питательными». Его недоверие к переводам стихов показалось мне противоречивым: зачем же он переводил, если считает их заведомо несостоятельными? И я написал о Сергее

* Есть, конечно, и ещё отдельные советские, Витковского и др. — например, в томе статей, писем и стихов Рильке (М. 1971).

Владимировиче Петрове, который переложил на русский весь «Часослов».

В ответ Струве прислал ещё одну публикацию с докладом о Рильке для коллоквиума, который состоялся уже немало лет назад во Франции. Там были уже известные мне сведения, среди которых, увы, попадались и биографические неточности. Прислал он также статью Киры Сапгир о моей книге. Только потом я узнал, что она – переселившаяся в Париж жена поэта Генриха Сапгира, сама поэтесса и критикесса. Написано было образно, несколько туманно, но статья оказалась безусловно похвальной, называлась «Охотник и всадник», и всё это стало для меня полной и, конечно, приятной неожиданностью.

Но первый абзац письма Струве содержал целую лекцию:
«8-го мая 1980г.

Дорогой Дмитрий Васильевич!

...Всё-таки не пишете «уважаемый» тем, кого Вы действительно уважаете. Это и неинтеллигентно, и неуважительно. Я очень хорошо знаю маршаковское «Глубокоуважаемый вагоноуважатый» – мои дети от первого брака, когда мы жили во Франции и Англии, очень любили стихотворение «Вот какой рассеянный». Но оно не бросает никакой тени на хорошие русские слова «многоуважаемый» и «глубокоуважаемый». Конечно, раньше русские люди часто употребляли обращение «любезный», у Тургенева есть и «любезнейший». И я ещё знал одного человека, который был старше моего отца, но всё-таки после-тургеневского поколения, который тоже писал (и мне в том числе) «любезный». Это был знаменитый Павел Гаврилович Виноградов, который в Англии стал Sir Paul Vinogradoff. Он стал профессором юриспруденции в Оксфорде, когда, возмущённый политикой недоброй памяти Кассо, отряс от ног своих прах Московского университета. А вот в письмах Тургенева я вижу обращение «Уважаемый» только в письмах, переведённых с немецкого. Но это – советская ошибка: по-немецки там почти наверное «Sehr geehrter», что значит буквально «Очень уважаемый» и должно быть переводимо как «Многоуважаемый». А «уважаемый» – одна из «советскостей», от которых надо отделяться. Если Вам так уж претят «много-» и «глубоко-» уважаемые, пишете просто «дорогой» или «милый» – так писал тот же Тургенев (но есть у Тургенева и «многоуважаемая» – чаще именно в письмах к женщинам).

Посылаю Вам статью г-жи Сапгир о Ваших «Зияниях». Великий пуганик Юрий Павлович два раза неверно назвал мне дату «Русской Мысли»... Я не сразу нашёл... Кто такая эта Кира

Сапгир – Вы знаете? Есть ведь, кажется, советский поэт-диссидент, которого зовут Сапгир? А она из «новых»? Статья её мне не понравилась – очень уж она намудрила! И понятия настоящего о Вашем сборнике не дала. Эти мудрствования я замечал и раньше в её статьях о литературе.

В виду Вашего интереса (или больше, чем интереса) к Рильке посылаю Вам ксерокопию моей очень давней статьи о нём, которая сопровождала публикацию моих ранних переводов его стихов. Между прочим, если я не ошибаюсь, мой перевод отрывка из того стихотворения об ангеле-хранителе, который перевёл и Пастернак и который поэтому заинтересовал Вас, как и другого стихотворения об ангелах, напечатанный ещё до того в берлинской газете «Руль», был сделан не позже 1923 года. Это значит, что я был не так молод, как Пастернак, но всё-таки очень ещё молод (25-25). Вообще почти все мои переводы из Рильке в «Утлом жильё» давние; по-настоящему поздний только «Иеремия», который долго не давался мне и не вошёл в первое издание сборника. Было ещё два позже переведённых стихотворения (одно – из «Сонетов к Орфею», книги очень нелёгкой), которые по случайным причинам не попали в «Утлое жильё» (одно было напечатано в «Русской Мысли»).

Кроме моих переводов в том же номере журнала «Русская Мысль» был напечатан перевод (тоже мой) письма Рильке моему брату Льву, который через два года после того умер от туберкулёза в санатории в Давосе (ему было тогда 29 лет), по поводу «Митиной любви» Бунина. Это письмо Вы могли в своё время читать – оно – представьте себе! – было напечатано (не помню точно когда, в 60-х годах) в советских «Вопросах Литературы». Письмо это упоминается в двухтомной, богато иллюстрированной немецкой «Летописи жизни и творчества Рильке», с автором которой я несколько лет был в переписке (на последнее своё письмо ей почему-то не получил ответа; не знаю, жива ли ещё она). Оригинал письма Рильке, хранившийся у моего отца, который всё собирался его напечатать, погиб, по-видимому, во время войны в Югославии, с некоторыми бумагами моего отца (хотя ходил слух, что какие-то бумаги отца нашёл Борис Слуцкий и увёз в Советский Союз; проверить этот слух не удалось). Пропали, по-видимому, и немецкие черновики и подлинник письма моего брата.

Книга I «Русской Мысли» была в 1927 г. единственным вышедшим номером. Этот журнал, редактором которого с 1907 года был мой отец и который выходил ещё с 80-х годов в Москве, а с 1913 г., продолжая печататься в Москве, но редактировался в

Петербурге (до начала 1918г.), был возобновлён моим отцом после Революции; сначала в Софии, потом в Праге-Берлине, но в 1924 году за недостатком денег должен был закрыться. В 1927 г. мой отец возобновил его в Париже – он был тогда редактором ежедневной газеты «Возрождение» – с этого поста его в том же году «выставил» издатель газеты, г-н Гукасов, и выпуск журнала ограничился одним номером.

...А знакомы Вы с Леон<идом> Натан<овичем> Чертковым и Евгением Витковским? С первым я несколько лет после того, как он эмигрировал, находился в переписке. Потом он перестал писать. В 1975 г. я устроил ему приглашение на симпозиум о Пастернаке во Франции (он тогда был ещё в Вене)... Богатырёв, которому случайно попали в руки мои переводы Рильке, сам вступил в переписку со мной, и у меня есть несколько интересных писем от него. После его трагической смерти я писал о нём и посвятил его памяти один из моих переводов Рильке. От его вдовы у меня тоже есть письма; она была очень благодарна мне за то, что я писал о нём. Его переводы в большинстве хорошие. Русского перевода «Записок Мальте Лауриде Бригге» я не знаю, но слышал, что он неплохой.

Всего Вам хорошего.

Ваш Глеб Струве»

В отношении хороших манер мы оба пошли на уступки. Но уроки словесного фехтования продолжались. Я слегка иронически обратился к нему в следующем письме «Любезный Глеб Петрович», и он это (тоже слегка иронически) принял. Однако, меня заинтересовали другие сюжеты: в частности, связь между Борисом Слуцким и судьбой архива Струве в Югославии. Он в ответ написал:

«20-го мая 1980 г.

Милый Дмитрий Васильевич!

(Это менее формально, чем «Дорогой», которое ранее считалось более «интимным», так сказать; но под влиянием французского «cher» и английского «dear» приобрело новый, более официальный оттенок. А Ваше «Любезный», конечно, звучит очень старомодно, отзывает Тургеневым, но я не возражаю. Юрий Павлович, видимо, разделяет Ваше отталкивание от «Многоуважаемый» – Вам бы я, конечно, так и не стал писать).

...Некоторые переводы С. В. Петрова я видел, но полного перевода «Часослова» не видал никогда. Очень интересно было бы мне ознакомиться с ним. Это очень нелёгкая для перевода вещь. Перевод Григория Забежинского, с которым когда-то был знаком А.В.Бахрах, – из рук вон плохой.

Говоря о Слуцком, я имел в виду не семейные свои архивы, а личный и политический архив моего отца. О том, что его нашёл в Белграде Слуцкий, ходил слух, оставшийся непроверенным (но я почти уверен, что при всей «ловкости рук» Слуцкого он не мог этот найденный им большой архив оставить себе). Этим слухом сильно заинтересовался один очень правдоверный советский литературовед, который со своим «правдоверием» сочетает интерес к Достоевскому и преклонение перед Розановым... Я познакомился с ним на международном симпозиуме о Достоевском в 1977г., и он обещал разузнать. Но когда он сделал такую попытку, Слуцкий оказался якобы в больнице, очень больной, и никого к нему не пускали. Он мне написал об этом, а с тех пор я ничего от него не слышал. М. б. фамилия этого субъекта Вам известна – Палиевский; он связан с МГУ. Знакомство началось с того, что он набросился на меня за то, что мы не издали полного Розанова! Его часто выпускали за границу. Он хорошо владеет языками, особенно английским. В 1978г. с ним был «скандальчик» на чествовании Толстого в Париже. Возможно, что в этом году я опять встречу с ним на 4-м симпозиуме о Достоевском...

В Вашем письме для меня всего интереснее была одна мелочь из Вашей биографии. В 1906-07 г. (мне было тогда 8 лет) я тоже жил на Таврической улице и тоже рядом со знаменитой «Башней». Дом тогда принадлежал одному из сыновей Толстого, Льву Львовичу. Номер дома был, кажется, 19, но за это я не могу ручаться. Мой отец был тогда членом Государственной Думы (Второй, быстро распущенной, после чего он больше в Думу не баллотировался). Вскоре после того мы переехали на Тверскую улицу (т. е. по соседству), а потом в Лесной, где отец стал профессором Политехнического института, а я и брат учились в приготовительной школе у жены директора Лесного института, Л.Н.Морозовой. Видите, как неожиданно у нас нашлось что-то общее в биографиях. Не знаю, правду сказать, существовал ли ещё в Ваше время дом Л.Л.Толстого – он был уже в моё время старый и непрезентабельный, особенно по сравнению с домом, где жил Вячеслав Иванов.

Всего вам хорошего,
Ваш Глеб Струве»

Времена, пространства, случайности, – всё в нашей переписке запуталось сложным узлом, не развязать, а тем более не определить, есть ли здесь какой-либо провиденциальный узор, – как, например, у Пастернака в «Докторе Живаго» или у его антагониста Набокова в «Даре». Но там и там всё держалось и

двигалось любовью, здесь же – нечего даже говорить о человеческом понимании. Разве что – о любви к Рильке? Или – к Таврической улице? К каким ещё трём апельсинам?

Продолжая поддразнивать старого профессора, я назвал его в следующем письме «досточтимый» и послал ему снимок угла Тверской и Таврической улиц, где высился прославленный дом с башней, а за ним виднелось жилое здание эклектического стиля (переход от конструктивизма к архитектурным излишествам) под номером 31/33, поставленное на месте ветхого Толстовского дома как раз в год моего рождения, случившегося далеко оттуда, в городе Мариуполе.

Он ответил (и это было последнее письмо в нашей переписке):

«10 - VI – 1980

Дорогой Дмитрий Васильевич!

Ну, Бог с Вами – раз Вам не нравится слово «многоуважаемый» и нравится называть меня «досточтимый», называйте. Только, пожалуйста, не называйте меня «профессором» – я очень не люблю, когда русские знакомые, хотя бы только эпистолярные, величают меня по моему званию, а не называют меня по имени и отчеству.

Спасибо Вам за фотографию «Башни» Вячеслава Иванова. Как интересно, что дом этот сохранился как он был, хотя почему-то купола над окнами таким не помню: но, вероятно, память мне его в точности просто не сохранила – мне ведь было тогда всего 8-9 лет. Я, конечно, бывал там (т. е. на этой улице) и после, хотя и не часто. Но как-то особенного внимания на этот дом не обращал. В последний раз, должно быть, был там весной 1917 года, в дни февральского переворота. Там совсем рядом, – кажется, на углу Таврической и Тверской – жили члены Гос Думы В.А.Маклаков и Н.Н.Львов. Обоих их хорошо знал мой отец, а два сына Львова были моими и моего брата одноклассниками. Так вышло, что мы с отцом были в их доме в первый же день Февральской революции – в то утро отец был на Охте, где он судился с домовладельцем, которому принадлежал дом, в котором находилась редакция и контора «Русской Мысли» (в том же доме мы и сами жили раньше, до переезда на казённую квартиру в Политехнический институт, в Сосновку). Возвращаясь из суда, который, кажется, в тот день ничем не кончился, мы узнали, что в Петербурге начались волнения, а с Литейного моста увидели, что горит Окружной Суд. Отец решил поэтому, прежде чем возвращаться домой, заехать к своим думским друзьям. Кажется, мы и заночевали там – он у Маклакова, а я у Львовых. В тот день (а может быть и на другой)

меня завербовали в Думе – выдавать пропуска. Мне было тогда 18 лет, я уже кончил школу, успел провести несколько месяцев на фронте, в Лесистых Карпатах, в Буковине, заведя питательным пунктом Земско-Городского Союза для строительных рабочих и живя в месте, которое не имело названия, а называлось «Высота 1210». А через месяц с небольшим после Февральской революции я поступил добровольцем в гвардейскую конную артиллерию (за месяц до Февральской революции меня забраковали при призыве, а несколько раньше при поступлении в Михайловское артиллерийское училище – нашли порок сердца). – Вот Вам небольшая страничка из моей автобиографии.

Возвращаю Вам фотографию – ещё раз спасибо! На память сделал себе ксерокопию. Полагаю, что никакой памятной доски на квартире Вячеслава Иванова нет. «Продовольственного магазина» в те времена внизу, разумеется, не было. Дом графа Л. Л. Толстого, рядом, в котором мы жили, был небольшой, не больше, я думаю, трёх этажей (мы жили, кажется, на втором). А когда его снесли и заменили тем, который Вы описываете? Или это было до Вашего рождения, и Вы этого не знаете?

(Далее Струве весьма дотошно выяснял по моей просьбе, кто была переводчица романа Рильке «Записки Мальте Лауридс Бригге», переложившая его мысли и образы на русский язык. Некто Л. Горбунова. Нет, не псевдоним. – Д. Б.)

А что Вы будете делать в Милвоки? Преподавать?

Ваш Глеб Струве»

(продолжение следует)



Мина Полянская
Ефим Эткинд
а также
Бродский, Солженицын, Горенштейн...¹

*И славы блеск, и мрак изгнания,
И светлых мыслей красота,
И мщенья – бурная мечта
Ожесточённого страданья.*
Александр Пушкин



стихах Пушкина, приведённых мною в качестве эпиграфа, Ефим Григорьевич Эткинд говорил, что именно они - эпиграф ко всей его жизни. Он ещё уточнил: «Всё это - в бесконечно ослабленном виде – выпало и на мою долю».

Мне довелось присутствовать на защите докторской диссертации Ефима Григорьевича в колонном зале пединститута имени Герцена (ныне университета) в октябре 1965 года, и я считаю эту блистательную защиту одним из важнейших событий моей жизни. «Несмотря на довольно специальный характер темы, – вспоминал Эткинд, – «Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики» – аудитория реагировала с энтузиазмом, и защита прошла, можно сказать, эффектно».

Ещё бы! Участниками научной баталии были прославленные академики В. М. Жирмунский и М. П. Алексеев, а также её главный герой - Эткинд. Не забуду восторга переполненного зала. Как это было красиво! И могу лишь воскликнуть вслед за Салтыковым-Щедриным, вспоминавшем «оттепель» начала царствования Александра II: «О, какое это было время! О, какое это было прекрасное время!» И не предполагали мы, как и Михаил Евграфович, что всё это может так незаметно исчезнуть, тогда как следовало предполагать, поскольку, как

¹ Очерк «Мемуарные размышления о Ефиме Эткинде» был опубликован в журналах «Персона PLUS» 4, 2010 и «Слово\Word» 2011, №69. Настоящая версия - дополненная, в особенности в связи с тем, что издана переписка Эткинда (Ефим Эткинд: Переписка за четверть века. Спб., 2012).

предупреждал Герцен, когда в очередной раз ломают стены и отбивают замки и отпирают ворота, то в первую очередь вбегают не те, кого ждали. Мы – не предполагали. А Горенштейн, малоизвестный автор, сидя в «чужом углу», малопонятным почерком писал свой роман «Место» с подзаголовком «Политический роман» о хрущёвской оттепели, обернувшейся очередным фарсом.

Уже в те времена, когда я училась в «Герцена», имя Эткинда, автора книг «Поэзия и перевод», «Разговор в стихах», основателя школы перевода, прославившего институт, было окружено легендами. Наш преподаватель во время войны служил военным переводчиком, но среди студентов существовал миф о том, что он был разведчиком и в форме немецкого офицера запросто являлся к немцам – именно так мы романтизировали его образ. Эткинд вполне соответствовал чеховской эстетике о человеке, в котором всё должно быть прекрасно, но в моих глазах наш преподаватель являл собой ещё и сказочного, бесстрашного рыцаря. Однако же, если оставить его даже и военным переводчиком, что, кстати, соответствовало истине, то разве не восхитительно, что он, этот изысканно красивый, эlegantный человек, во время войны переводивший тексты (устные и письменные) о планах противника, его расположении, расположении танков и пр. в этом роде, после войны стал переводить стихи, а потом ещё основал школу перевода, утверждающую максимальное уважение к оригиналу?

Ярким образцом школы перевода Эткинда является его книга «Маленькая свобода. 25 немецких поэтов за пять веков» с параллельным переводом, составленная в обратном хронологическом порядке, изданная в 1999 году. Дата выхода книги - год смерти Эткинда - свидетельствует о том, что он навсегда остался верен созданной им школе. Цитирую Игоря Полянского («Маленькая свобода», Зеркало Загадок, 8, 1999): «Идея обратного построения антологии возникла у Эткинда более тридцати лет назад. По признанию автора, она восходит ко Льву Толстому, преподававшему историю «от следствий к причинам» (...). При всей точности и адекватности перевода, антология Эткинда по-немецки не случайно названа не «Übersetzung», но «Nachdichtung», то есть дословно «стихотворчество вслед» (...). По-русски «обратная антология», а по-немецки –«rückläufige», то есть «бегущая вспять». Привожу эпиграф к сборнику:

У Лессинга:

Wer wird nicht einen Klopstok loben?
Doch wird ihn jeder lesen? – Nein.
Wir wollen weniger erheben,
Und fleißiger gelesen sein.

У Эткинда:

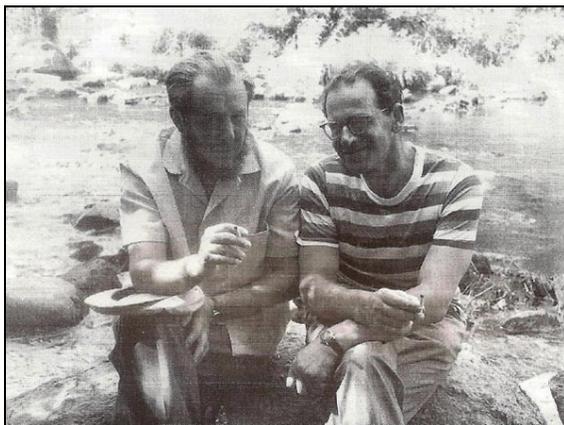
Вы почитаете Клопштока?
Но кто читал его хоть раз?
Не почитайте нас высоко,
А лучше – почитайте нас!

Я ещё 1964 году умудрилась, находясь в очереди, протянувшейся вдоль Фонтанки чуть ли не до Невского проспекта, купить билет на спектакль в БДТ имени Горького (теперь имени Товстоногова) «Карьера Артуро Уи» по пьесе Брехта в переводе Эткинда.

Помню, что это было зимой, кругом лежал снег и, когда я, грустная, потерявшая надежду попасть на спектакль, стояла у площади Ломоносова и до здания театра оставалось ещё более двухсот метров, ко мне подошла женщина в бежевом пальто (запомнилась деталь!) и протянула мне билет. Бывают же чудеса: именно меня женщина выбрала в этом нескончаемом потоке! Спектакль «Карьера Артуро Уи», сыгранный более трёхсот раз - незабываемое событие театральной жизни Ленинграда 60-х годов и, разумеется, моей жизни тоже.

Зал неизменно восторженно реагировал на постановку, на сцену с бурными овациями вызывались не только режиссер и актеры - Артуро Уи играл грандиозный Евгений Лебедев - но также и переводчика пьесы Ефима Эткинда. Эткинд рассказывал, что ему было интересно переводить пьесу, в которой оказалось множество двусмысленных пассажей. На одном из первых спектаклей присутствовал (это было уже после сенсационной публикации «Одного дня Ивана Денисовича») Александр Исаевич Солженицын. Он сидел во втором ряду, недалеко от мэра Ленинграда Василия Толстикова, которого не знал в лицо, и так громогласно выражал свой восторг, что Товстоногов и Эткинд, полные дурных предчувствий, уже приготовились к тому, что Толстиков запретит спектакль. Однако - обошлось. Грозное будущее на самом деле уже водворилось, «наступили суровые дни» (правда, не те, о которых писал Плещеев: Париж беспокойный не волновался, а даже совсем наоборот, то были

суровые дни «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина) но, как это иногда бывает, солнце иногда с опаской, но всё же выглядывало. Мне кажется, что коварство оттепели и состоит в том, что *незаметно* она отступает.



А.И. Солженицын и Е.Г. Эткинд. 1966 г.

60-е годы многие из нас очарованы были лекциями Берковского и Эткинда. Весьма показательна описанная Татьяной Черновой сцена (в статье о моей книге "Музы города" "Голос Музы, еле слышный" в книге "Адреса педагогического опыта", СПб, 2002), характеризующая нашу "сказочную" студенческую жизнь. Так, однажды после лекции Берковского о новелле "Золотой горшок" мы с Черновой танцевали в аудитории и, "как будто играя в новую игру, повторяли таинственные слова из ещё не прочитанной гофмановской новеллы: "Серпентина, Серпентина!" Влюбленная в Диккенса, Гюго, Скотта и во всех остальных старых романистов, я всё же втянулась в водоворот событий и восторгов хрущёвской перестройки. Разумеется, Солженицына и Бродского читала и восхищалась. И даже побывала у гроба Ахматовой 10 марта 1966 года. Помню, что в первых рядах была моя однокурсница Таня Латаева, трогательная "литературная" девочка, она держала меня за руку, объясняя, как это важно и судьбоносно. Когда же Владимир Маранцман повёз нас, студентов, в Ясную Поляну к могиле Толстого, то уже я вынуждена была держать Таню Латаеву за руку: с ней случилось что-то вроде шока – могила Толстого без памятника со свежим холмиком, поросшим молодой травой, производила впечатление недавнего захоронения. Вид скромного могильного холмика

волшебным образом "придвинул" к нам Толстого и казалась предвестником чего-то неотвратимого. Эти знаки нашей молодости западали в душу, оставляли след навсегда, но только вряд ли подготавливали нас к полной катаклизмов жизни в будущем.

Вспоминаю себя, первокурсницу, на Прачечном мосту в той самой толпе сострадающих Иосифу Бродскому и ожидающих решение суда так, как будто решалась судьба очень близкого мне человека. Слушание дела о «тунеядстве» Бродского состоялось в середине марта 1964 года в большом зале Клуба строителей на Фонтанке, рядом с домом бывшего Третьего отделения шефа жандармов А.Х. Бенкендорфа. Ефим Григорьевич, как известно, на памятное моим современникам судилище был вызван в качестве свидетеля. На суде присутствовала публика, не имеющая никакого отношения к литературе, Бродского не читавшая. Рабочие, служащие и даже дружинники выражали Народное Недовольство. У Михаила Голодного(1932): Суд идёт революционный, Правый суд. Конвоиры песню «Яблочко» поют.

Судья: Дайте ваш паспорт, поскольку ваша фамилия как-то неясно произносится. Эткинд... Ефим Григорьевич... Мы вас слушаем.

Так застенографировано Ф. Вигдоровой. Впоследствии выяснилось, что судья прочитала отчество Эткинда не по паспорту (там было Григорьевич), а по другому источнику – из особого отдела филиала КГБ. Воистину, вслед за Пушкиным можно сказать: *и, в имени твоём звук чуждый невзлюбя, своими криками преследуя тебя...*

Эткинд, тем не менее, вполне смог справиться с первыми сценами унижения, поскольку главной задачей было – избавить Бродского от судилища. Очень точно заметил о нём Владимир Маранцман: «Кидая в Эткинда камни, ораторы порой опускались до уровня 1937 года. А сам виновник охального торжества не только не каялся, но с вольтеровским остроумием и здравым смыслом русских сатириков сохранял достоинство и недоумевал: «По какому случаю тут?»

Эткинд, как бы не замечая невежества толпы, пытался объяснить суду, что Бродский не тунеядец, трудится на литературной ниве, зарабатывая переводами.

«Перевод стихов, - убеждал он суд - труднейшая работа, требующая усердия, знаний, таланта».

Однако приговор был приготовлен заранее: Бродский был сослан в отдаленные места сроком на пять лет на принудительные

работы. Сбылось предчувствие Ахматовой о судьбе молодых поэтов шестидесятых годов:

О своём я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На ещё безмятежном челе.

«Золотое клеймо неудачи» возникло на челе Бродского. Позднее признание, Нобелевская премия не вернули подорванного здоровья, он умер в Нью-Йорке 27 января 1996 года в возрасте пятидесяти шести лет и похоронен в Венеции на острове Сан-Микеле.



(Слева направо): Ефим Эткинд, Фридрих Горенштейн,
Игорь Полянский, Мина Полянская,
1995, фото Бориса Антипова

Такое же «золотое клеймо» обозначилось на челе нашего профессора, спасавшего двух будущих Нобелевских лауреатов – Бродского и Солженицына. В 1974 году в Педагогическом институте им. Герцена *при тайном единогласном голосовании коллег* Эткинд был лишён всех званий, в том числе и учёного звания профессора. Затем он был изгнан из Союза писателей, где состоял с 1956 года, лишён гражданства и выдворен из страны по сфабрикованному КГБ «делу». Рукописи Солженицына, которые Эткинд хранил, значились в «деле» как главные пункты обвинения. В «Записках незаговорщика» издевательства над собой Эткинд

назвал «Гражданской казнью». Мемуары впервые были опубликованы в Лондоне в 1977 году и мгновенно стали бестселлером. «Записки незаговорщика» переиздавали, переводили на другие языки. В Германии книга вышла на немецком языке с названием «Бескровная казнь» и имела наибольший успех. Сейчас, когда я пишу этот очерк, передо мной на столе лежит книга, изданная в России спустя два года после смерти Эткинда, в 2001 году.

Перечень заграничных почетных званий Ефима Григорьевича свидетельствует о том, как оценены были его заслуги в просвещенном мире: профессор Десятого парижского университета, член-корреспондент трёх немецких академий, кавалер Золотой пальмовой ветви Франции за заслуги в области французского просвещения, доктор *honoris causa* Женевского университета. Количество научных трудов – более 600. За границей были опубликованы книги Эткинда: «Записки незаговорщика», «Форма как содержание: Избранные статьи», «Материя стиха», «Стихи и люди» и другие.

Однако мировое признание не вернуло ему ни покоя, ни удовлетворения, как, подзреваю, не вернули страдальцу Йову покоя и удовлетворения новое богатство, взамен старого, и другое потомство, взамен бывшего. «Записки незаговорщика», написанные с пронзительным, невероятным для публицистики лиризмом, свидетельствуют о том, что рана его так никогда и не зажила. В 1989 году Эткинд вернулся в город, «знакомый до слёз». Он был приглашён в наш раскаявшийся «Герцена» и, вероятно, для завершения драматического сюжета, согласился явиться на встречу с бывшими коллегами, причём, в тот самый четырнадцатый корпус на Мойке 48, где пятнадцать лет тому назад преподавал. Самая большая аудитория не вместила всех желающих. Остальные, как говорили, «весь Ленинград», стояли в коридоре. Так произошло покаяние и прощение.

На этой встрече Эткинд рассказал о Горенштейне, книги которого во Франции имели шумный успех, назвав его крупнейшим русским писателем двадцатого века, «вторым Достоевским». Таким образом, в России Эткинд возвестил о Горенштейне за три года до выхода в Москве в издательстве «Слово» трехтомника писателя.

Итак, в моём тексте выдвигается на сцену ещё одна очень крупная фигура в истории русской литературы (правда, без Нобелевской премии), спасаемая нашим преподавателем. Эткинда удивило, что произведения такого мастера, как Горенштейн, не

были известны в мире литературно-художественного андеграунда 70-х годов и не появились при советской власти *даже в самиздате* – об этом он и написал в своей статье «Рождение мастера» (Эткинд Е. Рождение мастера: О прозе Фридриха Горенштейна // Время и мы (Нью-Йорк), 1979).

Эткинд неоднократно пытался исправить ошибку литературного истеблишмента, совершенную с Горенштейном, просчёт (оплошность?), из-за которого в течение двадцати с лишним лет его романы не читал не только широкий, но и «узкий» читатель. Осенью 1980 года в Вене Ефим Григорьевич случайно оказался почти соседом Горенштейна – он жил в одной из квартир Венского университета, куда был приглашён читать лекции. Горенштейн в качестве «транзитного» эмигранта жил на Кохгассе 36, апартамент 23, второй этаж (из Вены писатель через некоторое время сумел переехать в Берлин). При первой встрече известный ученый, литератор и поэт-переводчик показался Горенштейну совсем молодым (Эткинду было 62 года). «Содержания беседы не помню, – писал Горенштейн, – но если говорить о моей биографической жизни, то эта исходная точка нашего с Ефимом Эткиндом сюжета была безусловно важна для моего нового биографического времени» (Беседы с Ефимом Эткиндом. Зеркало Загадок, 2000, 9.) Венская встреча и в самом деле оказалась исходной точкой для Горенштейна, поскольку Эткинд старался изо всех сил помочь ему пробиться сквозь дебри литературных препон.

Недоверие к «перемещенному лицу» – обычное явление, в том числе и в Германии. Касается это и издательств. С одной стороны, поэту, художнику, как бы даже положено романтически странствовать, скитаться по свету. Но с другой стороны... С другой стороны, конечно,стораживает, если странствие чересчур затянулось. Тот факт, что в Британскую энциклопедию в своё время не был внесён парижский эмигрант Иван Бунин, Нобелевский лауреат, тогда как Константин Федин, писатель, живущий дома, у себя в России, был туда занесён, весьма показателен. Вспомним двадцатые годы, когда Берлин стал местом пребывания небывалого количества талантливых русских литераторов, причем, для некоторых из них немецкий был вторым родным языком – для Цветаевой, например. В настоящее время германская литературная наука с благоговением изучает те самые двадцатые годы, мимо которых когда-то прошла, не заметив, например, Набокова, ощущавшего себя в Берлине «бесплотным пленником», притом, что два его произведения – романы

«Машенька» и «Король, дама, валет» были переведены на немецкий язык.

Что же касается Цветаевой, с её особым личностным отношением к Германии, называвшей её «Vaterland» (Но как же я тебя отрину, Моя германская звезда), то она и вовсе не была ею замечена. В Берлине Цветаевой был создан эпистолярный рассказ «Флорентийские ночи». Находясь в Париже, Цветаева перевела на французский язык этот рассказ, предлагала его многим французским издательствам, однако издатели не желали даже с ней разговаривать. И лишь в 1981 году итальянская исследовательница и переводчица Серена Витале опубликовала его во Франции и Италии.

Спустя полвека ситуация писателя-эмигранта мало изменилась. Недоверие к пришельцу осталось незыблемым. За год до приезда, в 1979 году, роман Горенштейна «Искупление» был переведён на немецкий язык и опубликован в Берлине весьма солидным издательством «Люхтенгарт». Однако талантливого романа оказалось недостаточно. Необходимо было авторитетное слово. А где же взять такого, безусловно авторитетного человека, который мог бы *поручиться за талант*, своё веское слово сказать, к которому бы прислушались? Им оказался всё тот же рыцарь литературы, во имя неё неоднократно пострадавший.

Рекомендация Эткинда, наконец, возымела действие. В девяностых годах издательством «Ауфбау» было опубликовано семь книг Горенштейна, издательством «Ровольт» – три. Среди них произведения, написанные уже в Берлине на Эксцишештрассе: повести «Улица Красных Зорь», «Последнее лето на Волге», пьеса «Детоубийца», несколько рассказов, а роман «Летит себе аэроплан» издавался на немецком языке три раза. О Горенштейне тогда много писали во влиятельных немецких газетах и журналах, попеременно называя его то «вторым Достоевским», то «вторым Толстым».

На смерть Эткинда Горенштейн откликнулся эссе «Беседы с Ефимом Эткиндром», которое ни в коем случае не желал называть «некрологом».

«И вспоминаю последнюю встречу у меня на квартире в Берлине осенью 1998 года. Я по просьбе Ефима читал финальную сцену «В книгописной монастырской мастерской» из моего многолетнего труда «Драматические хроники времён Ивана Грозного». Ефим остался очень доволен финальной сценой. Я помню его слова: «Хорошо, очень хорошо». Был доволен и я. Не то, что я был ориентирован на чужое мнение. В целом я хвалю и ругаю себя сам. Но в данном случае был многолетний, давящий на

меня труд, и был Ефим Эткинд, вкусы которого я, несмотря на те или иные разногласия, высоко ценил. Потому так обрадовала меня его похвала, и даже подумалось: теперь и Ефим взял на себя тяжесть многолетнего моего труда, облегчая мне ношу. Эти беседы нужны мне, ибо уход Ефима Эткинда из наших краев – большая для меня личная потеря»².

Летом 2002 года я посетила мою бывшую преподавательницу литературоведения Дину Клеметьевну Мотольскую, впервые приобщившую меня когда-то на профессиональном уровне к литературе – я уже не говорю о ямбе и хорее, которые научила друг от друга отличать. Сидели мы, единомышленники, за столом – Дина Клеметьевна, слепая и почти глухая, моя бывшая однокурсница Рита Заборщикова и я, держась за руки, и говорили только о возвышенном и прекрасном, – о литературе, о высоком её предназначении, и Дина Клеметьевна просила меня рассказать о Горенштейне, которого – она это сама слышала двенадцать лет назад – Эткинд назвал «вторым Достоевским». Зная о дружбе моей семьи с Горенштейном, она просила, чтобы я рассказывала о нём – образ этого трагического писателя был для неё значим не менее, чем звёзды на небесах. Она просила писать о нём. Дине Клеметьевне принадлежит выражение, ставшее обиходным в нашем кругу: «Лучше текст написанный, чем ненаписанный» (я последовала совету Мотольской и впоследствии написала книгу о Горенштейне, уделив в ней значительное внимание Ефиму Эткинду).

Выступление Эткинда запомнилось и другому моему бывшему преподавателю – профессору Владимиру Георгиевичу Маранцману, члену корреспонденту РАН. Маранцман происходил из итальянских евреев, спасшихся некогда от Гарибальди в России. В семье сохранился итальянский язык, и Владимир Георгиевич знал его в совершенстве. Он ещё в 60-х годах посещал родственников в Италии, привез много книг по искусству, а затем проводил с нами, студентами, семинары по истории культуры Италии. В конце 70-х, когда я уже давно была погружена в семейные заботы, шла я однажды по Казанской улице, и вдруг между колонн Казанского собора увидела Маранцмана в чёрном длинном плаще и чайльдгарольдовской шляпе. Весь вид его, подчёркнуто поэтический и одновременно благородный, резко выделял его в пространстве соборной площади у Невского

² Горенштейн Ф. Беседы с Ефимом Эткиндром, Зеркало Загадок, 2000, 9. С. 40.

проспекта. Я невольно залюбовалась этим образом законченного романтика среди будничной дневной суеты. И, дабы не нарушить эту красоту и гармонию, это «итальянистое» видение у собора, напоминающего римский собор Святого Петра, я спряталась за одной из многочисленных его колонн и долго, с нежностью смотрела вслед удаляющемуся поэту.

В 1999 году Маранцман опубликовал свой перевод «Ада» «Божественной комедии» Данте³. Это был, кроме всего прочего и поступок, поскольку после блистательного перевода М. Лозинского, переводить «Комедию» не осмеливался никто.

Перевод Михаила Леонидовича Лозинского был полностью завершен к концу войны и был первым переводом, удостоенным Сталинской премии, а нынче «Комедию» в его переводе издают, забыв написать имя переводчика – у меня именно такой экземпляр, изданный в 1992 году в Москве неким «Интерпаксом». С трудом нашла фамилию «Лозинский» в качестве подписи мелкими буквами к комментариям – искала мучительно долго (а остальное, вероятно, флорентиец Данте на русском языке написал). Для меня это открытие ужасно! И потомки вынуждены молчать, поскольку наследственные сроки кончились.

Прекрасно иллюстрированная «Комедия» в переводе Маранцмана хранится у меня с его дарственной надписью: «Мине с верой, что даже дороги ада ведут к звёздам. 28 / VI, 2000».

Эткинд незадолго до смерти прочитал его «Ад» и остался доволен как переводом, так и уникальным комментарием. Маранцман считал себя учеником и последователем Эткинда – сторонником следования оригиналу – ритму, мелодии и сохранению размера стихов.

Воспользуюсь случаем, чтобы процитировать отрывок из некролога Эткинду внезапно ушедшего из жизни Владимира Георгиевича Маранцмана. Его суждения о бывшем коллеге и друге характеризуют и Маранцмана как уникальную личность:

«В Ефиме Григорьевиче жила и эта нежность доброты, и эта дерзость вызова. И поэтому его до самозабвения обожали женщины, что с ними нынче редко случается. Море добрых дел, которыми одаривал Е. Г. Эткинд людей достойных и незначительных, неизмеримо. И это шло не от самолюбивой снисходительности всемогущего мэтра, а от того, что он умел

³ Данте Алигьери. Божественная комедия: Ад / Пер. с итал. В. году Маранцмана. СПб. Специальная литература, 1999. Полностью: Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. с итал. В. году Маранцмана. М.: Классика Стиль, 2003.

бескорыстно, по-детски радоваться удаче других. Он мог, получив новый перевод, сказать: «Вы - гений». Он мог провожать человека долгим, внимательным, запоминающим взглядом. (...). Смелость его иронии всегда дразнила важных персон. В нём была бесстрашная отвага гасконцев и печальная мудрость библейских пророков, достоинство русского интеллигента и отточенное изящество дипломата.

Из трех спасаемых Эткингом крупнейших русских писателей второй половины двадцатого века (если не бояться преувеличений, то можно сказать: столпов русской литературы) – Бродского, Солженицына, Горенштейна - благодарным за спасение оказался только Горенштейн, тот самый Фридрих, на которого в русской литературе установился даже и дискурс, подогреваемый почему-то и сейчас некоторыми средствами массовыми информации: «трудный, неуживчивый человек».

Итак, политический скандал вынес Иосифа Бродского на суд высших «литературных инстанций». В 1972 году Бродский эмигрировал в США, и Нобелевскую премию он получал уже как гражданин Соединенных Штатов, однако впоследствии ему невыносима была мысль, что гонения на родине способствовали получению Нобелевской премии. После выхода в 1988 году книги Ефима Эткинда «Процесс Иосифа Бродского» Бродский отвернулся от своего бывшего учителя и спасителя.

После публикации в «Новом мире» «Одного дня Ивана Денисовича» советская печать в застойные годы не издавала Солженицына. Уместно в контексте данного очерка вспомнить, что литературный редактор судьбоносного тогда журнала Анна Берзер «Ивана Денисовича» сумела «протопнуть» (а, как потом стало известно, повесть Солженицына была опубликована ещё и по личному распоряжению Хрущёва), а спустя три года «Зиму 53-го года» – «протопнуть» не смогла. Горенштейн, работавший после Горного института на шахте, в своей повести со всей очевидностью полемизировал с солженицынской повестью: труд советского человека иной раз несколько не лучше подневольного каторжного труда в сталинских лагерях. Положение, в котором находился главный герой повести Ким, сын «врага народа», ничуть не лучше положения Ивана Денисовича. Более того, в то время, как у Ивана Денисовича остается хотя бы надежда выжить и освободиться, «свободный» Ким знает, что надежды нет – «освободжаться» можно либо в лагерь, напрямик к Ивану Денисовичу, либо в смерть, что, собственно, и произошло, когда исчезла последняя опора жизни – любовь к ней. Во вступительной

статье Инны Борисовой к книге Анны Берзер «Сталин и литература»,⁴ рассказывается о скандале, возникшем в «Новом мире» в связи с тем, что Анна Самойловна приложила максимум усилий для того, чтобы опубликовать «Зиму 53-его года». Произведения Солженицына публиковали за границей, и это не нравилось советскому руководству. В 1969 году Солженицын был исключён из Союза писателей, а спустя год «Архипелаг Гулаг» был удостоен Нобелевской премии.

Солженицына и Эткинда шельмовали параллельно и почти одновременно отправили за рубеж в 1974 году. Солженицына в феврале доставили самолетом в ФРГ, Эткинда в апреле *буквально выгнали* по израильской визе, что заведомо должно было его лишить диссидентских привилегий. Солженицын вспоминал: «Сам Е. Г. Эткинд был в дружбе со мной неотрицаемой, к моменту высылки уже полных 10 лет... и изо всех действующих лиц... только он ещё получил открытое сотрясение, публичное бичевание и вытолкнут за границу». У Эткинда были приглашения нескольких зарубежных университетов. Он пытался выехать на два года, с советским паспортом, как М. Растропович, В. Максимов, В. Некрасов многие другие. Но ему ответили, что для него возможен только один выезд – через Израиль, то есть с потерей гражданства. Горенштейн, выехавший, так же, как и Эткинд, без заграничного паспорта писал: «Таким образом, мне пришлось ехать *рядовым эмигрантом-евреем*» (курсив мой, М.П.).

Сам Эткинд не любил рассказывать о своей роли в жизни и творчестве Солженицына. Сейчас впервые опубликована «Переписка»⁵ Эткинда тиражом в 700 экземпляров, и составители П. Вахтина и И. Комарова прислали мне в Берлин один экземпляр, за что я им очень благодарна. Я обнаружила в книге письмо Эткинда Лидии Корнеевне Чуковской от 10-11 ноября 1977 г., где Ефим Григорьевич отвечает на упрек Лидии Корнеевны по поводу его молчания о Солженицыне и объясняет принципиальную позицию не афишировать свою роль в творческой судьбе нобелевского лауреата: «Заметьте, я ничего не отрицаю. Я не говорю: у меня *не* хранился А(рхипелаг) Г(улаг), я *не* выполнял поручений Q⁶, я *не* помогал А.С. встречаться с нужными ему

⁴ А. Берзер. Сталин и литература. Звезда, №11, 1995. Вступительная статья редактора «Нового мира» тех лет Инны Борисовой.

⁵ Эткинд Е. Переписка за четверть века / Сост. П. Вахтина, И. Комарова, М. Эткинд, М. Яснов. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012.

⁶ Так Солженицын шифровал свою машинистку Елизавету Денисову Воронянскую, которая была арестована за сотрудничество с ним и после

людьми, и т. д.. Я говорю иначе: они этого про меня не знают и знать не могут. Обысков не было. Писем не отнимали. На допросы не вызывали. Очных ставок не было <...> Это значит: перлюстрировали переписку. Установили микрофоны подслушивания. Подсылали стукачей. То есть вели себя преступно. Делали то, что запрещено всем тайным полициям во всех демократических странах <...> Знаете, и мне было бы *приятнее* исполнять роль активного действующего лица, а не пассивной жертвы. И мне было бы о чём рассказать – Вы ведь знаете. Помните, как я перевёз за границу письмо к съезду?⁷ Как я (и не я один) способствовал Нобелевской премии? Как мы держали в земле все архивы Q <...> Делать себе капитал ссылками на эту книгу⁸ и на мои отношения с её автором я считаю безнравственным.

В октябре 1996 года мы четвером (Фридрих Горенштейн и я с мужем Борисом Антиповым и сыном Игорем Полянским, тогда главным редактором «Зеркала Загадок») побывали в гостях в Потсдаме у Эткинда и его жены Эльки Либс-Эткинд (германиста, профессора Потсдамского университета; они были женаты тогда уже три года). Эткинд тогда уже публиковался в нашем журнале. Так, в «Зеркале Загадок» были напечатаны две его значительные работы: «Русская литература и свобода» и «Две еврейские судьбы. Читая дневники Виктора Клемперера».

На балконе у Эткинда, на фоне старой липы с могучим стволом и ветвями, осыпанными золотыми осенними листьями, легко рассказывалось о тайнах творчества.

В тот вечер Эткинд рассказал нам о заявлении Солженицына: «И надо же мне было до такой жизни дойти, что я вынужден был принимать помощь у еврея!» То есть у Эткинда. Который из-за Солженицына был отторгнут от России. Цитирую Солженицына: «Даже в Таврический дворец – посмотреть зал заседаний Думы и места февральского бурления – категорически отказано было мне пройти. И если попал я туда весной 1972 года – русский писатель в русском памятное место при «русских вождах»! – то риском и находчивостью двух евреев – Ефима Эткинда и Давида Петровича Прицкера...». (Новый мир, 1991,12).

В рассказе «Русский писатель и два еврея» Эткинд подвел печальный итог этой «дружбе неотрицаемой»: «Странно, что

допроса в КГБ покончила с собой (из комментария к книге: Эткинд Е. Переписка за четверть века. С. 381, 383).

⁷ Благодаря Эткинду письмо А. Солженицына 4-му Всесоюзному съезду Союза советских писателей (16 мая 1967 г.) было опубликовано в газете «Ле Монд» 31 мая 1967 г.

⁸ Имеется в виду «Архипелаг Гулаг».

Солженицын не увидел солидарности тех, кто причастен к культуре, не оценил независимой от состава крови потребности интеллигенции к взаимоподдержке. А ведь именно такая солидарность увенчала автора «Ивана Денисовича» Нобелевской премией, помогла ему преодолеть изгнание и победителем вернуться в Россию».

Вечером 22 ноября 1999 года в Потсдаме на 82-м году жизни после тяжёлой операции скончался последний из плеяды русских просветителей, замечательный поэт-переводчик Ефим Эткинд.

Тело его было кремировано. Мне не известно, почему и кем было принято решение о кремации, противоречащее как еврейским, так и христианским традициям, но очевидно, что принятие такого решения было сопряжено с трудностями захоронения Эткинда рядом с первой женой, погребённой во Франции. Мне (а также моему мужу Борису Антипову и сыну Игорю Полянскому) довелось вместе с Фридрихом Горенштейном и Шимоном Маркишем присутствовать на траурной церемонии и поминках, состоявшихся в его потсдамской квартире. Урна с прахом затем была перевезена в Бретань, в селение Ивиньяк и захоронена рядом с первой женой Ефима Григорьевича Екатериной Федоровной Зворыкиной, которая, по его собственным словам, разделила его судьбу. Горенштейн за три года до собственной кончины писал:

«Я пишу "Ефим", ибо сам Ефим Григорьевич попросил так себя называть, хотя нас разделяло солидное временное пространство. А теперь нас разделяет солидное географическое пространство. Где эта земля Элизиум – Елисейское поле Гомера? Если верить Гомеру, то на западном краю Земли, на берегу Океана. И теперь уж придется беседовать с Ефимом Эткиндом только там, на гомеровских Елисейских полях. Эти беседы нужны мне, ибо уход Ефима Эткинда из наших краев – большая для меня личная потеря».

Бродский, Эткинд, Горенштейн, Солженицын – все они ушли из жизни. Полное безусловное признание в России и главные почести выпали на долю Александра Исаевича Солженицына. В Москве создано солидное учреждение «Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына», творчество его изучают в школе, так же, как и творчество Гоголя и Достоевского – он объявлен классиком. Изучаются три произведения: «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор»

и в сокращенном варианте «Архипелаг Гулаг». Именем его названы улицы многих городов – всего не перечить. Воистину пророческим оказалось его шуточное конспиративное имя, бытующее в среде друзей Эткинда: ВПЗР. Что означало: Великий Писатель Земли Русской.

Иосиф Бродский принят новой Россией, разумеется, не с таким почетом, как Солженицын, но всё же – принят. Признанным, уважаемым литератором является Ефим Эткинд (несмотря на унижительные процедуры возвращения ему регалий в нашем «Герцена» в 1989-м и 1994-м годах – это отдельная, другая история). Архив его находится в петербургской Российской национальной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В Петербурге в Европейском университете учреждена Международная премия имени Ефима Эткинда.

Протискивается в Россию Фридрих Горенштейн – его книги сейчас публикует издательство «Азбука-классика». Возникает вопрос: а как к столь позднему возвращению Горенштейна в Россию относится «Дом Русского Зарубежья имени Солженицына» и в особенности его *Отдел литературы и печатного дела Российского Зарубежья*? Разумеется, не все могут знать учреждения. Могут и не знать.

Способ, как творил Создатель,
Что считал он боле кстати,
Знать не может председатель
Комитета о печати.

А.К. Толстой, конечно, прав: не все могут знать люди и учреждения.

Я по возможности изучила интернетный сайт «Дома русского зарубежья», особенно раздел «Солженицын и его окружение». О Ефиме Григорьевиче Эткинде - более чем скромная статейка (скорее, даже справка), не отражающая истинных событий, и более того, преднамеренно опускающая важные факты. Для меня – живого свидетеля трагедии Ефима Эткинда, его взлёта, а затем краха всего, чего достиг он именно в России, такая мифология отношений в литературном процессе вызывает удивление, если не сказать больше.

Если бы знать, как взирает *на всё это* мой любимый литератор Ефим Эткинд с Елисейского поля Гомера, что на берегу Океана с его неумолчным шумом волн, напоминающем о первобытном хаосе? Может быть, что-то нашептывает ему Океан? Доволен ли, или же недоволен плодами трудов своих и страданий,

или что-то тревожит его в распределении регалий для крупнейших русских литераторов, изгнанных из Советской России?

И утешеньем служит мне надежда: в иных мирах для лучших из лучших всё же есть «литературный» уголок, где все равны перед законами искусства. Его узрел в своих видениях Данте. Это - «*novile castello*», благородный Лимб. Там автор «Илиады» всегда держит в правой руке меч, символ первенства в эпической поэзии. *Гомер – монарх поэтов многолетний, сатирик наш Гораций вслед идёт, Овидий – третий и Лукан последний. И каждый имя гордое несёт* (из перевода русского интерпретатора «Комедии» Маранцмана). Великолепная перспектива для истинного литератора: беседа благородных теней в благородном замке, там, где завтрашний день неотличим от вчерашнего, или же от сегодняшнего. Дискуссия о сущности истинного искусства, которой не будет конца. Занавес.

© Мина Полянская
Берлин, 7. 3. 2014.



Евгений Майбурд Третий Смит

- Кто такой?

- Вернон Смит, тоже экономист.

- А почему «третий», кто же – второй?

- Потому что второго Смита быть не может.



обелевская премия по экономике 2002 г. была присуждена Дэниелу Канеману («За комплексные разработки в психологии в применении к экономической науке, в особенности, касательно человеческих суждений и принятия решений в условиях неопределенности») и Вернону Смицу («За установление и обоснование лабораторных экспериментов как инструмента эмпирического экономического анализа, особенно в изучении альтернативных рыночных механизмов»).

На банкете по случаю вручения Нобелевской премии Вернон Смит произнес такой тост:

«Я хочу почтить:

Королевскую семью за любезность и обаяние.

Дэниэла Канемана за мастерство в изучении и постижении человеческих решений и связанного с этим познавательного процесса, который показал, что логика выбора и экология выбора могут рассматриваться отдельно.

Пионерное влияние Сидни Зигеля,¹ Амоса Тверски,² Мартина Шубика³ и Чарльза Плотта⁴ на интеллектуальное развитие, которое увенчалось премией по экономике 2002 г.

Наиболее значительное самопроизвольное творение человечества: рынки.

Мандевилля, который сказал: “Самое худшее из всего возможного было сделано ради общей пользы”.

Древние иудейские заповеди: “Не кради и не алкай владения ближнего”, что обеспечивает для рынков основания прав

¹ Психолог. Занимался бихевиориальной психологией.

² Психолог, работавший вместе с Д.Канеманом.

³ Математик, специалист по теории игр и проблемам выбора решений.

⁴ Экономист. Первым начал экспериментально изучать рыночное поведение (с акцентом на нестабильность и иррациональность агентов).

собственности и предостерегает, что мелкой распределительной ревности не следует позволить уничтожить их. “Не убивай, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй”, что обеспечило основы для всеобъемлющего социального обмена.

Дэвида Юма, который провозгласил три закона человеческой природы - право собственности, его передачу по согласию, и выполнение обещаний – и учил, что моральные правила не являются результатами рассуждений.

Ф.А. Хайека, научившего нас, что экономист, который всего лишь экономист, не может быть хорошим экономистом; что разум, надлежаще использованный, признает свои ограничения; что цивилизация покоится на факте: мы все получаем пользу от знания, которым мы не обладаем как индивиды.

Бенджамин Франклин, который сказал: “Рассказывай мне, и я забуду; учи меня, и я запомню; увлечи меня, и я научусь”.

И Халила Гибрана,⁵ кто напомнил нам, что работа – это любовь, сделанная видимой».

Самородок из глубинки

Вернон Ломакс Смит родился в городке Вичита, штат Канзас в 1927 г. То был канун Великой Депрессии – периода, на который пришлось его детство. «Подобно многим в моем поколении, я – продукт странных обстоятельств выживания и успеха, построенного на трагедии», – написал он в начале своей автобиографии. Документ любопытный и занятый.

Простой мальчик из американской «деревни». Отец – механик на заводе, мать растила двоих дочерей от первого брака и Вернона. Ее первый муж был кочегаром на паровозе и погиб в 1918 г. при крушении поезда. Железнодорожная компания выплатила 22-летней вдове с детьми компенсацию, которая позволила взять ссуду для покупки маленькой фермы.

Потом мать вторично вышла замуж, но в 1932 г отец Вернона попал под массовое увольнение с работы в связи с депрессией. Тогда вся семья перебралась на ферму, которая стала главным источником их существования. Домик фермера не имел водопровода, электричества и туалета. Но маленькому Вернону было интересно там жить, перенимая все тонкости фермерского труда. Он научился обращаться с курами, коровами, свиньями, единственной лошастью. Он освоил плотницкие, огородные и полевые работы и наблюдал, как отец с ружьем охотится на

⁵ Американский поэт эссеист, и романист ливанского происхождения (1883-1931). Был очень популярен в свое время.

кроликов, научился готовить еду на печи и т.д. «Да, долгие дни работы и тяжелая жизнь – это для родителей, – вспоминал он, – но для шести-семилетнего парня каждый день приносил новые впечатления и много такого, чему можно научиться».

В шесть лет Вернон оказался в «классической сельской школе». Учителем был сосед, который «отличался умением читать и писать и потому считался полностью оснащенным, чтобы быть нашим начальным учителем». В комнате стояло шесть рядов столов – один ряд для первого класса, второй – для второго, и так далее до шестого класса.

Позже стало известно, что такое размещение учеников было результатом внедрения некой «прогрессивной системы» обучения, по которой каждый ученик должен быть частью единого «бесшовного», или «цельнотянутого» (seamless) сообщества всех шести классов. «Так что у меня была возможность слушать уроки моих ближайших соседей – второго и третьего классов». Похоже, не просто слушать. По всему судя, первоклашка Вернон хватал знания на лету. Во всяком случае, по окончании первого класса учитель написал матери Вернона, что он может дальше идти сразу в третий класс. Там было три предмета: чтение, письмо и арифметика. «Прогрессивная система» предоставляла каждому возможность двигаться вверх согласно своим успехам. Не так плохо, вообще-то говоря.

В 1934 г. семья потеряла ферму, так как не смогла выплачивать ссуду. Но одновременно отец семейства снова обрел работу на заводе. Потеря фермы «обратила политические взгляды матери в сторону социализма, но отец держался от этого в стороне». В какой-то момент в 30-е годы отец отказался подавать заявление на помощь от WPA,⁶ считая это унижительным. Мать говорила, что он поступает глупо.

К концу 30-х г. Вичита стал местом интенсивного развития бизнеса. Фонарная компания, оптовая мясоторговля, нефтяные компании и несколько компаний в бурно развивающемся самолетостроении. Среди последних были Сесна и Боинг, который в 1941 г. стал производить знаменитые «летающие крепости» В-29. «Мощные независимые действия [всех этих компаний] укрепляли дух свободы и предприимчивости, присущий Среднему Западу». Один капиталист закрыл свой завод

⁶ Works Project Administration – одно из детищ правительства Рузвельта. Эту аббревиатуру дед Вернона расшифровывал как 'we piddle around' («мы слоняемся туда-сюда», можно также перевести: «мы пишем кругом»). Про WPA и Новый Курс см. в Приложениях.

по производству оборудования для нефтедобычи, не желая работать под контролем правительства Рузвельта.

Вернон перешел в среднюю школу и продолжал хорошо учиться. Но, начиная с восьмого класса и дальше в «старшей школе» (high school) учиться ему становилась все скучнее. «Гораздо больше интересовали меня молоденькие одноклассницы». Окончил он школу в 1944 г. со средним баллом «С» (тройка) Но цель уж определилась: идти в колледж.

В 13 лет, учась девятом классе, Вернон приступил к своей первой работе по найму – доставка лекарств из аптеки по адресам потребителей. И получил карточку социального обеспечения.⁷ «Для моей матери собес был замечательным изобретением. Не понимая, что это был просто налог, она хотела, чтобы я был зачислен как можно раньше. Теперь, спустя 63 года, я получаю из собеса по 1900 долл. в месяц и думаю, какими были бы платежи, если бы средства собеса были инвестированы».

В 16 лет, в 1943 г., он получил работу в Боинге. В школе он изучал электричество и электротехнику, поэтому его определили в отдел испытаний систем огня на В-29. Там были, сообщает он, носовое орудие, два по бокам, одно сверху и еще одно в хвосте. Все управлялись на расстоянии. «Работа была увлекательной».

В 1944 г. он уволился с работы, чтобы поступать в колледж. Но куда податься? Единственным «интеллектуалом» в семье, говорит Смит, был дядя, брат матери. В детстве он повредил ногу на ферме и остался калекой, поэтому пришлось ему идти в университет. Он стал практикующим юристом, и семья гордилась им. Однако никто вокруг не мог подсказать Вернону, какой колледж выбрать. Он пошел в городскую библиотеку и нашел там книгу «Как выбрать колледж». Там, в списке лучших колледжей, был указан Калифорнийский Институт Технологии (Калтек). Но с оценкой «С» в Калтек даже заявлений не принимали.

Вернон поступает в «серьезный» Квекерс-колледж и записывается на курсы по физике, химии, высшей математике, астрономии и литературе. Похоже, он бросил валять дурака и взялся за учебу всерьез. Через год он получает высшие оценки по всем предметам и подает документы в Калтек. На экзамене ему попала задача: с какой скоростью нужно бросить снежок в стену,

⁷ Система социального обеспечения (Social Security) создана правительством Рузвельта в 1935 г. Финансируется за счет федерального подоходного налога. Судя по датам, В. С. пишет это в возрасте 76 лет, то есть, в 2003 г., на следующий год после получения Нобелевской премии.

чтобы он расплавился от удара? Вернон Смит успешно сдал экзамены и в сентябре 1945 г. прибыл в город Пасадина под Лос-Анджелесом.

«Калтек оказался такой мясорубкой, о какой я и не подозревал». Он учится днями, ночами и по уик-эндам. Зато было огромным наслаждением слушать лекции по химии Линуса Полинга (один из ведущих химиков XX века), по физике – Роберта Оппенгеймера (в представлении не нуждается), Бертрана Рассела и еще многих легендарных ученых своего времени.

Он выбрал специализацию по физике, но затем переключился на инженерную электротехнику, и получил бакалавра в 1949 г. Степень по инженерной электротехнике – это мощнейшая математическая подготовка. Что заставило его после всего взять курс по экономике? Не известно. Но он нашел предмет «очень интригующим». «Ведь можно действительно узнать что-то такое, на чем основаны претензии социализма, капитализма и других “измов”». Не теряя времени, «заинтригованный» Вернон Смит – уже слушатель вводного курса по экономике - пошел в библиотеку и, для более серьезного знакомства с предметом, отобрал две книги: «Основы экономического анализа» Пола Самуэльсона и «Человеческое действие» Людвиг фон Мизеса.

Изумительное чутье? Или некоторое понимание, чего ищешь? Он выбрал две книги, которые открыли перед ним всю панораму экономической науки – с полярно противоположных позиций. Из первой ему стало ясно, «что экономикой можно заниматься, как физикой», но из второй было видно, «что там для многого нужны рассуждения, не как в физике».

Он подписался на солидный экономический журнал. В первом же полученном номере была статья о производственной функции⁸. Значит, экономика похожа на инженерное дело! «У меня и мысли не было тогда о том, насколько эти первые мои впечатления изменятся за десятилетия. Но моя книга от 1962 г. “Инвестиции и производство” содержала главу о производственной функции».

Получив степень по инженерным наукам, Вернон отправляется в штатный университет Канзаса с намерением получить степень магистра (MA) по экономике. Там он слушает лекции по теории цен, математической экономике, несовершенной

⁸ Производственная функция устанавливает численные показатели взаимозамещения труда и капитала. Варьируя их, можно увидеть экономический эффект от различных вариантов сочетания обоих факторов производства.

конкуренции и «очень важно – полный курс по развитию экономической мысли».

Его профессор, Дик Хауи (Howey), был «уцелевший представитель вымирающего вида специалистов по истории экономической мысли, но именно от него я научился тому, что действительно значит быть ученым. Чтобы быть хорошим специалистом в избранной области, необходимо приобрести знание всей опорной конструкции – инструмент и источник вдохновения». Хауи знал математику и бегло владел французским, немецким и итальянским. «Это весьма впечатлило меня, едва знающего английский».

Хауи стал для Вернона образцом ученого, и он решил, что экономика – как раз то, что ему надо. В 1952 г. Вернон отправился в Гарвард за степенью доктора по экономике.

Да уж... В те времена Гарвард – это был Гарвард! Вернон слушает лекции Алвина Хансена по макроэкономике. Будучи одним из первых кейнсианцев Америки, Хансен читал широко, включая интерпретаторов Кейнса и его критиков (Хикс, Самуэльсон, Мелцер, Фридмен и др.). Читали курсы также Вас. Леонтьев, Г. Хаберлер, Ф. Махлуп, А. Герценкрон... «Шумпетера уже не было в живых, но его тень бродила по залам с Хабелером, который парировал любое заявление, что инфляция (этот “монстр” для Шумпетера), если не слишком высока, хороша для духа экономики». Неподалеку, в МТИ, он слушал микроэкономiku у Пола Самуэльсона. Выжившему «в мясорубке Калтек» учиться было легко, и Вернон ходил в отличниках.

В 1955 г. Вернон Смит, завершая работу над докторской, получил свою первую преподавательскую должность в университете Пурдю (Индиана). Он начал читать основы экономики. Вскоре он ощутил, что ему не так просто передавать студентам понимание микроэкономики. Как объяснить, почему любой рынок приближается к конкурентному равновесию и каким образом?

Рождение метода

Еще в Гарварде Смит слушал лекции Э. Чемберлина о знаменитой тогда (и забытой ныне) теории монополистической конкуренции, которую сам Чемберлин разработал в начале 30-х. В первый же день Чемберлин провел в классе эксперимент для наглядной демонстрации того, что теория конкурентных цен – это нереалистическая идеализация реального мира. Он раздал половине группы некие предварительные оценки покупателей, а другой половине некие предварительные цены продавцов.

Условия были, как у Бем-Баверка в примере с конным рынком.⁹ Вернон знал Бем-Баверка из курса Хауи. Но Чемберлин выстроил игру по-своему. Он предписал участникам формировать пары и торговаться один на один. Если пара сторговалась, цену записывали на доске. Если нет, каждый должен искать другого партнера. В итоге, цены получались случайными (естественно!) и не могли подтвердить предсказания об общем рыночном равновесии.

Таким образом, – выключив из игры свободную конкуренцию, – Чемберлин доказал несостоятельность теории конкурентного равновесия. Что и очистило поле для проповеди монополистической конкуренции.

Теперь, как лектор, Смит решил провести подобный же рыночный эксперимент, чтобы студенты сами ощутили, как работает рынок и как достигается равновесие спроса и предложения. Понятно, он не стал устранять свободу конкуренции. Кроме того, он решил провести несколько циклов игры, чтобы студенты приобрели опыт и могли обогащать его со временем – как это предполагается в концепции динамической конкуренции Маршалла.

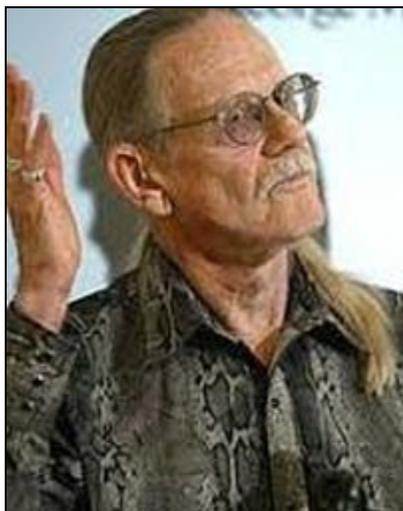
Эксперимент начался в 1956 г. К его удивлению, экспериментальный рынок из двух десятков студентов довольно скоро пришел к почти ожидаемому равновесию. Тогда он усложнил условия, устранив любую возможность симметрии запросов продавцов и покупателей. И получил тот же результат.

Смит продолжал эксперименты еще пять лет, меняя условия спроса и предложения, изучая сдвиги в этих показателях, варьируя правила торгов. Он ввел денежное вознаграждение, чтобы увидеть, как это отражается на игре. «Постепенно я убеждался в том, что передо мной открылась некая фундаментальная истина о рынках, отсутствующая в литературе по экономике». Он написал статью, принятую в *The Journal of Political Economy* в 1962 г. «после двух исправлений, четырех отрицательных отзывов и первоначального отказа».

Затем Смит продолжил исследования проблем ценообразования в области капитала и инвестиций. Будучи приглашенным профессором в Стэнфорде (1961-62 гг.) он познакомился с Сидни Зигелем и узнал, что тот тоже работает с экспериментальной экономикой. Зигель настойчиво ободрял его

⁹ Бем-Баверк впервые показал, как торги и переговоры на рынке со многими участниками могут привести к установлению цен рыночного равновесия, по которым все покупатели согласны покупать и все продавцы согласны продавать.

продолжать свои эксперименты. Вскоре он умер неожиданно (в свои 45 лет), и Смит посчитал своим долгом воздать ему должное, выступая в Стокгольме.



Вернон Ломакс Смит

Под влиянием «скромной литературы» по экспериментам, работ о выборе в условиях неопределенности, работ о «дилемме заключенного» и об экспериментах с матричными играми, Смит организует семинар по экспериментальной экономике (1963-67). Продолжает писать, публиковаться и вести дальнейшие исследования. В 1967 г. получает пожизненное профессорство в университете Браун, Массачусетс, и вскоре в штатном университете. Обсуждения экспериментального метода с Чарльзом Плоттом (тогда еще не доктором) вылились в их сотрудничество. Смита приглашают в различные университеты для лекций и семинаров.

Новые знакомства показывают ему, что экспериментальный метод привлекает все более широкое внимание. В 1976 выходит его статья «Теория индуцированной ценности», основные идеи которой зародились еще в Пурдю. Статья была упомянута в решении Нобелевского комитета. В 1977-1984 гг. Смит проводит эксперименты, которые привели к серии статей об особенностях побуждений в различных механизмах предоставления общественных благ. *Индукцированная ценность* – потому что она рождается на рынке в процессе торгов и переговоров. Это часть рыночной информации, которая

возникает в головах участников и исчезает после совершения сделок.

Вернон Смит написал более 200 статей и книг. Он является (или был) членом редколлегии девяти научных журналов. Он был президентом четырех научно-экономических ассоциаций, избран членом Национальной Академии Наук. Он удостоен множества почетных научных наград. Вернон Смит работал консультантом по приватизации энергоснабжения в Австралии и Новой Зеландии, а также участвовал в обсуждении дерегуляции энергетики в США.

Новый фронт экономической науки

Вернон Смит писал по проблемам теории капитала, финансов, экономики природных ресурсов. Но главное его достижение - экспериментальная экономика. На этом поле Смит явился поистине первооткрывателем и ведущим разработчиком. Фактически он открыл новую область экономической науки. И не только открыл – он провел основополагающие исследования и сумел дать им глубоко содержательное истолкование.

Идея провести «рыночный» эксперимент пришла к нему, когда он столкнулся с проблемой: как объяснить студентам работу конкурентного рынка? Смит задумал это как вспомогательный инструмент в преподавании, вроде наглядного пособия, и стал разрабатывать методику. Со временем, однако, он понял, что экспериментальная работа может стать основой для теоретических исследований. Он осуществил такие исследования и получил нетривиальные результаты.

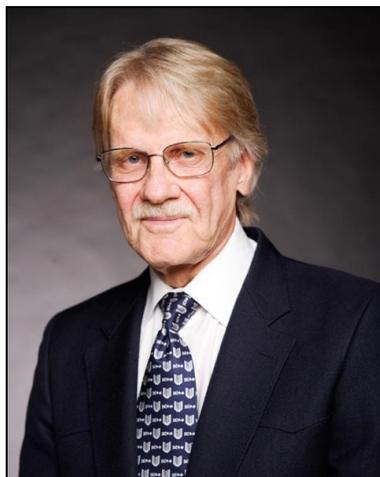
Более или менее подробный рассказ о достижениях В. Смита нам придется отложить до другого случая, когда мы дойдем до обсуждения проблемы рациональности выбора. Смит внес решающие уточнения в этот запутанный вопрос, и это – большая тема.

Коротко можно сказать так. В. Смит разработал метод тщательно контролируемого эксперимента. Обобщение опыта его многократных экспериментов, с изменяющимися условиями, позволяет делать практически однозначные теоретические выводы. Нужно лишь помнить, что речь идет все-таки не о «доказательствах» (чего бы то ни было), а о подтверждении или не подтверждении гипотез. И это – очень много в эпоху, когда библиотеки ломаются от математических доказательств того, чего не бывает в жизни.

В. Смит показал, что гипотеза Хайека о *рассеянном знании* имеет достоверное экспериментальное подтверждение.

Рыночная информация порождается внутри самой системы в процессе ее функционирования. Однако, отдельному рядовому агенту, нет необходимости владеть полной информацией о всех условиях рынка, чтобы успешно вести бизнес.

Гипотеза о том, что людьми движет эгоизм, не является необходимой, считает В. Смит. Достаточно допустить, что *людям не нужно быть добрыми, чтобы творить добро*. Данное утверждение звучит простенько, но в нем заключено больше, чем сказано словами. Неспроста Смит для речи на «нобелевском банкете» выбрал один из парадоксов Мандевилля.



ВЕРНОН Ломакс СМИТ (англ. VERNON Lomax SMITH)

Вернон Смит подтвердил гипотезу о том, что рыночная «стихия» способна к спонтанному формированию порядка в делах обмена и трансакций. Основу этого порядка представляют никем извне не разработанные правила поведения: уважение прав собственности, соблюдение договоров и т.п. Эти правила нуждаются в инфорсменте, который может быть добровольным или нет. Добровольный инфорсмент осуществляется путем вознаграждения соблюдающих правила в виде успеха и материальной пользы. С принудительным и так ясно: необходимы институты для пресечения «дурного» поведения.

Главной особенностью этого порядка является то, что он не спроектирован заранее кем-то и не существует целиком у кого-то в голове. Этот порядок невидим для участников, но каждый в состоянии найти то, что ему нужно знать, чтобы получить наилучший результат. Указанный порядок обеспечивает

согласованность действий участников и эффективность распределения ресурсов.

В целом можно видеть, что Вернон Смит экспериментально подтвердил и частично уточнил основные гипотезы тех экономистов, которые настаивают на охране свободной инициативы и невмешательстве государства в работу конкурентного рынка.



Андрей Алексеев

А.А.Ухтомский, В.Н.Муравьев и другие

(окончание. Начало в №1/2014 и след.)

7.3. ИНТЕРМЕДИЯ: А.А. УХТОМСКИЙ. В.Н. МУРАВЬЕВ. СХОЖДЕНИЯ ИДЕЙ И ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ СУДЕБ

[Как и прежде, как и всегда, круги дружеского общения, ранее автономные, тяготеют к сближению и “пересечению”.

Ниже – письмо одного моего друга другому. Я сам – как бы связующее звено... – А. А.]

7.3.1. “Загадки жизни” Ухтомского – нет! (письмо “адвоката дьявола”)

В. Дудченко – Р. Ленчовскому (июнь 2000)

Привет Роману Ивановичу!



тобы было понятно, мне надо представиться. Волею судеб получилось так, что на мне Андрей проверяет, так сказать, “внешнюю” устойчивость своих текстов. Для проверки “внутренней” (относительно “вживляемости” в научное сообщество) читают другие (например, Леня Кесельман), а я “отрываюсь” по полной программе, поскольку меньше связан с этой средой. Одним словом – адвокат дьявола.

Последним объектом моих нападков был почтенный академик кн. Ухтомский. Поначалу в моей интерпретации (на основании того, что я вычитал из представленных у А. текстов Ухтомского), он выглядел просто природным лицемером – лицемером не из притворства, а по несчастию собственной судьбы.

Стоп. Николаевич *[в дальнейшем будет применяться сокращение: А. — А. А.]* порекомендовал мне избежать конкретизации формы обращения – “вы” или “ты”. Но, кроме того, что помнить все время об этом неудобно, почему я должен свои проблемы с выбором перекладывать на тебя? Мы примерно одного возраста, тексты твои я читал многожды в разных редакциях, они заставляют меня думать, что тебе еще предстоит в

этой истории некая немаловажная роль (почему и пишу к тебе!). Тем более, что непонятно, что обиднее – “ты” или “вы”?

Так продолжаю. Знаешь, есть такие, когда-то вконец замордованные (совсем для них не омерзительной) зависимостью люди, способные говорить и думать хорошо только об очень больших, неохватных для восприятия вещах, таких, как “церковь”, “революция”, “царствующая династия”, “ум, честь и совесть”, “благодать” и так далее. При этом к любому из окружающих (и к себе самому тоже) такие люди относятся с уверенностью в их изначальной порочности и с нескрываемым ожиданием покаяния во всевозможных подлостях. Поступки их могут быть любые. После того, как А., раздосадованный моей руганью, выдал мне последний вариант “триптиха об учителях жизни”, мне пришлось от своей пошловатой версии (о природном лицемерии) отказаться. Зато появился другой вопрос, значительно более существенный.

А. отвечать на него не хочет (это его право). Но, висая в воздухе слишком долго, этот вопрос становится неадекватен – непонятно, имело ли смысл его задавать. Вот тут я, набравшись наглости, тебе, как его, Ухтомского, открывателю-“разносчику”, этот вопрос и предлагаю. Тем более, что, как мне кажется, среди всех персонажей этого андреева сочинения тебя отмечает счастливая способность по делу появляться на сцене в наиболее решающие моменты.

Вопрос заключается в предположении, что некоторые странности Ухтомского объясняются не личными проблемами, и не противоречием между “внешним рисунком жизни” и ее “внутренним содержанием”, а наоборот – очень хорошим соответствием, пригнанностью его сознания и предложенной ему “хозяевами истории” исторической роли. Это не означает счастливой жизни. Заслуженные столпы-основатели многих деспотий кончали свои дни на плахе – это уж роль такая! Здесь обошлось мягче: Ухтомский жалуется на тяжелые и расточительные для нервной системы старого человека “активы” – но ведь это же в чистом виде процедура изгнания бесов (“лечения” одержимых дьяволом), ежечасно призываемая самим Ухтомским на голову свою и окружающих, “радикально и нарочито направленная борьба с самим собой и со своим внутренним врагом – грехом”! А. правильно ставит эти две цитаты рядом. А разве смог бы режим укрепиться без распространения такой потребности в очищении – без таких призывов?

Режим многим ему обязан, причем это не значит, что Ухтомский сам очень радел о его (режима) укреплении. Ведь и Победоносцев начинал с того, что писал статьи Герцену в

“Колокол” (по свидетельству Половцева), и неизвестно, почему он потом оказался оберпрокурором. В своих записках (видимо, и на практике), Ухтомский, “борясь с содомой”, на самом деле выполняет многие тайные желания новой власти, которые сама она удовлетворить не может, по ряду обстоятельств, например, из-за существования в 20-х годах еще живых (и даже не посаженных) борцов с царизмом дореволюционных времен. Он ругает интеллигенцию не за буржуазность (как тогда полагалось), нехорошими словами клеймит декабристов, а помнишь, уже в наше время, самый простой способ (еще в школе!) попасть куда надо на заметку – это не к месту процитировать Некрасова, а уж на декабристах всегда лежал налет “антисоветчинки”.

Если присмотреться, у А. много похожих примеров. Но дело даже и не в них. Я думаю, Ухтомский (не один, конечно!) заложил, вернее воссоздавал порушенные кончиною царизма основы нашей будущей государственной идеологии. Во время борьбы с “живым” царизмом, суждение о “бытии, определяющем сознание” использовалось для подтверждения права сознания, определенного “хорошим” бытием, без колебания карать сознание, определенное бытием “с ошибками”. В данном случае буржуазное *[сознание. — А. А.]*, но ведь дело могло повернуться и по-другому! Еще был велик заряд индивидуальной ценности, помнишь: “мы кузнецы своего счастья”, и у Маяковского: “Социализм – свободный труд свободно собравшихся людей!”

Ухтомский поворачивает практически наоборот, угадывая будущее: “детерминируется бытие несравненно более остро и мощно, чем это предполагается” и “гораздо плотнее, безвыходнее, ответственнее и вместе страшнее детерминируется человек бытием”. Не напоминает ли это тебе смысл известного выражения брежневских времен: “нам солнца не надо, нам партия светит!”. Фактически это база пропаганды всех развитых, как когда-то говорили, эксплуататорских формаций. Начиная от московских царей: осененная чем-то там верховная власть есть податель народного счастья. Не вульгарное сталинское “палкой в рай”, “не можешь – поможем, не хочешь – заставим”, но безапелляционное брежневское “нас партия **всех** к коммунизму ведет!”. В цитатах из малодоступного сейчас, “позднего” Победоносцева мне тоже встречалась такая же искренняя вера в благотворительность основанного на естественном праве самодержавия для христианского и “верного благочестию” народа.

Сейчас я не могу вводить термины, чтобы задать вопрос корректно. Я рассчитываю только на понимание. Мне кажется, что социальные свойства Ухтомского (весь комплекс качеств и

возможностей его связи с людьми) привязывают его к культуре иерархически разделенного общества, к “макросубъекту”, изрекающему необсуждаемую истину, которая есть “последнее слово последнего, пожирающего все плоды мысли и опытов, подсчитывающего все итоги макросубъекта!”. К обществу, которое уже сожрало всех своих членов. Детали тут неважны – все общества рабов и хозяев устроены одинаково.

Такая привязка ничего не говорит о его (Ухтомского) дурных или хороших намерениях, его роль лишь характеризует “иерархическую” культуру. Можно обсуждать свойства такой культуры, но я думаю, что дело в особенностях использования первой и фундаментальной мыслительной способности человека. В одном случае, начиная рассуждать, мы будем рассматривать некое сознание (человека), которое так или иначе, вот сейчас, конструирует для себя этот новый мыслительный инструмент (человек знает, что он делает). В другом случае мы сначала решим, что вот есть общество, социум, уже обладающий некоторыми свойствами, воздействующими на нашу мысль, и свойства эти отдельный человек лишь надеется в будущем понять. Если угодно, появляется вопрос: мысль является принадлежностью племени, рода, государства, или же и там, и там думает все-таки отдельный человек?

Если сначала без определения вводится термин “социум”, то в мысль каждого человека попадает нечто содержательное и непознаваемое, вроде личного бога религий “нашей” эры (который есть “желаний край”), “разума бытия” и уж во всяком случае внешние для человека моральные принципы. Ухтомский и сам это говорит: сотрудники Павлова воздерживаются от “доступных им подлостей” не своим разумением, а из “морального страха перед Иваном Петровичем”, перед “мощной коллективностью”.

Естественно, эти привнесенные штуки выстраиваются в некую иерархию, для которой само вмещающее их сознание оказывается весьма незначительным. Тогда получается, что противоречий, загадочных несоответствий, эволюции взглядов тут нет. Была эволюция системы, которая вновь (с помощью, в частности, Ухтомского) осваивала древнюю науку приведения людей к покорности.

Кстати, насчет замечательного принципа “доминанты на Лицо другого” со стороны человека, у которого “нет сил взглянуть”. Я, честно говоря, не позавидовал бы этому “другому”, если бы вдруг обнаружилось, что он чувствует и действует в связи с чем-то, на что тот, первый, сил взглянуть не имеет. Как бы сплошная “коллективность” не получилась!

Ну вот, я выставил перед тобой этот гнусный вопрос в его самой неудобоваримой форме. Близкие иногда говорят мне, что я ругаюсь слишком с удовольствием, не оказываю предварительного доверия обругиваемой точке зрения. В коммерческих переговорах это важно, там на самом деле доверие важнее сути договора. Если же дело касается рассуждения, то резкость лишь избавляет собеседника от моральных обязательств, возникающих из самого факта обращения, и тем самым облегчает движение мысли (если есть, что сказать, то оно будет сказано).

Спасибо за труд чтения. Остаюсь в совершенном почтении.

Виктор Дудченко, 27.06.2000

Р. С. Связаться со мной можно через Андрея, или: 198097, Санкт-Петербург, а/я 30. В. Д.

7.3.2. Трагедия создателя “философии времени” (В.Н. Муравьев)

А. Алексеев – Р. Ленчовскому (июнь 2000)

ПОСТСКРИПТУМ (к письму от 11-18.06.2000) [см. выше: раздел 7.2.4. – А.А.]

Дорогой Роман!

Вот, вкладываю в этот же конверт письмо к Тебе от моего внутреннего рецензента – Виктора Дудченко. С ним у меня последнее время – непрерывный диалог (живя в одном городе, это проще!). Некоторые его “заметки на полях” включены в мою книгу.

Это письмо В.Д. написал отчасти “с моей подачи” (чтобы мне не пересказывать его соображения; да и связать напрямую двух заслуженных мною со-беседников – отродно).

Мой (а потенциально – и твой) друг высказал гипотезу которая, пожалуй, кое-что и проясняет в “загадке жизни” Ухтомского. Думаю все же, что В.Д. слишком категоричен...

С другой стороны, не исключено, что и Ты, ознакомившись (если не из первоисточника, то хотя бы из моего письма) с более полным, чем мы имели 20 лет назад, сводом взглядов и событий жизни Ухтомского, найдешь в них противоречия: будь то внутренние несоответствия, будь то расхождение с твоим собственным жизнепониманием.

Я, как видишь, предпочитаю усматривать тут “загадку”, чем предлагать “разгадку”...

Одно мне очевидно: читая в свое время письма Ухтомского к Бронштейн-Шур (которые для меня и сейчас не “померкли”!), мы абстрагировались от исторического контекста их написания. А он, контекст, настоятельно требует к себе внимания.

Вообще же, идейно-духовные “пересечения” и “сопряжения” российской либеральной интеллигенции с большевистской идеологией и практикой – чрезвычайно важная и богатая тема. (Раньше это называлось: “путь в Революцию”...). Применительно к писателям, художникам и т. д. – эта тема достаточно разработана. А для ученых и философов – меньше.

В этой связи, мне кажется, было бы очень поучительно провести сравнительный анализ как жизненных траекторий, так и эволюции взглядов, например, участников знаменитых сборников – “манифестов” русской интеллигенции первой четверти XX века: “Вехи” (1909) и “Из глубины” (1918).

Среди авторов названных сборников были не только будущие широко известные эмигранты (например: покинувшие страну вскоре после прихода большевиков к власти П. Струве, Новгородцев; или высланные из России в 1922 г. Бердяев, С. Булгаков, Франк, Изгоев), но и – куда менее известные ныне! – те, кто остался в России: религиозный философ Аскольдов, историк и правовед Котляревский, публицист и философ Муравьев.

Особенно фигура последнего (автора статьи “Рев племени” в запрещенном, а затем конфискованном сборнике “Из глубины”) показательна, в связи с поставленным моим другом вопросом.

Не буду пересказывать здесь всего того, что теперь стало известным о Валериане Николаевиче Муравьеве (1885-1932). Извлечения из его свыше полувека гнившего в спецхране архива были впервые представлены в “Вопросах философии” (1992), в сопровождении аналитической статьи Г.П. Аксенова.

Особенно после недавнего выхода в свет (в серии “Философы России XX века”) тома избранных сочинений В. Муравьева “Овладение временем” (Сост. – Г.П.Аксенов. М.: Российская политическая энциклопедия, 1998) становится ясным, что имеем дело с одним из выдающихся мыслителей минувшего столетия.

Итак, о Муравьеве.

Его философскими предшественниками были создатель философии “общего дела” (“проективная философия”, учение о всеобщем воскресении) Н.Ф. Федоров, с одной стороны, и философ-интуитивист Анри Бергсон (“философия жизни”), с другой. Вместе с тем, “философия времени” Муравьева (или:

“философия действия”; или: философия “времядействия”; все эти обозначения правомерны!) близка к возникшим как раз в то время (середина 20-х) научно-философским представлениям о ноосфере (Вернадский; Леруа; Тейяр де Шарден). В.Н. Муравьев – один из ярчайших представителей русского космизма.

(Кстати, когда читаешь Муравьева, невольно вспоминается и “система времяпользования” А.А. Любищева. Уверен, что Даниил Гранин, когда писал “Эту странную жизнь”, не знал об изданном в 1924 г. и прочно забытом с тех пор муравьевском трактате “Овладение временем как основная задача организации труда”; иначе наверняка упомянул бы его).[29]

“...Судьба Валериана Муравьева глубоко трагична, – пишет публикатор и исследователь творчества Муравьева Г. Аксенов. – Во-первых, тем, что в ней индивидуализировалась судьба всей русской интеллигенции, не сумевшей совладать с безразумным временем и сгинувшей в историческом провале. И, во-вторых, тем, что в дошедших до нас “из глубины”, из-под обломков рухнувшей жизни, созданных силой творчества формулах, прозрениях и произведениях мы его не узнаем и не знаем. Мы и не подозреваем, как много в духовном климате целого исторического периода содержалось его идейных построений...” (Г.П. Аксенов. Времявластие (О Валериане Муравьеве и его философии) // Вопросы философии, 1992, № 1, с. 89).

Действительно, так и есть!

В.Н. Муравьев – представитель славного рода Муравьевых (в котором – и Муравьевы-Апостолы, и Муравьев-Амурский, и Муравьев-Карский...), внук сенатора В.Н. Муравьева, сын министра юстиции в правительстве Витте – Н.В. Муравьева. Получил блестящее образование в России и за рубежом.

Дипломат: глава Балканского отдела Министерства иностранных дел в годы первой мировой войны; начальник политического кабинета этого Министерства после Февральской революции.

Публицист, сотрудничающий в либеральных изданиях 1910-х гг. Автор труда по государственному праву – “Мелкая единица самоуправления в русском законодательстве” (1912).

Общественный идеал Муравьева в ту пору – непосредственная демократия, народоправство. Его особенно интересуют исторические корни народоправства в России, восходящие к древнему Новгороду, проросшие позднее в земском движении XIX века.

Отношение Муравьева к революции и большевизму в 1918 г. можно проиллюстрировать следующими фрагментами из его публицистики:

“...В самых страшных предположениях прошлых дней, в предсказаниях самого черного пессимизма не было доли приближения к тому, что переживается нами, что предстоит пережить. Если есть национальное мученичество, мы его сейчас испытываем, мы знаем, что оно есть. Куда деться от внутренней боли, от жгучего стыда, от смертельной тоски по умирающей России?...” (“Собирание России” / Заря России, 13 апреля 1918 г. Цит. по: Муравьев В. Указ соч., с. 73).

“...Сейчас большевизм, стремясь к распространению во всем мире, исполнен истинно империалистического пафоса. После Вильгельма несомненно самым большим империалистом современности является Ленин. Идея большевизма приближается и к крайней форме империализма – к теократии...” (“Национализм и интернационализм” / Заря России, 15 апреля 1918 г. Цит. по: В.Муравьев. Указ. соч., с. 78).

В статье “Рев племени” из сборника “Из глубины” (1918) находим рассуждения, очень близкие к размышлениям Ухтомского того же времени (см. выше) и вообще, по-видимому, отражающие умонастроение значительной части русской интеллигенции (последняя “судит самое себя”):

“...Революция произошла тогда, когда народ пошел за интеллигенцией. Конечно, народ по совершенно не зависящим от последней причинам должен был куда-то идти. Великое народное движение, во всяком случае, должно было произойти в результате кризиса русской жизни, усугубленного войной. Но путь, по которому пошел народ, был указан ему интеллигенцией. И в том, что революция приняла такой вид, виновны не одни большевики, но вся интеллигенция, их подготовившая и вдохновившая...”.

У народа “...была вера в чудо, то самое чудо, которое отвергла презрительная интеллигенция и тут же народу преподнесла в другом виде – в проповеди наступления мировой всемирной революции, уравнивания всех людей и т. п. Социалистический рай был для простых людей тем же, чем были для него сказочные царства и обетованные земли религиозных легенд...”.

И тем более виновны те, кто сугубо обманул народ, дав как пищу его великолепному порыву, ложные и бессмысленные идеи. Виновна революция, виновно интеллигентское миросозерцание, создавшее революцию, виновна западная современная культура, создавшая интеллигентское

миросозерцание...” (Цит. по: Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991, с. 414-415).

Сходен с Ухтомским взгляд Муравьева и на “ложное марево европейской культуры”:

“...Нельзя, конечно, оспаривать достоинств европейской культуры, в особенности той части ее, которая примыкает к действенной средневековой христианской цивилизации – к науке. Опытная наука выросла из опытной магии и есть не что иное, как осуществленная белая магия. Но к самой европейской культуре следует отнестись с самой серьезной критикой ко всей умозрительной ее части, к философии, на место конкретного выставившей отвлеченное, на место творческого действия мертвящую теорию, на место единичности и качества пустую общность и количество.

И вот интеллигенция вернулась к своему народу, но не с живою, а с мертвою водою. Она вспрыснула ею народ и народ разрушил Россию. Но тем самым народ уничтожил и интеллигенцию. Он, подобно Самсону, обманутому Далилой, повалил своды храма на всех присутствующих, в том числе и на Далилу...” (Цит. по: Вехи. Из глубины..., с. 415-416).

(Ср. с Ухтомским, выше; почти дословные совпадения!).

После того, как советская власть позакрывала все органы свободной печати, в которых Муравьев сотрудничал (1918), он, как специалист, служит в Наркоминделе (некоторое время даже заведовал там отделом печати).

“...Валериан Муравьев не был бы русским интеллигентом, если бы не принял вину за происшедшее на самого себя, не взвалил бы на себя ответственность, – пишет Г. Аксенов. – Во время гражданской войны в нем постепенно вызревает сплетенное из высших идейных соображений и логики решение остаться в стране и, мало того, активно работать на государственном поприще. Он стал самым первым сменевеховцем, еще до известной кампании Устрялова...” (Аксенов Г.П. Времявластие..., с. 89).

1920-й год. Муравьев арестован по сфабрикованному делу так называемого “Тактического центра”. Ему вынесен расстрельный приговор, с последующим помилованием и освобождением, как и всех 28 осужденных по этому делу, – пропагандистская акция советской власти).

(Напомню, что именно в 1920-м был впервые арестован и Ухтомский. Вообще, здесь не только близость взглядов, но и синхронность некоторых жизненных событий...).

Однако еще до этих жизненных испытаний началась (а дальше – углублялась) эволюция взглядов будущего автора “Овладения временем...”.

“...Он начинает примиряться если не с политикой, не с тактикой, то со стратегией большевиков, с их отдаленными целями. Они начинают казаться ему “изживанием старой, разъединявшей людей культуры”. Следствием этой эволюции становится его знакомство с Троцким...” (Аксенов Г.П.. Искатель последней правды / Муравьев В. Овладение временем. М., 1998, с. 7).

В архиве Муравьева сохранились копия его письма к Л.Д. Троцкому от начала 1920 г. (еще до ареста), в котором он пытается объяснить советскому вождю необходимость перехода от узко-политической трактовки социалистической революции к более широкому “масштабу мысли” – взгляду на революцию, как на соборное, вселенское, космическое деяние, имеющее своей дальней целью тотальное преобразование Человека и Мира. (Ср. с позднейшей идеологемой: “всемирно-историческое значение Октября”).

Из этого письма:

“...Необходимость освобождения и поднятия трудящихся... не есть только вопрос социальной справедливости, – пишет Муравьев Троцкому, – но есть прежде всего вопрос жизни и смерти самой культуры, которая иначе отсохнет и выродится, как это происходит на наших глазах. Выход из кризиса – в перемене метода культурного творчества, в слитии мысли и дела, в принятии на себя ответственности не только за содеянное, но и помысленное. В большевизме я нахожу многие из искомых черт. Он несомненно нечто большее, чем идея государственная. Она идея, приближающаяся к теократической. Философия должна стать делом. Мыслители должны стать деятелями, а деятели должны стать пророками-строителями по образцу вождей древности, полагавших основы древних культур и царств...” (Из архива Валериана Муравьева // Вопросы философии, 1992, N 1, с. 98).

Муравьев пишет далее:

“...Я нахожу глубокое внутреннее противоречие в материалистической основе Вашего миропонимания. Вы приглашаете людей ставить себе исключительно цели личного материального благополучия, ибо всякие другие исключаются. Вместе с тем и в полном противоречии с этим Вы зовете их ради идеала жертвовать собой, отдать ради него свою жизнь. Вам могут ответить то, что ответил солдат Керенскому в знаменитом диалоге.

Керенский побуждал солдата идти в наступление, обещая ему землю и волю. “На что мне земля и воля, если я буду убит”, – ответил солдат и рассуждал глубоко логично. Жертву нельзя обосновать материалистически, исходя из личного интереса. А других побуждений у Вас быть не может. Правда, Вас спасает то, что коммунисты поступают против логики и идут в огонь в религиозном энтузиазме, оправдывающем мои, а не Ваши теории.

Подобного противоречия нет в более совершенном идеале общечеловеческой организации, в идеале теократическом. Он имеет над Вашим то преимущество, что захватывает всего человека, не только телесного, но и духовного, и всю конкретную историю, а не взятую искусственно одну только экономическую схему. Такой вселенский всеобъемлющий идеал мелькнул в Русской истории, когда инок Филофей в послании Великому князю Московскому хотел сделать из него наследника Всемирной империи Рима. Это был не грубый захватный империализм политического завоевателя, но попытка обосновать завоевание духовное – объединить человечество в единой Церкви – Царстве Правды... (Там же, с. 99).

И далее:

“...Ведь не случайно же, что в большевизме соединились русская национальная и европейская социалистическая стихия... Русский народ искал Новый Иерусалим, сказочное царство истины, где господствует вечная справедливость, и предвестники Ваших идейных коммунистов были быть может паломники наших средних веков, схимники и святители, над которыми в Вашей печати и в Ваших кругах принято теперь так грубо издеваться. Русская интеллигенция вследствие реформы Петра отошла от народа и его религиозности и, сохраняя национальные черты, пошла искать Царство правды в науке о социализме. Там она проявила ту же твердость и подвижничество, что схимники в своих скитах. И в конце концов она вернула нам идеал Третьего Рима в виде идеала Третьего Интернационала. Ленин оказался преемником старца Филофея...” (Там же, с. 99-100).

И наконец, “дерзкая”, но и не “очернительская” (уважительная, независимая и заинтересованная!) критика:

“...Сочувствие широкому и отделенному идеалу не должно мешать трезво оценивать окружающую действительность и мерить ее мерилom возможного для завтрашнего дня. Здесь, когда я так ставлю вопрос, я коренным образом расхожусь с Вами и буду скептиком, пока мне не докажут на практике, что я ошибаюсь. Я далек от мысли отрицать успехи Советской власти, их значение и размеры. Но если поставить вопрос о глубине

содеянного, я вынужден буду высказать большие сомнения. Да, политическая победа Советской власти полная. Но ведь не это нужно, чтобы можно было говорить о строительстве в том, большом масштабе. Для этого нужно, чтобы изменилась вся подпочва жизни, чтобы произошел в самом деле глубинный переворот всех отношений, всех представлений, всех способов жизни. Что достигнуто в этом смысле? Думаю, очень мало. Ведь важно не изменение принадлежности тех или иных предприятий, не перераспределение благ, не новые данные права и новые наложенные обязанности. Все это важно как точки отправления, как та экономическая и социальная статика, которая явится основой новой динамики. Важна не новая форма отношений, а ЖИЗНЬ этих отношений в этих новых формах. Пока я вижу вокруг себя как бы войско, готовое к бою, но стоящее на месте. Надо видеть его в бою. Пока я вижу искусно созданный механизм. Надо, чтобы он зажил собственной жизнью, превратился в организм. Тогда можно будет сказать, родился ли он в самом деле или нет, действительность ли он или только видимость...” (Там же, с. 100-101).

Кстати, одним из поводов для письма было такое начинание Советской власти как “трудоустройство армии”:

“...Если Вам удастся найти органические формы трудовой повинности, при которой она не будет наложено искусственно на население, как это безобразно практикуется сейчас в нарушение всех экономических законов, но, наоборот, будет естественно вытекать из процессов новых отношений, если организм, так построенный, задвигается и заживет, – тогда Ваша победа обеспечена, и в самом деле мы вступим в новую эру...” (Там же, с. 101).

(Письмо Муравьева к Троцкому от 6 января 1920 г. включено и в упомянутый выше том: Муравьев В. Овладение временем...).

По свидетельству одного из идеологов “смены вех” Н.В. Устрялова (встречавшегося с Муравьевым в Москве в 1924-м) тот “...упорно настаивал на необходимости раскрыть перед нашей революцией еще более грандиозные творческие перспективы” (цит. по: Аксенов Г.П. Искатель последней правды..., с. 8).

Устрялов вспоминает восклицание Муравьева: “*Nous sommes plus bolchevistes que les bolcheviques memes!*” (по аналогии: “...больше роялисты, чем сам король...”; только вместо “короля” – “большевики”).

Сам Муравьев отмечает в письме к Н.А. Сетницкому (приверженцу “проективной философии” Н.Ф. Федорова) в начале 1920-х:

“...Вы помните наши разговоры и тот парадоксальный вывод, к которому мы пришли, что революция для нас недостаточно революционна, что она слишком замыкается в общественных задачах, тогда как мы хотели бы мировой космической Революции...” (Там же).

Мне не хочется, однако, чтобы Ты судил о мыслительстве Муравьева лишь по этим эпистолярным фрагментам и замечаниям – все же периферийным для его миропонимания и наследия. “Философия времени” Муравьева, наиболее систематично изложенная в опубликованном им (на собственные средства...) трактате (по размерам – брошюра...) “Овладение временем как основная задача организации труда” (1924) – это целый идейно-духовный материк.

В какой-то мере Ты можешь представить его себе по фрагментам, включенным в мою книгу (в связи с моими собственными сочинениями начала 1980-х, ну... более или менее на ту же тему). Я эти отрывки распечатал для Тебя.

Заодно и ксерокопию публикации в “Вопросах философии” посылаю.

Что касается “избранного” 1998 г. (см. выше), то со временем и его для Тебя добуду. Прочитав целиком, Ты и сам увидишь, какой необыкновенный плод вырос из скрещения русского космизма с марксизмом (а ведь скрестилось! значит – не так уж и несовместимы...). Причем самобытность и цельность удивительные!

А даже и моих извлечений из Муравьева хватит для того, чтобы заметить, что из этого могучего и прекрасного “кентавра” (не химеры!) оказалось впоследствии парадоксальным (гм!) образом востребованным и приспособленным для нужд советской идеологической системы. Тут нетрудно усмотреть прямые выходы из Муравьева: и к “научной организации труда”, и к “стахановскому движению”. Но есть и другие виртуальные мосты: и к “перековке людей” (“созидание человека”...), и к “покорению природы” (ее, природы, “слепых сил”...), и к превращению науки в “производительную силу”, и даже, пожалуй, к “движению разведчиков будущего”.

(Кстати, к последнему – бригады коммунистического труда – уже и сам я успел приложить руку, в качестве журналиста, на рубеже 50-60-х гг.).

Было бы, однако, как я считаю, ошибочным возлагать моральную (какую же еще?) ответственность за эти “экстраполяции” духовных прозрений и “реализации” идейных проектов – на искателей “последней правды”, взыскующих Истины, Добра и осмысленной связи между Прошлым, Настоящим и Будущим (“жизнетворчество”, “времядействие”, “воскрешение”...), к каковым принадлежит русский мыслитель первой трети века (дольше-то и не прожил!) Валериан Муравьев.

...Перепишу здесь для Тебя хотя бы оглавление opus magnum В.Н.Муравьева “Овладение временем как основная задача организации труда”, ныне, спустя 75 лет, переизданного:

“Введение

1) Проблема времени. 2) Проблема множественности. 3) Социологический подход к проблеме множественности. 4) Социологический подход к проблеме времени.

Глава первая: **Культура как овладение временем**

1) Творческий труд, время и культура. 2) Культура и овладение временем. 3) Разобщенность символической и реальной культуры. 4) Критика чистого знания. 5) Критика чистого искусства. 6) Следствие разобщенности символики и действия и вытекающие отсюда проблемы.

Глава вторая: **Время и множественность**

1) Время как отношение вещей. 2) Практическое преодоление времени. 3) Время как функция множественности. 4) Проблема действия и взаимодействия. 5) Противоречивость обычного построения множественности. 6) Математическая точка зрения. 7) Диалектическое построение множественности. 8) Диалектическое решение проблемы действия. 9) Диалектическое решение проблемы взаимодействия.

Глава третья: **Овладение временем в действующих системах**

1) Возобновление бывшей комбинации. 2) Расширение власти над временем. 3) Расширение действующей системы. 4) Множественность в субъекте и объекте действия. 5) Установление равной действующей в системе.

Глава четвертая: **Овладение временем в сознательных системах**

1) Роль сознания в образовании времени. 2) Обособляющая роль сознания. 3) Интегрирующая роль сознания. 4) Два вида времени. 5) Несознательные элементы. 6) Сознательные системы. 7) Смешанные системы. 8) Случай восстановления без участия сознания. 9) Свершение времен. 10) Цепь систем.

Глава пятая: **Времяобразующая деятельность социально-исторических групп**

1) Социально-исторический характер времяобразующего действия. 2) Расширение акта в сторону прошлого. 3) Расширение акта в сторону будущего. 4) Исторически-культурный основополагающий акт. 5) Субъективность и универсальность. 6) Посредствующие коллективы между личностью и космосом. 7) Преобразование мира. 8) Система исторических актов. 9) Оценка актов.

Глава шестая: **Организация символической культуры**

1) Организация культуры. 2) Мысль и действие. 3) Философия действия. 4) Организация философии. 5) Организация науки. 6) Организация искусства.

Глава седьмая: **Организация реальной культуры**

1) Организация генетики. 2) Возобновление личности. 3) Организация политики и морали. 4) Организация производства. 5) Организация хозяйствования. 6) Диалектический тип организации.

Заключение. **Борьба за жизнь против слепых сил природы**. (Муравьев В. **Овладение временем... 93-94**).

(Какая, кстати сказать, прозрачная и чеканная структура!).

Из “Заключения”:

“...То, что ощущается как слепая, безумная, убивающая сила времени, увлекающая мир на путь уничтожения в объятия бесформенного единого ничто, есть по существу дурное внешнее время, тлен и смерть. Гераклит, говоря об изменениях, говорил именно об изменениях, порождаемых этой силой. Другого рода изменения, воскресительные, не теряют ничего ценного и существенного. Сила, противоборствующая силе тлена есть сила, овладевающая временем, т. е. изменения обогащающего, творящего. Здесь обнаруживается связь понятий последнего высшего блага и свершения времени. Очевидно, благо, чтобы быть совершенным, должно длиться. И только совершенное, с другой стороны, может длиться. Этим объясняется самое глубокое внутреннее стремление личности – стремление утверждать свою жизнь...” (Муравьев В. **Овладение временем...**, с. 229)

А вот из главы 5:

“...Только связь с коллективным исторически-культурным актом, остающемуся без такой санкции эгоистическим и часто противообщественным. Только выполнение в индивидуальном действии высшей общечеловеческой или мировой цели, обнаруживаемой основополагающим культурным актом, оправдывает существование и деятельность отдельных людей и их заботы о о самосохранении, самоопределении и развитии. Простое

самоопределение личности или даже целой группы людей (так, например, нации) как самодовлеющих единиц, носящих в себе верховный закон, не может быть оправдано и только осуществление их руками общего дела преобразования мира и преодоления времени делает их цели полезными и нужными достойными выполнения. Отдельный человек всегда должен быть рассматриваем как элемент некоей множественной стихии, и смысл его жизни в развитии и завершении действия, рождающегося в результате этого общего течения...”

(Ну как тут не вспомнить Маяковского: “Ленин” или “Хорошо!”. “...Я счастлив, что я этой силы частица...” и т. д.)

”...С этой точки зрения оказывается, что есть три возможных типа отношений частного акта к основополагающему. 1) Мой акт участвует в подготовке будущего более общего акта. Таково было, например, положение какого-нибудь узко-экономического требования рабочих до Революции. 2) Мой акт есть развитие ранее совершенного основополагающего акта. В примере Революции настоящая деятельность марксистов есть развитие основополагающего акта Маркса. 3) Наконец, мой акт может быть вершиной данного культурно-исторического действия. Я – мессия, я – вождь этого движения.

Для каждого из этих случаев возникают выводы из сравнения большого и малого актов.

Не забудем, что с точки зрения времени все эти сопоставления и сравнения будут сравнениями различных степеней его преодоления. Каждый акт есть равнодействующая системы, преодолевающей время и вступающей в отношения с другими подобными же системами. Различию актов и соответствующих сознаний соответствует и реальное значение времен, создаваемых этими актами...” (Муравьев В. Овладение временем..., с. 187).

...В отличие от Ухтомского, Муравьеву не надо было “ограждать себя молчанием”. Он тогда так думал! Он в это верил. Еще и вождей пытался научить...

Из эссе Муравьева “Видение первое: человек в жизни”, где он описывает посетившее его откровение (около 1925 г.):

“...Когда я вышел сегодня на улицу, я почувствовал себя охваченным совершенно новым и небывалым ощущением. Все казалось мне другим – и улицы, и дома, и встречные люди. В себе я чувствовал какую-то необычайную легкость, какая бывает в снах, когда летаешь. И себя я чувствовал в каком-то смысле совершенно иным. Тогда я начал вдумываться в сущность этого изменения и вдруг опытно и явственно почувствовал, что во МНЕ

ДЕЙСТВУЕТ И ЖИВЕТ КАКАЯ-ТО ОГРОМНАЯ СИЛА, которая как бы в меня вошла, а вернее меня к себе присоединила. Я видел себя не так, как раньше, оторванным и отделенным от целого, наоборот, связанным с чем-то большим, живущим в веках, независимо от окружающего меня пространства и условий. Мне мыслилась некая рать, рядами идущая от земли вверх, и я видел себя отныне как член ее и участник. И мне страстно, всеми силами моего существа захотелось всего себя отдать великому служению, не иметь ничего больше для себя, но всем пожертвовать ради цели спасения и преобразования и преобразования мира, ради выведения его в светлые просторы, куда тянулись представившиеся мне сверкающие ряды...” (Муравьев В. Овладение временем..., с. 306-307).

“...Все это я пишу от полноты сердца, от радости увиденного и постигнутого. И если бы кто-нибудь усомнился бы в реальности того, что я ощутил, для меня здесь сомнений быть не может, ибо это было не мысль и не воображение, а опыт, пережитая действительность. И если у меня самого могли быть какие-нибудь сомнения в истинности и подлинности того, к чему я в эти дни подошел и во что был принят и вошел – этот опыт силы, которая неожиданно меня затем посетила и осенила, эти двери, для меня внезапно раскрывшиеся, – свидетельства, с которыми не могут сравниться никакие другие доказательства или доводы.

И мне только досадно и нестерпимо больно, что я не могу всего выразить и так несовершенно изображаю эти переживания, для которых малы известные мне слова...” (Там же, с. 309-310).

В заключение, краткая биографическая справка.

На протяжении 10 лет Муравьев служил в различных советских учреждениях, на скромных постах – “не по принуждению, а по убеждению” (по его собственному выражению; 1921). В 1926 г. он был приглашен в ЦИТ (Центральный институт труда, организованный А. Гастевым), где три года работал ученым секретарем.

(Напомню, что Ухтомский в это же время занимался исследованиями в области физиологии труда – в связи с проблемами “научной организации труда”; создавал, под эгидой Ленинградского университета, соответствующие лаборатории на промышленных предприятиях).

В 1929 г. Муравьев был “вычищен” из ЦИТа (волна чисток прокатилась тогда по всем советским научным учреждениям), лишен гражданских прав. Последовал арест.

Погиб: по одним сведениям – на Соловках в 1931 г., по другим – в 1932 г., в Нарымском крае, куда был сослан.

(Напомню: 1932-й – год присуждения Ухтомскому премии им. В.И. Ленина).

Вот такой “параллелизм” и ортогональность судеб...

Казалось бы, так нужен был системе – “новообращенный” в большевистскую веру философ такого масштаба, полета мысли, остроты “дальнего зрения” (пользуясь выражением Ухтомского), как Муравьев! Но нет, другие пошли “в гору”, устроились на академическом Олимпе, стали править “философский бал”: Митин, Юдин, Федосеев и прочие.

Кто бы из них сумел так обосновать необходимость “соборного” и “истинного” миростроительства, как это делал последовательный “до конца” в своей апологии космической революции мыслитель Муравьев! Но нет, не в логических обоснованиях нуждалась система, а в идеологических заклинаниях, под видом философии.

И постольку – не только “не нужен” был Муравьев, а и опасен: опасен именно мощью своего разума, строящего действительно вселенский проект общечеловеческого времядействия, а не изобретающего мошеннические способы оправдания новой социальной иерархии и формы подчинения людей.

Но и... еще раз процитирую муравьевский трактат об овладении временем:

“...Из сказанного можно заключить, что единая и общая истина (здесь и далее выделено мною. – А.), имеющая действенный и деловой смысл, должна быть организована как господствующее мирозерцание эпохи в проекте, внутренне обязательном для тех, кто принимает участие в данном историческом движении. Должна быть установлена общая программа действий или проект общего дела исторической эпохи. (Ср. с программой “развернутого строительства коммунизма”, уже из брежневских времен. – А.). Это приводит, в отношении практических мер, к возобновлению старого плана Огюста Конта и в особенности Сен-Симона (вот что берется теперь Муравьевым за образец – извлеченное из “ложного марева европейской культуры”! – А.), устанавливающего необходимость учреждения верховного решающего органа знания...”.

И далее:

“...Орган этот должен формулировать положение дел или догматы знания для целой эпохи в связи с потребностями общего культурного дела человечества. Практически орган этот должен развиваться из международных научных конгрессов и представить собой объединение всех усилий людей, направленных в сторону познания. Вопросы, конечно, в этом верховном Научном Совете должны решаться не голосованием, а по внутреннему убеждению его участников.

Критерием же истинности принимаемых догматов должно служить в конечном итоге признание общественным мнением человечества этого Совета как органа выражения и организации истины...” (Муравьев В. Указ. соч., с. 201-202).

Дальше, пожалуй, читай уже антиутопии Замятина, Хаксли, Оруэлла...

Я понимаю, что некоторыми цитатами я скорее “компрометирую” Муравьева, чем “возвеличиваю” его – в глазах моих потенциальных читателей.

Но... если на то пошло, не осудить ли нам: Платона – за тоталитаризм, Макиавелли – за “макиавеллизм”, Ницше – за фашизм, Маркса – за сталинизм, да и Христа, пожалуй, – за костры инквизиции... Вот где парадокс “обращения времени”!

Сохраним “презумпцию невиновности” для мыслителей! Что касается ложных (с нашей точки зрения) идей, то они, конечно же, подлежат оспариванию, но так же и... пониманию: на какой именно почве они произросли, каким солнцем согревались и какими ветрами обдувались...

Нашим старшим современникам-соотечественникам (дедам и отцам) пришлось пережить исторические “пере-ломы” и “пере-стройки” (да и “пере-идентификации” – вспоминаю Твое последнее письмо!) покруче наших. И каждый “преодолевал время” по-своему. Вот и титаны мысли: Ухтомский – так, Муравьев – иначе... Хоть и общего, как видишь, хватает.

Бог им судья. Но не я! (Это я – в адрес моего внутреннего рецензента В. Д.)/ [30]

...Ну вот: сгубила система Философа, а затем (или даже раньше...) обокрала... (Это – про Муравьева). “Нормальное дело”!

“Время не властно над именем” – так назвал одну из своих работ о Муравьеве его открыватель (для меня, для нас...) Г.П.Аксенов (Библиография, 1993, № 1). А на наших глазах произошло еще одно частичное (не в тотальном федоровском или муравьевском смысле) – воскрешение!

Из заметок моего неутомимого критика В. Д.:

“...Есть разница между словами и делами, некоторым действующим системам присуща ложь суждений. Те, кто, перехватив эстафету Романовых, тогда назвал себя вождями, уничтожали логическую мысль, способную формулировать свои выводы без внешних, навязываемых верой, страхом или силой, содержательных понуканий. Сначала силой и понуканиями была восстановлена мертвая (без времени) иерархия, где одни – очевидно! – хозяева, а другие – так же очевидно – быдло.

И только потом, когда загнанный человек у подножия сообразил, как “безвыходно и страшно” пытаются сверху детерминировать его поведение..., когда все уже поняли, что “Генеральная линия” неподвластна логическому анализу вследствие иной своей природы, и, стало быть, все публичные слова не стоят ничего и придуманы лишь для спецпроцедур в университетах марксизма-ленинизма (и в других тоже), – только тогда, чтобы окончательно дискредитировать мысль, как таковую, ее нашинкованные обрезки в виде “всемирно-исторической роли”, “разведчиков будущего” и так далее, были предъявлены населению как доказательство неисповедимой мудрости предьявителей. Поскольку это воспринималось как явная ложь, предлагалось ограничиться “благоговением” и подальше закинуть опасные рассуждения.

Но, правда, мысль потому и опасна, что, возникнув “ниоткуда”, она раскачивает (“приводит в движение”, ускоряет) вселенную. Куда уж там почитаемой Линейке...”.[31]

Роман!

А что Ты скажешь – по поводу всего того, что я и Виктор, каждый по-своему, на эти умо-не-постигаемые темы “по-на-размышляли”?

Твой Андр. Ал., 30.06.2000

...От себя к миру, от мира к себе – вот процессы, объединенные в понятии грандиозной раскачки, необходимой для приведения вселенной в движение. Маятник отходит в одну сторону, чтобы лучше захватить другую. Мое могущество пропорционально моим корням, моей внутренней укрепленности. Последняя же есть моя внедренность в мир, степень моего участия в жизни вселенной.

...Если не будет действия, а одна только разумность, получится очень ясное, может быть, представление должного, но на самом деле на практике останется слепое подчинение потоку необходимости и принудительного времени.

Если, с другой стороны, будет одно только действие, без разумности, оно опять-таки не будет иметь особого отделяющегося от природы субъекта и сольется с слепым течением последней.

Следовательно, для преодоления времени и для утверждения своего творчества, живое существо должно проявлять и разумность, и действие...

Муравьев В. Овладение временем. М., 1998, с. 283, 292-293.

Ремарка 1: В.Н. Муравьев и В.И. Вернадский.

Следует отдавать себе отчет в том, что предпринятое нами обращение к трагической фигуре В.Н. Муравьева и к его учению об “овладении временем” само по себе является частичным, в какой-то мере “утилитарным” (в связи с темой нашей собственной работы).

Опыт комплексного подхода и целостного взгляда на учение Муравьева, в историко-культурном, научном и общественно-политическом контексте 1920-х гг., можно найти в работах Г.П. Аксенова, которые цитировались выше.

Дальнейшее развитие этой темы потребовало бы обратиться к научно-философскому наследию В.И. Вернадского – как к современным Муравьеву (1920-е гг. и ранее), так и к позднейшим (1930-е гг.) его трудам: “О жизненном (биологическом) времени”, “Проблема времени в современной науке”. (См. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988). Здесь наблюдается существенные “схождения идей” между великим натуралистом и забытым философом.

Философские взгляды Вернадского, в частности, его работы, посвященные проблеме времени, вызвали в начале 1930-х гг. яростные нападки со стороны “диаматов”, как их называл Вернадский. (См., например, Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. М.: Наука, 2000; Аксенов Г. Вернадский. М.: Соратник, 1994).

Доклад Вернадского “Проблема времени в современной науке”, прочитанный им на Общем собрании АН СССР в декабре 1931 г., был опубликован в “Известиях АН СССР” (1932) в сопровождении “критических замечаний” акад. А.М. Деборина, на что последовал ответ Вернадского, опубликованный в тех же “Известиях...”, в сопровождении деборинских же “критических замечаний на критические замечания акад. В.И. Вернадского” (1933).

Валериан Муравьев этих драматических событий уже не застал. (Октябрь 2000).

Ремарка 2: В.И. Вернадский и А.А. Ухтомский

Ухтомский в одном из своих писем 1932 г. настоятельно рекомендует своей ученице Ф.Г. Гинзбург прочесть доклад Вернадского о времени в “Известиях Академии наук”. “Это близко к тому, что Вы слышали от меня о “хронотопе” и во всяком случае поучительно”. [32] Ухтомский вспоминает о своем докладе середины 1920-х гг. на эти темы (среди слушателей которого был и Вернадский). Ухтомский усматривает “крупные промахи” во взглядах Вернадского, однако: “Я, во всяком случае, приветствую его выступление...”.

Интересно следующее замечание Ухтомского в этом письме:

“Но вот что удивительно: ни Вернадский, ни его критик Деборин, да и никто в Европе не догадывается вспомнить, что историческая концепция бытия, столь чуждая и древнегреческой науке, и европейской науке с Декарта и Ньютона до XIX века, задана давным давно библейским еврейством! Ведь идея эволюции и мира как процесса дана никем иным, как пророками Израиля!

И если кое-как простительно не знать об этом европейцу Вернадскому, то как объяснить это у Деборина? Говорят, что он “образованный еврей”, изучавший то, что подобает знать таковому? И так, что же это: замалчивание? отсутствие самостоятельной мысли? боязнь моды? или просто непонимание?” (Ухтомский А. Доминанта души. Из гуманитарного наследия. Рыбинск, 2000, с. 406).

(Февраль 2001).

= Из письма Р. Ленчовского А. Алексееву (сентябрь 2000)

[Ответ Романа Ленчовского на мое и Виктора Дудченко обращение – в полном объеме - тогда не состоялся, хоть моим другом и было заготовлено много рабочих материалов к этому. [33] Но Р. Ленчовским было сделано нечто более значимое: вопросы, поставленные в отношении Ухтомского, Муравьева и других из поколения наших дедов, опрокинуты... НА НАС САМИХ! Именно тогда были написаны Романом важные для нашего поколения и круга заметки «На что мы надеялись, или о нравственном смысле анализа превращенных форм», вошедшие в «Драматическую социологию...» 2003 г. [34]

Вот что писал мой «заслуженный собеседник» - в связи с поставленными мною и В. Д. историко-этическими вопросами. – А. А.]

<...> Думаю, что обостряет мое зрение, не в последнюю очередь, достаточно резкая - но "заслуженная"! - постановка вопросов о том, "как ОНИ, те, кто "ВСЕ ВИДЕЛ И ВСЕ ПОНИМАЛ" (тот же Ухтомский), - МОГЛИ?.."

А как - напрашивается само собой! - могли мы?

Я - с твоей и Виктора [В.П. Дудченко. - А. А.] "подачи" - как раз и хочу сформулировать главный для меня вопрос в том разговоре, к которому Ты меня пригласил.

Ведь мы сами были и СВИДЕТЕЛЯМИ, и прямыми УЧАСТНИКАМИ в такого рода истории и "историях", нравственный смысл которых мы, при наших профессиональных ЗНАНИЯХ (какими бы "урезанными" они ни были!) и в силу "интуиции нашей совести", квалифицировали таким образом, который ПОЗВОЛИЛ нам в них участвовать: и НЕСМОТРЯ НА что-то, чего мы НЕ принимали, и БЛАГОДАРЯ, все же, чему-то...

Чему же? Не НАШЕ ли собственное (мое, твое, нашего круга...) "китежанство", а иначе - ПРЕКРАСНОДУШИЕ и УТОПИЗМ, тому причиной? Насколько релевантным и адекватным был масштаб нашего мышления (помнишь, о "масштабе мысли" в споре Троцкий - Муравьев)?

Я и не сомневаюсь, что это "обращение на себя" - и нашими "великими китежанами", и нашим кругом чтения, и прежними нашими жизненными путями - опытом, включая писание, и даже непосредственным твоим последним текстом (о "суде поступков" и т. д.) инициировано.

А вот после обдумывания - с включением в нашу рациональную мысль также и "интуиции совести" (по Ухтомскому) - вопроса о нашей СОБСТВЕННОЙ причастности ко злу (хотя бы в виде ЛЕГИТИМАЦИИ ЗЛА) можно переходить к другим очень важным проблемам, поднятым Тобою.

<...> Твой Роман, 22.09.2000.

Ремарка: "...причастные ко злу..."

Здесь ограничусь цитированием только этого "предварительного" письма (первой "реакции"). Но из него уже ясен точно сформулированный моим другом мироотношенческий и смысложизненный предмет продолжающегося диалога.

Действительно, не обратившись "на себя", не понять и "великих"; а не всмотревшись в них, не понять и себя, нас... ". (Октябрь 2000).

7.4. ОВЛАДЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ. В.Н. МУРАВЬЕВ

[Ниже - свод извлечений из главного труда В. Муравьева «Овладение временем как основная задача организации труда» (1924), который ныне переиздан в составе книги, вышедшей в

серии «Философы России XX века»: Муравьев В. Овладение временем. М.: РОССПЭН, 1998.

В скобках указаны страницы по названному изданию].

...Время есть другое название для жизни...

...Сознательное существо есть существо, овладевающее временем...

В.Н. Муравьев

<...> Согласно нашей постановке вопроса, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДИТ В ОВЛАДЕНИЕ ИМ [здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев, выделено мною. А.А.].

Цель организации культуры в результате осознания проблемы времени есть преобразование мира в смысле победы людей над слепыми и косными его силами. (98; предисловие).

<...> Несомненно, что одною из главных среди разумных целей человека является овладение временем. <...> Человек творит явления и, вследствие этого он, в известной степени, ВЛАСТЕЛИН ИХ ВРЕМЕНИ. Мы должны изучить законы такой времяобразующей деятельности отдельных людей и в особенности человеческих групп и рассмотреть, какие реальные изменения такое действие вносит в мир. (107; глава 1).

<...> Власть наша над временем весьма реальна и постоянно нами применяется. Если вдуматься, мы поймем, что мы имеем пример такого овладения временем и возобновления его в каждом свободно и сознательно проведенном человеческом опыте. КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ОГРАНИЧЕННЫХ ОБЛАСТЯХ МЫ ОВЛАДЕВАЕМ ВРЕМЕНЕМ И ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ЕГО ОБРАЩЕНИЕ. (125; глава 2).

<...> Мы называем ОВЛАДЕНИЕМ ВРЕМЕНЕМ всякое вообще сознательно и целесообразно произведенное изменение в природе, поскольку оно создает или воссоздает реальность, согласно имеющемуся образцу. (126).

<...> Где же искать ключ к сознательному преодолению времени действием? Какие явления в мире можно считать времяобразующими?

Мы видели, что все содержание времени сводится к меняющимся отношениям вещей. Время есть показатель этой смены: оно есть как бы выразитель изменения и движения.

Но движение само по себе как всякое действие, множественно. Еще Аристотель определил действие как «отношение к другому».

Движение есть переход от одного к другому и тем самым непременно является результатом какой-то суммы или множества. Для доказательства этого достаточно перевести движение на

статический язык или повторить рассуждение Зенона. Стрела не двигается, пока она одна. Но если взять множество, составленное из самоумножений этой стрелы в пространстве, мы получим движение. Заметим, что на этом принципе построен кинематограф, в котором из множества неподвижных снимков, через их сложение, создается движение и изменение, а, следовательно, и время. (127-128).

<...> Раз время есть не что иное как отношение вещей – его изменения также зависят от состояния множества. Или – ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЕСТЬ ФУНКЦИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ [выделено В.Н. Муравьевым. - А. А.]. Весь вопрос сводится, следовательно к возможности, исходя из данных временных комбинаций элементов, произвести перемены в дальнейших их группировках.

Таким образом, МНОЖЕСТВЕННОСТЬ СОЗДАЕТ ДЕЙСТВИЕ, ДЕЙСТВИЕ ЖЕ СОЗДАЕТ ВРЕМЯ. (128).

<...> Каждое перемещение элементов и соответствующее ему изменение системы их есть вместе с тем изменение времени, возникающего в результате отношений этих элементов. Поэтому знание системы и способность ее видоизменить есть способность воздействовать на ее время. В самом времени мы имеем, таким образом, рычаг, надавливая на который, мы управляем течением времени.

Допустим, что мы в ограниченных случаях имеем власть над временем. Значит ли это, что власть эта может быть расширена? Во всяком случае, механизм такого расширения и перехода к власти над более широким кругом времени требует объяснения. (141; глава 3).

<...> Общая способность элементов быть носителями и творцами временного действия системы вытекает из того, что время есть изменение отношения вещей. Следовательно, ОТ ДВИЖЕНИЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ МЕНЯЕТСЯ ВРЕМЯ СИСТЕМЫ. (148; глава 4).

Вкратце

В главе 3 автор рассматривает общие закономерности овладения временем в «действующих» системах. Далее (глава 4) переходит к специальному рассмотрению овладения временем в «сознательных» системах.

В. Муравьев определяет сознательное существо как «систему элементов, обладающих общим сознанием» (149). Подчеркиваются «...два свойства сознательного существа в отличие от несознательного, причем в обоих проявляется природа сознания как особого синтеза единства и множественности» (149).

Имеется в виду способность сознательной системы к изменению отношения вещей в смысле обособления либо объединения их («роль сознательности в обособлении действия» и «собирательная роль сознания»).

<...> Объяснение механизма преодоления времени требует выяснения роли в этом процессе сознательности как свойства автономных элементов. Мы должны рассмотреть, что означает сознательное действие элемента в отличие от несознательного, а также каким образом, ПУТЕМ СОЗНАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, происходит в системе овладение временем. (148; глава 4).

<...> Создав себя как деятеля, путем собрания воедино действия своих элементов, система действует вне себя, т. е. стремится собрать окружающее, т. е. ВОБРАТЬ В СЕБЯ ДОСТУПНЫЕ ЕЙ ОБЪЕКТЫ И ПРЕТВОРИТЬ ТЕМ САМЫМ ЭТИ ОБЪЕКТЫ В СУБЪЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ [выделено В.Н. Муравьевым. - А. А.]. Деятель охватывает то, что стоит вне его и, превращая эти чуждые вещи в свой придаток, делает их частью самого себя. Разум служит орудием этого превращения, рисуя заранее проект такого синтеза и предугадывая его пути. (152).

[Ниже полностью воспроизведен параграф 4 главы 4 трактата В. Муравьева об овладении временем.]

<...> Но изменение отношений вещей в смысле обособления их или объединения есть всегда ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ. Утверждение себя и укрепление своей длительности как существования объединяющего центра и есть СОЗДАВАЕМОЕ СОЗНАНИЕМ ПРЕОДОЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ. На место порождаемых объективным процессом отношений вещей создаются новые, диктуемые разумом. Посредством разума мы постоянно воздействуем на время и на его видоизменение. Так называемые несознательные элементы или вещи принудительно участвуют во времени, увлекаются безудержно его слепым потоком. Сознательные же существа, хотя они в известной мере подвластны времени, но вместе с тем обладают СПОСОБНОСТЬЮ ЕГО ДЕЛАТЬ.

Это надо понимать отнюдь не в кантовском смысле, т.е. не так, что времени нет вне субъективного восприятия и что, следовательно, время есть форма сознания. Мы говорим, что время создается сознательными существами в том смысле, что только там, где есть обособленное индивидуализированное действие, можно говорить о длительности существования чего-либо. Где нет обособленного действия, нет индивида и длится только общий процесс. Но отдельное обособленное действие

существует только там, где есть только выделяющее его из всеобщего действия сознание. В этом случае имеется обособленный этим сознанием субъект действия и, соответственно, СОЗДАВАЕМОЕ ИМ ВРЕМЯ. В случае же отсутствия сознания нет вообще частного действия, а есть лишь единое, недифференцированное действие всего мира; нет отдельных временных существований отдельных существ, а есть равнодействующая всех сил мира, выражающаяся в СЛЕПОМ ТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ МИРОВОГО ЦЕЛОГО.

То же деление находим мы в каждой действующей системе.

Поскольку некоторые члены ее являются сознательными субъектами и создают потому свое время, часть времени им подвластно [подвластна? - А. А.] в виде зависящих от них последовательности явлений. Остальная же часть времени остается принудительной для членов системы, ибо внешнее им навязывается, или же представляет результат внешней для каждого механической равнодействующей несогласованной их работы. Соответственно мы имеем для каждого члена системы ВНУТРЕННЕЕ ИЛИ ПОДВЛАСТНОЕ ЕМУ И ВНЕШНЕЕ ИЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

Можно проследить различие их для человека как живого элемента.

Для меня есть время, которое увлекает меня неудержимо и является мне как равнодействующая всех сил мира, действующая на земле и в солнечной системе. В качестве такой равнодействующей время есть следствие независимых от меня сил и постольку оказывается для меня и других существ, находящихся в таких же условиях, ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Оно воспринимается мною и другими участниками этого взаимодействия как непреодолимая сила именно потому, что оно зависит не только от одной моей мощи, но от совокупности действующих в мире сил. В этом основание ОБЩНОСТИ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ СИСТЕМЫ, характерное его СВЕРХИНДИВИДУАЛЬНОЕ свойство.

Но рядом с этим есть ДРУГОЕ, ПОДВЛАСТНОЕ НАМ ВРЕМЯ. В сфере моего собственного действия я обладаю способностью выбора, Я МОГУ СОЗДАВАТЬ, СОГЛАСНО МОЕЙ ВОЛЕ, В ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ, ИЗВЕСТНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ. Такая ВЛАСТЬ ИЗМЕНЯТЬ ОТНОШЕНИЯ ВЕЩЕЙ ДАЕТ МНЕ ГОСПОДСТВО И НАД ВРЕМЕНЕМ, ибо, согласно нашему определению, оно есть не что иное, как порядок этих отношений.

Время, отсюда возникающее, уже не извне мне навязывается, но является МОИМ СОБСТВЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ, и,

соответственно, находится в моих руках. Власть над временем дает мне также способность ВОСКРЕШЕНИЯ, повторяя какую-нибудь бывшую последовательность событий, я воскрешаю и бывшие явления. Расширение сферы этого подвластного мне явления и есть завладения БОльшим кругом временности...

Ремарка: «...способность воскрешения...»

В своей «философии времени» В.Н. Муравьев во многом опирался на идеи русского философа Н.Ф. Федорова (создателя философии «общего дела», или учения о всеобщем воскрешении) и развивал эти идеи. (Июнь 2000).

...Различие двух времен можно лучше всего понять на следующем примере: поток внешнего, объективного, принудительного времени обозначается для меня движением стрелки часов на циферблате и отрывом каждый день листка на календаре. Эти условные движения обозначают движение Земли вокруг Солнца и суточное его [ее? - А.А.] движение, процессы, протекающие объективно, вне моей власти. Такой характер этих процессов, вечно, как мне кажется, движение в одну сторону, выражается в необратимости календарных сроков и связанных с ними часов каждого дня. Календарь и часы служат поэтому символами определенной последовательности событий, мне неподвластных.

Но если я представляю себе другого рода последовательность событий, а именно, ОТ МЕНЯ ЗАВИСЯЩИХ, например, ряд моих собственных движений, которые я могу совершать и затем снова повторять, ЭТА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ БУДЕТ МНЕ ПОДВЛАСТНА В СМЫСЛЕ ВОЗНИКАЮЩЕГО В НЕЙ ВРЕМЕНИ. Если изобразить ее на календаре в часах, которые были бы так построены, что выражали каждое мое движение, - движение этого календаря и часов, очевидно, было бы НЕ ПРОСТО ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ, но заключало бы в себе отходы назад, повторения, возобновления движений. Другими словами, они показывали бы СЛУЧАИ ОБРАЩЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ.

Также, ЕСЛИ Я ВЫПОЛНЯЮ РАБОТУ ВДВОЕ СКОРЕЕ, ЧЕМ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК, ЭТО МОЖНО ВЫРАЗИТЬ ТАК, ЧТО Я СОЗДАЛ ИНОЕ ВРЕМЯ, ЧЕМ ОН.

При этом надо помнить, что действие мое встречает сопротивление, что оно ограничено условиями опыта, а также свойствами материалов, над которыми я провожу опыт. Это как раз то, что имеется в виду, когда мы говорим, что способность создавать время проявляется реально всегда в ограниченной сфере.

Такая власть есть ВЛАСТЬ НАД НЕКОТОРЫМИ ГРУППАМИ ОТНОШЕНИЙ, ИЗОЛИРОВАННЫМИ ОТ ДРУГИХ. Я могу написать слово или не написать, - в этих рамках я властен, но властен я только относительно, поскольку я изолирую это движение от мирового детерминизма, его обуславливающего. (154-155; конец параграфа 4 главы 4).

Вкратце

Мы постарались здесь показать (путем композиции извлечений) общую логику рассмотрения В.Н. Муравьевым проблемы овладения временем, как более или менее сознательного изменения отношения вещей, а стало быть - преобразования мира.

В главе 5 автор переходит к анализу этой проблемы применительно уже не к отдельным (отдельно взятым) человеческим индивидам, а к их объединениям, в частности - «социально-историческим группам». «...Только через эти группы мы можем воздействовать на окружающее: преобразовывать мир и преодолевать его слепое время...» (168).

Обсуждается, «каким образом действие отдельной личности раскрывается как коллективный акт и каким образом эта личность приобретает то расширенное сознание, которое необходимо для перехода к большим системам в деле завоевания все БОЛЬШИХ и БОЛЬШИХ кругов времени» (169).

«...Обращение ряда индивидуальных актов к обуславливающему их общему основополагающему акту и осознанию ими такого общего их корня приводит к согласованию их и объединению в едином действии, - пишет В.Н.Муравьев. - Действия, творившие культуру индивидуально и разрозненно, каждое в своей замкнутой сфере и ради собственной цели, вливаются в русло общего дела, совершаемого объединенными деятелями...» (188; глава 6).

Последние две главы (6 и 7) посвящены проблемам организации культуры: «символической» (философия, наука, искусство) и «реальной» (генетика, возобновление личности, политика и мораль, производство и хозяйствование), в свете изложенной концепции овладения временем.

Заключение называется: «Борьба за жизнь против слепых сил природы». Это - апология ЖИЗНИ (противостоящей «слепым силам»), РАЗУМА («с его особым свойством побеждать время») и ДЕЛАНИЯ времени (ради утверждения «последнего высшего блага»).

«...Надо перестать надеяться на готовую вечность и начать ДЕЛАТЬ ВРЕМЯ. По всем признакам пора такой человеческой победы приближается. Слепое неразумное время корчится и

трепещет в судорогах своих предсмертных убийств. А за ним грядет новое, исполненное совершенства разумное время - произведение будущей общемировой культуры» (230) - так завершается этот трактат, писанный в 1924 году.

<...> Для нас важно отметить единство мирового процесса времяобразования везде, где есть признаки жизни и постоянное, по мере роста сознания, преодоление случайного и слепого времени и замена его временем намеренным, разумным. Максимум такого преодоления должно дать и максимум жизни. (161).

(Муравьев В. Овладение временем. М.: РОССПЭН, 1998)

Ремарка: человек и время - учение Муравьева и эксперимент Любищева

Разумеется, нашей композицией далеко не исчерпывается содержание цитированного труда. Здесь отметим лишь, что своим трактатом об овладении временем Муравьев во многом предвосхитил позднейшие анализы проблемы «человек и время».

Правда, обсуждавшегося выше [35] жизненного эксперимента Любищева (о котором автор трактата, разумеется, не знал) Муравьев не «предвосхитил»: начало Любищевской системы «времяпользования» восходит еще к 1910-м годам.

Таким образом, теория (учение об «овладении временем») и опыт (ярчайший жизненный эксперимент такого рода) состоялись независимо друг от друга (хотя и примерно в одно и то же время и на одной историко-культурной «почве»).

Опыт сплошь и рядом опережает теорию. Теория же дает ключ к осмыслению опыта и стимул к дальнейшему его (опыта) развитию и воспроизведению («воскрешению»).

Но и не следует усматривать в системе жизнеорганизации Любищева простое подтверждение теоретическим построениям Муравьева. Последний, в середине 1920-х ставил вопрос о преодолении времени, как некоей «слепой» природной силы, о господстве над этой силой, о созидании или сотворении времени («времяобразующая деятельность» и т.п.). Любищев на эту тему, насколько мне известно, теоретически не высказывался - он «просто» подчинял свою жизнь велению своего разума и использовал отпущенное ему жизненное время максимально продуктивно.

В независимой от Муравьева постановке этого вопроса Граниным 50 лет спустя («Эта странная жизнь»), речь идет скорее об ответственности перед Временем, как некоей трансцендентной сущности (высшей силе?), о бережном, «благоговейном» к нему отношении (ср. с «благоговением перед жизнью» А. Швейцера).

Овладение временем здесь осмысляется, пожалуй, как властвование человека над самим собой, или «самообладание» в потоке жизни - времени.

Другое дело, что такое жизнестроительство (жизнетворчество?) фактически оказывается также и овладением временем.

«Время есть другое название для жизни...» (В. Муравьев).

Наконец, в наших собственных подходах к этой проблеме (начало 1980-х) [36] можно усмотреть переключки как с той, так и с другой трактовкой. (Июнь 2000).

7.5. НАУКА – ЖИЗНЬ – ЛИЦО.

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ А.А. УХТОМСКОГО

[Ниже - еще одна композиция извлечений из писем и записных книжек А.А. Ухтомского. Отобранные здесь тексты посвящены в основном проблемам теории познания.

Фрагменты этой композиции озаглавлены мною. – А. А.].

= Из писем к Е.И. Бронштейн-Шур (1920-30-е гг.)

[В скобках указаны страницы по изданию: Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке. Сб. 10. М.: Советский писатель, 1973. - А. А.].

...Написав и отправив Вам письмо, я потом перебрал опять свои мысли и нашел, что написались они в письме отрывочно, эскизно, очерками, но все-таки довольно счастливо, ибо сам для себя я их никогда не собрал бы (выделено мною. - А.)...

...Отдыхаю за спешным чтением необходимого да вот за письмами, вроде настоящего, где собираю свои основные, руководящие мысли и итоги для друга...

А.А. Ухтомский. Из писем к Е.И.Бронштейн-Шур. 1928

Приключения «рассуждающего разума»

6.04.1927

<...> Новая натуралистическая наука, как она стала складываться в эпоху Леонардо да Винчи, Галилея и Коперника, начинала с того, что решила выйти из застывших в самодовольстве школьных теорий средневековья с тем, чтобы прислушаться к жизни и бытию независимо от интересов человека.

Дело шло или об иллюзии - создать «бездоминантную» науку, или об установке и культивировании новой трудной доминанты с решительной установкой центра внимания и тяготения на том, чем живет сама возлюбленная реальность, независимо от человеческих мыслей о ней.

И внял я неба содроганье,
И горный ангелов полет,
И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье...

Открылись уши, чтобы слышать, и только от того, что решились вынести из себя центр главенствующего интереса и перестать вращать мир вокруг себя. За эту решимость натуралист был вознагражден тем, что ИЗУЧАЯ САМОДОВЛЕЮЩИЕ ФАКТЫ МИРА, ОН НЕБЫВАЛО ОБОГАТИЛ СВОЮ МЫСЛЬ!

Теперь предстоит сделать и еще новый сдвиг. Нам надо из самоудовлетворенных в своей логике теорий о человеке выйти к самому человеку во всей его живой конкретности и реальности, поставить доминанту на живое ЛИЦО, В КАЖДОМ ОТДЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ ДАННОЕ НАМ В ЖИЗНИ ТОЛЬКО РАЗ, И НИКОГДА НЕ ПОВТОРИМОЕ, НИКЕМ НЕ ЗАМЕНИМОЕ. <...>

Иногда мне кажется, что сама ученая профессия порядочно искажает людей! В то время как натуралистическая наука сама по себе исполнена этим настроением широко открытых дверей к принятию возлюбленной реальности, как она есть, «профессионалы науки» обыкновенно люди гордые, самолюбивые, завистливые, претенциозные, - стало быть, по существу маленькие и индивидуалистически настроенные, - так легко впадают в солипсизм бедного Господина Голядкина, носящегося со своим Двойником.

Я УЖАСНО БОЮСЬ ДОКТРИН И ТЕОРИЙ И ТАК ХОТЕЛ БЫ ОБЕРЕЧЬ МОИХ ЛЮБИМЫХ ДРУЗЕЙ ОТ УВЛЕЧЕНИЯ ИМИ, ЧТОБЫ ПРЕКРАСНЫЕ ДУШИ НЕ ЗАМЫКАЛИ СЛУХА И СЕРДЦА К КОНКРЕТНОЙ ЖИЗНИ, И КОНКРЕТНЫМ ЛЮДЯМ, КАК ОНИ ЕСТЬ!

...Да и каждый из нас в отдельности может наблюдать на себе самом, что «рассуждающий разум» долго еще плетет свои силлогизмы и сети, не подмечая того, что в глубине нашего существа уже зародилась и назрела неожиданная новая сила, которая совсем по-новому предрешает события ближайшего будущего, и только ждет случайного толчка, чтобы всплыть и властно заявить о себе; «рассуждающий разум», застигнутый врасплох, сначала ужасно растеряется от неожиданного заявления властной доминанты, а потом постарается убедить себя, что в сущности он все это по-своему понимает и может предусмотреть! Такова уж его самомнительная профессия! Профессия замкнутого в себе теоретизирования! В действительности же слишком похоже на то, что эта властная доминантная жизнь имеет свой смысл и исторические резоны, так что интуиция сердца, предчувствие и т. п. могут замечать и предвидеть гораздо ранее и дальше, чем «рассуждение»! Так совесть предвидит и начинает предупреждать гораздо ранее, чем так называемое «здоровое рассуждение». Интуиция совести и «здоровое рассуждение» находятся между

собой в таких же отношениях, как художник, пророк и поэт, с одной стороны, и спокойный, рассудительный мещанин, с другой!

К счастью для науки, она переполнена интуициями, как ей не хочется утверждать о себе, что она привилегированная сфера «исключительно рассуждающего разума». Вот ведь, даже в алгебре обнаружены теперь вкравшиеся туда интуиции, не говоря уж о геометрии и о прочей натуралистической науке. И это все к счастью, ибо вначале замкнутый на себя «рассуждающий разум» давно бы задохся, а наука перестала бы жить. Поле науки оплодотворяется интуициями, властно вторгающимися в сети «чистой доктрины», и они оказываются мудрее и прозорливее «чистой доктрины», ибо они складываются самую реальную жизнь, А ЖИЗНЬ И ИСТОРИЯ МУДРЕЕ НАШИХ НАИЛУЧШИХ РАССУЖДЕНИЙ О НИХ. <...> (387-388).

Дилемма общего и индивидуального в науке
30.04.1927

<...> Пока не сделано решающего шага, чтобы перешагнуть через границы к другим людям, как самодовлеющим и ничем не заменимым ЛИЦАМ, которые появляются В МИРОВОЙ ИСТОРИИ ОДНАЖДЫ, ЧТОБЫ НИКОГДА, НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯТЬСЯ, не сделано еще ничего!

Это исключительно трудно, тут труднейшая из задач человечества. Но все равно, это необходимо. И тем лучше, что трудно, - значит, в особенности достойно человека, бесконечно прекрасного и удивительного существа!..

Когда-то на досуге, в 1919 или 1920 году, это ясно сформулировалось для меня при чтении Огюста Конта: он помог мне тем, что доводил и обострял мысли и понятия до последней четкости. Тогда в Университете не было почти никакой работы, я подолгу мог думать и читать, перемежая чтение и писание варкой пищи и мытьем посуды, во время которых продолжал думать. По плите ползли жалкие и истощенные тараканы и по-своему подкрепляли текущие размышления... Так вот, Огюст Конт с совершенной четкостью высказывает и защищает следующий тезис: ИСТИННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ ДЛЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ ОБЛАДАЮТ ТОЛЬКО РОД, ИЛИ ВИД, НО НЕ ИНДИВИДУУМ. В самом деле, кому интересна всерьез вот эта индивидуальная бабочка, эта индивидуальная кошка, этот индивидуальный, такой жалкий и истощенный, сейчас ползущий по плите таракан? Интересен и важен «таракан» как вид, «кошка» и «бабочка» как животные роды и виды! Мы берем индивидуального таракана, индивидуальную кошку или бабочку для того, чтобы рассекая их

тело, раздражая их нервы, постичь *modus vivendi* всего существующего вида, рода и класса бытия.

Бытием в собственном смысле обладает для нас вид, род и класс, но не ЭТОТ, никому сам по себе не интересный таракан, кот или кокон!

...Вот отсюда всего один шаг, и мы приходим с логической последовательностью к признанию: бытием в истинном смысле слова обладает не этот человек, который вот сейчас сидит на концерте, или умирает в больнице, или едет из лесу с дровами, или влюблен, или трудится над научной проблемой, или торопится со службы домой, или задумывает дипломатический шаг, или обманывает своего приятеля, - истинным бытием обладает лишь ЧЕЛОВЕК ВООБЩЕ, *homo sapiens*, или, в лучшем случае, КЛАССОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, *homo aeconomicus*! И отсюда также понятно и правомерно, что мы берем вот этого человека, который сейчас перед нами, для того, чтобы на нем изучать единственно заслуживающее интереса: «человека вообще», или «классового, экономического человека» или «национального человека», т. е. то, что сколько-нибудь заслуживает на себе наклейки научного ярлыка! И, вместе с тем, с тем же хладнокровием и чувством своего права, с которыми мы приступаем к экспериментам на бабочке и кошке, мы будем теперь третировать ЭТОГО человека, который сейчас перед нами (например, Анну Николаевну Ухтомскую), чтобы постигнуть и, по нашему убеждению, улучшить жизнь «человека вообще», или «классового человека», или «национального человека».

...Тут повторение и отрывка старого схоластического спора средних веков, между так называемыми «реалистами» и «номиналистами») две главенствующие школы логиков в конце средневековья). Спор был о том, принимать ли общие категории и понятия за РЕАЛЬНОСТИ или только за ИМЕНА. Для одних общие понятия, вроде «причина», «цель», «число», «время», «*felix leo*», «*homo sapiens*» - были подлинными реальностями, тогда как для других это были не более как слова (имена - «*nomina*»), а подлинная реальность принадлежала конкретным причинам смерти конкретного человека N, или конкретной цели поступка NN, или конкретному дню 16 марта 1593 года, или вот ЭТОМУ льву, который сейчас спрячется за кактусами в совершенно определенном пункте Африки, или вот ЭТОМУ человеку, что сейчас ложится спать, снимая башмак, и думает, что ему завтра делать. Для школы «реалистов» и день 16 марта 1593 года, и конкретный лев, и конкретное человеческое лицо - все ЭФЕМЕРНОСТИ, в сущности почти не существующие по

сравнению незыблемыми понятиями «причина», «время», «лев», «человек вообще». Для школы номиналистов действительно существуют только конкретные, текущие вещи, события и люди, а отвлеченные понятия - одни слова и эфемериды!

Говорить нечего, что реалисты должны были восторжествовать в средние века: их взгляды слишком соответствовали духу, царившему в холодных каменных стенах католических ученых аббатств. Клод из «Собора Парижской богородицы» именно в реализме черпал оправдание тому, чтобы пожертвовать эфемеридой - цыганской девушкой - ради торжества своего мировоззрения. Великий инквизитор своими иссохшими старческими руками давал благословение на кровавые казни над живыми, дышащими жизнерадостными людьми тоже во имя «реализма».

Но вот и интимный друг Сен-Симона, тонкий мыслитель, основатель «позитивной философии», Огюст Конт даст «научно обоснованное» благословение на то, чтобы считать конкретное, живое существо (все равно - человеческое, или львиное, или бабочкино) за эфемерности, которым всегда можно пожертвовать ради «le Grand Etre», за которым мыслится ЧЕЛОВЕЧЕСТВО! Да ведь совершенно ясно, что это тот же Клод, тот же Инквизитор, тот же распинатель живого конкретного праведника, во имя и во славу своей излюбленной теории, которая его ослепила и оглушила, так что он не может уже узнать Сократа, Спинозу, исключительно ценное человеческое лицо, когда оно реально придет!

Совершенно очевидно, что если человек не будет открыт к КАЖДОМУ встречному человеческому лицу с готовностью УВИДЕТЬ И ОЦЕНИТЬ ЕГО ЛИЧНОЕ ПРЕКРАСНОЕ, С ЧЕМ ОН ПРИШЕЛ В МИР, ЧТОБЫ ПОБЫТЬ В МИРЕ И ВНЕСТИ В МИР НЕЧТО, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЕМУ ПРИСУЩЕЕ, - такой человек не сможет УЗНАТЬ И СОКРАТА, И СПИНОЗУ, КОГДА ОНИ РЕАЛЬНО К НЕМУ ПРИБЛИЗИТСЯ. Такой человек-«реалист», приписывающий реальность и значимость только своим мыслям, будет наказан тем, что пропустит мимо себя, как «эфемерность и Сократа, и Спинозу, и самое прекрасное, что может вместить мир!

...Своя теория, свое понимание, своя абстракция ему дороже, чем встречные люди в их конкретной реальности. Циркуль все по-прежнему продолжает опираться на СВОЕ персональное понимание, а мир и люди продолжают представляться вращающимися около МОЕГО понимания!

На самом деле и «номиналисты», признававшие реальным только конкретное, и «реалисты», признававшие и признающие реальным и значимым только общее и родовое, - были

односторонни и неправы в своих спорах. Им не выбраться было из затеянного спора, потому что они, в своих крайностях, ПРЕДПОЛАГАЛИ ДРУГ ДРУГА. Ведь «общее» предполагает «конкретное» как свою частность, а «конкретное» предполагает тотчас и «общее». Типическая картина: два смертельных врага, антипода, не могущие, однако, жить друг без друга! Один утверждает с яростью свое только потому, что не в силах освободиться от тайной органической связи с антиподом.

...Я понял то, что понятно было уже древним: В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ И БЫТИЕМ ОБЛАДАЕТ И ОБЩЕЕ, НАСКОЛЬКО НАМ УДАЕТСЯ ЕГО ОТКРЫТЬ, И ЧАСТНО-ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, НАСКОЛЬКО ОНО ДАЕТСЯ НАМ В НАГЛЯДНОСТИ ЕЖЕДНЕВНО И ЕЖЕМИНУТНО. Реально и то, что ежедневно солнце освещает нам новый день, так же, как вчера и сто лет тому назад: реально и то, что 24 апреля 1927 г. было, чтобы никогда не повториться в мировой истории!.. Живою, неизгладимой реальностью обладает и общая категория, и род, и вид, и человеческое общество, но также и индивидуальное, частное, мгновенное. Но для того, чтобы признать это со всей отчетливостью, необходимо, чтобы индивидуальное перестало быть только соотносительным и уравнивающим понятием в отношении общего и родового, — необходимо заменить отвлеченное понятие «индивидуальности», как чего-то расплывчато-теряющегося в общем, живым понятием ЛИЦА.. <...> (394-397).

Категория «лица»

30.04.1927

<...> Тем самым вносится в наше мышление совершенно новая категория — «категория лица», которая обыкновенно игнорируется в системах логики в теориях познания и в философских системах, - потому что громадное большинство этих систем написано индивидуалистически мыслящими людьми с самоупором на себя! А Вы понимаете, что мысль и жизнь с самоупором на лицо другого это уже не философия, не самоуспокоенная кабинетная система, а сама волнующаяся, живая жизнь, «радующаяся радостями другого и болеющая болезнями другого»!

НИ ОБЩЕЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНО ВЫШЕ ЛИЦА, ИБО ТОЛЬКО ИЗ ЛИЦ И РАДИ ЛИЦ СУЩЕСТВУЕТ; НИ ЛИЦО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНО ОБЩЕМУ И СОЦИАЛЬНОМУ, ИБО ЛИЦОМ ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ ПОИСТИНЕ ПОСТОЛКУ, ПОСКОЛЬКУ ОТДАЕТСЯ ДРУГИМ ЛИЦАМ И ИХ ОБЩЕСТВУ.

«Общее» и «частно-индивидуальное» старинной логики превращается в живые и переполненные конкретным содержанием «общество» и «лицо». И если там, у старых логиков, возможен бесконечный спор, кому приписать истинную реальность (общему или индивидуальному), то здесь ясно, что и вопроса такого быть не может: одинаково бьет жизнью и содержательностью и общество, и лицо. <...> (397-398).

24.05.1927

<...> Категория лица должна быть принята в качестве вполне самостоятельного и исключительного фактора опыта и жизни наравне с такими категориями: как "причина", "бытие", "единство", "множество", "цель" и т.д. И мое убеждение в том, что человеческая деятельность, культура, исторический подвиг являются поистине "звнящей медью и бряцающим кимвалом", пока человек не внес в свой обиход категорию лица, пока доминанта его не поставлена решительно на лицо вне его <...>

Рационализм должен уступить свое хорошо насиженное место диалектике

15.08.1928

<...> Наука, как ее стали потом понимать все профессионалы (что может быть скучнее профессионалов?), это уже не только учет возможных противоречий, как было в платоновских «Диалогах», но попытка выявить, что, - после всех возражений, - может быть признано за однозначно-определенную истину.

Однозначно-определенная истина - это то, ЧТО МЫСЛИТСЯ БЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ. Сравнительно легко было признать без противоречий, что существуют собаки, кошки, львы, сосны, пальмы и проч. Возникла аристотелевская «естественная наука», соответствующая нашим «систематикам» в ботанике и зоологии. Но уже бесконечно труднее было стовориться о силах и законах, владеющих событиями. Возникли попытки построить «геометрию без противоречий», «физику без противоречий», наконец, «метафизику без противоречий». Схоласты стали рисовать себе науку как совершенно безличную, однозначную, категорическую в своих утверждениях, чудесную и исключительную систему мыслей, которая настолько СВЕРХЧЕЛОВЕЧНА, что уже и не нуждается более в собеседнике и не заинтересована в том, слушает ли ее кто-нибудь. ЭТО ПРИШЕЛ ПРЕСЛОВУТЫЙ РАЦИОНАЛИЗМ! Рационализм обожествил науку, сделал из нее фантом сверхчеловеческого знания.

Профессиональная толпа профессоров, доцентов, академиков, адъюнктов и т. п. «жрецов науки» и сейчас живут этим фантомом и тем более, чем более они «учены» и потеряли способность самостоятельно мыслить! Засушенные старые понятия они предпочитают живой, подвижной мысли именно потому, что там, где вместо живой и подвижной мысли взяты раз навсегда засушенные препараты мыслей, их легче расположить раз навсегда в определенные ящички. Вместо живого поля - гербарий! Оно спокойней и привычней для рационалиста и рационализма! «De l'homme a la Science» [«от человека к науке» - фр. - А. А.] – характерно озаглавил свою книгу по теории естествознания один из правоверных представителей современного рационализма Ле Дантек. «La Science» это, видите ли, уже не «l'homme» - это что-то неприкосновенное для человека! Для этих самодовольных людей, которыми переполнены наши кафедры, было чрезвычайным скандалом, когда оказывалось, что систем геометрии без противоречия может быть множество, кроме общепринятой эвклидовой; и систем физики может быть множество, кроме ньютоновской. А это значило, что «однажды навсегда построенная система истин» есть не более, как претенциозное суеверие; а рационализм снова должен уступить свое, так хорошо насиженное место ДИАЛЕКТИКЕ. Великое приобретение нового мышления в том понимании, что «СИСТЕМ ЗНАНИЯ» может быть МНОГОЕ МНОЖЕСТВО, развиваются они, как и все на земле, исторически и в истории имеют свое условное оправдание, но ЛОГИЧЕСКИ РАВНОПРАВНЫ. ПО-ПРЕЖНЕМУ. ЗА НИМИ СТОИТ ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК, СО СВОИМИ РЕАЛЬНЫМИ ГОРЯМИ И ЖАЖДОЙ СОБЕСЕДНИКА. <...> (417-418).

О времени как факторе событий

10.07.1935

<...> На этих днях мне минуло 60 лет. Вот уже на один год пережил я своего отца.

По этому поводу скажу нечто о времени и его значении как фактора событий, как маленьких, так и больших, в организме и в жизни человека в целом.

Весь секрет торможения в строго физиологическом значении этого понятия в том, что за ним кроется МГНОВЕННЫЙ механизм (не пребывающий, а лишь повторяющийся в последующие новые и новые мгновения), складывающийся в тканях вновь и вновь в МОМЕНТЫ ВСТРЕЧИ ИМПУЛЬСОВ с тем, чтобы тотчас прекратиться до новой точно такой же встречной комбинации. А люди путают себя тем, что стараются

понять его из постоянного механизма стационарной невозможности возбуждения, например, вследствие чрезмерных сопротивлений, растраты потенциалов, декремента или даже поломки прибора и т. п. Так мало привыкла наша мысль оперировать со временем, как с фактором вполне самостоятельного значения в мире реальных событий.

Исполняя сторона господствующей путаницы в трактовке торможения, на Западе И У НАС, кроется именно в этой вкоренившейся непривычке считаться с фактором времени сколько-нибудь более конкретно и значительно, чем с просто порядковой координатой t .

Много проблем философского содержания возникло оттого только, что люди пытались характеризовать вещи и самих себя в постоянных чертах, независимо от времени.

Вот, например, проблема: может ли человек все знать и понимать, или для этого есть некоторые обязательные границы? Как известно, тут есть, с одной стороны, «агностики», столь уверенные в своей правоте, что готовы драться со своими противниками. С другой стороны, есть уверенные в принципиальной безграничности своего понимания и знаний «ротные фельдшера» и «волостные писари», которые служили предметом довольно скорбных размышлений для умных людей от Сократа до Салтыкова-Щедрина.

Фактически наблюдаем и знаем мы из вседневного опыта вот что: «Лишь под старость начинает быть понятным для нас наше детское». Лишь после того, как долго поживешь на свете, начинаешь несколько понимать свои собственные мотивы и поступки прошлого. Так вот что тут особенно замечательно: принципиально все можем знать, и понимание может расти безгранично; но как раз в тот момент, когда нужно вполне срочно внести в жизнь свое очередное разумное действие, тут-то и не оказывается достаточного проникновения и восприимчивости для того, чтобы адекватно вникнуть в ответственное значение момента и в последствия того, что сейчас совершается. Начинаем понимать более или менее серьезно лишь *post factum* то, что прошло, и в то самое время, когда самоудовлетворяемся в мысли, что прошлое-то, наконец, поняли, незаметно для себя переживаем новое настоящее, которое и сейчас, как недавно, переживается нами в своей наибольшей части бессознательно с тем, чтобы по своему смыслу открыться лишь в будущем! Постоянно учась понимать заново, человек постоянно вновь и вновь входит в новое настоящее мгновение, роковые последствия которого откроются опять-таки лишь в более или менее отдаленном будущем. Вот это

замечательное и постоянное ЗАПОЗДАНИЕ ПОНИМАНИЯ относительно момента, когда оно НУЖНО В ОСОБЕННОСТИ, и есть один из типичных ежедневных факторов нашего аппарата знания. Время, как вполне самостоятельный фактор, сказывается здесь в особенности. А вместе с тем открывается вся острота того, как и в какую сторону должно воспитывать свое внимание и чуткость наряду со знаниями отвлеченно-научного характера. Только постоянным самовоспитанием и упражнением внимания и внимательности к людям, и к среде вообще, можно достигнуть той **ВЫСОКОЙ ПОДВИЖНОСТИ И ЧУТКОСТИ РЕЦЕПЦИИ**, которая необходима для бдительного понимания каждого текущего момента, каждого вновь встречаемого человека и момента жизни. Очень мало, вообще говоря, людей, достигших такого понимания и вытекающих из такого живого понимания момента, - так же и того, что из него и затем должно быть впереди. **ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ КОНКРЕТНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЕСТЬ ВСЕГДА И ПРЕДВИДЕНИЕ ТОГО, ЧТО ИЗ ЭТОЙ КОНКРЕТНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ В БУДУЩЕМ.** [Выделено мною. - А. А.]. Вот такое конкретное предвидение столь же редкий дар и достижение, как и подлинное и проникающее понимание текущего момента. Нам не так трудно даются отвлеченные предвидения вроде того, что за апрелем должен последовать май, за вечером - солнечный закат и ночь, при определенных сочетаниях луны и земли относительно солнца - солнечное затемнение и т. д. Но ведь это совсем не то, что требуется для конкретного понимания, что нужно сейчас сделать в воспитании Вашего мальчика для того, чтобы было хорошо для него и для всех в будущем. Совсем точное чувствование текущего момента, действительное использование того, что он мог бы Вам дать, и помощь осуществить в нем то, что действительно хорошо и ценно для будущего, - это очень редкий дар, или очень трудное достижение. <...> (433-435)

(Ухтомский А.А. Письма / Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке. Сб. 10. М.: Советский писатель, 1973) [37]

= Из записных книжек (1920-30-е гг.)

Субъект и объект

<...> Безобразная абстракция - это та, которая безудержно замещает собою всю действительность, обедняя последнюю до пределов. Такою безобразною абстракцией является допущение, будто вся действительность состоит в конце концов из двух лишь предметов: СУБЪЕКТА и ОБЪЕКТА! Вот эту безобразную абстракцию путает себя вся европейская «философия». Если исходить из нее, то возможны лишь две установки: или объект перестраивается по субъекту, или субъект перестраивается по

объекту. Такая установка является наиболее **ВЫРАЖЕННЫМ СУБЪЕКТИВИЗМОМ**, какой только мыслим в мире!

(Ухтомский А. Доминанта души. Из гуманитарного наследия. Рыбинск, 2000, с. 191-192; запись относится к началу 1920-х гг.)

Собеседование Теории с Реальностью

<...> Обаяние логически законченных теорий без внутреннего противоречия в сущности давно миновало. <...>

Та реальная сила новой истории, которую мы называем наукой в современном нашем смысле, чужда рационализму и рационалистическим вожделениям с самых первых своих истоков в эпоху Возрождения, чужда так же, как Леонардо да Винчи чужд схоластам средневековой Сорбонны. По сравнению с древним и средневековым рационалистическим «ведением» <...> сдвинулся сам искомый идеал познания. Акцент ставится не на тонко разработанное «учение без противоречий» <...>, а на самоотверженное распознавание конкретной, повседневной реальности, как она есть. Не так, как мне хочется, чтобы она была, а так, как она есть сама для себя. Отныне не реальность вращается и тяготеет около моего законодательствующего «рацио», но мой «рацио», если он хочет быть в самом деле разумным, вращается и тяготеет около реальности и ее законов, каковы они есть, независимо от моих пожеланий. На место того древнего спорщика, с которым препирался Платон в своих «Диалогах», становится сама реальность, поскольку она непрестанно ограничивает вожделения моей теории. Теория постоянно силится распозлзиться в универсальное учение, а факты реальности всегда вновь и вновь встают передо ней, как новые границы и новые поучения. Теория утверждает: «Вот как оно по-моему должно быть». А реальность возражает: «А вот, как оно есть!»

И вот что замечательно. Для новой науки этот беспрестанный и нигде не избегаемый спорщик уже не слепой и ненавистный, <...> всего лишь портящий ту форму, которую тщетно пытается накинуть на него художественный замысел писателя и мыслителя, - беззаконная и темная материя, непрестанно вырывающаяся из тех прекрасных законов, которым ищет подчинить ее творческий «рацио»! Нет, для Леонардо да Винчи и Галилея это любимая реальность, к которой их «рацио» относится как влюбленный жених, считая за счастье различить и понять ее собственные самобытные черты, и у нее же почерпнуть те законы, которыми она живет. Ибо новый «рацио» знает, что ее законы - это законы и для него, и без ее законов он сам для себя со всеми своими вожделениями расплывается в неопределенность и

пустоту! И отныне «рацио» уже не навязывает реальности свою логику, но хочет постигнуть логику реальности, т. е. у реальности научиться ее логике!

Отсюда совсем другой критерий истины, другой и критерий для ценности самой науки: для нас это уже не самодовлеющее академическое учение, самоудовлетворенное в своем Олимпе, а СПОСОБНОСТЬ ПРЕДВИДЕТЬ то, что даст нам реальность, правда то, что совпадает с действительностью. Истинна для нас лишь та научная теория, которая в своих предвидениях и ожиданиях соответствует действительности. Если этого совпадения с действительностью нет, мы отбрасываем свою теорию, как бы красива и заманчива она нам ни казалась.

Новый ученый всегда отступает, если действительность возражает против его предвидений конкретными фактами. Он говорит себе смиренно: «Значит, я ошибался, и теория, как ни разумна, была не верна!». И он учится у фактов строить новую теорию, более близкую к фактам. Из этого прекрасного Собеседования, с одной стороны неизбежно теоретизирующего ученого и, с другой, - всегда обновляющейся реальности родится в своем изобилии новая наука, полная неожиданностей и все новой содержательности...<...>

(Ухтомский А. Заслуженный собеседник. Этика. Религия. Наука. Рыбинск, 1997, с. 194-196; запись относится к 1930-м гг.).

Рационализм без «Лица»

<...> Систематический рационализм неизбежно превращает среду в которой он оперирует, в МЕРТВУЮ МАТЕРИЮ (чтобы оперировать в ней принципиально без ограничений), а себя самого в автократическое самоудовлетворение солипсизма (чтобы принципиально ничем внешним себя не ограничивать). Рационализм принципиально убивает среду, чтобы расчистить себе дорогу. А сам превращается в чистый солипсизм, ибо его «дальний», с которым он беседует на бесконечном расстоянии, растаял как облачко, а его случайный «ближний», заявляющий о себе в конце концов только досадным непониманием, тем самым превращается в элемент среды, т. е. принципиально в кусок все той же мертвой материи, с которой надо оперировать sans gkne.

Само собою, в мышлении рационалиста совершенно нет категории «лица», ибо у него, собственно, нет и собеседника. Если по старой памяти он употребляет это слово «лицо», то лишь как «нерациональное», «житейское» понятие, в виде уступки нерациональной повседневности. Учитывание человеческого лица в практике жизни ничем для его понимания не отличается от

«лицемерия». В сущности, он всегда его осуждает и должен осуждать, будучи последовательным. В чем дело? Конец «лица», когда все — сплошная материя, подлежащая обработке? Затем рационалист вполне естественно всегда более или менее доволен своим умом и никогда не доволен своим положением. Как не быть довольным своим умом, если зацепиться более не за что? И естественно думать, что все было бы прекрасно, если бы не слепое сопротивление среды с ее инертностью и с теми нерациональными существами, которых приходится принимать, по аналогии, тоже «за людей». Этим последним приходится принимать так или иначе в расчет, потому что это, пожалуй, самые досадные, наиболее увертливые в своем сопротивлении рациональной обработке элементы среды! Великий и достойный труд, который сознает для себя рационализм, — всю эту среду и копошащихся в ней людей завоевать, подчинить себе, рационализировать! Великий труд, великое задание! Хватит ли для этого истории?

Подавленный множеством неожиданностей, которые преподносит среда и которые все вновь и вновь надо рационализировать по аналогии «тоже за людей», рационалист страдает в своем солипсизме. Но он непреклонен как рок, как логика, и его поддерживает благородная гордость самосознания, что страдает он от неуклонности на своем ясном пути.

«Ни кривизна улиц, ни великое множество закоулков, ни разбросанность обывательских хижин — ничто не остановило его. Ему было ясно одно: что перед глазами его дремучий лес и что следует с этим лесом распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь неправильность, Угрюм-Бурчеев на минуту вперял в нее недоумевающий взор, но тотчас же выходил из оцепенения и молча делал жест вперед, как бы проектируя прямую линию» (Салтыков-Щедрин. История одного города). <...>

Но положение рационалиста остается все же бесконечно трагичным! «Дальний», к которому обращены его речи, всегда выдуман. Потому и обращение к нему, в писательстве ли, в рационалистически настроенной науке, или в рационалистической философии, — всегда переполнено выдумками. Рационалистические мысли не прорывают границ человеческого одиночества и не приобретают выхода к реальному живому собеседнику; они солипсичны на самой точке своего отправления. Порочный круг, в котором стоят с самого начала люди без ближнего, делает невозможным объективное признание лица в другом. Признают объективное существование за геометрической точкой, за атомами, за вещами, — за чем угодно, только не за объективными лицами проходящих близких. Дальний

выдуманный допускается потому, что он легко предвидим, ибо это ты сам, объективированный в кого-то вдали. Ближние отклоняются потому, что мешают тебе, как писателю и ученому, заниматься этим объективированием себя, как в зеркальном изображении, в далеком дальнем. И реальнейший ближний, с которым сталкивает жизнь, теряет значение самодовлеющего, отчетливого лица, ибо ведь, если признать его, то пришлось бы отложить свои благородные выдумки и заняться всецело им, объективным лицом! Чтобы такого пассажи не происходило, бедный человек убеждает сам себя и доказывает *ex cathedra*, что может понять других только как вещи и механизмы, но не как лица. И все для того и от того, что с ближним чрезмерно трудно, с дальним – легче, ибо, естественно, легче быть с самим собою и своими абстракциями. <...>

(А. Ухтомский. Заслуженный собеседник. Этика. Религия. Наука. Рыбинск: Рыбинское подворье, 1997, с. 198-200).

= Из «Заметок на полях книг»

[В скобках указаны страницы по изданию: Ухтомский А. Заслуженный собеседник. Этика. Религия. Наука. Рыбинск: Рыбинское подворье, 1997.

Датировка текстов там отсутствует. – А. А.]

Еще о рационализме

<...> Рационализм несет в себе порок индивидуалистического самоупора: *cogito ergo sum* [Я мыслю, следовательно, я существую. - лат. - А. А.]. Все прочее для него «среда» для упражнений *sans gene* [без стеснения, бесцеремонно. - фр. - А. А.]. В эту СРЕДУ ДЛЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ входит и народ, и природа, и вообще все бытие за исключением самого оперирующего. Рационалистический социализм силится создать сверхиндивидуальную общую жизнь имманентными силами того же рационалистического индивидуума, т. е. заранее ловя свою тень и всевозможную задачу: прекратить СИМПТОМЫ ПОРОКА, не посягая на основной КОРЕНЬ ПОРОКА внутри деятеля. <...> (396)

<...> Зараза «рациональной» теории! Она начинается там, где подумали, что исчерпали свою схему действительность и интуицию. Получается ужас: пробуют «рационализировать» непонятое и ранее всякой попытки, что берут за объект своих операций. <...> (397)

О цельном человеческом знании

<...> Разумеется, «нищета философии» обнаруживается для всякого ЦЕЛЬНОГО, ПРАКТИЧЕСКОГО духа, - для <...> того, кто прежде всего любит жизнь, для всякого человеколюбца.

Теоретически, с точки зрения «чистого разума», философия так же нища, как и все теоретическое знание. Если «methode foi» [метод веры. - фр. А.А.] - нечто злое, то “methode rationaliste” [рационалистический метод. - фр. А.А.] - нечто нищее. ЦЕЛЬНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ, - ТО, КОТОРОЕ ДАЕТ СМЫСЛ И СЧАСТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, БУДЕТ ВСЕГДА И ПРАВСТВЕННО, И ЭМОЦИОНАЛЬНО, И ВПОЛНЕ ДЕМОКРАТИЧНО. Оно было охарактеризовано тем, что оно «открыто младенцам», хотя оно часто закрыто для «премудрых и разумных». Идол «теоретического знания» был все тем же идолом, закрывающим жизнь от людей, от которого предостерегали уже древние человеколюбцы: «Дети, хранитесь от идолов!»

И если философия Сократа, Платона, Аристотеля не была нища, а принесла истории «плод многи», тогда как наш автор с недоумением обходит ее в своем позитивистическом образце, то именно от того, что та философия подошла к жизни и к любви к ней в целом; АВТОР ЖЕ НАШ, ТАК БОРЮЩИЙСЯ ПРОТИВ ИДОЛОВ, САМ ОКАЗАЛСЯ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЖЕРТВОЙ ИДОЛА «ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ». <...> (410).

О субъекте, даре слова и Истине

<...> В человеке его сложнейшая нервная система привела к наибольшему развитию «субъекта», т.е. к замкнутой индивидуальности. Но она же привела к развитию «дара слова», т.е. к средству наиболее универсального соединения и единения в жизни и действии! Отсюда дается возможность коллективным умом многих, или всех! Впервые является идея об Истине, как о том, как выскажется о действительности макросубъект. «Истина это слово макросубъекта!» Последнее слово последнего, пожинаящего все плоды мысли и опытов, подсчитывающего все итоги макросубъекта!

И Истина в последнем своем выражении рисуется уже выше всякого слова, выше возможности дальнейшего обсуждения, она уже не принадлежит никакому субъекту, который бы стал передавать ее другому для нового взвешивания. И, в то же время, она должна жить не иначе, как в Слове! <...> (417).

(Ухтомский А. Заслуженный собеседник. Этика. Религия. Наука. Рыбинск: Рыбинское подворье, 1997)

= Из «Заметок на полях книг»

[В скобках указаны страницы по изданию: Ухтомский А. Доминанта души. Из гуманитарного наследия. Рыбинск, 2000.

Датировка текстов там отсутствует. - А. А.]

<...> Первичность динамического над статистически предметным. Так и сокол еще замечает вещь в движении, но не видит ее, стоящую на месте. <...> (202).

<...> Непосредственно дан нам ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ОБРАЗ, но не ощущение. Ощущение же - ИСКУССТВЕННЫЙ ПРОДУКТ АНАЛИТИЧЕСКОЙ АБСТРАКЦИИ. (203).

<...> Вот это ВАЖНЕЙШИЙ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ: МОЖНО ЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ВРЕМЯ КАК ТАКОВОЕ ИЗ ОПИСАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ? (204).

<...> Принцип «материалистической диалектики» приводит к непрелюбимой мысли, что материализм и идеализм представляют собой единство и до такой степени, что один без другого и быть не может. Это значит, что они переходят непосредственно и обязательно друг в друга. Заговорив об одном, вызывают тем самым к жизни и другого! (204).

<...> Точка зрения идеализма может быть немедленно исправлена, если вместо предложения «мир (среда) есть МОЕ представление», мы скажем: «мир есть МОЯ среда, т. е. та, на которую я реагирую». Очевидно, что оба предложения по содержанию являются почти тождественными. Общий же смысл во втором предложении становится не таким претенциозным, как в первом: мир не есть уже пассивная функция моего ума и воображения, но СОДЕРЖАНИЕ ВСЯКОЙ МОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Мир существует для организма, конечно лишь настолько, насколько этот последний на него реагирует. (204).

<...> Действительное познание есть ПОЗНАНИЕ ВСЯКОГО ОПЫТА, независимо от того, душевный или телесный, «сверхчувственный» или «чувственный»... (205).

<...> Что такое «научная истина»? ИСПОЛНИВШЕЕСЯ ОЖИДАНИЕ, ОПРАВДАВШЕЕСЯ ПРЕДСКАЗАНИЕ. Чисто теоретическая работа есть развитие предположение до его последних следствий без вопроса о том, «истинно ли само предположение или нет». Такова математика. (208).

<...> Жизнь - асимметрия, постоянное движение на острие меча. (231)

<...> Мир создан самим воспринимающим его! Мир воспринимается так, как мы его заслужили! (233)

<...> Истина сначала созерцается как факт, а уж потом препарируется в аргументы и доказательства - ради возможности передачи ее другу! Препарирование же в аргументы и доказательства есть лишь выяснение СВЯЗИ данной истины - как оказавшегося возможным факта восприятия - с прочим полем и данными сознания! Поскольку эти прочие данные общеизвестны и представляются ясными для слушателя и поскольку связь с ними нового, обосновываемого восприятия истины оказывается

простою и естественною, новая истина является «доказанной», прочно обоснованной и словесно переданной другу!

В общем же все это «доказательство» сводится на выявление в слове уже данной органической связи между отдельными частями поля сознания! (234)

<...> ...Не среда есть аргумент развития и жизни человеческого духа! А если среда, то не физиологическая, а общественная! И не хозяйственно-общественная, а духовно-общественная! (245)

<...> Надо преодолеть себя, стать выше себя! Иначе и саму истину будешь низводить до себя, строить ее по себе, и тогда уже не будет выхода из порочного круга самоутверждения. (253).

<...> Люди не столько велики тем, что «переделявают мир», сколько тем, что открывают новые области истины, в мире до сих пор не известные. (254)

<...> Человек - ответственный культиватор природы, возделыватель мира и своей собственной природы. (254)

<...> Всякий «интегральный образ» есть ожидание. И это, конечно, в особенности для таких образов, как человеческое лицо и сообщество. (256).

<...> Одинаково правильных и логически равноправных систем опыта может быть столько же, сколько установок опыта! На самом деле реальным законам бытия нужно учиться у самого бытия. Войдя в опыт каждого отдельного существа, можно раскрыть его рациональную закономерность и правильность с точки зрения его установки. Каждый для себя и для своего опыта имеет основания считать свою систему правильной: физиолог - для себя, богослов - для себя, палеонтолог - для себя и т. д. Действительно многоликое «цельное знание» должно принять в расчет и понять их всех, передумать всех, войти во всех имманентно, чтобы иметь действительный синтез единого знания - единого существа «человек». (260).

<...> «Закон связи» таков, что если истина ФОРМАЛЬНА, она категорична и аподиктична. Но если она СОДЕРЖАТЕЛЬНА, то она всегда имеет в себе предвидение, предварение, деятельное предвосхищение, творчество... Содержательная истина - ПРЕДВИДЕНИЕ ПРЕДСТОЯЩЕГО ОПЫТА, ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ ИМЕЮЩЕЙ БЫТЬ РЕАЛЬНОСТИ. (284).

<...> Становиться выше себя, творить новую природу, преодолевать пределы существующего - вырастать из себя. (290).

<...> Что идеал осуществляется только частично, тут никакого противоречия ему нет, ибо он остается ведь, как таковой, пределом стремления! Важно то, чтобы им было определено

направление деятельности! Скорее, напротив, именно «осуществленный идеал» есть понятие, противоречивое самому себе, ибо это то же, что «недеятельная деятельность»! Ибо деятельность - до тех пор, пока идеал не осуществлен! (310).

(Ухтомский А. Доминанта души. Из гуманитарного наследия. Рыбинск: Рыбинское подворье, 2000)

Литература

[29] Пожалуй, определенные схождения можно заметить также и между идеями В.Н. Муравьева и А.А. Ухтомского, имея в виду, в частности, выдвинутое последним понятие хронотопа. (См., например, письма Ухтомского к Е.И. Бронштейн-Шур и к Ф.Г. Гинзбург).

[30] Интересна постановка этого вопроса А. Ухтомским в письме к Ф.Г. Гинзбург (1930): "С точки же зрения закона Милосердия открывается опять и опять, что если хочешь приблизиться к постижению тайн жизни, не прикасайся к испытанию добра и зла. Как искони, так и теперь херувим преграждает дорогу к Древу Жизни, как только возьмет на себя судить с точки зрения испытания Добра и Зла! Всего хуже, - и хуже легкомыслия, если людям представляется, будто они поняли Добро и Зло, то, что могут судить жизнь и людей со стороны их добра и зла!" (Цит. по: Ухтомский А. Доминанта души. Из гуманитарного наследия. Рыбинск, 2000, с. 388). Это высказывание отражает одну из стержневых мироотношенческих идей Ухтомского. — А.А. Февраль 2001.

[31] Намек на «Притчу о Генеральной линейке». См.: Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т. 1. СПб.: Норма, 2003.

[32] Еще в 1920-х годах А.А. Ухтомский, отправляясь от своей психофизиологической теории доминанты пришел к важнейшим обобщениям, связанным с понятием "хронотопа" и др., позволяющим научно поставить проблему взаимоотношений человека со временем. По определению Ухтомского, хроноотоп - это "закономерная связь пространственно-временных координат". "Всякий сплошной поток событий может быть представлен как траектория в ХРОНОТОПЕ... или как мировая линия" (Ухтомский А. Доминанта души..., с. 378).

[33] <...> Передо мной сейчас - десятки исписанных "скорописью" (а часто и просто "НАСКОРО"...), листочков с пометкой: "Андрею", датируемые чуть ли не с апреля, правда, более всего - за последние две-три недели... И еще передо мною на столе, подоконнике, стульях - несколько "стройных рядов" книг (не менее чем по десятку переплетов в каждом). Перечитать, прочитать, заложить закладками.

<...> Позавчера дочитывались: "Об общественном идеале" П.И. Новгородцева (500 (!) страниц одного из САМЫХ ТЩАТЕЛЬНЫХ в известной мне литературе разборов "Марксовой утопии "ЗЕМНОГО РАЯ"; 1917 г. (!); и "Марксизм и скачок в царство свободы. История коммунистической утопии" Анджея Валицкого (тоже 500 стр.!, стэнфордское издание, на английском, вышло в 1995 г., а в 1999 - киевское, на украинском языке).

Вчера, 21.09, за несколько часов до твоего телефонного звонка <...>, я не мог не свериться с КЛАССИЧЕСКОЙ дискуссией о том, "имеет ли история какой-нибудь смысл", между Карлом Поппером ("Открытое общество и его враги"; том 2: "Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы", включая таких "оракулов", как Хайдеггер и Ясперс; 1-е изд. - 1945 (!); русское: М., 1992) и - Карлом Ясперсом (сборник "Смысл и назначение истории". М., 1991; прежде всего, работа Ясперса "Истоки истории и ее цель"; 1-е изд. - 1949 (!); здесь 3-я часть прямо contra Поппер: "О смысле истории"). <...> Р. Л.

[34] См.: Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т. 2. СПб.: Норма, 2003.

[35] См.: Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Т. 1. СПб.: Норма, 2003

[36] См.: там же.

[37] Цитированные здесь письма А.А. Ухтомского см. также в: Ухтомский. А. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб: Петербургский писатель, 1996.

См. на эти темы также письма Ухтомского к Ф.Г. Гинзбург того же времени. Первая публикация: в журнале «Звезда» (1998, N 2). Более полная публикация в: Ухтомский А. Доминанта души. Из гуманитарного наследия. Рыбинск: Рыбинское подворье, 2000.



Семен Резник
Против течения
Академик Ухтомский и его биограф
Документальная сага
с мемуарным уклоном
(продолжение. Начало в №12/2013)
Глава седьмая. «Грешный епископ Андрей».

1.

Хотя во время Собора братья жили вместе, но виделись они редко, а разговаривали еще реже: у каждого было невпроворот своих дел, встреч и забот. Но Алексей Алексеевич видел, что брат «очень падает духом и чрезвычайно скорбит по поводу событий. Мне кажется, что я бодрее смотрю на вещи. Храни его Бог! Мне его очень жаль»¹.

К тому времени иеромонах–архиерей–архимандрит–епископ Андрей прошел непростой путь побед, поражений, удач и разочарований.

Направленный в Казань, он стал энергично создавать религиозные школы и церковные приходы для обращаемых в православие татар-мусульман. Обучение и богослужение в этих заведениях велось на татарском языке – такова была принципиальная установка отца Андрея: подопечные не должны воспринимать перемену религии как насильственное обрусение, тогда они охотнее соглашаются на такой шаг. Суть своей системы он сформулировал в одной из статей в газете «Московские Ведомости»: «Безукоризненный пастырь и безукоризненное богослужение в инородческом приходе на соответствующем инородческом языке»².

Яркий оратор и публицист, человек кипучей энергии, *безукоризненный пастырь*, чей аскетический образ жизни мог служить примером религиозного подвижничества, отец Андрей приобрел в Казани большую популярность.

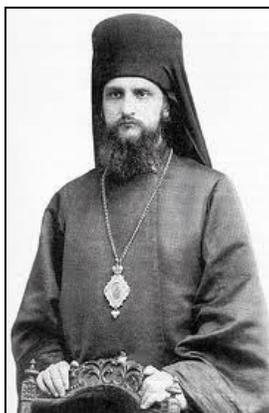
В городе существовало общество трезвости, в которое отец Андрей сразу же вступил и вскоре стал в нем играть видную роль. В турбулентном 1905 году на базе этого общества было создано казанское отделение «Русского собрания» –

¹ Там же, стр. 423. Письмо от 14 ноября.

² Цит. по: Игорь Алексеев. Смиренный бунтарь.
http://www.rusline.ru/analitika/2006/08/12/smirenyj_buntar/

черносотенной монархической организации. Отец Андрей стал в ней заметной фигурой.

«Особые ожидания о. Андрей возлагал на правомонархические организации, как ставящие "во главу своей политической программы *служение святой Церкви*", полагая, что "пастырю Церкви можно говорить с ними на одном языке, и есть надежда быть понятым", – указывает его биограф И. Алексеев. – Вместе с тем, он считал, что "уже на второй строчке своей программы "Русское Собрание" делает ошибку, требуя для православия какого-то для него обидного и ему по природе чуждого "господства", категорически возражал против "грешного" девиза "Россия для русских!", предлагая заменить его на девиз "Святая Русь на службе миру!", а также критиковал черносотенцев за "неподвижность" и "грубые тактические ошибки"»³.



Епископ Андрей

Сложилась парадоксальная ситуация. В разношерстной черносотенной стае отец Андрей был белой вороной, притом громко каркающей. Тем не менее, его связь с черносотенством с годами не ослабевала, а влияние росло. Немного было в этой стае таких энергичных, высокообразованных и одаренных «ворон»! Принимая желаемое за действительное, епископ Андрей полагал, что на стороне черносотенцев «сила нравственного закона». Он считал, что только такая сила может остановить победное шествие социализма, который, по его мнению, был «тем и силён, – особенно у нас в России, – что он имеет на себе всю личину истинно-нравственных организаций. Он велик своею показною

³ Там же.

стороною; и русский человек, всей душой стремящийся к живой вере, оказывается теперь рад уже хотя бы живым делам [социалистов] и уже почти отвернулся от мёртвой веры наших официальных покровителей "господствующей" церкви»⁴.

Но если социалистические группировки имели «личину истинно-нравственных организаций», то у расхристанной черносотенной братии не было и этого. Суть ее деятельности сводилась к нападкам и нападениям на инородцев, в особенности на евреев. Ни нравственности, ни видимости ее у них не было. Почему отец Андрей этого не замечал, пусть разбираются его биографы. Для нас важно подчеркнуть, насколько далек от этих иллюзий был родной брат отца Андрея, однажды записавший в дневник с видимым отвращением:

«Вот "шайка Дубровина" заказывает молебен у мощей князя Александра Невского. Им служат длинноволосые люди, в мягкие ризы одетые. Вот, думают, тот испытанный, тонкий обман, который спасает, перед которым не устоит светлый разум страдающего народа»⁵.

Шайка Дубровина – это ведущая черносотенная организация Союз Русского Народа.

Панацею от социалистической заразы отец Андрей видел в усилении роли низовых ячеек церкви – приходов, дабы они стали ядром религиозной и политической активности народных масс. В печати он конкретизировал свои идеи: приходы нужно наделить правом юридических лиц, правом избирать священнослужителей; выборы в Государственную Думу проводить по приходам. Этим он надеялся повысить политическую активность сторонников самодержавия, которому, в свою очередь, надлежало преобразиться на основе «единения царя и народа» – по завету славянофилов, последователем коих отец Андрей себя считал. Но власть не хотела преобразовываться, а активности народа – боялась больше всего.

Темпераментные, полные страсти выступления епископа Андрея в печати и с церковной кафедры приносили ему все большую популярность, но в верхах они вызвали нарастающее раздражение. В один прекрасный июльский день 1911 года он прочитал в газетах, что по докладу Святейшего Синода, утвержденному императором Николаем II, он переводится из

⁴ Там же.

⁵ Из Записной книжки А.А.Ухтомского 1910 г., запись под заголовком «Из мотивов 1910г.» Цит. по: В.Л. Меркулов. Ук. соч., стр. 78.

Казани в Сухум. Заранее его даже не сочли нужным об этом уведомить!



Александр Иванович Дубровин – глава «Союза русского народа»

В большой казанской епархии отец Андрей был третьим викарием, а сухумскую епархию ему предстояло возглавить, так что формально это было повышение. Но фактически – почетная ссылка. Отец Андрей так и воспринял этот данайский дар. Популярность его в Казани была такова, что провожать его на пристань пришли тысячи людей. Многие плакали. По его лицу тоже струились слезы...

2.

На Кавказе епископ Андрей тотчас развернул бурную деятельность по обращению абхазов-мусульман в православие, но через два с половиной года его переводят в Уфу, где он снова приступает к активной миссионерской работе среди инородцев. Он был уверен, что чем больше инородцев обратит в православную веру, тем лучшую службу сослужит Богу и России. О том, что к Богу ведут разные пути, он, по-видимому, не задумывался. Если Алексей Алексеевич мучительно *искал* Истину, то епископ Андрей усвоил ее твердо и навсегда.

Различия между братьями с годами проступали все более рельефно. Если Алексей воспринял Первую мировую войну как начало конца Российской империи, то епископ Андрей встретил войну с «нескрываемым воодушевлением» – как ее (традиционной России) возрождение. В победе русских войск он не сомневался и

надеялся их великой миссией освобождения и объединения славянских народов, в соответствии с чаяниями славянофилов.

«В своей брошюре "Исполнение славянофильских предсказаний", изданной в 1914 г. в Уфе, – сообщает И.Алексеев, – епископ Андрей торжествовал: "Сбывается пророчество славянофилов: 'Орлы Славянские взлетают'... Начинается новая страница всемирной истории; полное освобождение славян, эпоха их самостоятельного политического бытия, полное нравственное торжество России в международной политике... Остаётся теперь пожелать и ждать на Руси торжества церковных начал, отрезвления русского народа, свободного голоса Церкви в церковных делах и прекращения партийной брани"»⁶.

И.Алексеев кратко констатирует: «Надеждам этим, как известно, сбыться было не суждено».

И не только потому, заметим, что Россия вышла из войны не победительницей, а побежденной, но и по более глубоким причинам. Не нашлось у нее нравственных сил «для отрезвления русского народа», «для прекращения партийной брани». Что же касается свободного голоса Церкви, то он, к разочарованию Владыки Андрея, мало кого интересовал. Согласно данным историка Дмитрия Пospelовского, как только Временное правительство отменило в армии обязательное исполнение церковных обрядов, число солдат и офицеров, соблюдавших таинство причастия, сократилось более чем в десять (!) раз. В мемуарах генерала А.И. Деникина есть такой эпизод:

«Первые недели [Февральской] революции. Демагог-поручик решил, что его рота размещена скверно, а храм — это предрассудок. Поставил самовольно роту в храме, а в алтаре вырыл ровик для... Я не удивляюсь, что в полку нашёлся негодный-офицер, что начальство было терроризовано и молчало. Но почему две-три тысячи русских православных людей, воспитанных в мистических формах культа, равнодушно отнеслись к такому осквернению и поруганию святыни?»⁷

Того, что вызывало недоумение у генерала Деникина, Владыка Андрей не хотел замечать, хотя он сам предостерегал церковное руководство, что статус государственной религии отталкивает народ от православия.

Февральский переворот отец Андрей, в отличие от брата, воспринял с восторгом. Он заявил, что катастрофа, постигшая

⁶ Цит. по: Игорь Алексеев. Ук. соч., http://www.rusline.ru/analitika/2006/08/12/smirenyj_buntar/

⁷ А.И. Деникин, Очерки русской смуты. Том первый. Крушение власти и армии. Февраль – сентябрь 1917 г., Париж, 1921, стр. 6.

царский режим, произошла по вине самого режима, отгородившегося от церкви и от народа.

«Режим этот был в последнее время беспринципный, грешный, безнравственный. Самодержавие русских царей выродилось сначала в самовластие, а потом в явное своевластие, превосходившее все вероятия. Против этого восстали в своё время те прекрасные, чистейшие в нравственном отношении философы-христиане, которые известны под именем славянофилов. Они напоминали русским царям, что их самодержавие есть либеральнейшая власть, не мыслимая без гарантии личности, без свободы вероисповедания и свободы слова. Но замкнутые самомнением уши остались глухи для слушания хороших слов. Всё оставалось по старому, и вместо того, чтобы заботиться о совести (православии), заботились только о грубой силе (самодержавии)»⁸.

Отец Андрей заявил о полной поддержке Временного правительства и призвал к тому же православную паству.

«Я знаю, что совесть многих смущена, что многие души ждут ясных указаний того, в праве ли они отречься от прежнего строя. Не изменят ли они "присяге", признав новое правительство Государственной Думы. <...> Отречение от престола императора Николая II освобождает его бывших подданных от присяги ему». А в другой статье – как припечатал: «Рухнула власть, отвернувшаяся от Церкви, свершился суд Божий»⁹.

Горячие выступления епископа Уфимского в поддержку революционной власти были тотчас замечены в Петрограде. На его принадлежность к черной сотне закрыли глаза. В апреле 1917 года епископ Андрей был включен в состав «революционного» Святейшего Синода во главе с обер-прокурором В.Н. Львовым. Ему предлагали пост Петроградского митрополита, но он отказался, заявив, что церковное руководство должно избираться прихожанами, а не назначаться. Его упования сосредоточились на созыве Поместного Собора.

Но в судьбе страны и русской православной церкви Собор уже ничего не мог изменить. В после-февральской России все шло вразнос. Грозно нарастали анархия, бесчинства, разгул насилия. Временное правительство, сформированное князем Г.Е. Львовым, оказалось несостоятельным, но и сменившее его правительство А.Ф. Керенского не могло удержать вожжи в руках. Видя, что дело

⁸ Цит. по: И.Алексеев. Ук. соч.

http://www.rusline.ru/analitika/2006/08/12/smirenyj_buntar/

⁹ Там же.

идет к новой катастрофе, Владыка Андрей обратился к министру-председателю с открытым письмом, в котором вопрошал:

«А что делается сейчас в России? Во что обратилось наше отечество? Ведь это же ужасно! – но это факт: наша родина – это арена для всяких преступлений и насилий... Грабят церкви, грабят монастыри, грабят богатых, грабят даже бедных, если у них имеется лишняя корова или лишняя коса... А потом прибавляют: "Благодари ещё Бога, что эта коса не прошла по твоей голове", а потом с награбленными косой, плугом, сапогами идут, не стесняясь и никого не стыдясь рядом в свою деревню – до следующего грабежа. Это ли не расцвет русского социализма? Это ли не торжество демократии? Такой социализм дикарей скоро может выродиться в коммуны, от которой до людоедства останется только один шаг... Ещё немного и всё оружие, находящееся в руках нашего "Христолюбивого" воинства, обратится только на самоистребление, когда "постановят" сначала истребить буржуев первой степени, а потом будут грабить тех буржуев, у которых только имеются лишние сапоги...»¹⁰.



Заседание Поместного собора РПЦ

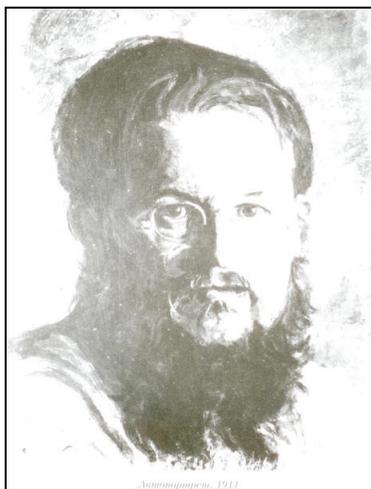
Все было верно в этих словах, но предложенный им выход из кризиса был совершенно утопическим, если не сказать смехотворным. Отец Андрей предлагал Керенскому переформировать правительство (даже перечислял «прекрасные имена» тех, кто должен в него войти) и всем составом... явиться в

¹⁰ Епископ Уфимский Андрей. Открытое письмо министру-предс. А.Ф. Керенскому. <http://www.katakomb.ru/7/Kerenski.html>

Успенский собор на молитву по случаю открытия Поместного Собора.

Октябрьский переворот, случившийся в разгар работы Собора, отец Андрей воспринял как катастрофу не только режима, но народа и церкви, – отсюда тяжелое душевное состояние, о котором упоминал его брат.

Однако, в отличие от брата, он «не мог молчать». Не задумываясь, обозвал захват власти большевиками «немецко-еврейским заговором». Правда, через два месяца большевики превратились у него в «заблуждающихся русских людей, которые еще могут исправиться»¹¹. Но когда он убедился, что новая власть не спешит исправляться, она у него вновь превратилась в «бронштейнов, хамкесов и нехамкесов», коих немцы «напустили на Россию» вместе с «симбирским помещиком Лениным»¹².



Автопортрет А.А. Ухтомского

У Алексея Ухтомского не было иллюзий относительно возможного «исправления» пламенных головорезов, и он не пытался объяснить их успех внешними по отношению к самой России причинами: ни происками немцев, ни заговором евреев, масонов или каких-то еще «тайных сил». По словам А.В. Казанской (Копериной), «Алексей Алексеевич ненавидел

¹¹ Цит. по: И.Алексеев. Ук. соч.

¹² Цит. по: А. Нежный. Князь Ухтомский, епископ Андрей.
http://krotov.info/history/19/1890_10_2/1872_andr_uhtomski.htm

антисемитизм и говорил, что антисемитизм особенно отвратителен у людей, причисляющих себя к интеллигенции, так как они ничем не могут его объяснить и оправдать. Простые люди часто ссылаются на то, что «евреи Христа распяли», забывая о том, что Христос сам был еврей. А воспевая деву Марию, призывая ее как свою заступницу, они не думают о том, что она была еврейка»¹³.

А вот и прямое свидетельство Ухтомского – из его письма к Иде Каплан от 21 августа 1923 года:

«Александрия шлет Вам свой сердечный привет, – такой теплый, насколько только она может в своем холоде и сумраке. Милая Вера Федоровна (Григорьева) Вас часто вспоминает и любит. Она, бедная, очень нервничает и невыносимо ненавистничает против евреев, впрочем постоянно оговариваясь: “кроме Иды”. Я ее убеждаю, что подобное “исключение” для Вас только оскорбительно, и прошу, чтобы она хоть “в память Иды” выбросила свое ненавистничество к людям, безобразящее душу. Мои убеждения иногда как будто начинают действовать; но потом, расстроившись, бедняга начинает все сначала!»¹⁴

Очень многое разделяло братьев, хотя родственные чувства давали о себе знать, особенно в тяжелые минуты. Однажды, еще в феврале 1916 года, отец Андрей заявился в Питер сильно простуженный, с повышенной температурой и тяжелым кашлем, что заставило заподозрить у него чахотку. Встревоженный Алексей Алексеевич написал в связи с этим В.А. Платоновой: «Мы жили с ним далеко друг от друга в мире, но было бы очень тяжело мне, если бы он ушел и его больше не было, – еще чужее стало бы в мире»¹⁵.

Опасения оказались неоправданными: отец Андрей выздоровел. Но события захлестнувшие страну, заставляли забыть о невзгодах брата, да и о своих собственных.

Глава восьмая. Большевики

1.

Гонения на религию, начавшиеся сразу же после большевистского переворота, вызвали удивление у наивной В.А. Платоновой: она не могла понять, почему власть, объявившая себя

¹³ Цит. по: А.А.Ухтомский в воспоминаниях и письмах. Составитель Ф.П. Некрылов, Спб., изд-во Спб. университета, 1992, стр. 61.

¹⁴ А.Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 526. Письмо к И.И. Каплан от 21 августа 1923 г.

¹⁵ Там же, стр. 404. Письмо к Платоновой от 8 февраля 1916 г.

народной, действует против традиционных народных верований. Алексей Алексеевич ей отвечал:

«Вы как будто считаете непоследовательным у наших большевиков, что они едва не прекращают богослужение в храмах, что киевские иноки дрожат, ожидая наложения большевистских рук на святыни и т.п., вообще, что нет и помину о пресловутой “веротерпимости”. В данном случае Вы, очевидно, не отдаете себе отчета в том, что такое большевики! Они именно вполне последовательны, уничтожая христианское богослужение; логическая последовательность приведет их к прямым, принципиальным и, стало быть, жесточайшим гонениям на христианство и христиан! Вы это имейте в виду, дабы представлять себе вещи, как они есть в действительности!»¹⁶

Как всегда основательный, не бросающий слов на ветер, Алексей Алексеевич подтверждает свое невеселое заключение двумя выписками: одну – из «мягкого социалиста-философа» Жана Жореса, клеймившего католическую церковь как «защитницу буржуазной собственности» и «врага пролетариата»; и вторую – из большевистского наркома просвещения А.В. Луначарского о том, что «жрец» (то есть служитель любой религии) – «это неумолимый и серьезный враг пролетариата, а, следовательно, всего человечества враг, не имеющий для себя даже оправдания буржуя, капиталиста, все еще необходимого для социализма, как силы, подготавливающей ему почву. Историческая роль жреца давно уже целиком вредна».

На счет ближайшего будущего Алексей Алексеевич несколько не обольщался:

«Дело должно идти не о притеснении, не о гонении в собственном смысле, а о принципиальном *истреблении* того, что объявлено “врагом пролетариата, а, следовательно, врагом человечества”»¹⁷.

2.

Первая сессия Поместного Собора, увенчавшаяся избранием патриарха, завершилась 9 декабря 1917 г.

Встречать Рождество Ухтомский уехал в Рыбинск. Навестил всех добрых знакомых, в числе других семейство А.А. Золотарева, который вспоминал, как, войдя в квартиру, Алексей Алексеевич «сначала по чину староверия помолился истово иконам, затем так же истово, но и радушно, и сердечно, и радостно поздоровался с отцом, благословился у него, потом с

¹⁶ Там же, стр. 429. Письмо от 10 января 1918 г.

¹⁷ Там же, стр. 430.

матерью тоже расцеловались, а затем поздравил и меня с Рождеством Христовым. И тут же неуступно и так же радостно объявил, что он знает теперь – большевики сели надолго, это самая наша национальная власть, это мы сами, достоинства наши и недостатки наши же великороссийские, самая что ни на есть наша народная власть»¹⁸.



Патриарх Тихон

В достоверности этого свидетельства не приходится сомневаться, но с одной поправкой – касательно слова «радостно». Чему Алексей Алексеевич никак не мог радоваться, так это засевшей надолго национальной власти, олицетворяемой большевиками. Месяцем раньше, еще из Москвы, он писал В.А. Платоновой:

«Вы уже знаете, как пострадал Кремль, Успенский Собор, Чудов монастырь, Патриаршая ризница с библиотекой, Никольские, Спасские ворота и проч. <...> Своими собственными руками разрушает прегрешивший Израиль свой храм и свою святыню, где бы он мог вознести молитву Богу в час кары! А дальше видится приближение Вавилонского пленения для безумного народа, ослепленного ложными пророками и

¹⁸ А.А. Золотарев. Воспоминания об А.А. Ухтомском.

<http://gudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=14>.

В сильно урезанном виде помещены также в сб.: А.А. Ухтомский в воспоминаниях и письмах, стр. 42.

преступными учителями, приводящими к историческому позору! Удивительна аналогия того, что сейчас совершается с русским народом, и того, что было с древним Израилем во времена пророков и Вавилонского плена!»¹⁹

Отношение Ухтомского к народу претерпело значительную эволюцию. Он стал различать две ипостаси народа: народ-толпа и народ-хранитель древних преданий, легенд и сказаний, в которых выражались народные чаяния, стремления к добру и праведной жизни. Народ-хранитель оставался для Ухтомского недостижимым идеалом, воплощением божественного, образцом для подражания, в нем он видел опору для противостояния собственным слабостям, в особенности себялюбию. А народ-толпа был одержим завистью, злобой, был готов последовать за любым вожаком, умеющим разбудить в нем звериные инстинкты. Большевики делали ставку на народ-толпу. *Этим держалась их национальная власть, поэтому становилась непобедимой, все выше поднимая волну беспощадного разрушения «старого мира».* Такова была горькая правда жизни. «Нет достаточных нравственных сил в народе, которые дали бы основу для здоровых новообразований», с горечью констатировал Алексей Алексеевич²⁰.

Продолжая неотступно размышлять о народе, Ухтомский приходил к все более мрачным выводам. Спустя пять лет он записал в дневнике:

«Угрюмая тупость – одна из черт русского народа, предоставленного самому себе. Это проявилось много раз в истории. Между самыми светлыми вспышками отдельных людей, увлекающих иногда за собою целые направления русской жизни, вплеталось это настроение массы»²¹.

При этом он никак не отделял себя от народа, что видно, например из того, как он сочувственно писал о художнике Рябушкине:

«Внутреннее требование, которым жил Рябушкин: изгнать раз и навсегда, как проказу и чуму, смотрение на народ и его исторический быт “сверху вниз”, – как к чему-то низкому, к чему в лучшем случае можно “снисходить”, но уж никак не “учиться” у него так называемому “образованному” субъекту. В отношении Рябушкина к *реальному* народу есть место *улыбке* и очень большому *огорчению*, но совершенно нет места анекдоту или

¹⁹ А.А.Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 422. Письмо к В.А.Платоновой от 14 ноября 1917 г.

²⁰ Там же, стр. 456. Письмо к В.А.Платоновой от 7 декабря 1918 г.

²¹ Там же, стр. 221. Дневниковая запись, 22-23 сентября 1923 г.

подлому снисхождению, – это потому, что главенствует серьезное и органическое *уважение*, и еще потому, что он в своих картинах говорит к народу: “Ты мой отец и брат”, но не пытается говорить “о народе” в третьем лице для какого-то своего, постороннего для народа, круга»²².



Художник Андрей Рябушкин

Не берусь судить, в какой мере сказанное справедливо в отношении художника Рябушкина, но оно безусловно справедливо в отношении Ухтомского. Народ вызывал у него то улыбку, то огорчение, то глубокую душевную боль, но никогда не вызвал снисхождения. Это был *его* народ, о нем он никогда не говорил в третьем лице.

3.

Вскоре после рождественских праздников Ухтомский тяжело заболел, выздоравливал долго, с трудом, а потом не мог выехать из-за развала транспорта и застрял в Рыбинске до поздней осени. Из-за этого стал свидетелем кровавой драмы, разыгравшейся в начале июля, когда вспыхнул и тотчас был подавлен военный мятеж Бориса Савинкова – бывшего эсера-боевика, главы подпольной организации «Союз защиты родины и свободы». По плану восстание должно было начаться

²² Там же, стр. 630. Письмо к Фаине Гинзбург от 9 марта 1931 г.

одновременно в Ярославле, Рыбинске и Муроме, но главную ставку Савинков делал на Рыбинск, где концентрировалась артиллерия и были склады боеприпасов. Савинков планировал захватить этот арсенал и перебросить его в Ярославль – на подмогу тамошнему восстанию.



В Рыбинске. Начало XX века

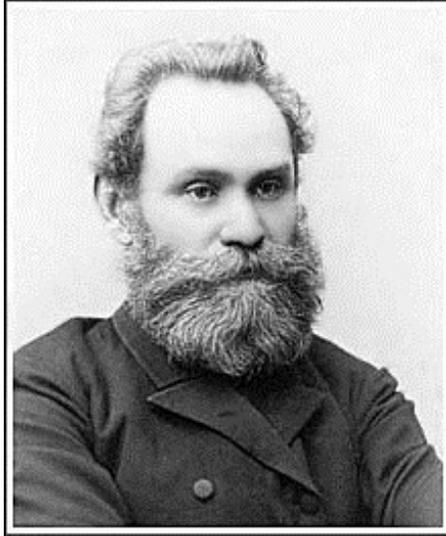
Мятеж в Рыбинске был поднят в ночь на 8 июля и в ту же ночь был подавлен. Началась вакханалия расправ с правыми и виноватыми. Из-за «разногласий» между руководством местной ЧК и командованием красноармейского гарнизона были расстреляны и некоторые ведущие чекисты.

Добравшись до Петрограда осенью 1918 года, Алексей Алексеевич попал в вымирающий город. Перенеся столицу в Москву, большевики оставили «колыбель революции» на произвол судьбы и распоясавшихся чекистов. Академик И.П.Павлов обратился к властям за разрешением отбыть за границу в виду невозможности продолжать научную деятельность на родине. Большевистские главари стремились избавиться от всех недовольных «пролетарской» властью; тех, кого, по той или иной причине неудобно было расстрелять или засадить в тюрьму, насильственно выслали из страны. Поначалу они предлагали уехать и Павлову, но затем Ильич посчитал невыгодным отпускать такую «культурную ценность». Он распорядился создать лично для Павлова особо благоприятные условия жизни и работы. Об этом ученому сообщил управляющий делами совнаркома В.Д. Бонч-Бруевич. Согласиться на привилегию для себя при тех ужасах, что творились вокруг, Павлов считал аморальным.

В ответном письме он писал:

«Вот обстановка, вот атмосфера, в которой я живу теперь. Возьмем район дома, где имею квартиру, дома Академии Наук. В этом доме в течение года умерли два товарища-академика, еще далеко не старые люди, от болезней, приведших к смерти, несомненно, на почве истощения. А вот что сейчас в этом доме. <...> Жена академика У., 2-3 месяца назад, чрезвычайно исхудавшая, в страхе обращается ко мне, как все же доктору, хоть и теоретическому, с жалобой, что у нее неожиданно появилась опухоль и быстро выросла. Из расспросов догадываюсь, что это должно быть грыжа. Переговариваюсь по телефону с товарищем по Медицинской Академии, хирургом. Тот говорит, что это теперь обычная вещь при крайнем исхудании и что всего лучше оперироваться. Жена академика Л. (пролежавшего в больнице прошлый год с отеками вследствие плохого питания и слабости сердца, ранее здорового) приходит, месяц тому назад, с просьбой рекомендовать главному доктору: в затемненных местах днем и в сумерках ничего не видит. Переговариваю об этом в лаборатории с докторами и слышу от них, что это теперь распространенная болезнь, куриная слепота, обычная во время народных голодовок. Жена академика М., имевшая ранее припадки падучей болезни один-два раза в год, теперь, страшно исхудавшая, жалуется на повторение припадков почти каждые две недели, а сам академик, тоже сильно истощенный и постоянно падающий в весе дальше, только что болел воспалением легких, и доктор, его пользовавший, высказал опасения за начинающийся туберкулез. У академика К., вдового, дочь, исполняющая роль хозяйки, и у академика С. жена – обе заболели цингой. А вот жизненные впечатления из более широкого района Петроградского, но только из круга моих близких друзей. Земляк и друг с детства Т. с женой и двумя дочерьми, одной вдовой художника с сыном и другой с мужем и дочерью, нанимают соответственно большую квартиру. Пока замужняя дочь с ее дочерью еще не перебралась из провинции (приехал только муж), в квартиру насильственно вселяется пара жильцов, мужчина и его сожительница, невежественные люди, причем женщина увлекается постоянно подслушиванием и не чиста на руку, так что приходится быть всегда настороже. Кроме того, в той же семье Т. зять-профессор два раза в течение года, ушедший раз покупать газету, а в другой [раз] относивший книгу знакомому, неожиданно пропал без вести. Потом, после долгих розысков, оказывалось, что он был арестован засадами, сидел арестованный по несколько недель и потом был выпущен без предъявления какого-либо обвинения. В конце концов, после

таких испытаний и плохо питаюсь, он нажил болезнь в пищеварительном канале. Пришлось в больнице оперироваться. Талантливый живописец В., исключительно своею художнической работой собравший некоторый капитал и приобретший некоторые ценные вещи, хранившиеся в банке, был лишен того и другого.



И.П. Павлов

Удрученный потерей, потерявший энергию, плохо питаюсь с женой и сыном в счет текущей работы, при чрезвычайно низкой температуре и сырости в квартире зимой, он заболел скоротечной чахоткой, для которой не было задатков ни в семье, ни в нем самом ранее, и месяц тому назад я его похоронил. У доктора – теоретического профессора К. сын, очень способный, музыкант, перенесший длинный германский плен, вернувшийся на родину и принужденный сейчас же нести непосильную работу, тоже заболел (при низкой температуре в квартире зимой) скоротечной чахоткой и умер. Еще вчера, придя на панихиду, я говорю с плачущей матерью и слышу ее следующие слова: “Это я виновата в его смерти. Бывало ночью придет пешком с Балтийского вокзала (это 7-8 верст расстояния), усталый, голодный, просит черного хлеба – а мне дать нечего; или заставишь его таскать дрова в квартиру (6-й этаж) со двора, после опять просит хлеба – и опять не дашь”. А сама говорящая, кожа да кости<...> пролежала несколько месяцев зимой с процессом в груди и только несколько оправившаяся должна была ходить за

тяжело умиравшим сыном. И это, как я сказал, только в моем петроградском кругу близких друзей. А дальше, в том же Петрограде, у хороших знакомых, всяких товарищей, просто известных людей. А по провинции – у родных, товарищей, друзей все то же и то же безысходное все нагромождающееся горе. Если я в написанном прибавил хоть одно слово лишнее против действительности, я признаю Вас вправе считать меня недобросовестным, способным ко лжи человеком. Теперь скажите сами, можно ли при таких обстоятельствах, не теряя уважения к себе, без попреков себе, согласиться, пользуясь случайными условиями, на получение только себе жизни, “обеспеченной во всем, что только ни пожелаю, так, чтобы не чувствовать в моей жизни никаких недостатков” (выражение из Вашего письма). Пусть я был бы свободен от ночных обысков (таких было у меня три за это время), пусть бы мне не угрожали арестом производившие обыск, пусть я был бы спокоен в отношении насильственного вселения в квартиру и т.д., и т.д., но перед моими глазами, перед моим сознанием стояла бы жизнь со всем этим моих близких. И как я мог бы при этом спокойно заниматься моим научным делом»²³.

Обстановка жизни профессоров университета была, конечно, не лучше, чем академика Павлова. Как свидетельствовал высланный в 1922 году социолог Питирим Сорокин, по карточкам выдавали «от восьмушки до половины фунта очень плохого хлеба на день, иногда и того меньше»²⁴. Коммунисты организовали в университете столовую, но «обед» состоял из тарелки горячей воды, с плавающим в ней листом капусты. Н.Е. Введенский подсчитал: число получаемых с таким обедом калорий меньше, чем тратилось на хождение в столовую. От такого питания «у многих начинались провалы в памяти, развивались голодный психоз и бред, затем наступала смерть», писал Питирим Сорокин. Некоторые профессора кончали жизнь самоубийством, других уносил тиф, иных, особенно пожилых, доканывала «трудовая повинность». По понятиям рабоче-крестьянской власти, научная и преподавательская деятельность профессоров считалась «не трудовой». Их заставляли пилить дрова, разгружать баржи, скалывать лед. П. Сорокин подсчитал, что смертность среди

²³ Письмо было обнаружено мною в 1980 г. в рукописном фонде Библиотеки имени Ленина (ф. 369, кор. № 314, ед. хр. 10, лл. 1-5 с оборотом). Опубликовано в книге: С. Резник. Непредсказуемое прошлое, Спб., «Алетейя», 2010, стр. 154-157.

²⁴ Цит. по: Кузьмичев, Ук. соч., стр. 104.

профессоров университета возросла в шесть раз по сравнению с дореволюционным временем.



Социолог Питирим Сорокин

Контора, в которой служила В.А. Платонова, переехала в менее голодный Саратов. В декабре 1918-го она сумела прислать Ухтомскому две посылки – одну с сухарями, другую с «полубелым» хлебом. Благодаря заботу, он ее инструктировал:

«Предпочитайте приобретать *настоящий, т.е. цельный*, черный хлеб, выпекаемый не из обрнушенной (“полубелой”, как ее называют), а из цельной ржаной муки с отрубями. С физиологической стороны, он несравненно питательнее и полезнее «полубелого», так как белковые вещества, наиболее важные по питательному значению, находятся именно *в оболочках зерна* <...> Если будете и впредь так милостивы, что пришлете мне хлеба, посылайте, пожалуйста, именно самого простого черного хлеба, он к тому же и дешевле! И Вам бы очень советовал питаться настоящим черным хлебом!»²⁵

Можно себе представить, насколько скудным был его рацион, если он должен был посылать *такие* инструкции!

Ожидалось введение голодного пайка на бумагу и письменные принадлежности. «Молчание утвердится на Руси еще шире и глубже, чем есть сейчас! – писал Ухтомский. – Молчит

²⁵ А.А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 453-454. Письмо к В.А.Платоновой от 7 декабря 1918 г.

русская мысль, заглохло русское слово. Его заменили нечленораздельные вокализации вроде “совдепов”, “совнархозов” и прочей дряни... Какое тяжелое, темное и тупое, безвыходное время!»²⁶

Обеспокоенный долгим отсутствием вестей от Варвары Александровны, он ей писал в сентябре 1919 года: «Дайте знать о себе. А то, пожалуй, помрешь здесь, ничего не зная о Вас. Мы здесь в самом деле живем уже последними запасами сил, и как Господь выведет из этого мучения, пока не видно»²⁷. Об общей обстановке в городе он писал с горькой усмешкой: «В воздухе носятся слухи и ожидания, что придут “союзники” и “барин нас рассудит”»²⁸.

Сам Ухтомский покинуть Питер не мог: по окончании зимнего семестра 1918 года Н.Е.Введенский уехал к себе на родину в Вологодскую губернию, оставив на него кафедру. В университете почти не было студентов, в лабораториях стоял холод, не было подопытных животных, свет вечерами включали на пару часов, и то не всегда, лекции приходилось читать в темноте, впрочем, их почти некому было слушать.

Алексей Алексеевич, отбыв «трудовую повинность», оставался один в своей холодной холостяцкой квартире. Большую часть времени проводил в кухне, где было теплее. По плите лениво ползали истощенные тараканы, словно и на них навалились тяготы военного коммунизма.

Располагая досугом, Алексей Алексеевич с придиричивым вниманием читал труды Огюста Конта, гениального французского философа, ученика и друга Сен-Симона, основателя позитивизма. Одержимый манией величия и преследования, в промежутках между приступами буйного помешательства, Конт создал учение, утверждавшее, что для научного познания *реальности* необходимы, в первую очередь, *опыт и прямое наблюдение*, а не теоретические рассуждения, какими бы тонкими и остроумными они ни были. Если умозаключения не вытекают из опыта или не могут быть проверены опытом, они не стоят выеденного яйца! Это был революционный переворот, выведивший естествознание из плена натурфилософии на широкую дорогу экспериментов и фактов. Можно сказать, что быстрый прогресс естествознания с середины XIX века прочно связан с философией позитивизма, основы которой заложил Огюст Конт, хотя стихийными

²⁶ Там же, стр. 456. Письмо к В.А.Платоновой от 13 декабря 1918 г.

²⁷ Там же, стр. 459. Письмо к В.А. Платоновой от 29 сентября 1919 года.

²⁸ Там же, стр. 456. Письмо к В.А.Платоновой от 7 декабря 1918 г.

позитивистами были и крупнейшие ученые прошлых столетий: Ньютон, Галилей и другие.

Но что понимать под *реальностью*? Конт утверждал, что для науки *реальность* – это не отдельные объекты и существа, а сущности, общие для данного вида или типа объектов. С этой точки зрения, важен не отдельный высохший от голодного рациона таракан, с трудом ползущий по кухонной плите, а таракан вообще, как вид или род живых организмов. Чтобы понять, как устроен таракан вообще, ученый берет отдельного таракана, расчлняет его тельце и таким образом постигает его анатомическое строение. Точно так же ученому интересна не отдельная бабочка, кошка, собака, а вид или род или семейство чешуекрылых, кошачьих и т.п. «Бытием в собственном смысле обладает для нас вид, род или класс, но не *этот*, никому сам по себе не интересный таракан, кот или кокон!» – суммировал Ухтомский концепцию Конта²⁹.



Огюст Конт

Надо полагать, то было не первое его знакомство с философией позитивизма, но прежде он принимал ее как должное. Не на том ли принципе базировались его собственные лабораторные опыты на кошках, собаках, лягушках, десятками и сотнями приносимых в жертву, чтобы познать закономерности процессов, протекающих в организме кошек вообще, лягушек вообще, в живом организме вообще.

Но в эти голодные и холодные дни, когда даже тараканы выглядели жалкими и высохшими с голодухи, в нем все

²⁹ «Пути в неизвестное», сб. 10, стр. 395. Письмо к Е.И.Бронштейн от 30 апреля 1927 г.

возмутилось против бездушия такой философии. Ведь если рассуждать логически, то под концепцию Конта подпадает и человек! Отдельный человек, единственная и неповторимая личность, неинтересен, он лишь «представитель» биологического вида! «Бытием в истинном смысле слова обладает не этот человек, который вот сейчас сидит на концерте, или умирает в больнице, или едет из лесу с дровами, или влюблен, или трудится над научной проблемой, или торопится со службы домой, или задумывает дипломатический шаг, или обманывает своего приятеля, – истинным бытием обладает лишь человек вообще, homo sapiens, или, в лучшем случае, *классовый человек*, homo aeconomicus! И отсюда также понятно и правомерно, что мы берем вот *этого* человека, который сейчас перед нами, чтобы на нем изучить единственное заслуживающее интереса: “человека вообще”, или “классового, экономического человека”, или “национального человека”, т.е. то, что сколько-нибудь заслуживает наклейки на себя научного ярлыка. И, вместе с тем, с тем же хладнокровием и чувством своего права, с которым мы приступаем к экспериментам на бабочке и кошке, мы будем теперь третировать этого человека, который сейчас перед нами (напр[имер], Анну Николаевну Ухтомскую), чтобы постигнуть и, по нашему убеждению, улучшить жизнь “человека вообще” или “классового человека”, или “национального человека”»³⁰.

Нетрудно понять, что эти мысли были вызваны не столько трудами Конта, сколько тем, что творилось вокруг большевистской властью. Ее чудовищные эксперименты проводились не на тараканах. Страдали и гибли миллионы конкретных человеческих личностей ради придуманной цели: когда-нибудь в будущем улучшить жизнь «классового человека».

4.

Чекисты до Ухтомского добрались уже не в Петрограде, а в его родном Рыбинске, куда он снова смог выбраться только осенью 1920 года, сдав кафедру вернувшемуся в северную столицу Н.Е. Введенскому. Алексей Алексеевич надеялся отдышаться и подкормиться в близкой ему обстановке, в любимом старом домике покойной тети Анны, среди любимых книг, милых сердцу икон и памятных вещиц, но вышло иначе.

За ним пришли 17 ноября.

Местная ЧК располагалась в здании бывшей гимназии, в которой он когда-то учился. Сперва его заперли в дежурке, «а затем вошедший, коренастый, пожилой и какой-то весь серый

³⁰ Там же, стр. 395-396. То же письмо.

человек голосом привычного бойца со скотобойни спросил, все ли готово, и затем обратился [к арестанту], как к предназначенной к убою скотине: «Ну, иди...»³¹.

Его увели в подвал.

Он знал, что отсюда уводят в сад, где расстреливают и закапывают, – это было известно всему городу. Ожидание смерти тянулось много томительных часов, и одному Богу известно, что он пережил и передумал за эти часы. Но костлявая неожиданно отступила.

Спасла его, как оказалось, ничтожная бумажонка, которую нашли у него в кармане при обыске: она удостоверяла его депутатство в Петроградском совете. Рыбинское «политбюро», как иронично назвал местную ЧК Ухтомский, заскребло в затылках, не зная, как поступить с необычным арестантом: бывший князь с дремучей мужицкой бородой, и он же профессор университета; активный деятель церкви и он же депутат Петросовета! В прокрустово ложе классового пролетарского сознания он не укладывался. К разочарованию «серого человека», у коего добыча выскальзывала из рук, арестанта решили отконвоировать в Ярославль, в распоряжение губернской ЧК: пусть разбирается начальство. Кто и как конвоировал Ухтомского, на каких «транспортных средствах» переправляли его в Ярославль, – об этом история умалчивает.

Он понимал, что его могут прикончить и в Ярославле. Но появление князя-профессора-депутата у губернского начальства вызвало такое же замешательство, а затем и здесь было принято соломоново решение: арестанта, снова под конвоем, отправили в Москву, на Лубянку.

В центральной тюрьме ВЧК он просидел почти два месяца, ожидая каждый день, что он будет последним. Но в конце января (1921 года) его препроводили домой в Петроград – кажется, уже без конвоя. В некоторых воспоминаниях сказано, что освобождение пришло благодаря личному вмешательству Дзержинского. Подтверждения этому я нигде не встречал.

Между тем, рыбинская библиотека Ухтомского – необычайно богатая и разнообразная (религиозная литература, философские трактаты на разных языках, труды по физиологии и другим естественным наукам, коллекция старопечатных книг) – оставалась опечатанной. Она подлежала конфискации рабоче-крестьянской властью, которая понятия не имела, что с нею делать.

³¹ А.А. Ухтомский. Лицо другого человека. стр. 462. Письмо к В.А. Платоновой от 30 ноября 1921 г.

Потеря библиотеки означала бы для Ухтомского лишение большой части самого себя: книги он тщательно подбирал, работал с ними, делал пометки и развернутые комментарии для использования в дальнейшем, записывал заветные мысли. Как свидетельствовал А.А. Золотарев, «чтение его носило характер свободного собеседования с автором, порою очень живого, искреннего, восторженного увлечения и умиления чужими мыслями, если автор был для него “заслуженным собеседником”, порою иронического и резко-несогласного отпора чуждых ему мнений, если автор уклонялся от живой, девственной и действенной Истины, которую лично исповедовал и носил в своем сердце А.А.»³².



А.А. Золотарев, 1899 г.

Выручило то, что Золотарев работал заведующим Рыбинской библиотекой-хранилищем и был лично знаком с председателем горисполкома. За ним числились и революционные заслуги: студентом был арестован, дважды бежал за границу,

³² <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=14>

откуда вернулся только в 1914 году – при новой власти это прибавляло ему вес.

Благодаря настойчивым ходатайствам Золотарева домашнюю библиотеку Ухтомского удалось спасти. В своих воспоминаниях он привел несколько заметок, из множества оставленных Ухтомским на полях книг или на вклеенных в них листках.

Они поистине бесценны, если учесть, что спасенная в 1920 году, библиотека – большая ее часть – была-таки конфискована 14 лет спустя, когда в Рыбинском домике Ухтомского проживала монахиня Гурия, к которой доблестные чекисты нагрянули с обыском. (Сам Ухтомский после пережитого в 1920-м году в Рыбинске не появлялся). Приведу запись, которую Золотарев переписал с корешка одной из книг. Она приоткрывает дверцу в тот мир мыслей и чувств, которые владели Ухтомским на протяжении всей жизни:

«С кем поведешься, таким будешь и ты сам. Люди будут чувствовать то новое и совершенно особое доброе, что переносится к ним. Но это не от себя, а от того воздуха, в котором ты побывал и которым обвевался. С другой стороны, каков ты сам, таковым будешь строить своего собеседника: собеседник является тебе таким, каким ты его заслужил. И здесь *страшный путь* к тому, чтобы и пророка, и подвижника, и мученика, и самого Христа, и Бога перестроить по своему подобию и стать тогда умирающим с голоду посреди изобилия и неутоленным в своем замкнутом порочном круге. Все дело здесь решается тем, идет ли человек на самоутверждение, самообеспечение и сомнение или выходит из своих твердынь и замков в поисках *пребывающей вне его Правды*»³³.

Глава девятая. Снова епископ Андрей

1.

Не прошло нескольких месяцев после освобождения Алексея Алексеевича выпустили из Лубянской тюрьмы, как в ней оказался епископ Андрей.

О брате Алексей Алексеевич не имел сведений с лета 1918 года, когда восстание корпуса пленных чехословаков отрезало Уфу от центральной России.

Оказавшись за линией фронта гражданской войны, епископ Андрей оставил надежды на исправление «симбирского помещика Ленина, окруженного бронштейнами, хамкесами и

³³ А.А. Ухтомский в воспоминаниях и письмах, стр. 42.

нехамкесами». Он без колебаний признал власть адмирала Колчака, стал членом Сибирского Временного Высшего церковного управления, возглавил духовенство Третьей колчаковской армии.

После разгрома Колчака он сумел скрыться, но в феврале 1920 года чекисты выследили его в Новониколаевске (Новосибирске). Оттуда его отконвоировали в Омск. В омской тюрьме он провел более полугода, подвергаясь допросам и ожидая суда ревтрибунала, который ничего хорошего недавнему колчаковцу в монашеском одеянии, конечно, не сулил. Но неожиданно от него потребовали письменное обещание, что он не будет заниматься ни явной ни тайной агитацией против советской власти, а, напротив, будет разъяснять верующим, сколь благотворна для них статья советской конституции об отделении церкви от государства. Такое обещание он мог дать с легким сердцем, так как против власти выступать не собирался, а за отделение церкви от государства ратовал еще в царские времена. В результате последовало постановление:

«Дело по обвинениям Епископа Уфимского АНДРЕЯ <...> прекратить, из-под стражи его освободить и направить в Уфу с тем, чтобы там он находился под надзором самих верующих, которые в случае нарушения им принятых на себя обязательств будут отвечать как его соучастники»³⁴.

Дата постановления – 4 ноября 1920 г. Подпись – завотдела юстиции Сибирского революционного комитета А. Гойхбарг (один из «нехамкесов»).

Однако в Уфу освобожденный епископ не вернулся. По каким-то причинам он застрял в Омске и на исходе зимы снова был арестован – после выступления перед крестьянами, которое сочли контрреволюционным. Пока сидел в тюрьме, написал большое сочинение, позднее утерянное, которым хотел «научить православных христиан подлинной церковной жизни, церковной республике». За предоставленную возможность писать благодарил начальника омской ЧК.

Похоже, что в Омске понятия не имели, что делать с епископом Андреем, и в ноябре отконвоировали на Лубянку. Не исключено, что он попал в ту же камеру, где в начале года сидел его брат. Однако вскоре его перевели в Бутырскую тюрьму.

В.А. Платонова, перебравшаяся к тому времени из Саратова в Москву, подготовила посылку с теплой одеждой

³⁴ Цит. по: А. Нежный. Ук. соч.
http://krotov.info/history/19/1890_10_2/1872_andr_uhtomski.htm

своему Алексеюшке, но, узнав, что его брат находится в Бутырках, отнесла передачу узнику. Алексей Алексеевич ей писал:

«Хорошо, что передали ему предназначавшееся мне, – это Вам Бог внушил. Я здесь как-то втянулся в температуру квартиры и живу сносно, да ведь у меня есть что надеть! На днях выдали фуфайку из иностранных подарков³⁵, да из Рыбинска пришли теплые чулки. Передайте, родная, и прочие вещи, мне предназначавшиеся, нашему узнику. В записке, которую прилагаю для него, я кое-что исправил, дабы сделать ее безопасною. Если найдете нужным что-нибудь еще изменить, пожалуйста, измените. Всего, впрочем, не угадаешь, что может дать пищу чиновникам, если записка попадет в их руки».

И, как заправский зэк, продолжал:

«Надо помнить о периодических повальных обысках, которым подвергаются обитатели этих учреждений. А Владыка Андрей, пожалуй, не уничтожит письма, которого долго ждал. Пожалуйста, поскорей сообщите мне, удалось ли передать. Напишите, что бы ему переслать отсюда! Что его поместили в Бутырки, это и хорошо и худо: хорошо в том отношении, что там содержание несравненно свободнее и человечнее, чем на Лубянке; худо в том, что помещают туда затяжных узников, которых не предвидят скоро выпустить или судить; это обычно же арестованные, следствие которых почему-нибудь затягивается и отлагается до дополнительных данных. Это так для арестованных, числящихся за ВЧК. Возможно, конечно, что в данном случае дело идет иначе»³⁶.

Алексей Алексеевич оказался прав: следствие по делу отца Андрея застопорилось. В августе его выпустили «по состоянию здоровья».

За «гуманной» акцией стоял политический расчет. Чекисты знали о близости взглядов епископа Андрея к позиции «обновленцев», которые остались в меньшинстве на Поместном Соборе, но затем, поладив с большевиками и опираясь на их поддержку, ополчились на церковное руководство. Лидером обновленческого движения («Живой церкви») считался протоиерей Александр Введенский, но его действиями умело дирижировал чекист Евгений Тучков. Обновленцы обвинили патриарха Тихона – к тому времени он уже был под домашним

³⁵ Иностранная (в основном, американская) помощь стала поступать в Советскую Россию в связи с голодом, охватившим страну из-за массовой гибели хлебов в Поволжье.

³⁶ А.А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 462. Письмо к В.А.Платоновой от 30 ноября 1921 г.

арестом – во враждебности к советской власти. Они явились к нему в сопровождении чекистов и заставили подписать бумагу о временном отказе от руководства церковью.



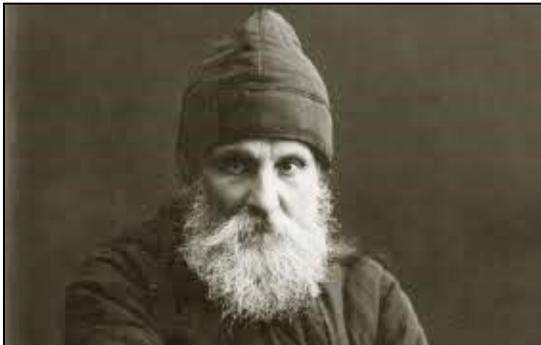
Митрополит Александр Введенский, глава Обновленческой церкви, 1924 год. К этому году он уже митрополит

Тучков и его подручные, видимо, сообразили, что поддержка такого влиятельного церковного деятеля, как епископ Андрей, укрепила бы позиции обновленцев среди верующих. Но в этом чекистов подстерегала неудача. Выйдя из тюрьмы, епископ Андрей тотчас схлестнулся с обновленцами. Дошло до нервного срыва, о чем А.А. Ухтомский с беспокойством писал Н.Е. Введенскому, снова уехавшему в родную деревню – ухаживать за парализованным братом.

Делясь новостями, Ухтомский сообщал о серии арестов в университете, где были взяты, а затем высланы из страны видные философы, социологи, юристы, экономисты: Д.Ф. Селиванов, Н.О. Лосский, Л.П. Карсавин, упоминавшийся П.А. Сорокин и другие (знаменитый «пароход философов»). Сообщая своему учителю о новой волне репрессий, Алексей Алексеевич опасался, что похожая участь постигнет и его самого, и его неугомонного брата. Эти опасения не были напрасными.

После освобождения отца Андрея ему дали возможность вернуться в Уфу, но в феврале следующего, 1923, года он снова

был арестован. Его приговорили к трехлетней ссылке в Ташкент, а после истечения срока, к – новой трехлетней ссылке, в Ашхабад. Его выступления против обновленческой церкви становились все более резкими, но он оказался в конфликте и с руководством официальной церкви, которое считал бездеятельным и слишком послушным безбожной власти. После того, как арестованный патриарх Тихон подписал бумагу о временном снятии с себя верховного руководства церковью, его полномочия перешли к митрополиту Петру (Полянскому), ставшему «местоблюстителем патриаршего престола» (временным патриархом). Однако отец Андрей не признал его полномочий, заявив, что «московским самодержцем в духовном сане» тот стал «с помощью многих и сложных шахматных ходов», то есть незаконно. В ответ церковное руководство обвинило епископа Андрея в нарушениях канона, ибо стало известно, что, будучи сторонником сближения официальной церкви со старообрядческими толками, он был тайно рукоположен в епископы Белокриницкой старообрядческой церкви. Местоблюститель Петр использовал этот повод, чтобы запретить отцу Андрею священнослужение. Тот не подчинился, так как не признавал верховенство митрополита. Можно лишь догадываться, как потирал руки Евгений Тучков – главный куратор церковной жизни от ОГПУ, наблюдая за этой распрей.



Епископ Андрей. Последние годы жизни

После ареста местоблюстителя Петра, «заместителем местоблюстителя» стал митрополит Сергей (Страгородский). Запрет священнослужения епископу Андрею он тотчас же подтвердил³⁷. Епископ Андрей снова не подчинился, заявив, что

³⁷ Согласно А. Нежному, никакого документа о том, что местоблюститель Петр Полянский запретил отцу Андрею отправлять церковные службы, в

на сотрудничество со старообрядцами его благословил сам патриарх Тихон, к тому времени уже покойный. Так отец Андрей оказался между молотом и наковальней.

Свой крестный путь «грешный епископ Андрей», как он подписывал свои многочисленные послания, прошел до конца: через тюрьмы, ссылки и пересылки, вплоть до пули в затылок в Ярославской тюрьме в сентябре заклётого 1937-го. Зато Евгению Тучкову было присвоено звание «Заслуженный чекист» за то, что «под руководством тов. Тучкова и при его непосредственном участии была проведена огромная работа по расколу православной церкви (на обновленцев, тихоновцев и целый ряд других течений). В этой работе он добился блестящих успехов»³⁸.



Чекист Евгений Тучков

2.

Алексею Алексеевичу был чужд конфронтационный характер брата, его поведения он не одобрял. «На меня, – писал он своей ученице, – имели, без сомнения, воспитывающее влияние наши заволжские староверы, всегда очень серьезные и строгие к себе, предпочитающие просто устраниваться, но не унижаться до борьбы с тем, в чем не хочешь и не можешь участвовать и что презираешь»³⁹.

архивах не сохранилось, и его, возможно, вообще не было. Если так, то митрополит Сергей «подтвердил» запрет, которого не существовало.

³⁸ Цит. по: Википедия, статья «Евгений Александрович Тучков».

³⁹ А.А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 621. Письмо к Фаине Гинзбург от 4-9 апреля 1930 г.

О брате Алексей Алексеевич, как правило, хранил молчание. Даже самые доверенные его друзья и ученики, за исключением В.А. Платоновой, почти ничего не слышали от него о брате, а если слышали, то только в прошедшем времени. А.В. Коперина (Казанская), дневавшая и ночевавшая (в прямом смысле слова, но об этом ниже) у Ухтомского в то время, когда он, через Платонову, слал посылки брату в Бутырскую тюрьму, считала, что «с начала 1920 г. отец Андрей числился умершим». Такие «сведения» вводили в заблуждение и некоторых биографов Ухтомского. Так, А.В. Шлюпникова, автор небольшой книжки о нем, тоже была уверена, что епископ Андрей умер в начале 1920 года⁴⁰.

(Конец первой части. Продолжение следует)



⁴⁰ А.В. Шлюпникова. Академик Алексей Алексеевич Ухтомский (1875-1942). Верхневолжское книжное изд-во, Ярославль, 1968, стр. 11.

Алексей Цветков

«СМЕРТЬ ДИДОНЫ»

СТИХИ

разрыв

он долго жил но стержень в нем погас
и под конец когда сошла былая
молва не помнил за кого из нас
он прежде принимал себя пылая
забыл кого из нас считал собой
когда самих почти следы простыли
оставшись в темноте пускай рябой
от редких дыр с их звездами простыми
еще надеждой тешили врачи
но для слепых с кем свет искал сквитаться
он больше не был той свечой в ночи
на чей огонь имело смысл слетаться

есть только эти мы каких-нибудь
других нельзя и как из плена игорь
единственный искал на волю путь
ему из нас остался узкий выбор
из связки извлеченное звено
исконной славы копия сырая
он жил когда все сгнули давно
с оригиналом сходства не сверяя
но неспособный ни к какой иной
телесной форме к плавникам и перьям
и если был как уверяли мной
мне от него верней отречься первым

нектар таскали и пыльцу
сквозь сотни трудных миль
но время подошло к концу
пора валиться в пыль
ум посерьезнее чем мой
велит свернуть дела
зачем тогда я был пчелой

зачем была пчела
ум посерьезнее чем мой
идеей обуян
что жизнь была один сплошной
оптический обман
что уж мираж в густом хвоще
и аист и вода
и никакой пчелой вообще
я не был никогда

а я уже лежу в пыли
и возразить нельзя
но все-таки цветы цвели
их хватит за глаза
все лето в толчее речной
я трогать их любил
вот почему я был пчелой
вот почему я был

баллада канатчиковой дачи

внезапно он впал в непонятки
и был на лечение взят
в приют где крутые порядки
лет может быть сорок назад

сестра выдавала таблетки
для восстановления сил
хранил их в бумажной салфетке
и новых исправно просил

в палате лежали больные
от жутких видений крича
с уколами в жопах иные
и не было к двери ключа

психический с фиксой в оскале
сновал среди коек как рысь
а к будке во двор не пускали
друзьям позвонить и спастись

тогда он решил притвориться
нормальным как эти врачи

нащупав где вроде граница
рассудка светилась в ночи

и мир показался понятным
известным как меньшее зло
с жестоким режимом палатным
расстаться ему повезло

он вырвался заживо с дачи
где дух у иллюзий в плену
а может все было иначе
и только казалось ему

что прежняя жизнь продолжалась
что осени краски пестры
и лишь мимолетная жалость
мелькнула в глазах у сестры

когда в простыне выносили
впотьмах санитары труда
чтоб в бедную землю россии
зарыть и забыть навсегда

где так и лежит он ненужный
свою отстояв правоту
и лес полыхает наружный
как фикса у психа во рту

когда-нибудь я вспомню все что знал
и все что вспомню рассую по полкам
и даже тем чего не вспомню толком
набью до люстр библиотечный зал

пусть служит мне последняя своя
просторная хоть и на склоне века
александрийская библиотека
где все из бывшей памяти слова

не упущу в реестре ни одно
из прежних лиц что радовали око
но горько будет мне и одиноко
глядеть в библиотечное окно

под визги сверл и циркулярных пил
сквозь стеллажей ажурные границы
от неудачи в поисках страницы
где было про тебя но я забыл

каплан

в овраге катаракт в краю поганом
где камни на сочувствие скупы
полуслепая женщина с наганом
лицом к лицу с немилостью судьбы

ну дурь курила бы или хромала
а то глазным изъяном подвела
кто ей диоптрий отслюнил так мало
что целясь в зло она не видит зла

и будущее алыми волнами
толпу смывает с пирса как котят
судьба одержит верх что будет с нами
хоть с тем же мной когда меня родят

в стране где вся навыворот плерома
под сажей божий промысел угас
история на месте перелома
срослась но кости вдребезги у нас

плеснешь в стакан но утешенье мнимо
и вымучен зовущий к бунту стих
на стогнах где всегда стреляют мимо
очкарики поводыри слепых

кони

над речкой стояла изба кузнеца
под копотью плотной и потом
никто различить не пытался лица
мы знали по грохоту кто там
страшной колдуна и кощей худей
он плуги прямил обувал лошадей
как ворон кувалда летала
под черную песню металла

ночные куранты над скудным жнивьем
в ноябрьской предательской жиже
мы слушать к плетню приходили втроем
ни порознь не смея ни ближе
там пламя ночами пылало года
и если он спал мы не знали когда
гремела печаль вековая
всю правду из недр выбивая

но только однажды он лег на кровать
покорной сказав половине
что больше коней не намерен ковать
что кони свободны отныне
и мы прибежав с ежедневным огнем
лицо человека открыли на нем
нездешним отмытое светом
мы вскоре окажемся все там

наутро сказала что будет ничья
и сгинула как не бывала
соперника вскоре нашли у ручья
украдкой родня отпевала
не мой ли черед позабросив дела
куда эта песня упрямо вела
где кони без шрамов на коже
свободны и всадники тоже

история струится на дворе
судьбы царица
как предсказал анри пуанкаре
все повторится

сам воздаяние себе и мечь
свой суд без слова
едва отдышишься от жизни здесь
начнется снова

притерта биография к вещам
вся в адской саже
она как фридрих ницше обещал
у нас все та же

надежда свидеться соблазн обнять
живых кто ближе
но там ведь ты появишься опять
всегда все ты же

смерть дидоны

бросит серп землероб и каменотес кайло
в почерневшей лазури из ангелов никого
спят сопя светила лишь с берега шлет гора блик
но в сожженном зрачке ее отражение ложь
странник нижнего неба куда ты всегда плывешь
золотой кораблик

если предок в пещере не изобрел огня
не барахтаться в браке до остального дня
полоснешь серпом и легко пребываешь холост
золотой на волне долговое письмо врагу
землероб ли да с каменотесом на берегу
собирают хворост

догори дорогая рубиново меркни спи
корабли на воде словно скифы в пустой степи
или блохи в руне олимпийским гонимы гневом
сокрушителям башен не стоила троя труда
всхлипнет море и вспомнит кем оно было тогда
затонувшим небом

на истлевшем сердце парусный светел след
искривляет время коралловый твой скелет
но на звездном заднике смазан в туман от ветра
только грунт елисейских раздолий реально тверд
только знает любовь кого заманила в порт
и кого отвергла



Рудольф Фурман

Несовпадение



е зима тревоги нашей –
осень жизни правит балом.
По листве идем мы павшей
и испытанной пожаром..

Мы идем с тобой неспешно –
до зимы уже недолго,
но пока еще не снежно,
торопиться нету толка.

Воздух горечью пропитан,
и прозрачен, и прохладен,
и дождями перемыт он,
и с дыханьем нашим ладен.

В этом времени тягучем
есть печаль своя и прелесть:
этот воздух, эти тучи,
эти листьев павших шелест.

Все острее ощущение
долгожданного покоя...
Не прощанье, а прощенье,
очищение благое.

Воспоминания о Петербурге

Камень, чугун, вода,
Небо висящее низко...
Всё это было тогда
Рядышком, близко.

Не было ни на чуть
Тени сомненья –

Здесь моя жизнь, путь,
Здесь вдохновение.

Думал, что навсегда
Богом отмечен.
Боже, как же тогда
Был я беспечен!

Нет меня больше, нет
В старом пространстве.
Вот уже много лет
Я в эмигрантстве.

Вижу издалека, –
Город на месте.
Камень, чугун, река
С небом угрюмым вместе.

Осень. И дождь моросит,
Вижу я живо:
Город, как прежде, открыт
Ветру с залива.

Парки промокли насквозь
Листья озябли.
Всё здесь и вместе и врозь
Помню, до капли.

Всё, что дорого мне,
Не пропадает.
В сердце, в его глубине
Память пылает.

Этот шум городской
проникает без спроса сквозь стекла.
Он непрошенный гость,
только мне от него не сбежать.
А на улице дождь –
все до нитки последней промокло,
и шумливого гостя
придется мне все ж привечать.

Все смешалось в нем, все,
Как в каком-то едином порыве:
шум дождя, шум моторов и шин,
скрип и визг тормозов,
вой пожарных сирен,
в иступленьи, в тревожном надрыве,
и еще долетают
обрывки чужих голосов.

Гость не прошен совсем,
но его, как хозяин радушный,
я не чаем, а музыкой
угощу и слегка поворчу.
Чтоб сидел он спокойно
как ребенок примерный, послушный,
я концерт Мендельсона
для скрипки с оркестром включу.

Гость уйдет незаметно,
как-будто его не бывало.
Он растает, исчезнет
как утром докучливый сон.
Бог с ним, с гостем,
вот только бы скрипка звучала,
да и в гости почаще б
ко мне приходил Мендельсон.

От времени, текущего из тьмы,
я ничего не буду брать взаймы,
мне до конца бы разобраться с этим,
которое даровано судьбой,
где все есть, что прописано в сюжете,
и тот же свет в чередованье с тьмой,
и чувства, что переполняют душу,
и те, что вырываются наружу
и те, сдержат которые могу,
и те, что для себя я берегу.
В нем нету недостатка, нет избытка,
в нем ровно столько, чтоб судьбу прожить...
А встретилась бы золотая рыбка,
не стал бы ни о чем ее просить.

С недавних пор молчанье не страшит,
пропала нетерпимость ожидания
стихов и писем. Нету и отчаянья
былого и душа не так болит,
как раньше... Видно отболела,
отождалась, отбоялась. Время
иное было, не было предела
его капризам. и нелегким бремя,
когда я от него чего-то ждал,
и торопил, и мучился, и мучил,
надежде верил и в счастливый случай,
и многое о чем переживал.
Но что-то неожиданно сломалось...
Смирился? Нет. Смиренье ни к чему,
и безразличье, – если только малость,
но распусться я не дам ему.
На обреченность тоже не похоже...
А видимо я понял, наконец,
что время торопить совсем негоже
и бесполезно, – ни к чему сырец.
Нужна его иная ипостась:
оно должно созреть не торопясь,
как яблоко, как женщина для родов,
как, каждый в этой жизни, – до любви,
и, как изгой, до своего исхода...
поэты – до кипения в крови...

Несовпадение

А мы с тобой совсем не совпадаем
во времени, в пространстве. Привыкаем
к отсутствию друг друга, но душа,
нам верою и правдою служа,
саднит и кровоточит от урона...
На эту рану не наложишь швы
здесь, где живу, на берегах Гудзона,
там, где живешь, на берегах Невы.

Но если повезет быть снова рядом
под небом синим, желтым листопадом,
под белым снегом, голубым дождем,
наверное, опять не совпадем.

Хоть нет тому особого резона,
но что-то в нас надломится , увы,
за срок, что я на берегах Гудзона,
а ты все там, на берегах Невы.



Наум Сагаловский

«Давай мы уедем...»

Стихи

Lamentazione



давайте поплачем – не так, чтобы слёзы
ручём,
не так, чтоб рыдать, на груди разрывая футболку,
а скромно, без шума, вдали от людей, втихомолку,
давайте поплачем, и есть, слава Богу, о чём,
хотя бы о детстве, давно это было, но всё ж,
о юности нашей, весёлой и полуголодной,
задушенной временем, будто змеей подколодной,
давайте поплачем, а сердце стучится - не трожь,
зачем, говорит, отворяешь души погребя,
ах, нет ничего этой горькой привычки зловредней,
давайте поплачем о первой любви, о последней,
которая вовсе уже не любовь, а судьба,
о старых друзьях, а других уже не обрести,
спасибо, что были, печально, что нет им возврата,
немножко о маме - была и такая утрата,
до встречи, скажу я, дай Бог, чтоб не скорой, прости,
о прошлой весне, что над нами была разлита,
о нынешнем лете, пленительном, но уходящем,
о том, что его мы уже никогда не обрящем,
ушло, улетело, как быстрые наши лета,
в далёкую вечность, а вечность - коварный магнит,
и мы ничего от неё в этой жизни не спрячем,
пускай не сегодня, но завтра, давайте поплачем,
и скорбную душу нежданный покой осенит.

Любите поэтов

Любите поэтов, пока они живы,
покуда их смерть не прибрала, шалава,
пускай наши страсти по ним и не лживы,

на что им, поэтам, посмертная слава?..

За то, что в унылой поре бездорожья
находят к сердцам потаённые тропы,
за то, что в них теплится искорка Божья,
за то, что они никому не холопы, -

любите поэтов, пока они живы,
прощайте поэтам грехи и пороки,
хотя ни корысти от них, ни наживы,
один только воздух, безмолвные строки.

Но там, за строками, проносятся грозы,
там поле широко и речка бездонна,
там птицы поют и кричат паровозы,
смеётся паяц и рыдает Мадонна!..

Утонут стихи в незапамятной Лете,
склонятся над ними плакучие ивы...
За то, что они существуют на свете,
любите поэтов!

Пока они живы...

А вечером ветер стучится в окно...

...А вечером ветер стучится в окно
и шепчет, что он прилетел издалёка,
что сам он не местный, а с юго-востока,
пора б ему, ветру, улечься давно,
но негде, не спать же ему под кустом!..
И я, сердобольный, усталому другу
дрожащей рукой открываю фрамугу,
и ветер, как пуля, врывается в дом
и мчит, моего не касаясь плеча,
в гостиную, в спальню, потом в кладовую,
с трудом залезает в трубу дымовую
и там затихает, о чём-то ворча...
А ночью в окне серебрится луна,
когда уже медленный дождик прокапал,
она, не спеша, опускается на пол
и дремлет, заботами утомлена.
Как славно, сквозь сон говорю я себе,
что беды сегодня прошли стороною,

душа не пропала, и рядом со мною -
луна на паркете и ветер в трубе...

Cherchez la femme

Ищите Женщину! Она
живёт в душе мечтой хрустальной,
обворожительною тайной
со всех сторон окружена.
Ищите Женщину - затем,
что Ей однажды ночью лунной
предназначаются фортуной
слова заветные "Je t'aime".
Она неведома пока,
не появилась, не проснулась,
и к вам ещё не прикоснулась
Её горячая рука,
но в добрый день и в добрый час
любовь откроет семафоры,
пересекутся ваши взоры,
и вдруг Она узнает вас,
и вспыхнет вольтовой дугой
всё то, что тлело по наитью,
два сердца свяжет крепкой нитью,
до невозможности тугой,
а там... Не каждому дано,
нет ни злодея, ни героя.
Ищите Женщину! Её я
уже нашёл. Давным-давно...

Судный День

Яну Дымову

Судный день. Йом Кипур. Как еврею мне пост не
претит.

Элохим Адонай! Я традиций ничем не нарушу.
Целый день голодал. Нагулял неплохой аппетит.
Только солнце зашло, пообедал за милую душу.

В это время Господь, отрешась от безделья и нег,
пишет вечным пером на странице всеобщей тетрадки:
"Сагаловский Наум. Говорят – неплохой человек.
Впрочем, есть у него хоть и мелкие, но недостатки.

Он не ест овощей! Ни варёных не ест, ни сырых.
И к тому же щека у него постоянно небрита.
Пусть, во-первых, живёт. Пусть он будет здоров,
во-вторых,
для чего в декабре дать ему облегченье артрита.

Пусть не тронут его злополучной судьбы жернова!
Я ему подарю светлый разум на долгие годы.
И пускай у него никогда не болит голова
за налоги, страховки, счета и другие расходы.

А ещё пусть и впредь он своих не кусает локтей,
и успехов ему в собирании яблок и вишен!
Что касается *нахес* от внука, жены и детей –
*well, my friend, don't expect very much, I am not a
magician!.."*

И Господь достаёт из архива мой старый портрет,
долго молча глядит на своё неразумное чадо,
"Может, выдать ему лотерейный счастливый билет?",
–
говорит сам себе и, подумав, решает – не надо...

Спасибо аисту...

Спасибо аисту
за то, что он меня
принёс когда-то в дом
к хорошим людям,
об этом я скажу
небесным судьям,
пред сонмом их
колени преклоня.
Спасибо матери -
она успела в срок
бежать с детьми
в тревоге и кошмаре,
а то бы мы погибли
в Бабьем Яре
и я не написал бы
этих строк.
Спасибо Сталину –
его будь проклят прах! –

за то, что он
внезапно врезал дуба,
и не пришлось
по воле душегуба
мне гнить
в биробиджанских
лагерях.
Спасибо случаю
за славный НПИ –
старинный институт
новочеркасский,
где в нищете,
зато под песни-пляски,
промчались годы юные мои.
Спасибо партии,
скажу я со стыдом,
огромное спасибо ей,
проклятой,
она меня,
с моей графюю пятой,
заставила покинуть
отчий дом.
Спасибо Картеру,
пусть он антисемит,
за то, что разрешил
приехать в Штаты,
я стал никем,
но здесь мои пенаты,
и прежний мир
мне сердце не щемит.
Спасибо Господу
за то, что жив пока,
то королём я мню себя,
то пешкой,
барахтаюсь,
дышу,
а Он с усмешкой
за мною наблюдает
свысока...

Вдруг примчится ветер...

...вдруг примчится ветер
и нашепчет слово,

уходит куда-то по нотной шкале...
Вы слышите, братья –
 мы живы, мы выжили,
и мы ещё будем на этой земле!

И мы ещё будем!..
 Но что ж это, что ж это
стекает слезою по мокрой щеке?
Всё то, что ушло, и забыто, и прожито,
теперь уже с вечностью накоротке,
и мамины песни с их тум-балалайкою,
язык, что давно уже взят на измор,
не тот, на котором я бойко балакаю,
не тот, на котором веду разговор...

Мои дорогие, играйте, пожалуйста,
обидам назло и невзгодам назло,
пускай холодна эта жизнь и безжалостна,
а всё-таки - фрэйлэхс! И свет! И тепло!..

Смерть поэта

Умирает бедный Пушкин, тяжело раненный в живот,
он лежит, укрытый пледом, на продавленном диване,
а на Мойке, у подъезда - дети, барышни, крестьяне,
филера, студенты, бляди - трудовой, простой народ.

Между тем, в своей квартире арестован Жорж Дантес,
он уже часов шестнадцать не вылезает из кутузки
и барону Геккерену пишет письма по-французски –
мол, давай, спасай, папаша, раз я в это дело влез.

У барона Геккерена тоже мутно на душе –
знает, сука, что придётся уезжать к себе в Гаагу,
снимут с должности посольской, отберут камзол и шпагу
и зашлют куда подальше второсортным атташе.

А Наталья Николаевна от забот едва жива –
в доме денег ни копейки, только брошки да серёжки,
благоверному всё хуже – где б достать ему морошки?
Боже мой, ещё немного – и она уже вдова.

Николай по кличке Первый, Государь всяя Руси,

генералу Бенкендорфу говорит, что третий – лишний.
Впрочем, жаль невинных деток, – сжался, Господи
Всевышний,
душу бедного пиита упокой и вознеси.

"Пал поэт, невольник чести, оклеветанный молвой!" –
плачет горькими слезами некий гвардии поручик,
молодой певец печали, в тёмном царстве – света лучик,
сам убитый на дуэли, но тогда ещё – живой...

Вот и умер бедный Пушкин. Время знай себе течёт.
Где кому какая слава – не дано нам знать заране.
Но навеки остаются дети, барышни, крестьяне,
филера, студенты, бляди - трудовой, простой народ.

Конец января в городе N

Мой город - как заброшенный ковчег,
где каждая недремлющая пара,
спасаясь от вселенского кошмара,
сидит и ждёт, когда повалит снег.
Повалит снег, и занесёт дома,
на сосны ляжет, словно хлопья ваты,
и в ход пойдут забытые лопаты,
и зимняя начнётся кутерьма,
и это всё продлится сорок дней,
и воздух будет полон кислорода,
потом наступит хлипкая погода,
но небо станет выше и ясней,
померкнет снег, что прежде был искрист,
исчезнет с глаз поношенная шубка,
вернётся белоснежная голубка
и в клюве принесёт зелёный лист –
тогда придёт весёлый месяц март,
растопит почерневшие сугробы
и расцветёт подснежниками, чтобы
в который раз сказать весне "На старт!",
а там уже пойдёт жизнь-бытьё
в сплошном тепле, у солнца на пригреве...

Но я женат на Снежной королеве,
весной всегда мне страшно за неё.

Уносятся годы...

Уносятся годы, на ладан дыша,
уже не к веселью стремится душа –
к покою хотя бы,
слова расточаются по мелочам,
и птицы, увы, не поют по ночам,
но квакают жабы.

Но квакают жабы, сойдясь в хоровод,
их крики мой голос уже не прорвёт,
как воды - плотину,
а немощи тело берут на испуг,
и денно и ночью забвенья паук
плетёт паутину.

Плетёт паутину, дремучую сеть,
в которой я буду однажды висеть,
забытый навеки,
и будут под сетью изюм, курага,
малиновый звон, в киселе берега,
молочные реки.

Молочные реки, в них рыба форель,
и солнце сияет, и месяц апрель
приносит прохладу,
и девочка в белом, как ангел с небес,
идёт по бескрайнему полю чудес,
по вешнему саду.

По вешнему саду идёт, не спеша,
и сердце замрёт, и умчится душа
вдогонку за нею,
вдоль вечно-зелёных уснувших аллей,
за детством, за юностью бедной моей,
за жизнью моею.

За жизнью моею, за край тишины,
за солнечный круг, там уже не нужны
прогнозы погоды,
там горе - не горе, беда - не беда,
там дремлют усталые души. Туда
уносятся годы...

Бабье лето

День растаял вдали.
Догорает светило.
Небо синее,
тучки на нём
ни одной.
Где же бабы,
чьё лето уже
наступило,
те, что снились
когда-то
мне ранней весной?..
Успокойся, душа,
и стихов не корябай,
и на мир не гляди
сквозь волшебный
кристалл.
Не во сне –
наяву
я с единственной бабой
пятьдесят этих лет
день за днём
скоротал.
Пятьдесят этих лет
от забот
изначальных
до закатных тревог
пронеслись,
как болид...

Хрупкий лист
цвета наших колец
обручальных
многоснежную
долгую зиму
сулит.

Мы встретимся...

Мы встретимся на дальнем полустанке,
куда уже не ходят поезда...

Там рельсы разворочены по пьянке,
лес поредел, обвисли провода,
и ни души. А я приду пешком,
не знаю точно, может быть, по шпалам,
я буду старым, грустным и усталым,
а ты, моя печальная, по ком
я тосковал, - ты будешь молода,
как с неба прилетевшая комета,
в наряд старинный нищенский одета,
и я тебя узнаю без труда,
и вспомнится забытый институт,
стихи в ночи и проза спозаранок,
и этот незавидный полустанок.

Когда-то я тебя оставил тут.

Как ты жила? С кем коротала дни?
Уже почти пройдя юдоль земную,
не осуждаю я и не ревную,
как хорошо, что мы с тобой одни.
Прости, я сам не знаю, чья вина,
что счастье со слезой пережежалось,
что был сквозняк в крови. Какая жалость,
что ты пришлась на злые времена!
О юность незакатная моя,
помянем годы рюмкою штрафною,
я ухожу, и ты уйдёшь со мною,
туда, где ждёт нас вечный судия,
но до того, до страшного суда,
назло судьбе - ленивой шарлатанке,
мы встретимся на дальнем полустанке,
куда уже не ходят поезда...

Осенний полдень

Осенний полдень, призрак чуда,
придёт, леса озолотив,
и вдруг, неведомо откуда,
знакомый вырвется мотив
из лет, ушедших и забытых,
крест-накрест памятью забитых,
когда над нами свет не гас,
наивны были мы и юны,

и руки тёплые фортуны
в любви удерживали нас.
Он зазвучит, и перед взором,
уже разрушенный дотла,
предстанет грустный мир, в котором
когда-то молодость прошла,
душа наполнится тоскою,
слезой непрошенной мужскою
оплачет прошлые года,
и вновь припомнит, одинока,
друзей, покинувших до срока
маршрут, ведущий в никуда...
Не плачь, душа. О чём ты молишь,
на слёзы горькие щедра?
То не конец ещё, всего лишь
недолгой осени пора,
пора прощанья и прощенья,
разлук, и мук, и возвращенья,
но время слёзы укротит,
заблещет новая зарница,
и всё на свете возвратится!

И жаворонок прилетит.

А для чего вся эта суета...

...А для чего вся эта суета –
за газ и электричество счета,
посуда, мебель, страсти по налогам,
компьютер, книги, Муза неглиже,
поэзия?.. Давно пора уже
не с Музой разговаривать, а с Богом.

Боюсь, что это будет монолог,
не станет говорить со мною Бог,
не для него e-mail и sms-ки,
и, если честно, то наверняка
он русского не знает языка,
а я - ни в зуб ногой по-арамейски.

Но всё равно - пора уже, пора
принять вину за шалости пера,
за дни мои, обвитые грехами,

за смех, когда на сердце кирпичи,
за слёзы, обронённые в ночи,
и за себя - со всеми потрохами.

Послушай, Бог, – я Богу говорю, –
конечно, я тебя благодарю,
не мне качать права и куролесить,
но, ежели возможно, как-нибудь
ты обо мне, пожалуйста, забудь
лет на пятнадцать, можно и на десять.

Забудь, но только силы мне оставь,
покуда я пешком, а то и вплавь,
не доберусь до светлого чертога,
тогда уйми весёлый щебет муз,
сними с моей души тяжёлый груз
и говори со мною, ради Бога.

Давай мы уедем...

давай мы уедем
куда-то
где старости нет
погрузим в Тойоту
свой нищенский скарб
и уедем
за первой звездой
не сказав до свиданья
соседям
и где-то в пути
нас обоих
догонит рассвет
и вдруг мы увидим
плодами увешанный сад
и море цветов
их весенняя ночь
оросила
и в этих цветах
ты сама
молода и красива
а рядом с тобой
это я
чернобров и усат

как не было лет
и на счастье
направлен
компас
прости нас господь
что совсем
посходили с ума мы
но глохнет мотор
и за окнами
две наши мамы
стоят у дороги
и смотрят с печалью
на нас
прощай же
прощай
и да будет разлука легка
расстанемся мы
улетим
растворимся с туманом
в краю незнакомом
но всё-таки
обетованном
где старости нет
наовсем
навсегда
на века.



Александр Танков

Игра в войну

Плач Иеремии



Плать, Иеремиа, плачь!

Горечь согбенных плеч,
Эхо осенних дач
И электричек речь.
Ночи лиловый плащ,
Ржавые гвозди звезд.
Плачь, Иеремиа, плачь!
Смерти сценарий прост.
В ночь погрузи весло –
Горечь, сухой тростник.
Тридцать веков прошло,
Словно единый миг.
Жизнь пролетит сквозь ночь,
Как полустанка свет.
Прочь, Иеремиа, прочь!
Милости павшим нет.
В сердце стучится прах.
Все повторится вновь:
Ненависть, алчность, страх,
Кровь, Иеремиа, кровь.
В кляксах ночных огней
Мир равнодушный спит.
Смерти самой страшной
Стыд, Иеремиа, стыд.
Плещется о причал
Темной реки вода.
Каждый, кто промолчал,
Не избежит суда.
В чьих же руках ключи?
Кто иудей, кто грек?
В каждом из нас звучит
Плач вавилонских рек.

Так не стыдись, не прячь
Жалкую влагу глаз!
Плачь, Иеремия, плачь!
Небо услышит нас.
Март 2014

Игра в войну

Выходи! Рассчитайся на первый-второй
И не жди от кого-то ответа –
Кто сегодня палач, кто сегодня герой,
Кто сегодня умрет до рассвета.
Царь, царевич, король, королевич, портной...
Разберемся по детской считалке,
Кто вернется домой, кто уйдет в перегной,
Кто умрет на больничной каталке.
Кто – коленом по почкам, кто – лампу в лицо...
Не мешайте чужому веселью!
И трамвай выезжает, гремя, на кольцо,
Дребезжит золотой каруселью.
Что нам снится? За кем мы сегодня идем
И во что мы сегодня играем
Под колючим, пронзительным зимним дождем,
За дощатым соседским сараем?
Нам сегодня обещан обильный улов
И дешевое общее счастье,
И так сладко поет впереди крысолов,
Что душа разорвется на части.
О, кровавые прятки убийства и мглы,
Беспощадные жуткие танцы!
И фонарики пляшут, и лезут в углы
Патриоты, арийцы, повстанцы.
Горе слабым, растерянным! Горе уму!
В груди угольной у кочегарки,
Освещая глухую промозглую тьму
Догорают живые огарки.
О, не все ли на свете – расстрел и погром,
О, не все ли – допрос и охота?
Что мы ищем и что называем добром,
Рядовые убийцы, пехота?
Пусть сегодня добром называется зло,
Пусть тюрьма называется раем...
Ты убит? Это значит, тебе повезло.
Мы игру без тебя доиграем.
Видишь, зубы дракона так густо взошли,

Золотые скрижали разбиты.
За распятым одним – миллионы пошли,
Миллионы распятых забыты.
Черный город, придуманный злыми детьми,
Новогодней мечтой загорится.
Эту желтую метку на память возьми –
Все когда-то опять повторится.
Карнавал завершился, и маска сползла.
Возвращается трезвое зренье.
Кто устал говорить о банальности зла –
Обречен на его повторенье.
Январь 2014



Леонид Гиршович

Дом с примечаниями

На игле



— оссия сидит на игле великой русской литературы XIX века.

Фраза дается жирными литерами. На снимке этакий «смейся, паяц». Глядишь на него, то бишь на себя: никуда не деться, пошел обратный отсчет времени. Великой горечи нет. Так, любопытно. Навык микрофоноворения приобретается довольно быстро. Такое чувство, что насобачился бросать кость. Перефразируешь штамп – сразу афористический апломб плюс парадоксальность мышления. Парадокс в чести. Глубина мысли измеряется в парадоксах, как расстояние между Вавилоном и Ниневией измеряется в парансагах.

Что же он хотел сказать – что Россия сидит на игле «Войны и мира», «Преступления и наказания»? Что тому минуло полтора года, как она экспортирует «русский реалистический роман», без которого роль ее во всемирной истории истолковывалась бы – и истолковывалась! – однозначно: ниспослана нам в наказание (Бердяев о турках – тем тоже небось обидно такое о себе читать).

Да-с. Русская литература XIX века даст сто очков вперед любой японской электронике. Первое чудо света. Наглядное опровержение того, что «из ничего может творить только Господь Бог» (Достоевский, речь адвоката в «Братьях Карамазовых»). Но одно дело – Россия как *вещь для нас*, «*erscheinung*». Конвертированная в перевод, она еще долго сможет закладывать и перезакладывать человечеству свою загадочную славянскую душу, выручая гораздо больше, чем за нефть.

А что значит Россия *в себе*, «*an sich*»? По-своему тоже подседа на великую свою литературу. И благодаря этому – великая демократия. У каждого властителя дум свой электорат. Нельзя одновременно голосовать за обоих кандидатов. Здесь как на большой дороге: «Жизнь или кошелек!». Толстой или Достоевский?

Между кем и кем только не выбирали. Даже между Пушкиным и Лермонтовым. За последнего голосовали сердцем своим девичьим те, кому вскоре пришлось приумолкнуть у окна. Сегодня даже странно. Казалось бы один предвыборный штаб, только обучение раздельное. Женские гимназии и пансионы предпочитали Онегину Печорина: княжной Мэри быть шикарней, чем Татьяной.

Но в серьезную предвыборную гонку Пушкин с Лермонтовым не включались. Глупо проблему отцов и детей решать на примере Бога-Отца и Бога-Сына. Хоть и соблазнительно в споре евреев с христианами усмотреть конфликт поколений.

Пушкин посмертно почетный президент. Стать «пожизненно» почетным ему никак нельзя. Думали даже, что на радостное имя «Пушкин» клонет национальная идея. Не клюнула, таковая не водится боле в отечественных водоемах. Ну, а Лермонтов – посмертно «пожизненный вице-президент». Так что обстоятельства, в каких он будет замещать Пушкина, трудно себе вообразить.

В школе на портреты участников предвыборной гонки закидывались мокрые тряпки – получались хоругви. Небось уже вынесены из классов как провоцирующие кошунников. Поговаривают же о скором закрытии конфорок с вечным огнем, дабы не использовались по прямому своему назначению.

Чьи лики я созерцал, маясь за партой? Только не вождей, их место в кабинете истории, как в карцере. В учительской классиков марксизма-ленинизма – «классиков себя» – тоже не вешали: не пристало государю красоваться в дамской комнате.

Первым в ряду портретов над грифельной доской было «популярное пятно с бакенбардами», по выражению Синявского. За ним – нет, не Лермонтов, скорей уж Грибоедов. Гоголь – завсегда. Расчесанный, как тропининская пряжа, и такой же свежий. Хвастается: «О моя юность! О моя свежесть!». Благообразный Тургенев возглавляет отдел внешних сношений при русской литературе. Случался диссидент Герцен, почему-то с лицом писателя Померанцева, оба работали на Би-би-си в Лондоне. Толстой в синей блузе. Островский в священном для русской литературы заячем тулупчике. Чехов – любви не хочу, всесоюзный носитель пенсне, наш милый доктор Айболит. Выставлять на погляд Достоевского не полагалось, и все равно перед мысленным взором стоял он, канонический, перовский. Тогда как Лескову сохранить инкогнито было проще пареной репы. Даже Белинского знали в лицо – а Лесков... это «Левша», что ли? Нет правды на

земле, но правды нет и выше, и там плевать хотели на его, Лескова, великий и могучий.

Всему есть объяснение. С Лесковым отнюдь не произвол небес. И не обскурантизм еврейской прессы <сноска: Мысль, высказанная Чеховым: еврейский журнализм, чуждый русской жизни, не мог полной мерой оценить масштаб Лескова и потому не откликнулся на его смерть. Об этом у Доналда Рейффилда в невероятно сильной книге «Жизнь Антона Чехова»>. Мне запомнились слова Борхеса: «Кеведо лучше Сервантеса, но у Кеведо нет „героя“». Литература живет на их счет: Дон-Кихот, Ахилл, Гаргантюа. Так кинозвезды обеспечивают кассовый успех. Сколько угодно тверди: «Бовари это я!» Не поверят. Всё наоборот, скажут. Это Флобер – Бовари. («Флобер это я!») – последние слова Эммы Бовари.)

Обычный зритель, читатель, избиратель, вопреки бытующему мнению, не склонен к конспирологии. Он все еще играет в куклы, а не в кукловода. «Все знают Лолиту, а не меня» (Набоков). Писатель – подставная фигура, могила неизвестного солдата. Эпитафия Платону: «Здесь лежит Сократ».

Неверно, что публику хлебом не корми, подавай ей закулису. Это для гурманов, которых и среди черни предостаточно. Сливки черни. Они любят читать о тайных и даже таинственных силах, направляющих власть: эти силы глубоко законспирированы. Кому, по их убеждению, власти потворствуют, среди тех и ищи истинных хозяев. Поэтому самые жаркие споры – о том, кому же власти потворствуют. Вслед за патриотами и гуманисты начинают подозревать, что подлинная власть в чьих-то неведомых руках, а путинский Кремль – это для отвода глаз. Что ж, идут патриоты и гуманисты – у тех и других ногти не чисты. Разница между конспирологами слева и конспирологами справа, как между моей левой и правой ладонью. Какая бьет больней? Но прежде нужно выяснить, не левша ли я. Вернулись к Лескову, который говорит: «Левша – это я». На что читатель: «Вот именно».

После подсчета голосов обозначились два тяжеловеса, Толстой и Достоевский проходят во второй тур. Кто кого, Раскольников Анну Каренину, или Анна Каренина – Раскольникова?

Какой только литературный персонаж не правил Россией: и толстый совестливый Пьер («как всякий идеалист, в гневе он был страшен»), который обещал сделать из России Наташу и сдержал слово, теперь она – Наташа. И великий селекционер Митя Карамазов, который вывел из Наташи Грушу. И просто «Идиот». Был бы и доктор Живаго («Живаго – это я»), но избирком признал

поданные за него голоса недействительными: «Сами же бьют себя в грудь, что Пастернака́ не читали, так чего же голосуют?»

В России за все в ответе литература. Например, нынешняя власть, попахивающая Смердяковым. Да еще время от времени из подмышки у Смердякова выглядывает Хлестаков, вчерашний дуумвир. Согласитесь, куда лучше «дуумвират»: стоят вдвоем на колеснице. А то «тандем»: один у другого сидит на раме, когда велосипед-то – дамский, на Наташу рассчитан. Слово «тандем» всегда смущало меня своим скрытым неприличием. Слишком уж напоминает какой-то фрейдистский символ.

Не диво, что в главном парикмахерском кресле стригут Смердякова. Кого только в нем не расчесывали, из каких зоопарков, каких хищников – которым пудами приходилось скармливать сырое мясо. Другое в новинку – что визажист, трудясь над Смердяковым, усугубляет в нем... Смердякова. Посмотрите на его парадную улыбочку, вспомните его «двушечку». Прошли времена, когда на площадях кричали: «Хочем Бориса!» А тот, убеленный сединами, поморщится, как пьяница над чаркой, боярская шапка на ём торчит, как рожон, три шубы на ём для степенности – чтоб люд московский не утратил самоуважения.

Но распрямил люд московский согбенную спину, пошустрел – чем для него плох Смердяков? Или повторимся: Смердяков для них еще недостаточно плох. Умен тем же умом, что и они – да поумней. Шутлив их же шуточками – да пошутейней. И плачет тою же невскою слезой. Да как искренне! «Я вас как облупленных знаю, белесые вы мои». Отношения следователя с подследственным не так однозначны, как кажется, хотя бы потому, что общий язык они всегда найдут: «Сегодня ты, а завтра я». Обоюдная ненависть здесь обусловлена глубиной взаимопонимания.

Дескать, «Смердяков», «смердяковщина», а что это? Он насквозь тебя видит, потому что знает жизнь, учился немецкому. И это импонирует, особенно что немецкому.

Der Mensch, wie schön er sei, wie schmuck und blank,
Ist innen doch Gekörs´ nur und Gestank.

(Человек красивым, блестящим, нарядным бывает,
Но внутри у него потороха, и они воняют.)

Смердяков горд – особой гордостью тех, кто бит на заднем дворе. Мстителен, потому что его благородство жаждет мести – пусть свинья амикошонствует и целуется со своими

обидчиками, свинье все равно. Храбр назло тем, кто называет его трусливой тварью. Поскольку не может крикнуть «к барьеру!» без того, чтобы не быть снова оскорбленным, Смердяков в отместку бесстрашно повесился. Это не каждому дано, это еще надо суметь. Возьмите десять гуманитариев мужеска полу с высшим образованием (женщин не надо, они – хлопотуньи рукастые) и предложите сделать петлю-удавку. Бьюсь об заклад, у половины не получится. Я недавно полдня тренировался – выходило через раз. У меня в рассказе вешается герой, и я хотел понять, как это происходит, я всегда стараюсь сперва испробовать на себе. Увы, все время развязывалось, пришлось изменить концовку рассказа – сделать еще страшней.

Между прочим, это единственное, что смущает в самоповешенье Березовского. Нельзя, конечно, судить по себе о возможностях других. Березовский был на порядок сообразительней меня, математический ум, но что это меняет? Допускаю, что проиграв на ночь глядя партию, которую вел между правым и левым полушариями головного мозга, этот психопатический комбинатор мог стать жертвой сознательной передозировки снотворного. Но снотворного же...

Как бы там ни было, Березовский – не литературный персонаж с претензией на загадочную славянскую душу, не Смердяков, свершивший это над собой «в холодной ярости на полной скорости». (Когда-то мне приснился сон – по пробуждении я сразу же записал его и послал в «Стенгазету». До сих пор не исключаю, что он в руку, чего, разумеется, совершенно не желаю. Stengazeta.net от 31 июля 2007, «В холодной ярости на полной скорости».)

Я не знаю, в каком году в Советском Союзе напечатали «Собачье сердце», наверно, подали на десерт – «наверёх», как говорила моя нянька. В перестроечной периодике вдруг стало нарицательным: «шариков», «шариковы», «дети шариковых». А еще я посмотрел фильм и припомнил давно, лет за двадцать перед тем, прочитанную книжку, какие выходили в доживавшем свой век мирке предыдущих эмиграций. Тогда, на фоне только что опубликованного «Гулага» – с одной стороны и свежепрочитанного «Дара» – с другой, это показалось перепевом Беляева с элементами социальной сатиры, пусть и за гранью допустимого. (Поскольку Булгаков не мог влиять на Беляева, то остается предположить обратное. Ср. хор из «Мастера и Маргариты», без устали горлающийся «Славное море, священный Байкал» и маниакальное распевание всем Берлином «Ах, мой милый Августин» – во «Властелине мира».)

Каюсь, хоть и не уверен, что следует в этом каяться: «Собачье сердце» оставило по себе память, ну, разве что авторской ремаркой: «Она давится, но жрет» – относящейся к барышне-служашей, которая в оголодавшей ледяной Москве рискует застудить себе придатки: бедненькая, вместо «фланелевых штанов» в угоду хахалю носит «кружевное рваньё», а за пару чулок согласна на такое-с...

Фильм тоже запечатлелся не тем боком. С Шариковым обращаются как с Шариком. И никого это не коробит, никто не дистанцируется от этих образцовых интеллигентов, напротив, хотят видеть в них себя. Какая, скажите на милость, разница между Шариковым и тем хамом, что выговаривает ему за цвет галстука – а у самого, когда держит нож и вилку, обе руки левые?

Какая разница между Смердяковым, мерзким насекомым, даже не собачонкой, и господами, для которых он варил бульоны? Чем больше я вспоминаю Смердякова – так же и в зеркале читательских антипатий, премия которых ему присуждается единодушно – тем очевидней мне, что Шариков это Смердяков для бедных. «Ты же Смердяков! – Сам ты Смердяков!» «Ты же Шариков! – От Шарикова слышу!»

Недавно в Ганновере гостила Настя с Урала, заметьте, Настя – не Наташа. Умница. Трудится на себя, так что креативная – не дарвинистка. Тридцать-плюс, вернее, минус сорок. Клянет власти, предрекая им скорый конец. Кремль уже качается, она это чувствует, словно он под нею качается. А что как опрокинется? Сразу кровь, революция. Но, может, Настю он еще как-то выдержит – этот Кремль, на котором она сидит. У страха глаза велики. Она ведь против властей с перепугу. Или я ошибаюсь – из верности гражданским идеалам, в которых была взращена? Почему-то креативный класс тем креативней, чем слабее Кремль – в их представлении или на самом деле, это уже не суть.

Убей меня, не вижу разницы между Смердяковым и остальными, населяющими Скотопригоньевск. Хотя, казалось бы, уж как Смердяков дискредитирован своим создателем: сожалеет о поражении Наполеона, потому что тогда бы мы жили во Франции. Французы – умная нация, а русские – глупая. Учил французские вокабулы, грохнул папашу, чтобы удрать с его тысячами. Но кто ему даст их вывезти – во Францию ли, в Англию ли, в Швейцарию ли? Судьба Смердякова предрешена.

В России ничего не меняется, ею по-прежнему правят литературные персонажи. Но русская литература богата на типы. Не русский человек широк – широка русская литература. А уж как

она любима и сказать невозможно. Посему пожелание сузить ее приравнивается к измене Родине.

Я перечел начало «Собачьего сердца». Нет-нет, кто спорит, Беляеву далеко до такого письма. И что удивительно, там нет таких слов: «Она давится, но жрет» – предполагающих хоть минимальное к ней сочувствие. Там прямым текстом. Но когда мне запомнилось именно так. А из памяти слова не выкинешь.

ДАЧА ВРЕДНЫХ СОВЕТОВ

Нам пишут:

Я патологически глух, в конце музыкальной фразы не помню ее начала, ни одной вещи не могу отличить от другой. (Кроме «Болеро» Равеля.) Только из такого состояния я мог задать Боброву (*имеется в виду Сергей Бобров, стиховед-футурист*) отчаянный вопрос: а в чем, собственно, разница между Моцартом и Бетховеном? Бобров, подумав, сказал: «Помните, у Мольера мещанину во дворянстве объясняют, как писать любовные письма? Ну так вот, Моцарт пишет: „Ваши прекрасные глазки заставляют меня умирать от любви; от любви прекрасные ваши глазки умирать меня заставляют; заставляют глазки ваши прекрасные...“ и т. д. А Бетховен пишет „Ваши прекрасные глазки заставляют меня умирать от любви – той любви, которая охватывает все мое существо, – охватывает так, что“ и т. д. Я подумал: если бы мне это сказали в семь лет, а не в двадцать семь, то мои отношения с музыкой, может быть, сложились бы иначе. Впрочем, когда я рассказал этот случай одной музыковедше, она сказала: «Может быть, лучше так: Моцарт едет вдаль в карете и посматривает то направо, то налево, а Бетховен уже приехал и разом окидывает взглядом весь минованный путь». Я об этом к тому, что даже со слепыми и глухими можно говорить о красках и о звуках, нужно только найти язык.

Когда мне было десять лет и только что кончилась война, мать разбудила меня ночью и сказала: «Слушай: это по радио концерт Вилли Ферреро, „Полет валькирий“ Вагнера, всю войну у нас его не исполняли». Но, наверное, будить меня ночью тоже стоило бы чаще.

Книги о композиторах были еще более расплывчато-эмоциональны, чем о живописцах. Я пытался втащить себя в музыку без путеводителя и без руководителя: два сезона брал по два абонемента на концерты, слушал лучших исполнителей той сорокалетней давности. Но только один раз я почувствовал что-то, чего не чувствовал ни до, ни после: как будто что-то мгновенно

просияло в сознании и словам не поддается. Играл Рихтер, поэтому никаких выводов делать не следует.

Любить и знать музыку, чтобы быть культурным человеком? Боюсь через омузыкаленность можно только отдалиться от культуры, к которой мы стремимся приобщить наших чад. Сильное музыкальное чувство – удел неграмотных. Грамотных и просвещенных оно уравнивает с низами, с моим местечковым дедом Иосифом, самозабвенно, до слез слушавшим и Моцарта и Баха. Так уравнивает людей телесность. Поэтому музыка отделена от просвещения в той же мере, что и религия от государства или, если угодно, филология от Логоса, в котором ковыряется будто школьник в лягушке. Безбожная наука!

Лучше оставим музыку мецанам – вместе с семечками, трактирную слезой и церковными певчими. «Одной любви музыка уступает», ниже уже труссы... ладно, так и быть, снимаю с себя мантию адвоката дьявола. Хотите, чтоб ваши дети любили музыку, как любил ее мой дед Иосэлэ, кое-как говоривший по-русски? Слушайте сюда.

Сперва о том, чего не надо для этого делать. Ну, естественно, не будить ребенка ночью в культуртрегерском восторге: Вилли Ферреро, запретный «Полет валькирий» сладок. Ныне это значило бы отправиться всем бомондом на премьеру «Парсифаля» в Мариинский. Поют на языке оригинала в постановке какого-то немца, за пультом маэстро Гергиев, продолжается пять часов. («Вы что, садомазохист?» – как спросил президент журналиста, усыновившего ребенка.)

Также не учите его играть на музыкальном инструменте вроде скрипки, виолончели, флейты и т.п. Другими словами, на тех инструментах, что в сумме дают оркестр. Помимо неприязни к звукам, извлекаемым из них и компрометирующим музыку, это еще послужит деморализующим примером того, что всегда можно бросить начатое. А так оно и будет – через год-полтора, если не раньше, можно не сомневаться. Или еще хуже: в вялотекущей форме это удовольствие затянется до окончания восьмилетки, ни на градус не повысив чувствительности к музыке у обучаемого. (Несмотря на то, что сорок лет как я уже не в России, адресуясь я все же к русской родительнице. Что немцу «тут гут»: послушливый – стерпит, то русскому как об стену горюх.)

Но предположим, ваш юный виолончелист схватил Ростроповича за бороду: пошло! Лотерейный билетик не выброшен в урну, а предъявлен к оплате: зачисление в консерваторию, место в филармонии или в другой концертной

организации. Профессионал с футляром за спиной, он идет – как от победы к победе – от халтуры к халтуре. Эти люди – персонифицированный оркестровый инструментарий. Со времен романтизма, со времен *Sturm und Drang* («Бури и натиска») Европа воображает неведомо чего, глядя на человека с музыкальным инструментом. Очень напрасно. Полюбопытствуйте, слушают ли они любимую музыку? Что за дилетантский вопрос – разве что собратьев по цеху, из профессионального интереса. Зато они ежедневно мнут себе пальцы, имея потребность в профессиональном джогинге, чаще психологическую, чем физиологическую. В старой шутке, что музыканты с детства ненавидят музыку, есть лишь малая доля шутки.

«Словесность – моя специальность. И тут – парадокс! – я теряю право на всякое „нравится“... Как специалист я не имею право на восторг». То же и музыканты. Только вот Гаспарову поверят, а мне... В отличие от моих коллег, он может себе позволить в этом признаться, как и в том, что не различает между Моцартом и Бетховеном. А впрочем, спутать их невелик грех, особенно когда хорошо знаешь Бетховена: такой же венский классик, как и Моцарт; младший его современник, большую часть жизни тоже проживший в XVIII столетии. Объяснять на словах различие между одним и другим это как глухому учить слепого жестовому языку.

На словах объяснить музыку невозможно. «Язык Бога», она соответствует лишь самой себе. Это филолог, безбожник по определению, кидается на поиски соответствий. Две очень милые виньетки, рисующие Моцарта едущим в карете, а Бетховена уже приехавшим – ни одна из них не способна преодолеть земное притяжение. На аналогичный тест: «Двумя словами, глухому – чем они отличаются друг от друга?» – мне было сказано: «Моцарт быстрый, а Бетховен медленный». Также красиво.

Музыку можно объяснить лишь музыкой. Я бы сказал: «Бетховен это Моцарт, которому была сделана прививка „Марсельезы“». И потом мы бы несколько раз просмотрели «Касабланку», ради эпизода, где со слезами отчаяния все поют «Марсельезу».

Через музыку, используемую в фильмах, да и просто через фильмовую музыку открывается дорога к звездам, порой очень далеким. Сергей Лебедев (благодаря ему, возможно, современная русская проза обогатится еще одной «птичьей» фамилией, наряду с Сорокиным и Сашей Соколовым), человек в музыкальном смысле «от сохи», тридцатилетний, удивил меня тем, что слушает

Шостаковича. На вопрос «каким образом?» он сказал: из-за Прокофьева. «А Прокофьев откуда?» Его он знает по музыке к «Ивану Грозному». Что ж, один из прокофьевских шедевров. Тот же кинорежиссеры своей омузыкаленностью превосходят даже, не считайте за иронию, немецких врачей пенсионного возраста.

После «Касабланки», когда «Марсельеза» уже запала в душу, мы бы несколько раз, в объяснение феномена Бетховена, прослушали в записи, ну, скажем, вторую часть его Пятой симфонии – не первую, где судьба стучится в дверь, а именно вторую. И не то что «садись и слушай», а занимаясь при этом параллельно чем-то другим – от листания альбома с репродукциями Давида до глажки белья. Восприятие музыки пассивно, под нее всегда что-то делали: ели, молились, засыпали, шли на смерть, танцевали. Но главное, под нее ее играли – что сегодня совсем не требуется.

*Музыка – та, о которой речь, в глухоте к которой признается Гаспаров – это система повторов, поскольку узнавание есть условие музыкального переживания. Немудрено что Гаспаров сделал исключение для «Болеро» Равеля: вариации на *soprano ostinato* – один и тот же мотив втягивается в тебя, повторяется несчетное число раз. Когда внутреннее знание резонирует на звучание извне, тогда и происходит «что-то, чего не чувствовал ни до, ни после: как будто что-то мгновенно просияло в сознании и словам не поддается». Но дальше Гаспаров оговаривается: «Играл Рихтер, поэтому никаких выводов делать не следует».*

При чем тут Рихтер? Он скорее помеха, поскольку тянет одеяло на себя – настаивает на примате непосредственного звучания, действительное назначение которого лишь в том, чтобы «пробуждать воспоминания» и уж всяко не заслонять их собою, чем в первую очередь занят исполнитель, материализующий посредством звуков собственное переживание.

«У Толстого, как всегда у дилетантов, было желание слушать музыку известную или знакомую. Интересы к музыкальной неизвестности у него не было и в помине. Помню, как Танеев, проиграв одну вещицу, спросил мнения Л.Н., на что получил следующий весьма характерный ответ: „Нет, мне это ничего не напоминает“». Сам автор мемуара, Сабанеев, мнивший себя не-дилетантом, не разглядел Шостаковича, «находящегося в плену у Запада», когда делал в «Современных записках» обзор новейшей советской музыки, т.е. рубежа двадцатых-тридцатых годов.

Если пережитое Гаспаровым на концерте Рихтера не самообольщение, то, вероятно, в этот момент он что-то узнал, что-то припомнил – как раз вопреки Рихтеру, который за инструментом рвал и метал. А еще – вопреки тем, кто составлял программу абонементных концертов. Их задача – разнообразить репертуар, а не повторять исполнявшееся, в чем Гаспаров, «пытавшийся втащить себя в музыку», так нуждался.

Не ходите с детьми на абонементные концерты, не устраивайте им «мертвый час». Вместо этого старайтесь усугублять повторяемость, являющуюся принципом музыкальной формы. Раньше учились играть на музыкальных инструментах не чтобы играть, а чтобы слушать внутренним слухом уже знакомое, уже не раз пережитое. Где трое или четверо собрались во имя музыки, трио или квартет, там и она среди них – как бы скрипуче, нестройно она ни звучала, возвышенной и чище для собравшихся не существовало ничего.

Хорошо ли, плохо ли, что в этом отпала нужда, примем это как данность. Расхожая классика должна узнаваться не в исполнении мобильных телефонов и в рекламных заставках, а в своем первичном обличье. Ставить записи с рождения, чтоб звучало, пока ползает по полу, собирает пазл, рисует – о благотворное занятие, рисование в детстве, под музыку, под радиопередачу! Исподволь расширяя репертуар, не брезгуя итальянскими ариями со всхлипом, всем, что «берет за душу». Сперва медленный композитор, потом быстрый, прежде грустное, потом веселое, прежде «Смейся, паяц» и лишь потом «Я веселый птицелов». И так постепенно, с медлительностью сменяющих одна другую геологических эпох, сползая в немецкий романтизм, оттуда в итальянское барокко (Вивальди, Корелли), подходя к Баху, крупницы которого, оказывается, уже известны, будучи взяты на вооружение уличной цивилизацией.

И вы увидите, что «медведь, наступивший на ухо», не более чем персонаж народных сказок. Таких ушей и таких медведей не существует. Неспособность воспроизвести голосом мелодию, даже отдельный звук, это лишь неумение. При мне В.Брайнин, известный музыкальный целитель, сказал ребенку, совершенному «глухарю»: «Пой», и тот пел.

Собственно, то что зовется слухом, я уж не говорю о магическом «абсолютном слухе» никак не связано с музыкальной восприимчивостью, не побоюсь этого слова – с музыкальной сентиментальностью. Главное приручать незнакомую музыку, делая ее знакомой. Большие ничего. Конечно, если у вас в сутках тридцать три часа или нечистая совесть, в этом случае вы

можете возить ребенка в группу раннего музыкального развития – на всякую детскую аэробику, на метро с двумя пересадками. По мне лучше сводить его в мороженицу: счастливые воспоминания бесценны. Как сказал один эмигрант, голый и босый: «Балуйте ваших детей, вы не знаете, что их ждет».

Подключаем пианино не раньше, чем ваше чадо пристрастится к музыке – для чего одним требуется доза побольше, другим поменьше. Итак, пианино: пусть поучится, вреда не будет, потому что, как минимум, не будет отвращения. Оно всегда строит, и любому неумехе по силам издать на нем благозвучный аккорд. Что-то разучивая, выучиваешься музыкальной грамоте, а там, глядишь, и начаткам теории. Это позволит, оперируя терминами мировой культуры, ее музыкальными терминами, понимать, что за ними стоит – не в пример многим именитым гуманитариям.

И когда подростком он осознает, что Бетховен это не только упертое «та-та-та-тааам!», но и барокко на излете; когда Шуберт перестанет журчать ручейком и шубертовский мажор станет смерти подобен; когда от Малера горло перехватит раз и навсегда и чувство Шостаковича, как чувство родины, советской родины, навсегда снимет вопрос: «Россия ли СССР?» – тогда можно вас поздравить: ребенок ваш под вашим мудрым водительством преуспел и будет полноценным изгоем в мире, где нормой являются «группы», звуковые затычки в ушах и где Элтон Джон отныне – сэр.

«Мне каждый звук терзает слух». Сбылось! Но когда б жертва была оправданной – ведь на самом деле все сложнее, пластинка-то кончилась. И как записанное на ней, ставшее музеем, приладить к современности, знает один Бог – вдруг лишившийся дара речи.

Дом с примечаниями

В войне синагогального ротатора (Геббельс о либеральной прессе) со взбесившимся принтером стоишь на стороне первого. Но это в военное время: кто не с нами, тот с ними. В мирное время – увольте. Читать всех этих попок? Отслеживать позицию? Быть заодно с материалистами, даже не отдающими себе в этом отчет? С теми, для кого Бог это в лучшем случае междометие, то есть какое-то подобие Слова? Логично, что для них наверху ничего нет: пусто место свято не бывает. Говоришь себе: ладно, лучше пусть вместо Бога дырка, это ближе к оригиналу, чем гвоздик, поясок, кукла на сене. Они не верят, что

Бог есть, а ты не веришь, что Бога нет, в сущности, какая разница? Ты вообще Фома Неверный, ищешь дырку – персты вложить.

И то же – решать общественные проблемы сообща: тавтология. Всё ради пущенного по кругу ковшика, чтоб раз отхлебнуть и передать следующему. Монах за компанию женился, жид крестился, а цыган удавился.

Я беззастенчиво повторяюсь без приличествующих сему оговорок: нет нужды прикрываться ладошкой. Кому другому, а мне точно не будут подсказывать из зала забытую строку. Приговорен пожизненно бродить среди зеркал, не находя выхода из самоцитаты. Строчу комментарии к самому себе. Кто любит читать комментарии, эти призраки текста – смело сюда.

Призраков нечего бояться. Среда их обитания – опустевшее помещение, которое с нашим приходом перестает пустовать, а значит, привидение исчезает. Либо оно, либо мы. На этом основании здравый смысл отвергает привидения. С ними как с инопланетянами, которых тоже нельзя застукать. Но те, кто горой за пришельцев, не верят в призраков. «Призрак пришельца» звучит обидно для свидетелей НЛО. И наоборот, встречавший на своем веку привидения, я не верю в инопланетян: слишком научно.

Есть заповедник, где водятся привидения и они совсем ручные, где мы и они – не разлей вода. Это зеркала автоцитаты. Привидения не отбрасывают тени, но они отражаются в зеркалах – и соответственно видны на фото, чему есть доказательства: так на снимке из-за плеча невесты выглядывает голова ее первого мужа, пять лет как погибшего.

Быть привидением – прерогатива не только человеческих существ. Порою аккорды лютни доносятся оттуда, где замурован прекрасный лютнист, оставивший по себе память на полотнах Караваджо. Или же в ясный безветренный день можно разглядеть колокольню на дне озера. А в бурю откуда ни возмись морским валам наперерез несется старинный корабль – паруса в клочья, без экипажа. Привидения это явление культуры, а инопланетяне – чего?

Вот доподлинная история. Я не скажу, что знал главное действующее лицо, слышал только голос в трубке, да еще он играл в составе не то трио, не то квартета на панихиде по младшем своем брате, которому не мог простить всесоюзной славы скрипичного вундеркинда. Гуся Больштейн. А этот был Муся. Мусик, съешь гусик. Съел бы. Напрасно гусик заискивал и оправдывался: не ешь меня, я не виноват, что прославился, что для всех ты мой брат, а не наоборот, я – твой.

Жили у мамуси
Два веселых гуся,
Один Буся, другой Муся,
Два веселых гуся.

Кто не знал Буси Гольдштейна! И никто не знал Муси – что он великий маг, второй Калиостро. К тому же помимо прочего он в юности играл на скрипке по всем одесским правилам. Для малолетнего Буси старший брат это гипсовый горнист. А малолетним Буся остался навсегда: кругленький, в сползавшей набок тубетейке из чужих волос, дважды в неделю ездивший из Ганновера в Вюрцбург преподавать.

Однажды я спросил у него, правда ли, что его брат может вызывать тени умерших?

- А вы сами спросите, ему будет приятно, – и он набрал номер телефона прежде, чем я успел опомниться.

Муся, живший в Гамбурге, уехал не по израильской визе, а еще раньше, как-то через Берлин, на жене верхом перемахнул через стену и был таков, на него похоже.

- Привет, у меня Гиршович, он хочет тебя о чем-то спросить.

Представляю себе, с какой гримасой это было воспринято: хаймович, гиршович – Бусины ганноверские знакомые, вы же понимаете.

- С неослабевающим интересом, Махаил Эммануилович, прочитал вашу книгу (у него в «Посеве» вышла книга), – выпалил я и поторопился передать трубку Бусе, который что-то в нее промямлил с виноватой улыбкой.

Я пишу в режиме самоцитаты: то, о чем собираюсь писать, возможно, давно уже написал. Забавно сравнивать свои отражения и постигать правоту сказавшего, что двойники близнецов отнюдь не близнецы.

История эта берет свое начало в достопамятном для Одессы 1809 году, когда Тома де Томон завершил строительство Одесского театра. Получился губернского значения типовой сундук с треугольным фронтоном и колоннами. Спустя шестьдесят три года ему предстояло сгореть дотла, чтобы возродиться подобием дрезденской оперы, незадолго до этого тоже сгоревшей. В том как оперные театры один за другим вспыхивают и сгорают – будь то парижская опера в 1762-м или «Театро Фениче» в Венеции в 1996-м – есть что-то общее, щемяще-роковое, заставляющее вспомнить о бумажной балерине из сказки Андерсена.

На первом представлении Одесского театра давался одноактный зингшпиль «Новое семейство», сочинение некоего Фрѐлиха из Вюрцбурга, и водевиль «Утешенная вдова», в исполнении русской труппы Фортунатова – деда знаменитого лингвиста Филиппа Феодоровича Фортунатова. Играл крепостной оркестр Овсянико-Куликовского, этот доводился дедом известному санскритологу Овсянико-Куликовскому.

Богатый таврический помещик Овсянико-Куликовский организовал оркестр, исполнявший по преимуществу симфонии барина. Последний, когда в Одессе открылся театр, в порыве чувств подарил ему свое детище, о чем зрителей уведомляла программка: «Оркестр, составленный из виртуозов, есть щедрый дар Николая Дмитриевича Овсянико-Куликовского театру Одессы». Еще Пушкин держивал в руках эту программку.

Согласно Энциклопедическому Словарю, что у меня на полке (издательство БСЭ, том подписан к печати 6 апреля 1954 г.), одесская опера открылась не Фрѐлихом и не Фортунатовым, а Двадцать первой симфонией Овсянико-Куликовского, по этому случаю им сочиненной. Ее ноты, расписанные по голосам, погибли при пожаре 1873 года. Точь-в-точь как «Слово о полку Игореве», оригинальный список которого разделил судьбу Москвы, спаленной французом, породив вопрос: было ли чему сгорать? И если нет, то кто же был гением мистификации, положенной в основание величайшей из литератур? Кто этот русский Макферсон... Нет-нет, конечно же спаленная пожаром, а не французом. Как и не русским патриотом, подобно Крещатику – чтоб врагу не достался.

«Спаленная пожаром» означает, что в пожаре виноват пожар. Тридцать первого декабря завершились работы по сооружению одноэтажного вестибюля, а к утру второго января от театра, построенного Томоном, остался почерневший остов. Эффект самовозгорания. По результатам официального расследования, произведенного комиссаром пожарной дружины, было объявлено, что здание сгорело через неисправность газового рожка. Кто же напишет: «Само загорелось». Почти как «само зародилось» – для должностного лица вольнодумство самоубийственное.

Время от времени официальные данные претерпевают изменения. В БСЭ, отражающей государственную точку зрения на текущий момент по широкому спектру вопросов, от войны в Корее, где «корейская народная армия в тесном сотрудничестве с китайскими добровольцами нанесла мощные удары войскам США», до «Овсянико-Куликовского, Николая Дмитриевича (1787-

1846), укр. композитора, автора симфонии на открытие Одесского театра (1809) – выдающегося образца раннего укр. симфонизма».

Постыдный «тяп», и это при том обилии часовщиков с лупой на лбу, что корпели не то что над каждым словом – над каждой буквой. На самом деле театр был открыт 10 февраля 1810 года. Трудно сказать, обратил на это кто-нибудь внимание или нет: последующие издания БСЭ в силу известных всем обстоятельств избегают упоминаний о композиторе-крепостнике. Обстоятельства эти – результат ошибочного мнения, что композитора Овсянико-Куликовского не было и никакой симфонии он не писал.

Именно недоверчивость – я о себе – делает человека суевером. Я ничему не верю, во всем подозреваю обман зрения, оттого зеркало для меня – колдун. Я околдован собственными цитатами.

21 симфония Овсянико-Куликовского стала такой же реальностью, как 21 симфония Мясковского. Запись, сделанная Мравинским, вошла в так называемый «золотой фонд радиокомитета» – тут одновременно и вахтерское чинопочитание и ощущение себя частицей нетленных мощей культуры.

По образцу центрального пантеона республикам дозволялось иметь свои национальные кумирни. Никому и в голову не могло прийти, что вновь обретенный шедевр – проделка шутника. Михаилу Гольдштейну не раз приходилось делать подобные находки. Раскопал «Экспромт» Балакирева, регулярно передававшийся по радио. Концерт для альта Хандошкина, «выдающегося русского скрипача-виртуоза и композитора» (БСЭ), прочно вошел в репертуар музучилищ. Я с детства его знал – мать преподавала альт в училище Римского-Корсакова.

Борьба за отечественные приоритеты пережила борьбу с космополитизмом: паровичок Ползунова никто не отменял, в отличие от врачей-убийц. Какой-то аспирант, отдавший всего себя изучению творчества Овсянико-Куликовского, пожелал ознакомиться с оригиналом партитуры, но тщетно. Тогда он заподозрил Михаила Гольдштейна в хищении бесценного манускрипта – от человека с фамилией Гольдштейн и по сей день ничего другого ждать нельзя. Арестованный во всем сознался: никакой симфонии нет и не было, это он, Муся, ее написал.

Если бы он сознался в шпионаже в пользу Японии или в намерении извести высшее руководство страны, ему бы поверили, не сказали бы: «Ври, парень, да не завирайся». – «Шоб я так жил». Макферсон в подтверждение подлинности Оссиановых песен сделал их обратный перевод и был изобличен. Для Гольдштейна

спасительным было доказать подлог, для чего он восстановил симфонию по памяти.

Не-ет... Украинская муза в дураках: грае, грае, воропае. В Москве смеются: «Два веселых гуся. Эж его, Мазепу, Рабиновичто». Дело замяли: на нет и суда нет, так им и надо, мыколам. Справочную литературу по своему обыкновению почистили. Казалось бы все.

Так вот, совсем не два веселых гуся. Я – Фома неверный, которому являлись призраки. Овсянико-Куликовский не убедил меня, что он из их числа. Жизнь учит: действительно то, что уму непостижимо. Оглянемся на минувший век: будучи в здравом уме, кто бы мог написать такой сценарий?

О том, что новоявленный украинский классик, с которым носились как с писаной торбой, оказался – торжествующая пауза – одесским евреем, братом Буси Гольдштейна, рассказывалось со смаком. Правда отец, игравший у Мравинского и с ним записывавший эту симфонию, после разоблачения сказал: «Никогда б не подумал. Разве что Двадцать первая – это уже перебор». Я удивился: с каких пор двадцать одно – перебор? (А надо сказать, что в карты я выучился играть раньше, чем на скрипке.)

Лишь потом понял, что папа этим хотел сказать: больно уж нарочитый номер у симфонии. Как Девятая. В эпоху разгула советской музыки Двадцать первая Мясковского исполнялась даже чаще, чем Девятая Бетховена. Папины слова не означали признания композиторских заслуг автора. Подражать русскому барокко не фокус. Русская музыка до Глинки, включая Бортнянского с его «Коль славен», те же танцы в петровской «Ассамблее» против Мерлезонского балета в Лувре.

Главная заслуга Гольдштейна в том, что власть поиздевался над государственной идеологией. Но об этом он предпочитает не говорить в своих «Записках». А все больше про то, как его таскали в КГБ, про антисемитизм, вынуждавший свою музыку выдавать за чужую. Хороша музыка: тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Нет чтоб сказать: «Да, я скоморох, кошунство, клоунада – моя атмосфера». Но до чего же хочется выступить в трагическом амплуа: вышли мы все из местечка, дети семьи трудовой. Трагическая мина – первый признак дурновкусия.

Либо... Медиума, сообщающегося с душами умерших, тоже трудно себе вообразить подмигивающим. «Борис Эммануилович, правда, что ваш брат умеет вызывать тени умерших?» – если с моей стороны спросить так и было мелким

хулиганством, то Буся, кажется, не очень удивился вопросу. В шутку ли, всерьез ли, речь об этом заходила и раньше.

Ирина Николаевна, жена Буси, слышавшая нелепый телефонный разговор с деверем, стояла с каменным лицом. Как и я, она училась у Кузнецова, только десятью годами раньше. Упоминание имени Кузнецова большого энтузиазма в ней не вызывало. Что ж, Кузнецов был занудой, а какой-то минимум артистизма скрипичность все-таки предполагает. Было это за несколько лет до Бусиной смерти. В могилу его свел рассеянный склероз. Паралич подступал к горлу, как вода в трюме. Он уже не мог играть на скрипке, и ему давали ее подержать, совсем как маленькому. Вот тогда на похоронах я увидел Михаила Гольдштейна – в черном, с крашеными волосами. «Он играл в составе не то трио, не то квартета». Но, скорей всего, память мне изменяет, и он играл Баха соло.

В тот вечер, когда за разговорами я уже позабыл про Бусин звонок к брату, Ирина Николаевна, отправив в рот ложечку сахарного песку – у нее была такая особенность: после всего съесть еще ложечку сахарного песку – сказала вдруг: «Что ты его всем сватаешь? Он к тебе хоть раз позвонил? – а мне сказала: – С мертвыми, говорите, общается?» Я промолчал: скажи я что-нибудь, это был бы «перебор».

У нашего общего с ней учителя Кузнецова был друг детства, который вымахал в лысого массивного дядьку, на большом лице очки в массивной черной оправе – и вообще домахался до того, что сделался директором Большого театра и Дворца Съездов.

- Чуваки, – он не выговаривал «эль». Я имею в виду композитора Чулаки. Иногда по старой дружбе Чулаки захаживал к Кузнецову на какое-нибудь семейное торжество, на которое бывал зван и я. Как-то раз вельможный сей товарищ, привыкший, что когда он открывает рот, кругом всё смолкает, сказал – с чувством, с толком, с расстановкой:

«Таинственные явления человеческой психики могут быть использованы в военной области. Известно, что американцы сотрудничают с ведьмами вуду. Мы не можем позволить себе отставания. В зарубежную прессу просочилась информация, что в ходе спиритического сеанса одна знаменитая скрипачка вызвала дух Шумана. Шуман сказал, что у него есть неизвестный концерт для скрипки. Поздней эта информация нашла свое подтверждение, дух Шумана разучивал с ней свой концерт. Неудивительно, что деятельностью Михаила Гольдштейна заинтересовались органы».

Я еще только начинал тогда писать – возводить свой дом с примечаниями, изнутри весь в зеркалах, как жилище Нарцисса. В своей первой большой вещи – «Мертвецы в отпуске» – я вывел Чулаки под именем Вурдалаки.



Моисей Борода

Успение вождя



... ткуда эти шаркающие звуки? Этот шёпот. В чём дело? Где он? Среди людей? Ну да, не духи же это расшептались! Почему не выгонят? Наконец-то он может себе позволить отдохнуть, отключиться от всего и всех – и пожалуйста.

...Ну всё... тишина.

...Странное чувство... никогда ещё ему не было так спокойно... почему вдруг?.. А ведь ещё только недавно – как он мучился, как задыхался, хрипел, как раскальвалась от боли голова! А сейчас – какая тишина! Почти как тогда в Потсдаме. Тогда он тоже вот так... отключился. А слышал всё – и ясность в голове была. Думать мог! Слышал шёпот врачей: " опасность клинической смерти! быстрее!" – и думал: "Идиоты! Не понимают, как ему хорошо! Какая к чёрту смерть!" Вот и сейчас... но врачей, как будто не слышно...

...Что это было тогда в Потсдаме, что всё слышало? И думать мог, думать! Что продолжало думать, слышать? Душа?

...Ну вот, снова это шарканье ног... Где он? Где, чёрт возьми?

...Наконец тишина – и музыка. Чайковский. Глубоко постиг человек жизнь – а ведь и до пятидесяти четырёх не дожил. Что за возраст для смерти? Он, Сталин, в пятьдесят четыре только страну строить начинал. Молодым себя чувствовал! Полным сил! А этот...

...Почему так громко играют? Звук как из трубы! Не то, что у его радиолы. ...Отличный звук у этой его радиолы. Черчилль подарил. Старая лиса Черчилль. Знал, что подарить. Умён был. Хитёр. А всё-таки его, Сталина, не перехитрил. Ума не хватило. Стратегического ума. У них у всех его не хватило. Того самого ума, которым он, Сталин, в избытке наделён. На десятерых хватит.

...Почему вдруг Черчилля вспомнил? Ах, да. Радиола...

...Эта музыка. Всегда слушал её в одиночестве. ...“Одиночество – прибежище гения“. Хорошо сказано. Точно. Он, Сталин, любил одиночество. Ценил его и... боялся. Боялся? Чего боялся? Чего ему было бояться? Кого? ...Нет, бояться нужно. Всегда. Чем выше сидишь, тем больше. Впрочем, бояться –

неверное слово, неточное. Опасаться – вот это точное слово. Опасаться.

...Сбиваешься, Коба! Почему сбился на другое? Старость, что ли? Думал о радиоле, и...

...Слушать бы эту музыку и слушать! Как тогда, в первые дни после войны, когда он мог позволить себе отвлечься, отгонял охрану в дальнюю комнату, включал радиолу, ставил пластинку, садился и слушал. Вот это место – оно всегда трогало особенно.

...Почему плакал? Грузию вспоминал? Но почему? Что общего? Хотя... эта печаль, глубина постижения жизни... *Урмули... Цинцаро... Гапринди, шаво мерцхало... Даигвианес...* Да, тут что-то есть. Есть.

...Грузия. Которую не забывал. Которую любил. Да, любил! Как это у Лермонтова? - "Люблю Отчизну я, но странно любовью". Замечательно сказано. Точно. Как будто о нём, о Сталине. О его любви к Грузии. Ведь это он показал её тогда. Всей стране показал! Декада. Театральные спектакли. Оперы. Поэзия. Переходящий все границы восторг. ...Как давно это было, а он помнит всё. И как их принимал в Кремле, и как, сидя в его машине между двумя князьями – остались, остались со своим княжеским сознанием, ничего не помогло! – улыбнулся себе: вот, Сосо, видишь чего достиг.

...Да, писал себя русским, да, говорил – родной язык. Так было нужно. А потом: кто из его челяди, русский по рождению, знал язык так, как знал он, Сталин? Но разве убил он в себе грузина? Кого призвал к себе на исповедь, перед кем исповедовался? Грузина призвал. Ему в грехах каялся. ...Каялся. ...Как эта его пианистка тогда ему написала? Бог милостив... простит... Его, Сталина, к покаянию призывала! Его!! Как будто забыла, кто перед ней! Но он сказал: Не трогать! Как тогда про этого... небожителя. Он так и распорядился тогда: "Не трогайте этого небожителя".

...Какое это всё же счастье – вот так лежать. Отдыхать. Давно не было такого. Может, вообще не было. ...Кстати, где эта его челядь, эта каменная жопа Молотов, этот хитрый шут Мыкита? Где этот его компатриот в пенсне – единственный, кого он опасался? Куда они все подевались? ...Ах да, их не пускают к нему. Правильно не пускают! Товарищ Сталин отдыхает. Его нельзя беспокоить. Только один раз посмели его побеспокоить, разбудили. Когда началась война. ...Идиот Гитлер! Какого чёрта начал эту войну? Ведь проиграл же её, просрал! Ему проиграл, Сталину! Как он сказал тогда об этом болване: "Как авантюрист

поднялся он на историческую сцену и как авантюрист покинул её!"

...Но вот, сейчас оно идёт, это место... Тихо, в вышине начинают плакать скрипки... Этот тихий хор... Прощальный...

Почему в первый раз в мажоре? Ясно, почему: окидываешь взглядом мир, в котором ты был гостем. წუთისოფელი¹. Какое точное слово! წუთისოფელი. Такое же точное, как გარდაიცვალა. გარდა - იცვალა². Чёрт возьми, его соотечественники умели сказать точно – когда хотели. ... Когда хотели. Когда не утопали в многословии. Вот чего он, Сталин, терпеть не мог, так это многословия!

...Опять сбиваешься, Коба! Что это с тобой сегодня? О чём я... Да, эта тема. Когда она во второй раз звучит, в миноре – ты уже уходишь навсегда... Мир плачет по тебе. ...Как когда-нибудь мир будет плакать по нему, Сталину.

...Плакать? Почему – плакать? "მიწა თავისს მიათხოვს"³? ...Какого чёрта это пришло ему сейчас в голову? Умереть – он?!

На кого он оставит этот народ? Которому он дал Величие. Сознание, что он – самый могущественный. Что его будут бояться все! "Отсель грозить мы будем шведу". Верные слова! Велик был Пётр! Может, и был грузином по отцу, как этот самый... граф советского образца раскопал. Дурак! Мало того, что ерунду о нём, Сталине, писал, так нет, дальше покатил. უპვრებოდა!⁴ ...Граф советского образца! Как это его лакей говорил: "Граф отбыли на партсобрание". Ха-ха- ха! Граф! На партсобрание! Отбыли! ...Почему этого дурака вспомнил? ...Да, Пётр! Огнём боярскую волю выжег! Сына не пожалел! А всё ж – недорубил Петруха! Ушёл, а потомки сразу на себя одеяло тянуть стали. Чехарда блядей! Ни власти, ни империи. Пока Екатерина не пришла. Эта – да! Великая была женщина. Самодержица. А всё же и она настоящую Империю построить не смогла. Передок подвёл! Баба, что тут скажешь!

Нет, никто из них не сумел эту страну Страной сделать. ...Ильич! Как же! Единственное, что после себя оставил – разруху и пятнадцать миллионов мёртвых крестьян. И этот НЭП.

¹ *Цутисопели* (груз.) - бранный мир, букв. - мир, в который мы приходим на минуту

² *Гарда цвала* (груз.) - букв. сменил оболочку. Умер

³ *Мица тависас моитховс* (груз.) - Земля своё возьмёт

⁴ *Удзвребода* (груз.) - букв. лез в.... Употребляется в значении "подхалимничал, лизоблюдствовал"

Который, не свернули бы его тогда, свернул бы нам всем шею... Нет, настоящую Страну построил он, Сталин! Кого ещё в истории называли Отец Народов? Великий Учитель? ...Как это они пели? "Спасибо, великий Учитель".

...И снова шёпот, снова шарканье ног! Опять люди вокруг? Кто пустил? Стоило ему отключиться, как всё вразнос пошло... Идиоты, убирайтесь прочь, не мешайте слушать музыку.

...Что-о? "Отец! На кого нас оставил?" Кто кого оставил, идиоты? Кто кого оставил! Нет, хватит отдыхать. Сейчас он встанет и... впрочем, это такое счастье – лежать, не двигаясь...

...Почему прервали музыку, болваны! Испортилось что-то? Вечно у них что-то портится. А может быть... вредительство? Здесь, рядом с ним? Здесь?!!

Ничего, он, Сталин, во всём разберётся. ...Этот Игнатьев – мелкая душонка. Отца родного резать готов, только чтобы выслужаться. Лакей! Впрочем – разве один он? Но он ещё и дела не знает! Болван! Нет, надо его заменять! Но кем? Абакумов сидит. Правильно сидит! Этот... как его, который его заложил? Ах да, Рюмин! Нет, этот вообще костолом, да и мерзавец к тому же... Опять призывать эту кобру в пенсэ? Опять?! ...Впрочем, подождём...

...До сих пор – тишина. Музыка так и не доиграли, негодяи. А он так любил этот финал! Последние такты. Уход. ...В никуда? Или... или... туда? В... чистилище?

Чистилище... ад – верил он в это? Верил, наверно! Иначе не звал бы священника. ...კარგი გარეგნობა ჰქონდა ამ მღვდელს⁵! Красивый был! И – не боялся. Другие тряслись, хоть и виду не показывали. Один, болван, в костюме пришёл! Как он тогда этому дураку сказал: "Меня боишься, Его не боишься?" А вот этот – не трясся. Прямо в глаза смотрел. Защищённым, что ли, себя чувствовал? Проводником воли божьей? А другие, что – нет? ...Четыре раза он, Сталин, на коленях стоял перед... перед кем? Перед Богом? Перед... нет, перед людьми – нет! Нет! Не в чем ему было перед людьми каяться! И перед своими – не в чем.

...Свои! Для скольких из этих своих он так и остался "სობო, ამ კეკეს შვილი"⁶? Да, писали "диди белادي"⁷, кричали "Слава Сталину", может, и гордились, а думали... Кто называл его исчадьем ада? Губителем Грузии? Сатаной? Разве этот народ был

⁵ *Карგი გარეგნობა ხონდა ამ მღვდელს* (груз.) - Красивую внешность имел этот священник

⁶ *Сосо, ამ Кеკეს შვილი* (груз.) = Сосо, сын той самой Кеке

⁷ (груз.) великий вождь

государственным народом? Разве он мог стать ему опорой? Нет! Нет! Он, Сталин, был РУССКИМ Царём. ...Как-то попросил артистов – не каких-нибудь заштатных актёришек, а больших, настоящих – спеть в его честь "Боже, Царя храни" – и что, не спели? Спели! Не из страха спели – из любви!

А эти, его компатриоты – спели бы? Нет! Предпочитали отделяться "Гапринди, шаво мерцхало"⁸ – любимая, мол, песня Вождя. Стихи писали – да. Этого не отнимешь. Уже и в колыбели поэты. И он писал стихи. Какой-то идиот перевёл их на русский, другой захотел на Сталинскую премию представить. Вот была бы потеха – товарищ Сталин получает Сталинскую премию! Идиоты! Не сообразили: Он – выше всех премий. Выше всех званий. ...Генералиссимус – нужно было это ему, как же! Принял, потому что понял: народу нужно! Символу внешность нужна.

...Ну вот опять, опять это шарканье, кто-то взрыднул – когда же это кончится? Не дадут отдохнуть! Охрана совсем распустилась. Зря прогнал этого дурака Власика, зря. Всё же он охрану в узде держал...

И опять это "на кого нас оставил". Кто оставил? Кого оставил? Что, совсем с ума посходили? ...Чёрт возьми, эта возня не даёт ни на чём сосредоточиться, мысли текут, как и куда хотят. Гнать! Всех выгнать! Всех!! До единого человека!! Слышите Вы, мерзавцы!!! ...Никакого ответа. Погодите, Вы не знаете ещё товарища Сталина. Все пойдут под расстрел – и начальник охраны, и все его люди. Все!

Что-о-о? "Умер"? Кто – умер? Он – умер? И хозяевами страны станут они? Эта его челядь? Мыкита, о голову которого он как-то свою трубку выколачивал? Разевшаяся жаба Маленков? Или эта фанатичная глиста в очках, этот Победоносец с партбилетом в кармане?

Идиоты! Слепые котятя! Что они могут без него? Эта страна выплонет их, не прожевав! Ей нужен Вождь! Вождь! Символ могущества. Символ будущего. Символ страха. И он, Сталин, стал им! Един в трёх лицах. Как Тот, которому его заставляли поклоняться в семинарии.

...Един в трёх лицах – да! Бог-провидец. Бог карающий. И Бог...прощающий?

⁸ (груз.) Лети, чёрная ласточка. (Проникновенная, лирически печальная, замечательная по мелодике грузинская песня. По преданию, любимая песня Сталина.)

...А что – разве не было таких, которым он, Сталин, простил их прегрешения? Кому он простил бы, если бы они не продолжали сопротивляться ему? Не Сосо. Не Кобе. – Сталину!

...Разве не предлагал он этому болтуну, этому ...Бухарчику: Уезжай! И что? Остался! Упрямец. Гордость помешала? Как же – теоретик партии! Что ж – полезай под нож.

...Ха-ха, неплохой каламбур получился. Жаль, что его уже никто не услышит. Хотя... почему не услышит? Кто-то говорил ему, что голос души человеческой и после смерти... Стоп, стоп! Какая смерть, о чём он говорит? Разве он – умер? Нет, идиоты, нет! Товарищ Сталин не может умереть. Он отдыхает. Именно! Давно пора! Атланты, что на своих плечах какой-нибудь там дом держат, и то устают. А у него на плечах вся страна – как же должен устать он!

...Ну наконец-то – музыка. Шопен. Траурный марш. Интересно, кто играет? Его пианистка? ...Нет, нет, не она. Её бы узнал сразу. Тогда кто? Гилельс? Как он его называл? "Моё рыжее золото". Да, кажется он.

...Чёрт вас побори, что вы делаете? Опять прервалась музыка. Что за прерывания? За такое дело на правительственном концерте всех бы в лагерь послали. А тут – музыка предназначена ему, Сталину – и такое?!

...Опять шёпот. ...Что-о? "Светлана пришла"? Светлана?! Как – пришла? Ведь он запретил ей появляться без звонка, а о звонке ему ничего не докладывали. Чёрт знает что! Совсем распустилась!

Господи, как надоели ему эти её своды-разводы. Ни ума, ни серьёзности. Эх, не повезло ему с детьми, не повезло! Не улыбнулась судьба ему, მწარედ დასცინა ბედმა⁹. С семьёй не повезло. Со второй женой, с этой дурой, которая ничего не понимала, а потом пустила себе пулю в грудь. С детьми не повезло. Вася бесшабашным вырос, никогда не знаешь, что выкинет. Яков слабаком был, спасибо хоть, что отца не опозорил. Уже когда доложили, в плен попал, ясно было – не вернётся. Что было делать – лейтенанта на фельдмаршала менять? Пожертвовал сыном. Бросил в огонь войны. А что – других не бросал? Тысячами бросал. Десятками, сотнями тысяч. И своих не пожалел. Триста тысяч в землю легли – простят они ему? А русские не легли? И ничего. Простили. А эти? ...Да, не получилось с детьми. Почему так? Вот у Лаврентия – семья, сын. Был бы у него такой! Не повезло!

⁹ *Мцарედ დასცინა ბედმა* (груз.) горько насмеялась над ним судьба

...Наконец опять музыка. Бетховен теперь. Великая музыка, конечно, но... что это за парад похоронных маршей? Надоело! Прекратите! Слышали вы, мерзавцы? Прекратите! Немедленно! ... Вот. Прекратили.

...Что... что это такое с ним? Его... поднимают? Зачем? Не хватало ещё, чтобы его качать начали! Ослы! Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое!

...Всё-таки подняли. Оставьте... но почему его так качает? Почему так качает? ...И опять, опять похоронный марш. Не надоело? Ему надо...

...Что за гул стоит вокруг? ...Чей это голос? Никита? Что он там делает? – ...*Траурный митинг...* – Какой траурный митинг, о чём он? Почему его, Сталина, в известность не поставили? Совсем взбесились? – ...*посвященный памяти ...Иосифа Виссарионовича Сталина...* – Что?! Какой памяти? Ты что, белены обделся, дурак? – ...*объявляю открытым. Слово предоставляется*

—

...Теперь голос Лаврентия? Это ещё откуда? Где он? ...Что? – ...*Трудно выразить словами чувство великой скорби...* – Какая скорбь, о чём он говорит? – *Не стало Сталина. ...Ушёл от нас человек...* – Как – ушёл? Куда ушёл, мерзавец ты? – ...*самый близкий и родной всем советским людям...* – Сталин никуда не уходил! Уйдёшь – ты! Все вы уйдёте! Под нож уйдёте! Под топор палача!

...Что-о?! „Гроб с телом товарища Ста...“

Значит, правда. Правда. Его уже – нет. ...Нет?! Как – нет? А кто же тогда слушал эти похоронные марши? Кто же всё это время думал, вспоминал? Его... душа? Душа...

Что она есть – душа? А есть ведь. Есть! Втайне от всех в это верил. Втайне от себя. И вот сейчас эта душа... прощается с... телом? С... миром? Миром, который, стоит пройти времени, забудет о нём? Забудет, чтобы дать дорогу швали, что ползала у его ног при жизни и сейчас, неся его гроб, уже втайне радуется? Радуется – зная, что миллионы людей, простых людей во всём мире оплакивают его уход? Радуется, чтобы отомстить ему. Чтобы надругаться над его памятью за страх, что ходил за ними по пятам все эти годы?!

Нет, мерзавцы, нет! Сталин не уйдёт от вас. И люди – тысячи и тысячи и тысячи – будут носить его портреты. И клясться его именем. И ожидать его нового прихода в этот мир. А пока – будут стоять в очереди, чтобы взглянуть на него. Не на эту высохшую куклу. На него, Сталина. Вождя. Отца. Учителя. Указателя Пути. Символа Величия.

...Но... почему ему вдруг стало так страшно? В чём дело, в чём? ...А, вот что! Да. Умер, не причастившись. Не раскаявшись. В грехе ушёл... "В аду, в геенне огненной гореть тебе, душегуб, за невинно пролитую кровь" – кто это ему сказал? – ...*Вся жизнь и деятельность Великого Сталина является вдохновляющим примером...* – А это от бывшего друга – за час до расстрела писал: "По грудь в крови стоишь, Коба. Что Богу ответишь, когда твой час пробьёт? Чем расплатишься, Сатана ты в человеческом образе?" – ...*освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации...* – "И воззрел Господь на преступления его, и гневом исказился лик Господа" – ... *создал первое в мире социалистическое государство...* – "И отвратил Господь свой лик от него, и проклял..." – Нет! Нет! Нет! В чём виновен он, в чём? Разве взял в этой жизни что-то для себя? Был в ней хоть раз счастлив? Прожил хоть день в беззаботности – как те, кому он был Вождём и Учителем и ещё бог знает кем? – ...*гениальный соратник Ленина, Сталин отстоял ленинизм от многочисленных...* – Кровь проливал? А другие – нет? Александр – нет? Чингисхан – нет? Пётр Великий – нет? Французская революция – нет? Эта высохшая кукла, его предшественник – нет? Что сделал он, Сталин, такого, чего не знала эта страна, и дня не умевшая прожить без террора? Что? – ...*Мудрое руководство Великого Сталина обеспечило нашему народу...* –

...А если... если правы... те? Если правы? Если прав был он, когда говорил себе – и в сорок восьмом, и ещё недавно говорил: остановись, Коба, подумай, что делаешь! Не этим – Ему вызов бросаешь. Ему, Коба. Ему!

...Свора крови требовала. Их крови. Ещё с войны требовала. Не спустил бы с цепи – разорвали бы. И его разорвали бы, и страну. ...И вот теперь ушёл, не причастившись. Отомстила ему судьба, даже в этом последнем отказала. *გამოთხოვებისა ჰოდვე ერობელ დაცობა*¹⁰.

Богу покаяться не успел. Обратиться к Нему не успел. Может, услышал бы его Бог, и простил бы ему – кто знает? Но – поздно. Поздно. Всё.



¹⁰ *Гамотховебисас кидев эртхел дасцина.* (груз.) На прощанье ещё раз насмеялась.

Ася Лapidус

Случай в троллейбусе

Немного истории...

Московская Хельсинская Группа. Документ № 74

...25 января (1979-го года) в Москве и Подмоскowie одновременно произведено шесть обысков у членов редколлегии самиздатского журнала "Поиски" и у лиц, общающихся с членами редколлегии. При обысках изъяты не только машинописные экземпляры журнала "Поиски", но и различные документы и материалы...

...журнал "Поиски" ...Это открытое издание, созданное группой лиц, является дискуссионным литературно-публицистическим и теоретическим журналом (всего вышло 4 номера, а готовый 5-й полностью конфискован).

Особо надо отметить цинизм и жестокость, сопровождавшие обыск у члена редколлегии (Раисы Борисовны) Лерт... ей 72 года... тяжело больна (двусторонняя пневмония)...

Софья Каллистратова, Мальва Ланда, Наум Мейман, Виктор Некипелов, Татьяна Осипова, Юрий Ярым-Агаев.

Пролог, он же Эпилог



если бы подписавший сей документ Наум Натанович Мейман, под чьим довольно небрежным наставничеством я проработала почти десятилетие в ИТЭФе, если бы он только знал, что в конфискованном журнале должен был появиться мой вполне политически неблагоприятный рассказ, он бы очень удивился. Но он этого не знал и не узнал. Я и сама этого не знала – и узнала лишь сейчас из интернета, сопоставив некоторые события и факты.

Давно, очень давно в конце 70-х – я дала почитать несколько моих рассказов папиному старинному другу - сотоварищу Элькону Георгиевичу Лейкину. А он, ничтоже сумняшеся, отнес их на суд своей приятельнице Раисе Борисовне Лерт, и один из этих рассказов они без моего ведома тут же решили напечатать в самиздатском журнале Поиски.

На мой допрос с пристрастием, почему не возвращает рукописи, Элькон Георгиевич мне тогда признался, что журнал с моей так и не случившейся публикацией был конфискован при обыске неизвестной мне Раисы Лерт. Я впала в ярость – мы уже довольно давно были в подаче и сидели тише воды, ниже травы. Сам же Элькон Георгиевич, хотя и баловался самиздатством, делал это чрезвычайно втихую, под строго засекреченным псевдонимом Александр Зимин, опубликовав на Западе книгу Социализм или неосталинизм (для интересующихся - Нью-Йорк. Chalidze Publications. 1981 г. 214 стр.), о чем я ни в коем случае не подозревала - не ведала и выяснила случайно опять же по интернету и опять же недавно - из мемуаров Жореса-Роя Мадведевых.

Этот мой рассказ, по-моему, был написан году в 1977-м. Вместе с другими моими рукописями его с большим риском переправил мне из Москвы в Нью-Йорк в 1981-м мой коллега по ИТЭФу - замечательно храбрый человек и талантливый физик Миша Данилов – с риском для карьеры и свободы.

А теперь дозвоьте представить на читательский суд мой скромный рассказец почти сорокалетней давности. Итак,

Случай в троллейбусе

...будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его...

Н.Г.Чернышевский

Что случилось-сталося, сам не понимаю...

Сергей Есенин

- Товарищи, я, как и все вы, внимательно и с чувством глубокого удовлетворения изучал – нет – подробно прорабатывал доклад Алексея Васильевича – о мерах общественного воспитания трудящихся масс – горячо одобряя – всем сердцем – каждое слово этого замечательного документа – и я счастлив, что процесс по моему делу иллюстрирует гениальное предвидение нашего дорогого Алексея Васильевича.

- Товарищи, с вашей стороны воистину великодушно, что вы не отказали мне в товарищеском суде, я искренне признателен вам, товарищи, что вы дали мне возможность покаяться перед судом общественности. Я благодарен члену домкома тов. Шепелихину А.А., облеченному вашим доверием, товарищи, и потому, как вы сами понимаете, человеку особенно бдительному. Тов. Шепелихин А.А. пришел мне на помощь в тяжелый момент

моей жизни – в мое отсутствие он побывал у меня на квартире, воспользовавшись домкомовскими ключами, и разыскал у меня эти листки – он буквально спас меня.

- Но, товарищи, заверяю вас – эти листки никакого отношения ко мне не имеют. Это дневники моего умершего дяди – он был странный человек и вел дневник. В среду, 5-го июня он умер, и все имущество завещал мне.

- Библиотеку – более десяти тысяч томов – я немедленно передал в Государственную библиотеку имени Алексея Васильевича, кое-что из вещей в музеи столицы, а эти писания – глупый человек был мой дядя! – и это все, что досталось мне – я оставил у себя, понимая, что никому это не нужно. Конечно, мне надо было сразу заявить об этом, но я не успел, товарищи, естественно, я не успел даже ознакомиться с содержанием записок, но, каюсь - я должен был заявить об этих бумагах 5-го же июня, но я был занят, хотя нет мне оправдания – похоронами дяди – и просто сунул до времени листы в стол – но высокая бдительность тов. Шепелихина А.А. предупредила мое головопьянство – 6-го июня, когда я был на кладбище – разумеется, я организовал отпевание дядюшки по всем правилам, хотя старик – позор мне! - был атеистом – так вот, пока я был на похоронах - тов. Шепелихин А.А. открыл домкомовскими ключами мою квартиру – мысль нашего дорогого Алексея Васильевича в действии – и нашел то, что искал. Но клянусь, товарищи, я знаю своего дядю и клянусь здоровьем Алексея Васильевича – если мне, подсудимому, дозволены такие клятвы – здесь нет клеветы, нет и не может быть, товарищи.

- Мой дядя старый человек – был, извините, старый человек – ему было 84 года, а в молодости он был писателем, был профессором лингвистики – не Бог вещь какая почетная профессия – но времена меняются, и к счастью, к лучшему – раньше это была весьма престижная профессия – ему даже до последних лет платили пенсию – не забывают у нас даже бывших заслуг, сторицей расплачиваемся мы за заблуждения прошлого времени, - так вот ему ведь платили пенсию - а это кое-что значит. Конечно, он был странным человеком, я даже вам скажу искренне, товарищи, я всегда считал его сумасшедшим. Я не знаю содержания записей и заранее хочу предупредить вас, что старик считал себя честным человеком – но вспомните – 84 года! – поэтому, конечно, он думал, что его дневники не клевета – а я, товарищи, я не знаю. Судите, товарищи, меня, по всей строгости – я чувствую себя виновным. Я признаю себя виновным. Огромное

спасибо, низкий поклон Алексею Васильевичу. Многие лета Алексею Васильевичу. Ура! Ура, товарищи!

Товарищеский суд постановил лишить гражданина Лапландина А.П. документов сроком на два года, и средств к существованию - на шесть месяцев. Городской суд одобрил постановление товарищеского суда, смягчив тем не менее приговор, заменив лишение документов на понижение разрядности документов на две ступени на неопределенный срок.

Гражданин Лапландин А.П. - в связи с радостью по поводу приговора – пригласил членов домкома к себе, наградив каждого из них памятным подарком.

Приложение №№21 к делу Лапландина А.П.

Биография Лапландина С.Г. – рождения 1958 г., русского 3/4, еврея 1/4.

Дед со стороны отца – русский, полковник авиации.

Бабка со стороны отца – русская, домашняя хозяйка.

Отец – русский, архитектор.

Дед со стороны матери – русский, инженер-химик.

Бабка со стороны матери – еврейка, детский врач.

Мать – русская ½, еврейка ½ - преподаватель русского языка.

1965 г. – поступил во французскую спецшколу.

1972 г. перешел в физмат спецшколу на математическое отделение, закончив успешно школу в 1975 г.

В этом же 1975 г. поступил на биофак МГУ на почвенное отделение, которое закончил по кафедре этологии насекомых в 1980 г.

С 1980 по 1987 гг. Работал на этой же кафедре – вначале в качестве младшего научного сотрудника, а с 1983 г. – старшего научного сотрудника.

В 1983 г. защитил диссертацию кандидата биологических наук.

В 1984 г. поступил одновременно на психологический и филологический факультеты МГУ, закончив первый в 1986 г., второй – в 1987 г.

В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию по психологии.

С 1987 г. по 1989 г. преподавал на психологическом факультете МГУ.

В 1989 г. защитил докторскую диссертацию в МГУ по филологии, после чего ему присвоили звание профессора.

С 1989 по 2030 гг. работал в Институте русского языка.

С 1989 по 2001 гг. старшим научным сотрудником, в это же время читал лекции в МГУ на филфаке, психфаке и биофаке.

С 2001 по 2002 гг. Там же младшим научным сотрудником.

С 2002 до 2023 сторожем там же.

На пенсии с 2023 г.

В 1982 г. женился на Тарасовой М.Т. – 1960 г. рождения, русская – биолог, от брака с которой в 1983 г. родился сын Илья. В 1985 г. развелся с женой и больше не женился. Сын Илья, замешанный в антинародных выступлениях был расстрелян в 2000 году.

Во время переворота 1984 г. был весьма лоялен по отношению к народной власти – печатался в прогрессивных журналах. К 2000-му году оформился как человек бывший, за что в 2001 г. был понижен в должности. С 2002 г., когда институт был преобразован в музей – личным приказом Константина Федотовича – был оставлен при музее. С 2023 г. на пенсии.

Приложение №№22 к делу Лапландина А.П.

Совершенно секретно

Записки Лапландина С.Г. – Приводятся только отрывки, имеющие отношение к делу Лапландина А.П.

...Я старый человек – Мне 67 лет. Я уже мало, что понимаю. Но это неправда я понимаю многое – скорее я не хочу все это понимать. Но об этом я не буду. Я давно уже ничего не пишу. Да, потому, что боюсь. Я понимаю, что давно никому не нужен, но боюсь и не властен над своим страхом.

Когда мне было двадцать, я их знал – многих, не всех, конечно, скорее некоторых, и то больше понаслышке, узнал я их потом, к тридцати годам – прекрасные были люди, кстати, прекрасно гуманитарно-образованные – так, по крайней мере, мне тогда казалось – так, я думаю, и было на самом деле – тогда я был отнюдь не гуманитарий – учился на биофаке, изучал английский и немецкий и увлекался – странно и вспомнить теперь! – игрой на флейте. Это потом, после переворота, когда они все вернулись из-за границы – и интеллигенция млела от счастья, и гуманитарные профессии расцвели, я стал изучать лингвистику, пописывал в журналах – какие были журналы! – «Новый мир» ожил почище, чем при Твардовском – хотя это уже совсем история. Когда они приехали, общественная жизнь активизировалась необыкновенно – с этого все и началось – с кружков при ЖЭКах.

А потом пошло и поехало – домкомы, ЖЭКи, товарищеские суды. Ключи от квартир у членов домкома. Уму непостижимо! А началось с кружков – живописи, музыки, литературы - в 87-м я сам такой вел – старый дурак – где теперь журналы – где они? На печатных станках печатают только деньги – их громадное количество – хоть вместо обоев клей, да газеты, полные выпренной чепухи...

Вчера почтальонша приносила пенсию - я сейчас мало выхожу – не потому, что нездоров – мне эта дурацкая еда только на пользу – просто некуда ходить - они у меня отобрали пропуск в библиотеку – вернее, не отобрали, а поставили большущий черный штамп – бывший и все – говорят, вы долго сидите в зале, все читаете. Вы, говорят, пропускную способность библиотеки снижаете – а у нас молодые люди библиотекой интересуются. Они теперь все институты и библиотеки превратили в музеи культуры.

И в магазины не хожу – там ничего и не продается. Молоко там или кефир дети носят – меняют пенсию на карточки и приносят – мне вполне хватает. Тоже общественники – опекают старика. Как и все сейчас – исключительно для галочки. Мне это безразлично – противновато несколько – да бог с ними – хуже, что у них кюри от моей квартиры есть – попробуй, не пусти – у них в ЖЭКе все ключи – никуда не денешься. Не могу сказать, что воруют особенно – так, подворовывают. И все проверяют. Не у меня, нет. На меня – на «бывшего профессора» - смотрят сквозь пальцы – что с него спрашивать? – он даже и не общественник – друг друга проверяют.

Вчера почтальонша и спрашивает – почему это у вас дома книжки – натуральные? – а я говорю – а что бывает – ненатуральные? Она объяснила – ну, вот у меня дома тоже книжек полно – я ведь тоже культурный человек с запросами – да только у меня книжки современные – сброшюрованные газеты – конечно, они интересней и полезней несравненно, да их у всех много, а у вас музейные, как в публичной библиотеке - ценность-то какая! Я, когда вы на прошлой неделе к врачу ходили – нарочно была у вас, чтобы посмотреть. Так у вас же на полках просто богатство – сколько денег-то можете получить – продайте парочку? А? Ну, что вам стоит? Все лучше продать, чем мертвым грузом держать. – Иногда мне кажется, что я схожу с ума.

...Юра с шестого этажа вчера ко мне заходил в мое отсутствие – в результате двух научно-популярных брошюр по математике – валялись у меня на столе – как и не было. Я сразу догадался, чьих рук дело – он сегодня, когда хлеб приносил, просил продать теннисную ракетку. Я уж лет сорок, как не играю

– где он ее откопал? Мне было жалко, но я подарил – хотя зачем? кому? – ну, просто, чтобы не связываться – все равно ведь заберет – раньше, позже, какая, в сущности, разница? Он тут же схватил ракетку, даже «спасибо» не сказал – удивительно, на что она ему – говорит – музейная вещь, сейчас таких не делают – так ведь сейчас и в теннис не играют – сейчас спорт весь вроде футбола – игры признаются только массовые – игра вдвоем – теннис, пинг-понг – невозможны.

...Вспоминаю детство. Я был очень к маме привязан, и когда родился Петя, мне тогда уже было пятнадцать – страшно ревновал – я был очень инфантильный – но потом полюбил его. Помню, когда ему было три года, он говорил стих-считалку, безбодно шепелявя:

Шла кукушка мимо леша
За каким-то инчерешом,
Инче-интче-инчереш,
Выходи на букву – Эш –

И хохотал, откидывая голову с хохолком.

Да – сын его Алик – мой племянник – единственный мой родственник – совершенно чужой человек – не потому, что плохой, а потому, что чужой, другой – счастье Пети, что не дожил. Алик не учился никогда и ничему, никогда толком и не работал. Должность, впрочем, какую-то занимал, думаю, ему непонятно самому – какую. И ведь не бездельник, чем-то вечно занят – но чем? – общественной работой, да и здесь не преуспевает. Деятельность его мне абсолютно не понятна – имеет зато какой-то высокий документ – книжку в немыслимо пестрой обложке – мне ее раскрывать нельзя – мне можно только показывать ее обложку – такой у них порядок – то ли они дураки, то ли остарел я – ничего не понимаю...

...Вспоминаю себя, перелистывая журналы – неужели тот – это я, или этот – я? Думаю, что ни тот ни этот – нет меня...

...С телевизором беда всех заставляют смотреть – я уже больше не могу – иногда потихоньку его ломаю – отсоединяю проводки, но из домкома – тут как тут – у них нюх на это – господа, как они надоели...

...У них теперь интересно жилищный вопрос разрешили. Сейчас крайне престижно жить в коммунальной квартире. Когда-то давно, я едва вспоминаю – лет 80 назад должно быть, мы с родителями – Петьки даже в проекте не было – жили в коммунальной квартире, занимали одну комнату, там же в соседней комнате бабушка с дедушкой жили вместе с младшим

папиным братом, и еще соседи были. Коммунальных баталий не помню, но напряженность известная уж наверное были – это где-то на Садово-Спасской было – сейчас ее должно быть переименовали – я даже не знаю как – давно там не был – думаю, уж и не буду. Потом мы переехали в кооперативную квартиру на Рублевском шоссе – теперь Проспект Друзей Народа. Позже дом на Садово-Спасской снесли, тогда уже и бабушки и дедушки в живых не было – сколько не вспоминаю – все в смерти упирается мысль да в развалины – видно, зажился я, хотя на здоровье не жалею, а жизнь из меня ушла... Так вот, теперь люди становятся в очередь на получение комнаты в коммунальной квартире – в первую голову такое жилье предоставляют большим общественникам – Алик тоже на очереди стоит, а спрашивается, зачем, - у него хорошая однокомнатная квартира – ее дадут такому же, как я – «бывшему». У меня теперь две комнаты – не отнимут – библиотека большая – ее они сохраняют – для передачи в фонд библиотеки – но это после моей смерти – не долго ждать – нет у меня жизненных сил и интересов – а живым в могилу не ляжешь...

...Приходил Алик, принес яйцо – говорит, у них накануне собрание было – там выдавали. Глупый он – Алик – совсем темный, хоть и слова говорит гладкие – трещать сейчас они все горазды – а добрый малый. Разделили мы с ним яйцо, запили кефиром. А говорить не о чем...

...С продуктами очень плохо – хлеб, молочные продукты получаем из-за границы как помощь детям – делят между всеми по карточкам – общественники получают еще на собраниях, да мне все равно – я когда в молодости христианской идеей увлекался – по несколько месяцев постился – но скучно это - ни еды хорошей, ни беседы интересной – пустота...

...Вчера заходила Мария Тимофеевна – Машка – сплошные очки – ни о чем так и не говорили – приносила подсушенный чай – это она на годовщину смерти Ильи приходила. Я рискнул – сломал телевизор – это просто – проводки разъединяю – и тишина. С ними поговоришь – везде уши.

...Прочитал предыдущую запись – только расстроился – Мария Тимофеевна - Маша – жена моя бывшая – почти год, как умерла – не ладили мы с ней – почти пятьдесят лет, как развелись - Илью похоронили уже потом – много позже после развода – и после смерти его встречались регулярно по дням рождения и по годовщинам смерти. Илюша глупо погиб – мог бы наверно спасти его – связи еще оставались кое-какие, но кто мог знать, что этим закончится – когда понял, что дело плохо – поздно уже было – приговор подписан – и все. Теперь этого нет – теперь не сажают –

никто никому не нужен, просто все молчат, вернее говорят вместо них по телевизору – как шинельное солдатское сукно жуют, а они повторяют – не потому, что боятся – это я боюсь, а теперь никто не боится, просто ослабели умом, да и не престижно это – думать – теперь, выбирать умственные профессии – сейчас все занимаются общественной работой, кого-то просвещают, кого-то осуждают – все словесно. А тогда перья летели. Мать Илюшу воспитала – ее вина – амбициозная старуха – старухой тогда еще не была – считала себя интеллигентным человеком – честно говоря, читать и тогда не любила, и мои занятия психологией и лингвистикой ее просто раздражали – потому и ушла от меня – но амбициозна была чрезвычайно – Илюша и болтал разное – в семнадцать лет – уже травой поросло – страшно произнести – расстреляли как сталиниста – какой сталинист – болтал много мальчишка – то не нравится, это – я теперь даже не расстраиваюсь – боль, конечно, эта до последних дней – может ему так лучше. По настоящему меня расстраивает только телевизор – шумно очень...

...Жизнь какая-то без цвета, вкуса и запаха – не потому что стар, у всех она сейчас такая. Никто не имеет тайн – ну, хотя бы изменяли там мужьям или женам – никто и ничем не увлекается. Какие-то странные интересы – вещами и религией – но без экстаза. Христианство их какое-то странное – смесь кондового славянофильского православия, разумеется, черносотенного – с коммунизмом – тоже самого примитивного свойства. И славянофильство уживается с лакейским восторгом перед западом самым чудовищным образом – национальный напиток – квас, кстати самогон тоже объявлен национальным напитком – но я не могу сказать, что пьянства много – может быть, я просто не знаю – мне кажется, им и выпивать-то не нужно – так же, как ничего не нужно. Пьют квас не просто, а как символ веры, я бы сказал, и жуют резинку – обязательно в пестрой заграничной обложке – непостижимо, где достают – но жуют все, как дефективные дети. Заграничные вещи вызывают восторг совершенно дикарский – а попробуй похвалить что-нибудь иностранное – по товарищеским судам затаскают. Не понять мне этого, никогда не понять. А вера – религия их – колокольный звон, посты – вечное унылое постничество, а не христианство – я сам когда-то в юности увлекся идеей православия – отец маминой подруги – Алексей Николаевич Пирогов – известный математик был и крест от церкви имел за веру – много я от него узнал, многому он меня научил. Тогда же Евгений Петрович Волошин – я его дядей Женеи звал – далекие были времена – он тогда Достоевским меня увлек, и очень серьезно. Боже мой! – как много у меня интересов было! –

жизнь какая была – наполненная – каждый день сиял новизной, а сейчас серая пустота – сейчас все какое-то неинтересное.

...У меня телевизор сломался – по-настоящему. Почтальонша – когда пенсию приносила сегодня утром – спрашивает – что это у вас телевизор молчит – у всех работает – все смотрят – один вы у меня такой, - и к телевизору. Открыла ящик, а там проводки разъединенные – она хватъ и присоединила их. Там что-то вспыхнуло – экран потемнел. Она смеется – нехорошо так – я испугался очень – чтобы завтра телевизор работал – говорит – я пока никому не скажу, а завтра проверю – вы мне пару книжечек все-таки продайте – отдал я ей два томика Джерома – у меня по-английски есть, но это же книги моих родителей, да она попросила именно их - ей понравилась темно-желтая обложка – не отказал – старый трус! – а что делать? – завтра срочно мастера вызову...

Случай в троллейбусе

С утра встал – плохо спал ночью – с одной мыслью – надо починить телевизор. Лучше сразу зайти в мастерскую договориться – так вернее будет – зайти и пригласить мастера. В голове шумело – после бессонной ночи всегда так – видимо, давление подскочило.

- К врачу не пойду – бесполезно это – они там только кричать будут, что время отнимаю. Прогуляюсь до мастерской, может, лучше себя почувствую. Это близко – пару остановок на троллейбусе. Хоть на улицу выйду – ведь почти год на улицу не выходил – еще и потому неуютно себя чувствую.

Тщательно умылся, побрился, надел свежую рубашку, пошел поставить чайник, подсел к письменному столу. Вытащил дневники, полистал. На всякий случай, выходя из дому, всегда так делал – и каждый раз неприятно – но решился – написал записку:

Все вещи мои – библиотеку, дневники – всё – завещаю племяннику моему Лапландину Александру Петровичу – и подпись поставил – С. Лапландин и число.

На кухне зашумел чайник. Сергей Григорьевич вышел на кухню, достал хлеб, нож чашку с блюдцем, ложку, налил кипятку. Съел кусок хлеба, запивая из чашки, задумчиво поглядел в окно. Смахнул крошки, помыл чашку, блюдце, ложку. Убрал посуду. Пошел в комнату, раствори шкаф, вынул аккуратно висевший серый – графитного цвета костюм. Не спеша, облачился в него. Вынул башмаки, достал рожок, обулся. Подошел к зеркалу. Пригладил черные, седевшие у висков нередкие волосы. Нашел свежий носовой платок. Достал ключи, библиотечный пропуск,

деньги. Постоял в прихожей. Захлопнул дверь. Тщательно запер ее. Спустился по лестнице – лифт не работал – и вышел на улицу.

День был огромный – небо голубого фарфора жгло глаза. Народу на улице было мало – машин и вовсе не проезжало – и троллейбусов не было видно. Не торопясь, шел он один – посреди Москвы – натертым паркетом блестела мостовая – казалось, он отражался в ней – легкий, точно в пустом пиджаке – жизнь истончалась с каждым шагом – он чувствовал пустоту и огромность города, слышал, как шаги отдаются эхом. Подошел к троллейбусной остановке, решил все-таки доехать до мастерской – ноги едва слушались... Из-за угла показался троллейбус, и не останавливаясь, проехал мимо.

- Подожду – сил маловато – доеду – здесь пустяки, а идти – верных пятнадцать минут будет.

Еще один троллейбус остановился. Водитель объявил:

- Троллейбус следует до конечной без остановок.

- Ну, что ж. Еще подожду. Спешить некуда.

Еще один троллейбус остановился:

- До конечной, до конечной следует машина, - громко проговорил водитель.

- Что же это такое происходит? – забеспокоился старик Лапландин, - ждатель-то сколько, а идти, чувствую – не могу. Ладно, дождусь. –

Между тем, народу на остановке скопилось изрядно. Люди молчали. Снова остановился троллейбус. Дверцы открылись:

- До конечной станции без остановок, - снова возгласил водитель, но поздно – толпа внесла старика в салон.

- Как же я доберусь? – и вслух через перегородку водителю:

- Может остановите у метро? –

- Какое метро, – отмахнулся тот.

- Почему троллейбус не останавливается на промежуточных станциях? – спросил Сергей Григорьевич.

Водитель не ответил.

- В чем дело? – настаивал Лапландин.

Водитель молчал.

- Что случилось? – спросил Лапландин сидевшую у двери старуху в пестром платочке.

- А вы – *что* – не знаете? – спросила она с нажимом.

- Нет, а что такое?

- Похороны сегодня. Слышали по телевизору, - Андрей Филиппович... –

- Да что ему говорить – он и телевизора, наверно, не смотрит – разве не видите, с кем разговариваете? – вмешалась женщина средних лет, - вы только посмотрите на него. Да что смотреть – пусть документ предъявит. Предъявите документ.

Он испугался. По-настоящему испугался. Полез в карман – знал ведь, что только пропуск библиотечный – жалкая картонная книжечка, перечеркнутая зловещим штампом. Рылся в карманах – губы кривила улыбка – точно беззубая стариковская – беспомощная улыбка.

- Вот – достал.

Старуха ухватила руку с бумажкой:

- Да это у тебя и не документ даже. –

Она достала свой – красная блестящая книжечка ослепила его на мгновение.

- Вот документ, а у тебя что? Ничтожество, бывший человек, у тебя, наверно, и телевизора-то нет. Да ты и не знаешь ничего, тебе плевать на нашу жизнь, на нашу утрату – ты только радуешься подлюга. –

Она ударила его своим документом по лицу, поцарапав щеку.

- Да что вы с ним церемонитесь? –

Молодой мужчина тяжело приподнялся с сидения у окна, поднял портфель и быстрым движением спортсмена сбил портфелем старика с ног. Лапландин почувствовал звон в ушах и опрокинулся навзничь – последнее, что он увидел было, как водитель – видимо троллейбус тот остановил – перелезл через перегородку в салон.

Пассажиры зашумели.

- Выкиньте его из троллейбуса, - завизжала старуха, - ему не место среди нас. –

- Да он сознание потерял, - закричала девушка, стоявшая рядом, - Бабушка, надо врача вызывать.

- Какой врач – они только по врачам и ходят. -

- Нет, врача надо вызвать, - отозвался мужчина, сбивший Лапландина.

Он схватил Сергея Григорьевича, как ребенка, и вышел с ним из троллейбуса. Вместе с ним вышла старуха и женщина средних лет с авоськой.

- Врача-то вызовите? – спросил водитель.

- Обязательно, - сказал мужчина, - езжайте, не беспокойтесь.

Троллейбус покатило дальше.

Приехавшая через полчаса машина забрала Лапландина в больницу, где он на следующий день скончался, не приходя в сознание.

6 июня хоронили Лапландина – по всем правилам хоронили – племянник – добрая душа – старался, как мог – над старым московским кладбищем плыл звон...

...Телефон звонил уже минут пять. Сережа открыл глаза и схватил трубку:

- Мама уехала с Петей на дачу. Будет в понедельник. Что передать? –

- Ну и сон приснился – бывает же такое...-

...Зазвонили к обеду. Александр Петрович Лапландин развернул сверток с едой – хлеб и кефир – не так уж и плохо по теперешним временам. Скоро истечет срок наказания –

- Так мне и надо – по заслугам, даже мало мне дали – понимаю и осознаю...



Наташа Северин

Каприсы

Veritas в саду



летнем, густом саду было тихо, теплый воздух разлился, как мед, ветки гнулись от него. Медом и пахло в этом бесплодном саду. Нога человеческая не ступала здесь уже 3 часа. А надо бы - потому что на яблоне, среди отсутствующих зеленых яблок спала ненаглядная Veritas в строгом одеянии. Дыхание ее было легким. Ни один лист рядом с бледной щекой не задрожал. Рука свесилась с ветки, на манжете серого платья умывалась капустаница.

Я устроилась под деревом на густой зеленой траве и задумалась. Что-то делают там мои враги, не ведающие сна и отдыха в своей злобе? И представила себе их с собачьими мордами. Очень весело оказалось. Надо бы как-то представить их пострашнее. Но не получается. Все время весело. И мордочки у них забавные. Как в Оперетте. (Оперетта называется "Содом и Гоморра"). Скачут и поют, держась друг за дружку, чтоб не упасть. Они все очень маленькие. Крохотные. Как большеголовые колосочки. И пусть. Сад этот милый важнее для меня всякого канкана.

Ненаглядная Veritas проснулась, прыгнула в траву, как сорванец, и тут же начала мне помогать, обнаружила, что за кустом прятался шпион в жилетке на голое тело. Подглядывал за моим стилем, хотел написать пародию. Какое бесстыдство и отсутствие вкуса! У врагов всегда нет вкуса. Это по определению. Дзынь отсюда также япощка фальшивая, "окает" без стыда, сама из Вологды, мужняя изменщица с собакой. "Хорошо-о-о" ей. Распласталась под кустом - ее вечная поза, главное- под чем-нибудь.

Еще многое мне рассказал сад и его хозяйка. На целый роман. Прочтете. Если доживете.

А теперь успокойтесь. Отзовите войска. Атака откладывается на неопределенное время. Вы мне уже надоели. Не вызовите только налет авиации глупым поведением.

Во времена буги-вуги

Лавинный ритм левой руки, белый рояль, подпрыгивающий на трех ногах, толстый пианист, делающий пируэты, крики американских девушек в белых передниках - все это подняло меня из могилы в 1938-м году, я отправилась с кладбища в Ново-Орлеанский хонки-тонк бар, чтобы увидеть, как они пляшут буги-вуги и почему это делают так настойчиво, все равно, в подобном шуме предаваться мыслям о вечности было невозможно; в клубах табачного дыма мое голубое лицо сошло без вопросов, да и простая одежда, в которой меня положили в домовину, вписалась в рабочий стиль бара, все кудрявые девушки были в коротких платьях и "менингитках", а рабочие - в широких костюмах, белых галстуках, шляпах с короткими полями, веснушки покрывали всех и переходили на стены, разрисованные тополями, которых уже нет в Америке и в помине, все говорили на старом и музыкальном американском языке, глотая начала и окончания слов вместе с виски и пивом; пианист у белого рояля сидел на белой же табуретке для толстых (двойной стул), его звали Мид Люкс, тот самый, легенда буги-вуги, на черном лице то и дело появлялась улыбка из редких зубов, хватит и этих, вон сколько клавиш вокруг! он так ввинтился в свои буги-вуги, что смотрел блаженно в потолок, а мы различали в дыму только его белую жилетку, скакавшую на фоне соль мажор; посетители танцевали группами, шляпы съехали набекрень, но никто не собирался их снимать, с голов женщин на пол летели шпильки и погибали под каблуками мужчин; они танцевали все быстрее, "шнеле, шнеле", кричал какой-то немец с английским акцентом, меня подхватили парни, отбивавшие чечетку, мои кости, элегантно скрытые в сапожках с пряжками, начали стучать в такт; танцуя до упаду, я думала о тишине кладбища, о звездах, о светлячках, ночующих в траве среди могил, и это мне все больше и больше не нравилось, не хочу в вечность, хочу быть здесь, "мы тоже, мы тоже" - закричали чечеточники, и глаза их вдруг стали сверкающими провалами, и тут я поняла, что все мы с того же кладбища, включая пианиста, и пришли сюда по одной причине, - с нас хватит разыгрывать историю, ушедшее время, мы хотим пусть иногда быть со всеми, танцевать, пить виски, вертеть сигарету в руках, должны же быть и у нас минуты радости, помимо тех, когда вы кладете на могильную плиту ваши дешевые цветы!

Грех в Венеции

Февральский Карнавал уже начался, по каналам Венеции на моторных лодках носились живописные персонажи в масках,

пахнувшие духами и тиной, и я неслась со своим кавалером на розовой лодке то ли по узкой полоске серой воды, то ли по серому небу, стиснутому старыми домами гниющей Европы; подруга Джоанн дала мне, бедной туристке из Бруклина, костюм Венецианской Дамы, на который ушло 15 метров ткани и который стоил несколько тысяч евро, на лице у меня была Маска Молчания, ее следовало придерживать зубами, лучшее, что можно придумать для женщины, которая не знает итальянского; маска представляла из себя бронзовое лицо с пустыми кошачьими глазницами, маленькой дырочкой в улыбающихся губах и сапфировой слезой, приклеенной на щеке, на меня надели высокий черный парик, синее платье со множеством деталей, стразов, оборок и тяжелым кринолином, несколько шелковых синих плащей и шарфов, огромную шляпу со звездами на ночном небе, перьями и вуалью, мой спутник, брат подруги, нарядился Призраком, белое гипсовое лицо с пустыми черными глазницами, черная треуголка, tricolor; пустые глазницы на маске - самый распространенный и страшный элемент карнавала, напоминающий о смерти, о том, что Венеция уходит под воду Адриатики, каждый день может быть последним и веселье тут, как во время чумы; мы прибыли в дом, где происходила карнавальная вечеринка, комнаты были пропитаны сыростью, волны плескались у порога, гости в неопикуемых и причудливых костюмах мирно беседовали под музыку композитора-убийцы Дездемоны да Веноза, те, кому позволяли маски, пили вино, черные глазницы передвигались из угла в угол, горели свечи; я завязала свою маску на ленточки, чтобы освободить рот и тянула вино через длинную соломинку; в глаза мне бросился некто в маске точно такой же, как у меня, бронзовой, но с бирюзовой слезой на щеке, на нем был длинный черный плащ, высокий русый парик, камзол со множеством камней и деталей, наверное, это был венецианский Дождь, в бронзовых глазницах иногда появлялись синие глаза; родство масок толкнуло нас друг к другу и очень скоро мы оказались одни в маленькой комнате, где вокруг кровати стояло много зеркал и пахло плесенью; не было сказано ни слова; однако, не так просто оказалось обнять меня, кринолин до полу, сделанный на современном несгибаемом каркасе, отталкивал всякого, кто протягивал руки с надеждой, мне стало ясно, что итальянцы давно потеряли настоящий вкус к историческим карнавалам, где царил стремительный и безоглядный грех, наряды делались не для этого, а для удовлетворения кичливости и чванства; плащ за плащом, ленту за лентой, шнурок за шнурком мы начали снимать с меня эти роскошные шелковые и муаровые покровы, я дрожала от страха,

что какой-нибудь камешек оторвется, и Марко, - так звали Дожа, - чтобы мне угодить, расстегивал и развязывал все медленно и с величайшей осторожностью, мы оба были мокрыми от пота, под масками струйки текли по лицу, маски же мы не снимали по традиции, дабы не спугнуть ощущение загадочности и анонимности, что главное в карнавальной эресе; самым трудным оказалось избавиться от юбок, сделанных известным кутюрье и прихваченных во многих местах золотыми гвоздиками для правдоподобия, мы искололи руки, бегали в ванную смывать кровь, но юбки не поддавались, тогда мы плюнули на них, может, как-то удастся поднять, Марко обещал их держать одной рукой; теперь надо было помочь ему, потому что он тоже не мог расстегнуть старинный камзол со множеством крючков, пуговиц, ремешков; желания все это сорвать одним махом - у нас не было, итальянцы бережно относятся к дорогим и красивым вещам; очень долго мы бились над пряжкой на его поясе, которая закрывалась на старинный замок с секретом, наконец, изможденные и опустошенные, сели отдохнуть и выпить вина, потом снова решительно бросились на пуговицы и петли; за окном рассвело, но мы, как одержимые, продолжали бороться с одеждой, ободряя друг друга, крича «браво» при каждой победе, обнимаясь, хлопая друг друга по плечу; мы очень подружились, а при очередном отдыхе обменялись адресами, когда мы почти дошли до моей нижней рубашки, в комнату постучали и сказали, что сейчас придут убирать, рент квартиры для праздника закончился; после тренировки взаимное одевание прошло гораздо легче, ни один камешек не упал, ни одна пуговица не потерялась; мы попрощались у моей розовой лодки, Марко поцеловал мне руку и сказал, что все было потрясающе, я искренне согласилась.

К цели

Миллионы, нет, миллиарды людей упорно идут к Цели. И в этом смысл их жизни. Цели у всех разные, но горение одинаковое. И вот, они идут, бредут, стремятся, сбивая ноги в кровь, а цель, как известно, на горизонте, а горизонт, как мы знаем, недостижим. Возьмем, например, Северное полушарие, где сейчас " вянет лист", все одето в золотую пленку, и представим это гигантское массовое движение к цели, омытое дождями, растрепанное ветрами. Живописно. Раз цель недостижима вовеки, значить стремятся к ней рекой, потоком, волной одновременно люди разных эпох и столетий, расталкивая друг друга, или, наоборот, сплочаясь в одном времени. Разноязыкий гомон и гулкий стук сапог такого множества людей приводит к

землетрясениям, которые не могут объяснить ученые. В моей волне собрались представители всех угрюмых вех истории, они даже не смотрят друг на друга из-под опущенных век. Псы-Рыцари мчатся к своей псо-рыцарской цели, закованные в латы, на тяжелых бронированных конях. За ними легкая кавалерия поэтов, галопом ямбы, рысью верлибры, остановки у всех таверн. Прозаики и женщины идут в одиночку, расчетливо, как марафонцы, попивают воду из бутылок. Бородатые евреи молятся и подписывают на ходу документы, эсэсовский офицер в подбитом танке взбирается на гору, за ним идет Сталин в единственных ботинках на босу ногу, скифские вожди поправляют меховые шапки, среди людей оказался случайный рыжий лис с пылающим взором, у него тоже есть цель, он семенит на задних лапах, его никто не прогоняет. Кибитки передвижных борделей сопровождают этот грандиозный поход всех времен и народов - к Цели.

Вдруг строгое движение вперед становится броуновским. Навстречу идут люди, это те, кто идет ОБРАТНО. Значит, они добрались до горизонта! Выглядят возвращенцы зловеще. Одни на костылях, без ног, другие без рук, третьи без глаз. Ни на какие вопросы не отвечают. Гухо-немые. Одна старуха с трясущейся головой все же прошептала мне - ТАМ - бездонная пропасть. "Бездонная пропасть?" - пронеслось по нашей волне, мы остановились в ужасе. Как же так? На месте нашей цели - гибель? Но промедление длилось недолго. Кто-то громко выругался на древнем языке, кто-то рассмеялся, и мы с вызовом двинулись дальше.

Горизонт, почуяв, что разоблачен, стал быстро приближаться. Вот закончился осенний пейзаж, повеяло холодом, за клубился дым над могучей пропастью. Мы подошли к обрыву, ледяные камни были покрыты кровью и пеной. Это кони бились, разбивались, пятались, не хотели ступать вперед, их безжалостно сталкивали. Холод и сырость бездны забивались в горячие ноздри.

Псы-Рыцари решились первыми и спикировали в глубину, как железные летательные аппараты, за ними рванулись бесшабашные поэты, потом - все остальные. Настала моя очередь. Щупальца холодного пара потянулись к моим ногам. Мне не хотелось туда, но и возвращаться к жизни на костылях тоже было страшно. Меня нетерпеливо подталкивали прибывающие, они сдавленно дышали за спиной. Что ж, ладно... Я прыгнула "солдатиком" и полетела.

Летела долго. Пришла в себя, осмотрелась. Вокруг падали знакомые лица. Поскольку лететь теперь предстояло вечно - ведь у

бездны не было дна - все постепенно вернулись к своим занятиям. Поэты начали сочинять, эсэсовец кричал «хайль», Сталин обдумывал план пятилетки, Псы-Рыцари повторяли руны, марафонцы пили воду, подкрепляя волю к победе. Мы все терпеливо и упрямо падали к Цели.

Обручилась

Время от времени у меня на пальце появляется обручальное колечко из серебра, купленное в Иерусалиме, в Израиле оно привлекало вопрос: - А где же муж? - но я молчала, у меня была своя сосновая правда, я жила в доме под соснами, балкон выходил под крыло большой сосны и теплым вечером было хорошо пить шампанское, глядя на мерцающий город, если не было взрыва, вы понимаете, о чем я, но если взрыв происходил, мы все сидели у трудолюбивого телевизора и он показывал карту местности, машины с полицейскими - в Израиле нет Беркутов и Альфы - и отслеживал оторванные руки и ноги, розовые мокрые следы самоубийцы-шахида; я не знаю, почему я купила именно простое колечко в этом городе, на улице Бен-Иегуда, где однажды взорвали кафе, а я там пила кофе очень часто, красивый хозяин-ашкензи меня заметил и всегда одаривал чем-то бесплатным, и было так тепло, но никогда не душно на людном спуске Бен Иуда, а когда кафе взорвали, милый хозяин, все равно, утром появлялся на руинах и с помощью электроплитки - или еще чего современного - готовил кофе для каждого пришедшего, все шли к нему и улыбались.

Однажды в Иерусалиме

Я шла по улочкам Старого Иерусалима домой - на виа Долороза, спускалась и поднималась по множеству лестниц, моросил декабрьский дождь, арабские торговцы бисерными украшениями и фальшивыми иерусалимскими камнями, (зелеными, как Средиземное море, если настоящие), сидели в лавках и пили чай, зная, что покупателей нет, город был узок, влажен и пуст, и я вдруг поскользнулась, это было где-то рядом с руинами храма крестоносцев, под ноги мне попалась размокшая от дождя, разорванная книга в черном с серебром переплете, остался только сам переплет и одна страница, я подняла его, замарав руки в грязи, и принялась читать эту единственную страницу; я не помню языка, кажется, совсем не существующий, но смысл был ясен, хотя казался смешным: "...прежде всего, - вещал отрывок погибшей книги, - смотрите на цвет глаз человека, который попался вам на пути через пустыню, учтите, что в пустыне цвета играют и меняются в зависимости от местоположения солнца,

однако, имейте в виду, что голубой цвет изобличает того, кто сильнее вас и многих, ибо он безумен в достижении цели своей, не противьтесь его воле, (если и ваши глаза также не голубые); слабее голубых - серые глаза диктаторов, писарей, центурионов; зеленые глаза, полные слез и изумрудов, принадлежат любовникам, а карие - лучшим друзьям, которые обладают всеми качествами радушного теплого мира, есть еще пестрые глаза, эти люди живут на небе, так как не разбираются в цветах и оттенках реальной жизни, их легко убить, ведь они не знают, где свинец и медь, и не запаслись...". На этом текст прерывался. Меня поразили эти речи черного переплета, я хотела спросить кого-нибудь о своих глазах, бросилась к арабским торговцам, но они молча пили чай, как нарисованные на стене своих магазинов; с тех пор глаза мокрой страницы смотрят на меня отовсюду, я их помню, знаю будущее, но молчу, мало ли что написано в разорванных книгах, где дождь смысл, возможно, самое важное.

Потеряла почерк

Вчера, когда валил снег, и я хотела написать письмо возлюбленному о том, что дело в шляпе, я не смогла составить на бумаге ни одного слова, я забыла свой почерк, вместо букв с моего пера срывалось какое-то каллиграфическое мычание; я тут же позвонила в Нью-Йоркское бюро находок, но там посокрушались - уже наверное, замело снегом, если даже и потеряно, посоветовали искать завтра, когда растает, но я побежала смотреть под все фонари, прямо в пургу; в клубах снега я обнаружила бурную жизнь, маленькие мексиканцы толпились среди сугробов, искали работу, они обратились ко мне на испанском, предложили закурить, из чего я вдруг поняла, что вместе с почерком я потеряла пол, возраст, национальность, язык и теперь похожа на любого и на всех вместе; богатый масон с умными глазами пригласил меня в большую машину, а проститутки в легких юбочках, отороченных снегом, чуть меня не избили, защищая свою территорию, просто вихрь унес в нужную минуту и поставил рядом с министерством Образования, где меня встретили, как министра, хлебом-солью, сказали, что Проект «Без Почерка» сейчас внедряется во всех школах мира и я могу возглавить их учреждение; не успела я спросить о бонусах, явились НИ банкиры с золотым подносом, на котором лежала заиндевшая голова их Председателя, стоя в снегу на коленях, они умоляли меня взять финансы в свои золотые руки, а руки мои, и правда, покрылись золотой пленкой и стали непослушными, я уже не могла держать даже ручки, ее услужливо привязали красной ниткой; финансистов

оттеснил военно-промышленный комплекс с красивыми, широкими плечами, я уже подумала остановиться на этих плечах, но тут из метели вынырнули гранитные лица нефтепромышленников, эти просто швырнули мне под ноги горсть бриллиантов и рубинов, я отодвинулась к сугробу, чтоб не раздавить, не дай Бог, чужое, и все тянули ко мне на подпись документ о моем согласии; я выбрала тот, что был на самой белой бумаге с золотым факсимиле и расписалась, и тут же почва ушла у меня из-под ног, как у воришки, пойманного с поличным - вернулся почерк!

Профессор и десантник

На Фэйсбуке случаются самые невероятные альянсы между людьми. Например, профессору-японисту прислал просьбу о дружбе молодой десантник. Интеллигентный профессор подумал и отклонил просьбу. Он недоумевал: что общего может быть у него с десантником? Однако, молодой солдат, натренированный на бурю и натиск, продолжал засыпать япониста требованиями дружбы. Профессор смягчился и задал вопрос - чем военного человека может так ярко привлечь скромный японист? Десантник ответил бурным и странным письмом. Он настаивал на том, что в японских иероглифах, помимо значения, имеется второй, скрытый смысл и находится он в самой графике знака, все черточки, ножки, крючки и точки - это не что иное, как карта человеческой жизни, указатели верных и неверных путей, предсказание смерти. Ясный и чуткий ум профессора возмутился. Он перестал писать десантнику. Но юноша прислал еще более взволнованное письмо. Он рассказал, как год назад со своим другом Василием они для развлечения стали рассматривать японские иероглифы, остановились на одном "Роковая ошибка". И вдруг Василий побледнел. Он сказал другу, что видит перед собой разбомбленный арабский город, усеянный воронками. Возле каждой воронки будто бы стоит дорожный знак "Остановка запрещена". Он пожаловался на то, что иероглиф вызвал в нем непонятную тоску. Друзьям пришлось в этот день выпить, чтоб избавиться от тяжести на сердце. А недавно оба десантника оказались во время операции в восточном городе, разрушенном артиллерией, под огнем противника. Во время короткого затишья они сидели в укрытии и ждали сигнальной ракеты. Но Василию вдруг понадобилось пойти по нужде. Куда же? Да в ближайшую воронку, так как известно, что снаряд не падает дважды в одно место. Но как только Василий добрался до центра воронки и расстегнул брюки, вражеский снаряд настиг его и разорвал на куски. На глазах у друга.

"Контуженый, безумный солдат, - с горечью подумал профессор, дочитав письмо, - целое поколение гибнет на этих бессмысленных войнах арабского Востока. Подонки-политики..." И он забанил десантника.

Однако, через какое-то время ночью профессор увидел сон, будто он сам пишет большой иероглиф, используя кисточку и древнюю тушь. Иероглиф обозначал "Смерть Друга". Чуть только он отложил кисточку и стал дуть на свое произведение, иероглиф изменил форму. Он вдруг стал расширяться, линии расплылись, появились цвета, и вот, это уже был не японский знак, а карта города, в котором жил профессор, с улицами, парками, метро. Красным кружком был выделен большой городской Госпиталь. Наутро японист узнал, что его лучший друг несколько часов назад попал в больницу и умер.

В смятении профессор разблокировал десантника и бросился к нему, чтоб поговорить о загадочной теории. Но на сайте военного он не нашел никакой информации, исчезла и фотография юноши в берете и с автоматом. На месте портрета стоял японский иероглиф - "Шутка".

Старик в сандаловом кабинете

Юные слуги в синих костюмах и галстуках задернули шторы в большом кабинете, где пахнет сандалом и книгами, потому что книжные шкафы и столы здесь из сандала, зажгли свечи, в этой романтической атмосфере на столе появились два прибора, два бокала с вином и были разложены новые фотографии незнакомых красавиц, отысканные специальными посланцами на выставках, в журналах, сделанные прямо с природы на улицах, в кафе, у моря; Старик явился в черном халате, но с бабочкой на белой рубашке, он пришел на свидание, усевшись за стол, он начал перебирать портреты женщин, вглядываясь в лица своими водянистыми глазами, поблескивал большой бриллиант на среднем пальце; наконец, он остановился на одном образе, лицо красавицы с темными, словно влажными волосами ответило ему, это было нежное и доброе лицо, в нем уловил он черты кротости и самопожертвования, глаза Старика помолодели на мгновение, он улыбнулся с благодарностью; юные слуги, уловив решение хозяина, привычно принесли ему металлический поднос и горящую свечу, старик медленно отпил вино из праздничного бокала и торжественно поднес фотографию к свече, краешек вспыхнул, он держал ее в руках, любовался пламенем, до тех пор, пока огонь не коснулся пальцев, тогда он уронил ее на поднос; фотография медленно сворачивалась, лицо красавицы сморщилось,

постарело, почернело и рассыпалось в прах; Старик допил вино, и юные слуги принесли маленький золотой кувшин с крышкой, Старик собрал в него пепел с подноса и крепко закрутил крышку, он сам отнес кувшин в большой шкаф, где на стеклянных полках, среди толстых и старых книг стояло множество подобных золотых кувшинов с прахом; он не сразу поставил новый сосуд рядом со всеми, подержал в теплых руках, вспоминая лицо красавицы, которое чем-то задело его или вызвало воспоминания, на лице Старика едва заметно засветилось волнение, рука колебалась, не желая разжимать согретый ею нежный металл, усилием воли он все же поставил кувшин в расчищенное для него пространство, а потом даже поменял местами одинаковые кувшинчики, чтобы новый затерялся, и не было искушения достать его и подержать в руках завтра или еще когда-нибудь.

Черное ложе

Без траурного значения и погребального звона, это - просто черная постель, застеленная такими же простынями, покрытая шелковым одеялом, которая стоит на снегу, а где же ей еще быть? на снегу, как на бумаге, все обретает иной смысл и можно объясниться, разрешено писать черной тушью на сугробах или ином на простынях, поставить размашистую подпись; под балдахином из скрипящих деревьев с кистью холодных ветров, из которых самый нежный - Северный, за кисейной завесой из ледяных игл столпились сны в колушках, сосны склонились над спящей, как сестры, не будят на заре, дают поспать под синим небом, полным неизвестных птиц, зачем ей вставать так рано? ее ничего не ждет, к ней никто не придет, разве что заблудившийся зверь сделает круг, оставив нетвердые следы, и растворится в кустарнике; день ее пройдет, как обычно, под грохот грузовиков на проспекте, широкая улица идет через лес, подминая под себя все живое, следы шин заполнены банками из-под пива и окурками, неизвестные птицы хватают их в желтые клювы - допивают и докуривают, вот и все развлечение; можно, конечно, понаблюдать, как дрожат в коротких юбках коренастые дорожные проститутки, они все здесь, на трассе в лесу, блестящие, как банки и такие же закорженевшие на морозе, серьги звенят на ветру, тушь течет и замерзает черной струйкой, хорошо, если их возьмут в кабину трака на рваное кожаное сиденье и не побьют, а могут и на месте, среди черных терний, приходится носить трусики и чулки на резинках даже в пургу, дышать на кончики пальцев, чтоб расстегнуть змейку на одежде клиента, такой это хай-вей, особый, все торопятся, время потусторонних скоростей диктует правила

романтических встреч, поэтическая вывеска - «оргазм- это выход в космос» - висит прямо над снежным заносом, и пусть сугроб им будет и стартовой площадкой, и пухом; девицы замерзают к вечеру, падают на снег сотнями, все о них забывают до весны, когда они пробиваются сквозь землю чахоточными цветами с вялым покорным ртом, но туфельки остаются, каблуки глубоко вошли в оттаявшую почву, они выглядят лихо, как их бывшие хозяйки на танцах, еще полны музыки и легкого шага, уже проросли нежной травой; с черного одинокого ложа, где и время замерзло, видно все, отсюда можно проследить, куда свернул человек в разбитых очках, он устремился к своей гибели, улыбается в предвкушении встречи, а пьяная старуха в лаковых сапогах возвращается в хлев своей молодости, пару снимков заслуживают и возбужденные солдаты, вытирающие окровавленные штывки, это очень эффектно на снегу, Королева завтра вручит каждому Орден Отечественного Льда с золотым кантом, но - посмертно, хотя они этого еще не знают и продолжают грубо гоготать; хозяйка ложа наблюдает все эти хитросплетения без радости, многолетний снег и мороз сформировали ее характер - глаза готовы заблестеть, только если тишину леса нарушат шаги, когда лед хрустнет под некими бравыми ботинками, которые, однако, никогда не появляются на тропинке, а вместе с ними и таинственный хозяин, наверное, это – болезненные грезы замерзания, но она все ждет и ждет горячего шепота, черные подушки, шелковое одеяло на постели замедляет вьюга, глаза ее остаются без цвета и выраженья, а может, уже и незрячими от острой белизны, это некому проверить, окулист сюда не поедет (значит, такая женская доля), руки перебирают четки из серого льда.

«Конь же лихой не имеет цены

На горизонте поднялась синяя пыль и фонтаны искр - это несется на нас Год Синей Деревянной Лошади, как предупреждают конюшние, растившие и холившие его в небесной конюшне, он нрава крутого, решительного, не терпит консервативные партии и стагнацию в делах, придется менять кожу, если кто не успел при Змее, спрятать жала и отбросить гремучки, которые носили на хвостах в этот ядовитый год; хотелось бы понять натуру космического животного с гривой до земли, чтоб как-то приспособиться, судя по предсказаниям он - не Троянский Конь, хоть и деревянный, не Инцитат, любимый конь Калигулы, для которого император построил дворец и даже принимал гостей от его имени, а также ввел в Сенат, не говоря уже

о золотой поилке и пурпурной попоне с жемчугами; конечно, лошадь нужно любить, но и самому быть кем-то приличным, тогда увековечишь и имя друга - до сих пор известны имена коней Александра, Наполеона, императора Фридриха: Буцефал, Маренго, Конде (интересно, какого цвета был Маренго - не Гасконской ли клячи?), нехорошо, если год Лошади станет годом Клячи, это давно ушло из русской поэзии и не должно вернуться в жизнь, "Конь Блед" нам тоже не подходит, несмотря на его художественные достоинства, да и "Конь морской" Тютчева не актуален, "розовый конь", "чугунный", и "красногривый жеребенок" - на любителя, Конь-Огонь не пойдет, (наш ведь - деревянный), все спалит без разбора и сам застрелится, и Конь о шести ногах Самойлова как-то отпугивает; японцы же тоже пишут о лошадях с уважением, например, сочинитель хокку Кобаяси: "Воробышек-другок! Прочь с дороги! Прочь с дороги! Видишь, конь идет". Воробышкам нужно держаться подальше от золотых копыт и ждать Года Воробышка; идущий год не будет также годом Медного всадника, или златокрылых лошадей Солнца, или даже Пегаса, Конька-Горбунка; на самом деле для тех, кто хочет его проскочить благополучно, год должен стать годом нашей Детской Деревянной Лошадки, ведь только эта игрушка была во всех магазинах нашего детства - где рыжая, где серая в яблоках, где черная с красной сбруей, иногда на четырех, иногда на досочке с колесами, но всегда с поводьями, так что можно было управлять и покрикивать: «Эй, вперед - в чисто поле! в детский сад не едем! там каша - одна вода»; с наступающим Годом нужно обращаться нежно и игриво, как с той лошадкой детства, единственным, часто, утешением, чистить до блеска его подковы, расчесывать гриву, запастись овсянкой на двоих, и никогда не употреблять шпоры и хлыст.

Предчувствие

Все снова рушится. Почва уходит из-под ног. Хватаешься за клавиатуру, она со смехом ускользает. Хватаешься за воспоминания, они раздраженно пожимают плечами. У моего окна появилась багряная планета. Это Плутон, Властелин Загробного царства. Покровитель медных и золотых копеей, драгоценных камней, враг Орфея. Он появляется везде, где готовится долгожданное разоблачение, торжество правды, чье-то падение, смерть в бесславии, отвергнутая любовь и кровавая месть. Это - разрушитель. Правда, птица Феникс тоже принадлежит ему. Но она для избранных. Теперь он стоит у моего окна, смотрит на меня. И я не смею отвести глаза. Как можно отвести их от властелина?

В то же время я стою на берегу океана, он сегодня тоже страшен. Не волнами своими, а напряжением. Посиневшие темные воды бьет дрожь. Временами он с рыком бросается на сушу, вгрызается белыми клыками в землю, как стая синих волков, урчит и отползает, отхватив свой кусок. Моя умершая мать стоит на берегу и готовится зайти в воду. Она обращается ко мне: "Не ходи сюда. Вода кипит. Ты не выплывешь". И смело бросается в волны. Я хочу остановить ее, поговорить, мы не виделись 20 лет, но она мной мало интересуется. Она быстро рассекает буруны и плывет к цели, мне не видимой и не понятной. Я еще долго вижу ее огненно-рыжие волосы над волнами.

А дома меня ждет сюрприз. Незнакомые мужчины в черных рубашках расселись везде, где возможно, в моей студии, словно у себя дома. Как они попали сюда? Кто они? Может быть, музыкальная группа, неонацисты, философы. Они пьют пиво из банок. И на полу пустые банки. Среди них красивая женщина в старинной японской прическе с губами, опухшими и кровоточащими от постоянного минета. Но она не унывает. Присосалась к банке, как все остальные. Я быстро улавливаю их настроение и вежливо прошу уйти, хотя не верю в мирное урегулирование, готовлюсь защищаться.

Странно, но они тут же начинают суетливо собираться, прибирают за собой пустые банки, и, склонив головы, бормоча извинения, выходят один за другим. Последний останавливается, смотрит на меня жалобно, хочет что-то сказать. Но уходит.

Теперь у меня ощущение, что я виновата. Люди умеют так все повернуть.

Ладно. Подхожу к столу. Беру чистый лист бумаги, который способен исправить целую жизнь, но на нем возникает багровый Плутон, кипящее море, моя холодная мать, черные рубашки, разрывающие сердце, и все начинается сначала.



Юлий Герцман

Сахарница

I



го дед Лейзер Нухимович был круглым сиротой и воспитывался у родного дяди по матери, раввина Иосифа Бен-Шломо Рубинчика. По окончании прогимназии в недалеком уездном городке, юнец был отправлен в кишиневскую ешиву для духовного обогащения и продолжения семейной традиции – сыновей у Рубинчика не было - но через год юноша сбежал. Сколько бы впоследствии внук ни спрашивал о причинах столь дерзкого поступка, подходящего какому-нибудь гойскому Д'Артаньяну, а не тощему подслеповатому иудею из хорошей семьи, дед не то чтобы отмалчивался, но хитровато смотрел куда-то вбок, закатывал глаза и цеплял на правый уголок рта легкую гримаску. Понимай, мол, как хочешь... Хотя понималось немного, в особенности глядя на потертую оправу очков с симметричной минус девяткой, три торчащих в разные стороны зуба и зашмальцованный вельветовый пиджак.

На Д'Артаньяна дед не тянул.

Но сбежал же зачем-то, и не в один из городов разрешенной черты, а в самую Австрию.

В недалекую, правда – в Лемберг, во Львов, говоря по-нашему. Дед, кстати, упорно называл его Лэмбэром – даже после братского воссоединения с внезапно ставшей родной страной.

Уже потом, когда были проработаны рассказы про Карацупу и его пса Индуса, которому цензура, чтобы не смущать дружественных джавахарлалов, заменила «д» на «г», а также роман «Над Тиссой» и прочие произведения социалистического экзистенциализма, внук запоздало удивился:

- Дед, а как ты в Австрию попал, там же граница?

- А контрабандисты, - охотно ответил дед – по Бугу на лодке, накрыли шмотьем.

- Греки? - потребовал уточнения романтический подросток.

- Зачем греки? Два идлыка за три рубля, они два своему стражнику отдали, а тот один рубль – австрийцу.

В замечательном городе Лэмбэре природа взяла свое, и юноша не окунулся в вольные вертепы, а поступил в бухгалтерскую школу. Устроился за харчи и крышу сторожем в талмудтору, и за живую копейку натаскивал детей фактора Блюменфельда лушен-койдешу.

Через год вернулся к дяде со знанием баланса и ценной вещью: фарфоровой сахарницей. «Красивая вещч» - одобряли ее на протяжении долгих десятилетий гости. И правда: сахарница была украшена бледно-голубыми рисунками кавалеров и дам, вздымающих в танце ножки. По крышке вокруг вилась надпись: «Die lustige Witwe», обрамляющая два улыбающихся лица: мужское и женское. Замыкали надпись два ангелочка. Очень красивая вещь, которую не портила даже щербинка на одной из ушоподобных ручек. Благодаря этой щербинке студент и смог себе позволить покупку. Дед когда-то перевел ему, пятилетнему, надпись: «Веселая вдова» - и объяснил, что вдова – женщина, у которой умер муж. Он не понял, почему – веселая? Дом их стоял недалеко от кладбища, и он видел плачущих женщин в черных длинных платьях, странное сочетание его удивило.

- Я знаю? – ответил дед – Может у нее муж пьяница был или бил ее, и вот она нивроко свободная, родственников позвала. Поют, танцуют.

- А сверху это она с мертвым мужем? – он видел на стенке двойные портреты прадеда с женой и еще одного прадеда с женой, и деда с бабушкой, смонтированный из двух отдельных фотографий, так что они отчетливо смотрели не в один объектив, а в два, причем – наперекосяк.

- Не думаю. Видишь – смеются, а с мужем почему смеяться?

Вернувшись домой, свежий бухгалтер отселился от дяди, отверг попытку двоюродной сестры Клары реквизировать сахарницу, а также поползновение самого дяди женить его другой своей дочери - Шеле, и стал обслуживать контору помещика Миклашевского, дважды в году сводить книги не крупного железнодорожного подрядчика Коцкина и женился, наконец, на старшей дочери хозяина местной маслобойни Зуси Рапопорта. Со всех сторон это был выгодный брак. Буся, дочь ам хаареца, породнилась с местной аристократией, но Лейзер тоже не прогадал. Во-первых, молодая семья была обеспечена бесплатной макухой для коровы, не говоря о бидончике свежего постного масла, которым по надобности наделял тесть. Так мало же этого, невеста, хоть из простой семьи, была грамотной, читала на русском, понимала ашкеназит, и сама писала на идиш стихи,

которые время от времени посылала в газеты, где они иногда печатались. А однажды, уже после замужества, она завоевала второе место на конкурсе газеты «Кол Мевасер» в самом центре генерал-губернаторства. Газетные вырезки складывались в папку и показывались гостям по многу раз, но гости не обижались, а радовались тому, что находятся в обществе настоящей поэтессы. И даже это тоже еще не все: Буся обучилась у тетки белошвейному мастерству, и Лейзер дважды в году мог щеголять в новой рубашке и наслаждаться мягким нижним бельем. Все было хорошо, и удручало Бусю лишь активное нежелание мужа молиться и вообще ходить в синагогу, а это исключало, помимо прочего, участие в субботних ужинах в доме Рубинчиков, чем можно было похвастаться перед подругами. Без мужа она и сама в синагогу не ходила, возжигая пятничным вечером керосиновую лампу, ибо скупилась на свечи, и тщательно молилась, подгоняя к лицу воздух, на что Лейзер презрительно отзывался: «Опять мух гоняет». В субботу к Бусе приходили приятельницы, с которыми она читала подаренный Рубинчиком на свадьбу «Шулхан», а муж, время от времени, заскакывая в комнату, восклицал: «Ой, пысты майсе!» или: «А мушл кабак!», но на него никто не обращал внимания. После часа-полтора чтения повеселевшие женщины садились пить чай, для чего доставалась из шкафчика знаменитая сахарница, и кто-то обязательно восторгался: «Чудная вещь!» Так продолжалось долгие годы с перерывами на катаклизмы, и он сам еще застал то время, когда к бабушке по субботам приходила тетя Катя Борик и ее сестра тетя Соня Хапчик, и тетя Ева Перельмутер, и Раиса Ефимовна, которую тетей и в голову не приходило называть. И так же дед, не выдерживая, выскакивал из спальни, где читал серьезную литературу, вроде «Императрицы Фике» или «Салавата Юлаева», и грозно резюмировал: «Оцем-клоцем!»

Это было потом, а пока жизнь обещала простые привычные радости, но тут наступила Большая Перемена, которая, докатившись до семьи, первым делом отобрала маслобойню. То есть она ее отобрала, но потом откатилась на север, и бесхозное производство вернулось в руки хозяина. Потом Перемена вернулась на юг, и маслобойню отобрали опять. Но так как вальцевальные валки не имели революционной сознательности, то поистерлись, и выход масла резко упал. Тогда старого хозяина вызвали в Комбед и назначили заведующим, приставив к нему учетчика, но валков достать негде было, а кузня не работала – кузнеца тюкнули молотом по голове зеленые, которым не понравились подковы, поэтому хотя заведующий и старался, но макуха наполовину состояла из целых бубочек, а масла было мало.

Комбед грозился сдать заведующего в областной орган, но тут Большая Перемена сделала шагок назад и заведующий опять стал хозяином, а вопрос об органе отпал, потому что валки внезапно появились в продаже. Дело пошло живо, семья уже подумывала прикупить крупоружку, но Перемена опять нажала на газ, и маслобойню снова отобрала, а хозяина опять назначили заведующим, но ему так надоела эта суета, что он махнул рукой и умер.

А в семье Лейзера и Буси родилась девочка, как впоследствии выяснилось – единственный ребенок. Мать, восхищенная нежной прелестью Аделаиды Борисовны в «Инженерах» Гарина-Михайловского, видела дитя Аделью, но Рубинчик потребовал назвать ее в честь своей покойной сестры Иды, и девочка получила компромиссное: Идель.

Обе дочери раввина перебрались в бывший центр генерал-губернаторства, ставший областным. Скучающий по внукам, Рубинчик нежно полубил Идочку, которая и сама, в отсутствии натуральных дедушек, таковым называла его и вела себя соответственно, залезая на колени, дергая за бороду, и пытаясь натянуть шляпу на уши – все прощалось со смехом и легким поглаживанием по головке. Восстановление родственных связей обернулось приглашениями, наконец, на субботние ужины, прежде недоступные. Лейзер по-прежнему не ходил в синагогу, но теперь не ходил уже никто: трудами партии ее закрыли, а заботой Наркомфина Рубинчика обложили таким налогом, что он счел за благо выучиться у племянника счетоводству и устроиться вести книги в СОЗ. Когда же СОЗы распустили и преобразовали в колхозы, то Иосифа Шлемовича туда не взяли, так как было сообщено, что бывший раввин не отряхнул мракобесия и продолжает злонамеренно участвовать в каждом еврейских похоронах, не говоря о праздниках. Дочери присылали кое что из областного центра – Клара вошла в кагуц со слободским жителем Степаном и торговала на Новом базаре то картошкой, а то и кожухами неявного происхождения, Шеля же выучилась на фельдшера – да и Буся со вздохами отрывала от себя курочку или шмат печеревки, но всего этого, конечно, было мало, и Рубинчики слабели на глазах, пока не произошел счастливый поворот жизни: в областном центре раввин не оправдал доверия - с последствиями. Клара через знакомых нажала на кого надо, смазала в нужных местах, и Иосиф Шлемович, погрузив на подводу оскудевшее барахло, отправился исполнять обязанности шойхета, ибо тот возвысился.

Лазарь Наумович устроился главбухом только образованного райпотребсоюза, где со свойственной ему дерзостью, а точнее – вздорностью, стал портить кровь своему председателю Ивану Ивановичу Перекло, допытываясь, почему при оприходовании юфтевых сапог, шесть пар было списано по акту, но не уничтожено в присутствии членов ревизионной комиссии, а сожжено самим председателем, причем даже без предъявления пепла. Перекло, мужик незлой, из бывших середняков, отделялся каламбуром: «Лазарь, не пой лазаря», но не выдержал, в конце концов, и выпер Наумыча с работы. Тот не пропал, однако, успев стать хорошим специалистом, и был подобран советской властью в лице райфинотдела, где взялся за инспекторскую работу с таким энтузиазмом, что в него стреляли, но промахнулись. Буся, со своей стороны, шила местным модницам юбки, ночные рубахи, замахиваясь и на платья, ухаживала за коровой, корячилась на огороде и писала, в полном соответствии с метким замечанием В.В.Маяковского, стихи, которые зачитывала товаркам за чаем с сахаринном из все той же сахарницы. Правда, когда молилась, то занавешивала окно одеялом – ставни сожгли в холодную зиму, а выставлять напоказ моление казалось стыдным. На чтение стихов Берта Зиновьевна надевала мужнино запасное пенсне, но читала поверх стекол.

Идочка, она же Делечка превратилась в статную красавицу, правда, с плохим зрением – до отцовской глубины не пала, но минус три с половиной закрепились с ее шестнадцати. Когда же получила аттестат с золотой каймой, то уехала в областной центр, где поступила на английское отделение Института иностранных языков и поселилась в общежитии, аккуратно отбедаясь на субботних ужинах у тети Клары, куда дедушка Рубинчик с ребетен приходили конспиративно. На Делю стал засматриваться Шелин сын Суля, прижитый от ветра и бывший старше девушки на полгода, но мать, очень не любившая Идель за то, что Лейзер предпочел ей Бусю, пресекала вялые попытки сближения на корню. Как две капли воды похожая на двоюродного брата, и такая же вздорная, она гавкнула раз, гавкнула другой, принципиально отвернулась от Дели на ужине, и юноша сдался. Может, и к лучшему – Сулю убили в сорок втором, и Деля могла остаться молодой вдовой, а так она жила в эвакуации в Ургенче в статусе свободной женщины, преподавая юным узбекам край нужный им английский язык и удручаясь лишь тем, что отца забрали в трудармию, где он обморозил левую ногу, да так, что пришлось отнять три пальца.

Вернулись они из Узбекистана в июле сорок четвертого. Дом был цел, только окна стали дырами. Да и двери тоже. И деревянных полов, которые Буся по пятницам мыла с щелоком, а ежеледне подкрашивала суриком – не было. И лаги, на которых покоились половые доски – исчезли. И балки, к которым прибиты были лаги – тоже. Печка осталась почти нетронутой, только заслонка испарилась. И чугунный верх плиты. И духовка. О мебели говорить не приходится, но в сарае чудом завалялись лопата и грабли. И едва они втащили бебехи, как Берта Зиновьевна схватила лопату и ринулась в огород, заросший лебедой и будяками.. Вернулась через минут десять, счастливая и торжественная, с пакетом, обернутым полусгнившей клеенкой. На свет божий, по правде - на вечерний полумрак, вынырнули два серебряных ни разу не использованных подсвечника, щипчики для рафинада, три мельхиоровые ложки, проржавевший до не могу нож и – о-о-о! – сахарница, да-да, целая и невредимая сахарница, на которой все так же бойко отплясывали счастливые фигуры, как будто радующиеся долгожданному освобождению из гнилого мрака.

Жизнь налаживалась. На огороде выкопали крепко одичавшую и обмельчавшую, но съедобную картошку. Заведующий маслобойней, начинавший у Зуси мальчиком, втихаря притаранил четыре пластины макух – не для коровы, ясно, которой не было, а для еды. Размоченная в кипящей воде, она была очень даже. Буся примостила привезенную машинку на снарядный ящик и стала шить из материала заказчиков, попросту говоря – из старого тряпья - белье. Не обошлось в ее жизни и без перемен: как-то в одночасье перестали быть еврейские газеты, и Бусе негде стало печатать стихи, в связи с чем муза подувяла. Лазарь же Наумович почти мгновенно вернулся на старую работу – в финотдел и уже не просто инспектором, а старшим.

В конце августа Идель Леонидовна устроилась в школу по специальности, а весной сорок шестого вышла замуж за важного человека – председателя райисполкома, после чего заботы о пропитании растворились. Деля даже смогла пару раз отвести продукты в областной центр для вернувшегося из эвакуации Рубинчика, который тоже совершил карьерный рывок, став единственным в городе раввином. Правда, власть, озаботившаяся чистотой ума трудящихся, шуганула синагогу из центра города в слободу меж двумя лиманами, однако не закрыла же, и раввин остался при деле.

А Клара пропала. Почти три года просидела в степановый клуне, а в апреле, не выдержав весны, вышла ночью пройтись и –

пропала с концами. Тоскующий Рубинчик очень хотел познакомиться с мужем любимой двоюродной внучки, но представителю советской власти негоже было родичаться со служителем культа, и встреча раз за разом откладывалась, пока, вопреки неудобству, все же состоялась – они попали в одну камеру.

II

Его отец вернулся с медалью «За боевые заслуги», и, по одной, с: «За оборону», «За освобождение» и «За взятие», а также маленькой звездочкой на погонах, золотистой нашивкой на правой стороне груди и билетом члена ВКП (б). Домой он не попал – их комната в доме на углу Херсонской и Конной, некогда целиком принадлежавшем его деду, была занята и освобождаться не имела никакого желаяния. Не рассерженный, но недоумевающий, он пошел ночевать к другу, с которым вместе закончил французское отделение Инъяза, а до того – школу, а до того - песочницу. Витька его, конечно, принял, пошел с ним в баню, усадил, чистого, за стол, и они стали рассуждать, как жить дальше.

- Херово тебе, - сказал Витька, майор и переводчик в штабе округа, габардиновый китель которого настолько отличался от выгоревшей х/б гимнастерки друга, будто даже другой армии форма была, - Ваших сейчас сильно не любят.

- Ну за что же так, - пригорюнился младший лейтенант, - мы так старались, подмахивали...

- Сёмка, ты бы заткнулся, а? Язык у тебя до мотни, а народ – злой. И медалями не трясни, спросят, где: «За взятие Ташкента»?

- Я и по зубам ответить могу! Я четыре года на фронте, у меня рана, я – член партии, в конце концов!

- Так ты партийный? – обрадовался Витька – Это сильно меняет дело!

- Да, я - член нашей родной партии, и у меня есть ксива. Ксива есть, а жить негде, и родители из Уфы приедут, они на улице жить будут? Сейчас пойду и на хер выкину говнюков из комнаты.

- Сиди! Никуда ты не пойдешь. Нет, пойдешь, но не сегодня и не туда. Ты нашего директора школы Ивана Гавриловича помнишь?

- «Два атым водынь та атым кысень дають шо? Дають водычку». Конечно, помню.

- И он тебя помнит, он всех помнит. Он теперь большой человек – заворг обкома. Дуй завтра к нему, он поможет.

- Сёмчик, ты дывы! – радостно встретил его большой человек. – Живой! Так тебя мне наш коммунистический бог прислал, хоча, конечно, его нет. Поедешь в район предриком.

- Чем? Куда?

- В село, дурень. Председателем райисполкома. Не председателем, звания – и.о. Выберут тебя зампредом, будешь пока исполнять, и батьки твои откормятся. А через год-два побачим. Только ты вот... з первым секретарем... поосторожнее, он – человек второго, а у меня с ним... ну ладно, не твоего ума дело.

- Иван Гаврилович, я же педагог по французскому...

- Ага, зараз я штаны закатаю и побегу тебе по городу французов искать. Пошел вон! Завтра с инструктором поедешь.

Так отец оказался там, где оказался.

Как начальник района, он встретился с педагогами чтобы рассказать, когда в школе настелят полы, и среди учителей увидел смутно знакомое лицо, носительница которого после собрания подошла к нему со словами: «Ты как сюда попал?»

Свадьбу не играли, записались в загсе, а дома выпили чаю, к которому Буся вытащила знаменитую сахарницу. Посмотрев на рисунок, молодежен авторитетно указал: «Домерг».

- Что? – переспросила озадаченная Буся.

- Домерг, - ответил свежеепеченный зять, - Жан-Габриель. Французский художник, это его лица. Нам на семинаре альбом показывали, я запомнил.

С тех пор Буся на замечание: «Чудная вешч», гордо роняла: «Французская. Знаменитый художник расписывал. Жан-Габриель Дурман».

Семья стала помаленьку обустриваться, но вот с карьерой у Семена стало твориться что-то странное. Сперва из области привезли настоящего председателя райисполкома. Привез его Иван Гаврилович, который держался сухо, разговоров не поддерживал и только, уходя уже к бричке на станцию, и увидев, что вокруг никого нет, буркнул: «Меня переводят на хозяйственную работу – директором джутовой фабрики. Так шо ты, Сэмен, оглядайся». И ушел, не попрощавшись. Заместителю в бюро райкома сидеть было не по чину, поэтому вывели оттуда на следующей же неделе. Молодая жена не только не переживала, но даже обрадовалась – муж стал появляться в доме по вечерам, а не за полночь. С новым начальником вроде установились нормальные отношения – тот оказался соседом: тоже был ранен под варшавской Прагой, только легко. Едва, однако, все устаканилось, как пришел приказ об освобождении от обязанностей зампреда и назначении заведующим районной конторой «Заготскот»...

Неизвестно, как дальше сложилась бы трудовая биография, возможно, что Семен Александрович, Алтерович по паспорту, дослужился бы до высокой должности подпaska, но МГБ весной сорок восьмого прервало блестящую карьеру, припаяв статью 54-9 УК УССР «Причинение ущерба государственного имущества в контрреволюционных целях». Настучала Делина подруга Сима Ефимовна Ройтер, ветврач Заготскота. Она пыталась со слезами клясться, что ее заставили, но все знали, что Сима хотела стать на Семеново место, и стук пришелся впору, хотя ей и не выгорело.

Деля была на втором месяце, а к Бусе вернулось вдохновение, и она стала сочинять по стихотворению, а то и по два в день. Поэзия была на самые разные темы: от досрочного завершения уборочной до соловьиного пения в ветвях кленов, но с непременно включением рифмы: «Ройтер – тойтер». Болдинская осень продолжалась недели две, пока дочь категорически не потребовала усмирить Пегаса – Симкина фамилия была с нашим знаменем цвета одного, и можно было запросто размахать обвинение на всю семью. Семену дали десять лет и отправили в Воркуту. Статья предусматривала конфискацию, и Буса опять зарыла сокровища в огороде, так что пришедшие госслужащие удовлетворились избыточной периной и секачом, которым обрубили ветки в саду. Лазаря Наумовича, конечно, тут же выперли из тружеников советской власти, но Иван Иванович Перекло, позабывший старые распри, взял его бухгалтером артели «Универсалтруд», где председательствовал. На свою голову взял, конечно.

В сентябре Деля разродилась мальчиком, но оставаться с ним дома не могла по причине материальной недостаточности, почему продолжала работать, а Буса на руках – коляски не было – таскала дитя в школу, где мать кормила его в пустующем классе. Бабушка так прикипела к мальчику, что порой ум у нее заходил за разум, и она – позднее уже, конечно – сбивалась на: «Я - твоя мать и поэтому требую...», что воспринималось несколько юмористически. Он же всю жизнь называл бабушку Бусей - имя удачно слышалось сокращением от «бабуси» и не воспринималось наглостью.

В 1952 году Семена неожиданно выдернули из Юршорской Шахты №29 и привезли в родной город, где объявили, что дело его перекавалифицируют с девятки на четверку: «Оказание помощи «международной буржуазии», которая не признаёт равноправия коммунистической системы, стремясь свергнуть её, а равно находящимся под влиянием или непосредственно организованным этой буржуазии общественным группам и

организациям в осуществлении враждебной против СССР деятельности», в связи с чем предыдущее решение суда аннулируется, и он переходит из разряда «осужденных» в разряд «арестованных».

- В поделники тебя подбирают, - объяснил Семен сосед по камере Максим Октавианович Недедя, учитель украинской литературы, посаженный за хулу на драматурга-орденоносца Александра Евдокимовича Корнейчука, выразившуюся в том, что, будучи в малотрезвом состоянии, он объявил в учительской, что, мол, «Макар Дубрава» - говно, а единственным приличным украинским драматургом является Микола Кулиш. Учитывая, что Кулиша родная власть расстреляла еще в 37-м, дело шло бойко и весело – Скоро узнаешь к кому.

- Извините, вы – еврей? – спросил у Недеди запущенный в камеру тем же вечером сухонький старичок.

- Нет, дедуля, я как раз – антисемит, а еврей у нас в наличии одна штука, вон сидит и балду чешет.

- Здравствуйте, молодой человек, вы – еврей?

- А что, по лицу не видно?

- Я знаю... сейчас лица такие... невыразительные, спокойно можно промахнуться. У меня к вам еврейский вопрос: здесь кошерную пищу можно иметь?

Семен закашлялся.

- Ага, - ядовито сказал он, - обяза-тью-тельно. С печатью городского раввина.

- Печать у меня при обыске изъяли.

Так и познакомились.

Дело об объединенном сионистко-бандеровском центре началось с разгону, потом вышло на равномерно поступательное движение и планировалось к передаче в суд по весне. После пятого марта, однако, наступила тишина, неожиданно оборванная в июне, когда всем членам подпольного центра объявили, что уголовное дело закрывается в связи с отсутствием состава преступления, и они – на выход. Рубинчик звал переночевать к себе, но Семен пошел к Витьке, который сперва смутился, а потом обрадовался, но ночевать не оставил – в комнате ютились они с молодой женой и двойня, а в соседней – парализованная мать. Адреса Рубинчика Семен не знал, поэтому пошел ночевать на вокзал, где обнаружил Максима Недедю, которому тоже негде было жить – пока он сидел, жена оформила развод. Забрал его с собой, тот пожил у них, устроился в школу, не сразу, конечно, Деля сосватала ему подружку украинской национальности, и семьи зажили в дружбе, совместно празднуя обе пасхи, три новых

года и два майских. И только пятого марта, отец, напевая: «Пойду к Максиму я, там ждут меня друзья», подхватывал по дороге кореша, потому что никакие друзья никого не ждали, и они сильно врезали в местной чайной, не позволяя присоединиться ни женам, ни безусловно, детям – ему и максимовой Оксаночке. После врезона шли на почту и посылали поздравительную телеграмму подельнику – до пятьдесят девятого года, потом уже не нужно было.

Классу к четвертому он знал, что означает отцов вокал. Лазарь Наумович на толчке купил кожаный альбом со случайным набором пластинок где были оперетты «Белая акация» и «Веселая вдова» (о!), Седьмой вальс Шопена в исполнении Нейгауза, а на обороте «Мазурка №4» в его же исполнении, и румынская пластинка с Вертинским. Так и сахарница, и припевка обрели для него смысл, и смысл этот захватил душу мальчика. Граф! А зовут...

Но еще до этого, когда ему было лет восемь, а отец отсутствовал на стройке – учителя французского, пусть и не осужденные, в селе не котиривались, так что пришлось пойти десятником и дорасти до прораба, его высвистал одноклассник для срочного дела. В заброшенной конюшне толстая женщина ваяла из песка с цементом бюст Ильича, приговаривая: «Вот и бровы будьте здоровы», «А вот и ушки ложить на подушки», «А тут реснички, как перья у птички». Приговаривала она, не прекращая работы, зачерпывала голый рукой порцию раствора, разглаживала ее на прорастающей сквозь шлепки голове, подправляла обыкновенным перочинным ножиком и время от времени прикладывалась к четвертинке «Московской», стоявшей прямо на земле. После каждого глотка она с шумом выдыхала и произносила почему-то: «Босыножками». При чем здесь босоножки он не понимал.

- Дети, - сказала женщина, - скульптор закончила лепить, но скульптору нужно покрыть вождя. У вас должен быть золотин и серебрин, вы же моделисты, правда?

Банка с бронзовой краской, которой к праздникам подправляли солдата в парке, нашлась у сына завклубом, и Ильич покрылся жирноватым загаром. Четвертинка была завершена тютельница в тютельница с последним мазком.

- Дети, идите в районный комитет партии, в районный комитет ленинского комсомола, в ДОСААФ, в сельсовет и правление вашего колхоза, и скажите ответственным товарищам, что у скульптора есть готовый бюст Владимира Ильича Ленина, который скульптор продает за небольшие деньги, потому что хочет покушать.

- А ты, мальчик, - обратилась она к нему, - пойдя к маме и спроси, или можно человеку Доре Цигельман переночевать у вас?

Все устроилось - лучше нельзя. Бюст приобрел колхоз для вручения передовой комплексной бригаде - за двести рублей. За двадцать один двадцать она купила в сельпо бутылку водки, за четыре с половиной – конфеты «Ласточка», которые вручила ему. Мама уже ушла в вечернюю школу, дома наличествовали только дед и Буся. Сели за стол. На обед был борщ из индюшки, заправленный масляной, довольно противный, а потом сама индюшка из борща, еще гаже. Дора, однако, приняв полстакана и нехотя предложив хозяевам присоединиться, ела жадно. Лазарь Наумович потянулся к бутылке, но был жестко остановлен женой: «Сегодня не праздник!» За обедом выяснилось, что скульптор Дора после эвакуации задержалась в Ургенче, где работала оформителем в клубе, а потом как-то получилось, что пошла домой в Лэмбэр («В Лэмбер! Я же там учился!») - загорелся дед, но уже согревшаяся гостья не обратила на это возгорание внимания) чуть ли не пешком – перебираясь из одного населенного пункта в другой и ночуя в дружественных домах. Отобедав стали пить чай, и Буся достала «чудную вещч», при виде которой у Цигельман затряслась нижняя губа. Она схватила сахарницу, приблизила ее к глазам и побледнела.

- Это мой папа рисовал...

- Ваш папа – знаменитый французский художник Жан-Габриель Дурман? – недоверчиво спросила Буся, разжимая Дорины пальцы и мягко отнимая сахарницу.

- Нет, мой папа – Соломон Цигельман, он работал главным художником на фарфоровой фабрике у дяди Мойше Шапиро.

- Это не Цигельман рисовал, а Дурман! – сухо ответила Буся, обидевшись за сахарницу.

- Ай, бросьте! Что, я не знаю? Папа! Он срисовал с французского журнала, а вот этих ангелов с меня, с моей фотографии! Смотрите!

Дора выхватила крышечку и приставила к правой щеке.

Он посмотрел на ангелочков, перевел взгляд на рыхлое обвисшее лицо с мешками под глазами и явственными усами, и удивился. Не похоже. Мама была похожа на детскую фотографию, папа тоже, а эта тетка...

- Продайте ее мне, - загорелась Дора, - пожалуйста, я вам хорошо заплачу!

- Ой, смотрите на нее! Что вы можете заплатить, Дора Соломоновна, когда вы шляетесь по родине, как последняя перелетная птица?

- Ну не деньгами... я могу ваши бюсты слепить. И его, и ваш, и его – в доме искусство будет, а потом на могилу поставите.

- У меня типунов в душе не хватает, - распалилась бабка, - чтобы ваш язык обсыпать. На могилы... Ее кормишь... Здесь ребенок, между прочим!

- Так не сразу же... – вяло отбивалась скульпторша. Но Бусю посетила мысль, глаза у нее загорелись:

- Слушайте сюда! Сахарницы вам не видать, как своих ушей без зеркала, а крышечку со своим детским лицом вы таки можете заработать! Сделайте бюст внука, но чтоб красиво, и вам - крышечка.

Работа получилась на славу, правда, после покраски остатками все той же бронзовой краски, слегка смахивала на оволосевшего побритого Ильича, но творческий почерк же не сломаешь. И, получив вождеденную крышечку, Дора извилистым путем отправилась в свой Лэмбэр, а бюст поставили досыхать в заднюю комнату за кухней, где через неделю он благополучно пошел трещинами и развалился на куски. Та же судьба постигла и колхозного вождя, так что впредь пришлось обходиться вымпелами с утвержденным профилем.

Сахарницу стали накрывать жестянкой от какао «Наша марка», и снимая ее, Буся каждый раз шептала: «Фармазонка!» Но – не злобно, а даже с каким-то сочувствием сестре по искусству, она же была поэтесса.

Когда он учился на третьем курсе, пришла телеграмма: «Бусе плохо приезжай». Он примчался на следующее утро. Дома был только Лазарь Наумович.

- Ей отрезали ногу! – торжественным шепотом сообщил дед.

- Зачем? – ужаснулся он.

- От сахарного диабета гангрена, ничего особенного, мне тоже во время войны пальцы отрезали и вот же – живу, а тут такой гармидер подняли, ай-яй-яй!

Но он уже не слушал.

В коридоре больницы ему навстречу вышла мать.

- Она тебя ждет.

- Что?

- Плохо. Ты деда видел?

- Да, он мне рассказал. Ну я пошел.

Буся лежала на спине, укрытая до шеи. Вроде бы спала, но едва вошел, тут же открыла глаза.

- Ага, приехал! Я же знала!

- Конечно, Бусенька, как я мог не приехать?

Он наклонился и поцеловал ее. Кожа губам была чужая.

- Я так ему и сказала: как же он не придет, когда я его своими собственными руками воспитала! А он: зачем ему приезжать, пусть учится... Вот ты и приехал!

- Что тебе дать? Что ты хочешь?

- Я хочу петь! – объявила она.

Он привык к бабкиным закидонам, но тут опешил.

- Буська, у нас же с тобой такой слух, что медведи в лесу пугаются.

- Хочу петь! – упрямо повторила она и даже в протесте слегка выпятила под одеялом живот.

- Ну пой, раз приспичило. Что ты будешь? «Интернационал»?

- Александр Вертинский! – неожиданно звонко объявила она – «Бал господень». Исполняет Берта Гиммельфарб.

И запела, не попадая в мелодию:

В пыльный маленький город, где
Вы жили ребёнком,
Из Парижа весной Вам пришел
туалет.

Устала, закрыла глаза, засопела.

Потом захрапела.

Потом захрипела.

- Все, дед! – сказал он дома, обнимая старика.

- Что? Что? – заполошился тот, и вдруг понял, вырвался, забегал бессмысленно по комнате, натываясь на мебель. – Буси нет! Нет Буси! Я – вдовец. Я - веселый вдовец.

И заплакал.

III

За три года до смерти американский художник Рой Лихтенштейн пополнил свою провокативную серию «Обнаженные» новой работой «Двое обнаженных» с отчетливым лесбийским мотивом. Работа имела бешеный успех: тираж из сорока принтов распродался в течение двух дней, после чего выскочил на вторичный рынок. За пятнадцать лет начальная цена выросла в двадцать раз и предлагалась на аукционы по сто тысяч долларов, что давало отпускную цену в сто двадцать тысяч и розничную в галереях, как минимум – сто пятьдесят.

Он сидел на сотбисовском аукционе в Нью-Йорке и уныло наблюдал, как аукционер Тобиас Мейер умело разыгранным энтузиазмом вздувал цену. Нечего было и думать, что удастся купить девушек хоть за девяносто – с наценкой за «аукционный молоток» это было бы сто восемь, а его клиент, классный клиент, между прочим, накупил уже миллионов на пять, больше ста тридцати давать не хотел. Пролетели.

- Пролетаешь?

Это был Шон – приятель, если дилеры вообще могли друг с другом приятельствовать, и коллега. По паре сделок они друг у друга увели, но, сравнивая с другими... Мирок тот еще.

- Да. Деваться некуда.

- Это правда. Все тридцать девять на моей памяти уже по пятому разу прокручиваются и каждый раз все дороже.

- Тридцать девять? Их же сорок.

- А, так ты не знаешь...

И он рассказал. В тысяча девятьсот девяносто четвертом году коллекционер и филантропист Шая Кон купил с пылу-жару одну копию непосредственно у принтмейкера. Что он тому наговорил, неизвестно, но официально она была куплена за три тысячи долларов. В двухтысячном году, в ожидании скорого присоединения к своему народу, восьмидесятилетний Шая организовал музей имени себя, куда поместил всю коллекцию, состоявшую из импрессионистов и неведомо зачем попавшего туда Лихтенштейна. Который, конечно, был там пятым колесом. Музей радостно продал бы фемин, но хитроумный Кон вlepил в дарственную пункт, согласно которому реализация любого инвентарного номера могла быть произведена только по цене дарения, а цена дарения была равна цене покупки, то есть три тысячи долларов. Понятно, что идиотов нет, и музей имени Шаи сидит на балующихся девках и скрипит зубами.

- А обменять?

- А обменять – еще хуже. По тому же завещанию обмен может быть совершен только на работу, чья текущая цена не отклоняется от цены дарения больше, чем на пять процентов. А сейчас за три тысячи долларов можно найти только постер, да и тот поношенный.

Он уже не слушал Шона. Где-то в животе заводилась та счастливая дрожь, которая предупреждала о счастливой же мысли. Нужно было только ухватить эту мысль, не упустить.

Через неделю он сидел в кабинете директора музея.

- Я заинтересован в вашем Лихтенштейне. Не машине рукой, у меня есть рисунок Берты Моризо – та же «Англичанка»,

но карандашная. В «Кристи» мне предложили выставить с эстимейтом в восемьдесят тысяч.

- Да слышал я о вашем рисунке! Я бы его, может, взял, но Шая же не разрешил меняться, а капитал он нам оставил такой, что только на накладные хватает.

- Кто вам сказал, что я собираюсь меняться? У меня и мыслей таких нет! Лихтенштейна я хочу купить за три тысячи, а Моризо я музею подарю. Просто подарю.

Взгляд директора ясел и ясел.

- Ха! – сказал он, и еще раз сказал – Ха! Бриллиантовая идея! А провенанс хороший? – обеспокоился он. – Без провенанса я не возьму!

- Провенанс? Коллекция ее дочери Жюли Мане. Рисунок был выставлен на торги в парижском «Друо», я там и купил.

Он не стал уточнять, что рисунком, очевидно, подтирали попку маленькой Жюли, потому что на аукционе он за десять тысяч приобрел нечто донельзя грязное и неразборчивое. Еще тысяча ушла на чистку и пятсот – на освежение подписи, потерявшей с годами приличную видимость. Но рисунок – вот он, рука Моризо видна, подпись есть и запись в книгах «Друо» – тоже. А остальное – кому какое что.

- Да, - добавил он, - провенанс, отличное качество, все по высшему классу. Одна тонкость, в квитанции на дарение напишите, пожалуйста, рыночную стоимость тысяч сто пятьдесят. И у вас коллекция пожирнеет, и мне хорошо.

- Написать можно, а чем обосную?

- В позапрошлом году на «Своне» в Нью-Йорке ее рисунок тех же размеров был продан за сто пятьдесят.

- Знаю я, знаю... Это старик Зукор в приступе маразма купил и потом бегал по всему Манхеттену с воплями.

- Ну да. Только справки от психиатров у налоговиков нет, а страница в каталоге с продажной ценой есть. Идет?

Пошло.

- Джеффри, у меня есть для вас потрясающая новость: я достал Лихтенштейна и как раз по вашей цене – сто тридцать.

В трубке всплеснулся дикий энтузиазм – у клиента была вся серия без этого принта.

Он тоже чувствовал себя неплохо: десять плюс полторы плюс три, а получил сто тридцать. Это будет... это будет... самашедшие деньги. И налоги с них платить не надо – сто пятьдесят тысяч благотворительной контрибуции сотрут все претензии мытарей. Еще и на другую сделку тридцать пять останется. Плюс табличка будет висеть рядом с рисунком: щедрый

дар, мол, такого-то, а это уже можно и на вебсайт поставить, не хухры-мухры из подворотни. И все за то, что он внимательно выслушал Шона, но мы ему, конечно, не скажем, зачем расстраивать хорошего человека?

Трансакция завершилась в четыре дня, все стороны испытали прилив счастья.

«Деньги должны работать! Надо закупаться, нечего им киснуть». У старых поставщиков братьев Билодо, сидевших на принтах Шагала, была подписная «Библия», за которую они хотели девяносто тысяч. Он давал восемьдесят, согласились на полпути, но выслать ее в Нью-Йорк на консигнацию старший Билодо – Бонифас – отказался.

- Ты не понимаешь, что у нас делается с этим проклятым социалистом! Теперь, чтобы выпустить что-то ценное за границу, нужно показать приход денег на счет! И, конечно же, заплатить налоги! Эти камрады – настоящие разбойники.

Помня, сколько денег было переведено на счет Билодо в швейцарском UBS, он промолчал.

- Так что - прилетай, посмотри книгу, пришли деньги и – забирай. Как вы говорите? «Cash and carry»? Ты видишь, я становлюсь мелким лавочником.

Да-да, с замком в Нормандии и домом под Марселем. Просто – бедняк. Клошар.

Через два дня он был в Париже. Вспомнил, конечно, Жванецкого: «Мне в Париж по делу срочно!» - как они тогда смеялись, а оказалось... Вот не надо зарекаться.

Остановился в «Скрибе» рядом с Оперой – там владельцам платинового «Амекса» давали халявный день и завтраки. Созвонился с Билодо – договорились на завтра. Принял душ. Вздремнул полчаса. Снова полез в душ. Было три пополудни. Решил прошвырнуться по Матиньен – побродить по галереям. Надо было и ужином озаботиться – без резервации в приличное место вечером не попадешь. Спустился вниз, подошел к консьержу и – поразился: на стене висел веселенький плакатик, приглашающий в ресторан «Максим». Надо же, функционирует...

Когда багаж прибыл в Америку, он обнаружил, что сахарница разбилась. Причем, на такие мелкие кусочки, что о склеивании нечего было и думать. Оставалась жестяная крышечка от какао «Наша марка», которую он, повинувшись мгновенному порыву, вмуровал самолично в стену дома. Дурацкое, надо сказать, было решение – под снегом и дождем краска сползла уже через год, и остался ржавый металлический кружок непонятного назначения.

На просьбу зарезервировать посадочное место, консьерж отреагировал довольно странно: не то, чтобы отказался, но стал мычать, предлагать другие рестораны, и, наконец, признался, что этот стал... таким, месье, туристским... Но он настоял, и консьерж сдался, отзвонил и предупредил, что костюм и галстук – обязательны.

Быстро пройдя по галереям, он вошел в дом «Кристи», где была предаукционная выставка. Так себе выставка, не фонтан: три масла позднего Шагала, когда мэтр в две руки переписывал себя, раннего, четыре рисунка Матисса, пикассовский принт портрета Доры Маар и... Привет, старушка, давно не виделись. Кукольное личико, глубокое декольте, яркая шляпка и абсолютно пустые глаза.

- Месье интересуется Домергом?

А вот и галерина подскочила, как же без нее?

- Месье интересуется всем.

- Вы будете на нашем аукционе?

- Я буду бидовать по телефону. Кстати, какой резерв на Домерга?

- Тридцать восемь тысяч евро. Вы не хотите поставить бид прямо сейчас?

- Нет, я должен осмотреться...

Он знал, что не возьмет – любителей Домерга и его американских творческих братьев, вроде Альберто Варгаса, заметно поубавилось, а для себя... Конечно, ради памяти можно и купить, но дома на стенах висят Кац, Вессельман, Раушенберг и даже один маленький рисунок Люциана Фрейда, куда эту дамочку цеплять? Не возьмет.

В ресторан, сделав небольшой крюк, пошел по Шанз-Элизе. Как там у Дассена? *«Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées»*.¹ Пока на Елисейских Полях в обилии находились дети Солнечной Африки, причем, любых родов: от сахарского до калахарского. Похоже, что галльское окружение не исказило привычек новых граждан: на террасах кафе они курили кальяны, на тротуаре там и сям, присев на корточки, резались в шишбет, с рук торговали мелким товарьем. Коренные галлы тоже присутствовали в немалом пока количестве, профессионально не замечая вторжения иных культур.

¹ В солнечный день и в дождь, в полдень или в полночь, всё, что хотите, есть, на Елисейских Полях (фр.)

До рю Рояль он дошел за десять минут. Двери внушали трепет благородством лакированного дерева, потемневшего от причуд патрицианской биографии.

Метрдотель был подобран такой, чтобы ничтожность клиента проявилась сразу. Ощущалось, что его оторвали от беседы с Людовиком XIV и он боится потерять нить разговора в общении с инфузорией, явившейся черт знает откуда и зачем. Взгляд, которым он прожег галстук клиента испепелил бы любого, но матерый арт-дилер (не в канаве играем!), как бы невзначай, повел плечом так, что стала видна бирка Пиетро Балдини, и служивый мгновенно подтянулся.

Зал поразил малостью. И заношенностью. Нет, на самом деле все было красиво и арт-нувошно: и плафоны, и панели, над росписями которых потрудились если не Дурман² с Цигельманом, то уж никак не меньшие артисты, плюш, да-да – плюш!, причем – лионский, с вечерним пурпурным отсветом, и скатерти накрахмаленные, и салфетки льняные же, как бы простым уголком, а не конусами этими купеческими или – того хуже – корабликами, но... Столиков было всего двенадцать, а заняты, дай боже, семь. Колпаки цветного стекла, нахлобученные на лампы мягко притуманились изнутри пылью.. Сцена – и это вызывало смесь разочарования с удивлением, была крошечной. «А как же: «Частица чорта в нас?»» - обалдело подумал он и вспомнил, что это – из «Сильвы». Но, все равно, неужто граф водил корешей в этот зальчик, любоваться, дай Бог, тремя-четырьмя мамзелями, которых только и могла поместить сцена? Дурость какая-то...

- Прошу, месье, когда будете готовы, я подойду.

Так, что это... вот ведь сволочь, знает, что я по-французски ни бельмеса...

- Переверните карту, месье, там – по-английски. Сожалею, но на других языках у нас нет.

Сожалеешь, тварь? А когда наши казаки в Париж вошли, твоя бабушка не сожалела, под нашего хорунжего ложась? Стоп-стоп... какого - нашего? Здравсьте, барин Пархатов, совсем зарпортовались. А... все равно – а «Нормандия-Неман», это вам – что? А? Я волнуюсь, слышав французскую речь? А, сука? А?!

- Спасибо, английский меня устроит.

Так, что заказываем?

² Для справедливости надо указать, что интерьер ресторана был завершен в 1900 году, когда Жану-Габриелю Домергу было всего 11 лет, так что принимать участия в его создании он никак не мог (пр. авт.)

Пошел по наитию. Суп «Вишисуаз». Антрекот побретонски. Трюфеля... Трюфеля – он любил грибы во всех видах, а у этих такой насыщенный вкус, куда даже белым... Выбор к трюфелям предлагался из двух соусов, шампанский постеснялся взять: слишком уж несло золотой цепью и растопыркой, предпочел белый. Из винного листа заказал «Жевре-Шамбертен». Заметил официанту:

- Маленький у вас зал.

- У нас еще три есть, но они для заказов – без сцены, а здесь программа.

Ага, значит граф сюда к друзьям валил, как же без программы? А вот она и началась.

Заиграла музыка. Запись. Легран.

На микроскопической тарелке был внесен нарезанный тончайшими пластинками трюфель. Рядом в маленьком же серебряном соуснике – соус, естественно. Он вспомнил, как однажды с женой набрел на огромную семью белых, и они нажарили полную сковороду, и пожадничав, смели подчистую.

Две пары пошли танцевать. Дебелая дама в белом платье со здоровенным же кавалером. Танцуя, она запрокидывала спину и вздымала ножку... Ножку? Ножишу – правильное было бы. Вздымала, короче. Клала голову на плечо партнеру. Вздыхала так шумно, что перекрывала музыку. Всем видом выражала несметное счастье. Воскликнула на английском: «Когда вернемся в Джексонвилль, Кора обалдеет!». Опять вздела ногу. Вторая пара была ничем не приметна: лет посемьдесят, улыбались отстраненно. Разошлись по столикам: американцы – с чувством исполненного долга, вторая пара – почти семеня.

Принесли «Вишисуаз». Оказался перетертым картофелем с тонкой огуречной стружкой поверху. Лучше, чем Бусин борщ, но не шибко, если честно. Перетерт был процессором, а не через сито: попадались комочки. Впрочем – ничего... Конечно, лучше, чем Бусин борщ.

Заиграла музыка. Танго - ностальгическое до жалобности. Американцы вновь пошли танцевать. Когда же они есть-то будут, просто ансамбль Моисеева какой-то? В перерыве был подан антрекот, лежащий на печеной полукартофелине. Этот был без сомнения вкусен: в меру прожарен, с легкой розовинкой на срезе, луковая подливка мягко обволакивала язык. Тесть в свое время, впрочем, готовил антрекоты не хуже.

Вино зато оказалось превосходным – он любил, когда еле ощущаемая горчинка сопровождалась легкой фруктовой тенью.

Тут над сценой зажглись фонари, и началась настоящая живая программа. Довольно изможденная таперша придвинула микрофон, подержала неподвижно руки над клавишами и заиграла «Иерусалаим шель захав», поддержав музыку настойчивым пением. Он поперхнулся, представив графа Данило, отплясывающего «Фрейлехс» с мадам Гловари. В постановке Цигельмана. Или любого другого Мана. Народ, однако, не смутился и охотно отправился танцевать нечто вполне яфетическое.

Он не выдержал, достал из кармана мобильник и позвонил в Израиль.

- Йоська, жена дома?

- Привет! – донеслось из трубки – Ты у нас?

- Пока нет. В Париже.

- А чего это «Иерусалаим» поют?

- А это я сижу в ресторане «Максим», где слушаю культурную программу.

- Ой, брешешь! Тот самый «Максим»?

- Тот самый, Оксанка, тот самый.

- Слушай, сколько я тебя просила не называть меня больше Оксаной, у меня теперь другое имя.

- Знаем, знаем, праматерь наша. Сорвалось, извини. Будь здорова, а то тут на меня уже смотрят.

На него действительно уже осуждающе смотрели. Между тем программа покатила дальше. К микрофону подошел певец, и они с женщиной, наигрывая веселый энтузиазм, затянули «SUN Don't Set in the Mornin'». Похоже было, что программа называется «Дети разных народов».

Ему стало скучно. Вино допито, ужин съеден. Заказал кофе по-турецки и попросил счет. Кофе взбодрил, счет еще больше: за эти деньги он бы дома неделю запросто питался, но не будешь же торговаться. На прощание обвел глазами зал, понимая, что никогда сюда не вернется, и скука как-то переросла в тоску.

Домой пошел пешком. На углу с Сен-Оноре к нему подошла девушка. Блестящая юбка, с напрягом прикрывающая лобок, кружевной обрез черных чулок, не дотянувшийся сантиметра три до края юбки, и ботфорты, раструбы которых ровно настолько же отстающие от обреза чулок, не оставляли сомнений в ее профессии.

- Monsieur veut avoir du plaisir?¹

- I don't speak French, only English or Russian.

¹ Месье хочет получить удовольствие? (фр.)

- Руський, - обрадовалась она – я говорю по-руськи. Я – з Львива. Возьмешь меня? Я недорогая, другие по двести пятьдесят евро берут, а я тебе за сто восемьдесят дам. Возьмешь?

- Можно и взять, почему бы не взять? Тебя как зовут?

- Та Нюська же! – обрадованно ответила она. – Ганна, если по-полному. Но тут я – Анжэла. А тебя?

- Меня? Данило, конечно. Как же еще?



Гарольд Пинтер
Стихи великого драматурга

Перевел с английского
Ян Пробштейн

*Если человек талантлив, он талантлив во всем – и в прозе,
и в стихах. Это – Дар.*

All of That

All of that I made
And, making, lied.
And all of that I hid
Pretended dead.

But all of that I hid
Was always said,
But, hidden, spied
On others' good.

And all of that I led
By nose to bed
And, bedding, said
Of what I did

To all of that that cried
Behind my head
And, crying, died
And is not dead.

1970

Все это

И я создал все это
И лгал притом.
Все то, что скрыл от света,
Прикидывалось мертвецом.

Но все, что скрыл от света,
Вслух говорилось это
И за людским добром
Шпионило притом.

Все, что я за нос вел
с собой в кровать,
выбалтывало мне,
укладываясь спать.

Все то, о чем я в крик
рыдал в уме,
все умирало вмиг,
не умерев во мне.

1970

Поem

they kissed I turned they stared
with bright eyes turning to me blind
I saw that here where we were joined
the light that fell upon us burned
so bright the darkness that we shared
while they with blind eyes turning to me turned
and I their blind kiss formed

1971

Стихотворение

они целовались я обернулся они посмотрели
светло на меня обернувшись ко мне не видя меня
я заметил что здесь было место где мы были вместе
свет падавший на нас воспламенил как светом дня
так ярко мрак который мы делили в этом месте
пока они невидяще смотрели на меня
обернувшись и формой стал их поцелуй слепой.

1971

Later

Later. I look out at the moon.
I lived here once.
I remember the song.

Later. No sound here.
Moon on linoleum.
A child frowning.

Later. A voice singing.
I open the back door.
I lived here once.

Later. I open the back door
Light gone. Dead trees.
Dead linoleum. Later.

Later. Blackness moving very fast.
Blackness fatly.
I live here now.

1974

Потом

Потом. Я глянул на луну.
Я жил там однажды.
Я помню песню даже.

Потом. Ни звука – здесь.
На линолеуме – луна.
Ребенок хмур.

Потом. Голос запел.
Я черный ход открыл.
Я там однажды жил.

Потом. Я черный ход открыл
И свет погас. Деревья умерли.
Линолеум умер. Потом.

Потом. Налетает мрак.
Плоская тьма.
Здесь я живу сейчас.

1974

Поэм

and all the others
wary now
attentive to flowers

and all the others
unsmiling
recalling others

smiling in gardens
attentive to flowers
wary now

who recall others
wary now
tendering flowers

who recall faces of others
recalling others
unwary in gardens

who tender their gardens
recalling others
wary with flowers

1974

Стихотворение

и все остальные
с опаской сейчас
пристально глядят на цветы

и все остальные

без улыбки
припоминают других

улыбающихся в садах
пристально глядят на цветы
с опаской сейчас

припоминают других
с опаской сейчас
лелея цветы

припоминают лица других
припоминают других
раскрепощенно в садах

лелеющих свои цветы
припоминая прочих
кто с опаской глядит на цветы
1974

Paris

The curtain white in folds,
She walks two steps and turns,
The curtain still, the light
Staggers in her eyes.

The lamps are golden.
Afternoon leans, silently.
She dances in my life.
The white day burns.

1975

Париж

Занавес белеет в складках,
Она ступив два шага, обернулась,
Недвижна занавеска, свет
Колблется в ее глазах.

Все лампы – золотые.
Полдень склоняется молча.

Она танцует по жизни моей.
Пылет белый день.

1975

I know the place

I know the place.
It is true.
Everything we do
Corrects the space
Between death and me
And you.

1975

Мне это место известно

Мне это место известно.
Наш поступок любой
Исправляет в том месте
пространство меж смертью
Мной и тобой.

1975

Поem

The lights glow.
What will happen next?

Night has fallen.
The rain stops.
What will happen next?

Night will deepen.
He does not know
What I will say to him.

When he has gone
I'll have a word in his ear
And say what I was about to say
At the meeting about to happen
Which has now taken place.

But he said nothing
At the meeting about to take place.
It is only now that he turns and smiles
And whispers:
'I do not know
What will happen next.'

1981

Стихотворение

Огни мерцают.
Что случится потом?

Ночь пала.
Дождь перестает.
Что случится потом?

Ночь углубится.
Он не знает
Что я скажу ему.

Когда уйдет

Я на ухо ему скажу
Скажу что собирался
Сказать на встрече предстоящей
Которая сейчас и происходит.

Но ничего он не сказал
На встрече предстоящей.
И только сейчас он улыбаясь повернулся
И прошептал:
“Не знаю
Что случится потом”.

1981

Ghost

I felt soft fingers at my throat
It seemed someone was strangling me

The lips were hard as they were sweet
It seemed someone was kissing me

My vital bones about to crack
I gaped into another's eyes

I saw it was a face I knew
A face as sweet as it was grim

It did not smile it did not weep
Its eyes were wide and white its skin

I did not smile I did not weep
I raised my hand and touched its cheek

1983

Призрак

Я почувствовал мягкие пальцы на горле
Кто-то казалось душил меня

Губы были тверды но и сладостны тоже

Кто-то казалось лобзал меня

Готовы были хрустнуть мои кости
Изумленно глядел я в глаза другого

Лицо было мне знакомо
Столь же мило сколь угрюмо

Оно не улыбалось не рыдало
Глаза широко раскрыты бела кожа

Я не улыбался не рыдал
Я поднял руку и коснулся его щеки
1983

Before They Fall

Before they fall
The obese stars
Dumb stones dumb lumps of light

Before they gasp before they

Before they gasp
And spit out their last blood

Before they drop before they

Before they drop
In spikes of frozen fire

Before they choke before they

Before they choke
In a last heartburn of stunk light

Let me say this

1983

Пред тем как они упадут

Пред тем как они упадут
Ожиревшие звезды
Тупые камни тупые куски света

Пока вздохнут хватая воздух ртом

Пока они вздохнут
И выплюнут остаток крови

Пока они упадут перед тем

Как падут
Шипами ледяного огня

Пока задохнутся пред тем
Как они задохнутся

В последней изжоге гнилого света

Я скажу это
1983



Александр Ласкин

Два эссе о Сергее Дягилеве

Дягилев, Чехов, Станиславский

1.



Как известно, Дягилев не любил распространяться на свой счет, дневников не вел, записок не оставил, в письмах был скуп на оценки. Он даже декларировал свое положение человека, находящегося в тени поддерживаемых им талантов. Однажды на просьбу поклонника прислать фото Сергей Павлович ответил: «Интересен не я – интересно мое дело»¹.

Все же есть тема, по отношению к которой Дягилев не мог скрыть особых чувств. Когда он вспоминал о городе, где прошло его детство, в его голосе сами собой появлялись лирические интонации. Казалось бы, деловое и сугубо конкретное объявление в журнале «Мир искусства» – не самое подходящее место для личного высказывания. Вместе с тем, обращение к уроженцам Урала оказать помощь Пермскому научно-промышленному музею звучит едва ли не как стихи: «...ввиду тесной, глубокой связи, существующей у человека с родным, воспитавшим его краем, неизбежно дорогим для него и вдали на расстоянии многих лет разлуки...»²

Вот Дягилев и проговорился - поставил рядом и как бы уравнивал определения «родной» и «воспитавший». Кажется, импресарио сам немного смутился такой откровенности и сказал о себе в третьем лице.

Больше в Перми Сергей Павлович не бывал. Он дорожил этим городом именно «на расстоянии многих лет»: как видно, не хотел, слишком приблизившись, разрушить свои воспоминания.

Даже перед смертью Дягилеву вспоминалась тихая провинциальная жизнь. Свою последнюю благодарность он обращал не знаменитым танцовщикам, с которыми связаны дни

¹ *Петербургский обозреватель*. Эскизы и кроки. // Петербургская газета. – 1912. №178. – 1 июня.

² *Серебрянников П.* Письмо в редакцию // *Мир искусства*. – 1903. № 4. – С. 35-38.

его славы, а безвестным исполнителям домашних спектаклей в родовом доме.

Переживания Дягилева тем более удивительны, что Пермь конца XIX века вызывала порой иные чувства. Город, из которого мечтают вырваться три сестры, напоминал Чехову именно Пермь. «Ужасно трудно было писать «Трех сестер», – жаловался Чехов А.М. Горькому. – Ведь три героини, каждая должна быть на свой образ, и все три – генеральские дочки! Действие происходит в провинциальном городе, вроде Перми, среда – военные, артиллерия...»³

Как известно, в Перми Чехов гостил дважды и всякий раз очень недолго. Не исключено, что краткость его пребывания связана с ощущениями, похожими на те, что испытывали его героини: уж очень неинтересной показалась ему здешняя жизнь.

Впрочем, много ли надо для того, чтобы подтвердить давние представления о провинции? «В России все города одинаковы, – писал Чехов родным, – Екатеринбург такой же точно, как Пермь или Тула»⁴. Дело тут не только в том, что «все извозчики похожи на Добролюбова»⁵, но в тоскливом существовании и полном отсутствии каких-либо перспектив.

Вот так – буквально с первого взгляда – возникают замыслы великих пьес. Правда, Чехову всегда мало общего впечатления. Вернее, всякое общее его впечатление непременно основано на деталях.

Такова особенность зрения писателя. В любой из сочиненных им историй, подобно муравью в янтаре, спрятаны реалии. Они как бы документируют его сюжеты: если эти частности существовали, то и сами обстоятельства тоже должны были иметь место.

Так что не совсем напрасны поиски биографов Чехова, обнаруживших дом, в котором в конце девятнадцатого – начале двадцатого века жили три сестры. Вот он, «муравей в янтаре»! Возможно, именно около этого дома Чехов окончательно понял, что три тоскующие женщины должны заменить протагониста классической драмы...

Есть еще одна подробность, отсылающая к времени пребывания Чехова в Перми. Почему бы не представить, что здесь он услышал известную на Урале фамилию Прозоровских, а уже из

³ Чехов А.П. Письма: В 12 т. – М.: Наука, 1980. – (Полн. собр. соч.: В 30 т.). – Т. 9. – С. 133.

⁴ Чехов А. П. Письма: В 12 т. – М.: Наука, 1980. – (Полн. собр. соч.: В 30 т.). – Т. 4. – С. 72.

⁵ Там же, с. 72.

нее родилась фамилия Прозоровых? Кстати, отсюда недалеко и до Дягилевых: если автору «Трех сестер» было известно об их близких знакомых, то почему бы ему не знать о них самих?

Тут есть где разгуляться воображению. Среда та же – «военные, артиллерия»⁶. Разговоры же больше отвлеченные: обязанности службы гостей и хозяина не помешали дому Дягилевых стать «пермскими Афинами», местом поиска ответов на мировые вопросы.

Если начинаешь искать сходства, то трудно остановиться. Сразу вспоминаешь, что в Перми Чехов появился в мае 1890 года, а в апреле началась тяжба Дягилевых с кредиторами. К «Трем сестрам» присоединяешь «Вишневый сад»: отчего не предположить, что эта пьеса питалась историей разорения пермского родового гнезда...

К сожалению, придется разочаровать филологов-буквалистов. Как не увлекательны поиски пересечений, но разве в них дело? Существовая как бы в границах чеховских сюжетов, Дягилевы демонстрировали принципиально иную позицию и поведение.

2.

Кажется, среди авторов, которых читали и перечитывали в доме Дягилевых, есть Гончаров, Достоевский, Толстой, но Чехова нет. Еще существеннее то, что в мемуарах Е.В. Дягилевой-Панаевой отсутствует скептическая чеховская интонация. Да и откуда бы ей взяться: герои «Трех сестер» и «Вишневого сада» живут в томительном ожидании событий, а у пермского семейства этих событий было с избытком.

Не имела ли тут место своего рода «разница во времени»? Время Прозоровых или Раневской – вялое и текучее, а Дягилевых – плотное и насыщенное. При этом они не только сами так жили, но других вовлекали в этот ритм.

Когда в доме на Сибирской назначалась репетиция оркестра или домашнего спектакля, то участники узнавали об этом из записки с одним словом «Тревога!»⁷ Значит, на репетицию собирались как пожар. Буквально летели разделить со своими единомышленниками любовь к Чайковскому или Глинке.

Нет смысла перечислять то, что хорошо известно: у Дягилевых устраивались музыкальные вечера, читались вслух произведения любимых писателей, осуществлялись театральные

⁶ Чехов А.П. Письма: В 12 т. – М.: Наука, 1980. – (Полн. собр. соч.: В 30 т.). – Т. 9. – С. 132.

⁷ В. Гладышев. К Дягилевым ездили по тревоге // Пермские новости. – 1997. № 89. – 6 июня.

постановки. Если кто-то не находил в себе способности к творчеству, то ему предназначалась почетная роль зрителя.

Вслед за каждой переменной судьбы следовала не депрессия, а хлопоты обустройства. Кстати, именно так начиналась жизнь семейства в Перми: стоило им появиться в этом городе, и казалось бы неодолимая скука отступала. «Жизнь потекла иная, – рассказывал двоюродный брат Дягилева П.П. Корибут-Кубитович, – веселая и оживленная, с музыкой, пением, чтением, интересными беседами. Из дома Дягилевых были изгнаны карты; никто из Дягилевых никогда не играл ни в винт, ни в преферанс, зато искусство и литература встречали радушный прием в доме, который стал через год центром всей культурной жизни в Перми...»⁸

Вот рассказ Е.В. Дягилевой-Панаевой о более раннем приезде П.П. Дягилева в Селищенки. Смысл его тот же: «жизнь потекла иная». Даже в традиционно унылой жизни военного гарнизона проявились черты обихода, принятого в их кругу. «...Он внес луч света в смрадную общую скуку, – писала Елена Валерьяновна. – Он сгруппировал около себя любителей пения. Под его регентством устроился отличный хор, который пел в церкви. Он любил это дело и увлек за собой других»⁹.

Дягилевы сами создавали обстоятельства. К жизни они относились не пассивно, а творчески. Они были убеждены, что если в действительности что-то отсутствует, то только потому, что они сами не приложили усилий.

А что же чеховские герои? Они томятся невозможностью обрести полноту существования. Вроде они рождены для чего-то возвышенного, но проявить себя почему-то не удается. Препятствия обнаруживаются на каждом шагу и оказываются самыми неожиданными. Например, одна из сестер, Ирина, мучается тем, что забыла, как по-итальянски произносится слово «окно»¹⁰.

По сути, это «окно» – типичная фрейдистская оговорка, и, как положено оговорке, она вырастает до несоизмеримых масштабов. Впрочем, есть и другие оговорки. Читателю этих пьес следует быть внимательным: подчас несколько слов или междометий кардинально меняют содержание.

⁸ Цит. по: *Лифарь С.М.* Дягилев. – СПб.: Композитор, 1993. – С. 25-36.

⁹ *Дягилева Е.В.* Семейная запись о Дягилевых / Изд. подгот. Е.С. Дягилева и Т.Г. Иванова. – СПб-Пермь: Изд. Дмитрия Буланина, 1998. – С.44-45.

¹⁰ *Чехов А.П.* Сочинения: в 18 т. – М.: Наука, 1978. – (Полн. собр. соч.: В 30 т.). – Т. 13. – С. 166.

Вот хотя бы такой пример. «...Музыка играет так весело, - говорит Ольга, - так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем... Если бы знать, если бы знать!»¹¹.

Так же как герои верили, что вскоре поедут в Москву, так они надеются, что вот-вот им откроется смысл бытия. Эта фраза кое-что объясняет и про ту Москву, в которую они хотят попасть. В конце пьесы это уже не реальный город, последняя станция железнодорожного пути, а своего рода «небесный вертоград».

Действительно, если бы речь шла просто о Москве, то не было бы никаких проблем. Еще первые критики «Трех сестер» недоумевали: отчего бы сестрам не отправиться на вокзал и не купить билет? Судя по всему, этот билет есть что-то вроде упомянутого «еще немного». Казалось бы, ну что такое эта малость, но именно она оказывается неодолимой.

Не только для читателей, но для самих героев скромные бытовые препятствия вырастают до грандиозных масштабов. «Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, - говорит та же Ольга, - но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас...»¹² Уж какой тут билет! Если только тот, который следует вернуть творцу.

Понятно, откуда эта чеховская катастрофичность. Она связана с двумя важнейшими открытиями писателя. Во-первых, он понял, что дом является неким основанием жизни. Во-вторых, убедился в непрочности этого основания: как известно, дома в его пьесах не обретают, а теряют.

Как решить эту «квадратуру круга»? Как уравновесить порывы и стремление к оседлости? Как остаться верным своему дому и, в тоже время, не растерять ничего в себе?

На эти вопросы ответили Дягилевы. Эти жизнерадостные люди знали, что катастрофа всегда открывает новые возможности: им вообще было интересно жить, а начинать жизнь заново интересней вдвойне.

3.

Тема дома – одна из центральных для русской литературы девятнадцатого века. Достаточно вспомнить «Пора, мой друг пора!...», а так же конспект завершения этого стихотворения: «Юность не имеет нужды в at Home („у себя дома“ (англ.) – А.Л.), зрелый возраст ужасается своего уединения... О скоро ли

¹¹ Там же, с. 188.

¹² Там же, с. 187-188.

перенесу я мои пенаты в деревню – поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические – семья, любовь, etc. – религия, смерть»¹³.

Это стихотворение может быть воспринято как написанное автором «Трех сестер» или даже его персонажами. Ведь оно говорит о том, что время необратимо. Так же как жизнь неизбежно завершается смертью, так обстоятельства движутся к отнюдь не лучшему своему варианту.

Да и о стремлении переменить судьбу, по сути – победе, у Чехова тоже сказано. Впрочем, драматург жестче предшественника. Его герои чаще всего не могут вырваться или же их побег напоминает бегство. Вряд ли Раневскую в Париже, а Гаева в Харькове ожидает «обитель дальняя трудов и чистых нег»¹⁴.

Есть у Чехова и свое предположение о «покое и воле». В финале его пьес персонажи признают, что им суждено не счастье, а размеренное течение дней. Даже три сестры, которые с самого начала существовали как бы «на чемоданах», в конце никуда не стремятся. Соглашаются с тем, что они проживают не чужую и временную, а настоящую и единственную жизнь.

В этом и есть смысл движения этих пьес. Сначала дом уютен, добр по отношению к обитателям, а потом он их тяготит. В финале в голосе героев появляется нота смирения: жить трудно, но необходимо. То, что когда-то казалось естественным, теперь превратилось в нелегкую обязанность.

Такова чеховская философия судьбы. Она говорит о том, что ситуация всегда выше человека. Единственное, что ему остается, это сохранить веру, не уронить достоинства, и – продолжать жить.

Существует еще вариант дягилевский – не замечать обстоятельств, устраивать домашние спектакли и музыкальные вечера. Не считать, что жизнь что-то должна тебе, но пытаться всю меру ответственности взять на себя.

Сразу предполагаю возражение: сравнение литературных персонажей с рядовыми обитателями может показаться «запрещенным приемом». В свое оправдание могу сказать только то, что эти обитатели имели отношения к искусству не только в качестве музыкантов-любителей, но, самое главное, героев «личного мифа» Сергея Дягилева. Именно из этого мифа родилась наиболее значительная его идея – идея «Русских сезонов».

¹³ Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. – М.: Изд-во Худож. лит., 1959. – Т. 2. – С. 738.

¹⁴ Там же, с. 387.

Тут надо вспомнить о еще одной, быть может самой неожиданной, метаморфозе темы дома в двадцатом столетии. Помимо прозы и драматургии, она нашла воплощение в принципах организации театрального дела.

4.

Первым театром-домом стал Московский Художественный театр. Этому театру было суждено пройти те этапы, которые с точки зрения Чехова суждены всем российским домам: сначала он представлял собой убежище, а потом стал тесен и неудобен даже для своих создателей. В последних текстах руководителей театра есть что-то от заклинаний чеховских героев, которые воспринимают свою судьбу как обузу, но, в тоже время, считают необходимым прожить ее до конца.

Через десятилетие после первого театра-дома возник дягилевский театр-антреприза. Этот театр был легок на подъем, готов к переменам, не был обременен особыми обязательствами перед традицией. В характере этого чуждого «предрассудку любимой мысли» коллектива сказалась не только натура хозяина труппы, но и опыт жизни его родителей.

Могло ли быть иначе? Ведь дягилевская биография начиналась не с учебы на юридическом факультете Петербургского университета, а с потери пермского родового гнезда. Вся последующая жизнь была попыткой определиться в пространстве, не имеющем центра.

Впрочем, антреприза решала не одни личные вопросы. И вообще не только вопросы, поставленные в прошлом, но еще намечающиеся и окончательно не сформулированные.

Следует посмотреть на это театральное предприятие в контексте принципиально иных перспектив жизни. Очень скоро в ней не останется места для быта: какой быт в эпоху эмиграций, перемещенных лиц, уничтожения самого понятия собственности!

Если Чехов сказал о драматизме темы дома, то Дягилев продемонстрировал, каково жить без него. При этом ситуация виделась ему не безнадежной, а по настоящему творческой: бездомность обозначала открытость миру и способность утраты трансформировать в фантазии.

Может, потому Дягилев не приехал в Пермь? Для чего возвращаться, если все самое важное – будь то собственный дом или целый город – носишь в себе. В такой позиции есть упрек чеховским героям: уж очень они были реалистами и слишком мало творцами, чтобы подняться выше обстоятельств.

Какется, слово «тревога», впервые прозвучавшее в доме на Сибирской, Дягилев воспринял как указание. Ведь это он

задавал ритм существования своей труппы и поэтому всюду, где она появлялась, начиналась «другая жизнь».

Поэтому последние часы Сергея Павловича, о которых упоминалось в начале доклада, воспринимаются как завершение некоего сюжета. Кажется само собой разумеющимся и то, что перед смертью он разорился, и то, что умирал в гостиничном номере, и то, что вспоминал родительский дом. Он ведь и жил так: тратил все без остатка, не стремился к оседлости, был уверен, что если человек в самом деле художник, то никакие потери ему не страшны.

Гиацинты зимой

*(Малоизвестная статья С. Дягилева
в скандинавском и русском контекстах)*

1.

Не сразу Сергей Павлович Дягилев смог определить, в чем состоит его миссия. В юности, в письмах мачехе, он несколько раз пытался найти наиболее приемлемую для себя формулу.

Отчего-то письма выходили чересчур хвастливыми, едва ли не «хлестаковскими». За наигранной интонацией скрывалось желание избежать прямого ответа.

«... если до Вашего укромного уголка, - сообщал Дягилев в Пермь о своем участии в открытии электрического завода, - когда-нибудь дойдет, что есть-де такой «Санкт-Петербургский завод», то пусть твой вещун подскажет тебе, что одним из трех строителей его является умная голова, почти тобою рожденная».¹⁵

Конечно, само по себе электрическое предприятие меньше всего интересует Дягилева. Зато, благодаря полученным дивидендам, он может показать себя. «Квартира моя прелестная, - пишет он дальше, - это образчик хорошего вкуса, столь редкого в наше буржуазное время. Впрочем, у кого же искать вкуса, как не у гениев? Великий Ленбах, бог немецкой живописи, обняв меня, написал на портрете: «Меценату»... Припомните так же: «Сергею Дягилеву - Лев Толстой», - и Вам все станет ясно»¹⁶.

Что-то у Дягилева явно не сходится: он настаивает на своем прагматизме и - говорит о пристрастии к роскоши. Или: похвалится финансовыми успехами и, в тоже время, знакомствами с великими людьми.

¹⁵ С. Дягилев - Е. Дягилевой-Панаевой. Б.д., 1895. // ИРЛИ РАН (Пушкинский дом), Рукописный отдел, Ф. 102. Д. 88. Лл. 452-453.

¹⁶ Там же, С. 454.

Не ведут ли эти противоречия к внутреннему конфликту? Что нужно сделать для того, чтобы крайности примирить?

С большей или меньшей достоверностью мы можем определить время, когда Дягилев понял, что разные векторы его устремлений вовсе не исключают друг друга.

2.

Летом 1897 года Дягилев начал готовить свою вторую – скандинавскую - выставку. Предполагалось, что она состоится в залах петербургского Общества поощрения художеств.

В начале июня импресарио отправился в Финляндию, Швецию, Норвегию и Данию. Во время путешествия он встретил художников, чей пример подтверждал найденную им формулу жизни.

Жить разнообразно для этих людей и значило жить гармонично. Они умели создавать прекрасные картины и - участвовали в крестьянском празднике, занимались грубым трудом и - разговаривали о возвышенном.

К тому же, их жизнь протекала на природе. Его новые знакомые чувствовали себя одинаково комфортно как в окружении диких лесов, так и в окружении произведений искусства.

Обо всем этом Дягилев рассказал в статье «Современные скандинавские художники», опубликованной в одиннадцатом номере журнала «Северный вестник» за 1897 год.

Как ни странно, эта статья не попала в наиболее полный на сегодня двухтомник материалов о Дягилеве, подготовленный И.С. Зильберштейном и В.А. Самковым. Еще более удивительно то, что ее обошли вниманием исследователи русско-скандинавских художественных связей¹⁷.

Вместе с тем, этот большой, более чем двадцатистраничный, текст очень существенен для самосознания Дягилева.

В первую очередь внимание останавливает личная интонация.

Казалось бы, обязанность критика – писать о других, а не о себе. Впрочем, это тот случай, когда через другого начинаешь понимать себя. На примере скандинавских художников импресарио отвечал на вопрос о странном человеческом типе, чьим представителем являлся он сам.

¹⁷ Датой «открытия» этой статьи следует считать 1998 год, когда она впервые была процитирована петербургским дягилеведом Ю. Новиковым в статье «Северный ветер» (В кн.: Шведы на берегах Невы. Стокгольм, 1998).

К тому же, прямой речи Дягилев предпочел пластический язык. Он не декларировал свою идею, но объяснял ее с помощью конкретных деталей и ситуаций.

«Мне пришлось как-то, - описывает он свое посещение шведского художника Андреса Цорна, - прожить несколько дней у него в деревне. Мне было невыразимо странно видеть Цорна у себя дома, в неожиданной для меня обстановке, после всего ослепительного блеска, в котором я видел его в парижских салонах, в гостиных Лондона или в галерее портретов великих художников во флорентийской Уффици. Цорн собственноручно доканчивал постройку своей виллы, следил за вбиванием каждого гвоздя, делал рисунки для каждой двери, и длинными кистями проходил декорации на огромных ширмах в своем ателье. Уже вечерело, когда один из родственников художника, крестьянин той же деревни, подвез меня в широкой коляске к подъезду виллы. Меня ждали... Цорн снял свой обычный крестьянский костюм из простого темного сукна и был одет в элегантное английское платье. Проведя меня через большую столовую, отделанную сверху донизу крестьянскими картинами, полками со старым шведским стеклом, с елками по углам и огромной печью-камином, Цорн ввел меня в комнату для гостей, где я сразу почувствовал себя переселенным в Англию с изящным в духе Уолтера Крейна интерьером и тонкой мебелью а-ля Либерти. Все было грациозно, элегантно отделано, и на всем лежал отпечаток уютного деревенского дома. После обеда хозяева предложили мне, так было воскресенье, пойти посмотреть на деревенские танцы на берегу озера... Оживление царило повсюду, и несколько десятков пар, обнявшись за талию, танцевали нечто среднее между вальсом и полькой. Не успели мы близко подойти к танцующим, как я утерял Цорна из вида и только через несколько минут рассмотрел его среди кружащихся пар ... На другой день Цорн показывал мне своих Рембрандтов и Рибера, которые висят у него в мастерской... И тут же быстрым переходом он предложил мне сделать с ним прогулку на парусной лодке...»¹⁸.

В небольшом отрывке Цорн предстает то - рафинированным эстетом, то - почти крестьянином. Впрочем, для шведского мастера эти крайности естественны. Такова амплитуда его реальных возможностей.

Вилла Цорна – в не меньшей степени чем ее хозяин – представляет собой «единство противоположностей». Тут все со

¹⁸ С. Дягилев. Современные скандинавские художники. // Северный вестник. 1897. №11. С.362-363.

всем естественно уживается: казалось бы, «мебель а ля Либерти» и неуместна в деревенском доме, но как-то вписалась в его атмосферу.

Возможно, Сергей Павлович еще раз вспомнил «крестьянский костюм» Цорна, когда сравнил свой каждодневный труд с работой подрядчика на строительстве. «Когда строишь дом, - писал он А.Н Бенуа 14 июня 1898 года, - то бог весть сколько каменщиков, штукатуров, плотников, столяров, маляров тебя окружает...». Подводя итог, импресарио предлагал своему товарищу скорее надеть «грязный фартук.., чтобы месить эту жгучую известку.»¹⁹

Конечно, было бы необъективно, сказав о «грязном фартуке», не упомянуть о цилиндре и белой рубашке с бабочкой.

Уж таков этот человек – один его облик как-то само собой предполагал наличие чего-то совсем другого.

Кажется, Дягилевых было по меньшей мере несколько. Если первый месил «жгучую известку», то другой – в отличном фраке встречал гостей на открытии выставок и премьерях спектаклей.

3.

О том, что на практике значило «месить известку», можно судить по документам, сохранившимся в петербургских архивах. Многочисленные счета, расписки, прошения отражают скрытую от публики работу по подготовке дягилевских экспозиций рубежа веков.

Нет сомнения, что всю нагрузку, связанную с организацией Выставок скандинавских художников, русских и финляндских художников, Первой международной выставки журнала «Мир искусства», брал на свои плечи один-единственный человек. Это он, Дягилев, отвечал за развеску картин, работу гардероба, рекламу в газетах, продажу билетов и каталогов.

Сохранилось несколько смет, свидетельствующих о разнообразии его забот. В них аккуратно отмечены и 27 рублей «на чай посыльному, и 3 рубля на чай «досмотрщику при укладке» картин.²⁰ Или вот, например, такой счет: «Г-ну Дягилеву на выставку русских и финляндских художников. Названия предметов. 1. Один человек при входе на выставку отбирать билеты»²¹. Или такой: «... поставлено два стола за пять рублей и принесена картина художника Рябушкина за два рубля».²² А вот

¹⁹ Сергей Дягилев и русское искусство. М. 1982. Т. 2. С. 31- 32.

²⁰ ЦГИА. Ф. 789. Опись 12. Дело 6 ж. Л. 35.

²¹ Там же. Л. 320.

²² Там же. Л. 340.

еще: некто Балабанов сообщает, что «находился при выставке, отгонял извозчиков» и «получил двадцать рублей»²³.

Часто помощники Дягилева не очень представляли, кто этот требовательный, не дающий поблажки, господин. Даже его фамилию многие не могли запомнить: в одних расписках его именуют «Дягелевым», а в других – «Дягилевым». ²⁴ Конечно, Сергею Павловичу не приходилось выбирать. Чтобы осуществить задуманное, он должен был работать с теми, кто есть.

Это одна сторона жизни импресарио. Впрочем, есть и другая. Помните, как Цорн «снял свой обычный крестьянский костюм» и одел «элегантное английское платье»? Вот так и Дягилеву были свойственны «быстрые переходы».

Что касается душевной жизни, то тут раздвоенность выражалась в странных перепадах от необычайной жесткости к почти женской чувствительности. Он мог закатывать истерики, плакать, бить посуду и, в то же время, изумлять выдержкой, упрямством, твердым видением цели.

Когда кто-то воспринимал его однозначно, Сергей Павлович буквально негодовал. Он самолично брался объяснить этим слепцам, что его натура значительно богаче, чем это кажется с первого взгляда.

«С легкой руки З.Н. Мережковской - писал он В. Розанову 29 ноября 1901 года, - я попал в разряд людей «действия», в то время как все вы - люди «созерцания». Этот эпитет, данный мне с легкой дозой покровительства, я ношу без стыда: и такие, быть может, нужны. Но понятно, что помня всегда за собой пресловутую «энергию» и «мощь» ... я боялся и боюсь идти к людям «созерцания» и лишь издали смотрю на них, все же чувствуя с ними общение, которое никогда не разорвут никакие эпитеты»²⁵.

Был ли исключением Дягилев, человек «действия» и, в то же время, «созерцания»? Неужели только в Скандинавии он мог встретить людей общих с ним душевных качеств?

О том, что и в России стали появляться эти странные люди - коммерсанты по своим обязанностям и поэты в душе - свидетельствует появление подобных героев в литературе.

Впрочем, ни о какой массовости говорить не приходится. Хотя бы потому, что без Дягилева и без его статьи о скандинавских художниках тут не обошлось.

²³ Там же. Л. 350.

²⁴ Там же. Л.л 360, 367.

²⁵ Сергей Дягилев и русское искусство. М. 1982. Т. 2. С. 69.

4.

Самый противоречивый деловой человек в русской литературе - это, конечно, Лопахин. Он и погубитель Вишневого сада, и настоящий чеховский герой - рефлектирующий, сомневающийся, тоскующий.

Неслучайно, Чехов просил сыграть эту роль К. Станиславского и говорил, что Лопахин должен походить на профессора Московского университета.

Каков Лопахин - такова и его история, рассказанная в пьесе. Казалось бы, этот человек думает о других, хочет помочь хозяевам имения, а, в результате, поступает так, как выгодно ему одному.

Он не только действует, но и разговаривает как-то странно. Противоречия обнаруживаются на каждом шагу. Вот он произносит нечто решительное: «Вишневый сад теперь мой!» и тут же следует горестная сентенция: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь».

Объединять Лопахина и Дягилева лишь по признаку их двойственности было бы очевидной натяжкой, если бы не одно совпадение. В пьесе Чехова присутствует почти дословная цитата из статьи о скандинавских художниках.

«Северный вестник», напечатавший эту статью, был не чужим для Чехова изданием. Этот журнал писатель читал постоянно, откликался в письмах на его публикации, именно тут впервые увидел свет его «Леший».

Так что Антон Павлович вполне мог наткнуться на такую дягилевскую фразу:

«Как мог появиться, - писал автор, - этот далекий северный крестьянин с *такими тонкими руками аристократа?* (здесь и далее курсив мой – А.Л.)». И чуть дальше: «... он ... подымается на *такую высоту благородства и чистоты стиля, элегантности,* что поражаешься одному воспоминанию о далекой убогой деревушке на холмистых берегах озера Сильян».²⁶

А вот что говорит Петя Трофимов Лопахину: «*У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа.*»

Замена «аристократа» на «артиста» естественна, если согласиться с тем, что реплика Пети возникла из фразы о художнике Цорне.

²⁶ С. Дягилев. Современные скандинавские художники. // Северный вестник. 1897. № 11. С. 363.

Нельзя не сказать о том, что Лопахин, так же как Цорн, происходит из крестьян. Для Чехова это обстоятельство не менее важно, чем для Дягилева.

Конечно, сходство заключалось не только в отдельных подробностях. Скорее всего, Чехову потому и запомнилась фраза о «руках аристократа», что через нее ему открывался контекст.

К тому времени когда он сел писать свою последнюю пьесу, у него уже было представление не только о статье Дягилева, но и о нем самом.

С 1899 года Чехов и Дягилев состояли в переписке. Писатель, удивительно чуткий к стилистическим сдвигам, не мог не обратить внимания на странное противоречие писем своего адресата.

Дягилев писал о чем-то совершенно-конкретном - о статье на смерть Левитана, о готовящемся номере «Мира искусства» к юбилею Пушкина - и тут же начинал разговор на куда более общие темы.

Этот человек был способен не только «месить известку», отменно исполнять свои редакторские обязанности, но и задаваться вопросами метафизического свойства:

«Нас прервали на выставке, - пишет Дягилев Чехову, - как раз в самый интересный момент: «возможно ли теперь в России серьезное религиозное движение?». Ведь это, другими словами, вопрос - быть или не быть всей современной культуре»²⁷.

Эта фраза в дягилевском письме от 23 декабря 1902 года как бы перебивает его вполне деловые соображения. Вот так же Лопахин вдруг говорит, словно очнувшись от своих прагматических расчетов: «Такая досада! Хотелось бы поглядеть на вас, поговорить...».

Чехов уже дописывал «Вишневый сад», как вдруг получил письмо: Дягилев предлагал Антону Павловичу возглавить беллетристический отдел создаваемого им нового журнала.

Преимущества плана заключались в том, что импресарио собирался «журнал разбить на несколько разделов». «Таким образом, - писал он, - работа разбилась бы и каждый отвечал бы полностью за свой отдел». Своё начинание Дягилев именовал «американской затеей»²⁸.

Не вспоминается ли вам «разбить участок на дачи»? Тоже, кстати, своего рода «американская затея», не уступающая дягилевскому проекту.

²⁷ Сергей Дягилев и русское искусство. М. 1982. Т. 2. С. 80.

²⁸ Там же. С. 84.

В следующем письме Дягилев продолжал атаковать Чехова с поистине лопахинским упорством. «Вы понимаете, - писал он, - дело стоит так - 1 января мы прекращаем «Мир искусства», - это решено, и затем либо открываем новый литературно-художественный журнал, либо я и Философов уезжаем года на два из России за границу»²⁹.

Новый журнал должен был возникнуть ценой смерти «Мира искусства», так же как дачный поселок - ценой гибели вишневого сада.

Неизвестно, как бы все повернулось, если бы Антон Павлович не отвечал с рассеянностью, достойной Раневской и ее брата. Завершалось его письмо ясным указанием на то единственное место, где ему только и может быть хорошо: «В Ялте прохладно или, по крайней мере, не жарко, я торжествую»³⁰.

Вскоре подоспела премьера «Вишневого сада» в Художественном театре. Импресарио употребил все свое влияние для того чтобы участвовать в общем празднике. Он и в данном случае действовал с решимостью, выдающей в нем прототипа главного героя. Впрочем, на сей раз Чехов не сопротивлялся: по его просьбе Дягилеву были оставлены билеты на первый спектакль.

Посмотрев спектакль, Сергей Павлович направил телеграмму автору. В ней он называл «Вишневый сад» «новым проявлением его изящного дарования»³¹.

Следует сказать, что вместе с редактором телеграмму подписали еще тринадцать сотрудников «Мира искусства». Помимо Дягилева, никто из них не имел к пьесе непосредственного отношения.

5.

И после экспозиции в залах Общества поощрения художеств Дягилева не оставил интерес к Скандинавии. Через несколько месяцев в музее Училища барона Штиглица открылась Выставка русских и финляндских художников.

Выставка еще раз подтверждала, что летняя поездка в Скандинавию для импресарио не прошла даром. Экспозиция удивляла контрастами не менее дерзкими чем соединение крестьянского костюма «с... тонкими руками аристократа».

²⁹ Там же. С. 86.

³⁰ Там же. С. 85.

³¹ Там же. С. 89.

Во-первых, поражало обилие гиацинтов в вазах. Ежедневно, к десяти утра, букеты доставлялись из цветочного магазина Комарова на Караванной улице³².

Для чего Дягилеву понадобились цветы зимой? Зачем на открытии выставки играл помещенный на хорах оркестр? Прогрессивная критика угадывала тут чуть ли не проявление вздорного характера устроителя.

Больше всех расстраивался Н. Михайловский. Отдельные детали ему вроде были ясны, но в целом они никак не складывались. «Быть может возможны, - сетовал он, - сочетание музыки с живописью. Но когда на выставке картин с разнообразнейшими сюжетами играет цыганский оркестр Риго, то чем красивее и чем с большим огнем он исполняет штраусовский репертуар, то тем нелепее должен оказаться результат выставки»³³.

Кое-что Михайловский все же почувствовал. Уж насколько он был далек от прекрасного, но ощутил дуновение чего-то потустороннего. «... на выставке русских и финляндских художников, - писал критик, - «там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит»³⁴.

Соединяя цветы, музыку и живопись Дягилев творил свой причудливый сюжет. Впрочем, главное из противопоставлений заключало в себе название экспозиции.

Положение Финляндии в составе России давало право никак не подчеркивать присутствия полотен П. Халонена рядом с картинами М. Нестерова. Ведь выставлялся в Петербурге академик русской Академии художеств А. Эдельфельт, и никому не пришло в голову как-то выделять его участие.

Дягилевский жест был не только красивым, но, к тому же, демонстративным. Своим единоличным решением импресарио предоставлял финским художникам равноправие. В созданном им мире определяющим оказывался не государственный, а эстетический суверенитет.

Разумеется, у выставки была не одна, а две доминанты. Экспозиция начиналась висевшими одна против другой картинами М. Врубеля «Утро» и А. Галлена-Каллелы по мотивам «Калевалы». Так подтверждалась паритетность и независимость финской и русской тем.

На афише К. Сомова две очаровательные барышни – финка и русская – указывали пальчиком в сторону названия

³² ЦГИА, ф. 789, опись 12, дело бж, л. 326.

³³ Н.К. Михайловский. Четыре художественные выставки // Русское богатство. 1898. №3. С. 147.

³⁴ Там же, С. 149.

выставки. Платье на даме справа было зеленое, на даме слева – коричневое. У одной перчатки – белые, у другой – черные. Мопсы на поводках – белый и коричневый.

Различия, дополняя друг друга, определяли гармонию сомовского графического листа. Черный, коричневый, зеленый и белый словно перемигивались, вступали между собой в диалог.

Так легкомысленно решались казалось бы неразрешимые проблемы. В духе того скандинавского мастера, который чуть ли не одновременно рассуждал о живописи и участвовал в крестьянском празднике.

Вообще на территории «мира искусства» все было иначе, чем в реальности. За окном – мороз, а здесь - одуряюще пахнут цветы... Оркестр, как где-нибудь на летних подмостках в Териоках, играет вальсы Штрауса... Наравне с другими зрителями Государь рассматривает экспозицию, почтительно слушая объяснения художника Бенуа...



Михаил Юдсон

Надежда на дождь

Вадим Халупович. Пылинка на ветру*



Вадим Халупович мне известен издревле, как многим и многим – я читал его еще в «настоящих», прежних престижных журналах «Новый мир», «Юность», «Звезда», сталкивался в своих студенческих семидесятых и со сборником «Зимний полдень», запомнился, надо же, несмотря на версты, камни и подорожники будоражащих меня в ту пору текстов. Явно свой голос, особый способ складывать слова – ровно, лирично, без поэтических кунштюков и пируэтов, кирпич вроде бы на кирпич, но взгляд за строфу цепляется и метафора отрадна, и душу невзначай царапает. Ну и подтексту малость намело – сфинксы под снегом. Северной Пальмиры выделка шкурки стиха.

До исхода в 1992 году в Израиль и заякорения под пальмами Хайфы у Халуповича вышло на других, невских берегах семь поэтических книг – причем тот Ленинград отнюдь не сегодняшний Санктпит!.. Словом, маститый автор, скромный негромкий мэтр среди шумно-заунывных альманахских альтезахенов, по нынешнему разухабистому времени – пиитический мастодонт, смиренно и свободно обитающий у Средиземного водопоя.

В книге «Пылинка на ветру» собраны стихи в основном последнего десятилетия. Золотой возраст человеческой осени заставляет автора все меньше смотреть под ноги, вороша опавшую листву страниц, а больше вглядываться в небеса, разговаривая с Ним, путь тот не с нимбом, а скорее в талесе:

Вещами, не исчезнувшими в небе,
Уже не надо больше дорожить,
И смотрит сверху вниз Всевышний Ребе,
И странно, что еще придется жить.

* Иерусалим: Скопус, 2012.

Эту книгу вообще можно было бы назвать «Разговоры с неназываемым», поскольку: «оставшись один, неотвызно я думаю/ о том, кто все знает – о Нем»; «что Ему и мы важны, которые/ рады, что душа не устает»; «вот я пишу тебе в божью епархию:/ что ты промолвил, явившись к Нему?»

При этом мироздание данной книги вовсе не теологично – просто поэтам и прочим творянам свойственно переписываться напрямую с небом, этакие письма брату Тео.

Там ветерок гуляет по лесам,
Там свет от Бога и слова от Бога...
Кто этот некто, видящий так много?
Не может быть, чтоб это был я сам.

Автору видится, что «Дант в небесах появился», что «тень печальная с небес на нас легла», что «в небе дверь бесшумно отворилась», а также слышится наконец, как «в небесах гуляет гром» – и вот это уже сулит блаженство!

Дело в том, что основными символами сей книги, сражающимися противоположностями, являются жара и дождь, так сказать, грубый «хам» и нежный «гешем». Знойный жгучий ветер из пустыни, хамсин, несущий пыль и боль, заставляющий ежечасно экклезиастно представлять себя пылинкой на ветру (иудаистская юдоль!) – это один полюс. «Хамсин песок с горбатых спин сносил./ Вокруг в тревоге корчилась страна»; «пыль аравийская нам застит белый свет»; «снова мы, знойной природы рабы»; «в соленом поту моя плоть», короче:

Жизнь – пылинка на ветру,
Ветер дунул – улетела.

В общем, жара, особенно, скажем так, аравийская – здесь образ войны и смерти. Поэтому важно этот период пекла переждать, пересилить, перебороть – «и не дать отчаяться надежде». Книга не зря состоит из двух частей – «Промежуток» и «Парение над бездной» – очень нашенские временные состояния.

Мир да любовь у Вадима Халуповича олицетворяет дождь – приводимая с небес влага, щедро льющая плодородие, хлещущая победно по бедам и заботам, молотящая по божьему повелению, по молитвенному хотению!

И пусть наш будет бесконечен срок –
В воде не тонем, в зное не сгораем.
Сквозь тучи – солнце, плавленный сырок.

Идут дожди.
Блаженствует Израиль!

Да-с, нет, мы не пылинки на ветру – навет это, ручаюсь автору, «еврейством удостоенному с детства». Маленькая печальная гипербола, поэтическое заблуждение. Гораздо ближе мне другое его послание:

Земля обетованная везде –
В Израиле, в России, на звезде,
Ты только божьи исполний заветы,
Ты только будь ей честный, верный сын
Под пальмами или среди осин
Всю жизнь, вплоть до последней речки Леты.

Абсолютно согласен с автором. Кстати, а кто из поэтов не сменял бы эту речку на Черную?!

Напослед же хочу порадоваться глазом обложке книги с фрагментом работы отменного поэта и живописца Аси Векслер «Иерусалим. Улица Исланд», и сполна насладиться посвященными Асе строчками Вадима Халуповича:

Так, как будто стихи – летящая стая
Птиц, воспрявших на волю из пут осторожных.
Их читаешь и чувствуешь – ты оттаял,
Жизнь прекрасна и жить возможно.



Виктор Захаров

Пиво и "господы" в чешской жизни, истории и литературе



разу признаюсь – я люблю пиво. И поэтому у меня есть что вспомнить и о чем поговорить на эту тему.

В числе этих воспоминаний – пивные ларьки в СССР, очереди, особенно за бутылочным пивом. В Нью-Йорке – я с изумлением узнал, что нельзя на улице выпить баночку пива: нарушение общественного порядка. Во Франции в основном пьют вино. Но есть хорошее эльзасское и бельгийское пиво. В Париже знаю пивной ресторан *Taverne de la bière*, где вы можете выбрать из нескольких сотен сортов пива. И т. д. и т. п.

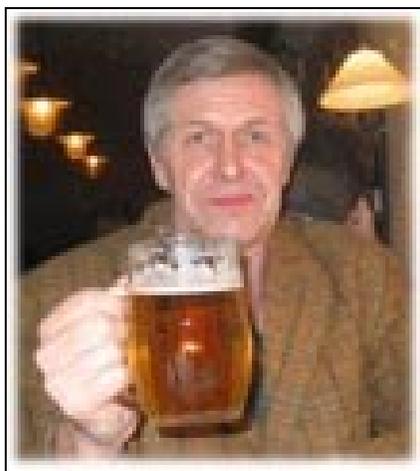


Но все эти воспоминания блекнут перед постоянным присутствием в моей памяти, в моем сердце (и можно добавить, в моем горле) чешского пива. Пиво в Чехии пьют везде, но больше всего в пивных ресторанчиках, которые называются *hospody* – "хосподы" или "господы" - первый звук - фрикативное (украинское) "h". "*Kde pivo chutná*" ("Где пиво самое вкусное") - название одного из старых стихотворений, посвященных "господе".

Вначале небольшое лингвистическое отступление. В русском языке для этого слова нет подходящего переводного эквивалента. Потому что ... нет "господ"?! Это место, где существует своя модель мироздания, свой особый языковой мир! Пивбар? Только не это. Пивной ресторан? Слишком серьезно и длинно. Пивной ресторанчик? Кабачок? Бистро? Закусочная? Нет, нет, нет... Может быть, ближе всего подошел бы "трактир" или "трактирчик", но это слово уже наполнено значением "русский трактир", каким мы его помним из художественной литературы. Поэтому позволим себе ввести в язык и использовать далее неологизм - *господа*, с ударением на первом слоге. Второе наиболее часто используемое в чешском слово для обозначения нашего заведения - *hostinec*, "хостинэц". Родовое слово для них, пожалуй, *restaurace*. В 8-томном академическом словаре чешского языка *hospoda* и *hostinec* трактуются как "*простое заведение (для простых людей), где можно перекусить и выпить*". Один мой чешский друг считает, что хостинэц - это улучшенная "господа". Кроме того, существует еще несколько десятков слов, обозначающих примерно то же самое. Например, *hospůdka*, "хоспůдка". То же самое, но чувствуете разницу?! Или, наоборот, *putyka* - вид самой плохой господы - почти что с презрением. *Lokál*, *vůšer* - названия частей внутри господы (еще есть *sál*, зал, особенно в деревенских господах), когда название части перенеслось на целое. *Pohostinství* - что-то вроде столовой или буфета, где в числе прочего можно заказать и пиво. Тот же мой друг утверждает, что это слово - искусственное социалистическое изобретение. *Knajpa* (из немецкого) и *paluša* - обычно *господа* низшей ценовой группы, где, тем не менее, может оказаться хорошее пиво и добрый гуляш. В одной из работ я нашел список из 32 названий: *bráčko, bunzárna, hospoda, hostinec, hrncovna, hrnkovna, huntovna, kasino, knajpa, krčma, kvelb, nalejvárna, nálevna, nasávárna, násosna, násrkovna, občerstvovna, osvěžovna, pajzl, palermo, pila, pinvice, pivnice, pivovar, pohostinství, poustevna, putyka, restaurace, rezervace, salú(ó)n, sekyrárna, šenk, šenkovna, taverna, uterus, útulek, varta*. Естественно, и этот перечень тоже не полный. Отдельная тема - лексико-семантический анализ всех других слов, имеющих отношение к нашей теме. Но это уже за пределами данной статьи.

Итак, возвращаюсь к воспоминаниям. Впервые я попал в Чехию (тогда в Чехословакию) в 1967 году. И с тех пор бывал там не раз. И каждый открывал для себя много нового в мире чешских *господ*. И частичками этого почерпнутого мною знания и понимания позволю себе поделиться с читателями.

Отдельная большая тема - пиво само по себе: какое оно бывает, как готовят, из чего пьют и т.д. Раньше все пиво делили на темное и светлое. В 1999 году я встретился с новым типом: *pivo řezané*, буквально, "резаное", что-то среднее между темным и светлым. Основные типы по крепости - "дэситка" (10°) и "дванацтка" (12°) (но встречал и 18°, и 24° (пиво *Primator*)!). Название пиво обычно получает по месту и/или по названию завода, что часто одно и то же. Бывают, конечно, и другие названия. Наиболее известны *Plzeň*, оно же *Prazdroj* (Пльзень), *Budvar* (Ческе-Будеёвице), *Gambrinus* (тоже Пльзень), *Krušovické* (Крушовице, Восточная Чехия), *Velkoporovický kozel* (Велке-Поповице, Восточная Чехия), *Staropramen* (Прага, Смихов), *Radegast*, *Zubr* из Пршерова, *Starobrno* из Брно и т. д. и т. п. Есть пиво, которое варят прямо в *gospode*. Это прежде всего темное "флэковское" в знаменитой *gospode U Fleků* (год основания 1499). Недавно в Праге открылась новая *gospoda* "*Pivovarský dům*" на Житной улице, где варят очень хороший "лежак". Но эту тему, о пивоварении и т.п., мы тоже пропускаем.



А названия *gospod* - это же фантастика! поэзия!! Самые известные - *U Kalicha* ("У чаши"), куда ходил бравый солдат Швейк, а теперь ходят все иностранцы. Уже упоминавшаяся *U Fleků* (У Флэков). Появились и господы *U Švejka* - я знаю две, в районе Дэйвицы и на Смихове. Прочитую еще несколько названий из моего "архива". "Архив" пишу в кавычках, ибо на самом деле это коллекция подставок под пиво, которые называются "*pivní tácek*", "тацек", буквально "подносик". Я всегда записываю на них, "когда, где, что и сколько".

Много можно также рассказать и о том, как устроена и функционирует *господа*. Например, что касается "тацков", то раньше официант на фарфоровых подносиках ставил карандашные "палочки", по количеству принесенных кружек пива. Сейчас фарфоровые "тачки" куда-то исчезли и "палочки" ставят на узкой полоске бумаги, на которой записывают и остальные заказанные блюда.

Но наша сегодняшняя тема другая – роль и значение *господы* в жизни чешского народа и отражение этого в литературе.

Пиво в Чехии – это не просто напиток и *господа* – не просто питейное заведение. Это культурное явление, особая субкультура. Я думаю, для многих пиво является символом Чехии. Не знаю как в других странах, но в России в это понимание немалую лепту внесли Ярослав Гашек, Йозеф Швейк и ... лингвист и переводчик Пётр Богатырев, подаривший нам русского Швейка.

Hospoda - это такое особое место, особый мир, наподобие мира театра, мира футбола, куда люди ходят с определенной целью, где ведут себя определенным образом. Я бы еще сравнил бы мир *господы* с миром наших "доминошников", собиравшихся в старое время в городских дворах. И пиво в *госпode* всего лишь пропуск в этот мир. Это всего лишь катализатор того, что в нем происходит.

Так что же там в этом мире происходит?

Прежде всего – люди там просто собираются, разговаривают, они проводят вместе время, они показывают, что у них есть это свободное время, которое они хотят проводить вместе.

Так создается особый неформальный коллектив (а подчас, и формальный). Мир *господы* находится в сложном взаимодействии с миром обычным. Там создается свой особый языковой мир, своя модель мира. *Господы* нашли богатое отражение в литературе, но по-настоящему разговоры, которые там ведутся, практически невозможно передать в виде письменного текста. Буквальная их запись будет неинтересна и скучна для чтения.

Разговоры в *госпode* отражают, конечно, события реального мира. Но они становятся по-настоящему реальными как для рассказчика, так и для слушателя только, когда они рассказаны, выслушаны и прокомментированы. Из чего следует, что разговор в *госпode* - это, как правило, диалог. Можно сказать, что события внешнего мира - лишь черновик, который только в *госпode* становится чистовиком.

Тематика разговоров за кружкой пива - это обычно ничего возвышенного, это разговоры вокруг обыденности: семья, друзья, работа, спорт, хобби. Но все эти темы в *господе* приобретают другие измерения. Все как бы воссоздается еще раз и по-другому. И здесь, еще раз подчеркнем, важно наличие и реакция слушателей.

Вот как говорится об общественном, коллективном характере "сидения" в госпode в старом стихотворении "Магнит *господы*":

Jest jedna otázka mohutná Есть один большой вопрос
Důležitost v první přírodě Важный по сути своей
Pivo proč tak chutná Почему пиво самое вкусное
Jak pije se v hospodě? То, что пьешь в госпode?
Je-li hovor, spolek příčina Разговор ли, компания тому причина
Aneb veselost vám vzduch? Или веселая атмосфера?
Že ubíhá hbitě hodina Когда быстро летит время
A baví se chuť i zrak i sluch? И радуется глаз и слух?
Vyzkomati nelze žádnému Никому не дано познать
Tajuplné vnady hospody. таинственные волшебные силы
господы.

Можно сказать, что для завсегдатаев *господы* - ее функция – давать вещам смысл, включать их в мир.

Коллектив *господы*, как минимум, состоит из двух частей: персонал и гости. Персонал - это *hostinský*, хозяин *господы*, и его семья. Или хозяин и официанты. Участие семьи в обслуживании гостей тоже придает чешской *госпode* особый колорит. Иногда кто-то из гостей, особенно в деревенских *господах*, помогает хозяину, и становится, так сказать, "субперсоналом". Гостей, в свою очередь, тоже можно разделить на две части: постоянные гости - постоянного гостя зовут *štamgast*, "штамгаст", и случайные, или правильнее, может быть, сказать чужие. Напр., сыщик Брейтшнейдер в романе Я. Гашека о Швейке был частым посетителем в *госпode* U Kalicha, но его никак нельзя отнести к числу "штамгастов". Точно также были чужими в "*господах*" в социалистической Чехословакии и другие их завсегдатаи – сотрудники госбезопасности (StB, *Státní bezpečnost*), "эстэбаки" (*estebák*). Обычно в каждой госпode складывается свой коллектив гостей - один или несколько. Когда кто-то начинает посещать другую госпodu, это расценивается как предательство.

И еще несколько слов о разговорах, которые ведутся в *господах*. Они сильно отличаются от тех, которые можно

услышать в закрытых салонах высшего общества, где обычно пьют вино, или в интеллигентских кафе и "винарнах" типа Slávie или Unionky. Если салонные разговоры следует назвать словом konverzace ("конвэрзаце"), то в *gospode* - это hovog ("говор").

И можно утверждать, что как раз этот живой hovog ближе к классическому жанру разговоров, с которыми мы знакомы по античной литературе. Там существовал термин sermo – это разговор, который не подчиняется законам риторики и поэтики. Разговор без определенных правил, разных собеседников, но предполагающий совместное времяпрепровождение и в ходе которого возникает чувство взаимной солидарности. Это и есть hovog.

Еще одна роль *gospody* – это убежище. Это другой, лучший мир, чем тот, в котором мы вынуждены жить. Это способ отодвинуть все проблемы этого мира. Это феномен веры в то, что от мира можно убежать. Вспомним Швейка. Вот он, арестованный, вместо того, чтобы следовать прямо к фельдкуратору Катцу, угovarивает сопровождающих его солдат завернуть в *gospodu* Na Kukliku. Вот он, отставший от поезда, которым вместе с подпоручиком Лукашем должен следовать на фронт, "открывает свой фронт" в вокзальном ресторанчике в Таборе. Или когда четник из Путими ведет его на суд в Писек, вспомним, как они оба до темноты застряли в придорожной *gospode*.

Gospoda – прочнее и надежнее, чем весь остальной мир. Вспомним прощание Швейка с сапером Водичкой, которое заканчивается знаменитой фразой: Tedy po válce v 6 hodin večer (Итак, в 6 часов вечера после войны). Где? – даже не обсуждается. Естественно, U Kalicha. И пусть рушится весь мир, Швейк и Водичка знают, наверное, что *gospoda* и пиво пребудут вечно!

И даже момент истины, который наступает в *gospode* поздно вечером – Končime, zavíráme! ("Заканчиваем, закрывается!") или Poslední pivečko, panové! ("Последнее пиво, господа!") – не окончателен: ибо всегда можно пойти в другую, где еще открыто.

Аспект веры в спасение через *gospodu* можно проиллюстрировать примером из романа Владислава Ванчуры "F.C. Ball" ("Футбольный клуб "Мяч"). Там художник Петрлак (Petrlák) борется с уничтожением *gospody* U Dvou litřů. Потерпев неудачу, он строит новую, там же, с тем же названием. И этот его поступок приобретает характер библейского Создания мира, а *gospoda* - масштаб рая. Когда на седьмой день приходит седьмой гость (starožitník Ваар – антиквар Баар), то сидящий уже там поэт Hart (Гарт) восклицает: "... sedmý – a sedmého dne! Tenho hostinec

je tvořen jako svět." ("Седьмой гость – и на седьмой день! Этот *хостинэц* создан как мир").

Этот вселенский масштаб господы, как нигде, как никем другим, воссоздан в произведениях Богумила Грабала (Bohumil Hrabal). По Грабалу, господа - это и мир, и средство борьбы с миром. Это жизнь во всей ее естественности.

Тот мир и то восприятие *господы*, о котором я говорю, формировался в Чехии веками.

По историческим данным пиво в Чехии стали варить и пить очень давно. Книга *Svět vynále zů v datech* ("Мир открытий в датах") относит начало производства пива к 11 веку. Лишь через несколько веков оно становится народным напитком. Развитию пивоварения способствовал ряд факторов:

климат и географические условия (виноград для вина растет плохо, а вот хмель замечательно!);

прогрессирующее мастерство чешских хмелеводов и пивоваров – так уж получилось, что в течение поколений накапливались, передавались знания и навыки.

расцвет всей Чехии в средние века. Чехи вели активную торговлю – качество чешского хмеля способствовало его экспорту, экспорт же положительно влиял на качество. Чехи начали, как говорится, "держат марку".

В 13 и 14 вв. пиво было разрешено варить во всех домах, хозяева которых получили так наз. *мещанское право*. Поэтому пивоварение развивалось очень широко по всей стране. Так, историки ссылаются на указ короля Вацлава IV, в 1390 г. разрешившего, несмотря на противодействие пражских пивоваров, экспорт пива из окрестных областей в Прагу. Это говорит о конкуренции между пивоварами, положительно влиявшей на качество пива.

О широком распространении пива в средние века свидетельствует и стихотворный диспут *Podkoní a žák* ("Жеребёнок и ученик"), который относится к концу 14 - началу 15 вв. В этом произведении освещается важное место корчмы в народной жизни, которая играла тогда одновременно и роль несуществующих еще СМИ, и роль народных "научных симпозиумов".

*Dnes, ktož rád do krčmy chodí, Любителям заглянуть в корчму
častokrát se jemu přihodí, нередко случается
žeť zvie přihody nekaké узнать там всякие истории,
a k tomu noviny také. а еще и последние новости.*

Во времена гуситов укоренившуюся привычку чехов потрещать пиво (и злоупотрещать пивом!) не смогли побороть ни строгие гуситские священники, ни сам Ян Жижка. Хотя попытки бороться были. В конце концов, Жижка понял, что энергию, которую люди черпают в пиве, лучше обратить на благое дело. Вот как он обращается в письме к жителям Домажлиц: "А мы к вам, даст бог, скоро прибудем. Имейте же хлеб, пиво, приготовьте провиант для коней и всякое воинское снаряжение". Таким великий полководец изображен в романах В. Томека, А. Ирасека, Зд. Штепанека (бывшего, между прочим, постоянным посетителем (*štangast*) *господы* U 3 pštrosů в Праге на Малой Стране!), в фильме О. Вавры.

К XVI веку пивоварение было поставлено на широкую, можно сказать, научно-промышленную основу. Так, уже в 1585 году вышла книга Тадеуша Гайка (*Tadeus z Hajk z Hajků*) *O pivě a zpřisobech jeho vřoby* ("О пиве и способах его производства").

Народный характер пива ясно прослеживается и в так называемых крамаржских (ярмарочных) песнях XVII-XIX вв. Там постоянно слышится мотив: водка (*kořálka*) это плохо, а вот пиво – это хорошо. Пиво получает такие эпитеты, как *pivečko láhodné* (пивочко вкусное), *sladký ječmínek* (сладкий ячменёк) и т.п. И даже проводится мысль, что оно от Бога. Патроном чешских пивоваров был объявлен св. Вацлав.

В XIX в. начинают выходить специальные журналы, посвященные пиву: *Kvás* (с 1873 г.) и *Pivovarské listy* (с 1883 г.). Позднее к ним добавится журнал *Sládek*. Большой популярностью пользовались исторические изыскания на тему пива, см., например, книги Ч. Зиберта "Из истории пива и пивоварения в чешских землях" (*Čeněk Zibrt. Z dějin piva a pivovarnictví v českých zemích. 1894*) и З. Винтера "История ремесел и торговли в Чехии" (*Zikmund Winter. Dějiny řemesel a obchodu v Čechach. 1906*). Журнал *Pivovarské listy* выходил благодаря хозяину пивоваренного завода в Кладне О. Захара (*Otakar Zachar*) - обратите внимание на фамилию! - который привлек к иллюстрированию журнала такую величину, как знаменитый художник М. Алеш (*Mikuláš Aleš*). Да и сейчас, в наши дни, чехи могут похвастаться "пивной" газетой – *Pivní kurýť*. Ее номера за разные годы лежат у меня дома.

Хочется также отметить вышедший в 1875 г. сборник стихов о пиве, который так и назывался: "Книга стихов о пиве, или Пивиада" (*Kniha veršů o pivě, čili Piviáda*). В книге, автор которой был А. В. Мельничкий (*Ant. Valent Mělnický*), на 126 страницах помещено 136 стихотворений, посвященных пиву. Из всех стихов приведем хотя бы одну фразу: *Nám Plzeň je Mecka* - Пльзень для

нас стал Меккой! А Пльзень, как известно, столица чешского пивоварения.

"Пивиада" также регистрирует много всего интересного, что происходило в те годы на "пивном" фронте. Например, пиво начали разливать в бутылки, хотя настоящая борьба пивной бутылки с пивной бочкой начнется только через несколько десятилетий. В 1876 г. все ждали введения новых мер и весов, и об этом беспокоится автор стихов, предсказывая трудности привыкания "друзей пива" к новым мерам, и заканчивает:

Leč já nedbám těchto pořadí Но я не обращаю внимания на эти
A cizího kv нововведения
Podle žizně jako pos И на чужое разноцвет
Budu pivo pít. И, как и раньше
 жаждой
 Буду отмерять, сколько пива выпит.

И еще одна вечная тема – рост цен. Наверное, многие помнят стихотворение брежневской поры: "...ну а если будет восемь / все равно мы пить не бросим".

Так вот я на это могу сказать: старо, как мир. И подтвердить это строками из XIX века, из той же "Пивиады":

Nyní jídlo, pítí zdražilo se, Нынче еда и питьё подорожали,
V hospodách však neuprázdnilo se, В господах, однако, народу не
Jakou příčinu v tom moudrost убавилось,
shlíží? В чем дело, спросим мудреца?
Žízeň jestli nesmrtelně věčná, Жажда бессмертна и вечна,
Mamón však jest věc slabá, А деньги слабы и конечны
konečná. И господам дороговизна нипочем.
Hospodám dražota neublíží!

И есть еще одна причина, по которой росла популярность пива и *gospod* в 19 веке и благодаря которой они занимали в те годы особое положение в чешской культуре. Это - чешское Возрождение. Один из вождей того времени Йозеф Юнгман провозгласил пространство чешского языка как "виртуальную реальность", в которой существует национальный дух. Так вот - можно сказать, что реальным пространством, где эта виртуальность реализовалась, стала *gospoda*.

К числу любимых чешских "баек" того времени относится рассказ о возможной национальной катастрофе, заключающейся в падении одного потолка, который, упав, погубит весь чешский народ. Имеется в виду потолок ... в *gospode*, где собирались

чешские патриоты (одной из них была *gospoda U bílého Iva*). И собирались в *gospodach* прежде всего потому, что это было чуть ли не единственным общественным местом, где можно было говорить по-чешски. Обратиться же по-чешски к кому-либо на улице в то время, когда официальным языком в Австро-Венгрии был немецкий, было если не оскорблением, то проявлением бескультурья. Таким образом, *gospoda* стала местом встречи интеллигенции с народом. Стали возникать чисто чешские *gospody*. Особенно трудно чешский язык пробивался в Брно, который был тогда преимущественно немецким городом.

Иногда вспыхивали острые споры, которые переходили в драки, в которые вынуждена была вмешиваться полиция. Так, в Праге за Страговскими воротами (*za Strahovskou bránou*) была *gospoda* с очень характерным названием - *U české údatnosti* - У чешской отваги. После одной из драк полиция это название запретила. С таким же названием была *gospoda* и в Брно, у входа которой был прикреплен гуситский щит. В студенческой *gospode* "Америка" исполняли реквием по Белой горе (место битвы в 1620 г., где чешские войска потерпели поражение, вследствие которого Чехия потеряла независимость) с обязательным ношением траурной повязки. За этим обычно следовал ряд арестов.

Характерно появление пива *Deklarant* и *gospody* "U Deklarace" как реакции общества на политическое событие – декларацию о целях чешской политики, с которой 22.08.1868 выступили чешские делегаты в австрийском сейме.

Все это нашло отражение в литературе и в песнях, где пиво восхваляется как символ патриотизма. "Если бы пивочко умерло, / чтобы от нас, людей, осталось. / Все бы плакали, / плакала бы вся Чехия, / мир ничего не стоил бы" ("Kdyby nám pivečko zemřelo, / co by z nás lidičky zůstalo. / Všichni by plakali, / plakaly Čechy celé, / za nic by nestal svět"). Или еще : " Кто чехом хочет быть, / по-чешски должен пить, / дух чешский веселый, / плохого не делает ничего " ("Kdo chce Čechem býti, / má po českou píti, / mysl česká veselá / zlího prej nic nedělá").

Можно с иронией относиться к пивному патриотизму, но потом оказалось, что людям, сидевшим в *gospode*, ставили памятники, что их именами называли улицы. И действительно, за кружкой пива писались декларации, учреждались газеты, собирались деньги на чешскую национальную школу - и все это послужило делу создания впоследствии независимого государства. Так, общество *Slovanský čtenářský spolek* возник в *gospode U Černého orla, Brněnsk á Matica školská* - тоже.

Образ *господы* как места борьбы за народные идеалы проник и в художественную литературу. Например, в пьесе К.Сабини "Шут короля Иржи из Подебрад" конфликт между немцами и чехами перенесен в *господу*. J. Kolář в одном из произведений красочно описывает патриотическое общество "Муравьи", которое собирается в *госпode* U Zamilovaného velblouda (У влюбленного верблюда).

Конечно, пиво – это алкоголь, со всеми следствиями. И поэтому часть литераторов критически относилась к идеализации пива и *господ*. *Господа* позволяет людям общаться, говорить, но мир общения и мир реальности далеко не всегда совпадают. Самореализация индивида в *госпode* может быть фиктивной. И примеры этого мы тоже видим в художественной литературе. Так, Франтишек Рубеш (Fr. Rubeš), Ян Неруда (J. Neruda), Йозеф К. Тыл (J. K. Tyl), Ян Прэсл (J. Presl), Якуб Малый (J. Malý) во многих своих произведениях дают сниженный образ *господы* и призывают чехов к более высоким целям, чем сидение в *госпode* - Прэсл, напр., предлагает взять в руки книжку вместо кружки!

Ян Неруда с горечью говорит: "Чешский дух может, конечно, на время испариться, но он всегда наверняка будет возвращаться к пиву". В стихотворении "Ян Кальвент" (Jan Kalvent) он называет Чехию страной, где вся активность растворилась в пиве. Известна его пародия на слова песни, ставшей национальным гимном: На вопрос *Kde domov můj?* ("Где родина моя?") чех словами Неруды отвечает: *Tam, kde pivovary strmí* ("Там, где высятся трубы пивоваренных заводов"). Описывая свое посещение пивоваренного завода в Пльзени, Неруда иронически сравнивает пивные бочки с браническим войском.

О многом говорит появление в речи таких выражений, как "пивной кругозор", "пивной юмор", "пивная политика". Типично чешское решение всех проблем: *já myslím, abychom šli do hospody!* ("полагаю, идёмте в *господу!*")

Горько иронично звучат слова И. В. Сладека (Josef Václav Sládek):

*Ba ještě div, že lid je živ, Просто чудо, что люди живы,
Kde tolik hradu, tolik piv, В стране, где столько замков и столько
A nikde na džbán skutků пива,
И нигде ни капли дела.*

Или, в вольном переводе: "Много пива – мало дела!"

Мы уже не раз упоминали здесь Я.Неруду, который знал *господы* с детства и был их знатоком и завсегдатаем. В его

произведениях мы встречаем 40 названий пражских *gospod*, не считая кафе и "винарен". Есть целый цикл рассказов *Ze starých hospůdek*. В целом для творчества Неруды характерно эстетическое снижение образа *gospody*, противопоставление мира *gospody* домашнему миру доверительной близости, миру романтических человеческих отношений. Один из самых тяжелых и страшных рассказов на эту тему - в духе Гоголя - *Pan Rušanek a pan Schlegl*. О том, как эти два "пана" 11 лет сидят в *gospode* за одним и тем же столом и друг с другом не разговаривают.

Один из самых негативных пивных героев в чешской литературе – пан Броучек (*Brouček*) из романа Сватоплука Чеха (*S. Čech*) "Экспедиция пана Броучека в XV век". В начале романа мы знакомимся с ним в *gospodax* *U Kohouta* и *Na Víkarce*, где он предается любимому занятию. Затем он попадает в различные жизненные коллизии, оказавшись в машине времени, которая доставила его в гуситские времена. Однако всегда и везде на первом месте в иерархии ценностей у него пиво. Все другое - пустые слова или карикатура на ценности. Машина же времени в романе - это старая пивная бочка с нечистотами, куда пан Броучек упал.

Нужно сказать, что потребление пива и сидение в *gospode* - это мужское занятие - как в жизни, так и в литературе. Однако тематика *gospody* присутствует и в произведениях чешских писательниц. За неимением времени перечислю только некоторые имена: *Karolina Světlá*, *Marie Majerová*, *Helena Malířová* и др. Отношение к *gospode* у них, в основном, критическое. Только *Vožena Benešová* в романе "Удар" (*Úder*) воздаст должное *gospode* как полезному, в маленьком городке даже незаменимому гражданскому институту.

Перейдем теперь из XIX века в век XX. *Gospoda* постепенно перестает быть местом политической борьбы. Она все больше становится местом отдыха, где можно спрятаться от жизни, где можно жить другой параллельной жизнью. Теперь это уже не сцена, а кулиса жизни. И это находит отражение в литературе. В литературу приходит новое поколение - эстеты, декаденты, анархисты. Это *Toman*, *Gellner*, *Neuman*, *Našek* и др. Они не только пишут о люмпенах, бродягах - они так живут. В их произведениях звучит мотив аутсайдера. Их лирический субъект - вне литературной традиции и общественных норм. *Gospoda* для них - это убежище бездомных, их пьянство - горько и иронично:

Má garderoba visí v zastavárně *Мой гардероб висит в ломбарде,*
Jako já visím v každé hospodě. *Точно как я "завис" в господах.*

Или еще: *Mé srdce zchudlo u holek a piva* ("Сердце моё оскудело среди женщин и пива").

И если старое поколение литераторов посещало *господы* в центре Праги, то новое переселяется на окраины. Это Žižkov, Královské Vinohrady. Сегодня, конечно, это уже далеко не периферия города, но тогда другое дело – Жижков и Винограды административно вошли в состав Праги только в 1921 г.

Топография *господ*, которые посещал Я. Гашек, дана в книге Р. Пытлика в главе "Богема и Гашек" (R. Pytlík. Putování Jaroslava Haška. С. 148-156). Среди наиболее посещаемых им была Demínka. Но о похождениях Гашека мы знаем не только по литературоведческим исследованиям. Имеются и свидетельства очевидца. Это Зденек Кудей (Zdeněk Matěj Kuděj, 1881 - 1955), беллетрист и переводчик, друг и собутыльник Я. Гашека. Что касается Кудея лично, то стоит упомянуть, что, путешественник и бродяга, он в 1912 г. 7 месяцев провел в России. Его воспоминания о годах, проведенных с Я.Гашеком, 1913-1914, написанные в форме юмористических дневников, были опубликованы в Праге в 1923-30 гг. Подзаголовок первого тома первого издания звучал так: *Prst vzpo mínek na pestré cesty po Čechách s Jaroslavem Haškem*. Кудей описывает, как они с Гашеком отправились с Вршовицкого вокзала через Бороун, Яхимов, Кршивовклат, Раковник и т.д. до Пльзени, а потом обратно, останавливаясь в каждой местной *госпode*, с массой приключений. Приключения, как правило, были связаны с тем, что путешествовали они без копейки в кармане.

И еще одного литератора мне бы хотелось назвать - это малоизвестный поэт Т. Р. Фильд (T.R.Field, настоящее имя - Theodor Adalbert Rosenfeld, позже сменивший его на гражданское имя Bohdan Vojtěch Šumavanský, в литературе также известный под именем Vratislav Choromysl Krombožinec Lilibinský (1891 - 1969)). Можно не сомневаться, что у человека с такими именами вся жизнь и все творчество были связаны с пивом. Стоит упомянуть, что в 1915 г. он ненадолго для своей невесты арендовал *госпodu* "Таверна" на границе Малой Страны и Смихова. И в конце жизни, по воспоминаниям племянника, за день до смерти он не мог себе отказать в кружке пльзенского в виноградской *госпode* "Demínka". Перу Фильда принадлежат известные строки, ставшие народной песней: "Mým domovem tichá je putyka / mou láskou sklenice plná" ("Мой дом это тихая господа / любовь моя полный бокал"). За свою жизнь Фильд был частым гостем многих пражских питейных заведений. Из них особенно долго, на протяжении десятилетий, он был верен велкопоповицкой *госпode* Lochness на Юнгмановой улице. Среди других *господ*, ему

близких, стоит назвать *gospody* U Pinkasu на Юнгмановой площади, где развивается действие некоторых его стихотворений. Одно из них написано прямо на обратной стороне меню этой *gospody*, благодаря чему легко установить дату его возникновения - 23.07.1948. В конце жизни приютом поэту служила *gospoda* "Beseda" на Римской ул., по соседству с его домом, ликвидацию которой он пережил всего на несколько недель. И что удивительно, давным-давно, в 30-е годы, Фильд все это предсказал: ликвидацию любимой *gospody* и последовавшую вскоре за этим свою смерть.

A proto mi ta tichá putyka domovem přestane býti, až zároveň s ní v noci doblíká i kahan mého žiti". "И эта тихая пивнушка когда-то перестанет быть мне домом, когда в ночи угаснет с нею вместе неяркая лампада моей жизни".

Особое место "пивная" тема занимает в творчестве Богумила Грабала - настолько особое, что эта тема заслуживает отдельной статьи. Скажу только, что Грабал родился и провел детство в пивоваренном заводе в Нимбурке (между прочим, как и Берджих Сметана, тоже родивший в пивоваренном заводе), где его дядя был управляющим. Неповторимую атмосферу жизни на заводе российские телезрители могли почувствовать по фильму режиссера Й. Менцеля "Postřiziny", снятом по одноименной повести Б. Грабала (параллельное название «Городок, в котором остановилось время»). Еще при жизни Грабал стал героем и творцом мифов, в т.ч. мифа *gospody* U Zlatého tygra, где он каждую неделю встречался с друзьями. Правда, в конце жизни писатель вместе со своей "дружиной" перекочевал в другое место, а именно в Тынскую "госпудку" "U Hunků".

Можно сказать, что *gospoda* – это чешская птица-тройка, которой дивятся другие народы и государства. В Токио в 1994 г. вышла книга Макото Мацудаира "Пуроха укиё сакаба" - "Prchavý svět pražských hospod", что я бы перевел как "Неуловимый мир пражских *gospod*".

И закончим это повествование о чешских господах сообщением "из-за границы", из Австрии, о том, что культурный клуб чехов и словаков в Вене располагается – где вы думаете? - конечно же, в *gospode*! Которая называется Zum böhmische Küchl (У чешской кухоньки), что еще раз доказывает, что пиво и культура – неразрывны. И второе умозаключение: пиво и чехи неразрывны. И поэтому не случайно число "*gospod*" в той же Вене

увеличилось после 1968 г., что я напрямую связываю с появлением там чешских эмигрантов.

К сожалению, ничто не вечно под луной... Кто был в последние годы в Праге, тот, наверное, согласится, что и в этой стране наступление цивилизации и капитализма "уносит частички бытия", в том числе и магическое волшебство мира пражских *господ*. Многие из них, особенно в центре города, закрываются. Или превращаются в экспортный товар, когда "все на продажу". Например, *господы* U Fleků и U Kalicha, которые и по ценам, и по всему превратились в аттракционы для богатых иностранцев. Правда, открываются и новые *господы*, но все-таки от них остается ощущение новодела. Однако и здесь можно сказать, "ничто не ново под луной". Эту тему затронул еще Я. Неруда в 1849 году в фельетоне *Ze starých hospůdek*, где он пишет о потере невозполнимых ценностей, о ликвидации маленьких *господ* ("*malých a zadýmaných hospůdek*"), где собирались их верные из всех слоев общества и которые стали вытесняться *господами*, лучше обустроенными, но хуже обжитыми. Но чем дальше уходит прошлое, тем оно милее. Также и с *господами*. Можно сказать, что со временем *господы* все больше будут становиться символом потерянного рая...



Об авторах

Валерий Ожогин – доктор физико-математических наук, профессор, советник дирекции Курчатовского научного центра, основатель и организатор ежегодных Кикоинских чтений.

Илья Гинзбург – профессор НГУ, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник института математики СО РАН, Новосибирск.

Наталья Казакова – профессор русского языка и литературы колледжа им. Хантера (Нью-Йорк)

Елена Матусевич-Мазур – писатель, художник, филолог.

Лев Бердников – кандидат филологических наук. Член Русского ПЕН Центра и Союза писателей Москвы.

Борис Тененбаум – автор исторических очерков и книг.

Борис Сохрин (1932-2009) – литератор и культуролог..

Елена Иоффе – литератор, составитель и редактор альманаха "Гнездо" (2 выпуска) и книги Бориса Сохрина "Отрадное".

Владимир Нестьев – японовед, переводчик с английского языка, журналист.

Лазарь Фрейдгейм – инженер, кандидат технических наук, коллекционер.

Виктор Гопман – переводчик.

Людмила Штерн – литератор, научный сотрудник университета Брандайс.

Павел Нерлер – историк, географ, литератор

Дмитрий Бобышев – поэт, эссеист, переводчик, профессор Иллинойского университета в г. Шампейн-Урбана, США.

Мина Полянская – член немецкого Пушкинского общества и немецкого отделения международного ПЕН клуба.

Евгений Майбурд – экономист, автор статей по истории, религии, культуре.

Андрей Алексеев – социолог, кандидат философских наук, автор книги о «драматической социологии».

Семен Резник – писатель, историк, журналист. С 1982 года живет в США.

Алексей Цветков – русский поэт, прозаик, эссеист, критик и переводчик.

Рудольф Фурман – поэт, журналист

Наум Сагаловский – поэт, по совместительству инженер.
Александр Танков – поэт и прозаик.
Леонид Гиршович – писатель и музыкант.
Моисей Борода – композитор, писатель, поэт.
Ася Лapidус – математик, литератор.
Наташа Северин – литератор, журналист.
Юлий Герцман – экономист.
Гарольд Пинтер (1930-2008) – английский драматург, поэт, режиссёр, актёр, общественный деятель; лауреат Нобелевской премии по литературе 2005 года.
Ян Пробштейн – поэт, переводчик, редактор.
Александр Ласкин – историк, прозаик, профессор Санкт-Петербургского университета культуры и искусств.
Михаил Юдсон – писатель, литературный критик.
Виктор Захаров – кандидат филологических наук, доцент кафедры математической лингвистики СПб университета.

Журнал «Семь искусств», апрель 2014
Главный редактор Евгений Беркович

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

Компьютерная верстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой
520 стр. 25,0 а. л.

ISBN 978-1-291-86410-6



Семь искусств
Ганновер 2014